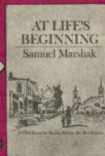
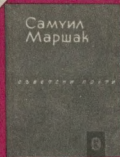
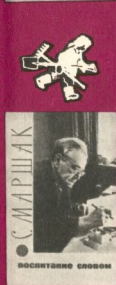


ВОСПОМИНАНИЯ О МАРШАКЕ

Я дулав,
дувавава,
Я жини

ВОСПОМИНАНИЯ
О МАРШАКЕ





Я думал,
субвербовал,
Я жид

↓

ВОСПОМИНАНИЯ
О МАРШАКЕ

Москва
Советский писатель
1988

С о с т а в и т е л и
Б. Е. ГАЛАНОВ, А. И. МАРШАК, З. С. ПАПЕРНЫЙ

ХУДОЖНИК
КЛАРА ВЫСОЦКАЯ

В книгах этой серии в качестве иллюстративного материала наряду с фотографиями последних лет используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся фотографии.

Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал из жизни писателя, представляющий несомненный интерес.

4702010200—112
И $\frac{\quad}{083(02) - 88}$ 163—57

О ПОЭЗИИ МАРШАКА

1



1958—1960 годах было выпущено Гослитиздатом первое собрание сочинений С. Маршака в четырех томах. Помню, как, просматривая первый том с дарственной надписью Самуила Яковлевича — книгу в шестьсот с лишком страниц, снабженную по всей форме солидного подписного издания портретом автора и критико-биографическим очерком, — я, при всей моей любви к Маршаку, не был свободен от некоторого опасения. До сих пор эти стихи, широко известные маленьким и большим читателям, выходили под маркой Детгиза малостраничными, разноформатными книжками, которым и название-то — книжки — присвоено с натяжкой, — их и на полку обычно не ставят, а складывают стопкой, как тетрадки. Но эти детские издания пестрели и горели многокрасочными рисунками замечательных мастеров этого дела — В. Конашевича, В. Лебедева и других художников, чьи имена на обложках выставлялись обычно наравне с именем автора стихов.

Как-то эти стихи будут выглядеть здесь, под крышкой строго оформленного приземистого тома, который не только можно поставить на полке рядом с другими, но и где угодно отдельно, — будет стоять, не повалится? Не поблекнут ли они теперь, отпечатанные на серых страницах мелким «взрослым» шрифтом, вдруг уменьшившимся объемом, и лишенные обычного многоцветного сопровождения? Не случится ли с ними в какой-то степени то, что так часто случается с «текстами» широко известных песен, когда мы знакомимся с ними отдельно от музыки?

Но ничего подобного не случилось. Я вновь перечитывал 3

эти стихи, знакомые мне по книжкам моих детей и неоднократно слышанные в чтении автора, — страницу за страницей, и они мне не только не казались что-то утратившими в своем обаянии, ясности и веселой энергии слова, — нет, они, пожалуй, даже отчасти выигрывали, воспринимаемые без каких-либо «вспомогательных средств». Стих, слово — сами по себе — наедине со мною, читателем, свободно располагали не только своей звуковой оснасткой, но и всеми красками того, о чем шла речь, и они не были застывшими отпечатками движения, действия, но являлись как бы самим движением и действием, живым и подмывающим.

Это свойство подлинной поэзии без различия ее предназначенности для маленьких и больших, для книжек с красочными иллюстрациями или изданий в строгом оформлении, для чтения или пения. Недаром строки по-настоящему поэтической песни заставляют нас иногда произносить их и просто так, когда песня уже спета, вслушаться в их собственно словесное звучание.

Первое собрание сочинений С. Маршака вышло тиражом триста тысяч экземпляров. Количество подписчиков на то или иное издание — это своеобразный читательский «плебисцит», и его показатели в данном случае говорили об огромной популярности Маршака.

Трудно назвать среди наших современников писателя, чьи сочинения так мало нуждались бы в предисловиях и комментариях. Дом поэзии Маршака не нуждается в громоздком, оснащенном ступеньками, перильцами и балясинками крыльце — одном для всех. Он открыт с разных сторон, его порог везде легко переступить, и в нем нельзя заблудиться.

Здесь невозможны такие случаи, как, скажем, при чтении Б. Пастернака или О. Мандельштама, по-своему замечательных поэтов где подчас небольшое лирическое стихотворение требует «ключа» для расшифровки заложенных в нем «многоступенчатых» ассоциативных связей, намеков, иносказаний и умолчаний. Тем более что Маршак — как редко кто — сам себе путеводитель и лучший толкователь идейно-этических основ своей поэзии.

Но дело не только в этом, а, скорее всего, в том, что произведения разностороннего и сильного таланта Маршака никогда не были предметом сколько-нибудь резкого столкновения противоположных мнений, споров, нападок и защиты. Говоря так, я не беру в расчет стародавние попытки «критики» особого рода обнаружить и в детской литературе явления «главной опасности — правого уклона» и с этой точки зрения

обрушившейся было на популярные стихи С. Маршака и К. Чуковского, но получившей в свое время решительный отпор со стороны М. Горького.

Высказывания литературной критики о Маршаке различаются по степени чуть более или чуть менее высоких оценок. И высказывания эти, чаще всего приуроченные к очередным премиям, наградам или юбилейным датам поэта, — дело прошлое, — уже приобретали характер канонизации, когда стиралась граница между действительно блестящими и менее совершенными образцами его работы.

Литературный путь С. Я. Маршака не представляется, как у многих поэтов и писателей его поколения, расчлененным на этапы и периоды, которые бы различались в коренном и существенном смысле. Можно говорить лишь о преимущественной сосредоточенности его то на стихах для детей, то на переводах, то на политической сатире, как в годы войны, то на драматургии или, наконец, на лирике, как в последние годы жизни. Но и здесь нужно сказать, что он никогда не оставлял полностью одного жанра или рода поэзии ради другого и сам вел именно то «многопольное хозяйство», которое настойчиво пропагандировал в своих пожеланиях литературным друзьям и воспитанникам.

Маршак, каким мы знаем его с начала 20-х годов, с первых книжек для малышей, где стихи его занимали как бы только скромную роль подписей под картинками, и до углубленных раздумий о жизни и смерти, о времени и об искусстве в лирике, завершающей его литературное наследие, ни в чем не противостоит самому себе. В этом смысле он представляет собой явление исключительной цельности.

По внешнему признаку Маршак кончает тем, с чего обычно поэты начинают, — лирикой, но эта умудренная опытом жизни и глубоким знанием заветов большого искусства лирическая беседа с читателем вовсе не похожа на запоздалые выяснения взаимоотношений поэта со временем, народом, революцией. Он начал свой путь советского писателя зрелым человеком, прошедшим долгие годы литературной выучки, не оставив, однако, за собой значительных следов в дооктябрьской литературе. Ему вообще не было нужды на глазах читателя что-то в своем прошлом пересматривать, от чего-то отказываться. Не связанный ни с одной из многочисленных литературных группировок тех лет, не причастный ни к каким манифестам, не писавший никаких деклараций в стихах или прозе, он, попросту говоря, начал не со слов, а с

дела, скромнейшего по видимости дела, — выпуска тоненьких книжек для детей.

Почти полувековая работа С. Я. Маршака в детской литературе, художественном переводе, драматургии, литературной критике и других родах и жанрах не знала резких рывков, внезапных поворотов, неожиданных открытий. Это было медленное, непрерывное — в упорном труде изо дня в день — накопление поэтических ценностей, неуклонно возраставшее с годами. Его слава художника, упроченная этой последовательностью, чужда дуновениям моды и надежно застрахована от переменчивости литературных вкусов.

Маршак освобождает своих биографов и исследователей от необходимости неизбежных в других случаях пространных толкований путей и перепутий его развития или особо сложных, притемненных мест его поэзии. Если бы и нашлись места, требующие известной читательской сосредоточенности, то это относилось бы к Шекспиру, Блейку, Китсу или кому другому, с кем знакомит русского читателя Маршак-переводчик, которому заказаны приемы упрощения или «облегчения» оригинала.

Но при всей видимой ясности, традиционности и как бы незамысловатости приемов и средств Маршака он, мастер, много думавший об искусстве поэзии, заставляет всматриваться и думать о себе не менее, чем любой из его литературных сверстников, и куда более, чем иные сложные и пересложные «виртуозы стиха».

И это обязывает, говоря о нем, по крайней мере избежать готовых, общепринятых характеристик и оценок. Чаще всего, например, при самых, казалось бы, высоких похвалах таланту и заслугам художника у нас наготове услужливый оборотец: «один из...» А он таки просто один и есть, если это настоящий художник, один, без всяких «из», потому что в искусстве — счет по одному. Оно не любит даже издавна применяемой «парности» в подсчетах распределения его сил, о которой с огорчением говорил еще Чехов, отмечая, что критика всегда ставила его «в паре» с кем-нибудь («Чехов и Короленко», «Чехов и Бунин» и т. д.). В нашей критике в силу этого принципа парности долгое время было немыслимым назвать С. Маршака, не назвав тотчас К. Чуковского, и наоборот, хотя это очень разные люди в искусстве и каждый из них — сам по себе во всех родах и жанрах их разнообразной литературной работы.

Мои заметки — это даже не попытка критико-биографического очерка или обзора, охватывающего все стороны и

факты жизни и творчества С. Я. Маршака. Это лишь отдельные и, может быть, не бесспорные наблюдения, относящиеся к его разнообразному наследию; отчасти, может быть, наброски к литературному портрету. Для многих из нас, близко общавшихся с ним, знавших Маршака — замечательного собеседника, видевших его, так сказать, в работе и пользовавшихся его дружбой, — он как бы часть собственной жизни в литературе, в известном смысле школа, которая была ценна не только для тех, кто встречался с ним зеленым юношей.

2

Я не сразу по-настоящему оценил высокое мастерство детских стихов С. Я. Маршака. Причиной было, скорее всего, мое деревенское детство, которое вообще обошлось без детской литературы и слишком далеко отстояло своими впечатлениями от специфически городского мира маршаковской поэзии для детей.

«Детский» Маршак раскрылся мне в полную меру достоинств этого рода поэзии через Маршака «взрослого», в первую очередь через его Роберта Бернса, в котором я почувствовал родную душу еще в юности по немногим образцам из «Антологии» Н. Гербеля, а также через столь близкую Бернсу английскую и шотландскую народную поэзию в маршаковских переводах, через его статьи по вопросам поэтического мастерства и, наконец, через многолетнее непосредственное общение с поэтом.

Нельзя было не сравнить того и этого Маршака, и нельзя было не увидеть удивительной цельности, единства художественной природы стиха, выполняющего очень несходные задачи. В одном случае — веселая, бойкая и незатейливая занимательность, сказочная условность, рассчитанная на восприятие ребенка и не упускающая из виду целей педагогических в лучшем смысле этого понятия; в другом — лирика Бернса, веселая или грустная, любовная или гражданственная, но простая и односложная лишь по внешним признакам и насыщенная сугубо реальным, порой до грубоватости и озорства, содержанием человеческих отношений.

Но и тут и там — стих ясный и отчетливый в целом и в частностях; и тут и там — строфа, замыкающая стихотворное предложение, несущая законченную мысль подобно песенному куплету; и тут и там — музыка повторов, скрытое искусство выразительной речи из немногих счетом слов, —

каждая строфа и строка, как новая монета, то более, то менее крупная, вплоть до мелкой, разменной, но четкая и звонкая.

В прочной и поместительной строфе:

В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета, —

«спрятана» и вся «Песня о желуде», написанная Маршаком уже после его перевода бернсовского «Джона Ячменное Зерно». По мне, оно явно сродни стиху знаменитой баллады. Хотя здесь хорей, а там ямб, но это как раз самые любимые и ходовые размеры детских и недетских стихов и переводов Маршака. Правда, может быть, на это сближение наводит отчасти и содержание «Песни», близкое идее неукротимости произрастания, жизненной силы.

Конечно, это первый пришедший на память пример, указывающий на родство стиха Маршака в очень различных его назначениях. Но и на многих примерах самый пристальный анализ поэтических средств Маршака «детского» и «бернсовского», как и вообще Маршака-переводчика, я уверен, только подтвердил бы их исходное единство, к которому, разумеется, не сводимо все разнообразие оттенков, зависящих от возрастающей сложности содержания.

Я лишь клоню к тому, что Маршак исподволь был подготовлен ко встрече с поэзией Бернса. Он сперва обрел и развил в себе многое из того, что было необходимо для этой встречи и что обеспечило ее столь бесспорный успех, — сперва стал Маршаком, а потом уже переводчиком великого поэта Шотландии. Но никак не хочу сказать, что работа над детскими вещами была лишь своеобразной школой, готовившей мастера для «взрослых» вещей. Ее значение прежде всего в ней самой — в наличии среди детских стихов настоящих шедевров этого рода поэзии, которым принадлежит любовь многих — одного за другим — поколений маленьких и признательная память взрослых читателей.

Подготовкой С. Я. Маршака к выступлениям в детской литературе, периодом, когда складывались основы его, как говорится, эстетического кодекса, были годы, о которых он рассказывает в автобиографической книге «В начале жизни». По счастливой случайности стихи гимназиста Маршака, прибывшего в Петербург из города Острогжска, обратили на себя сочувственное внимание В. В. Стасова, а также Горького и Шаляпина, принявших непосредственное участие в

жизненной судьбе юного поэта, — устроивших ввиду предрасположенности его к туберкулезу в Ялтинскую гимназию на свой счет. Но этот период, так сказать, литературного «вундеркинчества» Маршака еще далеко отстоял от появления его первых книжек для детей и приобретения литературного имени. Еще были годы учения на родине и в Англии, куда он отправился юношей, — годы разнообразной малозаметной литературной работы, от переводов до репортажа, но главное — годы непрерывного накопления знаний, изучения языков, отечественной и мировой поэзии, в которой он потом всю остальную жизнь чувствовал себя поистине как дома.

Я не думаю, что мечтой его литературной юности было стать именно детским поэтом. Тут были и попутные увлечения организацией детского театра, и, может быть, даже чисто внешние, житейские поводы, как необходимость заработка, что отнюдь не означало пониженных требований к себе.

Вспоминаю, как на первых порах знакомства с С. Я. Маршаком, когда я приехал в Москву в середине тридцатых годов, уступая его настоянию, показал ему одну из моих книжек для детей, выпущенную Смоленским издательством. Я не придавал им серьезного значения, но все же волновался.

Привычным рабочим жестом отсунув очки на лоб и близко-близко поднося страницу за страницей к глазам, он быстро-быстро пробежал книжку, и, надо сказать, это были памятные для меня минуты испытания. Это — как если бы я отважился «показать» И. С. Козловскому что-нибудь из моего «народно-песенного репертуара», имевшего в дружеском кругу почти неизменный успех.

Маршак уронил руку с зажатой в ней книжонкой на стол и глубоко вздохнул, точнее — перевел дух. Он был очень чуток к тому, что говорят о нем самом, и хорошо знал весомость своих приговоров предложенным на его суд вещам, — ему было нелегко выносить их. Он заерзал в кресле, нервно почесал за ухом и заговорил, спеша, порывисто, умоляюще, но с непрекаемой убежденностью:

— Голубчик, не нужно огорчаться, но это написал совсем другой человек, не тот, что «Страну Муравию».

— Это написано до «Муравии».

— Все равно, голубчик, все равно. Здесь нет ничего своего, все из готовых слов.

Я очень жалел, что вдруг так уронил себя в его глазах этой книжечкой, и, стремясь как-нибудь увернуться от жестоких слов, переменить разговор, сказал, что, мол, ладно, о чем тут говорить: ведь это же так, собственно, по заказу, для...

Я тогда не то чтобы вполне разделял понятия моих литературных сверстников, изнуренных непробиваемостью редакционно-издательских заслонов и не считавших зазорной невзыскательность в выполнении «заказной» работы, будь это хотя бы и стихи для детей, но и не видел в таких понятиях особого греха. А главное, я не предполагал, с каким огорчением и еле сдерживаемым возмущением могут быть восприняты Маршаком эти мои слова: «для... по заказу», тем более что они относились к стихам, предназначенным для детского чтения.

В дальнейшем я имел возможность много раз убедиться, что строжайшим правилом всей его литературной жизни было безоговорочное отрицание того допущения, будто в искусстве одно можно делать в полную силу, а другое, как говорится, по мере возможности. Это было для него немислимо так же, скажем, как для человека искренней и глубокой веры по-настоящему молиться лишь в церкви, а в иных местах наспех и как-нибудь. Конечно, не всякая задача в равной степени может волновать, но всякая, самая скромная неукоснительно требует честности и хотя бы профессиональной безупречности выполнения. Это было для Маршака законом, которого он не преступал, касалось ли дело заветного, годами вынашиваемого замысла или телефонного заказа из газеты сделать стихотворную подпись под карикатурой, отозваться фельетоном на подходящий факт международной жизни или написать по просьбе издательства «внутреннюю» рецензию на рукопись.

Маршаку очень было по душе свидетельство одного мемуариста о том, как П. И. Чайковский отчитал молодого композитора, пожаловавшегося ему на судьбу, что вот, мол, приходится часто работать по заказу, для заработка.

«Вздор, молодой человек. Отлично можно и должно работать по заказу, для заработка, например, я так и люблю работать. Все дело в том, чтобы работать честно».

Но успех С. Я. Маршака в детской литературе основан был, конечно, не на одной его истовой честности в работе над тем, за что он брался, — без этого вообще ничего доброго не может выйти. Здесь сыграл свою решающую роль подготовительный период, школа усвоения лучших образцов классики и фольклора, всего того здорового, демократичного, жизнелюбивого, что всегда отличает подлинно великую поэзию, будь то Пушкин или русская народная сказка и песня, Бернс или английская и шотландская народная баллада. В те дореволюционные годы молодому поэту так легко было на-

хлобаться всяческой модной усложненности, невнятицы и изысканности, которые могли бы подготовить для него только судьбу эпигона, последыша искусства, чуждого большой народной жизни и, естественно, опрокинутого революцией.

Но и одной защищенности от модных влияний, развитого вкуса и здоровых пристрастий было бы недостаточно для того, чтобы успешно заявить себя в этой все же специфической области литературы. Детская литература в досоветские времена, кроме немногих общеизвестных хрестоматийных образцов в наследии Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Чехова да еще кое-кого из не первостепенных авторов, была объектом приложения по преимуществу дамских сил, совсем в духе того, как об этом безжалостно писал Саша Черный.

Дама сидела на ветке,
Пикала:— Милые детки...

Детская поэзия была заведомо прикладной и не шла в общелитературный счет. Здесь нужен был еще особый склад дарования и отчасти педагогического мышления, знания психологии ребенка и подростка, умение видеть в них не отвлеченного «маленького читателя», а, скорее, собственных детей или детей своего двора, которых знаешь не только по именам, но и со всеми их повадками, склонностями и интересами.

Трудно даже вообразить в детской поэзии голос таких талантливейших сверстников Маршака, приобретших известность гораздо раньше его, как Ахматова, Цветаева или Пастернак. Высокая культура стиха, мастерство их поэзии неоспоримы в истории нашей литературы. Но эта поэзия отмечена, при всем очевидном своем новаторстве, некоторым традиционным знаком «бездетности» ее лирических героев. Она обладает развитой силой слова в выражении чувств, обращенных к возлюбленному или возлюбленной, в живописании тончайших переживаний любви, ее обретений и утрат, по мир интересов и понятий того, кто, как говорится, является плодом любви — счастливой или несчастливой, — мир ребенка для нее как бы не существует. Так же и с тонким чувством природы, вообще предметным наполнением этой поэзии, — там сколько угодно памяти детства и «детскости» в способах видения мира, но не той, которая доступна детям.

Я назвал бы в этом ряду поэтов не менее сложного, чем даже Пастернак, О. Мандельштама, но вдруг обнаружил, что

никак нельзя было предположить, что он выпустил в первой половине 20-х годов несколько детских книжек в стихах. Однако при всем том, что талантливый поэт, даже выступая в несвойственном ему роде, не может не обронить нескольких удачных строф, стихи эти оставляют впечатление принужденности и натянутости. Как будто оставлен был этот взрослый добрый и умный человек на весь день в городской квартире с маленькими детьми, в отсутствие их родителей, и умаялся, стремясь занять их стихами о свойствах и назначениях предметов домашнего обихода: примус, кран, утюг, кастрюли и т. д., сочинил даже целую сказку о двух трамваях — Кликке и Траме, но все это по необходимости, без подлинной увлеченности. Есть и «полезные сведения», и юмор, и подмывающий ритмический изгибец:

— Мне, сырому, неученому,
Простоквашей стать легко,—
Говорило кипяченому
Сырое молоко...

Но все это, скорее, способно привлечь взрослых выразительностью исполнения, чем заинтересовать ребят. Попытки эти никак на дальнейшей работе поэта не отразились.

У Есенина, поэта — в противоположность Мандельштаму — феноменальной популярности у взрослых читателей, не было, кажется, и попыток заговорить с детьми на языке своей поэзии, и вообразить этот разговор, пожалуй, еще труднее.

Не помню, чтобы из Д. Бедного что-нибудь закрепилось в детском «круге чтения», хотя, казалось бы, это поэт подчеркнута простой и общедоступной речи, к тому же большой знаток народного языка, фольклорной поэзии, и не только из книжных источников. Его стихотворная речь имела в виду самого простого, даже неграмотного, но зрелого жизненным опытом человека — рабочего, крестьянина, красноармейца, — постигающего прежде всего политическую остроту этой речи.

У Маяковского детские стихи были одной из форм его целенаправленной агитационной поэзии, но с маленьким читателем он говорил слишком рассудительно и с натугой человека, как бы подбирающего слова малознакомого ему языка. Здесь он далеко не достигал своего уровня мастерства.

Все это говорится, чтобы подчеркнуть особую сложность и трудность искусства детской поэзии, если ее рассматривать не как «прикладную отрасль» литературы, а в одном ряду с поэзией как таковой.

Если сказать, что детская поэзия прежде всего не терпит, 12 например, неясности, неотчетливости или усложненности

содержания, то вряд ли это будет ее особым условием, которое было бы вовсе не обязательным вообще поэзии. Но здесь, в поэзии, обращенной к читателю на первых ступенях постижения им мира через образную силу родного языка, условие это является неизменным. Детям не свойственно тщеславие того рода, которое часто заставляет взрослых притворяться заинтересованными и даже восхищенными тем, что им, на поверку, попросту непонятно. В чем другом детям свойственно и притворство, и лукавство, но не в этом: они не способны удерживать внимание на том, чего не понимают. Их не увлечь подтекстом, если текст сам по себе оставляет их равнодушными.

Так же и с отвлеченностью или беспредметностью содержания, которых не выносит детская поэзия. Она всегда — в стихах ли, в прозе ли — непременно что-то сообщает, о чем-то повествует, как всякая сказка, включает в себе какую-то историю, случай, даже анекдот. Например, анекдот о том, как «дама сдавала в багаж» и что обнаружилось на месте его назначения; он и не выдает себя за доподлинную быль, но занят последовательным изложением обстоятельств, при которых «маленькая собачонка» вдруг превратилась в большую собаку.

Читатель детской книжки умеет ценить в ней, так сказать, безусловность информации. Если речь о цирке, то какие там восхитительные чудеса представляются, хотя бы и с явными преувеличениями в стиле цирковой афиши: если о зоопарке, то должны быть «портреты» натуральных зверей с их характерными повадками; если о пожаре, то как он возник, какую представляет опасность и как с ним справляются пожарные.

Дидактичность и элементарная познавательность — в самом назначении детской книжки, но эта книжка — не замена другим средствам обучения и воспитания. Пленить своего читателя назойливым нравоучительством или одним только сообщением ему полезных вообще сведений она так же не в состоянии, как и «проблемный» роман, который преподносит нам в образной форме материал, принадлежащий обычным средствам технической или иной пропаганды. Но в последнем случае дурная тенденциозность все же не столь безоговорочно отвергается, как в первом, где читатель свободен от многих условностей «взрослого» восприятия. И он несравненно более чуток и неподкупен в отношении малейшей фальши, натянутости и упрощенности подлаживающейся к его «уровню» стихотворной или прозаической речи. Она

отталкивает его так же, как дурная манера иных взрослых в обращении к детям — шепелявить и сюсюкать.

Во многих смыслах детская книжка — это взыскательнейший экзамен для поэзии вообще, насколько она обладает своими изначальными достоинствами ясности, существенной занимательности содержания и непринужденной энергии, естественной, как дыхание, мерности и «незаметности» формы.

Сказки Пушкина, хотя они не предназначались для детей, Маршак считал наивысшим образцом детской поэзии. Эта часть пушкинского наследия, прямо идущая от русской народной сказки, была для него не менее дорога, чем «Евгений Онегин» или лирика великого поэта. Его наблюдения над стихом сказок поражают зоркостью, обращенной к таким предельно простым случаям, где, казалось бы, уже совсем нечего искать:

Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

Его восхищал лаконизм этих строчек, где разом, без отрыва пера от бумаги, нарисовано вверху огромное небо, а внизу огромное море. Он отстаивал неслучайность того, что небо помещено в верхней, а море в нижней строчке. Это верно и невольно приводит на память строку ребячьего описания моря, отмеченную Чеховым: «Море было большое».

Как часто Маршак цитировал строки из «Сказки о царе Салтане» о выходе из бочки младенца-богатыря Гвидона, исполненные веселой энергии, «пружинистости» действия:

Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Здесь «ударность» последней, прекрасно «инструментированной» строчки: «Вышиб дно и вышел вон», — действительно звучит подобно заключительному возгласу считалки в детской игре.

Ритмическую «счетность» своих стихов для малышей Маршак даже подчеркивает разбивкой, при которой на строку приходится одно, два коротких слова. Его «Мяч» с точностью передает ритмику ударов, падений и подскакиваний мяча от начала до конца игры, а четверостишие «Дуйте,

дуйте, ветры в поле...» дает как бы четыре полных оборота крыла ветряной мельницы.

Стих Маршака «работает», усложняясь с возрастом читателя, следуя за ним от простенькой считалки и песенки детского сада, от сказки, которую ребенок постигает на слух в чтении старших, и к открытию им первоначальной радости самостоятельного чтения и освоения — ступенька за ступенькой — все более значительного содержания.

Солнечно и радостна возникающая из немногих слов картина радуги:

Солнце вешнее с дождем
Строят радугу вдвоем —
Семицветный полукруг
Из семи широких дуг.

Нет у солнца и дождя
Ни единого гвоздя,
А построили в два счета
Поднебесные ворота.

Быстро проносятся один за другим двенадцать месяцев «Круглого года» — каждый со своими «опознавательными» знаками — и завершаются двенадцатью ударами часов кремлевской башни. Все они еще предстанут в более сложной образной оснастке перед подросшим читателем детской поэзии Маршака и зрителем пьесы-сказки «Двенадцать месяцев», но до этой встречи подрастающего читателя со своим поэтом будет еще и «Пожар», и «Почта», и «Багаж», и «Рассеянный», и «Детки в клетке», и «Цирк», и «Мистер Твистер», и «многое множество», по любимому выражению Маршака, разных русских и иноземных, смешных и серьезных сказок и рассказов в стихах, песенках, шуток и прибауток. «Детский» Маршак — это целый обширный, многоголосый и многокрасочный мир поэзии. Стих его не боится слов простых, обычных; напротив, в нем не помещаются слова бьющей на эффект «поэтической» окраски, он избегает «редких» эпитетов, излишней детализации.

«Подлинная, проникнутая жизнью поэзия, — пишет Маршак в одной из своих статей о мастерстве, — не ищет дешевых эффектов, не занимается трюками, ей недосуг этим заниматься, ей не до того. Она пользуется всеми бесконечными возможностями, заложенными в самом простом четверостишии или двустишии, для решения своей задачи, для работы».

Это сказано о стихах Пушкина и Некрасова, и это в первую очередь нужно отнести к неперемнным требованиям

поэзии для детей. Сюда следует отнести, в частности, требование ритмически выраженной в стихе пунктуации, без чего невозможна естественность, «ладность» поэтической речи.

Маршак любил приводить строчку Плещеева: «И, смеясь, рукою дряхлой гладит он...», где запятая перед словом «рукою» не спасает — все равно ритмически получается: «Смеясь рукою...»

Стих детской поэзии вовсе не чуждается юмора, веселого, удачного словесного озорства и даже рискованной лихости:

По проволоке дама
Идет, как телеграмма.

Эти строчки Маршака, очень понравившиеся Маяковскому, в свое время вызвали протест со стороны педагогического педанства: телеграмма и дама-канатоходец конечно же «идут по проволоке» совсем по-разному и т. п. Но ведь и строчки ершовского «Конька-горбунка»:

Братья сеяли пшеницу
И возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села, —

с очевидной дерзостью меняют местами эти населенные пункты — конечно же село располагалось неподалеку от столицы, а не наоборот. Пушкин не мог не оценить «веселое лукавство» этих глубоких по смыслу строчек. Есть литературное предание, что первая строфа «Конька-горбунка» была написана Пушкиным. Так это или не так, но строфа как бы подготавливает только что приведенные строчки размашисто-условным, в духе народного балагурства определением места действия:

Не на небе, на земле...

Рискованное двустипшие Маршака представляется вдруг вылетевшим из уст ребенка, который уже слышал от старших, что телеграммы идут «по проволоке», и, увидев в цирке канатоходческий номер, «обобщил» даму с телеграммой.

Безупречность, смысловая ясность и отчетливость, строгий отбор на слух и вес каждого слова, навык «забивания гвоздя по самую шляпку» с успехом применены были Маршаком в его работе на взрослого читателя в годы Отечественной войны. Не раскрывая книги, можно по старой памяти

газетных страниц тех дней привести хлесткие сатирические стихи, построенные опять-таки из немногих счетом слов и повторов:

Кличет Гитлер Риббентропа,
Кличет Геббельса к себе:
— Я хочу, чтоб вся Европа
Поддержала нас в борьбе!
— Нас поддержит вся Европа! —
Отвечали два холопа.

Стихи-плакаты:

Лом железный соберем
Для мартена и вагранки,
Чтобы вражеские танки
Превратить в железный лом!

Это четверостишие открывается и закрывается одними и теми же словами. Но стоит, не меняя ни одного слова, переставить строчки четверостишия:

Чтобы вражеские танки
Превратить в железный лом,
Для мартена и вагранки
Лом железный соберем! —

и мы видим, что при полной сохранности «смысла» вместо энергии и движения здесь уже только изложение, стих утрачивает «пружинистость» и становится «полубезработным» — содержание лишается силы. Вот что означает требование, чтобы в строфе нельзя было ничего переставить или подвинуть.

Поэзия Маршака возвращена на доброй русской, пушкинской основе, и поэтому она оказалась способной обогатить и нашу детскую литературу множеством прекрасных образов мировой поэзии: детскими песнями, сказками, шутками и прибаутками разных народов. В наибольшем объеме представлена у него Англия — «Дом, который построил Джек», «Шалтай-Болтай», «Гвоздь и подкова» и множество подобных чудесных вещиц. Но и другие страны и народы, советские и зарубежные, перекликаются в детской поэзии на русском языке под пером Маршака. Одна эта заслуга — в духе русской, пушкинской традиции «усвоения родной речи» (выражение Белинского), разнообразных иноязычных богатств поэзии — могла бы составить поэту прочную славу в нашей литературе.

Иногда трудно в поэзии Маршака провести четкую грань между «оригинальным» и переводным, между мотивами русского фольклора и фольклора иноязычного. Например, сказку «Король и пастух» он называет переводом с английского, но сюжетом она полностью совпадает со «старинной народной сказкой», изложенной в стихах М. Исаковским под заглавием «Царь, поп и мельник», едва ли даже предполагавшим, что она может быть иною, чем русской.

Часто Маршак даже не указывает, какому из «разных народов» принадлежит то или иное произведение народной поэзии, которому он сообщает новую жизнь на русском языке, сохраняя, впрочем, характерные приметы его иноязычной природы. Маршак указывает, что в основу его драматической сказки «Двенадцать месяцев» положены «мотивы славянской народной поэзии», но точнее, она, как выражаются ученые люди, восходит к чешской народной сказке, в свое время пересказанной Божей Немцовой и изложенной Маршаком сначала в прозе. Окончательное претворение фольклорных мотивов сказки в драматургической форме явилось произведением вполне самостоятельным и оригинальным, полным света, добрых чувств и глубокой мысли. Недаром оно впервые было поставлено на сцене МХАТа и имеет одинаковый успех как у юных, так и у взрослых читателей и зрителей.

Мировая литература знает много случаев, когда замечательные произведения, первоначально предназначенные не для детей, становились впоследствии любимыми детскими книгами, например «Дон Кихот», «Робинзон Крузо», «Путешествие Гулливера». Реже случаи, когда произведения, адресованные именно детскому читателю, становились сразу же или позднее книгами, в равной степени интересными и для взрослых. Здесь в первую очередь можно назвать сказки Андерсена.

«Двенадцать месяцев» Маршака — один из таких случаев. По видимости непритязательная история, где судьба знакомой по многим сказкам трудолюбивой и умной девочки-сироты, гонимой и травимой злой мачехой, сказочным образом перекрещивается с судьбой ее ровесницы — своенравной, избалованной властью девочки-королевы, — вмещает в себя, как это часто бывает в настоящей поэзии, ненароком и такие моменты содержания, которых автор, может быть, и в уме не держал. Таким мотивом звучит в этой пьесе мотив власти, не ведающей пределов, положенных даже законами природы, и уверенной, как эта маленькая

капризница на троне, что она может в случае надобности издавать свои законы природы. Увлекательно, непринужденно и весело показывает действие пьесы-сказки провал этих притязаний девочки-деспота, ограниченных, правда, детским желанием иметь в новогодний праздник подснежники.

То, что мы называем детской литературой, детской поэзией, часто смешивая эти понятия с представлением о «валовой» продукции Детиздата, в сущности, застаёт нас всех еще на самой ранней поре нашего бытия. Впервые поэзия звучит для нас из уст матери напевом полуимпровизированной колыбельной, называющей нас по имени или сопровождаемой счетом на пальцах детской ручонки коротенькой сказочкой о том, как «сорока-ворона кашку варила, деток кормила...». Здесь еще и сорока с вороной идет заодно, и стихи заодно с прозой.

Но без этого первоначального приобщения младенческой души к чуду поэзии даже самая драгоценная память человеческая — память матери — была бы лишена тех слов и мотивов, которые с годами не только не покидают нас, но становятся все дороже. И мы тем более и явственнее — с признательной нежностью — слышим их в своем сердце, чем шире, разнообразнее, богаче за всю нашу жизнь были наши встречи с поэзией и музыкой. Потому что те простейшие слова и мотивы есть не что иное, как первообраз искусства, они — из самой его природы и несут в себе главные и, в сущности, неизменные признаки и свойства подлинного искусства: его ясность и прямоту, немногословность и живописность, его доброту и шутку, легкий упрек и наставление.

Этим и определяются, в самом общем смысле, особые эстетические и нравственные требования, которые ставит детская поэзия перед теми, кто пытается заявить себя в этом роде искусства. Разумеется, эти требования отнюдь не противопоставлены никакому другому искусству, рассчитанному хотя бы и на самый зрелый вкус и высокий уровень понимания, но, повторяю еще раз, здесь они неприменимы.

Ни «Сказки» Пушкина, ни даже некрасовские «Стихотворения, посвященные русским детям», как и другие образцы классики, не относились к собственно детской поэзии — она еще не выделилась в литературе в самостоятельный род. К тому же круг детского чтения усвоил и закрепил за собою столько целых вещей и отрывков из произведений классики, вовсе не имевших его в виду.

Все это дает повод иным из нас считать детскую литературу как бы не вполне законным литературным родом. Но одним из самых бесспорных и всемирно признанных достижений советской литературы за ее полувековую жизнь, ее расширением средств своего влияния на читателя является как раз этот её род — развитая детская литература во всем ее жанровом многообразии.

В становлении и развитии этого рода литературы С. Я. Маршаку по праву принадлежит особое место как критику, редактору детской литературы, собирателю и воспитателю ее разнообразных сил и талантов. Здесь едва ли найдется имя поэта или прозаика, которое не было бы в свое время замечено, поддержано или даже выведено им в люди.

Но прежде всего, говоря без обвиняков, Маршак первым в русской литературе посвятил главную часть своей большой жизни, выдающегося поэтического таланта именно детской литературе, которая до него не имела далеко того безусловного общественного значения, какое имеет ныне. При этом не только не беда, что он, так сказать, не поместился целиком в собственно детской литературе и при высоко развитом профессионализме литератора не остался «профессионально детским» писателем, а, наоборот, это лишь свидетельство широты и подлинности его творческих прав в художественной литературе.

Это никак не могло помешать творческой сосредоточенности Маршака в пределах детской поэзии и драматургии, критике и редакторской деятельности. Он был человеком, как принято выражаться, полной самоотдачи в искусстве, с какою бы его ветвью он ни был связан. Годы и десятилетия отдавал он напряженному до истовости труду, накапливая все то поэтическое богатство, которое мы теперь именуем Маршаком-«детским», и никогда не ставил эту свою работу, с какими бы то ни было оговорками, ниже любой другой, даже если это была работа над переводом классических образцов мировой поэзии.

Я начал речь о детской поэзии Маршака с признания, что оценил ее по-настоящему, обратившись к ней внимательнее после встречи с Бернсом в его переводах. Русская и мировая народная поэзия, Пушкин и Бернс и многое другое в отечественных, западных и восточных богатствах поэтического искусства, с ненасытностью детства и юности усвоенное на всю жизнь, — вот что определило его художническую

с детьми. И там лишь практически закрепились его пристрастия к немногословной, ясной и емкой смыслом строфе, чтобы в ней уже ничего нельзя было «ни убавить, ни прибавить».

3

С удвоенным и развитым в работе над стихами для детей навыком доведения строки и строфы до полной, необратимой отчетливости Маршак приступил к своему Бернсу, поэзия которого была главной любовью всей его литературной жизни и явилась счастливейшей возможностью приложения его особого «переводческого» дара.

Я умышленно ставлю это слово в кавычки. Маршак много переводил, переводы составляют, пожалуй, большую половину его стихотворного наследия. Но он не любил слова «перевод», особенно «переводчик», всячески избегал их и обычно свои новые переводы называл новыми стихами, когда читал их при встрече с друзьями. Он не принимал слов самого Пушкина о Жуковском, что тот был бы переведен на все языки, когда бы сам меньше переводил.

Жуковского он ценил очень высоко, вычитывал из него при случае на память целые страницы, так же и других русских мастеров поэтического перевода — И. Козлова, М. Михайлова, В. Курочкина.

Он был до мелочей привередлив и настойчив по части обозначений при печатании его переводов — часто вопреки принятому в данном издании единообразию, — фамилия его должна была стоять сверху, слово «перевод» заменялось по-старинному обозначением: «Из Роберта Бернса», «Из Вильяма Блейка» и т. п.

В литературной жизни не редкость, когда мастер недостаточно ценит наиболее сильную сторону своего дара и очень чувствителен к тому, что преимущественное внимание читателя и критики относят к этой именно стороне. С известными оговорками можно сказать, что и у Самуила Яковлевича была эта слабость недооценки своего редкостного дара приобщать русской речи образцы иноязычной поэзии на таком уровне мастерства, когда становится немислимой иная русская интерпретация данного произведения, — скажем, Бернса.

На правах дружбы я позволял себе подтрунивать над его невинной привередливостью по части обозначений «перевод» или «из...», но всегда, и особенно теперь, когда подо

всем написанным его рукой подведена черта, считал и считаю, что он имел-таки право на эти претензии в отношении своей работы.

«...Чтобы по-настоящему, не одной только головой, но и сердцем понять мир чувств Шекспира, Гёте и Данте,— говорится в статье Маршака «Портрет или копия? (Искусство перевода)», — надо найти нечто соответствующее в своем опыте чувств... Настоящий художественный перевод можно сравнить не с фотографией, а портретом, сделанным рукой художника. Фотография может быть очень искусной, даже артистичной, но она не пережита ее автором».

Сонеты Шекспира — наиболее удаленный от нашего времени образец мировой поэзии, явившейся нам в русской интерпретации Маршака. И надо сказать, неувлимый холодок этой классической удаленности все же в какой-то степени набегаёт на эти превосходные творения Шекспира. И Маршаку в работе над этими переводами действительно нужно было иметь «нечто соответствующее в своем опыте чувств». Нет необходимости подробно объяснять, какой опыт чувств взыскательного мастера живет, к примеру, за строчками-переводами семьдесят шестого сонета:

Увы, мой стих не блещет новизной,
Разнообразьем перемен неожиданных,
Не поискать ли мне тропы иной,
Приемов новых, сочетаний странных?
Я повторяю прежнее опять.
В одежде старой появляюсь снова,
И кажется, по имени назвать
Меня в стихах любое может слово.
Все это оттого, что вновь и вновь
Решаю я одну свою задачу:
Я о тебе пишу, моя любовь,
И то же сердце, те же силы трачу,
Все то же солнце ходит надо мной,
Но и оно не блещет новизной.

Это все к тому, что Маршак не любил слов «перевод» и «переводчик». Действительно, обозначение «перевод» в отношении поэзии чаще всего в той или иной мере отталкивает читателя: оно позволяет предполагать, что имеешь дело с некоей условной копией поэтического произведения, именно «переводом», за пределами которого находится недоступная тебе в данном случае подлинная прелесть оригинала. И есть при этом другое, поневоле невзыскательное чувство читателя — готовность прощать этой «копии» ее несовершенства в собственно поэтическом смысле: уж тут ничего не

поделаешь, — перевод, был бы только он точным, и на том спасибо.

Однако и то и другое чувство могут породить лишь переводы убого-формального, ремесленного толка, изобилие которых, к сожалению, не убывает со времени возникновения этого рода литературы.

Но есть переводы другого ряда, другого толка.

Русская школа поэтического перевода, начиная с Жуковского и Пушкина и кончая современными советскими поэтами, дает блистательные образцы переводов лучших произведений поэзии иных языков. Эти переводы прочно вошли в фонд отечественной поэзии, стали почти неразличимыми в ряду ее оригинальных созданий и вместе с ними составляют ее заслуженную гордость и славу. И нам даже не всякий раз приходит на память, что это переводы, когда мы читаем или слушаем на родном языке, к примеру, такие вещи, как «Будрыс и его сыновья» Мицкевича (Пушкин), «Горные вершины...» Гёте (Лермонтов), «На погребение сэра Джона Мура» («Не бил барабан перед смутным полком...») Вольфа (И. Козлов), песни Беранже (В. Курочкин) и многие, многие другие. При восприятии таких поэтических произведений, получивших свое, так сказать, второе существование на нашем родном языке, мы меньше всего задумываемся над тем, насколько они «точны» в отношении оригинала.

Я, читатель, допустим, не знаю языка оригинала, но данное произведение на русском языке волнует меня, доставляет мне живую радость, воодушевляет меня силой поэтического впечатления, и я не могу предположить, что в оригинале это не так, а как-нибудь иначе, я принимаю это как полное соответствие с оригиналом и отношу мою признательность и восхищение к автору оригинала наравне с автором перевода — они для меня как бы одно лицо.

Словом, чем сильнее непосредственное обаяние перевода, тем вернее считать, что перевод этот точен, близок, соответствует оригиналу.

Памятные слова на этот счет сказал И. С. Тургенев, касаясь вопроса о качестве одного из переводов «Фауста»:

«Чем более перевод нам кажется не переводом, а непосредственным, самобытным произведением, тем он превосходнее... Такой перевод не может быть неверным...»

И, конечно, наоборот: чем менее иллюзии непосредственного, самобытного произведения дает нам перевод, тем

вернее будет предположить, что перевод этот неверен, далек от оригинала.

Здесь я мало могу добавить к тому, что сказано было в моей рецензии на книгу «Роберт Бернс в переводах С. Маршака» много лет назад. Прежде всего хочется сказать, что эти переводы обладают таким очарованием свободной поэтической речи, будто бы Бернс сам писал по-русски да так и явился без всякого посредничества перед нашим читателем. И наш советский читатель уже успел узнать и полюбить и запомнить многое из этой книги, представляющей собрание поэтического наследия Р. Бернса, задолго до ее выхода в свет по первоначальным публикациям переводов С. Я. Маршака в журналах и отдельных его сборниках. Это — классическая баллада «Джон Ячменное Зерно» — гимн труду и воле к жизни и борьбе произрастания и плодоношения на земле. Это — гордые, исполненные дерзкого вызова по отношению к паразитической верхушке общества строки «Честной бедности» или «Дерева свободы» — непосредственного отклика на события Великой французской революции. Это — нежные, чистые и щемяще-трогательные песни любви, как «В полях, под снегом и дождем...» или «Ты меня оставил, Джеми...». Это — восхитительный в своем веселом озорстве и остроумии «Финдлей» и, наконец, эпиграммы, которые вполне применимы и в наши дни ко всем врагам трудового народа, прогресса, разума, свободы и мира.

И понятно, что тот успех, который приобрели переводы Маршака из Бернса в широких кругах советских читателей, объясняется не только поэтическим мастерством их исполнения, о чем будет еще сказано, но и прежде всего самим выбором оригинала.

Роберт Бернс совсем не напоминает неприятязательного идиллика сельской жизни, смиренного поэта-пахаря, писавшего «преимущественно на шотландском наречии», как считали либеральные биографы.

Зато вот как зорко рассмотрел и безошибочно угадал поэтическую силу Бернса его величайший современник Гёте, переживший шотландского поэта на несколько десятилетий (слова эти записаны Эккерманом, автором книги «Разговоры с Гёте»):

«Возьмите Бернса. Что сделало его великим? Не то ли, что старые песни его предков были живы в устах народа, что ему пели их еще тогда, когда он был в колыбели, что мальчиком он вырастал среди них, что он сроднился с высоким совершенством этих образцов и нашел в них ту живую

основу, опираясь на которую мог пойти дальше? Не потому ли он велик, что его собственные песни тотчас же находили восприимчивые уши среди народа, что они звучали навстречу ему из уст женщин, убирающих в поле хлеб, что ими встречали и приветствовали его веселые товарищи в кабачке? При таких условиях он мог стать кое-чем!»

И лорд Байрон, скептический и высокомерный в отношении именитых современников, записал в своем «Дневнике» спустя много лет после смерти шотландского поэта:

«Читал сегодня Бернса. Любопытно, чем он был бы, если бы родился знатным? Стихи его были бы глаже, но слабее — стихов было бы столько же, а бессмертия не было бы. В жизни у него был бы развод и пара дуэлей, и если бы он после них уцелел, то мог бы — потому, что пил бы менее крепкие напитки, — прожить столько же, сколько Шеридан, и пережить самого себя».

Бернс — народный певец, поэт-демократ и революционер, он дерзок, смел и притязателен, и его притязания — это притязания народа на национальную независимость, на свободу, на жизнь и радость, которых единственно достойны люди труда.

Советскому поэту на основе достижений отечественной классической и современной лирики удалось с блистательным успехом довести до читателя своеобразие исполненной простоты, ясности и благородного изящества бернсовской поэзии. Переводы С. Я. Маршака выполнены в том словесном ключе, который мог быть угадан им только в пушкинском строе стиха, чуждом каких бы то ни было излишеств, строгим и верном законам живой речи, пренебрегающей украшательством, но живописной, меткой и выразительной.

Небезынтересно было бы проследить, как развивался и совершенствовался «русский Бернс» под пером различных его переводчиков, как он по-разному выглядит у них и какими преимуществами обладают переводы Маршака в сравнении с переводами его предшественников. Позволю себе взять наудачу пример из «Джона Ячменное Зерно». Вот как звучит первая строфа баллады у М. Михайлова, вообще замечательного мастера, которому, между прочим, принадлежит честь одного из «первооткрывателей» Бернса в русском переводе:

Когда-то сильных три царя
Царили заодно.
И порешили: «Сгинь ты, Джон
Ячменное Зерно!»

Очевидно, что лучше бы вместо «царей» были «короли», что наверняка более соответствовало оригиналу; неудачно и это «заодно», вынужденное словом «зерно»; слова, заключенные в кавычки, по смыслу — не решение, не приговор, как должно быть по тексту, а некое заклинание. Кроме того, Михайлов рифмует через строку (вторую с четвертой), тогда как в оригинале рифмовка перекрестная, и это обедняет музыку строфы.

У Э. Багрицкого:

Три короля из трех сторон
Решили заодно:
— Ты должен сгнать, юный Джон
Ячменное Зерно.

Здесь — «короли» вместо «царей»; это лучше, но что они «из трех сторон» это попросту неловко — сказано ради перекрестной рифмовки; «заодно» здесь приобрело иное, чем у Михайлова, правильное звучание; формула же решения королей выражена недостаточно энергично, лишними, не теми словами выглядят «должен» и «юный».

У Маршака:

Трех королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон
Ячменное Зерно.

Кажется, из тех же слов состоит строфа, но ни одно слово не выступает отдельно, цепко связано со всеми остальными, незаменимо в данном случае. А какая энергия, определенность, музыкальная сила, отчетливость и в то же время зазывающая недосказанность вступления!

Этот небольшой пример с четырьмя строчками показывает, какой поистине подвижнический и вдохновенный труд вложил поэт в свой перевод, чтобы явить нам живого Бернса.

Может показаться, что не слишком ли скрупулезно и мелко это рассмотрение наудачу взятых четырех строчек и считанных слов, заключенных в них. Но особенностью поэтической формы Бернса как раз является его крайняя немногословность в духе народной песни, где одни и те же слова любят, повторяясь, выступать в новых и новых мелодических оттенках и где это повторение есть способ повествования, развития темы, способ живописания и запечатления того, что нужно. Особенно наглядна эта сторона поэзии

Бернса в его лирических миниатюрах, и Маршаку удается найти конгениальное выражение этой силы средствами русского языка и стиха.

Иные из этих маленьких шедевров прямо-таки, кажется, состоят из четырех-пяти слов, меняющихся местами и всякий раз по-новому звучащих на новом месте, порождая музыку, которой ты поневоле следуешь, читая стихотворение:

Ты меня оставил, Джеми,
Ты меня оставил,
Навсегда оставил, Джеми,
Навсегда оставил.
Ты шутил со мною, милый,
Ты со мной лукавил —
Клялся помнить до могилы,
А потом оставил. Джеми,
А потом оставил!

Простая, незатейливая песенка девичьего горя, простые слова робкого упрека и глубокой печали, но нельзя прочесть эти строки, не положив их про себя на музыку.

Маршаку удалось в результате упорных многолетних поисков найти как раз те интонационные ходы, которые, не утрачивая самобытной русской свойственности, прекрасно передают музыку слова, сложившуюся на основе языка, далекого по своей природе от русского. Он сделал Бернса русским, оставив его шотландцем. Во всей книге не найдешь ни одной строки, ни одного оборота, которые бы звучали как «перевод», как некая специальная конструкция речи, — все по-русски, и, однако, это поэзия своего особого строя и национального колорита, и ее отличишь от любой иной.

У которых есть, что есть, — те подчас не могут есть,
А другие могут есть, да сидят без хлеба.
А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть, —
Значит, нам благодарить остается небо!

В этих двух предложениях шуточного застольного приговора, где многократно повторен и повернут коренной русский глагол «есть» и где всё совершенно согласно со строем русской речи, может быть, одно только последнее слово — «небо», тоже чисто русское слово, в данном своем значении вдруг сообщает всему четверостишию особый оттенок, указывает на иную, чем русская, природу присловья.

Такая гибкость и счастливая находчивость при воспроиз-

ведении средствами русского языка поэтической ткани, принадлежащей иной языковой природе, объясняется, конечно, не тем, что Маршак искусный переводчик — в поэзии нельзя быть специалистом-виртуозом, — а тем, что он настоящий поэт, обладающий полной мерой живого, творческого отношения к родному слову.

Без любви, без волнения и горения, без решимости вновь и вновь обращаться к начатой работе, без жажды совершенствования нельзя, как и в оригинальном творчестве, ничего сделать путного и в поэтическом переводе. Маршак одинаково поэт, вдохновенный труженик — когда он пишет оригинальные стихи и когда он переводит. Поэтому его Бернс кажется нам уже единственно возможным Бернсом на русском языке, — как будто другого у нас и не было. А ведь не так давно мы, кроме нескольких уже порядочно устаревших переводов XIX века, да «Джона» и «Веселых нищих» Багрицкого, исполненных в крайне субъективной манере, да слабой книжки переводов Щепкиной-Куперник, — переводчицы, может быть, и отличной в отношении других авторов, — кроме этого, ничего и не имели. А значит, мы не имели настоящего Бернса на русском языке, того Бернса, цену которому хорошо знали еще Гёте и Байрон.

Бернс Маршака — свидетельство высокого уровня культуры, мастерства советской поэзии и ее неотъемлемое достоинство в одном ряду с ее лучшими оригинальными произведениями. Знатоки утверждают, что ни в одной стране мира великий народный поэт Шотландии не получил до сих пор такой яркой, талантливой интерпретации.

Вряд ли кто станет оспаривать, что мастер, представивший нам русского Бернса и многие другие образцы западной классики, вправе был чураться звания «переводчик», отстаивать самостоятельную поэтическую ценность своего вдохновенного, чуждого ремесленнической «точности», подлинно творческого труда. Эту заслугу нельзя ограничить интересами читателей, не знающих иностранных языков, — речь идет не о переводе политического документа или научно-технической статьи. Я знаю людей, которым и Бернс, и английская народная баллада вполне доступны в оригинале, но они также испытывают особого рода наслаждение, воспринимая их в той новой языковой плоти, какую им сообщил талант Маршака.

Над своим Бернсом Маршак работал, то целиком сосредоточиваясь на нем, то отвлекаясь другими замыслами и задачами, с конца тридцатых годов и до последних дней

жизни. Но некоторые стихи он пытался переводить еще в юности и вновь обратился к ним в свою зрелую пору. Поэзия Бернса была для него счастливой находкой, но не случайным подарком судьбы: чего искал, то и нашел. Прирожденный горожанин, детство и юность которого не ступали босыми ногами по росяной траве, не знали трудовой близости к природе, не насытили память запахами хлебов и трав, отголосками полевых песен, он обрел в поэзии Бернса се «почвенность», реальность народной жизни — то, чего ему решительно недоставало для приложения своих сил. И он вошел в поэтический мир шотландского поэта, чтобы раскрыть этот мир и для нас в наибольшей полноте и цельности.

Но расслышать, почувствовать особую прелесть поэзии родного языка можно только при условии крепких связей с родным. В двустихии «Переводчику» Маршак формулирует строгий завет переводческого дела:

Хорошо, что с чужим языком ты знаком,
Но не будь во вражде со своим языком!

Он часто повторял, что успех поэтического перевода определяет не только знание языка оригинала, но, в первую очередь, знание и чувство языка родного.

4

Взыскательность, обостренный слух к особенностям и тончайшим оттенкам слова родной речи были у С. Я. Маршака удивительны и ничего общего не имели с пуристической нетерпимостью к порождаемым живой жизнью языка цепким неологизмам, метким и выразительным «местным речениям», когда они оправданы незаменимостью.

В его работе «Ради жизни на земле» есть поражавшие меня наблюдения над языком «Теркина». По совести, я сам далеко не всегда предполагал за тем или иным словом, оборотом стиха моей вещи такие оттенки значения, которые обнаруживал этот человек иного возраста, иной жизненной и литературной школы, чем я. Да, книга, страница прозы или стихов были для него ближайшей реальностью, но через эту «книжность» он, как, может быть, никто из современников, умел распознавать и угадывать реальность живой жизни и более всего любил и ценил в поэзии подлинность этой натуральной «сырой» действительности.

Мало ли у нас литераторов, отмеченных знаком «книж- 29

ности», постигающих и принимающих действительность лишь в ее сходстве с образчиками, какие дает книга, и глухих к тому, что является из самой действительности, чтобы, в свою очередь, стать «книгой», но «книгой», какой до нее не было.

Маршак при всей его приверженности классическому наследию, верности лучшим традициям искусства поэзии был полон холодного презрения к поэзии книжной, изощренной, рассчитанной на вкус немногих знатоков и ценителей.

Но его невозможно было подкупить и той «общедоступностью», которая достигается пографлением дурному вкусу, ходовой банальностью или всплесками новаторства ради новаторства.

Он многое мог и умел, но еще более знал и понимал в поэзии. Она была поистине «одной, но пламенной страстью» всей его жизни.

Его подвижническое, иначе трудно назвать, неусыпное трудолюбие и преданность работе, поразительная обязательность высокого профессионализма — были и остаются для многих из нас строгим напоминанием и упреком, благородным образцом «несения литературной службы».

В собрании сочинений С. Маршака читатель может встретить наряду с блестяще выполненными вещами вещи более слабые или отслужившие свое, уже принадлежащие времени, но он не найдет ни одной строки, написанной небрежно, не в полную меру сил, заведомо «проходной».

У Томаса Манна есть очень верные слова о том, что перед каждым зрелым художником в определенный период встает реальная опасность не успеть. Не успеть многого из того, на что он еще способен.

Редко бывает так, чтобы писатель завершил все начатое, исчерпал свои замыслы и планы и, как говорят в народе, убрался с полем, прежде чем перо выпадет из его рук.

Самуил Яковлевич Маршак сознавал эту опасность не успеть, хотя не любил говорить об этом, и очень спешил в последние свои годы, отягченные не отступавшим от него недугом.

Спешил писать и даже спешил печататься, спешил прочесть в кругу друзей новую строфу или страницу, чуждый олимпийского безразличия к мнениям и суждениям. Жизнелюбец, подвижник каждодневного литературного труда, он нуждался в живом сегодняшнем печатном или устном

отклике на свою работу. Это сообщало ему силы, скрашивало нелегкие дни его вынужденного затворничества — в стенах своей рабочей комнаты, в палате больницы или санатория.

В статье «Право на взаимность» он пишет:

«Искусство ждет и требует любви от своего читателя, зрителя, слушателя. Оно не довольствуется почтительным, но холодным признанием. И это не каприз, не пустая претензия мастеров искусства. Люди, которые вложили в свой труд любовь, имеют право на взаимность. Требовательный мастер вправе ждать самого глубокого и тонкого внимания к своему мастерству».

Одной из особенностей литературной судьбы Маршака, как уже было сказано, является то, что период лирического освоения мира, сосредоточения сил на этом жанре, представляющем, так сказать, привилегию молодости, — этот период пришелся у него на годы, когда обычно слабеет или вовсе затухает жар поэтической мысли. Эту пору лирической активности писателя отделяет от его юношеских опытов более чем полустолетие, в течение которого читатели узнали, признали и полюбили Маршака — автора популярнейших книжек для детей, Маршака — драматурга, сатирика, первоклассного переводчика, публициста и литературного критика. В этой лирике поэт опирался на богатейший опыт всей своей жизни в литературе, в первую очередь, конечно, на опыт переводческой работы, сделавшей достоянием русской поэзии столько образцов западной классики.

Обращение к лирико-философскому жанру в поздней зрелости, точнее сказать — в старости, у Маршака отмечено глубиной и ясностью мысли, юношеской энергией интонации, непринужденной живостью юмора и если грустью, то не расслабляющей и безнадежной, но по-пушкински светлой и умудренной, мужественно приемлющей неизбежное:

Все умирает на земле и в море,
Но человек суровой осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.
Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет — наперекор всему, —
Как будто жить рассчитывает вечность
И этот мир принадлежит ему.

«Наперекор всему» — этот гордый девиз человеческого духа целиком совпадает со словами «несмотря ни на что»,

которыми Томас Манн в своей статье о Чехове отдает дань восхищения творческой энергии русского писателя, под гнетом смертельного недуга не опускавшего рук и продолжавшего работать.

Старость — не радость, но и ее должно переживать, не роняя достоинства, не впадая в жалобную растерянность, отчаянное озлобление, и даже уметь с удовлетворением воспользоваться некоторыми преимуществами этого возраста. Иго старости опустошает душу и низводит человека до уровня биологического вида тогда, когда он переживает самого себя, то есть утрачивает интерес к безостановочному развитию жизни, к лучшим стремлениям новых поколений, не видит в них продолжения порывов своей наиболее деятельной поры.

В русской поэзии примером такого ужасного завершения долголетней жизни человека отнюдь не заурядного, отмеченного умом, образованностью и талантом, служит старческая лира князя П. А. Вяземского, некогда друга Пушкина, человека, близкого декабристским кругам, затем отнесенного судьбой в реакционный лагерь, достигнувшего высоких чинов члена Государственного совета, сенатора. В зрелости и старости он не только был враждебно непримирим к освободительным идеям, развивавшимся в обществе и революционно-демократической литературе, — он отвергал даже «Войну и мир» как произведение, «измельчающее» величие победы русского оружия в 1812—1814 годах.

Незадолго до кончины, восьмидесятилетний старец, он со своеобразным самоуничижительным упоением подводит итоги своего жизненного пути:

Жизнь наша в старости — изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить...
Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду,
Покоя твоего, ничтожество! я жажду:
От смерти только смерти жду.

Сопоставление судьбы поэта прошлого века князя Вяземского и советского поэта Маршака в пользу последнего само по себе предмет не столь уж «актуальный». Но мы касаемся одной из тем лирической поэзии, которые остаются неизменно актуальными для нее на любых этапах и при любых условиях жизни человеческих обществ. Все дело в том, какое особое преломление, присущее только данной поре общественного развития, данному языку и поэтической

традиции, получают вечные (это слово зачем-то у нас снабжается кавычками) темы.

«Лирика последних лет» С. Маршака, конечно, несет на себе печать возраста, недугов, невеселых дум и предчувствий, — противоестественным было бы отсутствие в ней этих мотивов. Но как при всем этом Маршак полон жизненных интересов, какую высокую цену он определяет быстротекущему времени, как много у него связей с живым сегодняшним миром, насыщенным мыслями и страстями людей!

В столичном немолкнущем гуде,
Подобном падению вод,
Я слышу, как думают люди,
Идущие взад и вперед.
Проходит народ молчаливый,
Но даже сквозь уличный шум
Я слышу приливы, отливы
Весь мир обнимающих дум.

Это мог сказать только поэт, обладающий развитой привычкой думать, а не просто пропускать через сознание пестрые, разрозненные впечатления. В жизни, близость конца которой все время дает о себе знать, ему до всего дело, у него есть желания, безотносительные к своей личной судьбе, он глубоко озабочен, так сказать, нравственным тонусом своих современников, и опыт большой жизни дает ему право на добрые наставления — вкуче как бы строки заветования старшего друга перед близкой разлукой с более молодыми:

Старайтесь сохранить тепло стыда,
Всё, что вы в мире любите и чтите,
Нуждается всегда в его защите
Или исчезнуть может без следа.

*

Да будет мягким сердце, твердым — воля!
Пусть этот нестареющий наказ
Напутствием послужит каждой школе,
Любой семье и каждому из нас...

*

Как вежлив ты в покое и в тепле.
Но будешь ли таким во время давки
На поврежденном бурей корабле
Или в толпе у керосинной лавки?

Неизменно мысль его обращена к судьбе искусства, к добытым в труде, а не усвоенным понаслышке его заветам:

Питает жизнь ключом своим искусство.
Другой твой ключ — поэзия сама.
Заглох один, — в стихах не стало чувства.
Забыт другой, — строка твоя нема.

Четверостишия, посвященные теме искусства, чаще всего — категорическое утверждение одной из любимых мыслей поэта:

К искусству нет готового пути...
Искусство строго, как монетный двор...

Дождись, поэт, душевного затишья,
Чтобы дыханье бури передать...

К этим и другим излюбленным мыслям Маршак обращается и в своих литературно-критических статьях и заметках, в своих изустных беседах с молодыми и немолодыми собратьями по перу.

Мы помним, как он восторгался в статье о сказках Пушкина двустишием:

Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

Среди «лирических эпиграмм» мы встречаем вещь, явно подсказанную пушкинским двустишием, но обладающую самостоятельной прелестью лаконической композиции:

Пусть будет небом верхняя строка,
А во второй клубятся облака,
На нижнюю сквозь третью дождик льется,
И ловит капли детская рука.

Но подобные частные условия утверждаемой Маршаком поэтики подчинены главному, объемлющему их завету правдивости искусства:

Как ни цветиста ваша речь,
Цветник словесный быстро вянет.
А правда голая, как меч,
Вовек сверкать не перестанет.

34 Запоминаются с первого раза взвешенные, обдуманые и чеканно выраженные наблюдения и предупреждения поэ-

та относительно «секретов» мастерства. Музыка — первооснова поэзии, но для нее губительна та музыка, что вылезает

...наружу, напоказ,
Как сахар прошлогоднего варенья.

Маршак — самозабвенный поборник строгой отделки стиха, однако он против окостенения формы, против «чистописания»:

Но лучше, если строгая строка
Хранит веселый жар черновика.

А какой бесповоротной, убийственной формулой звучит двустипшие, заостренное против одного из тлетворных соблазнов литературной жизни:

Ты старомоден. Вот расплата
За то, что в моде был когда-то.

Лирика Маршака обнаруживает некоторые совсем скрытые до последней поры возможности его поэзии.

Так, в стихах для детей не просматривалось собственное детство автора, точно бы он сам носил тогда, как его герои и читатели, пионерский галстук. Мотивы природы, смены времен года выступали в условной, отчасти подчиненной интересам спортивного сезона форме.

В лирике Маршак впервые обращается к памятным впечатлениям детства, решающего периода почти для всякого художника в смысле накопления тех запасов, к которым он обращается всю остальную жизнь, лишь пополняя их позднейшими приобретениями, но никогда полностью не исчерпывая и не меняя целиком:

Я помню день, когда впервые —
На третьем от роду году —
Услышал трубы полковые
В осеннем городском саду...
И помню праздник на реке,
Почти до дна оледенелой,
Где музыканты вечер целый
Играли марши на катке...

Поэт благодарен тем давним впечатлениям, открывшим для него «...звуковой узор»,

Живущий в пении органа,
Где дышат трубы и меха,

И в скрипке старого цыгана,
И в нежной дудке пастуха, —

«звуковой узор», в котором жизнь «обретает лад и счет».

Юные читатели, как известно, не жалуют вниманием описания природы, также и автор популярнейших книжек для детей не навязывал им этой обязательной «художественности». Но, оставшись лицом к лицу со старостью, с испытаниями недугов возраста, он переживает повышенное чувство мира природы:

Возраст один у меня и у лета,
День от дня понемногу мы стынем...

Все же и я, и земля, мне родная,
Дорого дни уходящие ценим.

Вон и береза, тревоги не зная,
Нежится, греясь под солнцем осенним.

Неожиданно появляются в этих стихах Маршака и березка-подросток, глядящаяся в размытый след больших колес, и кусты сирени, и озаренные летним утренним солнцем «стены светлые, и ярко-желтый пол, и сад, пронизанный насквозь жужжаньем пчел».

И какими освобождающими от бремени годов, болезней и горьких раздумий являются стихи, в которых это бремя вдруг запечатлено, выражено с победительной насмешкой над ним, над самим собой:

Вечерний лес еще не спит.
Луна восходит яркая.
И где-то дерево скрипит,
Как старый ворон, каркая.

Все этой ночью хочет петь.
А не способным к пению
Осталось гнутья да скрипеть,
Встречая ночь весеннюю.

Нельзя, между прочим, не заметить в скобках, что такая сложная, требующая немало напряжения психофизиологических сил форма жизнедеятельности, как творчество, оказывается возможной и тогда, когда этих сил уже явная нехватка, и при том, что предметом творческого выражения могут быть самое тяжкое состояние духа, отвращение к жизни, отчаяние, как это мы видим на примере поздней

лирики П. А. Вяземского. По содержанию этих его стихов, казалось бы, уже не стоит делать никаких усилий даже для того, чтобы пить утром кофе, одеваться и т.п. А между тем этот одолеваемый безнадежной хворостью, от «смерти только смерти» ждущий старик, напрягая память и воображение, вызывает к жизни в определенном ладу и ряду слова и строки, добивается их послушного построения, наибольшей выразительности, находя в этом труде некую горькую усладу.

В этом смысле С. Я. Маршак в своей прощальной лирике яснее и понятнее. Он ищет в ней опоры, достойного примирения с неизбежным, обращаясь в окружающем его мире картин и идей к самому дорожному для него в жизни, как бы ни близка она была к финалу. И хотя он говорит:

Мир умирает каждый раз
С умершим человеком,—

он не хочет на этом поставить точку, он хорошо знает, что только человечество в целом есть человек, что на месте выпавшего звена цепь жизни смыкается, он верит, что

Не погрузится мир без нас
В былое, как в потемки.
В нем будет вечере сейчас,
Пока живут потомки.

Нужно ли говорить, что Маршак не мог не чувствовать той мощной душевной опоры, какую давало ему сознание огромной общественной значимости его работы в литературе, связь с многомиллионной армией читателей, наибольшую часть которых составляли те, кому принадлежит будущее.

В ритмике, языке, интонациях негромкой, сосредоточенной речи, в стремлении к афористической завершенности лирических миниатюр Маршака нетрудно заметить следы опыта его переводческой работы. Можно даже сказать, что он обнаружил в себе лирика в практическом, рабочем соприкосновении с высокими образцами мировой лирической поэзии, в первую очередь — Бернса и сонетов Шекспира.

Но этот опыт здесь смыкается с живой потребностью личного высказывания, исповеди сердца и проповеди самых дорогих для поэта нравственных и эстетических заветов.

Это сообщает лирике Маршака самостоятельную ценность, как принято у нас выражаться, «самовыражения», если, конечно, не придавать этому слову, как некоторые, значения греховности. Искренность этого лирического самовыражения особо скрепляется тем, что носитель ее не молодость, более подверженная соблазну подражания вдруг возникающей моде, а возраст, которому уже незачем казаться чем-нибудь, — ему важнее всего быть самим собой. Это одно из бесспорных преимуществ старости, пусть не очень веселых.

Как это нередко бывает, С. Я. Маршак долго болел, слабел, а умер почти что внезапно, как бы уронив перо на полустроке и сообщив особую знаменательность незадолго до того написанной прекрасной строфе:

Немало книжек выпущено мной,
Но все они умчались, точно птицы.
И я остался автором одной
Последней, недописанной страницы.

1951—1967

ЛИНИЯ ПУШКИНА

(Речь на юбилейном вечере С. Я. Маршака 14.XI.1947 г.)



ы собрались здесь для того, чтобы отметить 60 лет жизни нашего общего друга, старого товарища и соратника, Самуила Яковлевича Маршака.

Самуил Яковлевич принадлежит к самым крупным писателям нашей Советской страны, к той когорте писателей, которые принесли советской литературе общенародное признание и мировую славу.

Как о писателе такого масштаба, о Самуиле Яковлевиче можно много говорить и отмечать самые различные стороны его великолепного таланта...

Со своей стороны, я хочу остановиться только на двух сторонах его творчества.

Мне кажется, что если рассматривать Самуила Яковлевича в разрезе детской литературы, то он является *первым* во всей той линии развития советской детской литературы, которая выделяет ее в мире, как основательницу совершенно новой, принципиально новой литературы для детей. Маршак в полной мере является отцом этой литературы, и новаторство его в этой области имеет настолько принципиальное значение, что можно смело, без преувеличений сказать, что творчество Самуила Яковлевича для детей является новым словом в мировом развитии детской литературы.

В чем я вижу эту особенность Маршака как детского писателя? Я вижу ее в том, что он первым среди всех писателей, существующих в мире, сумел рассказать самым маленьким детям о содержании нашей новой жизни, передать им новые идеалы, то есть, короче говоря, заговорить с детьми младшего возраста по самым основным вопросам политики, о чем никто и никогда за все время существования

детской литературы с детьми этого возраста не разговаривал. Существовало представление, что детям, самым маленьким, можно прививать только общие понятия о добре и зле, справедливости и несправедливости, честности и нечестности. И действительно, попытки некоторых псевдовоспитателей в псевдокоммунистическом духе преподавать маленьким детям вопросы политики как бы подтвердили эту истину: нам пришлось исправлять многое из того, что было сделано в советской школе, именно потому, что эти люди неумно и неумело обращались к маленьким детям с политическими вопросами и задачами и терпели крах.

И Маршак, собственно говоря, первый в развитии детской литературы сумел и доказал, что можно рассказать советским детям решительно все самое главное и важное о том, что отличает наше советское общество, наш советский народ и Советское государство от всякого другого. Он сумел рассказать им и о национальной розни и дискриминации, и о колониальной зависимости. Он сумел рассказать им о характере и значении нашей Советской Родины и нашего государства и его отличии от государства в прежние времена.

И все это ему удалось потому, что он все эти большие вопросы взял в общем гуманистическом разрезе развития человечества и сумел эти понятия передать детям через всю новую конкретность советской действительности.

Если вы возьмете творчество Маршака с самого начала его деятельности и до последних его вещей, в частности последней поэмы¹, то вы убедитесь в справедливости моих слов.

Надо сказать, что все лучшие силы детской литературы, которые работают сейчас для младшего детского возраста, те, которых мы хорошо знаем, — Сергей Михалков, Агния Барто и, может быть, другие, — все они в этом отношении являются учениками Маршака, последователями именно его линии. Жизнь показала, что именно линия Маршака и есть наиболее жизненная линия. Вдруг оказалось, что этот, избранный Маршаком, наиболее трудный путь передачи детскому сознанию самых высоких и сложных понятий политики, понятий большого социального содержания, — этот путь и оказался наиболее верным путем. Те же писатели, которые пытались решать эту задачу без учета огромных изменений, принесенных советским строем, и обращались

к детям в обычной, традиционной манере, оперируя примерами, взятыми или только из животного царства, или только из детской игры, как таковой, или увлекаясь отвлеченной, абстрактной фантастикой западноевропейского происхождения, — эти писатели не имели настоящих, больших последователей в развитии детской литературы именно в силу того, что они не ответили духу нового советского ребенка и не принесли с собой чего-то принципиально нового, а были только большим или меньшим «усовершенствованием» того, что уже существовало в прошлом.

Поэтому я прежде всего и хочу отметить эту главную сторону в творчестве Маршака: он является новатором мирового масштаба в развитии детской литературы, потому что сказал в ней действительно новое слово детского писателя социалистического общества.

Вторая черта творчества Самуила Яковлевича, на которой я хотел бы остановиться, — это черта, которая относится уже, так сказать, ко всем сторонам его творческой деятельности.

Как вам известно, Маршак является не только детским писателем. Маршак является автором драматических произведений, опирающихся на сказочную традицию. Маршак является автором замечательной политической сатиры, за которую он так же, как и за свою драматургическую деятельность, получил звание лауреата Государственной премии. И наконец, Маршак является великолепным переводчиком западноевропейской, в частности английской, поэзии, которая в переводах Маршака, в его художественной интерпретации стала фактом русской поэзии.

На первый взгляд кажется, что эти разные стороны как бы несовместимы. Может возникнуть вопрос — что же, собственно говоря, соединяет их в одном человеке и чем можно объяснить, что он занимается одновременно, и притом успешно, стихами для детей, драмой-сказкой, надписями и подписями к карикатурам и плакатам, переводами Шекспира и стихотворениями Бернса? Как это соединяется в одном человеке, что во всем этом общего?

Мне кажется, что это соединяется в Маршаке через изумительное и не так часто распространенное качество, существующее в нем (может быть, в наибольшей степени, чем среди других наших поэтов) светлое и прозрачное пушкинское начало, при котором Маршаку решительно все, к чему бы ни притронулась его рука, хочется сделать очень ясным, светлым, прозрачным, гармоничным. И если

вдуматься в формальную сторону этих очень разных видов творческой деятельности Маршака, то мы в этой формальной стороне можем отметить именно *это* общее начало. Берется ли Маршак за политическую сатиру или сказку, за перевод Шекспира или за детское стихотворение, он все это воплощает в формы необычайно простой, прозрачной, ясной поэтики. Всем своим творчеством он является коренным отрицанием формалистической линии в поэзии, и не только формалистической линии, а коренным отрицанием всякой литературы в поэзии.

Вот это стремление и желание — любой факт прямой политики или фольклора или специфику перевода на русский поэтический язык другого поэтического языка перевести в ту же прозрачную, естественную ясность, какой может быть написан любой стих для ребенка самого младшего возраста, — вот это и есть то, что является для Маршака источником его, если хотите, профессиональной гордости. В сущности говоря, если бы маленькие дети были бы так же образованны в прямой политической борьбе нашего времени, то есть знали бы, что за люди противостоят в этой борьбе друг другу, то они смогли бы понять и подписи Маршака под плакатами, и его эпиграммы, которые печатаются в «Правде»: многие из них они уже понимают — те, где нет собственных фамилий, где дети не могут еще знать, что за люди там изображаются. Но во всем остальном это может быть понятно и ребенку.

Все, что мы знали у Шекспира, у Бернса, у Китса, у других английских поэтов, над чем ломали копыя и раньше поэты России и что стояло перед нами всегда как некий сложный ребус, за которым мы должны были угадать живые чувства, страсти и движения разума автора этого творения, — все это в переводах Маршака предстало как художественный факт нашего общего поэтического развития. Самые сложные мысли, нюансы и оттенки Шекспира зазвучали вдруг в переводах Маршака с необычайной ясностью, предстали перед нами в их подлинной гармонии, также пронизанные этим удивительным светом необычайно ясного, порой до наивности, так сказать, почти детского пера, которое все самое сложное и трудное перевело на язык простого, ясного, прозрачного и светлого.

Эта черта — одна из замечательных черт и сторон пушкинского гения. Конечно, у нас нет Пушкина. К сожалению, наш Пушкин еще не родился. Но в нашей критике и литературоведении существует ложное представление, что будто

бы в развитии советской поэзии вообще отсутствует, собственно говоря, самая генеральная линия великой русской поэзии — линия Пушкина. Обычно наши современные творческие направления делят в зависимости от того, идут ли они от русского символизма, от французского символизма, от акмеизма или от Некрасова и т. д. И находится много таких линий. Создается впечатление, что в развитии современной советской поэзии вообще нет самой главной линии — пушкинской линии. А стоит посмотреть творчество наших поэтов под этим углом зрения, как мы сразу увидим: нет, у нас есть пушкинская линия, у нас только Пушкина нет еще пока.

С. Я. Маршак идет в нашей поэзии именно по этой *пушкинской линии*. Если искать родства его стихов с какими-нибудь стихами в прошлом, то они прежде всего родственны пушкинскому стиху. И пусть это парадоксальное мое утверждение не будет вами принято в том смысле — а что похожего у него на «Полтаву» или на «Я помню чудное мгновенье»? Пусть это будет понято в том прямом и в то же время сокровенном смысле, в каком я сказал: творчеству Маршака присуща пушкинская ясность стиха, прозрачность, отсутствие литературщины, принятие стиха только тогда, когда он может с такой же ясностью и прозрачностью дойти до любого читателя.

Я считаю для себя лично достаточным остановиться на этих двух сторонах поэтического творчества Маршака, которые делают его для меня, как его товарища и работника в литературе, поэтом совершенно необыкновенным, незаурядным, исключительным и именно поэтому дают мне право назвать его одним из самых крупных писателей и поэтов современности.

СВЕТИ МНЕ, ДОБРАЯ ЗВЕЗДА



адушен дом и прост обличьем,
Желанным гостем будешь тут,
Но только знай,
что в роге бычьем
Тебе вина не поднесут.

Пригубишь кофе — дар Востока,
Что черен, словно борозда.
И над столом взойдет высоко
Беседы тихая звезда.

Росинки родственное слово
Вместит и солнце и снега,
И на тебя повеет снова
Теплом родного очага.

И припадет к ногам долина
Зеленых трав и желтых трав.
И все, что время отдалило,
Вплывет, лица не потеряв.

Хозяин речью не туманен,
Откроет,
уважая сан,
Он книгу, словно мусульманин
Перед молитвою коран.

И современник не усталый —
Шекспир положит горячо
Свою ладонь по дружбе старой
Ему на левое плечо.

И вновь войдет,
раздвинув годы,
Как бурку, сбросив плед в дверях,
Лихой шотландец, друг свободы,
Чье сердце, как мое, в горах.

Еще ты мальчик вне сомненья,
Хоть голова твоя седа,
И дарит мыслям озаренье
Беседы тихая звезда.

Тебе становится неловко.
Что сделал ты? Что написал?
Оседланная полукровка
Взяла ли горный перевал?

А если был на перевале,
Коснулся ль неба на скаку?
Мечтал тщеславно не вчера ли
Прочешь стихи ты Маршаку?

Но вот сидишь пред ним и строже
Расцениваешь этот шаг,
Повинно думая:
«О, боже,
Ужель прочел меня Маршак?»

А у него глаза не строги
И словно смотрят сквозь года...
В печали, в радости, в тревоге
Свети мне, добрая звезда.

*Перевел с аварского
Яков Козловский*

ЧАСТИЦА ВРЕМЕНИ

Пока в руках у нас частица времени,
Пускай оно работает для нас.

С. Маршак



самых ранних годах я пишу здесь не только по собственным воспоминаниям, но также пользуясь тем, о чем часто рассказывалось в семье.

Об этом времени помнят, к сожалению, уже немногие. Мне хотелось передать в этих воспоминаниях то главное, чем жила наша семья: духовную близость и дружбу между всеми нами, жизнерадостность и чувство юмора, которые скрашивали и нужду и трудности жизни.

Душой нашего маленького мирка всегда был Самуил Яковлевич. Когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, я ясно вижу, как вся она проникнута его пристальным вниманием ко всем нам, заботами о каждом из нас, участием в жизни каждого.

Самуил Яковлевич был литературным учителем и наставником младшего брата и сестры — будущих писателей М. Ильина и Елены Ильиной.

НА МАЙДАНЕ

Окраина Острогожска. Майдан. Мне около трех лет. Рано утром мама идет на базар. В руке у нее большое ведро. Зая — моя сестра¹ — говорит, что в ведре мама принесет вишни и сварит варенье, а потом на ужин нам будут давать по целому блюду варенья с хлебом.

¹ Зая, Заинька — семейное прозвище, которое наш отец, Яков Миронович Маршак, дал старшей дочери, Сусанне.

Перед уходом мама просит нашего старшего брата Сему¹ хорошенько за нами присматривать, а то мы еще убежим за ворота или на задний двор, где мусорная яма. И еще мама просит Сему не пугать нас бутылкой. Мы очень боимся, когда Сема глухим — каким-то не своим — голосом, будто голос этот идет из самой бутылки, говорит:

— Открой бутылку, закрой ее. Старый барин хочет умереть.

Старого барина мы не так уж боимся, пусть умирает, если хочет. Но бутылка... Зачем-то ее сначала нужно открыть, а потом закрыть... Это очень страшно.

После маминого ухода Сема начинает делать нам бумажных человечков. Он ловко скручивает из бумаги головы, ноги, руки, и человечки получаются, как настоящие. Потом из таких же бумажек Сема делает мебель — столы, стулья, кровати. Делаются все они одинаково. Переверни стол — и это уже не стол, а кровать, а если положить набок кровать — получается диван. Когда все готово, Сема начинает игру «в человечки». За всех человечков говорит он один, а мы с Заем слушаем и хохочем, потому что Сема придумывает разные смешные истории.

Потом Семе надоедает играть «в человечки».

— Хотите, я вам покажу голубей, которые живут на чердаке? — спрашивает он.

— А мама нам не позволяет ходить на задний двор, там мусорная яма, — говорит Зая.

— Конечно, без старших ходить туда нельзя. Но вы же не одни, вы идете со мной.

И мы отправляемся на задний двор.

Там, в старом разрушенном доме, с выбитыми стеклами, с шаткой лестницей, живут одни только голуби.

— Ну не будьте трусихами, — говорит Сема, — я вас по очереди перетащу наверх.

Сначала он тащит по сломанным ступенькам меня. Это очень трудно, и мы поднимаемся медленно. Наверху маленький балкончик без перил.

— Держись за ручку двери, — говорит Сема, — и закрой глаза, а то у тебя может закружиться голова, и ты свалишься вниз.

И он спускается за сестрой.

Я послушно закрываю глаза, но ведь ходить можно и с закрытыми глазами. Я делаю шаг, другой и лечу куда-

¹ Уменьшительное имя Самуила Яковлевича Маршака.

то, как на крыльях. Открываю глаза и вижу, что лежу на каких-то бумажках и тряпках, а рядом со мной целая куча стеклышек, которые так и горят на солнце. Я хочу пододвинуться немножко, чтобы набрать их в свой фартучек, но тут подбегает Сема и вытаскивает меня из ямы, и я слышу, как Зая плачет. Я тоже поднимаю рев. Бедный Сема не знает, как нас успокоить.

— Вот что, — говорит он, — давайте-ка спустимся в леваду и соберем для мамы большой букет цветов. Согласны?

Мы сразу перестаем плакать, ведь в леваду нас тоже никогда не пускают, — там очень глубокий овраг, и спускаться нужно по крутой дорожке.

Левада — сразу за нашим двором. Мы благополучно сбгаем вниз и бросаемся рвать цветы. Сколько их тут! Красные, желтые, синие!

— У тебя ничего не болит? — спрашивает Сема. — Ты ведь упала со второго этажа, и я боюсь, не сломана ли у тебя спина.

У Семы сейчас такое лицо, какое бывает у мамы, когда она волнуется. Сема ощупывает мою спину и говорит Зае:

— Потрогай это место, по-моему, у нее здесь какой-то бугорок. Только не торопись и будь внимательна.

Зая тоже тычет пальцем мне в спину.

— Никакого бугорка здесь нет, — говорит она, — это просто пуговица.

Сема с раздражением машет рукой:

— Я же тебе не о пуговице говорю. Ну ладно, я сбгаю наверх, а вы сидите на одном месте и не шевелитесь. А если вы встанете, то увидите, что будет!

И он начинает тянуть глухим голосом: «Открой бутылку... закрой ее...»

Мы зажимаем уши и не даем ему договорить. Конечно же мы будем сидеть на одном месте, только бы не слышать этих страшных слов.

Не успевает Сема подняться наверх, как уже снова спускается в овраг вместе с Моне¹. Моня тоже наш брат. Он уже совсем большой, даже старше Семы. Когда мы ему мешаем заниматься, он очень сердится. Ведь у него скоро экзамены.

— Ну, что у вас тут случилось? — говорит Моня и морщит лоб совсем как взрослый. — Где у тебя болит? — спрашивает он у меня.

Я долго рассматриваю свои руки, нахожу след от уже зажившей царапины и показываю:

— Вот где болит!

— До чего же она глупа! — возмущается Моря.— Прямо уму непостижимо! А ну повернись! — командует он. И так же, как и Сема, начинает исследовать мою спину.

— Вот здесь я нащупал какой-то бугорок, около шеи,— говорит Сема.

— Вот это? — смеется Моря.— Так это же самый обыкновенный позвонок, как у всех людей.

— Ты уверен? — Сема с облегчением вздыхает.— Какое счастье, ведь я думал, что начинает уже расти горб.

— Ну, пошли домой,— говорит Моря.— И не нужно рассказывать маме о том, что случилось. Зачем ее волновать.

Около дома мы встречаем маму. В одной руке у нее ведро с вишнями, а в другой — два одинаковых совочка с желтыми ручками. Мы с сестрой в восторге от подарка и бежим в угол двора, где навален песок. Мы будем строить дом из песка для Мышки-Капышки-Локшин-Дрыжки, про которую нам всегда рассказывает папа.

Мышка-Капышка живет со своими мышатами у нас в столовой под буфетом, а теперь у нее будет собственный дом.

Мы так заняты игрой, что не видим, как вернулся с завода папа.

— Зайчик, Дудочка! — слышим мы его голос.

Мы бежим ему навстречу. От папиных рук, от его рабочей куртки пахнет мылом.

— Что ты принес? — спрашиваем мы, заметив в его руке какой-то сверток.

— Это проба,— говорит папа и показывает нам кусок белого-белого мыла с синими разводами. Оно еще теплое и совсем мягкое, только что из котла.

Мы заходим в дом. В столовой, под висячей лампой уже накрыт стол.

— Что это? — спрашивает папа, входя в комнату.— Вы еще не обедали? И почему у вас такая тишина? Семы, верно, нет дома?

— Нет, он дома,— говорит мама, показывая на дверь соседней комнаты.— Только он сегодня грустный какой-то, притихший, боюсь, не заболел ли.

Папа открывает дверь в соседнюю комнату. У окна за столом сидит Сема и, низко склонившись над тетрадкой, что-то пишет.

Папа подходит к нему и кладет свою широкую ладонь ему на лоб.

— Ты здоров? Голова не болит? Что с тобой?

— Папочка,— говорит Сема,— случилось большое несчастье: Юдя упала со второго этажа, и я боюсь, что у нее вырастет горб.

Папа не на шутку напуган.

— Со второго этажа, говоришь? Это с чердака? Но как же она туда попала? А мама знает? Постой, но ведь Юдя бегаёт как ни в чем не бывало. Ну, расскажи, как же это случилось.

И Сема, ничего не утаив, рассказывает отцу, как все было.

— Я думаю, что все обойдется,— говорит папа и сажает Сему к себе на колени.— Юдю мы все-таки покажем врачу. А лестницу нужно поскорее убрать, а то вы все и вправду станете калеками.

— Ну конечно, надо убрать! — говорит Сема.— Ведь на чердак можно лазить и по приставной лестнице.

Папа улыбается и качает головой.

— Мы с мамой иногда забываем,— говорит он,— что и ты у нас еще маленький. Требуем от тебя, как от большого, чтобы ты следил за младшими. А за тобой самим еще нужно присматривать! Ну-ка, сынок, дай мне прочесть, что ты там пишешь.

Папа берет тетрадку и громко читает:

Один сижу я,
Кругом все тихо.
Печально с неба
Сияет месяц,
Как будто что-то
Сказать он хочет.
Один сижу я.
Кругом все тихо...

— Это ты сочинил? — спрашивает папа.

— Да так, пустяки... Знаешь, папочка,— говорит Сема,— когда у меня накопится много стихов, я перепишу их для тебя в синий бархатный альбом, что лежит на этажерке...

— Спасибо,— говорит папа.— Я горжусь тем, что у меня сын поэт. Но пока еще этому поэту нужно много учиться, и в первую очередь научиться писать красивым почерком...

Через три года Сема исполнил обещание и подарил
50 отцу стихи, переписанные в синий бархатный альбом.

На первой странице красивым, ровным почерком было написано посвящение, из которого я запомнила такие строки:

.
Прими от сына первый дар.
Не ты ль во мне создал поэта?
Не ты ли бросил искру света
В мой ум и зародил пожар
В моей груди?

В ЛЕСНОМ

Вспоминаю наше первое петербургское лето, дачу в Лесном. Двор наш был большой и многолюдный. Калитка в глубине двора выходила в лес — в Сосновку. Но нам, детям, к огорчению родителей, больше нравилось околачиваться в голое, почти без зелени, дворе.

Старший брат и его товарищи решили устроить на даче свой театр. В саду у одного из гимназистов построили настоящую сцену с занавесом и даже с суфлерской будкой. Выбрали пьесу. Начали учить роли. Брат уже ни о чем другом не в состоянии думать. Он так увлечен своей ролью, что иногда по ночам вскакивает с постели, становится в позу и произносит монолог.

У Семы же нет терпения учить роль и ходить на репетиции. Он будет участвовать в дивертисменте — читать свои стихи.

— Ты хоть знаешь, что будешь читать? — спрашивает отец, видя, что сын меньше всего думает о своем выступлении.

— Да, да, — рассеянно отвечает Сема, углубившись в раскрытую книгу.

— Что же ты прочтешь?

Ответа нет. Сема весь ушел в книгу.

На представление мы отправляемся всей семьей.

Сад нарядно украшен разноцветными фонариками, развешанными на ветвях деревьев. Вдоль всей сцены — гирлянды из живых цветов и зелени. Перед сценой много рядов скамеек, уже заполненных зрителями.

Но вот на сцене Сема.

— Поэт. Подражание Пушкину, — звонким голосом говорит он и начинает читать:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В зубрежку греческих глаголов
Он малодушно погружен.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Тогда поэт от сна очнется,
И греческий глагол — под стол!

Он читает одно стихотворение за другим. Ему не дают уйти со сцены. После каждого стихотворения — гром аплодисментов.

Когда публика начинает расходиться, к отцу подходит один из зрителей.

— От души поздравляю вас, — говорит он, — у вас талантливые сыновья. Младшего я хотел бы познакомить с моим другом, известным петербургским меценатом, Давидом Гинзбургом. Если позволите, я зайду за мальчиком утром, а к вечеру верну его вам целым и невредимым.

На другой день рано утром Сема уехал, а к вечеру отец получил письмо, в котором Давид Горацевич Гинзбург просил разрешения оставить у него мальчика еще на несколько дней, он хочет поехать с ним в Старожилвку, к Стасову.

Знакомство с Владимиром Васильевичем Стасовым сыграло большую роль в судьбе брата.

В этом же году, по просьбе Стасова, брат написал текст к кантате Глазунова и Лядова «На смерть Антокольского».

Хор и оркестр Мариинского театра, под управлением дирижера Сука, исполняет кантату.

...И на пути его великом
Погибших воскрешал и камню душу дал,
И сердце в нем зажег. Свершен великий подвиг.
И гений пал... —

поет хор.

Когда после окончания кантаты публика требует авторов, на эстраду выходят маститые, всем известные Глазунов и Лядов, держа за руки третьего автора, которому на вид нельзя дать и его четырнадцати лет.

Родителей, находящихся в зале, поздравляют. Их знакомят с Владимиром Васильевичем Стасовым.

Домой они приезжают счастливые, но и несколько встревоженные. Особенно отец. Он боится, как бы ранний успех не помешал нормальному учению сына. Он видит, что уже и сейчас гимназия для мальчика отошла на второй план и что он чаще и чаще пропускает занятия.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Помню в нашем дворе за Московской заставой заброшенный полуистлевший от времени дом. Собственно говоря, это был уже и не дом, а какие-то жалкие его останки. Единственно, что уцелело, — это терраска, пристроенная, вероятно, гораздо позже.

Чем только не была для нас эта маленькая терраска: и крепостью, которую мы брали с боем, и кораблем, плывущим в океане, и стоянкой путешественников, открывающих новые земли.

Нередко к нашим играм присоединялся и Сема.

Он с таким жаром входил в роль капитана корабля, главнокомандующего армии или вождя какого-нибудь дикого племени и так увлекал нас своей неистощимой фантазией, что мы совершенно забывали о существовании какой-то другой жизни.

Путешествия мы совершали не только во время игр. Мы побывали с нашим братом в зоологическом саду, были с ним в Зоологическом музее, где под потолком был подвешен огромный кит. Ходили и в Эрмитаж.

Брату было лет шестнадцать, когда впервые опубликовали его стихотворение.

«Мне в редакции, — писал он в одном из своих писем Владимиру Васильевичу Стасову, — установили по десять копеек за строчку...»

Брат пообещал нам с сестрой, что на первый же гонорар поведет нас в Народный дом.

Больше всего в Народном доме нас прельщала театр — настоящий театр, а не импровизированный, какой устраивался у нас дома и в котором принимала участие вся наша семья, от мала до велика. Обычно Сема перед самым представлением придумывал сюжет, распределял роли, а дальше начиналось свободное творчество каждого из актеров. На «первых ролях» неизменно бывали старший брат Моисей и сестра Заинька. У обоих, по мнению зрителей, был подлинный актерский талант.

Наша «Бродячая труппа Маршак» выезжала и на «гастроли». Нас наперебой приглашали к себе родственники и знакомые.

Итак, мы с нетерпением ожидали обещанной поездки в Народный дом.

Брат чуть ли не каждый день заходил в редакцию журнала, надеясь получить гонорар. Денег все не давали.

Но вот однажды он пришел, вернее, прибежал домой радостный и взволнованный. Завтра наконец выдадут деньги, и мы сможем отправиться в Народный дом.

— Если будет хорошая погода, — сказала мама.

Но разве может быть плохая погода весной, когда уже показалась зеленая травка и начали распускаться листья?

Радостные, бесконечно счастливые легли мы в этот вечер спать. Ночью я проснулась от шума ветра, бушевавшего за окном. «Неужели и завтра так будет?» — с ужасом подумала я.

Первое, что я услышала утром, это был разговор родителей за перегородкой. Заинька уже тоже не спала и с тревогой прислушивалась к их голосам.

— Но ведь можно потеплее одеть их, — нерешительно говорил папа.

— Нет, Яков, — возражала мама, — это безумие — отпускать детей в такую погоду. Посмотри, что творится на улице. Настоящая зима. Наверно, идет ладожский лед.

Мы с сестрой посмотрели в окно и прямо ахнули. Все пропало. Никуда мы сегодня не пойдем. Молодая травка, еще вчера ярко-зеленая, как мукой посыпана снегом. Огромные снежинки, подгоняемые ветром, беспорядочно кружатся в воздухе.

— Посмотрите, какая прелесть! — послышался голос Семы. — Травка под снегом. Правда, это похоже на зеленые щипы со сметаной? Собирайтесь быстрее, — торопит он нас, входя в комнату. — Нам еще нужно зайти в редакцию за деньгами.

С появлением брата все сомнения относительно поездки сразу исчезают. Начинаются суета и сборы в дорогу.

И вот мы уже шагаем по мокрым и скользким деревянным мосткам по направлению к Московским воротам.

— Не простудитесь, — кричит нам вдогонку мама, — и не потеряйтесь. Держитесь друг за друга!

Мама не может забыть, как мы в зоологическом саду чуть не потеряли самую младшую сестру, Лелю¹.

— Вы не знаете, где мой брат? — спрашивала тогда Леля у прохожих. Она, видно, не сомневалась, что ее брата все знают.

— Хотите играть в испорченный телефон? — спрашивает Сема, видя, что мы приуныли из-за плохой погоды

¹ Для Яковлевна Маршак-Прейс, впоследствии писательница Елена Ильина.

и особенно из-за зимних пальто, которые на нас напялили.

— Как? Втроем? — удивляемся мы с Заинькой. Для телефона больше людей нужно.

— Найдем и людей, — говорит брат, и мы подходим к конке, запряженной парой тощих и понурых лошадей.

В конке холодно и сыро. На полу лужи от растаявшего снега и растоптанной грязи.

Сема что-то тихо говорит студенту, сидящему рядом. Студент улыбается и кивает головой, глубоко ушедшей в кашне, — единственную теплую на нем вещь. Потом брат долго втолковывает, по-видимому, то же самое какому-то старичку, успешшему уже задремать в конке. У того сначала испуганный вид, но постепенно выражение его лица меняется. Он смеется и в свою очередь что-то говорит старушке рядом и показывает на нас.

И вот слово начинает передаваться от одного к другому. Игра началась. Скоро в испорченный телефон играет уже вся конка. Только две толстые женщины с большими рыночными корзинами на коленях не играют. Они неodobрительно качают головами и удивляются легкомыслию взрослых людей.

Но вот и Сенная площадь — конец маршрута. Мы прощаемся с нашими попутчиками, как со старыми знакомыми, и идем в редакцию. Долго идем по каким-то незнакомым улицам и переулкам. Около редакции брат оставляет нас.

Кажется, что прошла целая вечность с тех пор, как за ним захлопнулась тяжелая дверь.

— Он не придет, — говорю я мрачно.

— Не волнуйся, — успокаивает меня Заинька, — он не может не прийти. Не останется ведь он жить в редакции.

— Если и придет, то без денег, — продолжаю я тем же тоном.

Тут сестра не выдерживает.

— Почему ты всегда думаешь только о плохом? — говорит она с раздражением.

В самый критический момент, когда мы с Заинькой чуть не поссорились, появился наконец наш брат. Гимназическая шинель его распахнута, фуражка съехала на затылок. Еще издали показывает он три серебряных рубля, которые только что получил в редакции.

— Не простудились? — спрашивает он, а сам ищет глазами извозчика. Извозчик стоит на противоположной сто-

роне улицы. Кажется, что и лошадь и ее хозяин спят глубоким сном, — так они неподвижны.

— На Петербургскую сторону. В Народный дом, — говорит брат, расталкивая сонного извозчика.

Мы садимся в пролетку с поднятым вёрхом и едем.

— Побыстрей, пожалуйста, — просит Сема, — сестры у меня совсем замерзли.

— Замерзнуть недолго, — говорит извозчик, — мой папашка тоже замерз. Простоял ночь на морозе. Седок, видать, не попался, ну и отдал ни за что богу душу. В нашем деле без седока никак невозможно. А насчет лошадки вы не сомневайтесь — лошадка у меня добрая. Мигом домчит.

Извозчик поднимает кнут. Его добрая лошадка слегка поворачивает голову, искоса поглядывая на кнут, но шагу не прибавляет. И мы еле-еле плетемся по бесконечным улицам и переулкам.

Но вот наконец Петропавловская крепость, и скоро мыходим у Народного дома.

Купив билеты, мы мчимся на галерку и садимся на свои места в тот момент, когда гаснет свет и раздвигается занавес. Я силюсь разглядеть, что происходит на сцене, но напрасно. Я ничего не вижу. Я уже и не смотрю на сцену, а только слушаю музыку. Сестра заметила это.

— Ты ничего не видишь? — спрашивает она и что-то говорит брату. Тот срывается с места и исчезает в темноте. Его долго нет, мы уже не на шутку волнуемся. Но вот он возвращается. В руках у него огромный бинокль. Брат наставляет его по моим глазам, и — о чудо! — я вижу.

Я всегда думала, что мой брат немножко волшебник, но сейчас уже не сомневаюсь в этом. Конечно же он настоящий добрый волшебник.

В антракте мы идем обедать в ресторан Народного дома. Я до сих пор помню вкус жирного красного борща со сметаной, который мы тогда ели. В каждом антракте нас ждут все новые и новые удовольствия. В руках у нас наши портреты, правда, совсем не похожие на нас, но зато в рамках. Их только что нарисовал безрукий художник. Рисовал он ногой.

Видя, как брат без конца тратит на нас деньги и покупает все, на что бы ни упал наш взгляд, Заинька начинает волноваться:

— А у нас хватит денег на обратную дорогу?

56 Сема нервно роется в карманах, наполненных чернови-

ками стихов и бумажными человечками, с которыми он все еще не может расстаться.

— Как раз хватит на извозчика, — говорит он.

Обратно мы едем притихшие, переполненные музыкой и всеми впечатлениями этого дня.

НАШИ ЖУРНАЛЫ

«Черт знает что», «Лужица», «Звонари», «У камелька» — это названия наших домашних журналов.

В сущности, это был один и тот же журнал, который выходил под разными названиями из-за притеснений цензуры в лице ее главного цензора — нашего отца. Издателем же, редактором и почти единственным сотрудником был наш Сема.

«Черт знает что» просуществовал дольше других журналов и пользовался большой популярностью среди читателей. Погубило его совершенно безобидное, с точки зрения редакции, объявление: «Я был лысым и остался». Под объявлением был помещен рисунок с изображением человека до лечения и после.

Кое-кто из читателей журнала принял это на свой счет, и журнал «Черт знает что» был немедленно прикрыт.

Следующий номер вышел уже под названием «Лужица». Была ранняя весна, и редакция казалось это название в духе времени года. Но жизнь «Лужицы» была такой же кратковременной, как жизнь самой весны. Причиной ее гибели, как и ее предшественника, тоже было объявление: «Окончивший гимназию с золотой медалью ищет место дворника».

Старший брат Моня, только что окончивший гимназию с золотой медалью, прочитав объявление, принял его как личное оскорбление. Для этого у него были все основания. Дело в том, что незадолго до того, как объявление появилось в журнале, к нему во дворе подошел неизвестный, щеголевато одетый человек в цилиндре и спросил: «Вы дворник?»

Дальше разговор происходил в таком духе:

— Вы дворник?

— Что?!

— Вы дворник?

— Что-о!!

— Я вас спрашиваю: вы дворник?

— Что-о-о-о-о?!!

— Вы оглохли, что ли? Я вас уже десять раз спрашиваю: вы дворник?

Но кроме «что», звучавшего все громче и выразительнее, человек в цилиндре на свой вопрос другого ответа не получил.

Цензура полностью стала на сторону пострадавшего медалиста, и «Лужица» приказала долго жить.

Следующий журнал — «Звонари» — открылся звонким стихотворением:

Первым звоном грянули:
Дрогнула околица.
Новым звоном дернули:
Церковь вся расколется.

Гулко ходит колокол.
Пляшут колокольцы,
Словно рассыпаются
Несвязанные кольца.
Медные, медные,
Серебряные кольца.

Звонари присяжные,
Други-добровольцы!
Дуйте в гулкий колокол,
Бейте в колокольцы!

Отслужим обеденку —
Пусть народ помолится,
Отслужим обеденку —
Выйдем за околицу.

Водка ль там не царская?
Брага ль не боярская?
Брызжется и пенится,
Щиплется и колется.
Ой ли!

В журнале было также помещено начало большого романа Сусанны Маршак, начинающегося словами: «В доме была суматоха». Судя по первой фразе, роман был написан под влиянием только что прочитанной «Анны Карениной»: «Все смешалось в доме Облонских».

На этот раз цензуре, казалось бы, не к чему было придрататься, если бы не крошечный акростих, посвященный одной нашей знакомой:

Болтуня,
Езуитка,
Лгуня,
А вместе — ведьма.

Это решило участь и «Звонарей». Их песенка была спета. Вслед за закрытием журнала был издан запрет на издание журналов вообще.

Журнал «У камелька» с участием Л. Андрусона, Якова Година и Саши Черного вышел уже года через три. На этот раз редактором была младшая сестра — Леля. Роль ее, как редактора, сводилась главным образом к собиранию материала. По этому поводу Сема написал стихи, которые начинались так:

Редактировать журнал
Очень, очень трудно.
Прибывает материал.
Очень, очень скудно.

Рисунок для обложки сделал младший брат Люся¹. Он изобразил четырех стариков, дремлющих перед пылающим камином. Подписался он «Мистер Панкс», подражая брату, который придумал для себя псевдоним — Сэм Уэллер. Под этим именем он потом печатал свои стихотворные фельетоны.

К рисунку Мистера Панкса Саша Черный написал стихи, которые начинались словами:

У камелька, у камелька
Сидят четыре старика.
Один чихнул, другой зевнул,
А третий попросту уснул.

В журнале была помещена повесть Сэма Уэллера «От судьбы не уйдешь», с множеством таинственных приключений. Кончалась повесть тем, что от взрыва бочки с порохом погибли главный герой — отставной кондуктор Курицын — и все остальные действующие лица. Та же бочка пороха обычно фигурировала и в устных рассказах, которые Сема сочинял для младшего брата во время их прогулок. Очевидно, это был удобный способ разделаться с героями, когда они надоедали автору.

В ОДНОМ ИЗ ПЛАВАНИЙ

Мы, как Робинзоны, одни в огромном дворе за Невской заставой.

Не так давно здесь был большой мукомольный завод

¹ Илья Яковлевич Маршак. Впоследствии писатель М. Ильин.

с дымищими корпусами, узкоколейкой, по которой бегали вагонетки, конторой, где до сих пор красуется внушительная вывеска «Контора». Жизнь тогда была на полном ходу. Но хозяин завода прогорел, и сейчас здесь «мертвое царство».

В глубине двора работает только один небольшой корпус, где отец с двумя рабочими варит мыло.

Мыловаренному заводу, скорее похожему на мастерскую, контора не нужна, и вот Самуил Яковлевич устроил в ней свой рабочий кабинет. На большом, покрытом клеенкой столе, где раньше лежали счета и большие конторские книги, теперь разместились томики стихов, журналы, блокноты.

Вот стихи, которые С. Я. посвятил этому заброшенному и тихому уголку:

Здесь мой приют. Здесь Пушкин пятитомный,
«Архивный» Тютчев, Фета первый том.
Здесь мой приют приветливый, но скромный,
Пять бедных полок. Стол перед окном...

Вот наконец, убогий и бездомный,
Я отыскал неожиданно «стол и дом».
Проник сюда по лестнице укромной
И овладел пустынным этажом.

С этого времени Самуил Яковлевич становится профессиональным литератором. Его лирические стихи, стихотворные переводы, проза печатаются в газетах и еженедельных альманахах. Подписывается он иногда своим именем, а иногда и псевдонимами, которых было у него немало. Некоторые из них я запомнила: М. Кучумов, Уэллер, Нанди, Я. Самойлов, Михайлов, доктор Фрикен.

Работая в редакции «Сатирикона», брат знакомится со многими петербургскими литераторами. Познакомился он в это время и с А. А. Блоком, который тепло отозвался о его лирических стихах.

Среди близких друзей брата поэты — Саша Черный и Яков Годин. Оба они часто бывали у нас дома. Когда приходил Саша Черный, сразу же начиналось чтение стихов, и он и Самуил Яковлевич знали наизусть, чуть ли не целиком, многих поэтов, и, когда они бывали вместе, дом наш буквально наполнялся стихами. Яков Годин приходил чуть ли не ежедневно. Придет, бывало, с утра пораньше и уговаривает брата пойти «пощататься». Помню такие строчки из его шуточного стихотворения:

Я и Сема,
Бросив дома
Все заботы и дела,
Всюду бродим
И находим,
Что весна уже пришла...

В мае 1911 года Самуил Яковлевич в качестве корреспондента «Всеобщей газеты», в которой он сотрудничал, отправился в свое первое заграничное путешествие. С ним вместе поехал и поэт Годин.

Вот уже полгода путешествуют они по странам Ближнего Востока, откуда брат присылает в петербургские газеты и журналы очерки в прозе, шуточные и лирические стихи.

Давно скитаюсь — в пылкой радости
И в тихой скорби одинок.
Теперь узнал я полный сладости
И верный древности Восток.

И навсегда в одном из плаваний
Я у себя запечатлел,
Как бездна звезд мерцала в гавани
И полумесяц пламенел,—

пишет он во время одного из своих «плаваний».

В отсутствие брата мы снова успели поменять квартиру. В нашей коллекции застав прибавилась еще одна — Нарвская.

Ждем возвращения Самуила Яковлевича со дня на день. Мама уже волнуется, что он не едет, боится, не заболел ли. И действительно, ее предчувствие оправдывается: у брата приступ малярии, и он немного задерживается.

«А пока, вместо меня,— пишет он в письме,— приедет к вам моя невеста — Софья Михайловна Мильвидская».

В тот же вечер Моисей Яковлевич едет за невестой брата и привозит ее к нам.

Мы не можем отвести глаз от ее прекрасного лица, от ее прелестной улыбки.

Софья Михайловна рассказывает нам о том, как она познакомилась со своим женихом, как вместе ехали они из Одессы на пароходе. Показывает нам стихи, которые он ей прислал уже в Петербург.

Здравствуй, зимнее ненастье,
По волнам лечу к тебе.

Ропщут трепетные снасти
С ветром северным в борьбе.

Ледяная, здравствуй, нега!
В снежном крае ждет мой друг.
И легко, как в день побега,
Покидаю светлый юг.

Гаснет солнце золотое
Меж темнеющих зыбей.
Завтра выплывет другое —
И туманней и бледней.

Только светлое участие
Мне рассеет эту тьму —
Здравствуй, северное счастье.
Зимовать не одному.

13 января 1912 года Самуил Яковлевич и Софья Михайловна поженились, а осенью этого же года они уехали в Англию — учиться.

В АНГЛИИ

Помню, с каким нетерпением ждали мы писем из Лондона, как без конца читали их и перечитывали и как живо вставала перед нами далекая Англия, которую с детства мы знали только по Диккенсу.

«Сейчас здесь сыро и туманно,— пишет Самуил Яковлевич в одном из первых писем,— в комнате трещит камин, но и ему не весело. Ветер задувает пламя и наполняет комнату дымом. Дождь барабанит в стекла... Я сижу у камина, грею руки и напеваю: «Окол месяца звезды частые, ой лелюшеньки, звезды частые...»

Поселились брат с женой в доме, где студенты снимали комнаты с пансионом, в так называемом бординг-хаузе. Население бординг-хауза было разноплеменное. Жили там шведы и китайцы, японцы и индийцы.

Сусанна Яковлевна, приехавшая в Лондон позже, вспоминает рассказы друзей Самуила Яковлевича о жизни в бординг-хаузе. Как-то хозяйка дома из своей кухни, которая находилась в подвале, услышала доносившийся из столовой какой-то необычный шум. Когда она в испуге бросилась вверх и вбежала в столовую, глазам ее представилась странная картина: Самуил Яковлевич, стоя у стола, дирижировал ножом и вилкой, а все ее пансионеры, вместо того, чтобы обедать, нестройным хором что-то за ним повторяли. Софья Михайловна буквально покатывалась со смеху,

слушая, как студенты, каждый на свой лад, скандировали: «Щи да каша — пища наша». После этого хозяйка бордингауза ничему не удивлялась и не бежала наверх, когда ее постояльцы, засидевшиеся за ужином до поздней ночи, хором распевали: «Пускай могила меня накажет...» — она только качала головой и приговаривала: «О, эти русские!»

По приезде в Англию Самуил Яковлевич и Софья Михайловна сразу же со всем рвением принялись за изучение английского языка. Запоминали они, как рассказывали сестре их друзья, чуть ли не по пятьсот слов в день. Первая их учительница была в восторге от успехов своих учеников. Но когда они попросили ее продлить занятия после пяти часов вечера, она с ужасом воскликнула: «А когда же я буду пить свой чай?» Ей показалось, что ее чересчур усердные ученики посягают даже на неприкосновенность священного «файв-о-клок-ти».

Всего через три месяца после отъезда из России Самуил Яковлевич уже настолько знал английский язык, что смог отправиться в недельное путешествие по маленьким городкам Эппингфорреста — местности к северу от Лондона. Вот что он писал с дороги жене:

«...Я с самого начала моего путешествия отношусь к нему таким образом, будто читаю юмористический рассказ о путешествии мистера Маршака (из Петербурга) по Англии...

...Эппинг — маленький городок, почти местечко. Домики двухэтажные. Много гостиниц, паблик-хаузов, иннов. Очаровательная дорога идет в Харлоу и в лес.

На дороге великое множество велосипедистов, всадников, амазонок. Всадники — в белых жилетах и брюках и в красных смокингах. Дамы в обычных амазонках.

Встретил я сестру милосердия на велосипеде, старуху на велосипеде.

Сейчас по дороге в лес удивительно хорошо и тихо. Небо звездное. Городок тоже тихий-тихий. По сравнению с ним Берсфорд Роуд¹ — шумная улица.

Когда с дороги в лес возвращаешься в городок, ярко светятся огни, городок кажется очень приветливым.

Я вспоминаю стихи Стéфана Филиппса:

Но вот, когда под вечерок
Огнями ярко заблестит

¹ Улица в Лондоне, на которой жили С. Я. и С. М. Маршак.

Вдали — в тумане городок,
И сладкий отдых нам сулит...

...Я шел и думал следующее: если сравнить все неудобства и лишения моего пути с очарованиями, выпадающими мне на долю, — первые покажутся минутными и маленькими, а вторые — продолжительными и глубокими.

Мимо меня мчались на автомобилях джентльмены, обнимавшие своих тепло укутанных дам. Я думал: вот бы тебя, душеньку-голубушку, так прокатить по солнечной дороге среди зеленых полей и рощ!

Но если бы ты поехала со мной и мы бы двигались по той же дороге — пускай пешком! — поверь мне, мы были бы счастливее людей в автомобилях.

Но мы еще побродим. А от этой прогулки у меня останутся глубокие и долгие впечатления...»

Через четыре месяца после приезда в Лондон Самуил Яковлевич и Софья Михайловна смогли уже сдать экзамены и поступить в Лондонский университет: он — на филологический факультет, она — на естественный.

Студенты университета наблюдали за ними с любопытством и были немало удивлены, когда однажды Самуил Яковлевич объяснил непонятое ими содержание лекции. После этого его иначе не называли, как «высокообразованным русским». Профессора также обратили внимание на студента-иностранца. Часто во время общего завтрака его и Софью Михайловну приглашали к профессорскому столу, где велись интересные беседы о поэзии и философии.

В свободное от занятий время наши студенты бродили по Лондону. По воскресеньям они ходили слушать ораторов в Гайд-парке.

Вот как брат описывал их в письме:

«...Слышали и религиозных ораторов. Одному из них не везло. Его публику обуяла эпидемия хохота. Он — пламенное восклицание, а она хохочет. Он — цитату, а она хохочет.

Между прочим, он цитировал евангелие в том месте, где говорится, что перед Страшным судом на земле будут только воры, убийцы, клятвопреступники, мошенники и т. д. Рассеянно слушавшая аудитория подумала, что это он ее так честит.

— Он только один хорош! — иронически отозвался кто-то. — А все другие у него мошенники и плуты!

Был еще оратор-старичок, у которого оказался единственный слушатель, также старичок — пониже ростом и весьма жалкий на вид.

Первый говорил речь по всем правилам ораторского искусства, а второй кивал и говорил: «Hear, hear»¹

Из Лондона брат присылал в русские журналы и газеты много очерков, которые и сейчас дают яркое представление о жизни Англии десятых годов. Писал он о суфражистках, о кинематографе, о выставке «Детского благосостояния», о боксерах, о парламенте, о гастрольях русской балерины Анны Павловой, об индийской литературе и искусстве (он познакомился там с Рабиндранатом Тагором), о туристах и сельской Англии. Жил он с женой на литературный заработок — довольно стесненно. Тем не менее брат принимал большие путешествия. Летом 1913 года они с Софьей Михайловной прошли пешком несколько сот верст по южным графствам — Девонширу и Корнуоллу. Это путешествие запечатлено в его прозаических очерках «Караваны», «У рыбаков Полперро» и «Отдых моряка», а также в стихотворных путевых заметках «20 июня — 7 июля» (1913 г.), сохранившихся в его тетради. Я привожу здесь несколько отрывков из этих заметок.

...Пошли неизвестной дорогой.
Увидели парки, сады.
Померкло с рассветной тревогой
Сиянье последней звезды.
И зелень окрасилась ярче,
И конный расцвел монумент...
— Ты смотришь, воинственный старче,
На пришлый, чужой элемент!
Когда-то ты был генералом
И век свой окончил в бою...
Доволен небось пьедесталом
И славой в родимом краю?
Мне нравится облик твой мирный,
Хоть в жизни ты был генерал.
Какой же ты плотный и жирный...
Наверно, одышкой страдал?..

...Завыли трубы в отдаленье,
Ударил тяжкий барабан.
Запела Армия Спасенья
Псалом — игривый, как канкан.
Когда ж умолкли эти звуки,
Раздался зов: «Иди — спасай!»

¹ «Слушайте, слушайте!» — обычный возглас одобрения оратору в Англии.

Оратор вышел, поднял руки
И начал: — Был я негодий.
Я был подлец. Я был мерзавец.
Картежный шулер, донжуан,
Кутил... Обманывал красавиц...
В воскресный день бывал я пьян...
Я крал платки. Тянул и ложки.
Когда случалось — кошельки.
Браслеты, дамские сережки,
Ларцы, шкатулки, сундуки.
Я был грабитель и разбойник,
Громил дома средь бела дня.
Один зарытый мной покойник
Поднесь преследует меня.
Отца зарезал. Мать повесил.
Я говорю: я был подлец
И был беспечен, волен, весел...
Но наконец, но наконец...
...Да, я подлец и грешник тяжкий...
Я наземь пал и весь дрожал,
Но некто в форменной фуражке
Меня, мерзавца, поддержал,
Сказав: «Я также был мерзавцем,
Но я покинул царство тьмы,
Восстань и будешь ты красавцем
В такой фуражке, как и мы».

Три дня в пути. Четвертый день
И вправду был тяжел.
Прошли мы много деревень
И городов и сел...
...Словоохотлив Девоншир!
Но в этот знойный час,
Когда не кровь, а рыбий жир
По жилам тек у нас,
Когда пред нами вдалеке
Вставало десять миль
(Пятнадцать верст в сплошной тоске
Брести, глотая пыль!..),
В такую пору разговор
Нас мало привлекал.
Но быстрый «байк»¹ во весь опор
Нас, путников, нагнал...

...Словоохотлив Девоншир!
— Ваш город? — Петербург.
— А как вам нравится Шекспир?
— Хороший драматург!
— А как Мильтон? — Большой талант!
— Талант огромный он.
— А кто же лучше: он иль Дант?

— Я думаю, Мильтон.
— А вы читали пьесы Шоу?
— Читал, а впрочем, нет.
— А как, скажите, Бонар Лоу?¹
— Прекраснейший поэт.—
Когда отъехал мой циклист,
Свалил я с сердца груз.
Он был профессией дантист,
В душе — поклонник муз...

Весной 1914 года, когда Софья Михайловна ждала ребенка, Самуил Яковлевич один совершил большое пешее путешествие по берегам реки Шаннон в Ирландии. Его письма с пути и очерк «Изумрудный остров» воссоздают поэтический образ этой страны.

Живя в Англии, Самуил Яковлевич основательно изучил английскую литературу. Он подолгу работал в библиотеке Британского музея, где впервые начал переводить английские детские песенки, а также английских и шотландских поэтов, среди которых особенно ему понравились Вильям Блейк и Роберт Бернс. Еще тогда он перевел много стихов из циклов «Песни невинности» и «Песни опыта» Блейка, над которыми продолжал работать до самой смерти.

Во время одного из своих странствований Самуил Яковлевич услышал о существовавшей тогда в Англии «Школе простой жизни» и ее основателе, поэте Филиппе Ойлере. И весной 1914 года брат и его жена поехали к Ойлерам.

«ШКОЛА ПРОСТОЙ ЖИЗНИ»

Прошел ровно год с тех пор, как мы провожали брата с женой в Англию, и вот мы снова на Варшавском вокзале. На этот раз в Англию едут обе мои сестры. Вспоминаю, в каком смятении была наша семья, когда решался вопрос об их поездке.

Вот как получилось, что сестры неожиданно отправились в такое далекое путешествие. Самуил Яковлевич, узнав, что Леля перенесла тяжелую ангину, осложнившуюся у нее нервным заболеванием, рассказал об этом Ойлере, и тот сразу же предложил, чтобы Лелю привезли к нему

¹ Английский премьер-министр.

в школу. Он не сомневался, что сможет ее вылечить. И тут посыпались письма от брата. Он писал, что на его глазах дети, приезжающие к Ойлеру больными и слабыми, за короткое время становятся крепкими и жизнерадостными.

Родители были в полной нерешительности. С кем отправить Лелю? И где найти средства для поездки? Старшая сестра, занимавшаяся живописью и только что поступившая в «Школу поощрения художества», о которой она так мечтала, решила все бросить и поехать с Лелей. Сколотив какую-то необходимую сумму, родители снарядили дочерей, и вот они уже на пути в Англию.

О «Школе простой жизни», в которой она провела около года, написала в своих записках наша младшая сестра Леля — писательница Елена Ильина.

Из этих записок, найденных в ее архивах, я привожу несколько отрывков.

«Находилась школа в то время в графстве Хемпшир в селении Хедли — в нескольких часах езды по железной дороге от Лондона.

Помню, с каким восторгом описал в своем большом письме домой, в Петербург, Самуил Яковлевич все то, что увидел в просторном светлом доме Ойлеров — в «Стэгедике», как назывался этот дом.

Филипп Ойлер был похож скорее на араба, чем на англичанина: смуглый, черноглазый, с гривой черных волос, с темной бородой, он был необыкновенно красив и невольно обращал на себя внимание. Одевался он тоже не европейски: короткие штаны из домотканой шерсти, сандалии на босу ногу, свободная куртка — все это было необычно и даже несколько странно.

Дети прозвали Филиппа Ойлера Петром Великим — Peter the Great — за большой рост и могучее сложение. А потом все стали звать его просто Питер.

Ойлер принадлежал к аристократическому роду. Родители его были люди очень состоятельные.

Окончил он Оксфордский университет. Если не ошибаюсь, изучал философию.

Под влиянием идей Руссо и Толстого Ойлер отказался от всего того, чем владел, с несколькими друзьями нашел себе пристанище где-то в лесу, в глуши, и начал жизнь Робинзона.

Однако такое «первобытное» существование продолжалось недолго. Ойлер пришел к мысли о том, что нужно

не уходить от людей, а идти к людям, помогать им в воспитании нового, гармоничного человека.

И здесь нашло применение большое педагогическое дарование Ойлера. Он создал школу, которую назвал «Школой простой жизни».

Средства на эту школу собрали его единомышленники.

Ойлер полагал, что прежде, чем детей учить, их надо лечить. По его мнению, город разрушает нервную систему ребенка. Основными условиями оздоровления он считал жизнь под открытым небом, физический труд, вегетарианскую пищу.

В основанной им школе преподавались музыка, рисование, ритмика. Ойлер и сам был художником и поэтом.

Из школьных предметов дети проходили только те, к которым они проявляли особый интерес. Они сами выбирали предметы, которыми хотели заниматься.

Учителей в школе было немного: кроме Питера, учили ребят его старший брат Алек (по прозвищу «Рыба»), жена Ойлера, Эльса (художница, по национальности шведка), и ее младшая сестра Герда (дети прозвали ее в шутку «Старая колдунья», хотя души в ней не чаяли). Чаще ее почему-то называли Нетта.

Между братьями Питером и Алеком не было ни малейшего сходства. Простой уклад жизни в школе не очень-то приходился Алеку по душе, но он кротко выполнял все, что властно вводил в жизнь его младший брат, недаром прозванный Петром Великим.

Преподавал он латынь, древнегреческий и математику.

Эльса преподавала рисование и французский язык, а Нетта — музыку.

Кроме того, она была воспитательницей и проводила с детьми целые дни, участвуя во всей их жизни».

Самуил Яковлевич и Софья Михайловна жили в крошечном коттедже почти рядом с домом, где помещалась школа Ойлера.

На доске, прикрепленной к низенькой калитке, было выведено название:

Все в этом коттедже, начиная с мебели и кончая посудой и постельным бельем, принадлежало хозяевам. Это были необыкновенно добродушные и милые люди. Деликатность их доходила до того, что, когда у нас что-нибудь из вещей ломалось, хозяин являлся к нам с извинениями: он считал себя виноватым в том, что вещи его оказались такими непрочными.

С первых же дней нашего приезда Самуил Яковлевич почувствовал себя как бы ответственным за меня. И с тем исключительным увлечением, на какое он был способен с юных лет, он весь отдался заботам о моем выздоровлении.

Первые несколько месяцев я жила дома в нашем маленьком коттедже. А в школу ходила только на несколько часов в день. Нас всех дети прозвали «Сэмами».

Постепенно жизнь этой школы захватывала меня все больше и больше.

Самуил Яковлевич также принимал участие во всей жизни школы. По утрам он присутствовал на сеансе молчания и музыки («silence»). Нетта играла на рояле Бетховена, Баха, и все в полном молчании сосредоточивались на мысли о ком-нибудь из присутствующих. Первое время «silence» посвящали мне — мыслям о моем выздоровлении. При этом Ойлер становился за спинкой стула, где я сидела, и легко, еле заметно для меня самой, поглаживал мне ладонями голову, лоб.

Вместе с Ойлерами и детьми Самуил Яковлевич совершал большие прогулки. Нередко бродил он вдвоем с Питером по окрестным лугам, поросшим вереском, по ближним и далеким лесам, и после этих прогулок Самуил Яковлевич возвращался всегда каким-то просветленным.

— Ойлер, — рассказывал он, — настоящий поэт.

Самуил Яковлевич очень любил английские народные песни, которые исполнялись у нас в школе, он пел их вместе с нами, а также детские народные песенки (считалки, дразнилки и т. д.). Интерес к детскому фольклору, как к одному из источников поэзии, зародился у Самуила Яковлевича уже в то время.

...Наравне с Ойлерами и его школой Самуил Яковлевич и все мы вели поистине простой образ жизни. Целый день проходил у нас в напряженном и радостном труде.

Но, очевидно, дом, где помещалась школа, стал казаться Ойлеру слишком комфортабельным для простой жизни.

К тому же, по его мнению, климат этой части Англии не подходил для того, чтоб почти весь год жить под открытым небом. И он решил обосноваться на юго-западе Уэльса.

Съездив в графство Монмут, он нашел в деревне Тинтерн очень скромное жилище и по возвращении сообщил нам, что мы будем жить в Тинтерне и что дом будем себе строить сами.

И вот школа двинулась в путь. Вместе с Ойлерами перебрались в Тинтерн (в 1914 году) и наши: Самуил Яковлевич, Софья Михайловна и Сусанна Яковлевна.

Меня на время переезда почему-то оставили в Хедли у двух старушек-сестер. Мне сказали, что обе они — поэтессы по фамилии Найтингейл.

Несколько дней я провела в уютной розовой спальне под бдительным надзором двух старушек.

Самуил Яковлевич писал мне, как, подъезжая к Тинтерну ночью на лошадях, он слышал неумолчный шум горных потоков.

За мной приехал Ойлер. На станциях он заботливо кормил меня бананами или булочками, объясняя попеременно:

— Banana.

Или:

— Bun.

Тинтерн очаровал меня так же, как и Самуила Яковлевича. Упоительный воздух, горные ручьи, холмы, покрытые буйной зеленью, розы в январе — все это было не похоже на однообразные луга Хедли.

Дом Ойлеров в Тинтерне был гораздо скромнее, чем в Хедли. Назывался он Lagreash.

У наших — рядом с Lagreash'ем — был двухэтажный домик, но далеко не такой уютный, как «Birch cottage». Даже необходимой мебели тут не оказалось.

Юный Самуил Яковлевич, одетый так же, как Ойлер, работал не покладая рук — пилил и колол дрова, работал в саду и даже своими собственными руками соорудил себе рабочий стол.

Помню, как любовался он вылетающей из-под рубанка светлой, легкой стружкой, как гордился тем, что стол крепко встал на все четыре ноги!

Впоследствии, читая «Как рубанок сделал рубанок», «Откуда стол пришел» и другие книжки брата о веселом и ловком мастерстве, я всегда вспоминала его с рубанком в руках...

Была у нас любительская фотография, снятая Софьей Михайловной в Англии.

На этой фотографии Самуил Яковлевич моет посуду. А внизу подпись, сделанная его рукой:

«Сонечка часто говорит мне: «Мой Семочка! Мой, Семочка! И я мою, мою, мою... Посуду мою, полы мою...»

Все в школе были вегетарианцами, а с ними заодно стали вегетарианцами и мы. Питались сырыми овощами и фруктами. Вареное блюдо подавалось только один раз в день (главным образом каша).

И Ойлеры и мы всё делали своими руками.

Я уже совсем переселилась в школу, бойко болтала по-английски.

Самуил Яковлевич необычайно гордился моим выздоровлением. Буквально каждое свое письмо домой он заполнял отчетами о моих успехах. А наши родители в своих письмах без конца благодарили Ойлеров.

К своим я перелезала через невысокую живую изгородь по многу раз в день. Но оставаться у них надолго бывало некогда. У меня было много обязанностей: я работала на стройке (возила в тачке камни для дома), «заведовала» кладовой фруктов, нянчила Солданиль, очаровательную годовалую дочку Ойлеров, участвовала в журнале, который издавался у нас в школе.

Самуил Яковлевич в это время много писал: переводил английские баллады, начал переводить Блейка. Удивительно, что «Тигр» и «Агнец» в основном были сделаны Самуилом Яковлевичем уже тогда. Переводил он и прозу. Перевел рассказ Томаса Гарди — легенду о том, как Наполеон тайком высадился в Англии, а потом и целую книгу. Это был тот именно перевод, о котором вела переговоры с издательством «Прометей» наша мама — Евгения Борисовна.

Самуил Яковлевич часто уезжал из дому. Сначала поехал в Лондон сестру, Сусанну Яковлевну, с тем чтобы она могла продолжать занятия живописью. А потом отправился в путешествие по Англии и Ирландии.

Софья Михайловна оставалась дома со своим братом, который незадолго до этого приехал в Тинтерн.

Вскоре вернулась из Лондона Сусанна Яковлевна, а затем приехал и Самуил Яковлевич.

Софья Михайловна ждала ребенка.

Ребенок родился в конце мая. Это была девочка. Ей дали имя Натанель.

Эльса принесла молодой матери цветы — ирисы, которые Софья Михайловна потом засушила и берегла всю жизнь.

За две недели до начала военных событий мы покинули Тинтерн, Ойлеров, Англию.

Ойлеры предлагали оставить меня у них, но наши не решились на это. Да и мне, как ни полюбила я Ойлеров, хотелось скорее домой.

И. С. Маршак

«МОЙ МАЛЬЧИК, ТЕБЕ ЭТУ ПЕСНЮ ДАЮ»

...Мой мальчик, тебе эту песню дарю.
Рассчитывай силы свои.
И если сказать не умеешь «хрю-хрю»,—
Визжи, не стесняясь: «И-и!»

С. Маршак. «Поросята», 1923

...Как поживаешь, мой маленький друг?
Слушай поменьше, что мелют вокруг.
Если в далекий отправишься путь,
Следует уши канатом заткнуть!

*Из первого варианта сказки
«Мельник, мальчик и осел»*



тец был горячим человеком. По меткому определению его большого друга, замечательного литератора Тамары Григорьевны Габбе, когда он входил в трамвайный вагон, половина пассажиров становилась его друзьями, а половина — недругами. В памяти всех, с кем он хотя бы немного соприкоснулся, встреча с Маршаком оставила след, во всяком случае, яркий. Этим, должно быть, объясняется большой поток воспоминаний о нем, которые начали печататься в первые же годы после смерти отца. Я счел своим долгом добавить к этим воспоминаниям и свой рассказ, прежде всего о том, о чем едва ли расскажут другие, — о его отношении к собственным детям.

Весной 1922 года я болел редко излечиваемой болезнью почек — уремией. Лечивший меня вначале старичок доктор на вопрос отца, есть ли хоть какая-нибудь надежда на выздоровление, с грустью ответил: «Не могу сказать». После

трагической гибели полуторагодовой дочери моим родителям угрожала потеря второго ребенка, опять единственного.

Отец спасал мою жизнь самоотверженно и вдохновенно. Он нашел молодого, энергичного и вдумчивого краснодарского врача, Арона Лазаревича Самойловича, который взялся за мое лечение. Врач и родители даже ночью не отходили от моей постели. Шуткой, выдумкой, ласковым словом Самуил Яковлевич заставлял меня соглашаться на неприятные процедуры, поддерживал меня в борьбе с болезнью. И мало-помалу я начал поправляться.

В тот же год летом мы совершили вместе с товарищами отца по Детскому Городку¹ — милой и мягкой Елизаветой Ивановной Васильевой-Дмитриевой (известной поэтессой Черубиной де Габриак) и суровым профессором-египтологом Борисом Алексеевичем Леманом — трехнедельный переезд в теплушке из Краснодара в Петроград. Выход в город связывается у меня в памяти с экспромтом отца: «В Петрограде — шоколад, в Петрограде — мармелад, Элик-мальчик очень рад, что приехал в Петроград».

В Петрограде здоровье мое снова ухудшилось — мне почти нельзя было двигаться. Родители сняли комнату в более сухом по климату Детском Селе (ныне Пушкин), где Самуил Яковлевич иногда целыми днями таскал меня на плечах по Екатерининскому парку. А летом 1923 года, по настоятельному совету врача, меня повезли в Евпаторию. Денег на дорогу у отца не было, и он, считая, что поездка во что бы то ни стало должна состояться, усилием воли и полный вдохновения заставил себя за ночь написать новую стихотворную книжку. Это была «Сказка о глупом мышонке». Вышла она впервые в том же году с рисунками много работавшего с тех пор с отцом В. М. Конашевича в частном издательстве «Синяя птица» (у меня сохранилась эта книжка с напечатанной на первой странице надписью: «Экземпляр Элика Маршака»).

Желая развеселить и ободрить меня во время болезни, отец проявлял необыкновенную изобретательность. Семья была превращена во флотский экипаж. Всем членам семьи были присвоены морские чины: дед стал адмиралом, отец — капитаном, братья и сестры отца и некоторые близкие знакомые получили другие звания. Я начал свою карьеру

¹ Организованное в Краснодаре С. Я. Маршаком и его товарищами детское учебно-воспитательное учреждение, ядром которого был театр для детей.

с юнги и постепенно, за заслуги в поддержании флотской дисциплины, продвигался по служебной лестнице, дойдя в конце концов, кажется, до капитана 2-го ранга (к этому времени отец стал адмиралом, а мать — помощником адмирала). Дисциплина в экипаже была неукоснительная. На приказ (приказами не злоупотребляли) по поводу еды, одежды, сна или игры следовало ответить: «Есть!» — и беспрекословно его выполнить. Подразумевалось, что невыполнение приказа должно было вызвать дисциплинарные меры, но я, пожалуй, не припомню случая, чтобы к ним на самом деле пришлось прибегнуть (может быть, я когда-нибудь и был разжалован на одну ступеньку служебной лестницы). Я не был младшим по званию и, в некоторых случаях, сам имел возможность кому-то приказывать. Помню, как на пляже в Евпатории я скомандовал тетке: «Выйти из воды, приказ!» И бедная взрослая Юдифь Яковлевна, поддерживая задуманную отцом воспитательную систему, отрапортовала: «Есть!» — и, к удивлению окружающих, безропотно повиновалась шестилетнему мальчику.

Но игра во флот не сводилась только к приказам. Она имела и свою, если можно так сказать, художественную сторону. И на ней, вероятно, главным образом все держалось. Время от времени, в свободные часы, Самуил Яковлевич отправлялся со мной на прогулку, например, в парк при Екатерининском дворце в Пушкине. Каменная терраска над большим искусственным озером превращалась у нас в военный корабль. Мы ставили и убирали паруса, брали вражеские корабли на абордаж, высаживали десант и спасались на шлюпках или вплавь при кораблекрушении. Мы стреляли из пушек, садились на рифы и заделывали пробоины, торжествовали победу в славном морском сражении, жили по-робинзоновски на необитаемом острове. Мы боролись с несправедливостью, помогали обреченным и совершали доблестные подвиги. И вместе с тем в нашей морской жизни было много бытовых подробностей — мы питались солониной, сырой рыбой и сухарями, спали в гамаках, страдали от морской болезни, голода и жажды.

По существу, я познакомился в этих играх со всеми аксессуарами книг о путешествиях и приключениях, преподнесенными мне отцом в живых образцах — с плотью и кровью, хорошо слаженным сюжетом и превосходным языком. И каждое продолжение нашей игры было для меня праздником, более значительным, чем поход в театр или кинематограф для другого ребенка. Эта игра стоила тяжелой

«службы» в обычные дни, с жесткой дисциплиной в быту, которая требовалась для моего выздоровления.

Игра во флот породила и другие игры, уже не имевшие прямого отношения к задуманному отцом плану моего стоического воспитания. Это были игра в разбойники и игра в оловянные солдатики. Первая протекала обычно в ленинградском Таврическом саду (из Детского мы переехали в маленькую антресольную квартирку на Потемкинской улице, с подоконниками почти на уровне пола). Утром после завтрака, когда отцу удавалось выкроить для меня немного свободного времени, мы пересекали Потемкинскую, проходили через калитку сада и сразу попадали в мир, который, как я после узнал, больше всего напоминал мир Робин Гуда. В задней комнате маленькой таверны на проезжей дороге (садовой беседке на главной аллее) мы тайно встречались с добродушным могучим кузнецом, со слепым нищим или странствующим музыкантом (эти эпизодические роли исполнял, мгновенно перевоплощаясь, Самуил Яковлевич). Мы находили записку в дупле, мешок с золотом, зарытый под дубом, или ящик с оружием на заброшенной кузнице. По звуку рожка мы собирались большим воображаемым отрядом на лесной поляне в дремучей чаще. И мы совершили немало добрых дел для бедного люда, терпевшего притеснения от жестокого шерифа и заносчивых вельмож и купцов.

А если свободное время отца приходилось на дурную погоду или на время моей простуды, не менее интересная игра развешивалась у нас дома, на полу или на обеденном столе. Из коробки высыпались оловянные солдатики, отец разбирал их на полки (по форме и окраске), превращал карандаши в крепостные пушки, строил из чернильницы, дощечек и папиросных коробок форты и бастионы, иногда складывал из бумаги кораблики и начинал разыгрывать военные операции. Мы могли пролежать с ним на полу много часов. Отец увлекался, забывая про распорядок дня, про обед (чем немало огорчал мать), и с азартом рассказывал и показывал мне, как англичане с криком «ура» врываются с двух сторон в крепость, как ураганным огнем орудий подавлялось сопротивление сильнейшего французского гарнизона, из которого только небольшой кучке удавалось пробраться к побережью и спастись на кораблях. Победу одерживал неказистый, чуть голубоватый солдатик с мужественным, благородным характером, который принял на себя руководство английской армией в тяжелую

минуту, когда из-за просчетов тщеславного позолоченного всадника-гвардейца, прежнего главнокомандующего, страна была почти захвачена вероломными французами (в предыдущей игре, состоявшейся в позапрошлом воскресенье, французы, потерпев поражение, поклялись больше не нападать на английские крепости). Новому главнокомандующему помогли приплывший с острова на бумажном кораблике рыбак (он собрал десантную группу, которая совершила внезапный обходный маневр) и бесформенный от старости солдатик-кузнец, который взламывал ворота в подземный ход. И на торжественном параде, разыгранном после окончательной победы, герои получали заслуженные награды. Игра кончалась чуть ли не перед ужином, когда моя сдержанная мама уже доходила до полного отчаяния. Но отец отдавался игре целиком, без остатка, и игра становилась для него таким же важным делом, как его работа в редакции. Как жаль, что единственному его слушателю было тогда только 6—7 лет и он воспринимал эти литературные произведения, разумеется, даже не задумываясь о том, чтобы как-то закрепить их на бумаге. А теперь, спустя больше чем сорок лет, я могу воспроизвести их облик только в таком сокращенном виде.

Однако какой-то подлинный след «литературного» общения со мной отца сохранился. Моя мать сберегла написанные им в те годы письма. Эти письма дают представление о том, как он мне обо всем рассказывал.

Первое письмо написано из Германии, куда отец летом 1925 года (мне тогда было восемь лет) поехал во время отпуска лечиться.

[Берлин, июль 1925 г.]

«Мой милый мальчик Элик,

Посылаю тебе это письмо воздушной почтой. Я опущу его в маленький ящик на углу, и сегодня же аэроплан понесет его в Ленинград.

Вчера я был здесь в зоологическом саду (немцы называют его просто: «Цоо»). Видел слоненка величиною с комод. Он бродил один по клетке (очень большой) и очень смешно изгибал свой хобот. Видел маленькую обезьянку, которая прицеплялась к животу своей матери, когда хотела взобраться на верхнюю перекладину. Кто-то принес обезьянам круглое зеркальце, и они все по очереди любовались собой. Только одна из них попробовала погрызть его. Видел четырех

львят, которых кормит овчарка (матери у них нет). Дети скоро перерастут свою кормилицу. Какой-то мальчик протянул обезьяне руку, — она так больно стиснула руку, что мальчик с трудом выдернул ее из клетки — всю в крови.

Берлин очень большой город. Автомобили здесь хрюкают. Дома серые. Много деревьев. Подземная дорога. Сейчас это очень хорошо: прохладно. А наверху жара.

Все, даже дети, говорят по-немецки, как ты.

Целую тебя, мой маленький, и прошу помнить обещание делать все весело, бодро и аккуратно, хорошо питаться, не шалить до одурения. Якова¹ поцелуй и расскажи ему от моего имени сказку про золотое яичко.

Целую вас обоих, мои мальчики.

Ваш отец».

А вот отрывок из другого письма, посланного в мае 1927 года из санатория в Кисловодске:

«...Я живу здесь хорошо. Почти весь день уходит на лечение. Подумай только: твоего отца пеленают, как маленького ребенка, но только мокрыми пеленками, купают, как Лялика²: сажают в ванну и растирают в воде и т. д. Хорошо, что ты и Лялик этого не видите, а то бы вы потеряли всякое уважение ко мне. Начинают меня лечить в 7 часов утра, а кончают в 7 часов вечера. Вероятно, я вернусь богатырем.

Вчера мне позволили поехать верхом. Взяли у горца лошадей с кабардинскими седлами (оба края высоко подняты). Ездили трое: я, ботаник проф. Мищенко и здешняя докторша. У меня был очень рослый конь караковой масти. Вначале было очень трудно управлять им и сохранять равновесие. Лошадь меня не слушалась и пыталась войти в какие-то ворота. Когда она пустилась в галоп, я чуть не слетел, к великому удовольствию маленьких черноглазых карачаевцев (здешние горцы). Но потом я научился держаться крепче, привставать в стременах, когда лошадь бежит рысью или галопом, и поворачивать ее вправо, влево и назад. Очень было приятно ехать на закате по дороге среди холмов, петь песни и пугать коров и баранов. Когда ты немного еще подрастешь и почки у тебя поправятся, мы будем ездить с тобой вдвоем...»

¹ Мой младший брат, которому тогда было 6 месяцев.

² Семейное прозвище моего маленького брата.

...Письма к моему маленькому брату были еще более простыми и лаконичными:

[Май 1927 г., Кисловодск]

«Дорогой Лялик,

Это пишет твой папа. Я скоро приеду и привезу тебе аэроплан. А ты будь хорошим мальчиком и не плачь ночью. Пальчик сосать тоже нельзя. Я живу в Кисловодске. Здесь нет трамвая и нет автобуса. Лошади здесь есть. Я на одной ездил верхом, как солдатики твои игрушечные и как красноармейцы. Я хорошо ездил и не упал с лошади. Я живу очень, очень далеко от тебя, но скоро сяду в поезд и поеду к тебе. Я тебя очень люблю и хочу тебя видеть.

Еще привезу тебе шоколада.

Целую тебя крепко.

Твой папа».

В стихах, посвященных моей сестре Натанель, отец в 1915 году писал:

Я с миром, как с добрым знакомым,
Знакомил малютку мою...

Точно так же он, «как с добрым знакомым», знакомил с миром своих двух сыновей.

Весной 1928 года он побывал в Крыму. Мне удалось найти два сохранных матерью письма, относящихся к этой поездке. Первое — целый художественный очерк, предназначенный для единственного читателя, одиннадцатилетнего старшего сына.

«Севастополь, 3 мая 1928 г.

Мой дорогой мальчик Элик,

Ты мне очень мало и редко пишешь. Хоть бы раз написал мне обстоятельное письмо о том, что случается в школе, что ты видел в театре, с кем подрался (надеюсь, впрочем, что ты перестал быть милитаристом), что говорит и делает Лялик.

А у меня вчера было много приключений. Я поехал на автомобиле в Балаклаву (стоит 1 рубль). По дороге ветер хлестал мне в лицо, пытался даже сорвать очки.

Балаклава расположена на берегу бухты, в виде подковы.

80 Со стороны города моря не видишь, так как у самого

выхода, который называется здесь «гирло» (я думаю, это по-хохлацки «горло»), бухта резко поворачивает. С обеих сторон у выхода в море высокие горы, а на них остатки крепостной стены и развалины высоких башен, построенных в средние века выходцами из Генуи (из Италии). Хорошо была защищена Балаклава в те времена. Если какой-нибудь пират пробовал пробираться в бухту, в него стреляли с крепостной стены и башен. На берегу бухты главная улица Балаклавы, а позади другая, параллельная ей. Вот и весь городок. Живут в нем рыбаки. На улицах сушатся сети.

Я посидел высоко на утесе над открытым морем, а потом пошел знакомиться с городом. Прежде всего познакомился с двумя мальчиками, белобрысым и черным, как вакса. Первый — сын рыбака Ваня Полуэктов, по прозвищу Бибка. Второй — сын местного сапожника-караима Давидка Есупов. У обоих были шашки на боку: вид очень воинственный. Давидка оказался очень глупым; он во всем подражает Ване. Ваня рассказал мне очень толково и про башни и про то, какая рыба в море водится и когда ее ловят. Прочитал мне наизусть мой «Пожар» и «Федорино горе» Чуковского.

Он показал мне в море баклана, который на моих глазах нырнул и вынырнул с рыбкой в клюве. Рыбий хвост сначала яростно бился у него во рту, а потом успокоился.

После разговора с мальчиками я пошел по набережной. Слышу — кто-то зовет меня с баркаса, стоявшего у берега. Подхожу. Рыбак предлагает мне покататься. Я говорю, что у меня нет денег. «Да что там деньги! — говорит рыбак. — Мы и так покатаем, разве мы не люди!»

Потом оказалось, что он был не совсем трезв. Владелец баркаса был турок, высокий и очень красивый. Он со своими товарищами чинил в это время мотор. Все балаклавские рыбаки приходили по очереди помогать ему, но ничего не получалось. Ругань стояла на баркасе адская; только турок не ругался, — он очень деликатный и застенчивый, хотя и похож на разбойника. Так и не удалось починить мотор. Рыбак, который пригласил меня на баркас, предложил мне перейти на его судно (он у турка в гостях был). Я согласился.

Пошли на другой баркас. Там я увидел груды убитых дельфинов — или свиней, как их зовут здесь. Жирные такие, крупные, спина черная, живот белый, хвост в виде пропеллера, а морда длинная, узкая. Во рту зубки мелкие, частые и острые, как зубья у пилы. Дельфинов бьют в море

дробью, а потом вылавливают крючьями. Рыбак, который меня привел, был охотник: он стрелял в дельфинов из дробовика. Получает из выручки два пая — за себя и за ружье. Другой человек на баркасе — владелец мотора; он тоже получает два пая — за себя и за мотор. Третий — владелец баркаса; у него тоже два пая. Только моторист и матрос получают по одному паю — у них ничего нет, кроме рук. Зато ругается моторист лучше и больше всех — на четыре пая! Ругань вышла у них из-за того, что владелец мотора (молодой человек, кудрявый, в солдатской шинели, когда-то в гимназии учился) не хотел позволить прокатить меня — даром бензин изводить. Но в конце концов он согласился после того, как охотник и моторист заявили, что уходят совсем с баркаса; даже бушлаты надели. Примирение произошло очень быстро. Озабоченный владелец мотора сразу повеселел и был со мной очень ласков. Мы отправились в путь. Баркас весь затрясся от работы мотора, а вместе с ним затряслись зубастые морды убитых дельфинов. Казалось, они ожили. Помчались мы быстро-быстро, несколько раз обежали бухту, а потом легко и весело — как на велосипеде — выкатили в открытое море. Там побегали, а потом назад, в бухту. Я стоял на носу, не держась, и мне казалось, что я не я, а какой-нибудь удалой пират. Когда пристали к берегу, оказалось, что у турка мотор исправлен. Мы перешли на его баркас и еще раз пошли в море. Я чувствовал себя знатным иностранцем, которого все чествуют. Вечером я с двумя рыбаками — охотником и мотористом — вернулся в Севастополь на трамвае. Вот и все. Расскажи это своими словами Лялику. Крепко поцелуй его, мамочку и всех родных.

Твой папа.

Эленочек, не вздумай кататься на Неве с товарищами. Когда я приеду, покатаемся вместе.

Твой С. М.».

А вот что отец написал вскоре моему трехлетнему брату:

«Москва, 15 мая 1928 г.

Мой дорогой Лялик,

Я сейчас в Москве. Завтра вечером поеду к вам в Ленинград, приеду послезавтра. Очень хочу тебя видеть, мой хороший мальчик. Я много ездил — на поезде, потом на лодке,

потом на пароходе, потом на автомобиле. Когда приеду, расскажу обо всем.

Я видел гидроплан. Это такой аэроплан, который плавает на воде, а потом подымается и летает. Когда ты будешь совсем большой, мы с тобою будем летать на гидроплане и аэроплане. А Татлин¹ хочет сделать такие крылья, чтобы летать без аэроплана. Я в Москве видел Татлина, он говорит, что ты хороший мальчик. Я видел тетю Катю² и Ниночку³.

Когда приеду, будем с тобою играть, буду тебе рассказывать сказки.

Кренко целую тебя, мой дорогой, милый мальчик.

Твой папа».

Отец очень нежно любил моего маленького брата, необыкновенно красивого, синеглазого, золотоволосого мальчика с трезвым, немного ироническим взглядом на мир. Помню, с каким восторгом он рассказывал о своих разговорах с братом. Как-то на даче в Токсово он в шутку спросил пятилетнего брата: чьи сказки ему нравятся больше — его или Пушкина. Брат сначала ничего не ответил. Отец задал ему тот же вопрос снова, добавив при этом, что он может свободно высказать свое мнение, так как «Пушкин не обидится». Брат, видимо, понял шутку, еще немного подумал и сказал:

— Ты обидишься.

Когда брат был еще совсем маленьким, он как-то проснулся ночью и сказал отцу, что в рот ему попал волосок. Отец попытался в темноте его вынуть. Через некоторое время брат успокоился и, сказав, что «он уже на головке», спокойно заснул.

Целыми часами отец держал брата на коленях или носил его на плечах. Иногда он при этом маршировал, изображая духовой оркестр и напевая непонятный, но необыкновенно мажорный шведский марш:

Бум-федрале,

Бум-федрале,

¹ Владимир Евграфович Татлин, художник-конструктивист, который в то время увлекся созданием летательного аппарата «Летатлина», приводимого в движение мышцами летчика. Большой друг Самуила Яковлевича, с которым они «обсценивались» редкими народными песнями.

² Екатерина Евгеньевна Гвоздиков-Фрумкина, старый большевик, один из организаторов советской детской литературы, создатель журнала для крестьянских ребят «Дружные ребята».

³ Дочь Е. Е. Фрумкиной.

Траль-ля-ля,
Траль-ля-ля.
Бум-федрале,
Бум-федрале,
Траль-ля-ля,
Ля!..

Очень часто, держа брата на коленях, он что-нибудь ему рассказывал — обычно импровизировал. Сперва рассказы были самые простые, всего из нескольких слов, вроде:

Дзиль — первый звонок!
Дзиль, дзиль — второй звонок!
Дзиль, дзиль, дзиль — третий звонок!
Ту-у-у! Поехали, поехали...—

и отец, притопывая ногами, изображал стук колес поезда.

Когда брат стал понимать много слов, отец начал рассказывать ему сказки: про курочку и яичко, про котенка. В этих сказках проза перемежалась стихами, тут же сочиненными. Одну из них брат любил больше всего:

«Жила-была девочка. А как ее звали? Кто звал, тот и знал, а ты не знаешь. А был у нее... Кто у нее был? Серый, усатый, весь полосатый! Котенок у нее был, вот кто!»

Брат просил ее рассказывать снова и снова. И в конце концов выработался «канонический текст» этой сказки, который отец записал. Получилась книжка «Усатый-полосатый», первое издание которой вышло в 1930 году, с замечательными рисунками В. В. Лебедева. На обороте обложки была воспроизведена синей, напоминающей чернила, краской надпись отца:

«Посвящаю маленькому Якову. *С. Маршак*».

По мере того, как мы с братом росли, рассказы отца становились шире и богаче. Представление о них дают еще два его письма, написанные в 1930—31 годах во время его поездки на Днепрострой и отдыха в Новом Афоне. Вот эти письма:

«Запорожье, 5/V 1930 г.

Дорогие мои Лялик, Элик и Софьюшка,

Меня очень успокоила последняя телеграмма о том, что у Элика температура нормальная. Прежние телеграммы («здоровье лучше») все же тревожили меня.

Днепрострой мне очень понравился. Если ты, Элик, прочел «Тараса Бульбу», ты знаешь про Запорожскую Сечь. Так вот в этих местах она и была. Теперь там взрывают скалы и целые горы, строят шлюз, плотину, электростанцию в 900 000 лошадиных сил, множество заводов. Будет громадный американский город. Но уже и сейчас, когда подъезжаешь к Днепрострою вечером, тебя ослепляют тысячи разбросанных на большом пространстве огней.

Работают день и ночь. Почти всю работу делают грандиозные машины. Кран-великан поворачивается, зацепляет крюком целую постройку, несет ее и бережно опускает куда надо, потом переезжает на другое место (он сам и паровоз). Называется Дерик. Другой великан экскаватор. Тоже паровоз. У него огромный черпак — вроде головы на вытянутой вперед подвижной шее. Врежется он рылом в землю, зачерпнет целый воз земли, груды камней, а потом захлопнет нижнюю челюсть и несет груз на платформу стоящего рядом поезда. Над платформой челюсть его опять отвиснет (се дергает за веревку помощник машиниста), и земля с камнями сыплется на платформу. Платформа тоже не простая, а с механизмом. Когда нагруженный поезд въезжает в здание бетонного завода, вагоны-платформы ложатся на бок и высыпают песок и камни в огромные ящики. Ящики тоже не простые. Они встают на дыбы и опрокидывают каменные глыбы в люк, который находится между двумя ящиками. Камни гремят, сшибаются с громом и треском — мне даже их становилось жалко, — рассыпаются искры. Но их мучения на этом не кончаются. Этажом ниже они попадают в страшную мельницу. Два железных жернова — вернее две терки — в огромном котле то сдвигаются, то раздвигаются и со вкусом жуют каменные глыбы. Камни летят в котел лавиной, рекой — что-то вроде горного обвала. А на деревянном помосте над котлом стоит всего один человек и поворачивает ручки. Повернул одну — горный обвал, повернул другую — заскрежетали железные зубы. Всю работу делают гигантские приводные ремни от моторов. В большом зале — высокий помост, по сторонам его два приводных ремня, а внизу какие-то машины в стальных коробках с ярлыками, на которых нарисованы черепа и написано: «Не трогать. СМЕРТЕЛЬНО». Вероятно, это трансформаторы. Становится страшно.

Шипят приводные ремни, похрустывает мельница, дрожит помост. У каждой машины свой голос и свой ритм. Покой и лад нарушается только изредка суматошной пляской

сыплющихся камней. Четкость, порядок, простота работающего механизма дают ощущение величавости.

Кажется, именно так движутся небесные тела.

И вдруг что-то испортилось в камнедробилке. Рабочий насыпал слишком много каменных глыб. Стала работа. Смотрю: по потолку едет помощник — большой крюк с каким-то инструментом. Поковырял он в котле, прочистил горло камнедробилке — и спокойно поехал назад. Вместе с ним поехали какие-то деревянные блоки. А людей почти не видно. Потом камень дробят еще какие-то закрытые машины, потом его смешивают с песком в большом барабане с лопастями внутри. (Материал подается из отделения в отделение конвейерами — на широких резиновых лентах. Очень приятно щупать толстую, гладкую резину. Богатая штука.) Готовый цемент автоматически насыпается в бады, бады опрокидывают его на платформы, и поезд увозит на постройку. Там разгружают его краны.

Как строят плотину, расскажу, когда приеду.

Был я на заводе жидкого воздуха. Температура его — 183°. Во много раз холоднее, чем воздух на полюсе. Из пузатого бидона налили мне немного воздуха в кружку. Кипит в кружке воздух. Сунули в него веточку — вмиг замерзла, — ломается, как стеклянная. Плеснули на пол — посыпались капли, как сухие, и мгновенно испарились. Плеснули немного в лужицу — лужица покрылась льдом. Сунули в кружку зажженную папиросу (спичку опасно) — вспыхнул воздух ярким, как электрический свет, пламенем. Пропитали жидким воздухом кусок ваты и зажгли — разлетелась вата пухом, как одуванчик.

Этим жидким воздухом взрывают скалы и целые горы.

А вчера я летал над Днепростроем на военном самолете. Это был мой первый полет в открытой машине. Сел я в кабину позади летчика. Надел шлем, очки, застегнул на животе пряжку широкого ремня (чтобы не выпасть на повороте). Снялись с земли очень легко и плавно. Поднялись на 1000 метров. Днепр стал ручейком. При повороте я увидел землю не внизу, а сбоку перед собой. Стала она стеной — зеленая и коричневая стена с домиками и деревьями. Двигается эта стена прямо на меня. Это оттого, что при повороте самолет накренился, встал почти боком. Вниз спускались так: 500 метров «спиралились», потом 200 метров почти падали — «скользили», а потом плавно опустились и опять побежали по траве. Замечательно!

плохо. Жил в общежитии, которое я называю «общежитием» (от слова «жуткий»). Немного устал. В дороге отдохну. В Москве пробуду дня три.

Надеюсь там получить от вас известия.

Крепко целую мою милую дружную тройку — Софьюшку, Элика и Лялика.

Ваш С. М.».

«Абхазия, Новый Афон.

23 мая 1931 г.

Моя дорогая Софьюшка, мои милые ребята Элик и Лялик!..

Чувствую я себя значительно лучше.

Два с половиной дня я провел в горах на пасеке. Это были замечательные дни. Чудесный воздух, тишина. Вдали между нашей горой и противоположной виднеется море. Ульи с двускатными разноцветными крышами расположены правильными рядами на склоне горы — на площадках. Целые дни я просиживал на корточках вместе с двумя благодушными пчеловодами (один — бородатый, другой — усатый) и наблюдал за пчелами. У летка (щелочка-вход в улей с дощечкой внизу) все время толпятся пчелы. На задних ножках у них будто штанишки — это желтые или красные сгустки цветочной пыли. Пчеловод снимает с улья крышу, потом газету и мешок, которыми прикрывают улей для тепла, — и начинает вынимать из улья одну за другой стоячие рамки с восковыми сотами, густо покрытые пчелой. Серая мохнатая масса пчел, поблескивая крылышками, глухо жужжит, не слетая с рамы. Только десяток-другой вьется над пчеловодом, садится ему на щеки, усы, брови и руки, а он, нисколько не волнуясь, мягко и спокойно нащупывает пчелу и снимает ее с себя корявыми пальцами. Для того чтобы пчелы не слишком жалили, их слегка окуривают дымом. У пчеловодов есть такой «дымарь» — маленькая жаровня с мехами. Но днем, когда пчелы заняты усиленной работой, их не окуривают. Я никогда не думал, что можно так смело переворачивать улей вверх дном, вытаскивать рамы с тысячами пчел, вырезать части вошины, не боясь пчелиных жал. И не только пчеловоды, но даже и я просиживал среди ульев целые часы. Иногда я надевал на лицо сетку, а иногда сидел без сетки. Ужалили меня всего три раза — один раз в щеку и два раза в руку.

Один миг было больно, а потом прошло. Только на щеке оставалось два дня маленькое затвердение.

Видел я замечательный эпизод пчелиной жизни — роение. В улье № 131 стало очень тесно. Часть пчел с маткой решила лететь на поиски нового улья.

Мы сначала не разобрали, в чем дело. Над ульем носились тучи пчел. Жужжанье заглушало все остальные ульи. С каждой минутой рой становился все гуще и гуще. Потом этот гул начал затихать, и не успели мы оглянуться, как большая часть пчел снялась и улетела. Пчеловоды кинулись на поиски. Необходимо во что бы то ни стало найти рой на первом его привале. Дело в том, что весь рой обыкновенно садится где-нибудь вблизи и посылает пчел-разведчиц искать помещение для нового улья.

Так было и теперь. Мы нашли рой на ветви кипариса шагах в двадцати — тридцати. Пчелы успели усеять ветку дерева и повисли на ней мохнатыми космами. Нижние цепляются за верхних, другие еще за нижних, — так образуются огромные космы — целая борода. Пчеловоды принесли мешок на шесте, вроде большого сачка. Мальчишка взобрался на ветку и стряхнул пчел в мешок. Стряхивать пришлось три раза, в три приема. Потом пчел побрызгали водой из шприца, чтобы они успокоились. Мешок взвесили, — оказалось, пчел было больше 4 фунтов. Принесли новый улей. Открыли крышку и часть пчел высыпали в улей сверху. Потом протянули от мешка, который лежал на земле, к летку (входу в улей) холст — устроили что-то вроде лестницы. Пчеловод подогнал к летку передних пчел, и тогда вся масса — тысячи пчел двинулись в новый дом. Это было грандиозное шествие, длившееся два часа. Пчелы, не давя друг друга, медленно и спокойно шли и вливались в улей. Через несколько часов улей уже жил трудовой жизнью — пчелы входили в леток с «взятком» — цветочной пылью на задних ножках и с «нектаром» — медом в зобиках.

Когда приеду, расскажу про пчел подробнее.

По вечерам вокруг домика, где я гостил у пчеловодов, начинался волшебный спектакль. По всем направлениям летали светляки — светящиеся жучки. Они летают, вспыхивая и погасая. Очень интересно следить за одним светлячком. Летит он зигзагами, углами, как резвится рыбка в хорошую погоду. Одни говорят, что он светится зеленоватым светом, другие — голубоватым, третьи — желтым. Но лучше всего определил цвет этого света мальчик — сын пчеловода.

Я его спросил, каким цветом горят светляки. Он ответил: «огненным цветом».

Я почему-то все время вспоминал «Midsummer night dream» («Сон в летнюю ночь») Шекспира.

А где-то близко воют шакалы. Заливаются, захлебываются воем, и вой такой хороший — дикий. Впрочем, далеко не всем этот вой нравится. Многие его считают жутким и противным...

Не знаю, успею ли получить от вас ответ на это письмо — почтой и даже телеграфом.

Крепко, горячо целую вас всех. Берегите друг друга.
Ваш С. М.

Эти письма, связанные содержанием с написанными им в то время стихами (например, книжкой «Война с Днепром»), характеризуют серьезность и щедрость, с которыми отец делился с нами своим духовным богатством. А расширял он это богатство неустанно и жадно, стараясь охватить своим мысленным взором весь мир и используя для этого любую возможность — знакомство с новыми людьми и поездки по новым местам, свежие книги и вновь приобретенный опыт.

Так в 1935 году — отцу тогда было 47 лет, он уже страдал головокружениями и часто задыхался — его пригласили в Кронштадт на судно Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Отец попросил спустить его в море, влез в тяжеленный, растягиваемый четырьмя матросами, водолазный костюм и, гремя по трапу свинцовыми башмаками, погрузился под воду. Вскоре, правда, из-за неумения травить воздух головным клапаном, его костюм раздулся, как огромный мяч, и его выбросило на поверхность¹.

Много внимания отец уделял развитию нашего художественного вкуса, наших реальных представлений о мире. Еще гуляя со мной по парку Екатерининского дворца, отец как-то поставил передо мной простую на первый взгляд задачу: сосчитать вслух до тысячи. Должно быть, он хотел создать во мне реальное, художественное представление

¹ Свой «водолазный» опыт отец сразу же постарался передать своим друзьям — литературно одаренным ребятам из организованного им ленинградского «Дома детской литературы», к которым он относился, как к собственным детям. Он привез в ДДЛ начальника ЭПРОН Фотия Ивановича Крылова и в его присутствии и под его рассказы заставил нескольких ребят здесь же в комнате влезть в водолазный костюм. Точно так же он пригласил в ДДЛ физиков, которые показывали ребятам опыты с жидким воздухом, увиденные им при поездке на Днепрострой.

о больших числах. Я начал считать с легкостью, уверенный, что без труда выполню задание, а закончил с заплетающимся языком, чуть ли даже не вспотев, как от тяжелой работы. Уверен, что раз в жизни человеку очень полезно проделать такой опыт.

Отец очень много мне читал — русские и английские стихи (английского я в детстве не знал, и на этом языке родители вели между собой разговор, когда не хотели, чтобы я в нем участвовал), классическую русскую прозу, лучшие переводные книги, пел мне много народных песен. Из английских стихов он выбирал такие, которые звучали, как музыка. Он перевел «Пеликанов» Эдварда Лира только за несколько месяцев до смерти. Но мне кажется, что я знал эти стихи в подлиннике всю свою жизнь:

Кинг энд куин оф зе Пеликанс уй
Но азер бёрдс со грэнд уй си!
Нан бат уй хэв фит лайк финс!
Уиз лавли лезери чикс¹ энд чинс!
Плофскин, Плафскин, Пеликэн джи!
Уй синк но бёрдс со хэппи эз уй!
Пламскин, Плошкин, Пеликэн джилл!
Уй синк со зен, энд уй сот со стилл².

С малых лет звучат в моих ушах перезвон «Колоколов» Эдгара По, сложные музыкальные мелодии в любимых стихах отца из Томаса Гуда («Мост вздохов») и Фрэнсиса Томсона («Гончая небес» и «Маргаритка»).

Сказки Пушкина, его «Полтаву», «Медного всадника», «Домик в Коломне» и «К вельможе», «Суд в подземелье» Жуковского, отрывки из «Илиады» в переводе Гнедича, «Не бил барабан перед смутным полком» Козлова, «Спор» Лермонтова, «О погоде» и «Филантроп» Некрасова, «Петро-

¹ В подлиннике у Эдварда Лира — «throats» (множественное число от «throat» — горло). Но Самуил Яковлевич всегда читал более звонкое «cheeks» (щеки).

² Мы — король с

королевой

Пели-канов.
Не найдете нигде вы
Таких великанов.
Таких похожих
На ласты ног
И сложных
Кожаных
Ртов и щек.
Плафскин!
Плафскин!

Когда и где
Прекраснее птицы
Плескались в воде?
Плофскин!
Пламскин!
Плошкин!
Кряк!
Так будет вчера,
И сейчас было так!..

градское небо мутилось дождем...» Блока и «Слово о Эль» Хлебникова помнятся мне с самого детства. И точно так же отец много раз читал мне «Капитанскую дочку», «Дубровского» и «Повести Белкина», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Шинель», «Коляску», «Ревизора», «Женитьбу», «Мертвые души», большие куски из «Войны и мира», многие чеховские рассказы. «Ночь перед рождеством» и «Нос» он читал особенно часто. А посмотрев в Москве «Ревизора» во Втором МХАТе, отец сразу по возвращении в Ленинград снова мне его перечитал, разговаривая за Хлестакова голосом пленившего его Михаила Чехова. Отец перечитал мне вслух «Пиквикский клуб» и «Большие ожидания» Диккенса, отрывки из «Робинзона», «Гулливера» и «Дон Кихота». А когда у меня возникали не одобрявшиеся им литературные увлечения, он очень тонко меня от них предостерегал — чаще всего шуткой, вроде брошенного вскользь экспромпта:

От Александра Дюма
Не наберешься ума.

Самые ранние запомнившиеся мне песни с содержанием были «Колыбельная песня» Майкова (отец и мать пели ее у моей постели в Краснодаре) и песня, которую отец пел, бодро неся меня на плечах по улицам и аллеям парка в Детском Селе.

В чужедальной стороне,
В незнакомой доле,
В неизвестном табуне
Конь гулял по воле...

Очень любил отец забытую народную русскую песню:

Сидела Катюшенька
Поздним вечером одна,
Вышивала Катенька
Тонким шелком рукава.
Вышивши рукавчики,
В терем к батюшке пошла.
Вышивши рукавчики,
В терем к батюшке пошла.

Сватался к Катюшеньке
Из сената сенатор.
Давал он в обличьице
Полтора ста душ крестьян.
Думаю-подумаю,
Я за этого нейду.
Думаю-подумаю,
Я за этого нейду.

Сватался к Катюшеньке
Первой гильдии купец.
Давал в обличище
Восемнадцать кораблей.
Думаю-подумаю,
Я за этого нейду.
Думаю-подумаю,
Я за этого нейду.

Сватался к Катюшеньке
Деревенский музыкант.
Давал он в обличище
Только скрипку и дуду.
Думаю-подумаю,
Я за этого пойду.
Думаю-подумаю,
Я за этого пойду.

Выйду ль я на улицу,—
Всякий любой назовет.
Любушка-голубушка,
Музыкантова жена.

Собственную вариацию на тему этой песни отец включил (кажется, это единственный случай в его литературной работе) в пьесу «Горя бояться — счастья не видать», когда готовил пьесу к постановке в Театре имени Вахтангова в 1953 году.

Отец любил и другие русские народные песни: «Вы подуйте в поле ветерочки со зеленого гая...», «Ой да ты подуй с полудня, ой да ты надуй тучу черную...», поморские песни: «Ой ты гой еси, море синее, море синее, да все соленое...», «Зачиналася погода от седой Двины, доходила погода до каменной Москвы...» Он дружил с многими людьми, знавшими и любившими народные песни, помнил множество русских, украинских, белорусских, армянских, английских, шотландских, ирландских, финских, еврейских песен. Много песен он перенял от своего большого друга, художника-новатора и изобретателя В. Е. Татлина, с которым встречался при каждой своей поездке в Москву или приезде Татлина в Ленинград. Он знал и много шуточных песен или песен-пародий, вроде, пожалуй, самой короткой песни, состоящей из единственного слова, вывезенной им из Финляндии:

И-е-е-е-е-е-е
Ру-ру-ру-ру-ру-ру
Са-са-са-са-са-са
Ле-е-ем.
И-е-ру-са-лем!

Отец очень любил Финляндию, так же как знакомую ему по произведениям литературы и искусства — по Аз-Бьёрнсону, Григу, Ибсену, Гамсуну — Норвегию. Он говорил, что у народов этих стран есть особый, свойственный северу, домашний уют. Во время жизни в Финляндии он неплохо овладел финским языком и с особым удовольствием заговаривал по-фински с часто встречавшимися раньше в Ленинграде и ленинградских пригородах финскими крестьянами.

Время от времени отец устраивал для меня, а позже для брата что-то вроде «Хорошего дня»¹. В такой день и сам он бывал необыкновенно хорош: был очень ласков, много шутил, сыпал экспромтами или любимыми прибаутками, наподобие обычно обращенной ко мне:

Ах ты, Тпруська, ты Тпруська-бычок,—
Молодая ты говядинка!..

Мы бродили по зоологическому саду, где отец — в который уже раз — с увлечением рассматривал животных, покупал мороженое, устраивал катание на пони и обычно приобретал новых знакомых среди посетителей и служащих сада. Ездили в Петергоф, Павловск, Детское Село и осматривали там дворцы, парки, фонтаны. Шли в музеи (Зоологический, Этнографический, Эрмитаж, Русский музей) или в цирк, в котором он высоко ценил мастерство, темп и удаль артистов и любил даже цирковой запах. Отправлялись с другом отца, старым моряком-журналистом, Николаем Евгеньевичем Фельтеном², в яхтклуб на Крестовский остров и катались по Финскому заливу на его швертботе. Летом на даче ходили на прогулки, купались и катались на лодке или играли в крокет — отец и этой игре отдавался всем сердцем, настолько, что однажды чуть не стукнул своего противника деревянным молотком наотмашь по голове. Это произошло в 1925 году в германском санатории «Яновитц», в котором какой-то фашиствующий молодчик заподозрил отца в том, что он ногой передвинул шар. К счастью, друзья вовремя удержали отца от опасной рукопашной схватки на чужой территории.

Каждая минута «Хорошего дня» была заполнена наблюдением или разговором. Отец внимательно вникал во

¹ Название стихотворной книжки С. Я. Маршак.

² Правнук знаменитого петербургского архитектора, в молодости — секретарь Л. Толстого, а в двадцатые годы — редактор журнала «Совторгфлот».

все мои дела и уважительно знакомил меня со своими. Он хорошо знал моих товарищей. Еще до школы, когда я ходил в детскую группу (детских садов тогда еще не было), он вместе с матерью моего товарища, композитором Юлией Лазаревной Вейсберг, специально для нас сочинил детскую оперу «Гуси-лебеди», которую Ю. Л. Вейсберг впоследствии напечатала. В этой опере мне была поручена партия ежа:

Я колючий, серый еж,
На других ежей похож...

Звук «р» я произносил очень раскатисто, так как только во время разучивания роли стал его правильно выговаривать. С Ю. Л. Вейсберг, талантливой и доброй, но крайне нервной и экспансивной женщиной, у отца установилась своеобразная, если можно так выразиться, «антагонистическая» и полная юмора дружба. Представление об их отношениях дают сочиненные им экспромтом стихи:

*Композитору Юлии Лазаревне Вейсберг
по поводу одного дорожного происшествия.*

Джюльетта Вейсберг ехала на юг.
С Джюльеттой вместе ехал старый друг.
Они сидели в сумраке вагонном,
Глотая чай с вареньем и лимоном.
И, услаждая сердце Маршака,
Джюльетта вслух читала «Чудака»¹.
Но вдруг Маршак сошел с ума немножко
И выбросил Джюльетту за окошко.
Нет, не Джюльетту — номер «Чудака».
Джюльетта прочь прогнала Маршака.
И он ушел, качаясь, из вагона,
Не возвратив ни чая, ни лимона.

Ах, если бы с журналом заодно
Маршак Джюльетту выбросил в окно,
То не было бы повести на свете
Печальнее, чем повесть о Джюльетте.

С любовью и дружбой отец относился к сыну Ю. Л. Вейсберг, моему товарищу Воле Римскому-Корсакову², очень эрудированному юноше, который впоследствии стал ленинградским уполномоченным Общества культурной связи с заграницей (ВОКС). За его необычайно высокий рост отец

¹ Название сатирического журнала двадцатых годов.

² Ю. Л. Вейсберг и внук композитора Н. А. Римского-Корсакова Всеволод Андреевич Римский-Корсаков погибли в Ленинграде во время блокады.

присвоил ему шуточный псевдоним «Меридианов». Так же внимательно отец относился к школьным моим товарищам. Нередко он посвящал им веселые экспромты вроде:

Есть у Перника соперник
По прозванию Коперник.

Для издававшейся у нас в классе стенной газеты отец сочинил частушки, из которых я запомнил:

Инна Разговорова
Дерется очень здорово,
Болтает очень звонко,—
Веселая девчонка!

А как он радовался, если у самих ребят рождались хорошие стихи! Много раз отец вспоминал четверостишие моего товарища Дини Николаева:

К черту книжки, к черту глобус,—
Я учиться не хочу.
Лучше сяду на автобус
И на Невский покачу!

Он всегда был готов побывать в моей школе и почитать ребятам свои стихи. (Я всячески этому противился, считая, что иметь отца, не такого, как у всех, как-то неловко.) Но если в моих школьных делах что-нибудь начинало идти не гладко, тут он вмешивался непременно. Помню, как он меня пристыдил чуть ли не до слез, когда, увлекшись общественной деятельностью, мы с друзьями стали докапываться до каких-то частных обстоятельств, касавшихся нашей соученицы.

На первых порах моих школьных занятий, пока я в них полностью не вошел, отец иногда решал со мной задачи — с большим увлечением и дотошностью. А взявшись преподавать мне основы английского произношения, он возился со мной несколько часов, добиваясь, чтобы я научился правильно произносить слова «блак кат» (а не «блэк кэт», свойственные «русскому акценту» в английском языке).

Но особенно хорош был отец, когда в часы раздумья по-серьезному беседовал со мной — в самые разные мои возрасты — о своем восприятии мира, о взглядах на искусство, на поэтическое познание всего, что нас окружает, на соотношение живого и неживого (удивительная особенность: отец с детства приучил меня к шутливому тону при разговоре о смерти — позже он признался мне, что

сделал это сознательно), на роль духовного начала в человеке, на человеческую этику. В этих беседах он высказывал мысли, выразившиеся в его поздней лирике, в статьях о поэтическом мастерстве, в пьесах и разговорах со своими друзьями, которые нашли отражение во многих воспоминаниях о Самуиле Яковлевиче. Говоря со мной подобным образом, он как бы делал краткие афористические выводы из всего привитого мне художественным воспитанием отношения к миру, наподобие афоризмов, выраженных в эпитафии к этому очерку.

Основой этих бесед было безусловное уважение и доверие к личности собеседника, каким бы он ни был несведущим и неопытным. И это же доверие сказывалось в том, как отец знакомил меня со своей работой — с первыми же набросками своих произведений, с редактируемыми им рукописями, с делами в редакции и с приходившими к нему молодыми и старыми литераторами, художниками, артистами. Разумеется, он передо мной не отчитывался. Но, рассказывая матери за столом о событиях дня, он никогда не переходил на английский язык — он видел, что я с интересом прислушиваюсь к его рассказу. А когда кто-нибудь к нему приходил по делу, он почти всегда хоть немножко давал мне возможность «прикоснуться» к своему гостю. И я сохранил память о множестве замечательных людей, которые были близки с моим отцом. Среди них был сыплющий анекдотами и каламбурами, блистательный журналист и издатель Л. М. Клячко. Разговор с ним отца всегда искрился юмором и перемежался хохотом. Это на его просьбу сделать дарственную надпись на только что принесенной из типографии книжке отец в один прием написал:

Пусть нам Клячко принесет
Новые издания.
Клячко книжки издает,
А не только ржанье!

Клячко как-то вздумал доказывать отцу, что его слава не дошла до простого народа.

— Извозчик, ты знаешь Маршака? — спросил он, когда они вместе с отцом ехали из издательства.

Извозчик равнодушно замотал головой.

— А Клячку ты знаешь? — спросил отец.

— Как же, — оживился извозчик, протянув руку с кнутом. — Вот она.

96 Когда Клячко сидел у нас за ужином, отход ко сну был

для меня великой трагедией. При содействии Клячки отец познакомился и издал несколько книг в содружестве с такими художниками, как Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин и С. Чехонин. И именно с Клячкой он находился в типографии, когда заметил на полу под ногами оттиск еще неизвестного ему художника Владимира Васильевича Лебедева — самого любимого им иллюстратора его книг от «Мороженого» и «Вчера и сегодня» 1925 года до «Цирка» 1964 года, — с которым он вместе создавал ленинградскую детскую редакцию.

— Я хочу, чтобы мои стихи иллюстрировал этот художник, — сказал издателю Самуил Яковлевич, поднимая оттиск.

Хорошо помню старенького, с трясущимися руками и слезящимися глазами поэта Л. И. Андрусона, о последствиях бурно прожитой жизни которого искренне, а может быть, и назидательно сожалел отец. Помню кроткого, почти неслышного (но написавшего по предложению отца несколько звонких рассказов вроде «Гришка-грохотун») Е. П. Иванова, с длинными волосами цвета красной меди, близкого друга Александра Блока, и маленькую, серьезную, часто бывавшую под старость у отца тетку Блока, Марию Андреевну Бекетову. Ко всем этим людям старшего поколения отец относился очень бережно, с большой заботой. А еще одному другу Блока, поэту Владимиру Алексеевичу Пясту, выручая его из нужды, оказал необыкновенную помощь: выхлопотал у Клячки аванс под будущую детскую книжку, а потом написал за него эту книжку, которая так и вышла под именем Пяста. Это был самый первый, неузнаваемый вариант «Рассеянного» — книжка под названием «Лев Петрович».

Начиналась она так:

Лев Петрович Пирожков
Был немножко бестолков.

Вместо собственной постели
Ночевал он на панели,
Удивляясь лишь тому,
Что проходят по нему.

Если можно верить слуху,
Он, со службы приходя,
Вешал часики — на муху
Недалеко от гвоздя.

Уносил с обеда ложку
И в передней каждый день
Надевал живую кошку
Вместо шапки набекрень...

Всю свою жизнь, насколько я его помню, отец постоянно о ком-нибудь хлопотал. Несколько раз выручал от неприятностей молодого Л. Пантелеева, хлопотал о снятии педологического запрета на детские книги К. Чуковского, защищал людей от несправедливости, добивался для них прописки, жилья, денежной и продовольственной помощи, устраивал их в больницы и санатории и добывал им редкие медикаменты.

Но самой большой заботой отца было спасти от «небытия», «невыраженности» заложенные во встреченных им людях литературные таланты. Этой заботой отец был полон все свои зрелые годы. И ей он целиком отдал полтора десятка лучших лет своей жизни — девятьсот двадцатые и тридцатые годы. Я не буду называть здесь имена многих прошедших перед моими глазами литераторов, которых отец побудил к творчеству и которым он помог «поставить голос» и найти свое место в литературе — ценой многих дней и бессонных ночей общей работы, жертвуя своим собственным творчеством и не приобретая ничего, кроме радости художника при воплощении его духовных сил в произведении искусства (отец даже не ставил своего редакторского имени на многих десятках книг, родившихся по его замыслу или в результате его огромной работы с автором попавшей ему в руки сырой рукописи). Приведу здесь только отрывок из сохранившегося письма к нему молодого В. В. Бианки.

«26.VI.23 г.
Саблино.

Милый Самуил Яковлевич,

Должен сознаться: я здорово трушу остаться здесь без Вашей поддержки. В сущности, ведь Вам одному я всем обязан: и началом своей литературной «карьеры» и улучшением своего материального положения. Боюсь, как бы за время Вашего отсутствия не сесть мне в лужу и в том, и в другом отношении...

Р. С. Как мне назвать рассказ о береговушкиных скитаниях? Нельзя ли просто — «Ласточкин дом»? «Береговушкин дом». «Где ласточкин дом?» «Какой у ласточки дом?»

...Начало этого письма могли бы повторить вслед за Бианки многие литературные «крестники» Самуила Яковлевича — и те, которые до конца остались верными друзьями своего учителя, и те, кто, перестав бояться «сесть в лужу», по разным причинам от него отошли.

А отошли от отца многие. Бурный, пламенный, неуемный, а потому необычайно трудный для окружающих, характер отца особенно хорошо знали его близкие. Этот характер не обрисуешь несколькими словами или даже подробным перечислением его черт. Пожалуй, чтобы его как-то представить себе, лучше всего внимательно перечитать цикл переведенных отцом стихов и афоризмов удивительно созвучного ему поэта Вильяма Блейка. Недаром отец с 1914 года до самой смерти не расставался чуть ли ни на одну ночь со вконец растрепавшимся томиком Блейка (Лондон, 1908 г.), всегда держа его около своей постели. Может быть, именно потому, что Блейк был так ему дорог, он все время откладывал издание задуманной им еще в девятьсот десятых годах книжки переводов из Блейка, которые ему хотелось беспрерывно совершенствовать (не этим ли объясняется, что многие очень важные для отца произведения подолгу выдерживались им в рукописях — например, «Умные вещи» — четверть века, — а некоторые лирические стихи, очерки так и не увидели свет при жизни автора).

«Тигры гнева мудрее, чем клячи наставления». «Жди яда от стоячей воды». «Тот, кто желает, но не действует, плодит чуму...» «Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобна». «Всегда будь готов высказать, что у тебя на уме, и негодяй будет избегать тебя». «Солнце, знай оно сомненья, не светило б ни мгновенья». Эти и другие афоризмы Блейка были как бы кодексом поведения отца в повседневной жизни.

Сохранить близость с человеком такого «огнедышащего», по-хорошему величавого и лишённого малейшей пошлости характера было не так-то легко. У некоторых чувство благодарности и влюбленности в него сменялось неприязнью и враждой, другие, чтобы их меньше «обжигало» это общение, постепенно отходили от отца, а некоторые выдерживали трудность дружбы с отцом, принимая его таким, каким он был.

И самым близким, самым преданным отцу человеком, который стойко перенес множество бурь, вызванных «тиграми гнева», и радовался наступавшим вслед за ними си-

яющим прояснениям, была моя мать. Вся жизнь ее с моим отцом — ее бесконечная забота о нем, о его творчестве, освобождавшая его от всех житейских дел для того, чтобы он мог полностью отдаваться своей любимой работе,— была непрерывным подвигом. Она стала для него твердой опорой в трудные минуты и помогала ему рассеять его сомнения. Мне врезалась в память фраза, сказанная в дни моей юности чудесным другом отца, физиологом Алексеем Дмитриевичем Сперанским, во многом близким ему по характеру: «Тем, что Маршак осуществился Маршаком, мы обязаны Софье Михайловне». Отец испытывал к ней безграничное доверие. Она дорожила каждым проявлением его творческого духа — его рукописями и письмами, которые заботливо пронесла через суровые годы скитаний, первыми изданиями его книг, публикациями в периодических изданиях. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на толстую тетрадь с многими сотнями газетных и журнальных вырезок со стихами и прозой отца, начиная с 1908 и кончая 1923 годом (в ней любовно собрано даже многое из того, что было опубликовано отцом еще до их знакомства). И они вместе выработали в себе такую духовную стойкость, которая позволила им выдержать, не теряя веры в красоту жизни, самые тяжкие испытания. Отец сохранил эту стойкость до конца жизни, которая продолжала идти и после смерти матери в созданном ею для отца жизненном устройстве.

А чтобы немного почувствовать, что им пришлось пережить, достаточно прочесть три стихотворения отца, посвященные смерти моего младшего брата Якова — студента Московского института химического машиностроения, который умер от туберкулеза легких в возрасте 21 года 10 февраля 1946 года. Стихи эти отец никому не показывал — они нашлись в сохраненных матерью рукописях.

* * *

Чистой и ясной свечи не гаси,
Милого юного сына спаси.

Ты поддержи над свечою ладонь,
Чтобы не гас его тихий огонь.

Вот он стоит одинок пред тобой
С двадцатилетней своею судьбой.

Ты оживи его бедную грудь,
Дай ему завтра свободно вздохнуть.

* * *

Вся жизнь твоя пошла обратным ходом,
И я бегу по стершимся следам
Туннелями под очень темным сводом
Кю всем тебя возившим поездам.

И, пробежав последнюю дорогу,
Где с двух сторон летят пески степей¹,
Я неизменно прихожу к порогу
Отныне вечной комнаты твоей.

Здесь ты лежишь в своей одежде новой,
Как в тот печальный вечер именин²,
В свою дорогу дальнюю готовый
Прекрасный юноша, мой младший сын.

* * *

Не маленький ребенок умер, плача,
Не зная, чем наполнен этот свет.
А тот, кто за столом решал задачи
И шелестел страницами газет.

Не слишком ли торжественна могила,
С предельным холодом и тишиной
Для этой жизни молодой и милой,
Читавшей книгу за моей стеной?

Только невероятная стойкость могла позволить отцу выпустить через два года после этого удара судьбы переводы сонетов Шекспира. Он сохранял мужественность до конца, написав в последующие восемнадцать лет почти всю свою лирику, книги «В начале жизни» и «Воспитание словом» — чуть ли не половину всех своих произведений, известных читателям. А среди неизвестных были такие строки, посвященные моей матери:

Между нами говоря,
День второго января³ —
Праздник новогодний.

¹ В конце 1943 года Самуил Яковлевич перевез в Москву из Алма-Аты мою мать и брата, который перед этим тяжело болел.

² За две недели до смерти, 27 января 1946 года, умиравшему брату исполнился 21 год.

³ День рождения Софьи Михайловны Маршак.

Он приносит торжество:
День рожденья твоего
 Встречу я сегодня.
В этот день морозных вьюг
С Новым годом, старый друг,
 С новой весною!
Повторяется весна,—
И прекраснее она
 С доброй сединою!

1. 1. 1948
1 час ночи

Через пять лет, вскоре после смерти матери (24 сентября 1953 года), отец записал на листке бумаги:

— Я гордая, я упрямая,—
Ты мне говорила в бреду.
И более верных, жена моя,
Я слов для тебя не найду.

Ты в истину верила твердо.
И я, не сдаваясь судьбе,
Хотел бы упрямо и гордо
Быть верным тебе и себе.

Чувства заботы и внимания по отношению к близким не были утрачены Самуилом Яковлевичем после ухода самых дорогих его сердцу людей, к которым они были прежде обращены. Он отдал эти чувства живым.

Я хочу здесь привести его письмо к младшему внуку в больницу, написанное дрожащей рукой в пору изнурительной четырехмесячной болезни, которая еще тогда чуть не стоила ему жизни. В этих письмах снова слышится его молодой голос, которым он говорил со мной или моим братом лет тридцать — сорок тому назад.

«14.1 1962
ул. Чкалова —
Постель.

Дорогой мой Сашенька,

Спасибо тебе за очень милое письмо. Оба мы с тобой лежачие. Когда же мы встанем?

В первый же день мы запряжем с тобой «Волгу» и объедем Москву, посмотрим, очень ли она без нас изменилась.

По дороге заедем в кондитерскую и закажем по две порции мороженого.

Что еще?

Остальную часть программы ты придумай сам.

Очень хочу тебя видеть, мой дорогой, мой славный Сашенька.

Крепко тебя целую.

Твой С. М.».

До конца своих дней отец не терял силы духа и ясности мысли, веры в красоту мира, творческого жара и чувства юмора. Последний год его жизни был особенно плодотворным. Хроническая болезнь легких, дававшая вспышки пневмонии чуть ли не по два раза в месяц, часто приковывала его к постели. Он подолгу жил вне дома — в подмосковном санатории или в милой его сердцу Ялте, где ему легче дышалось и где он заболел не так часто. Ему было грустно оттуда уезжать, — помню, как он смотрел в последний раз на уходившее от нас синее море, когда машина, в которой мы ехали из Ялты на аэродром в Симферополе, стала отдаляться от побережья. Но он все время писал мужественные вещи, иногда полные безудержного детского веселья, иногда проникнутые печалью, той печалью, которую Пушкин называл «светлой». В течение этого только, последнего года он написал немало лирических стихов, в том числе книгу «Лирические эпиграммы», переработал, подготовил к печати и прочел труппе Малого театра пьесу «Умные вещи», почти закончил свою полувековую работу над книгой переводов из Вильяма Блейка (набело переписав окончательные варианты более сорока стихотворений), перевел много новых веселых стихов из Эдварда Лира, Александра Мильна, английских детских народных песенок, подготовил новое, дополненное издание книги «Воспитание словом», сборник избранных сатирических стихов и сборник избранных стихов для «Библиотеки советской поэзии», произвел, выражаясь его словами, «тонкую хирургическую операцию»¹ над переводами ряда сонетов Шекспира для юбилейного издания и выполнил еще множество других литературных работ. Об этих месяцах его жизни рассказывается в воспоминаниях других людей, близко знавших Самуила Яковлевича.

¹ Из дарственной надписи С. Я. Маршака на книге «Сонетов Шекспира» (издание 1964 года), подаренной врачу-хирургу Н. М. Крыловой.

Мне остается рассказать здесь о его последних днях. Обнаруженное у отца летом 1963 года помутнение хрусталиков обоих глаз в июне 1964 года почти полностью лишило его зрения. Отец очень хотел принять участие в шекспировских торжествах на родине поэта в Стратфорде, которые должны были состояться в сентябре. Заболев вечером 16 июня новым воспалением легких и уже начав поправляться, он согласился 27 июня лечь в больницу, с тем чтобы после выздоровления подвергнуться там операции удаления катаракты, — в Англию он хотел приехать зрячим. В больнице наступило ухудшение, он еще больше ослабел. Но даже 3 июля, за день до смерти, лежа в постели, почти весь день правил корректуру «Умных вещей», присланную из журнала «Юность». Ему в этом помогала (читала текст, объясняла, как он набран) технический редактор Валентина Семеновна Гриненко, профессионализму и тщательности которой он абсолютно доверял.

Закончив работу над корректурой, он продиктовал Валентине Семеновне свое последнее письмо¹ — к белгородским школьникам. Вот текст этого письма, которое я отправил ребятам белгородской школы № 16 уже после похорон Самуила Яковлевича:

[3. 7. 1964, Москва,
Кунцевская больница]

«Дорогие ребята,

Ваше письмо получено во время тяжелой болезни Самуила Яковлевича. Сейчас он находится в больнице.

Он был рад хорошим вестям от Вас и обещал написать, как только немного поправится.

Самуил Яковлевич просит передать привет Вам всем, Вашей учительнице Софье Ивановне, а маленького героя Володю просит крепко обнять и расцеловать»².

Прощаясь с Валентиной Семеновной, отец просил ее принести завтра для новой проверки рукопись книги «Лири-

¹ В последние годы, когда отцу бывало трудно из-за болезни написать письмо своему корреспонденту, он часто диктовал краткий текст, который по его просьбе подписывал кто-нибудь из близких, помогавших ему в работе.

² В письме от белгородских ребят рассказывалось о подвиге их товарища, который с большой опасностью вытаскил из котлована с варом увязшую в нем маленькую девочку.

ческие эпиграммы», переданной им перед самой болезнью в издательство «Советский писатель». А поздно вечером позвонил мне по телефону.

— Я чувствую себя немного лучше. Спокойной ночи, мой мальчик,— были последние услышанные мной слова, которые он легко произнес.

А под утро он стал задыхаться. В одиннадцать часов мне на работу позвонил врач и попросил немедленно приехать — Самуилу Яковлевичу очень плохо.

Когда сломя голову я примчался в больницу, он лежал под кислородной палаткой, судорожно глотая воздух.

— Кто это? — спросил он, ничего не видя. — Дай руку. Через несколько часов его не стало.

В последние дни он был каким-то особенно ясным и просветленным, трепетным, как натянутая струна. Моя жена, Мария Андреевна Маршак, первого и второго июля навещала его вместе с приехавшей из заграницы, чтобы повидаться с Самуилом Яковлевичем, его племянницей-художницей Авиталь Сагалиной-Шварц, дочерью его сестры, Сусанны Яковлевны. Во время этих посещений он подробно рассказывал о всей своей жизни, о множестве встреченных им людей, говорил о своем отношении к искусству, прочитал на память много стихов. Жена сделала на клочке бумаги беглые записи этих бесед, которые позже мы с ней постарались привести в порядок. Возможно, что нам не удалось восстановить последовательности того, о чем тогда говорилось. Кое-что было упущено. Привожу основную часть этих записей.

...Второго июля Самуил Яковлевич сразу начал говорить об искусстве. Первые его слова были:

— Ну, вот что, слушай меня,— как будто он перед этим готовился к беседе.

Усадив Авиталь около своей кровати и взяв ее за руку («твое прикосновение — такое легкое», — сказал отец по-английски), он начал:

— Я всегда считал, что искусство состоит из единства трех основных факторов: мысли, чувства и воли. Очень важно сохранить свою волю, детскую. В детстве мы себя чувствуем как «воля». Как-то мой маленький брат, Люся, тонул. А старший брат (находившийся на берегу) тоже не умел плавать. Он закричал: «Плыви, негодяй, плыви, мерзавец!» — и тот почувствовал, что у него есть сила. Своей волей старший брат заставил младшего плыть, спас- тись.

— Лень — это аморфность, противоположность воле. Все механическое — это смерть.

Самуил Яковлевич говорил о чистом отношении к искусству.

— Легко поддаться дешевке. Надо иметь хороший вкус. Не так много людей, которые видят. Так просто пойти по пути легкому, но неверному, следуя моде. Нельзя размениваться на случайные, модные направления (прочитывал свое двустишие: «Ты старомоден — вот расплата за то, что в моде был когда-то»).

Его самого спасло от богемы только чистое отношение к жизни, искусству.

— А сколько примеров, когда люди талантливые погибали...

— Размениваться нельзя. Надо иметь волю и работать, обязательно работать. Лень парализует волю. Она является противоначалом всего. Воля должна быть своя, непреклонная. Настоящее искусство вечно. Оно движет человеческие души вперед, будит все лучшее в человеке. Ему (искусству) принадлежит будущее...

Он говорил о борьбе жизни и смерти, о том, что вооружения — это мертвечина, что человечеству необходима высокая духовная культура.

— Нельзя потонуть в отвлеченностях, потерять сознание высшего реализма. Может быть, люди никогда так не чувствовали реальность, как сейчас. Воля — ядро всего. Навстречу реальному идет только реальное. Есть огромные пространства на свете — об этом не надо забывать: «В просторах вольных я блуждал...»¹

— В театре часто аплодируют не игре актера, а благородным поступкам. А в жизни — не умсют («В театре жизни видел он не сцену, а лысины сидящих перед ним»²)

— «Лирические эпиграммы», — добавил он, — это мое завещание.

Самуил Яковлевич со щедростью, свойственной ему в разговорах с молодыми художниками и поэтами, хвалил Авиталь, поощряя ее к работе.

— На тебя большие надежды. Ты — одна из «передовых

¹ Вариант первой строчки стихотворения В. Блейка «Хрустальный чертог» — перевод С. Маршака.

² Заключительные строчки четверостишия С. Маршака «Определять вещам и людям цену...» из книги «Лирические эпиграммы».

душ» (в смысле того, что Авиталь — талантливая художница).

Он расспрашивал ее о том, какие теперь есть молодые художники, говорил о «Рукописях Мертвого Моря», рассказывал о скале около Иерусалима, к которой удивительно красиво и гармонично прилепился монастырь. Вспоминал свою встречу в Лондоне с Рабиндранатом Тагором. В Тагоре был какой-то модернизм, который ему не очень нравился. Но были и настоящие вещи («Настоящие — глубже и материальнее»). Рассказывал о Стасове, Лядове, Репине.

Самуил Яковлевич говорил о своих чудесных друзьях — английском поэте Филиппе Ойлере, организаторе «Школы простой жизни» в Уэльсе (Англия) перед первой мировой войной, о шведском докторе Любеке, который создал в Финляндии в девятьсот десятых годах необыкновенный санаторий, о многих других прекрасных людях, прошедших через его жизнь. Ойлер и Любек исчезли. Их дело заглохло.

Авиталь рассказала, что там, где они жили на даче, есть открытый концертный зал, построенный замечательным финским архитектором Саариненом и его сыном. Самуил Яковлевич вспомнил, как он навещал Сааринена в Финляндии и там были Сибелиус и Любек. Тут он прочитал свои стихи:

Все те, кто дышит на земле,—
При всем их самомнении —
Лишь отражения в стекле,
Ни более, ни менее.

Каких людей я в мире знал,
В них столько страсти было,
Но их с поверхности зеркал
Как будто тряпкой смыло.

Я знаю: мы обречены
На смерть со дня рожденья.
Но для чего страдать должны
Все эти отраженья?

И неужели только сон —
Все эти краски, звуки,
И грохот миллионов тонн,
И стон предсмертной муки?..

— Когда ты сидишь в самолете, какую музыку ты слышишь? Никакой? А я слышу Грига.

Больше всего Самуил Яковлевич любил Баха, особенно его «Второй Бранденбургский концерт».

— Здесь меня поправят, потом переведут на пятый этаж, будут готовить к глазной операции. Я должен видеть. А осенью надо быть на конгрессе в Стратфорде.

На прощание он попросил Авиталь и Машу по очереди низко наклониться к его лицу, чтобы он мог хоть немножко их рассмотреть — он их почти не видел.

С самого раннего детства, на протяжении всей жизни, мне время от времени являлся по ночам один и тот же страшный сон, — как будто мой отец умер и весь свет для меня потускнел и стал каким-то приглушенным. С каким счастьем я просыпался в сознании, что он жив, что я могу снова его увидеть! А теперь этот сон так надолго затянулся...

ВЫСОКОЕ БЛИЗКОЕ



удет Маршак,— предупредил меня Бенниамин Абрамович Ивантер, заведовавший в те годы редакцией «Пионера», «старейшего пионерского журнала», как уже тогда гордо было обозначено на обложке.— Да, сам Маршак будет!

Бен, как мы называли Ивантера, торжествующе посмотрел на меня, чтобы убедиться, насколько оглушен я этим сообщением. Но я, по-видимому, не изменился в лице, потому что Ивантер взглянул на меня уже удивленно. А я просто не знал еще тогда точно, кто такой Маршак. Слышать, конечно, слышал, но что он там писал для детишек, откровенно говоря, не знал. Ибо было мне в то время двадцать два года, и пребывал я в том нахальном возрасте, когда больше всего хочешь чувствовать себя уже окончательно взрослым, а до всей этой мелочи, именуемой детьми, никакого дела нет. Ведь это именно тот возраст, когда человеку ребята далеки, как никогда. Повышенный интерес, внутренняя, боже упаси, близость к ним кажутся просто постыдными. Замечу тут в скобках, что многие беды в пионерской нашей работе, как я подозреваю, оттого и происходят, что вожатыми назначаются девушки и парни как раз того возраста, когда юность подчеркнуто гордится, что она уже давно вышла из детских лет, а того чадолюбивого интереса к ребятам, который обычно возникает несколько позднее, еще нет.

Я в то время был уже очеркистом центральных «Известий», входил в кружок литераторов, объединенных вокруг журнала «Новый Леф» и возглавляемых В. В. Маяковским, считал себя заправским «лефовцем». Меня не очень-то еще интересовали проблемы детской литературы. Правда, после

опубликования Маяковским в его журнале отрывков из моей первой повести «Кондуит», тогда еще далеко не дописанной, Сергей Михайлович Третьяков и его жена Ольга Викторовна, выполнявшая обязанности секретаря в редакции «Нового Лефа», уже связали меня с «Пионером», передав очень теплое и настойчивое приглашение Ивантера. Я бы, возможно, и не спешил откликнуться на него, если бы Маяковский, выслушав меня, не посоветовал убежденно:

— Идите, Кассильчик, непременно идите. Там очень хорошие люди работают и интересное дело делают. Обязательно идите туда.

Словом, получилось так, что «Кондуит» свой я дописывал уже для «Пионера», с которым сдружился чуть ли не с первого дня знакомства и, как оказалось, уже на всю жизнь. В «Пионере» печатались тогда М. Пришвин, А. Гайдар, В. Маяковский, С. Григорьев, А. Кожевников, С. Третьяков, Н. Асеев и работали такие замечательные художники, как Н. Купреянов, В. Фаворский, А. Лаптев, А. Каневский, Кукрыниксы.

И вот в 1928 году на Тверской, как в те времена называлась улица Горького, недалеко от здания Моссовета, в небольшой комнате над книжным магазином был устроен вечер «Пионера», на котором должен был присутствовать приехавший из Ленинграда Самуил Яковлевич Маршак. В то время основной отряд детских писателей находился в Ленинграде, где кроме С. Я. Маршака жили К. И. Чуковский, Б. С. Житков, В. В. Бианки, А. И. Пантелеев. Так и говорили, что детская литература делается в Ленинграде. Ивантеру же хотелось показать, что и в Москве есть кое-кто и делается кое-что. По-видимому, Ивантер считал меня уже «кое-кем», а в качестве «кое-чего» вниманию Маршака решили предложить главы из «Кондуита», уже предоставленные в те дни мною редакции «Пионера». Я отнесся к сообщению Ивантера об этом с невежественным спокойствием.

— Да вы знаете, кто Маршак?! — уже закричал на меня Бен Ивантер.

— Ну, знаю. Стихи пишет для детей.

— Слушайте, вы! Это ж самый лучший детский поэт у нас в СССР. Глава литературы для ребят, — с жаром принялся объяснять мне Ивантер. — Знаете, что я вам рекомендую? Немедленно достаньте книжки Маршака, прочитайте — и вы тогда поймете, кто вас будет слушать.

ковскому и к Брикам и рассказал им, что мне предстоит выступить на вечере «Пионера», где будет Маршак.

— О-о,— протянул Осип Максимович Брик.— Вот это интересно. И важно для вас. Только вы уж заранее не волнуйтесь очень. Я думаю, что Маршаку понравится.

— Я и не волнуюсь очень.

— Вы что же это, не знаете, кто такой Маршак? — воскликнул Брик.— Ну уж вам-то надо очень хорошо знать, кто такой Маршак, и всего Маршака знать вы должны, если собираетесь и дальше писать для ребят.

— А я пока не очень собираюсь,— признался я.

Тут в разговор вмешался слушавший это Маяковский. Он сидел поодаль, за другим углом стола, и читал газету. Владимир Владимирович сложил решительно газету, бросил ее на стол, встал.

— Слушайте! — оглушил он меня своим басом.— Вы это что?.. Вы, я вижу, совсем темный еще? Неужели вот и этого не знаете? — он широко повел рукой.— «По проволоке дама идет, как телеграмма...»

— Это-то знаю,— пробормотал я.— Помните, когда мы по Таганке шли, там еще через канаву мосточки были проложены. Вы все повторяли. Я думал, это вы сами сочинили.

— Если бы я придумал такие строки, я бы не по мосточкам, а по Кузнецкому мосту целый месяц гордый бы ходил,— прорычал Маяковский.— Это же у него в «Цирке». До чего же ж здорово! — Он прошелся по комнате, постоял, как бы вслушиваясь, и скрылся у себя в кабинете, откуда еще несколько раз донеслось, в полголоса, на разные тона баса пробуемое: — «По проволоке дама идет, как телеграмма...», «По проволоке дама идет, как телеграмма». Здорово!

В тот вечер и за ночь я прочел все, что мог достать из книг Маршака. До этого дня я из современной детской поэзии знал только «Крокодила» Чуковского. Ну и, конечно, детские стихи Маяковского про Власа, лентяя и лоботряса, напечатанные в «Пионере». Помнил наизусть немало строк и очень их любил, не придавая, впрочем, им большого значения. А теперь вдруг словно еще один, совсем новый, где-то рядом довле таившийся, полный скрытой вчера еще от меня солнечной и легкокрылой, веселой и певучей прелести, мир зазывно распахнулся передо мной. И я кинулся в него очертя голову, внезапно обрадованный и вместе с тем пожираемый восторженной завистью к могуществу поэтического слова, обращенного к ребятам. Я читал и перечитывал то вслух, то про себя «Почту» и про даму,

которая «сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». И тут же чуть ли не наизусть от начала до конца запомнил «Цирк». Я радовался «На площади базарной... каланче пожарной», с высоты которой совсем по-иному увидел впервые для меня приоткрывшиеся горизонты настоящей большой литературы для детей, где, оказывается, можно было делать вот такое!.. Черт меня возьми, я же любил ребят, если признаться! Меня и прежде влекло к ним, да и детвора, бывало, и дома, на Волге, и в селе за Хвалынском частенько льнула ко мне, чувствуя, что и мне, видно, интересно, не скучно с ней. Но чтоб вот так властно знать всегда, как подступиться к ребятам!..

Теперь-то я понял, почему у Ивантера был столь предостерегающий значительный вид, когда он сообщил мне о том, что меня будет слушать Маршак. Понял, почему у Маяковского так по-доброму рокотал его грозный бас, когда он повторял строки Маршака, и почему Брик успокаивал меня, присил не очень уж волноваться.

Но как тут было не волноваться, после того, что я прочел у Маршака, переполнился чудесным звучанием его стихов и, весь объятый их прелестью, должен был теперь читать при нем, читать ему то, что я накорябал в своей разом и начисто опротивевшей мне рукописи.

А через два дня он сам, плотный, с широкими подвижными плечами, весь полный какой-то крепко спрессованной энергии, иногда лишь прорывавшейся в коротких и точных жестях, которыми он поправлял очки или закуривал, сидел прямо передо мной и, чуть склонив голову набок, слушал. Когда я кончил читать и решился взглянуть на Маршака, я вдруг с жаркой, обдавшей меня всего радостью увидел за его очками веселый, и одобрителный, и как бы к чему-то призывающий взгляд. И, боясь еще поверить себе, почувствовал, что Маршаку как будто понравилось.

А потом Самуил Яковлевич сам читал нам свои новые стихи, и, честное же слово, я просто-напросто забыл о том, что лишь сейчас сам что-то читал и ждал одобрения. Своим глуховатым и в то же время властно захватывающим внимание слушателей, каким-то очень напористо-упругим голосом, темпераментно выражающим все игровое и ритмическое движение стиха, Маршак читал нам про своего «Рассеянного». И тотчас же я запомнил наизусть и навсегда:

Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!

Всю неделю потом я цитировал знакомым и незнакомым, взрослым и ребятам эти мгновенно врезавшиеся в память строки. Так же, как и строки про «веселый, звонкий мяч», который несся вскачь, «попал под колесо... лопнул, хлопнул — вот и все!».

Но только самым близким счел я позволительным рассказать о коротком разговоре с Маршаком, который, когда кончился памятный всем нам вечер, отозвал меня в сторонку, к окну, и сказал:

— Это у вас там хорошо... Когда вы говорите, как ночью свет вспыхнул в темной комнате и все сразу изменилось, как на проявленном негативе, да? Окна были светлыми — стали черными. Рамы были черными — стали светлыми. Так, кажется, да?

Я только закивал головой с предельной благодарностью, пораженный, что он так точно запомнил эти строчки из прочитанного мной.

— Очень это точно, — продолжал Самуил Яковлевич. — Умеете видеть. Мне говорили, вы — у Маяковского? Это хорошо! Вы ему передайте привет от меня. И Брику. А мы, если хотите, давайте встретимся, поговорим подробнее о вашей работе. Я скоро опять буду в Москве.

И вот через какое-то время я был приглашен в редакцию Госиздата, находившуюся тогда не то на Рождественке, не то на Софийке. Редактор Иоффе, работавшая тогда в отделе детской литературы, который курировал Маршак, сказала, что он приехал на два дня в Москву и хочет меня видеть. И вскоре Самуил Яковлевич появился в редакции, очень сердечно поздоровался со мной, спросил, что нового в «Лефе», как у меня дела с повестью, не хочу ли я издавать ее в Госиздате. Но тут же, заторопившись по какому-то делу, схватился за телефонную трубку и, что-то быстро проговорив в нее, беспрестанно прерывая фразы хриловатым «алло», предложил мне для дальнейшего разговора лучше прийти к нему на завтра в гостиницу «Савой», где он остановился.

Да, теперь-то я знал, кто такой Маршак. И когда на другой день шел по Рождественке к отелю, мне казалось, что все встречные смотрят на меня и завидуют: вот счастливчик, с самим Маяковским водится и к живому Маршаку идет!

Разговор в большом старомодном номере с зеркалами в стенах, с белой медвежьей шкурой на полу был долгим и очень важным для меня. Честно говоря, разговор вел, собственно-то, один Маршак, а я больше молчал, не сводя с него глаз и впитывая каждое его слово. Он говорил о том, каким точным, емким, наполненным должно быть слово и в прозе и в поэзии для детей, как много несет это слово тем, кто входит с ним в жизнь, как отвечает за него перед читателем, перед народом писатель, поэт, пишет ли он для больших или для маленьких. Он говорил о том, к чему зовет и обязывает меня близкий, постоянный, наглядный и великолепный пример Маяковского, возле которого я имею счастливую возможность постоянно работать. Подкрепляя каждое свое утверждение решительным, коротким, отрывистым жестом, то и дело припадая к папиросе, закуривая одну за другой, вставая, делая несколько прочных, собранных шагов по комнате, останавливаясь, повернувшись ко мне, снова отходя и затем быстро приближаясь, Маршак как бы вдвухвал в меня, еще безгласного и только-только еще пытавшегося выкарабкаться на литературное высокогорье, туго нагнетаемый, полный живительной страсти, всем моим существом вдыхаемый дух познания прекрасного, который распирает каждое его слово.

— Читали Каролину Павлову?.. Обязательно перечитайте, голубчик! Отличный мастер... Вы, милый, кстати, слушайте да ешьте! — Он пододвигал ко мне тарелку с огромным куском шоколадного торта. — Берите, милый, и ешьте... Да, великолепный мастер! Помните, как у нее в стихах о Риме гром произносит это слово... Она не выпячивает это звучание. У нее было поразительное чувство меры. Слово само слышится в раскатах грозы: Рома! Правда? Прислушайтесь, да? А какая энергия слова живет в народной поэзии, которая столько дала Пушкину. Помните, как у него, да? «Как бы здесь на свет окошко нам проделать? — молвил он, вышиб дно и вышел вон». Какая краткость! И пленительная, напористая, сокрушающая сила! А в «Медном всаднике» помните, да? Исполинская широта замысла. И при этом точнейшее ощущение каждого звучания, забота о совершенстве музыкальном в каждой строке! «Как будто грома грохотанье — тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой!» Правда, удивительно, да? «По потрясенной мостовой!» Какой державный натиск слова тут!

любил шоколад. Просто не мог... У меня сжималось горло от восторга и благодарности. Я внутренне захлебывался от низвергавшегося на меня потока живой, клокочущей и пленительной мудрости.

Я пробыл у Маршака в «Савое» часа три. Под конец разговор перешел на мою работу. «Вы можете, вы должны, голубчик, писать для детей! — несколько раз повторил Маршак.— Я чувствую, вы их, верно, любите. Так добивайтесь взаимности. Это же такое редкое счастье!» И с некоторой озабоченностью он стал расспрашивать меня о том, что я делаю в газете, не мешает ли мне работа репортера, корреспондента, очеркиста. Потом стал говорить о том, что, по его мнению, я должен бы сделать в своей повести, и даже предложил мне быть редактором ее.

Я ушел бесконечно благодарный, хотя и несколько оглушенный, слегка растерянный. Мне вдруг показалось, что если я в своей повести во всем и полностью подчинюсь этому повелительному влиянию, уступлю где-то даже в том, что мне казалось, по тогдашним моим «лефовским» принципам, не терпящим уступок, то я потеряю сам себя. И мне даже трудно сейчас объяснить почему, но я после того, как перечитал внимательно несколько книг детских писателей, выпущенных в Ленинграде, под непосредственным руководством Самуила Яковлевича, убоился, сробел и после очень трудных раздумий решил отказаться от такого почетного и заманчивого предложения Маршака, передав рукопись книги издательству «Молодая гвардия», где моим редактором стал И. И. Халтурин, уверенно и быстро сдавший повесть в печать.

Я часто думаю о том, правильно или неверно я тогда поступил. Вероятно, работа под непосредственным руководством Маршака, человека, перед которым я уже тогда восхищенно преклонялся, уберегла бы меня от многих и многих ошибок, помогла бы мне избавиться от ряда изъянов, которые я сам увидел у себя значительно позднее... Но я был в ту пору чрезвычайно впечатлительным, чрезмерно ранимым и очень остро и мучительно воспринимавшим каждое замечание даже тех, кто был для меня решающим авторитетом. А кроме того, возможно, что я, в то время привыкший к состоянию постоянной обороны от торопливого редакторского карандаша в ежедневной журналистской работе, перенес этот страх и ревнивое чувство самозащиты и на работу в литературе для детей.

Так или иначе, но на какое-то время налаживавшаяся связь с Маршаком у меня оборвалась.

Со временем мы стали довольно часто встречаться с ним, особенно после того, как Самуил Яковлевич переехал в Москву. Я чувствовал, что раз от разу он делается все внимательнее и добрее ко мне. Трудно мне выразить словами то чувство подлинно сыновней благодарности, от которой я прямо-таки задохнулся радостно, когда в 1934 году услышал с трибуны нашего Первого писательского съезда его очень щедрую и высокую оценку моей «Швамбрании».

Много раз мне выпадало счастье быть вместе с Самуилом Яковлевичем дома у Горького, и мне не забыть, конечно, тех добрых, хотя и коротких слов, которыми он представил меня Алексею Максимовичу во время моего первого посещения Горького.

Но, что таить, приходилось мне выслушивать от Маршака не раз и малоприятные слова. Я не забуду, как он охладил жар моих восторгов от похвал, услышанных мною от многих моих товарищей-журналистов по поводу большой моей двухподвальной сказки, напечатанной в «Известиях» и, кстати, не понравившейся также и Брику.

— Нет, голубчик, этого не надо делать. Ты пойми, милый, настоящая сказка рождается не так. Она — от мечты народа, от его мудрого опыта, веками обобщаемого в поэтический образ. Она в гиперболе, которая утоляет мечту или, наоборот, выводит за ушко да на солнышко то, что народу хочется пригвоздить, припечатать крепко, что не отвечает нравственным представлениям народа. И у народа сказка всегда строится на плотном быте. А литературная сказка — это, имей в виду, большую часть дешевая стилизация, лубочная подделка. Конечно, писатель, который верно чувствует народ, знает глубоко былины, сказания, слышит сказки, самые сокровенные для народа, — он может написать настоящую сказку, опираясь на великолепный поэтический опыт народа-сказочника. Пушкин это умел. И конечно, он по-своему претворил, организовал всем своим вдохновением, мощью таланта своего обогатил то, что слышал от пияни Арины Родионовны. А у нас порой заменяют сказку жалкой, манерной аллегорией. Получаются какие-то картонажные сценки, дамское рукоделье, эдакое вырезание и склеивание. И ты тоже вот вырезал из газеты эти фигурки, которым место, может быть, в хорошем дельном очерке, — ты умеешь неплохо, кстати, их делать... А ты, голубчик, их раскрасил цветными карандашами, расставил на редак-

ционном учрежденческом столе, дуешь на них, чтобы они двигались по зеленому сукну, а они у тебя валяются... И ничего, милый, не получается.

А в другой раз, прочтя какой-то мой рассказ, из тех, что печатаются в газете на праздничной полосе, он говорил:

— Ты меня, милый, пойми. Ты иногда работаешь, как способный. А я хочу, чтобы ты всегда стремился писать только как талантливый. Способных много. Народ у нас одаренный. А талант — это уже счастье не частое. И за это надо всегда отвечать. Это очень обязывает. Настоящий писатель не может удовлетворяться тем, что написал только как способный человек. Этого мало.

Каждое посещение Маршака, хотя бы даже короткое пребывание в его квартире на улице Чкалова, в кабинете, до предела заполненном книгами, рукописями, письмами, папиросным дымом, были для меня чем-то вроде очередного занятия в каком-то необыкновенном университете. Кашляя, отрываясь от дымившей папиросы, чтобы припасть к телефонной трубке то и дело звонившего телефона, снова откидываясь в кресле у рабочего стола, постоянно загруженного рукописями, он говорил мне о литературе, о детях, о нашем долге перед растущими, о Твардовском, Пантелееве, Ильине, Габбе, Житкове, об участии писателей в создании новых учебников, о планах издательств, об английском фольклоре, рассказывал о Стасове, о Горьком, читал мне только что сделанные им переводы сонетов Шекспира, стихов Бернса, Китса, Блейка, Джанни Родари, с особой, ему присущей, влюбленностью говорил о людях, которые ему были особенно дороги:

— Какой прекрасный человек! Какой сильный, ясный талант! Ты даже не представляешь себе, какой это удивительной чистоты человек! И какого истинно народного понимания своего места в жизни! И как он отлично чувствует малейший сдвиг или поворот слова!..

Но он был и решительно безжалостен в оценках того, что ему не нравилось.

— А, я знаю! — сказал он как-то мне по поводу одной писательницы. — Это та, у которой в книгах ничего не происходит.

А о другом, талантливом, но иной раз совершавшем некоторые промахи в литературе и поведении своем, поэте выразился с лукавым сокрушением так:

— Да, да, ужасно! Но ты понимаешь, его спасает, что он очень талантливый. У него, прости меня, в работе, как

в уборной. Вот уж черт знает как нагажено, а дернул за ручку — раз, и все чисто! Талант все смыл.

К друзьям он умел относиться с огромной и внимательной нежностью, проявляя при всякой возможности свою участливую ласку, то всерьез, то в милой и даже немного озорной шутке.

Когда мы отмечали в Центральном Доме литераторов его шестидесятилетие в 1947 году, он, весело приподнятый, радостно смеющийся, сделал такую надпись на своей «Разноцветной книге», подаренной моей жене:

«В хороший день
хорошей жене
хорошего человека,
хорошей дочери
хорошего человека,
от меня —
хорошего человека,
Светлане Собиновой-Кассиль
от С. Маршака.
Люблю Вас.

*Юбилей
14/XI 1947 г.
Дом литераторов».*

А мне на обороте подаренной им своей фотографии кратко написал:

«Кассилю, которого люблю.
С. Маршак. 10.XI.53».

В последние годы, когда ему уже не под силу было выступать на больших собраниях, мне постоянно приходилось читать за него написанные им выступления, приветствия, стихи, а то и целые доклады. Почему-то он доверял делать это всегда мне. И некоторые злые языки уже язвили по этому поводу, что я стал «громкоговорителем Маршака». Когда я как-то рассказал об этом Самуилу Яковлевичу, он сказал:

— А ты скажи им, этим дуракам, что поступаешь как король, которому, как известно, для тронной речи в парламенте текст всегда пишет премьер-министр. Это всем официально известно.

К любым текстам, передаваемым мне для оглашения, сам он относился с чрезвычайной взыскательностью, скрупулезно, по десятку раз переправляя уже полученный мною от него текст, будь то стихотворное приветствие ребятам, которым мне приходилось ежегодно открывать Неделю детской книги в Колонном зале, или большое, многостраничное выступление на писательском собрании. И, даже находясь вне Москвы, где-нибудь в Ялте, тяжело больной, он по несколько раз звонил мне. И я слышал в трубке его далекий, глухой, навсегда врезавшийся мне в память и живущий у меня на слуху голос.

— Алло? Левушка? Ты исправил там в четвертом абзаце? Что? Алло? Ты так думаешь, да? Алло? По-твоему, совсем убрать, да? Алло! Левушка!.. — Но голос его тотчас же каменил, когда я касался какого-то места в тексте, казавшегося ему принципиально важным: — Нет! Алло! Это я должен сказать. Алло! Тут все надо. Ты это, пожалуйста, когда будешь читать, выдели. Да, да. Алло? Спасибо тебе, дорогой.

О чем только не приходилось говорить с Маршаком! Но вот никогда ни одного раза, как бы долго ни находился я у него дома, не слышал я от Маршака ни одной фразы, ни одного вопроса, касавшихся каких-нибудь окололитературных обывательских сплетен или делишек, которыми частенько засоряют свои беседы, занимают время своего взаимодействия некоторые, порой даже маститые, писатели. Он просто этим не интересовался начисто. Он жил другим. Он был всегда в работе, в широких помыслах и заботах о литературе, о читателях, о школе, о детях, о том, чего ждет страна от художника, от поэта.

Никогда не забуду я посещения Маршака в Кремлевской больнице 30 мая 1960 года. Он позвонил мне домой и просил навестить его. Я немедленно же собрался и в назначенный час пришел в больницу. День был уже на исходе, слегка темнело. Облаченный в белый халат, выданный мне, я быстро шел по коридору и слегка посторонился, чтобы пропустить шедшего навстречу худенького, маленького старичка с палкой, в больничной пижаме. А он вдруг коснулся исхудалой рукой моего локтя, и я услышал такой знакомый, но непривычно слабый голос:

— Здравствуй, Левушка. Спасибо, милый, что пришел.

Я застыл, совершенно потрясенный. Такой плотный, плечистый, подвижной всегда, он стоял передо мной, внезапно ставший маленьким, узкоплечим, чудовищно худым. Мне неимоверно страшно было обнимать его почти бес-

плотные маленькие плечи. Я должен был сделать над собой нечеловеческое усилие, чтобы как-нибудь скрыть от него свою горькую оторопь.

Он повел меня в свою одиночную палату. В ней почти не было ничего больничного. Лекарства, бутылки с наклейками, капельницы, коробки с таблетками — все это было загнано с яростью в дальний угол столика, а на больничной тумбочке, на стульях и на столе — везде господствовали книги, рукописи, папки, совсем как в кабинете Маршака на улице Чкалова.

Я пробыл у Маршака около двух часов. Тяжкое состояние его и катастрофическое истощение вызвала не только болезнь, неотвратимо пожиравшая его, но то было и следом новой, невосполнимой утраты, обрушившейся недавно. Похоронив много лет назад сына, а потом жену и брата — Илью Яковлевича Маршака (М. Ильина), он теперь никак не мог прийти в себя после нового горя. Умерла Тамара Григорьевна Габбе, замечательная писательница, редактор, сотрудница, которую связывала с Маршаком многолетняя и нежнейшая дружба. И вот теперь в больничной одиночке он мне говорил о ней восхищенно, с безудержным и скорбным восторгом:

— Поверь мне! В чем-то, в своем ощущении стиха, в своем понимании жизни, входящей в искусство, она была гениальна. Да, да, дорогой, ты не думай, что я преувеличиваю. Поверь мне, Левушка. Ты ведь знаешь, как я строг в оценках. Но тут я не преувеличиваю. Ты это, голубчик, еще поймешь... Если бы ты только знал, чем мы ей обязаны, как она много дала и мне такого, что никто не мог бы дать... Хочешь, я прочту тебе стихи?.. Я вот написал тут...

И он прочел мне стихотворение, которое начиналось строками: «Спасибо тебе, что ты научила меня умирать...»

А потом вдруг схватил меня истончившейся, ослабевшей рукой за локоть, тихо сжал и заговорил прерывисто:

— Ну почему, почему, дорогой, жизнь так жестоко, так несправедливо со мной обходится?.. Ведь я ей так всегда радовался, старался других научить радоваться жизни. А она меня так бессердечно бьет. Столько потерь... А ведь я же должен еще очень много сделать. У меня так много еще задумано, не сделано. Вот хочешь, я тебе прочту?..

И хотя в комнату уже не раз заглядывали то медсестра, то врач и просили его не утомляться, он с прежним, вдруг снова загоревшимся в нем, охватившим все его до ужаса

и свои лирические стихи, в которых жила великая, полная признательной доброты к миру и печально-строгая к себе, но все перебарывающая Любовь Старого Поэта, и новые переводы, где слышались голоса поэтов дальних краев планеты и далеких веков.

И, слушая его, снова думал я, что вот он передо мной, волшебник, восстановивший некогда порвавшуюся «связь времен». Он дал нам постичь ее в поэтическом родстве поколений, приблизив детство к настоящему искусству, а старшим дав понять душу младших. Он восстановил связь времен в истории разноязыкой литературы, дав нам сегодня заново насладиться поэзией Шекспира, Бернса...

Но вот опять постучали в дверь: пришла сестра Самуила Яковлевича, Елена Яковлевна Ильина, и сказала, что час посещения закончился и мне надо уходить. Мы крепко поцеловались с Самуилом Яковлевичем, он проводил меня до дверей. И я кое-как сбежал вниз по лестнице. Но внизу почувствовал, что больше сдерживаться не в состоянии. Надо было сдать халат и получить пальто в гардеробе. А я закрылся тяжелой портьерой, уткнувшись в нее, беззвучно плакал, пока не пришел немного в себя и смог подойти к барьеру раздевалки.

Впоследствии, когда Самуил Яковлевич несколько оправился, я еще много раз бывал у него дома, и часто подолгу. Заставал всегда его опять неукротимо работающим, и он без усталости читал мне свои новые стихи и переводы.

Как-то я навестил Маршака, когда он слег с очередным приступом болезни, истачивавшей его. Сидя у его постели, придвинув свой стул к самому изголовью, так как он уже плоховато слышал, я прочел наизусть, чтобы хоть немножко развлечь очень печального в тот день Маршака, стихи одного своего маленького приятеля — Коти Р. Стихи назывались «Черная пантера».

Она как ночь средь бела дня,
Лежит и смотрит на меня.
Ее глаза во тьме горят.
А эта тьма —
Она сама.

Маршак отбросил одеяло, засмеялся, раскашлялся, задыхаясь. Стал толкать ко мне бумажный листок, лежавший на столике возле кровати, — кажется, это был какой-то рецепт:

— Прелесть какая!.. Спасибо, голубчик. Запиши, пожалуйста, милый, на обороте.

Присутствовал я и в Кремлевском зале 14 мая 1963 года, когда Маршаку вручали Ленинскую премию, и затем был вечером дома у него, куда он пригласил А. Твардовского, народного артиста СССР Б. Ливанова и еще трех-четырёх друзей и весело, гордо, проникновенно говорил за ужином о мастерской хватке, о силе и душевном народном величии русской поэзии.

Но разговор в одиночной палате Кремлевской больницы запомнился мне с какой-то особой щемящей отчетливостью. Маршак был так откровенен со мной, так ласково и грустно заботлив, что я тогда с неотвратимой ясностью ощутил в его словах, сказанных мне, всю доброту, все доверие прощального напутствия любимого поэта и наставника.

«Далекое близкое» — так И. Е. Репин озаглавил свою известную книгу о прожитых им давних годах, о людях, бывших близкими ему по жизни и искусству. Сбивчивые, далеко не полные заметки свои о Самуиле Яковлевиче Маршаке, чей высокий пример жизни и труда, требовательности и чести я имел счастливую возможность видеть перед собой близко в течение многих лет, мне хотелось бы назвать «Высокое близкое»...

МАРШАК

1



огда в начале двадцатых годов молодой Самуил Маршак приходил ко мне и стучал в мою дверь, я всегда узнавал его по этому стуку, отрывистому, нетерпеливому, четкому, беспощадно-воинственному, словно он выстукивал два слога: «Мар-шак». И в самом звуке этой фамилии, коротком и резком, как выстрел, я чувствовал что-то завоевательное, боевое:

— Мар-шак!

Был он тогда худощавый и нельзя сказать, чтобы слишком здоровый, но, когда мы проходили по улице, у меня было странное чувство, что, если бы сию минуту на него наскочил грузовик, грузовик разлетелся бы вдребезги, а Маршак как ни в чем не бывало продолжал бы свой стремительный путь — прямо, грудью вперед, напролом.

Куда вел его этот путь, мы в ту пору не сразу узнали, но чувствовали, что, какие бы трудности ни встретились на этом пути, Маршак преодолет их все до одной, потому что уже тогда, в те далекие годы, в нем ощущался сила. Его темпераменту была совершенно чужда добродетель долготерпения, смирения, кротости. Во всем его облике ощущалась готовность дать отпор любому супостату. Он только что вернулся тогда с юга, и, я помню, рассказывали, что там, на Кавказе, он наградил какого-то негодяя пощечиной за то, что тот обидел детей.

Повелительное, требовательное, волевое начало ценилось им превыше всего — даже в детских народных стишках.

— Замечательно, — говорил он тогда, — что в русском 123

фольклоре маленький ребенок ощущает себя властелином природы и гордо повелевает стихиями:

Радуга-дуга,
Не давай дождя!

Солнышко-ведрышко,
Выглянь в окошечко!

Дождик, дождик, перестань!

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Все эти «не давай», «перестань», «выглянь», «гори», «припусти» Маршак произносил таким повелительным голосом, что ребенок, обращающийся с этими стихами к природе, показался мне и вправду властелином радуг, ураганов, дождей.

И еще одно драгоценное качество поразило меня в Маршаке, едва только я познакомился с ним: меня сразу словно магнитом притянула к нему его страстная увлеченность, я бы даже сказал, одержимость великой народной поэзией — русской, немецкой, ирландской, шотландской, английской. Поэзию — особенно народную, песенную — он любил самозабвенно и жадно. А так как его хваткая память хранила и тогда великое множество песен, лирических стихотворений, баллад, он часто читал их, а порою и пел, властно приобщая к своему энтузиазму и нас, и было заметно, что его больше всего привлекают к себе героические, боевые сюжеты, славящие в человеке его гениальную волю к победе над природой, над болью, над страстью, над стихией, над смертью.

Мудрено ли, что я после первых же встреч всей душой прилепился к Маршаку, и в ленинградские белые ночи — это было в самом начале двадцатых годов — мы стали часто бродить по пустынному городу, не замечая пути, и зачитывали друг друга стихами Шевченко, Некрасова, Роберта Браунинга, Кипплинга, Китса и жалели остальное человечество, что оно спит и не знает, какая в мире существует красота. Мне и сейчас вспоминается тот угол Манежного переулочка и бывшей Надеждинской, где на каменных ступенях, спускавшихся в полуподвальную заколоченную мелочную лавчонку, Самуил Яковлевич впервые прочитал мне своим взволнованным и настойчивым голосом, сжимая кулаки при каждой строчке, экстатическое стихотворение Блейка

«Tiger! Tiger! burning bright» вместе с юношеским своим переводом, и мне стало ясно, что его перевод есть, в сущности, схватка с Блейком, единоборство, боевой поединок и что, как бы Блейк ни ускользал от него, он, Маршак, рано или поздно приарканит его к русской поэзии и заставит его петь свои песни по-русски.

И маршаковские переводы из Бернса, в сущности, такой же завоевательный акт. Бернс, огражденный от переводчиков очень крепкой броней, больше ста лет не давался им в руки, словно дразня их своей мнимой доступностью — «вот он я, берите меня!», — и тут же отшвыривал их всех от себя. Но у Маршака мертвая хватка, и он победил: так этого непобедимого гения и заставил его петь свои песни на языке Державина и Блока.

Вообще как-то странно называть Маршака переводчиком. Он так и говорит о своих переводах Шекспира:

Пускай поэт, покинув старый дом,
Заговорит на языке другом,
В другие дни, в другом краю планеты.

Превыше всего в Шекспире, как и в Блейке и в Бернсе, он ценит то, что они все трое — воители, что они пришли в этот мир угнетения и зла для того, чтобы сопротивляться ему:

Недаром имя славное Шекспира
По-русски значит: потрясай копьём.

Поэтому-то и удалось Маршаку перевести творения этих «потрясателей копьями», что он всей душой сочувствовал их негодованиям и ненавистям и, полюбив их с юношеских лет, не мог не захотеть, чтобы их полюбили мы все — в наши советские дни в нашем краю планеты.

Отсюда, как мне кажется, непреложная заповедь для мастеров перевода: перелагай не всякого иноземного автора, какой случайно попадетя тебе на глаза или будет навязан тебе торопливым редактором, а только того, в которого ты жарко влюблен, который близок тебе по биению сердца, в которого ты хотел бы влюбить соотечественников. Об этом часто твердит сам Маршак. «Если,— говорит он,— вы внимательно отберете лучшие из наших стихотворных переводов, вы обнаружите, что все они — дети любви, а не брака по расчету»¹.

¹ Маршак С. Воспитание словом. М., 1961, с. 219.

Только потому, что Фицджеральд влюбился в гениального Омара Хайяма, он своими переводами завоевал ему место среди величайших английских поэтов. И разве мог бы Жуковский сделать шиллеровский «Кубок» таким же достоянием нашей русской поэзии, как, скажем, любое стихотворение Лермонтова, если бы не испытывал восторга перед подлинником? И мог ли бы Курочкин без такого же чувства к стихам Беранже сделать его нашим русским и притом любимым писателем?

Но для совершения всех этих чудес одного энтузиазма очень мало. Нужно вдобавок ко всему обладать изощренной писательской техникой, быть искусным шлифовальщиком слов, виртуозом поэтической формы, то есть обладать именно теми литературными качествами, коими в превосходной степени обладает Маршак. Здесь нужна железная дисциплина стиха, которая не допустит небрежных, неряшливых, путаных, туманных, неуклюжих, пустых или натянутых строк.

Вспомните хотя бы в такой очень типичный перевод Маршака:

Вскормил кукушку воробей —
Бездомного
 птенца,—
А тот возьми да и убей
Приемного
 отца!

Здесь нет ни одной строки, которая была бы расхлябанной, мягкотелой и вялой: всюду крепкие сухожилия и мускулы. Всюду четкий рисунок стиха, геометрически точный и строгий. И как будто ни малейшей натуги. И внутренние рифмы (бездомного — приемного) и крайние (воробей — убей, птенца — отца) так непринужденны и просты, что, кажется, пришли сюда сами, всецело подчиненные смыслу. Иначе как будто и сказать невозможно, чем сказано в этих простых — с таким естественным дыханием — стихах.

«Мастерство такое, что не видать мастерства». Оттого-то в маршаковских переводах не чувствуется ничего переводческого. В них такая добротность фактуры, такая богатая звукопись, такая легкая свободная дикция, какая свойственна лишь подлинным, оригинальным стихам, что у читателя и в самом деле возникает иллюзия, будто Бернс писал эти стихотворения по-русски:

Я воспитан был в строю, а испытан я в бою,
Украшает грудь мою много ран.
Этот шрам получен в драке, а другой в лихой атаке
В ночь, когда гремел во мраке барабан.

Я учиться начал рано — у Абрамова кургана.
В этой битве пал мой капитан.
И учился я не в школе, а в широком ратном поле,
Где кололи мы врагов под барабан.

По всему своему ладу и складу стихотворение кажется подлинником — к этому-то и стремится в своих переводах Маршак. Оттого-то я и мог сказать — и это совсем не юбилейная фраза, — что вся ставка его на то, чтобы *принудить* иноязычных писателей петь свои песни по-русски. Для этого, например, в переводе многих творений Бернса нужно было помимо всего передать их песенность, их живую лиричность, заливчатость их искусно-безыскусственной речи:

Что делать девчонке? Как быть мне, девчонке?
Как жить мне, девчонке, с моим муженьком?
За шиллинги, пенни загублена Дженни,
Обвенчана Дженни с глухим стариком.

Когда я говорю, что в лучших его переводах не было ничего переводческого, что они звучали для русского уха так, словно Бернс, или Петефи, или Ованес Туманян писали свои стихотворения по-русски, у меня в памяти звучат, например, такие стихи:

Ты свисти, — тебя не заставлю я ждать,
Ты свисти, — тебя не заставлю я ждать.
Пусть будут браниться отец мой и мать.
Ты свисти, — тебя не заставлю я ждать!..

А если мы встретимся в церкви, смотри:
С подругой моей, не со мной говори,
Украдкой мне ласковый взгляд подари,
А больше — смотри! — на меня не смотри,
А больше — смотри! — на меня не смотри!

И такие замечательные по своей классически строгой конструкции и по всей своей юношеской, озорной и победной тональности:

— Кто там стучится в поздний час?
«Конечно, я — Финдлей!»
— Ступай домой. Все спят у нас!
«Не все!» — сказал Финдлей.

— Как ты прийти ко мне посмел?
«Посмел», — сказал Финдлей.
— Небось наделаешь ты дел?
«Могу!» — сказал Финдлей.
— Тебе калитку отвори...
«А ну!» — сказал Финдлей.
— Ты спать не дашь мне до зари!
«Не дам!» — сказал Финдлей.

Нужно ли говорить, что такое максимально точное воспроизведение не только смысла, но и формы иноязычного подлинника, его ритмов, его звукописи, его эмоциональной окраски и есть советский стиль переводческой техники, до которого наша литература дострадалась не сразу. Маршак один из создателей этого труднейшего стиля.

Кроме лирических песен у Бернса есть множество экспромтов, эпиграмм, эпитафий, при переводе которых Маршаку понадобился не песенный стих, а противоположный ему — лапидарный, лаконический, хлесткий:

Лепить свинью задумал черт.
Но вдруг в последнее мгновенье
Он изменил свое решение,
И вас он вылепил, милорд!

Достичь того, чтобы стихи величайших поэтов, сохраняя свой национальный характер, прозвучали в переводе как русские, с такой же непринужденной, живой интонацией, — задача, конечно, нелегкая, и я помню, что уже в те далекие годы часто восхищало меня в Маршаке его неистовое трудолюбие.

Исписать своим нетерпеливым, энергическим почерком целую кипу страниц для того, чтобы на какой-нибудь тридцать пятой странице выкристаллизовались четыре строки, отличающиеся абсолютной законченностью, по-маршакски мускулистые, тугие, упругие, — таков уже в те времена был обычный, повседневный режим его властной работы над словом.

Помню, когда он впервые прочитал мне ранний вариант своего «Мистера Твистера» — в ту пору тот был еще «мистером Блистером», — я считал стихотворение совершенно законченным, но оказалось: для автора это был всего лишь набросок, первый черновик черновика, и понадобилось не меньше десяти вариантов, пока Маршак наконец не достиг того звукового узора, который ныне определяет собой весь стиль этих звонких и нарядных стихов:

Мистер
Твистер,
Бывший министр,
Мистер
Твистер
Миллионер...

И даже после того, как стихи напечатаны, он снова и снова возвращается к ним, добываясь наиболее метких эпитетов, наиболее действенных созвучий и ритмов.

Одной из ранних литературных побед Маршака было завоевание замечательной книги, которая упрямо не давалась ни одному переводчику. Эту книгу создал британский народ в пору высшего цветения своей духовной культуры: книга песен и стихов для детей, которая в Англии называется «Nursery Rhymes», в Америке «Мать-Гусыня» и в основной своей части существует уже много столетий. Многостильная, несокрушимо здоровая, бессмертно здоровая, бессмертно веселая книга с тысячами причуд и затей, она в русских переводах оказывалась такой хилой, косноязычной и, главное, тусклой, что было конфузно читать. Поэтому можно себе представить ту радость, которую я испытал, когда Маршак впервые прочел мне свои переводы этих, казалось бы, непередаваемых шедевров. Переводы чудесно сохранили всю их динамичность и мощь:

Эй, кузнец,
Молодец,
Захромал мой жеребец.

«Три смелых зверолова», «Шалтай-Болтай», «Потеряли котятки по дороге перчатки» — все это благодаря Маршаку стало достойным русской поэзии, ибо и здесь, как и в прочих его переводах, нет ничего переводческого. Стих сохраняет ту упругость и звонкость, словно это первоизданная русская народная песня.

И я понял, что Маршак потому-то и одержал такую блистательную победу над английским фольклором, что верным оружием в этой, казалось бы, неравной борьбе послужил ему, как это ни странно звучит, наш русский — тульский, рязанский, московский — фольклор. Сохраняя в неприкосновенности английские краски, Маршак, так сказать, проецировал в своих переводах наши русские считалки, загадки, перевертыши, потешки, дразнилки. Оттого-то переведенные им «Nursery Rhymes» так легко и свободно вошли в обиход наших советских ребят и стали бытовать

в их среде наряду с их родными «ладушками». Советские Наташи и Вовы полюбили их той же любовью, какой спокон веку их любят заморские Дженни и Джонны. Много нужно было такта и вкуса и тончайшей словесной культуры, чтобы с таким артистизмом, сочетая эти оба фольклора, соблюсти самую строгую грань между ними.

Вообще русский фольклор уже в те времена служил ему и опорой, и компасом, и регулятором всего его творчества и всех его переводов. Если бы Маршак не был с самого раннего детства приверженцем, знатоком, почитателем русского народного устного творчества, он, при всей своей природной талантливости, не мог бы создать те замечательные детские стихи, которые стяжали ему прочную славу среди десятков миллионов советских детей, а также их будущих внуков и правнуков.

Такие его детские пьесы, как «Терем-теремок», «Кошкин дом», дороги мне именно тем, что это не мертвая стилизация под детский фольклор, не механическое использование готовых моделей,— это самобытное свободное творчество в том подлинно народном стиле, в котором Маршак чувствует себя как рыба в воде и который остается фольклорным даже тогда, когда поэт вводит в него такие слова, как «километры», «пианино», «бригада». Можно было бы легче доказать, что и другие маршаковские стихи для детей, такие, как «Сказка о глупом мышонке», «Дама сдавала в багаж», «Вот какой рассеянный», «Мастер-ломастер», словарь которых совершенно лишен так называемой простонародной окраски, тоже имеют в своем основании фольклор: об этом говорят и симметрия их отдельных частей, и многие другие особенности их аккумулятивной структуры.

Я и сейчас помню все эти детские стихи Маршака наизусть, потому что Маршак создавал их буквально у меня на глазах, и каждую новую вещь, написанную им для детей, я воспринимал как событие. Ведь за двумя или тремя исключениями отвратительно пошлой и жалкой была детская литература предыдущей эпохи. Делали ее главным образом либо бездарности, либо оголтелые циники, и было похоже, что она специально стремится развратить и опоганить детей. В дореволюционное время я уже лет десять кричал об этом в газетных статьях, и все мои крики, как я понимаю теперь, означали: нам нужен Маршак.

Как же было мне не радоваться молодому поэту, осуществлявшему мою давнишнюю мечту. Я до сих пор помню то триумфально-праздничное, веселое чувство, с которым

я встречал его первые рукописи — и «Почту», и «Цирк», и «Деток в клетке», и «Вчера и сегодня». Рукописи были разные — разных сюжетов и стилей, — но вскоре в них выявилась главнейшая тема всего его творчества — о дьявольски трудной, но такой увлекательной борьбе человека с природой:

Человек сказал Днепру:
— Я стеной тебя запру.
Ты
С вершины
Будешь
Прыгать.
Ты
Машины
Будешь
Двигать!

То неукротимое, боевое и властное, что всегда составляло самую суть его психики, нашло свое выражение в этих гордых стихах. Вообще всякое дело, деяние и делание, всякий процесс создания вещи: «Как рубанок сделал рубанок», «Как печатали вашу книгу», как работает столяр, часовщик, типограф, как сажают леса, как создают Днепрострой, как пустыни превращают в сады — все это родственно близко неумолимо творческой, динамической душе Маршака. Самое слово «строить» — наиболее заметное слово в его лексиконе.

2

В конце 1963 года я получил от него большое письмо, посвященное искусству перевода. Привожу оттуда два отрывка:

«Я то и дело, — писал Самуил Яковлевич, — получаю письма с просьбой разъяснить всякого рода невеждам, что [перевод] — это искусство, и очень трудное и сложное искусство. Сколько стихотворцев, праздных и ленивых, едва владеющих стихом и словом, носят звание поэта, а мастеров и подвижников перевода считают недостойными даже состоять в Союзе писателей. А я на своем личном опыте вижу, что из всех жанров, в которых я работаю, перевод стихов, пожалуй, самый трудный...

Главная беда переводчиков пьес Шекспира в том, что они не чувствуют музыкального строя подлинника. Как в сонетах чуть ли над каждым стихом можно поставить музыкальные обозначения — *allegro*, *andante* и т. д., — так

и в пьесах то и дело меняется стиль, характер и внутренний ритм в зависимости от содержания. Вспомните слова Отелло после убийства Дездемоны — «Скажите сенату...» и т. д. Ведь это обращение не к сенату, а к векам. И как трагически величаво это обращение. Переводчик должен чувствовать ритм подлинника, как пульс. А в комедиях Шекспира, как в опере, у каждого персонажа свой тембр голоса: бас, баритон, тенор (любовник) и т. д.

Слова Берлена «музыка прежде всего» должны относиться и к переводам. Мне лично всегда было важно — прежде всего — почувствовать музыкальный строй Бернса, Шекспира, Вордсворта, Китса, Киплинга, Блейка, детских английских песенок...»

Конечно, переводя музыкальный строй того или иного произведения и считая его одним из важнейших элементов перевода, Маршак никогда не переводил букву — буквой и слово — словом. А всегда: юмор — юмором, красоту — красотой.

Всмотримся в переведенное им стихотворение Бернса «For a'That and a'That» («Честная бедность»). Подстрочный перевод был бы такой:

Вы видите вон того спесивого щеголя, которого зовут лордом,
Который шествует так важно и нялит (на всех) глаза?
Хоть сотни благоговейт перед (каждым) его словом,
Все же он болван, несмотря ни на что¹.

У Маршака эта строфа звучит так:

Вот этот шут — природный лорд,
Ему должны мы кланяться,
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется².

Педанты-буквалисты могут сколько угодно кричать, что в подлиннике нет ни «бревна», ни «шута», ни «природного лорда», что переводчик не воспроизвел ни «щегольства», ни «важной походки», ни взоров обличаемого автором вельможи, ни благоговения «сотен» перед каждым словом этого глупого щеголя. Но всякому, кто любит поэзию, ясно,

¹ The Poetical Works of Robert Burns. Oxford University press, 1960. P. 323.

² Маршак С. Сочинения в четырех томах, т. III. М., Гослитиздат, 1957, с. 183.

что этот перевод наиточнейший: в нем великолепно передана гневно-презрительная, саркастическая интонация Бернса, его злоба к меднолобым насильникам. И главное: в переводе чудодейственно воссоздана крылатая афористичность этого издевательского стихотворения Бернса:

Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем
И все такое прочее.
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют
И все такое прочее.

И опять-таки: хотя в оригинале нет ни «воды», ни «тряпья», хотя в переводе повелительное наклонение заменено изъявительным, мысли и эмоции подлинника раскрыты здесь с наивысшей точностью — равно как и вся система поэтических образов. Подстрочный перевод был бы таков:

Что из того, что у нас на обед скудная пища,
Что наша одежда из серой дерюги,
Отдайте дуракам их шелка и подлецам — их вино,
Человек есть человек, несмотря ни на что¹.

Одним из высших достижений Маршака представляется мне его перевод песни Бернса «Ночлег в пути». В подлиннике песня называется «The Lass that Made the Bed to Me» («Девушка, что постлала мне постель»). Сюжет рискованный, словно на то и рассчитанный, чтобы привести в бешенство тупоумных ханжей, воспитанных на салонных романах. Это откровенный, без всяких умолчаний, рассказ о ночном сближении молодого прохожего с незнакомой девушкой, которая приютила его. В каждом слове — ничем не стесненная, пылкая страсть. Но в этой страсти столько чистоты, человечности, нежности, столько благоговейного восхищения девушкой, что нужно быть пошляком, чтобы увидеть здесь хотя бы тень непристойности.

Вначале отношения пешехода и девушки очень церемонны и чинны:

Я низко поклонился ей —
Той, что спасла меня в метель,

¹ См. содержательную статью Е. С. Белашовой «Роберт Бернс в переводах С. Маршака». «Ученые записки Черновицкого государственного университета», т. XXX, вып. 6. Черновицы, 1958, с. 79.

Учтиво поклонился ей
И попросил постлать постель.

Здесь ни одного отступления от подлинника. Даже повторная строка о поклоне воспроизводится почти слово в слово. Дальше подлинник читается так:

Она постлала мне большую и широкую постель.
Двумя белыми руками она разгладила ее,
Она приложила чашу (с вином) к своим алым губам
И отпила. «А теперь, молодой человек, спокойной
ночи»¹.

Маршак выбросил слова «молодой человек». По-русски это словосочетание имеет иронический, вульгарный характер («Эй ты, молодой человек!»), и хотя в подлиннике сказано, что кровать была широкая (очевидно, двуспальная), придал ей от себя эпитет «скромная», чтобы выдержать тон целомудрия, который окрашивает собою всю песню.

Она тончайшим полотном
Застлала скромную кровать
И, угостив меня вином,
Мне пожелала сладко спать.

В подлиннике нет «тончайшего полотна» (оно появляется лишь в предпоследней строфе), зато поступки девушки в переводе переданы в строгой последовательности — пусть другими словами, чем в подлиннике.

Далее — знаменитое место, воспроизведенное с большой поэтической смелостью:

А грудь ее была кругла,—
Казалось, ранняя зима
Своим дыханьем намела
Два этих маленьких холма.

У Бернса нет «ранней зимы», но этот эпитет так гармонирует с юностью девушки, что воспринимается как бернсовский. И можно ли придирааться к тому, что у Бернса четырнадцать строф, а у Маршака их пятнадцать и что строки

И вся она была чиста,
Как эта горная метель —

принадлежат Маршаку, а не Бернсу, равно как и другое двустишие:

Мелькают дни, идут года,
Цветы цветут, метет метель.

Общий тон подлинника, благородный, кристаллически прозрачный и ясный, передан с изумительной точностью. Русский читатель маршаковского «Ночлега в пути» получает от этих дерзновенных и светлых стихов то же впечатление, что и шотландец или англичанин — от подлинника. Иному буквалисту покажется недопустимой вольностью дважды введенное переводчиком сравнение локонов девушки с хмелем, в то время как у Бернса сказано, что «кудри ее вились золотыми кольцами»; Маршак ничего не говорит в переводе о том, что «зубы девушки были словно из слоновой кости», а тело как будто «из мрамора», что у нее были алые губы и белые руки, — по-русски это звучало бы стертым шаблоном. Маршак устранил изысканную метафору: «Ее щеки были как лилия, погруженная в (красное) вино».

По-русски эта метафора прозвучала бы вычурно и нарушила бы драгоценную простоту всей поэмы.

Такое своеволие в обращении с подлинником может показаться чрезмерным. Но Маршак — поэт, и ради того, чтобы стихотворение в его переводе звучало той же музыкой, какой звучит оно в подлиннике, он имел право пожертвовать десятками второстепенных деталей.

В стихотворении Бернса замечателен шестикратный рефрен.

Девушка, что постлала мне постель.

У Маршака этих рефренов четыре. И все же я считаю его перевод идеальным. Достоинство его именно в том, что он воссоздает не отдельные строки Бернса, но его самого, его стиль, его пафос и юмор, самую суть его личности, его душевного склада.

Другие переводчики не видели многоликости Бернса, не замечали, что этот «поэт-земледелец» владеет самыми разнообразными жанрами, разнообразными стилями. Это впервые увидел Маршак. Бернс воссоздан им именно как всеобъемлющий гений, с богатейшей клавиатурой души. Его Бернс не только идиллический пахарь, не только сла-

достный песнопевец влюбленности, не только апостол свободы, всемирного братства и мира, но и то, и другое, и третье, и вдобавок ко всему юморист, хохот которого — то озорной, то благодущный, то гневный — слышится и в «Веселых нищих», и в «Тэме о'Шентере», и в поэме «Святая ярмарка», где дано столько звонких затрепич ханжам и церковникам. Только благодаря Маршаку мы увидели, как легко этот здоровый, воистину шекспировский хохот сменяется у Бернса героическим пафосом, величавыми и гордыми гимнами во славу прекрасной Шотландии.

И оказалось: какой это вздор, будто Бернс был серый мужичок-простачок, сочинитель самоделковых, топорных стихов, каким представляли его переводчики старого времени. Напротив, он предстал перед нами как один из самых изощренных стилистов, человек безупречного вкуса, многообразно владеющий поэтической формой.

Все это удалось Маршаку оттого, что он и сам многостильный художник, блистательно работающий в нескольких жанрах, казалось бы, несовместимых друг с другом, и притом искусный шлифовальщик стиха, замечательный словесных дел мастер, повелитель самых неподатливых ритмов и рифм. Конечно, никакое мастерство не помогло бы ему, если бы он не был поэт.

«Такая гибкость и счастливая находчивость,— говорит Александр Твардовский,— при воспроизведении средствами русского языка поэтической ткани, принадлежащей другой языковой природе, объясняется, конечно, не тем, что С. Маршак искусный переводчик, виртуоз,— в поэзии нельзя быть специалистом-виртуозом,— а тем, что он настоящий поэт, обладающий полной мерой живого творческого отношения к родному слову»¹.

И все-таки к этому нельзя не прибавить, что блистательная литературная техника тоже играет немаловажную роль.

Маршак — поэт. Оттого-то в лучших маршаковских переводах из Бернса такая добротность фактуры, такая живая естественность всех интонаций и жестов, такая богатая звукопись, такая легкая, свободная дикция, какая свойственна лишь подлинной оригинальной поэзии, так что

¹ Твардовский А. Статьи и заметки о литературе. М., «Советский писатель», 1961, с. 75.

и в самом деле у читателя возникает иллюзия, будто Бернс не чужеземец для нас, а близкий, родной человек.

Но обо всем этом гораздо лучше меня напишут другие, я же, вспоминая те далекие годы, когда мы оба плечом к плечу, каждый в меру своих сил и способностей, боролись за честь и достоинство нарождающейся литературы для советских детей, не мог не сказать Маршаку словами его любимого Бернса:

For auld lang syne, my dear.
For auld lang syne,
We'll take a cup o'kindness yet,
For auld lang syne.

И вот с тобой сошлись мы вновь.
Твоя рука — в моей.
Я пью за старую любовь,
За дружбу прежних дней...
За дружбу старую —
До дна!
За счастье юных дней!
По кружке старого вина —
За счастье юных дней.

3

Читая эти строки на юбилее Маршака, я вспомнил те длинные светлые годы, когда мы действительно шли с ним рука об руку в борьбе с педологами, рапповцами и другими душителями детства.

На память о нашей дружбе у меня осталось много его писем, его книг и главным образом его стихотворных экспромтов. Может, не все знают, что Маршак был мастером этого трудного жанра. Всюду — в театре, на даче, в гостях, в книжной лавке, в парикмахерской, в больнице — он при любых обстоятельствах легко и свободно импровизировал озорные стихи, эпиграммы, пародии, восхищавшие меня своим блистательным юмором и прелестной лаконичностью формы.

В 1960 году, посылая мне свою книгу «Сатирические стихи», он сообщал, что издательство «изгнало» из нее несколько экспромтов,

* Но, может быть, в Музее
Чуковского Корней —

В «Чукоккале»¹ найдут
Изгнанники приют.

«Чукоккала», конечно, оказала изгнанникам самое радужное гостеприимство.

Вот, например, с какими стихами Маршак обратился к своему «дорогому» портному:

Ах вы, разбойник, ах, злодей!
Ну как вы поживаете?
Вы раздеваете людей,
Когда их одеваете.

И вот его записка министру, заставившему его слишком долго дожидаться приема:

У вас, товарищ Большаков,
Не так уж много Маршаков.

Посылая вдове Алексея Толстого — Людмиле Ильиничне Толстой — сонеты Шекспира в своем переводе, он сделал на первой странице такую шутовскую надпись:

«Правда неразлучна с красотой», —
Скажешь, эту книжечку ластая.
Не любил Шекспира Л. Толстой,
Но надеюсь, любит Л. Толстая.

И вот его надпись на томике переведенного им Роберта Бернса:

Пускай мой Роберт милый,
Веселый и простой,
Беседует с Людмилой
Ильиничной Толстой.

Когда мы праздновали юбилей знаменитого историка Евгения Викторовича Тарле, я как-то сказал Самуилу Яковлевичу, что даже ему, Маршаку, не удастся подобрать рифму к фамилии юбиляра. Маршак мгновенно написал такие строки:

В один присест историк Тарле
Мог написать (как я в альбом)
Огромный том о каждом Карле
И о Людовике любим.

¹ «Чукоккала» — название моего рукописного альманаха, который, кстати сказать, в названном году праздновал свой полувековой юбилей.

В «Чукоккале» хранятся его давнишние строки о Демьяне Бедном:

Собес! Дела твои бесплодны,
Какой неслыханный позор!
Поэт труда, поэт народный
Остался Бедным до сих пор.

Строки написаны в 1924 году. Лет через десять во время Первого съезда писателей я (не называя фамилии автора) прочитал эти строки Демьяну. Он принял их с обычным своим благодушием. Услышавший их поэт А. Архангельский сразу по фактуре стиха догадался, что их автор — Маршак.

Блистательно стихотворение Маршака, обращенное к Надежде Михайловне, жене профессора И. Р. Гальперина. Здесь он остроумно обыграл идиомы: «питать надежду» и «льстить себя надеждой» и др.

Как прежде, я Надежде верен,
Не меньше верец, чем Илья,
Илья Романович Гальперин,
Надеждой выбранный в мужья.

Ну что ж, пускай Илья Гальперин
Надеждой избран, а не я,—
Стреляться с ним я не намерен:
Священна для меня семья.

В своих надеждах я умерен.
Питать Надежду должен он —
Илья Романович Гальперин,
Как обязал его закон.

Мне никогда не льстит Надежда,
И безнадежен мой роман,
Поскольку я — профан, невежда,
А он — профессор и декан.

Но все же пламенно, как прежде,
Я обращаюсь вновь и вновь
К моей единственной Надежде,
Уж не надеясь на любовь.

Не сомневаюсь, что этим стихам уже не долго оставаться «изгнанниками». Каждая строка большого мастера представляет для читателей значительный интерес, и в собрании сочинений С. Я. Маршака, хотя бы в виде приложения к одному из томов, следовало бы собрать воедино все его

стихотворные послания, эпиграммы, надписи на книгах и пр.

С чувством сердечной признательности перечитываю я светлые строки, обращенные покойным поэтом ко мне.

Когда мне исполнилось 75 лет, я получил от него длинное послание в стихах:

Особенно тронула меня концовка одного из его последних обращений ко мне:

Пять лет, шесть месяцев, три дня
Ты прожил в мире без меня,
А целых семь десятилетий
Мы вместе прожили на свете.

Он был моложе меня. Это обстоятельство бывало не раз темой его шуточных стихов:

Вижу: Чуковского мне не догнать.
Пусть небеса нас рассудят!
Было Чуковскому семьдесят пять,
Скоро мне семьдесят будет.

Глядь, от меня ускакал он опять,
Снова готов к юбилею.
Ежели стукнет мне тысяча пять,
Тысяча десять — Корнею!

Впрочем, мой возраст далеко не всегда казался ему столь преклонным. Послание, которое я процитировал выше, кончается такими словами:

Пусть пригласительный билет
Тебе начислил много лет.
Но, поздравляя с годовщиной,
Не семь десятков с половиной
Тебе я дал бы, друг старинный.

Могу я дать тебе — прости! —
От двух, примерно, до пяти...
Итак, будь счастлив и расти!

Большинство его шуточных стихов отличались язвительной колкостью. Но его голос всегда становился дружелюбным и мягким, когда речь заходила о детях.

Посылая мне третий том собрания своих сочинений, он написал на его первой странице:

С приветом дружеским дарю вам том свой третий.
Мы — братья по перу, отчасти и родня.
Одна у нас семья: одни и те же дети
В любом краю страны у вас и у меня.

Особенно тронула меня концовка одного из его последних обращений ко мне:

Тебя терзали много лет
Сухой педолог-буквоед
И буквоед-некрасовед,
Считавший, что науки
Не может быть без скуки.

Кощеи эти и меня
Терзали и тревожили,
И все ж до нынешнего дня
С тобой мы оба дожили.

Могли погибнуть ты и я,
Но, к счастью, есть на свете
У нас могучие друзья,
Которым имя — дети!

ИЗ ДНЕВНИКА¹

Я

пришел к Маршаку в 1924 году с первой своей большой рукописью в стихах — «Рассказ Старой Балалайки». В то время меня, несмотря на то, что я поработал уже в двадцать третьем году в газете «Всесоюзная кочегарка» в Артемовске и пробовал написать пьесу, еще по привычке считали не то актером, не то конферансье. Это меня мучило, но не слишком. Вспоминая меня тех лет, Маршак сказал однажды: «А какой он был тогда, когда появился, — сговорчивый, легкий, веселый, как пена от шампанского». Николай Макарович [Олейников] посмеивался над этим определением и дразнил меня им. Но так или иначе, мне и в самом деле было легко, весело приходить, приносить исправления, которых требовал Маршак, и наслаждаться похвалой строгого учителя. Я тогда впервые увидел, испытал на себе драгоценное умение Маршака любить и понимать чужую рукопись, как свою, и великолепный его дар радоваться успеху ученика, как своему успеху. Как я любил его тогда! Любил и когда он капризничал, и жаловался на свои недуги, и деспотически требовал, чтобы я сидел возле, пока он работает над своими вещами. Любил его грудной, чуть сиплый голос, когда звал он: «Софьюшка!» или «Элик!» — чтобы жена или сын пришли послушать очередной вариант его или моих стихов. Да и теперь, хотя жизнь и развела нас, я его все люблю.

Тогда Маршак жил против Таврического сада, в небольшой квартире на Потемкинской улице. Часто, поработав, мы выходили из прокуренной комнаты подышать свежим

воздухом. Самуил Яковлевич утверждал, что если пожелать как следует, то можно полететь. Но при мне это ни разу ему не удалось, хотя он, случалось, пробегал быстро маленькими шажками саженой пять. Вероятно, тяжелый портфель, без которого я не могу его припомнить на улице, мешал Самуилу Яковлевичу отделиться от земли. Если верить Ромэну Роллану, индусские религиозные философы прошлого века утверждали, что учат не книги учителя и не живое его слово, а духовность. Это свойство было Маршаку присуще. Недаром вокруг него собрались в конце концов люди верующие — исповедующие искусство, — разговоры, которые велись у него в те времена, воистину одухотворяли. У него было безошибочное ощущение главного в искусстве сегодняшнего дня. В те дни главной похвалой было: как народно! (Почему и принят был «Рассказ Старой Балалайки».) Хвалили и за точность и за чистоту. Главные ругательства были: «стилизация», «литературщина», «переводно»...

Маршак, чувствуя главное, вносил в споры о нем необходимую для настоящего учителя страсть и «духовность». Само собой, что бывал он и обыкновенным человеком, что так легко прощают поэту и с таким трудом — учителю. Вот почему все мы, бывало, ссорились с ним, зараженные его же непримиримостью. Ведь он бесстрашно бросался на любых противников. Как я понимал еще и в те времена, сердились мы на него по мелочам. А в мелочах недостатка не было. Но ссоры пришли много позже. Я же говорю о двадцать четвертом годе.

К этому времени с театром я расстался окончательно, побывал в секретарях у Чуковского, поработал в «Кочегарке» — и все-таки меня считали скорее актером. В «Сумасшедшем корабле»¹ Форш вывела меня под именем: Гени Черн. Вывела непохоже, но там чувствуется тогдашнее отношение ко мне в литературных кругах, за которые я цеплялся со всем уважением, даже набожностью приезжего чужака и со всем упорством утопающего. И все же я чувствовал вполне отчетливо, что мне никак не по пути с «серапионами». Разговоры о совокупности стилистических приемов, как о единственном признаке литературного произведения, наводили на меня уныние и ужас и окончательно лишали веры в себя. Я никак не мог допустить, что можно

¹ Повесть Ольги Форш, написанная в конце 20-х годов, — сатира на ленинградский Дом искусств, в которой под другими именами выведены Зощенко, Чуковский, Шварц и др.

сесть за стол, выбрать себе стилистический прием, а завтра заменить его другим. Я, начисто лишенный дара к философии, не верящий в силу этого никаким теориям в области искусства, чувствовал себя беспомощным, как только на литературных вечерах, где мне приходилось бывать, начинали пускать в ход весь тогдашний арсенал наукоподобных терминов. Но что я мог противопоставить этому? Нутро, что ли? Непосредственность? Душевную теплоту? Также не любил я и не принимал ритмическую прозу Пильняка, его многозначительный, на что-то намекающий, историко-археологический лиризм. И тут чувствовалась своя теория. А в «Лефе» была своя. Я сознавал, что могу выбрать дорогу только органически близкую мне, и не видел ее. И тут встретился мне Маршак, говоривший об искусстве далеко не так отчетливо, как те литераторы, которых я до сих пор слышал, но, слушая его, я понимал и как писать и что писать. Я жадно впитывал его длинные, запутанные и все же точные указания. Математик Ляпунов, прочтя какую-то работу Пуанкаре, сказал: «А я не знал, что такие вещи можно опубликовывать. Я это сделал еще в восьмидесятых годах». Маршак, кроме всего прочего, учил понимать, когда работа закончена, когда она стала открытием, когда ее можно опубликовывать. Он стоял на точке зрения Ляпунова. Начинающего писателя этим иной раз можно и оглушить. Но я со своей «легкостью» принял это с радостью, и пошло мне это на пользу. Все небольшое, что я сделал, — следствие встречи с Маршаком в 1924 году.

В 1924 году весной вокруг Маршака еще едва-едва начинал собираться первый отряд детских писателей. Вот-вот должен был появиться Житков, издавался (или предполагался?) детский журнал при «Ленинградской правде». Начинал свою работу Клячко — основал издательство «Радуга». Маршак написал «Детки в клетке», «Пожар». Лебедев сделал рисунки к «Цирку». Его уверенные, даже властные высказывания о живописи наложили свой отпечаток и на всю нашу работу. Но все это едва-едва начиналось. Была весна. Я приходил со своей рукописью в знакомую комнату окнами на Таврический сад. И мы работали. Для того чтобы объяснить мне, почему плохо то или иное место рукописи, Маршак привлекал и Библию, и Шекспира, и народные песни, и Пушкина, и многое другое, столь же величественное или прекрасное. Года через два мы, неблагодарные, подсмеи-

Исчезнет мир в тот самый час,
Когда исчезну я,
Как он утас для ваших глаз,
Ушедшие друзья.

Не сияет солнце и луна,
Поблекнут все звезды.

Не будет даже тишины,
Не сияет темнота...

Нет, будет мир существовать,
И пусть меня в нем нет,
Но я унес весь мир с собой,
Все миллионы лет.

Я думаю, существовал, я жил
И всё, что мог, постыж
И этим право заслужил
На свой бессмертный миг.



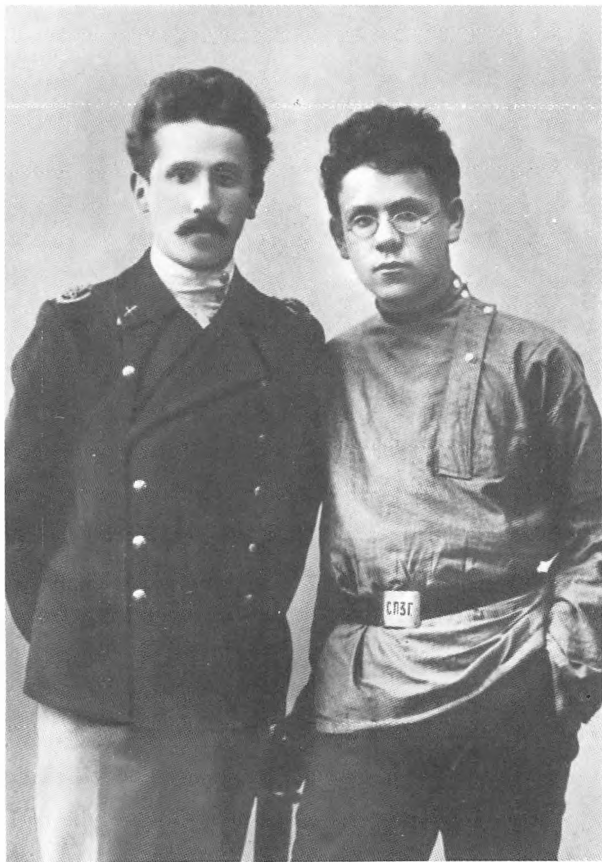
Мать поэта Евгения Борисовна Маршак, урожденная Гиттельсон.



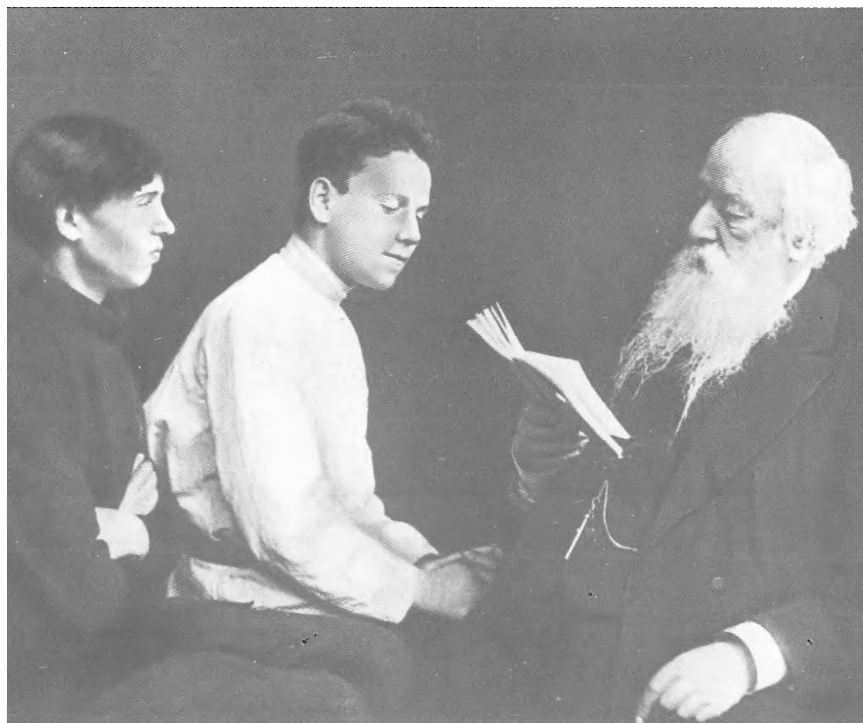
Отец поэта Яков Миронович Маршак.



С. Маршак — гимназист.



*С. Я. Маршак (ученик 3-й Петербургской гимназии) со старшим братом М. Я. Маршаком (студентом Политехнического института).
1904—1905 гг.*



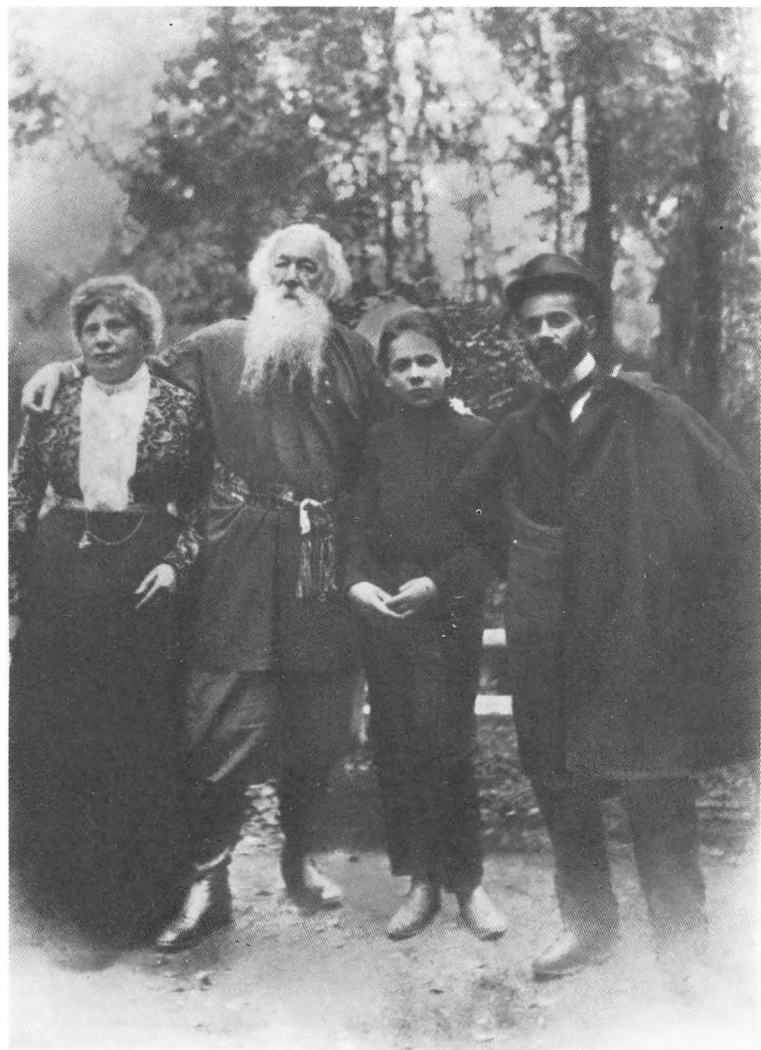
В. В. Стасов, С. Маршак, скульптор А. Герцовский (справа налево).



С. Маршак (первый слева) в кругу родных и друзей.



*С. Я. Маршак и С. М. Мильвидская (крайние справа) накануне
венчања. 1911 г.*



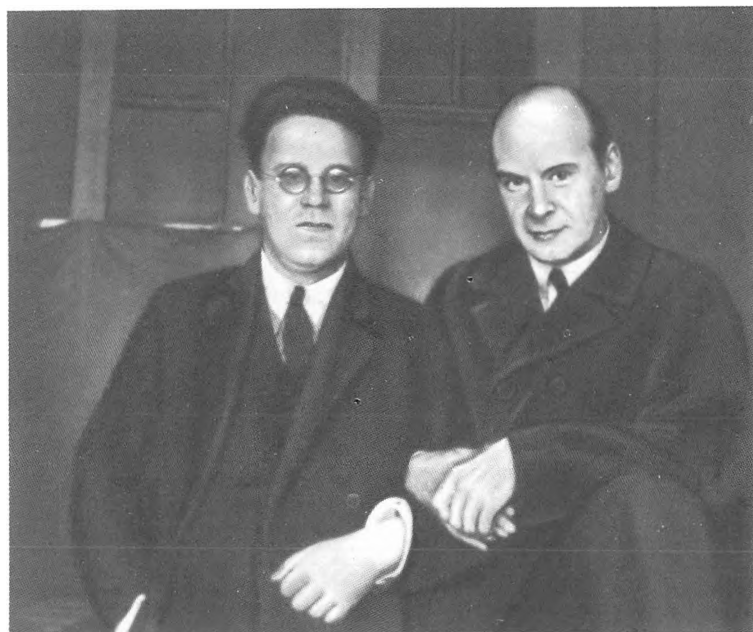
В. В. Стасова, В. В. Стасов, С. Маршак, И. Гинцбург.



*С. Маршак за работой в саду. «Школа простой жизни».
Англия, Тингери, весна 1914 г.*



С. Я. Маршак. 1927 г.



С. Я. Маршак и В. В. Лебедев.



*В редакции детской литературы Ленинградского отделения Госиздата.
Н. М. Олейников, В. В. Лебедев, З. И. Лилина, С. Я. Маршак,
Е. Л. Шварц, Б. С. Житков (слева направо). Конец 20-х годов.*



С. Я. Маршак и А. Н. Толстой, сфотографированные уличным фотографом в Кисловодске. 1935 г.



С. Я. Маршак, К. И. Чуковский и А. С. Бубнов на совещании по детской литературе при ЦК ВЛКСМ. 1936 г.



С. Я. Маршак и М. Горький. Февраль 1936 г.

вались уже над этим его свойством. Но ведь он таким образом навеки вбивал в ученика сознание того, что работа над рукописью дело божественной важности. И когда я шел домой или бродил по улицам с Маршаком, то испытывал счастье, чувствовал, что не только выбрался на дорогу, свойственную мне, но еще и живу отныне по-божески. Делаю великое дело. Написав книжку, я опять уехал в «Кочегарку». Вернувшись в Ленинград, я ужасно удивился тому, что моя «Балалайка» вышла в свет — и только! Ничего не изменилось в моей судьбе и вокруг. Впрочем, я скоро привык к этому. Во всяком случае, люди, которых я уважал, меня одобряли, а остальные стали привыкать к тому, что я не актер, а пишу. К этому времени Самуил Яковлевич со всей страстью ринулся делать журнал «Воробей». (Впрочем, кажется, журнал назывался уже «Новый Робинзон» в те дни?) Каждая строчка очередного номера обсуждалась на редакционных заседаниях так, будто от нее зависело все будущее детской литературы. И это [мы] неоднократно высмеивали впоследствии, не желая видеть, что только так и можно было работать, поднимая дело, завоевывая уважение к детской литературе, собирая и выверяя людей. Появился Житков. Они с Маршаком просиживали ночами, — Житков писал первые свои рассказы. Тогда он любил Маршака так же, как я. Еще и подумать нельзя было, что Борис восстанет первым на учителя нашего и весна вдруг перейдет в осень. Но это случилось позже. А я говорю о весне 1924 года.

Итак, была весна двадцать четвертого года — время, которое начало то, что не кончилось еще в моей душе и сегодня. Поэтому весна эта — если взглядеться как следует, без всякого суеверия, без предрассудков — стоит рядом, рукой подать. Я приходил к Маршаку чаще всего к вечеру. Обычно он лежал. Со здоровьем было худо. Он не мог уснуть. У него мертвели пальцы. Но тем не менее он читал то, что я принес, и ругал мой почерк, утверждая, что буквы похожи на помирающих комаров. И вот мы уходили в работу. Я со своей обычной легкостью был ближе к поверхности, зато Маршак погружался в мою рукопись с головой. Если надо было найти нужное слово, он кричал на меня сердито: «Думай, думай!» Мы легко перешли на «ты», так сблизила нас работа. Но мое «ты» было полно уважения. Я говорил ему: «Ты, Самуил Яковлевич». До сих пор за всю мою жизнь не было такого случая, чтобы я сказал

ему: «Ты, Сема». «Думай, думай!» — кричал он мне, но я редко придумывал то, что требовалось. Я был в работе стыдлив. Мне требовалось уединение. Угадывая это, Самуил Яковлевич чаще всего делал пометку на полях. Это значило, что я должен переделать соответствующее место дома. Объясняя, чего он хочет от меня, Маршак, как я уже говорил, пускал в ход величайшие классические образцы, а сам приходил и меня приводил в одухотворенное состояние. Если в это время появлялась Софья Михайловна и звала обедать, он приходил в детское негодование. «Семочка, ты со вчерашнего вечера ничего не ел!» — «Дайте мне работать! Вечно отрывают». — «Семочка!» — «Ну я не могу так жить. Ох!» И, задыхаясь, он хватался за сердце. Когда работа приходила к концу, Маршак не сразу отпускал меня. Как многие нервные люди, он с трудом переходил из одного состояния в другое. Если ему надо было идти куда-нибудь, он требовал, чтобы я шел провожать его. На улице Маршак был весел, заговаривал с прохожими, задавая им неожиданные вопросы. Почти всегда и они отвечали ему весело. Только однажды пьяный, которого Самуил Яковлевич спросил: «Гоголя читал?» — чуть не застрелил нас. Проводив Маршака, я шел домой, в полном смысле слова переживая все, что услышал от него. Поэтому я и помню, будто сам пережил, — английскую деревню, где калека на вопрос: как поживаете? — кричал весело: отлично! Помню Стасова, который шел с маленьким гимназистом Маршаком в Публичную библиотеку, помню Горького, всегда ощущаю возле, рукой подать, весну 24 года.

...У меня был талант — верить, а Маршаку мне было особенно легко верить — он говорил правду. И когда мы сердились на него, то не за то, что он делал, а за то, что он, по-нашему, слишком мало творил чудес. Мы буквально поняли его слова, что человек, если захочет, может отделиться от земли и полететь. Мы видели, что уже, в сущности, чудо совершается, что все мы поднялись на ту высоту, какую пожелали. Ну вот и все. Вернемся к сегодняшним делам. Несколько дней писал я о Маршаке с восторгом и с трудом — не желая врать, но стараясь быть понятым...

Все продолжаю думать о Маршаке. Чтобы закончить, ко всему рассказанному прибавлю одно соображение. Учитель должен быть достаточно могущественным, чтобы захватить ученика, вести его за собой положенное время и, наконец, что труднее всего, выпустить из школы, угадав, что для этого пришел срок. Опасность от вечного пребывания

в классе — велика. Самуил Яковлевич сердился, когда ему на это намекали. Он утверждал, что никого не учит, а помогает человеку высказаться наилучшим образом, ничего ему не навязывая, не насилуя его. Однако, по каким-то не найденным еще законам, непременно надо с какого-то времени переставать оказывать помощь ученику, а то он умирает. Двух-трех, так сказать, вечных второгодников и отличников Маршак породил. Это одно. Второе: как человек увлекающийся, Маршак, случалось, ошибался в выборе учеников и вырастил несколько гомункулюсов, вылепил двух-трех големов. Эти полувоплощенные существа, как известно, злы, ненавидят настоящих людей и в первую очередь своего создателя. Все это неизбежно, когда работаешь так много и с такой страстью, как Маршак, ни с кого так много не требовали и никого не судили столь беспощадно. И я, подумав, перебрав все пережитое с ним или из-за него, со всей беспощадностью утверждаю: встреча с Маршаком весной двадцать четвертого года была счастьем для меня. Ушел я от него, не доучившись, о чем жалел не раз, но я и в самом деле был слишком для него легок и беспечен в двадцать седьмом — тридцать первом годах. Но всю жизнь я любил его и сейчас всегда испытываю радость, увидев знакомое большое лицо и услышав сказанные столь памятным грудным, сипловатым голосом слова: «Здравствуй, Женья!»

В ПЕТРОЗАВОДСКОЙ ДЕТСКОЙ КОЛОНИИ



етом 1918 года, на берегу Онежского озера, в деревне Деревянная, что находилась в семнадцати километрах от Петрозаводска, была организована летняя детская колония.

Для работы в этой колонии заведующий Наробразом, большевик, человек новой формации, привлёк нескольких педагогов из Москвы, в том числе и меня, — работников московского воспитательного учреждения «Детский труд и отдых», во главе которого стоял талантливейший педагог и основатель целой педагогической школы — Станислав Теофилович Шацкий. Мы стремились организовать жизнь детей на основе их коллективного самообслуживания. Вооружённые педагогическими идеями Шацкого, мы приехали организовывать детскую колонию под Петрозаводском.

Для колонии был отведен большой одноэтажный дом, — должно быть, школьное помещение. Местный Наробраз очень о нас заботился, обеспечивал хорошее, бесперебойное питание. В колонии жили сироты, беспризорные, дети местных советских работников — всего человек шестьдесят в возрасте от десяти до четырнадцати лет.

Как-то раз (кажется, это было в конце июля) мне пришлось съездить по делам колонии на один день в Петрозаводск. Когда я под вечер вернулась на грузовике с продуктами, навстречу, как обычно, выбежали ребята. А вместе с ними нас встретил какой-то человек в очках — смеющийся и очень приветливый. Он совсем просто со мной поздоровался, тут же помог вылезти из машины. Начали разгружать из кузова вещи. Я сразу подметила, что человек

этот очень дружен с ребятами и моими товарищами — педагогами: Ольгой Васильевной Молодых, Анной Акимовной Потоцкой, Александрой Васильевной Знаменской. Но хоть мне и любопытно было узнать, кто же это такой, всяких хозяйственных хлопот было так много, что я даже о нем ничего не спросила.

Только позднее я узнала, что этот человек — петроградский поэт, Самуил Яковлевич Маршак, приехавший в Петрозаводск к своему брату, который работал на лесозаводе. В городе тогда было очень много беспризорных ребят. Самуил Яковлевич подобрал одногомышленного, очень обтрепанного паренька лет тринадцати-четырнадцати. Был он довольно крупного роста — по плечо Маршаку, — весь в веснушках, с крупными чертами лица, маленькими, серыми глазами и отросшей после стрижки под машинку рыжеватой шевелюрой. Звали его Никифором. Маршак привел его в Наробраз и попросил пристроить его в какое-нибудь детское учреждение. А там ему дали для Никифора направление в нашу колонию. И вот он явился с пареньком к нам и остался у нас на ночлег.

Был теплый, безветренный вечер. Мы уложили ребят, и все свободные от дежурства воспитатели пошли вместе с Маршаком на берег. Идти нужно было всего несколько минут, так как дом наш стоял совсем недалеко от озера. Уселась на песок у самой воды. Не помню, как это получилось. Маршак начал по памяти читать стихи. Он рассказывал среди нас вдоль самого берега и читал очень просто и вместе с тем вдохновенно. Сперва он прочел из Лермонтова (до сих пор как будто слышу его голос):

В море царевич купает коня
И слышит: «Царевич, взгляни на меня»...

Потом прочел свои переводы старинной шотландской баллады о женщине из Ашерс Велл, а также нескольких стихотворений Блейка. Читал, насколько я припоминаю, Тютчева, Блока, Маяковского. Больше всего произвели на меня впечатление стихи Тютчева и Маяковского. Эти поэты тогда раскрылись для меня впервые.

Вечер запомнился мне на всю жизнь. Но он не был единственным. Самуил Яковлевич после этого неоднократно (еще раз пять) гостил в нашей колонии: приходил пешком, обычно по субботам, проводил у нас все воскресенье, а рано утром в понедельник уходил обратно в Петрозаводск. И по вечерам, когда мы, не обращая внимания на одолевавших

нас комаров, сидели в темноте вокруг костра на берегу Онеги (топливо для костра мы заготавливали днем в близлежащем смешанном лесочке), он опять читал нам стихи, пел песни и разучивал их с нами вместе.

Хорошо помню выученные нами слова и мотив морской английской песни о русалке в его переводе.

И еще мне хорошо запомнилась одна из его любимых русских народных песен:

Вы подуйте в поле, ветерочки,
Со зеленого гая,
Со зеленого гая.
Ты приходи, приходи, мой разлюбезный,
Из далекого края,
Из далекого края.

Я и рад бы, милая, прибыти —
Очень край мой далекой,
Очень край мой далекой.
Всё мохи да всё болота,
Всё студеные воды,
Всё студеные воды...

В эти вечера Самуил Яковлевич много рассказывал о своей жизни — такой необыкновенной, радостной, насыщенной в юношеские годы (приезд из Воронежской губернии в Петербург и встречи со Стасовым, Шаляпиным, Горьким, пребывание у Горького в Ялте, учеба в Англии, знакомство с английской поэзией и жизнь в английской «Школе простой жизни», в которой так же, как в нашей колонии, ребята все делали собственными руками) и такой тяжелой и тревожной в последний период. В это время он был отрезан от семьи — жена его, Софья Михайловна, с маленьким сыном жили где-то далеко у его отца, работавшего на химическом заводе. А года за три до того у него трагически погибла маленькая любимая дочка, опрокинувшая на себя кипящий самовар.

В обществе Самуила Яковлевича у нас то и дело завязывался увлекательный разговор на самые разнообразные темы. Его мнение всегда было очень веским. Все, что он говорил, было ново и интересно. Я окончила когда-то филологический факультет. Но, так же как и мои товарищи по работе, не слишком хорошо разбиралась в поэзии. Мы поражались тому, как полно и убедительно Самуил Яковлевич разъяснял нам значение каждого поэта и характерные особенности его творчества, поражались его удивительной

памяти — нам казалось, что он знает наизусть всю русскую поэзию.

Он очень любил шутку. Помню, как-то он сказал мне: — Слушай, Августа (мы все очень скоро перешли с ним на «ты»), я хочу сочинить про тебя стихотворение. Только вот у меня для тебя нет рифмы — получается только «капуста».

Возвращались мы, после костра на берегу, поздней ночью, распевая еще и по пути к дому.

Самуил Яковлевич ночевал в комнате мальчиков. Он необыкновенно хорошо сошелся с ребятами и с нами — педагогами. Всё в жизни колонии его затрагивало. И труд, и отдых, и отношения в коллективе. Он мыл полы, чистил картошку. На равных правах со всеми дежурил на кухне, надевая фартук, энергично размешивал еду в котле, потом тащил вместе с другими дежурными котел в столовую, разливал порции по мискам, резал хлеб. И все это с шутками, прибаутками, с сочиненными тут же на месте стихами про расторопных и нерасторопных ребят, про еду. В столовой у нас стоял длинный стол в виде бугвы «Г», покрытый клеенкой, а вдоль него — узкие, длинные скамейки. Самуил Яковлевич усаживался за стол каждый раз в новом месте — все ребята наперебой приглашали его к себе.

В свободные часы он затевал с ребятами разные игры, загадывал им загадки, отправлялся с ними в лес или на Онегу. Они облепят его со всех сторон, а он идет и рассказывает им о природе, о своих путешествиях, выдумывает разные занятные истории. Каких только рассказов не слышали мы от него во время наших прогулок или сидя в полумраке за длинным столом, слабо освещенным свечками или керосиновой лампой!

Ребята чувствовали в нем «своего», советовались с ним обо всем, доверяли ему свои тайны. До конца сохранил он особую дружбу с Никифором, который оказался очень расторопным, готовым на любую услугу. Будучи одним из самых старших и сильных ребят, Никифор постоянно выполнял у нас самые трудные работы — таскал и колол дрова, приносил из колодца воду.

Удивительно хорошо Маршак разбирал и устранял всякие недоразумения между ребятами. И когда он уходил от нас по понедельникам в Петрозаводск, ребята всегда хором упрашивали его непременно прийти опять. А по субботам, в тот час, когда можно было ждать его прихода, мы все — ребята и педагоги — отправлялись гурьбой к нему навстречу.

Летняя наша колония закрылась в конце августа, и мы — педагоги — перебрались на несколько дней в Петро- заводск.

В Москву мы поехали вместе с Самуилом Яковлевичем — он должен был проехать через Москву к своей семье. Мы — педагоги — жили там коммуной на Малой Дмитровке в «Детском труде и отдыхе» Шацкого. Достать билет из Москвы в те дни было не так-то легко, и Маршак оставался несколько дней у нас. Мы провожали его на вокзал каждый день, а уехал он только через неделю. Но дружба наша этим не кончилась — она продолжалась до последних дней его жизни.

ВЕДУ РАССКАЗ О МАРШАКЕ



исателям моего поколения, да и не только моего, а и старших поколений, и младших, вообще тем, кто лично знал Самуила Яковлевича Маршака, очень повезло в жизни. Потому что читатели имеют представление о нем как о замечательном детском поэте, как об удивительном переводчике, эпиграмматисте, плакатисте; как о прозаике, драматурге, теоретике и критике детской литературы; как о замечательном, непревзойденном редакторе, — но только те, кто знал Маршака лично, знали Маршака-собеседника, а эта грань его таланта была, быть может, одной из самых сверкающих, потому что такого собеседника, как Маршак, не было, нет и не будет. Не потому, что другие не могут поговорить, а потому, что это не будет разговором с Маршаком. Почти за 40 лет нашего знакомства он не сказал ни одной проходной фразы, так, ни о чем; он всегда говорил о литературе, о деле. Этот разговор о поэзии начинался, когда вы вешали в передней пальто, и кончался далеко за полночь. И не потому, что у Маршака было много свободного времени, а потому, что он торопился внушить вам свои мысли и превратить вас в своего последователя, своего ученика.

Как только вы входили в его комнату, он начинал читать вам свои новые стихи. Прочитав, сейчас же передавал их вам, чтобы вы прочли их вслух, потом снова читал сам. Потом требовал, чтобы вы сказали свое нелицеприятное мнение. Спрашивал:

— Какие строчки больше тебе нравятся, первые или последние?

Если вы называли первые — он, вспыхнув, говорил:

— Почему первые?

Никогда нельзя было сказать, какие лучше или хуже, потому что он обижался за те строчки, которые вы обошли. Да, это было удивительно. Он обижался на эти замечания как-то мгновенно, но вообще жаждал поощрения и критики. Он читал свои стихи всем: читал молочнице, читал телефонисту, который приходил чинить его телефон, потому что так много говорил по телефону, что тот все время портился. Читал курьеру, который принес ему рукопись из издательства, читал детям во дворе, читал шоферу, читал поэтам, критикам и прозаикам по телефону. Он всем читал, и все замечания, даже если обижался, учитывал. Иногда, по-моему, даже в ущерб делу. Так, например, у него в книжке про цирк были замечательные строчки:

По проволоке дама
Идет, как телеграмма...

Маяковский хвалил эти строки, а он вдруг выбросил. Я спрашиваю:

— Зачем же ты выбросил такие замечательные строчки?

Он сказал:

— В советском обществе никаких дам нет, и нечего детям морочить голову.

Он был человек удивительный! Окончив чтение новых стихов, он начинал читать свои старые, потом замечательные переводы английских народных баллад, стихи Бернса, потом других поэтов, потом Пушкина. Читал глухим сиплым голосом, спокойно и просто, и обнажались тонкости, которых вы не читали и не слышали, даже если знали стихотворение наизусть. Потом начинался разговор о литературе. Это было бесподобно прекрасно, потому что он разбирал вещи не вообще, а раскрывал нам смысл каждой строки, каждого поэтического слова. Все поэты, да и вообще все, кто бывал у него, могут подтвердить, что общение с Маршаком было для них целой поэтической академией. И это было поразительно: он вбивал вам в голову одни и те же примеры по многу раз. Не потому, что он забывал, кому что рассказывал; он помнил, но говорил:

— Я тебе много раз уже объяснял, что от того, как составлены слова во фразе, зависит весь смысл. Ведь все зависит от того, как они поставлены. Какая прекрасная фраза «кровь с молоком» и какая отвратительная — «молоко с кровью». Ведь правда же?!

точности, красоты речи и говорил, что у Пушкина нет ни одного лишнего слова, даже эпитет у него не просто раскрывает соседнее слово, а несет смысловую нагрузку. Говорил:

— Возьми строчку «духовной жаждою томим», отними «духовной» — получается: жаждою томим, то есть пить хочется, — совсем другое. А какие там дальше идут замечательные слова! «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился». Шестикрылый! Слово какое! Строчку загоразживает! Дорогу загоразживает! Образует перепутье, веришь, что за этими крылами много дорог, что поэту надлежит выбрать какую-то одну, прямую. Замечательно! Ты знаешь, у Пушкина две строки, а послушай, как сказано:

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут...

«Хлещут» — слово какое незатасканное, сколько лет прошло, никак не удастся затаскать, потому что сказано очень точно. «Блещут» — «хлещут» — каждому слову в верхней строке отвечает слово в нижней, и какой молодец Пушкин, что у него небо сверху, а море снизу, а не наоборот! Мы ведь очень много врем, уверяем себя, что мы Пушкина очень хорошо знаем, — все вранье! Выучили хрестоматийный пяточок наизусть и гордимся... Ты, например, знаешь Пушкина стихотворение «К вельможе»? Наизусть? Не знаешь. Очень стыдно. А я знаю.

С этим стихотворением связана одна замечательная история. Однажды я пришел к нему. Это было в сентябре сорок первого года. Он написал несколько строк — подпись к карикатуре Кукрыниксов, послал в «Правду», освободился и тут же стал меня вызванивать. Я к нему пришел. Было, наверное, половина одиннадцатого. Он жил около Курского вокзала. Через некоторое время объявили воздушную тревогу, и самолеты противника пошли пикировать на Курский вокзал, и что тут стало делаться на небе и на земле, вообразить невозможно. А он никуда не пошел, остался сидеть в своих низких кожаных креслах и тихонько читал стихи:

От северных оков освобождая мир,
Лишь только на поля, струясь, дохнет эфир,
Лишь только первая позеленеет липа,
К тебе, приветливый потомок Аристиппа,
К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные в волшебстве состязались...

Что ты все в окно смотришь, ты музыку Пушкина слушай, а не этот грохот чудовищный!..

Нет, это был поразительный человек. 50 лет он переводил стихи Уильяма Блейка и умер в убеждении, что не довел перевод до кондиции. Он был нетерпелив, а работал терпеливо, долго. Не дай бог было прийти к нему в тот час, когда он назначил! Надо было прийти гораздо раньше, за час надо было прийти, потому что он не мог ждать. Когда он был уже и болен, и стар, и дряхл, я как-то обещал прийти к нему в семь часов вечера. Он начал звонить уже в четыре:

— Ты еще не вышел?

— Нет, не вышел.

— А как ты доберешься, ты не опоздай!

Я говорю:

— Не опоздаю.

— А как ты поедешь?

— Ну, возьму такси и поеду.

— А вдруг не достанешь?

— Ну, возьму «левую» машину.

— А вдруг и левой не будет?

— Пешком пойду.

— Ну, и опоздаешь. Ты гляди, мне ведь теперь, как прежде, уже невозможно долго сидеть, после трех-четырех ночи мне трудно.

А я собирался уйти не позже часа, и то на часы поглядывал.

Он замечательно разъяснял структуру стиха. То, как стихотворение сделано. Раздражался на символистов, говорил:

— Придумали, что стихотворение «Обвал» инструментовано особенным образом, так это же всякому дураку видно, что инструментовано, а вот почему Пушкин взял разноstopные строчки, этого никто не говорил еще. А я тебе объясню. Ведь это стихотворение о горах. Когда человек кричит, он кричит дольше, а эхо возвращает ему часть того, что он крикнул. И поэтому, как только идет разноstopная строка, сразу ощущение горного пейзажа. Какие стихи благородные:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы —

И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы —

и опять короткая:

Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал
И с тяжким грохотом упал
И всю теснину между скал —

и опять короткая:

Загородил
И Терека могущий вал
Остановил.

Какое слово: «могущий»! Оно торжественно. Это не то что могучий, это что-то другое. Пушкин необычайно чувствовал оттенки слова. Вот и у Бернса тоже. Это горный поэт, он тоже любит этот размер. Об этом никто не подумал. Много ряженных в литературе, представляются, что они поэты. Есть поэты, сделанные из какого-то «бородавчатого мяса». Знаешь, тебе надо что-нибудь написать.

Я говорю:

— Я тебе только что книжку подарил.

— Да, я ее просто еще не видел. Ты знаешь что, мы ведь с тобой давно знакомы, видимся уже лет пятнадцать, пожалуй. Тебе обязательно надо попробовать писать, я думаю, у тебя получится.

Как он запомнил меня с молодости, так до старости считал, что я не пишу. А я ему все, что выходило, дарил. Он говорил:

— Разве? Да, один какой-то рассказ я читал. Знаешь что, все-таки в живом исполнении это как-то лучше. Я, правда, не помню, о чем рассказ, но это мы еще поговорим с тобой, а ты почитай сейчас вот это стихотворение.

И я читал.

Я помню Маршака с тех пор, когда начинал работать в литературе после университета, когда был секретарем детского отдела в ленинградском Госиздате. Я прошел всю его редакторскую маршаковскую школу, когда в половине пятого утра он звонил по телефону и требовал:

— Вы спите? Вы знаете, такой странный человек автор, над рукописью которого мы сейчас работаем. Написал очень

интересную вещь. Отдал сегодня почитать Александре Иосифовне. И забыл взять. Я его пригласил к себе домой работать, он сидит у меня с десяти часов, я освободился десять минут назад, оказывается, он рукопись забыл. Если можно, поезжайте, пожалуйста, в издательство, найдите коменданта, откройте дверь, достаньте ключи от стола. Откройте ящик Александры Иосифовны и привезите рукопись ко мне.

Я говорю:

— Самуил Яковлевич, а нельзя утром...

— Как вам не стыдно! Вы молодой человек. Только начинаете работать в литературе, и у вас нет времени, вы спать хотите, а мы не хотим? Я, знаете, так замучен, что вчера заснул с колбасой во рту, и тем не менее я работаю. Пожалуйста, выполните это, если вы по-настоящему любите литературу.

Я мчусь к Дому книги, бужу коменданта. Открывают дверь, составляют акт. Привожу рукопись.

— Спасибо, Геркулесушка, спасибо, голубчик! И он, такой молодец, пока вы ездили, придумал совсем другую главу, и гораздо лучше!..

Я начинал работать в «Чиже» и «Еже» — в журналах, которые были созданы по инициативе Маршака. Но к тому времени, когда я поступил в издательство, Маршак руководил не «Ежом» и не «Чижом», а был уже, так сказать, ментором всей ленинградской детской литературы. Когда он приезжал в редакцию — все расступалось. «Маршак приехал!» — все торопились к нему с рукописями, с рисунками, с вопросами. Он был как бы главный редактор.

А в «Еже» и в «Чиже» было очень славно. Он туда только иногда заходил. Как-то не совсем довольно поглядывал, как его продолжатели и ученики Евгений Шварц, Николай Заболоцкий, Николай Олейников ведут это дело. Говорил, что журнал теряет своеобразие. На самом деле журнал был великолепный. Мне казалось, что происходит какая-то ошибка, что я получаю зарплату вместо того, чтобы платить за то, что я работаю в «Еже» и «Чиже». Это было одно удовольствие.

В 12 часов являлись все члены редколлегии, садились вокруг стола, который занимал почти всю комнату, и улаживались, на какую тему будут писать. Каждый, закрывая рукой, писал свое, хохотал, писал, потом бросал это направо.

Слева получал лист, хохотал еще громче, прибавлял свое, бросал направо, слева получал лист... Когда все листы обходили стол, читали все варианты, умирали со смеху, выбирали лучший вариант, и все начинали его обрабатывать. Придут художники, оставят картинки — и остаются. Придут поэты, оставят стихи — и тоже остаются. Вот уже окончен рабочий день, в коридорах темнота, а у нас свет, хохот и словно праздник. Журнал выходил всегда вовремя и был интересный. На него кидались и дети и взрослые. Я недавно смотрел перечень слов, которые непонятны пионеру: «Городской голова». И один мальчик нарисовал город, на котором лежит голова. «Фараон с селедкой». На рисунке — стоит Радамес из «Аиды», держит рыбу...

И вдруг меня повысили в должности, и я сделался несчастным человеком. Меня перевели в детский отдел, там я уже занимался технической работой и писал протоколы. Я и сейчас не могу протоколы вести, а тогда даже не все понимал, о чем говорят. А заседали до конца дня, все курили и все кричали: «Запишите в протокол точно!» А я стенографией не владею, писал двумя руками. Правой записывал, о чем говорили сорок минут назад, а левой выкорючивал то, о чем говорят сейчас, чтобы потом, по крайней мере, помнить порядок, кто за кем выступал. А мой начальник, заведующий отделом, все время присматривался к моим протоколам и говорил:

— Товарищ Андроников, вы успеваете фиксировать?

И один раз дошло до того, что я отстал на час пятьдесят три минуты. Спасения уже не было. Я совершенно забыл, кто говорил и о чем, и всем было видно, что я не поспеваю. И начальник негромко сказал мне:

— Товарищ Андроников, нам, вероятно, придется расстаться с вами.

Я обомлел. Стал мечтать, чтобы произошел пожар; ну, не такой, чтобы что-нибудь сгорело, но чтобы стали звонить, приехали бы пожарные, налили воды, я бы сказал, что мой протокол размок и я не могу его представить. Или чтобы кому-нибудь стало дурно, чтобы стал помирать, но не то чтобы умер, а чтоб открыли окно, стали бы его расстегивать, побежали бы вызывать «скорую помощь», а я тем временем расспросил бы ораторов, о чем они говорили, и попросил бы, хотя бы в двух словах, изложить тезисы их выступления, с тем, чтобы потом, дома, что-нибудь склеить. Нет, не было никакого спасения. И начальник пробормотал:

— Товарищ Андроников, вы представляете мне не-удовлетворительные протоколы. Сегодня вы не записали то, что говорил Самуил Яковлевич, такие важные, принципиальные вещи.

Маршак всполошился:

— Неужели не записал?

Я понял, что пропал. Спасения не было. И спасение пришло. Оно пришло в голосе Алексея Николаевича Толстого, который громко говорил за дверью:

— Подождите меня здесь одну минуту, я сейчас вернусь. Я только поговорю с этим, с Маршаком. Куда вы пойдёте, при чем здесь Иван Уксусов? В его рассказе коза закричала нечеловеческим голосом. Ну, идите куда хотите. Я лично не буду бегать по коридорам и искать вас. Успеете меня здесь застать — приходите, а нет — так прощайте.

Отворил дверь, вошел в комнату, высокий, дородный; румяный с мороза, в высокой куньей шапке, в распахнутой шубе, снял очки, протер, помассировал ладошкой физиономию, надел очки и сказал:

— Маршаак, милый мой, у вас здесь, как в приказной избе, кисло, что вы преете, как бояре в Думе. Слушай, Самуил, заканчивай говорение и пойми меня хорошо. Я был в расчетном столе, где сидит эта бабелина, высокого роста, бледная, тощая, сладострастная, интересная, при виде которой кавалеристы начинают обеими руками рубить лозу. Слушай, кончай это дело, пойдн скажи ей, я специально приехал сегодня за деньгами из Детского Села. У меня утро пропадает для работы.

Маршак сказал:

— Алексей Николаевич. У нас здесь идет очень важное принципиальное заседание. Мы решаем перспективы развития детской литературы. Ты нам мешаешь. По-моему, ты дверью ошибся. Тут не пробирная палатка.

Они поговорили, поспорили, потом вдруг Толстой увидел меня, говорит:

— А ты что тут делаешь?

Я говорю:

— Я здесь служу.

— А в чем твоя служба?

— Я пишу протоколы.

— Прекрати это делать. Ты этого делать не можешь.

Пойдем со мной.

Я говорю:

— Меня выгонят.

— И хорошо сделают. Я устрою тебя на другую работу. У вас тут кто-нибудь есть другой начальник, кроме Маршака? Вы? Здравствуйте. Мы не знакомы с вами. Моя фамилия Толстой. Я хочу увести вашего секретаря. Он не может писать протоколы. Он неграмотный.

И вдруг начальник говорит:

— Товарищ Андроников, вы нужны Алексею Николаевичу. Я прошу сейчас же последовать за ним. Он уже уходит, и можете сегодня не возвращаться. Протокол мы будем вести без вас. А завтра, если вы будете нужны Алексею Николаевичу, можно ограничиться телефонным звонком.

И я сделался свободный человек, поплелся за Толстым, и те полтора дня, которые я провел в тот раз в его обществе, они были так великолепны, что я не нахожу красок и слов, и, наверное, этот день навсегда останется незаписанным.

Но из этого визита Толстого в Детгиз у меня возник маленький устный рассказ под названием «Действительный случай, происшедший в ленинградском Детиздате с писателями А. Толстым и С. Маршаком». Тогдашнюю мою аудиторию составляли мои знакомые и знакомые моих знакомых. Меня можно было звать в любой дом, где я еще не бывал, если у меня был хоть какой-нибудь общий знакомый. Я шел и рассказывал. Работал, как зурнач на свадьбе. Совершенно непонятно, почему я шел и почему рассказывал. И я не мог объяснить, но неисповедимая потребность рассказывать вела меня всюду, и я говорил, говорил... Но, рассказывая, набирал опыт. Рассказы были мои — как хотел, так и рассказывал. В одних домах рассказывал длиннее, в других короче. В одних пропускал сатиры, а в других — маэстозности, такой, понимаете, величавости... Очень скоро выяснилось, что в кругах Толстого рассказ о его визите в Детгиз понравился. Говорили: «Алешка живой, ну совершенно живой, ему понравится, он такие вещи любит».

А в кругах Маршака напряглись:

— Да, это, конечно, похоже на Самуила Яковлевича, но Самуил Яковлевич не исчерпывается этим. Вы совершенно не показали, какую роль играет Самуил Яковлевич в развитии детской литературы. Не хотите?

— Не надо, пожалуйста.

Пожалуйста. Я так и делал. В кругах Толстого я этот случай изображал, а в кругах Маршака не изображал. И всегда придерживался этого золотого правила, пока меня не позвали в Москву выступать. Я приехал, выступал в Союзе

писателей и показывал Толстого. В этот момент отворилась дверь, вошел сам Толстой, сел на приступочку эстрады. Я показывал, как он смеется. А он смотрел на меня, смотрел в зал, опять на меня, опять в зал, вытирал лицо ладошкой и смеялся на длинном выдохе: «Хххаааа!..» И все радовались, что двое смеются одинаково и что тот, кого показывают, так доброжелательно воспринимает эти изображения. И я быстро убедился, что в общем это ему нравится, потому что когда он жил в Москве и стоял у Радина на Малой Дмитровке, то вызывал меня к себе постоянно. Звонил по телефону и говорил: «Володька, я выезжаю к тебе в гости, везу две бутылки дивного вина каберне, которое пахнет тараканами, и грузина Ираклия, который меня дивно изображает». По Москве пошел слух, что я — секретарь Толстого, на окладе, причем взят специально для изображения. Что это — просто причуда замечательного писателя, что ему нравится, когда его изображают. Я-то знал, что денег я не получаю; знал, что я не секретарь, но что ему нравится — в этом я был совершенно уверен. Потом, когда уже я поселился в Москве и женился и когда Толстой тоже поселился в Москве, он постоянно звонил мне по телефону и говорил:

— Ираклий, во вторник возьмешь жену, приедешь к нам на дачу в Барвиху. У нас будут Нежданова и Голованов, которые тебя не слышали. Алиса Коонен и Таиров, которые слышали, но ты от них преступно утаил рассказ про меня и про Ваську Качанова. Кроме того, будут два высотника и два подводника, которые вообще о тебе никогда не слышали. Рассказывать будешь после супа. До этого пить ничего не смей, иначе я разобью боржомную бутылку о твою дурацкую башку. Когда будешь меня показывать, не делай мхатовских пауз, я их у тебя ненавижу.

Я был убежден, что ему очень нравится, как я его показываю, но, когда он поехал однажды на предвыборную кампанию, его впервые записали на шорифон — предшественник нашего магнитофона. И вечером эту речь транслировали по Новгородской области, где он баллотировался. И он, услышав свои слова в репродукторе, спросил:

— Это кто говорит?

— Вы, Алексей Николаевич.

— Этого не может быть, это абсолютный Ираклий. Так, если бы я знал, что это так похоже, можно было не ездить, надо было его послать.

Оказывается, он все эти годы был глубоко убежден в том, что я его непохоже показываю. Но поскольку все вокруг

говорили: похоже, похоже,— а он был человек веселый, доброжелательный, компанейский, шутливый и хорошо ко мне относился,— он не возражал. А на самом деле ему и не могло показаться похоже. Никому не кажется похожим; даже теперь, когда есть такой совершенный аппарат, как магнитофон, каждый человек, в первый раз услышав свою запись, говорит: «Нет, это не я, у вас испортился аппарат». Вы говорите:

— Как испортился, вот вы же вместе с Иваном Филипповичем разговариваете?

— Да, Ивана Филипповича записали правильно, а меня неправильно.

Не может себя человек услышать правильно, потому что, когда он говорит, он слышит себя не снаружи, но через внутренние резонаторы. Он, вероятно, только один раз в жизни слышит себя правильно, когда он теряет сознание. Когда ему кажется, что он говорит не своим голосом. Вот тогда он, очевидно, и слышит свой голос правильно.

Надо сказать, это сильно осложняло мою работу. Как относиться к эпиграммам, известно с древнегреческих времен. Как относиться к карикатурам, тоже хорошо известно: обиделся, но покажи, что очень доволен. Но как относиться к живому изображению, когда тебе вкладывают в уста речи, которых ты, может, говорил, но не помню когда, а может, и совсем не говорил; когда за тебя мимируют, за тебя жестикулируют, ходят, изображают тебя, да еще непохоже,— я представляю, понимаете ли, как это сложно воспринимать. Я считаю, что моя большая удача, что мне удалось сохранить отношения со всеми персонажами, кроме одного, который обиделся не на сходство, а на текст, так и он теперь кричит:

— Ираклий Луарсабович, зачем вы переходите на другую сторону? Я так по вас соскучился!

И тот уже привык. Но все это стало возможным только при одном: тут надо было проявлять много тактики и стратегии — знать, когда показывать, где показывать, кому показывать, кто передаст и как будут трактовать, и поэтому я в одних домах показывал по-одному, в других по-другому. Но, конечно, я придерживался того правила в отношении Маршака, которое было принято еще в Ленинграде. И Маршак уже жил в Москве, и Толстой жил в Москве, и я жил в Москве, но я и в Москве продолжал не показывать Маршака в кругах Маршака.

И вот однажды я выступал в московском Издательстве детской литературы на каком-то предпраздничном концерте.

И получил записку: «Покажите Маршака». Но это же было Издательство детской литературы! Я убрал записку в карман и стал рассказывать что-то другое. Тогда Кассиль, который оказался автором записки, закричал:

— Слезай, очисти площадку! Тут много народу, которые могут поговорить без тебя, если не хочешь показывать того, кого просят. Покажи Толстого и Маршака!

Я деморализовался и показал. На следующий день Маршак приехал в издательство, редакторы увидели его и, закрываясь руками от смеха, побежали обратно по коридору. Он прошел в кабинет директора. А директор-то был на этом посту 9 дней. Не помним, откуда пришел, не помним, куда девался, не помним фамилии. Но, видно, это был очень тонкий дипломат. Потому что, увидев Маршака, он сказал:

— Ну, Самуил Яковлевич, теперь уж с вами всерьез никто не станет говорить. Так и кажется, что это вы перездразниваете Андроникова.

Вечером Маршак позвонил мне по телефону. Я услышал:

«Не могу ли я поговорить с гражданином Андрониковым?» Я чуть не упал. Боже, до чего я расстроился, огорчился, испугался, но сделал вид, что я ничего не понимаю. Говорю:

— Что это ты, Самуил Яковлевич, сегодня со мной так официально?

— Во-первых, говорите мне, пожалуйста, не «ты», а «вы». А кроме того, объясните, как я могу получить от вас сатисфакцию.

Как только я услышал про сатисфакцию, я кинулся на улицу Чкалова, где он жил. Но пока я бежал к нему, он совершенно про меня забыл. Когда я вкатился в его кабинет, он встал с кресла, обсыпанный пеплом по жилету, протянул мне коротко руку и сказал:

— Здравствуй, голубчик, я без тебя соскучился.

И мы расцеловались. Вдруг он вспомнил и сказал:

— Тебя я ведь поцеловал по ошибке. Тебя целовать не за что. Ты очень неважно повел себя в Детгизе. Зачем тебе понадобилось там меня изображать? Там ведь совсем далеко не все хорошие люди, только об этом никому не надо говорить. Ты, может быть, хотел выслужиться перед новым директором? Так имей в виду, этот директор ни тебя не уважает, ни меня не уважает, ни себя не уважает. О тебе ужасно сказал. Про тебя сказал: «Ваш Андроников макака порядочный, в клетку посадить — большие деньги можно брать». Я был оскорблен за тебя! Как можно поставить

себя в такое положение? Мне передали твой рассказ. Дурацкий рассказ. Ты знаешь что, я не знаю, как теперь быть. Как наши отношения сложатся.

Я говорю:

— Самуил Яковлевич, если тебе этот рассказ не нравится, так к черту этот рассказ, я его не буду никогда показывать. И на этом дело кончится.

— На это ведь можно очень обидеться. Ты меня не за того принял. Ты думаешь, я тебя для того позвал, чтобы запретить тебе. Ступай!.. Вернись!.. Я хотел помочь тебе сделать рассказ поэнергичнее, помускулистее, поинтереснее. С чего он начинается?

— Самуил Яковлевич, я не могу показывать тебя тебе одному. Мне нужна аудитория.

— А когда ты меня аудитории показываешь, я тебе не нужен! Нет, уж ты наберись храбрости, уж подыми забрало, уж разговаривай благородно, глядя в глаза. Ты уж не трус, не увиливай. С чего начинается рассказ?

Я говорю:

— Он начинается с реплики Толстого.

— Какой реплики?

— Толстой за дверью говорит: «Подождите меня одну минутку, я сейчас вернусь. Я только поговорю с этим, с Маршаком».

— Можно перебить тебя? Отвратительная фраза. Лживая. Толстой меня очень боится и очень уважает. Он всегда называет меня Маршачище, Самуилище, Сам-с-Усам и другие, какие-то весьма подобострастные прозвища дает. По фамилии он меня никогда не называет. А ты перед фамилией делаешь еще какую-то отвратительную загогулину. Ты, как малоопытный автор, не знаешь, что первая фраза чаще всего должна быть отброшена, вторая бывает интересней и энергичней. Попробуй начать со второй.

— Вторая не годится.

— Ну откуда ты знаешь? Еще не пробовал. Приехал, посоветоваться хочешь, просишь помочь, а уже знаешь без меня. Произнеси ее.

Я говорю:

— Толстой входит в комнату, говорит: «Маршааак..»

— Это действительно плохая фраза. Но я-то что говорю?

— Ты говоришь: «Алексей Николаевич, мы ведем здесь очень важное заседание, решаем принципиальные вопросы развития детской литературы. Здесь не пробирная палатка. Ты, кажется, дверью ошибся».

— Не мог я так сказать. Я, наверное, сказал: «Ступай к черту, Толстой. Ты как слон в посудной лавке».

— Но ты же этого не говорил!

— Но ведь и ты не фотограф. Ты же претендуешь быть художником. Так ты уж рассказывай правду отношений. А дальше что?

Я показал.

— Не знаю, как быть, просто не знаю. Толстой у тебя замечательный. Просто какой-то фламандский тип. Сочный, достоверный, живой. А я у тебя не получился. Знаешь, может, попробовать сделать из этого рассказа монолог Толстого?

— Ну что ты, — говорю. — Весь смысл исчезнет. Здесь важно, как ты замечательно вышел из положения.

— Нет, знаешь, все-таки непохоже. Тебя это должно огорчать. Ты же человек со слухом. Неужели из нашей многолетней дружбы ты усвоил только голос петуха, да еще какого-то придушенного петуха? Как тебе кажется — похоже?

— Мне кажется, что похоже. Иначе я не показывал бы.

— Но люди-то что говорят?

— Говорят, что похоже.

— А ты думаешь, у тебя нет своих подхалимов? Вот они и стараются. Ты знаешь, как в Древней Греции решали споры? Если сами не могли решить, выходили за ворота, останавливали путника, просили его решить спор, его устами и говорили боги. Он и решал, кто прав, а кто — нет. Я уверен, если бы сюда вошел человек, совершенно непредубежденный, он бы сказал, что это очень непохоже и неинтересно.

В это время зазвонил телефон. Маршак встрепенулся:

— Стоит ли брать трубку, прервут ведь очень важный разговор, от которого зависят наши отношения.

— Ну, не бери.

— Нельзя не брать. Я послал статью о детской литературе в «Известия», этому Андронову. Между прочим, очень хороший человек, очень благородный. Настоящий литератор, настоящий товарищ. Он очень много нам помогает. Я должен взять трубку. Вдруг он.

— Ну, возьми.

— А вдруг — не он?

— Ну, тогда извинись и скажи, что не можешь разговаривать.

— А вдруг какой-нибудь дурацкий разговор отвлечет?

166 Я все-таки попробую взять. Алло, кто говорит?.. Иона Иоси-

фович, здравствуйте, голубчик! (В мою сторону: — Это Андронов.) Я послал вам статью, миленький. Получили, дорогой?.. Спасибо вам, милый.. Очень обязан вам, голубчик. (Мне: — Прочел уже!) Вам понравилась статья?.. Это очень приятно, вы сможете продвинуть ее к вашему заведующему отделом. Он ведь, говорят, очень редко читает статьи вообще... Что?.. Да что вы! (Мне: — Прочел уже!) Ну, и что говорит?.. То есть как же не важно... Ах, послали уже к ответственному! Он когда сможет прочесть?.. Тоже прочел? Какой вы молодец! Вы наш настоящий друг. Вы нам всегда помогали. Еще в Ленинграде. Мы очень все вас уважаем. И любим. Вы настоящий человек. И как вы думаете, когда ответственный прочтет?.. В номер поставил?.. На какой день?.. (Мне: — На завтра!) Ну, это просто можете нас поздравить. Поздравить не только со статьей, а с настоящим другом, который у нас есть... Как прошла статья?.. Целиком?.. Ничто не вызвало возражений?.. Что?.. Сколько?.. Какие?.. Об этом не может быть речи. (Мне: — Сократили 12 строк.) Сокращенная статья не пойдет. Скажите, какие строки сокращены?.. Что значит — мелочь?.. (Мне: — Оказывается, сокращены «Туча по небу идет, Бочка по морю плывет». Без этого статьи нет.) Алло, товарищ Андронов, я прошу вас: возьмите статью и восстановите выброшенный текст... Я не буду разговаривать без этого. Я прошу вас... Что значит — статья в другой комнате? Пойдите в другую комнату и принесите ее сюда сейчас же. Восстановите... Что вы спорите? Алло, алло, алло... Странный какой-то. Куда он девался? Алло!..

Я говорю:

— Да ты же послал его за статьей.

— Алло.

И вдруг меня осенило. Я говорю:

— Самуил Яковлевич, хочешь — я поговорю с Андроновым твоим голосом?

— Это зачем?

— Ну, как путник на дороге, пусть он и решает, похоже или не похоже. Он же не знает нашего спора.

— Я не пойму, что ты задумал?

Я говорю:

— Ну вот, если он разберет, что это разные голоса, тогда, значит, я плохо изображаю. Не разберет, тогда, значит, хорошо.

— Я боюсь, как бы он не перепутал нас. У него слух не очень хороший.

Я говорю:

— А про слух не было условия.

— Я не пойму, что ты хочешь. Ну тогда все-таки попробуй, только не долго.

Я беру трубку и вдруг соображаю: боже мой! Сейчас я должен не только изображать Маршака чисто внешне, но нужно придумать какой-то текст, который был бы похож. Если я сгоряча придумаю текст, который его обидит, я никогда не восстановлю отношений. Ничего не придумал, а Андронов уже говорит:

— Самуил Яковлевич, я принес статью, оказывается, мы сократили 21 строчку. Я запомнил цифры не в том порядке.

Я говорю:

— Товарищ Андронов, здравствуйте.

— А... Кто говорит?

— Андроников.

— А... У Маршака в гостях сидите?

— Нет, у себя дома.

— То есть как у себя дома?! Я разговаривал с Маршаком.

— Нет, вы разговаривали со мной.

— Ерунда, у меня записная книжка открыта на букву «М». Я звонил Маршаку и разговаривал с ним.

— Я не знаю, куда вы звонили. Может быть, вы Маршаку звонили, но попали ко мне.

— Вы меня разыгрываете. Погодите, вы приходили к нам в «Известия» и показывали Маршака? Это действительно очень похоже. Но я никогда не думал, что это похоже в такой степени. Вы знаете, вы изображаете его еще лучше, чем он сам. Гениально. Это лучше, чем Маршак. Я умоляю вас, скажите еще хотя бы несколько слов.

Маршак говорит:

— Что ты так долго разговариваешь? Мне ведь о деле надо поговорить. Дай сюда трубку!

Я говорю:

— Ну погоди, дай мне поговорить.

— Дай трубку сюда! Товарищ Андронов, вы принесли статью или нет?

Я вдруг слышу, что в трубку заверещало... затрещало, каркнуло...

— Что вы хохочете, черт побери? Вы принесли статью или нет? Я требую, чтобы вы восстановили выброшенные

168 12 строк... Что с ним, что он хохочет? Перестаньте хохотать,

черт побери! В чем дело, чего вы хохочете? (Кю мне: — Поговори с ним.)

Я беру трубку.

— Аах-ха-ха-ха-ха! Ой, боже мой, до чего похоже! Невероятно! Я позову сейчас нашего зава. Он умрет. Поговорите с каждым из наших сотрудников. Это потрясающе хорошо.

— Дай трубку сюда. Дай сюда трубку! Товарищ Андронов, я не шутки шучу, я с вами говорю о деле. О литературе. Принесли статью или нет?..

Трубка завывает как сирена. Маршак швырнул трубку:

— Вот видишь, что ты наделал с твоими дурацкими изображениями?

Я говорю:

— Я ничего не изображал.

— Как не изображал?

— Так не изображал.

— А почему же он хохочет?

— Я не знаю.

— Ну, значит, ты меня разыграл?

— Нет, я тебя не разыгрывал.

— погоди, в чем дело? Он принял меня за меня, или меня за тебя, или тебя за меня?..

Я говорю:

— Я ничего не знаю.

— Выходит, мы с тобой вдвоем его разыграли. Знаешь что, это, может, было бы весело, если бы речь шла не о деле. Попробуй позвонить ему и скажи, что пошутил.

Я говорю:

— Он теперь не поверит.

— Розалия Ивановна, будьте добры, поскорее соединитесь с «Известиями»... Господи, эта женщина создана для того, чтобы ходить медленно! Розалия Ивановна, очень вас прошу, сейчас же позвоните в «Известия» Андронову, скажите, что у нас в гостях товарищ Андроников, что он пошутил.

Розалия Ивановна, секретарь Самуила Яковлевича, дама на десять лет старше его самого, необычайно медленно подходит к телефону, набирает номер «Известий» и со своим немецким акцентом говорит:

— Товарищ Антроноф, з вами говорит Росали Ифановна, секретарь Замуиль Яковлефича...

В трубку раздается звук, напоминающий кораблекрушение у берегов Англии...

Маршак обижен и смеется:

— Он, кажется, подумал, что ты и Розалию Ивановну 169

изображаешь. Дай трубку сюда. Товарищ Андронов, миленький, слушайте! Неужели у вас нет никакого воображения? Задайте мне такой вопрос, на который Андроников не может ответить, а я, Маршак, могу... Мы еще знакомы по Ленинграду, встречались в грозные, трудные времена... Не надо так дурачки хохотать! Что, что?.. Погодите, я посоветуюсь. (Ко мне: — Он спрашивает, как фамилия учительницы, с которой он познакомил меня в Ленинграде, в Выборгском Доме культуры, в 1931 году.) (В трубку) Я не помню... Вы не можете задать мне контрольный вопрос?.. Не смейте говорить мне, что Андроников не знает, а Маршак знал бы. Я Самуил Яковлевич, я паспорт вам могу показать!..

Долго еще продолжалась эта перепалка. Наконец Маршак в полном изнеможении положил трубку и сказал:

— Ну вот, теперь статья пойдет в сокращенном виде, это и есть вся помощь от тебя детской литературе. Знаешь что, шутки шутками, а дело прежде всего. Вызовем машину, поедем в «Известия», покажемся, что нас двое.

Мы поехали. Было много смеха, статью восстановили, она вышла в первоизданном виде.

За два дня я рассказал эту историю пятерым, ну, может, шесть-семь человек слышало. Вдруг встречаю в Союзе писателей Маршака. Идет, палка на рукаве:

— Ты что же, новую историю про меня рассказываешь?!

Я весь перетрусил. Говорю:

— Ну что ты, что ты! Я только одному, двоим...

— Да, мне уже пересказали сюжет. Ничтожная история, но все-таки гораздо лучше первой. Она, по-моему, для Андропова не выгодная. Знаешь, если уж никак не можешь обойтись без моего портрета, бери меня в свою портретную галерею. Я согласен.

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК

14

июня 1964 года, за три недели до смерти, Самуил Яковлевич Маршак в письме ко мне напомнил свой давний совет — писать воспоминания. Это значит для меня — пускаться на склоне лет в дальний путь «обратного движения», к дорожному моему сердцу времени и людям.

Особо выделяю из них поэта Самуила Маршака — близко мне по общей работе

1921 год. Первое знакомство с Самуилом Яковлевичем Маршаком произошло в Краснодаре, где он с группой энтузиастов — не по плану, не по заданию, а по своему чистому душевному посылу — затевал великое в то время дело для детей. Поэт Маршак с товарищами строил фантастический Детский Городок.

Тогда же Самуил Яковлевич пригласил меня, моего мужа Дмитрия Николаевича Орлова и еще нескольких наших товарищей из «взрослого» театра имени Луначарского, согласившихся принимать участие в будущих спектаклях Городка как актеры-совместители, осмотреть весь Детский Городок в его повседневной жизни. И вот я иду впервые по Детскому Городку рядом с человеком, которого еще не знаю и который, пожалуй, пока ничем меня не заинтересовал. Самуил Яковлевич говорит немного глуховатым голосом, движения его целеустремленны, быстры, он как бы торопится успеть показать все свои «клады».

Мы ходим по лабиринту комнат, где дети учатся грамоте, мастерству — строгают, пилят, слесарят. В библиотеке они читают, выбирают книги для чтения дома. Видим мы и беззаботно играющих дошкольников, но их бледные лица отмече-

ны печатью сурового времени, а в глазах читается недетская печаль.

Потом мы переходим в отделение искусства. Зал с огромными окнами. Сцена. «Почему же она серо-коричневая? И тряпичный занавес и порталы в этом золоченом зале?» — спрашиваю я Самуила Яковлевича. «Все, что у нас нашлось на складе», — отвечает Самуил Яковлевич и тут же спрашивает: «Это может помешать, Анна Васильевна, творить на сцене сказку для наших детей?» Почувствовав в его интонации, в голосе некую долю суровости, я торопливо отвечаю:

— Нет, конечно нет. Самуил Яковлевич. Мне думается, для сказки не надо внешнего блеска, мы соткем сказку из добрых слов.

Нелегко было в те суровые трудные дни создать этот дом, но тем глубже и полнее я ощутила красоту и романтику всего, что здесь делалось для ребят. Да, действительно это был дом для детей, их дом, целый детский городок. Здесь кормили, учили, воспитывали. И Самуил Яковлевич предстал передо мною человеком — мастером «сказочных дел».

Подожли к выходу. Прощаясь, Самуил Яковлевич неожиданно и просто сказал:

— Анна Васильевна, вы должны быть в нашем театре для детей. — Он кивнул головой в сторону играющих ребятшек, полураздетых, но звонко смеющихся. — Вы должны быть, Анна Васильевна, главным режиссером!

Я обомлела... Всего я могла ожидать, только не этого ошеломившего меня предложения.

— Что вы, Самуил Яковлевич, я же еще неопытная актриса и ничего не умею делать. — И прибавила совсем по-ученически: — Меня этому не учили, Самуил Яковлевич.

— Выучитесь, как и мы все учимся. Поверьте мне, вы будете хорошим режиссером.

Я посмотрела на Самуила Яковлевича — и поверила его голосу, словам, глазам.

— Хорошо, Самуил Яковлевич. Я буду работать, чтобы научиться быть режиссером.

...Осенний пасмурный день. Закончили репетицию с опозданием. Перед самым спектаклем решили пойти обедать к тому, кто ближе живет к театру. Пошли к нам. Е. И. Васильева (поэтесса, писавшая с С. Я. Маршаком пьесы для детей), Самуил Яковлевич и мы с Дмитрием Николаевичем. В руках у всех полученный паек: 400 граммов черного хлеба. Дома быстро, как в сказке, появилась «скатерть-самобранка»: 4 стакана из обрезанных бутылок, чайник с кипятком и около каждо-

го прибора — паек хлеба. Как всегда, мы продолжали разговоры о жизни и делах Детского Городка. Действительно, эти разговоры были бескопечными.

Кто-то тихо постучал в окно. Я подошла и увидела: по росту — ребенок, но лицо такое опухшее, что трудно определить возраст. Ярко запечатлелся весь облик этого мальчика: в руках длинная стариковская палка, серый деревенский рваный армячок, на голове рваная зимняя шапка. Он что-то говорил, но слов не было слышно. Я открыла окно и услышала надорванный, слабый, простуженный голос мальчика, который ему, видимо, не подчинялся. Он протянул руку, а потом поднес ее ко рту, шепча:

— Крошечку... — И закончил: — Только подержать во рту...

— Как зовут-то тебя?

— Ванятка.

— Подожди, Ваня, сейчас.

Я подошла к столу и отрезала четверть от своего куска — пайка хлеба. Трое сидящих за столом сделали то же самое.

Самуил Яковлевич быстро встал и подошел к окну.

— Ты где живешь, мальчик, с кем? — спросил Самуил Яковлевич.

— С мамкой, сестренкой! — Мальчик показал на дом против нашего.

— Иди домой, я к вам приду, — сказал Самуил Яковлевич.

После любимого детьми спектакля «Финист — Ясный Сокол», немного усталые, наполненные новыми заботами, мы с Дмитрием Николаевичем возвращались из театра. С нами шел Самуил Яковлевич. Мы знали, что у него, как всегда, на прощание были какие-нибудь уже обдуманые, добрые планы на «завтра»... Мы ждали этого и сейчас. И действительно, Самуил Яковлевич уверенно и, как всегда, приподнято сказал, что он уже переговорил с Л. Р. Сви́рским¹. Сейчас он пойдет к Ванятке, а завтра мы возьмем его в Городок.

Эту маршакловскую черту в общении с людьми я наблюдала, между прочим, и много позже — в Москве. Самуил Яковлевич не был небрежным, невнимательным слушателем. Слушая вас, он не пропускал ни слова из того, о чем вы говорите. И без просьбы вашей думал и решал — какой он может дать вам совет или помощь. Обычно, выслушав, Самуил Яковлевич быстро вставал и ходил по комнате, закурив папиросу. Но

¹ Лев Рафаилович Сви́рский, работник Краснодарского совнархоза, заведующий Детским Городком.

бывало и так: Самуил Яковлевич отмалчивался, а на другой день — звонок по телефону, и сразу, как бы продолжая, без напоминания о вчерашнем разговоре, он ясно, исчерпывающе выскажет вам свой взгляд на то, что вы ему накануне говорили, а если нужно, даст свой совет, окажет помощь, а кому выразит и свой гнев.

Вошли во двор нашего дома. Кто-то сидит под нашим окном. Подошли и увидели застывший взгляд Ванятки... «Я виноват, — тихо сказал Самуил Яковлевич, — надо было сразу же с ним пойти в Городок и сейчас же помочь». И решительно сказал: «Я иду сейчас к ним — надо спасти его сестренку».

Много позже, встречаясь с Самуилом Яковлевичем уже в Москве, в тридцатых, сороковых, пятидесятих годах, мы всегда вспоминали Детский Городок и говорили о том, что мы успели сделать, что недоделали и что хорошего нам самим дала наша работа.

А она, безусловно, дала нам много. Для меня живой пример тому мой муж Д. Н. Орлов. Именно в Детском театре, в общении с детьми, он как человек и как актер обрел многие драгоценные качества. Думаю, не случайно Дмитрий Николаевич начал свою концертную деятельность со сказок и не случайно долгое время они составляли основу его репертуара. Мостиком к этому был Краснодарский театр для детей, ежедневное дружеское общение с Самуилом Яковлевичем.

В разговорах о Детском Городке Самуил Яковлевич любил вспоминать самые трудные страницы его истории.

— Расскажите, Анна Васильевна, — как-то сказал он мне, — как жили, чувствовали себя, став главным режиссером детского театра?

— Я помню, Самуил Яковлевич, утро, когда я вошла на сцену, чтобы обставить ее перед спектаклем для детей младшего возраста. Как всегда, около меня наш милый, старый и единственный рабочий сцены. За поясом молоток, в руках три огромных гвоздя (помнится, такой гвоздь назывался шпигорь). Ходила я, задумавшись над трудным нашим положением: для декораций нет ни денег, ни материалов. Но, представьте, без отчаяния.

Мне вспомнилось тогда сходное положение, в которое мы, актеры, попали в тысяча девятьсот двадцатом году в Новороссийске, играя «Нору» с В. Э. Мейерхольдом. Придя как-то на первую репетицию, мы попросили роли, а В. Э. сказал — у государства нет бумаги, и мы поищем новый путь постанов-

ки пьесы — без ролей на руках. Я хорошо помню, как серьезно мы это приняли и как овладели в результате этим новым методом. Так вот, Самуил Яковлевич, я нашла лично для себя выход. Прежде всего я позвала на помощь здравый смысл и... фантазию режиссера, плюс взяла в помощь своего помощника — рабочего сцены. Ходили мы с ним, моим товарищем, и «думали думу глубокую»: как бы покрасивее, порадостнее обставить сцену для школьников. Остановилась я перед задником — узок материал, раздвигается посредине, и, значит, обязательно ребятишкам будет видна ободранная, выколупленная местами каменная стена. «Это плохо», — сказала я своему помощнику. Мой спутник подумал и сказал: «Один шпигорь жертвую, прибью занавеску к стене, не разойдется». «Что вы, — ответила я с испугом. — Ведь к нам придут дети. Этот шпигорь им все настроение может испортить. Вот я что сделаю!» Я сняла с себя единственное мое женское украшение — красивую камею — и зашпилила занавес камеей. Посмотрела — понравилось. И подумалось — вот это красиво! Конечно, дети ее не увидят, мою маленькую камею на сером холсте, но они зато и не увидят на стене «украшения» в виде большого унылого шпигоря.

Самуил Яковлевич засмеялся и сказал:

— А все-таки жалко было, когда, вспомнив о камее только утром, вы не нашли ее в занавесе?

— Ничуть, Самуил Яковлевич. Мы подумали о зрителях и неплохо вышли из положения. А вот без заботы о ребенке один-единственный шпигорь в стене был бы укором равнодушному режиссеру.

Случилось то, о чем не думала и чего не боялась. Настал и у меня момент, когда мой организм, что называется, окончательно сдал. На работе мне стало дурно. Все товарищи, в том числе, конечно, и Самуил Яковлевич, всполошились, вызвали врача. Окруженная дружеским вниманием, взяв себя в руки, я «встряхнулась», встала на ноги и была готова продолжать репетицию «Сказки про козла». Дело приближалось к премьере. Шли последние напряженные репетиции. Моя попытка перебороть недомогание и продолжить работу не являлась тогда, по нашим понятиям, чем-то очень уж героическим. Мы все были в равном положении, и это могло случиться с каждым из нас. Но каждый был тверд духом, каждый был уверен, что около тебя товарищ — друг, готовый прийти на помощь и словом и хлебом...

На этот раз я должна была подчиниться доктору, который вынес строгий приговор — полный отдых не меньше пяти суток, а второй приговор звучал уже мягче, скорее просьбой: «Хорошо бы покормить мясом». Все единогласно подтвердили, что я должна отправиться домой и лечь в постель. Каждый обещал сделать все возможное. Надо ли говорить, что было сделано выше возможного.

Дома Д. Н. Орлов, уложив меня в постель, подал на тарелочке тоненько нарезанные кусочки хлеба, посыпанные солью, а добрая соседка принесла стакан «всамделишного» горячего чая. Как все это дорогое до слез радостно вспомнить и сейчас. «Спи, — заботливо сказал Дмитрий Николаевич, — а я сбегаю быстро за лекарством».

В комнате тихо отмерял минуты маятник... Я заснула.

Разбудил меня какой-то звук и знакомый приятный запах. Я открываю глаза и вижу в облаке тумана или дыма стоящего на коленях перед стулом Дмитрия Николаевича. Что это — сон или сказка?.. На стуле — простая житейская наша керосинка, на ней сковородка с ручкой, подаренная мне хозяйкой... Все — наяву. А что же шипит, трещит и благоухает? «Чем ты дымишь, друг?» — спросила я Дмитрия Николаевича. Он обернулся ко мне весело, лукаво: «Сейчас, сейчас будешь здорова!» И он ловко, совсем как на репетиции «Сказки про козла», приподнимая что-то ножом со сковородки, шлепнул с каким-то звуком на тарелку, похлопал по ней ножом и, притопывая, как делал, играя козла, ногами, подошел ко мне, припевая песенку из сказки Маршака:

Слушай, баба, слушай, дед,
Я сварю для вас обед.
Щей таких вам наварю,
Что не снились и царю.

Он поднес к моему лицу тарелку, и я увидела обуглившиеся тоненькие облатки. Судя по запаху дыма, это были кусочки мяса...

Это как в сказке! Где взял? Давай будем есть... Долго пришлось уговаривать поделить трапезу. Мой друг, буквально глотая слова, убеждал, что он «здорово сегодня сыт...». Никогда мы не ели таких чудеснейших неведомой породы мясных котлет, приготовленных без капли масла, но зато сдобренных такой любовью, добротой и радостью! Право же, мне казалось, что эти таблетки-уголочки обладают целебно-сказочным свойством. Мы ели, обжигая рот этими угольками.

что какая-то добрая старушка в обмен на его праздничные «брючишки» «отхватила» ему «кусище» мяса. Опьяненная едой, я чувствовала себя совершенно здоровой, настроение было бодрое. Заснула крепким сном без сновидений. Сколько спала, не знаю... Открыв глаза, вижу — за окном вечер. В комнате тихо. На столе всегдашняя наша подружка-коптилочка мерцает тихим, добрым огоньком, а за столом сидит мой «сказочник» (так называли его Самуил Яковлевич Маршак и Елизавета Ивановна Васильева), сидит и, тихо покачиваясь в такт, разучивает песенку козлика.

Кстати, эта песенка очень долгое время не давалась Д. Н., что приводило композитора В. А. Золотарева в ужас, и он жаловался на него Самуилу Яковлевичу и мне: «Нет, нет, Орлов не споет никогда этой песенки про козла. У него нет такого таланта». — «Споет», — уверяли мы с С. Я. Василия Андреевича. «Когда? После спектакля?» — налетел на нас Золотарев.

Я смотрела сейчас на Д. Н., а он, как зачарованный, не видя и не слыша ничего, тихо-тихо поет про трапезу козла, дирижируя сам себе:

Подают ему еду —
Сладкий пряник на меду.
На покой его ведут,
В зыбку мягкую кладут,
В зыбку мягкую кладут
И качают и поют:
Баю, козлик, баю-бай,
Сладко-сладко почивай.

Видно, дошла до сердца Д. Н. гиперболическая доброта старушки, «отхватившей» ему «кусище» мяса. Вот и запел Орлов.

В дверь тихо постучали. Д. Н. на цыпочках прошел к двери, и я услышала тихий разговор Самуила Яковлевича и Дмитрия Николаевича.

— Я не сплю, сейчас встану, — весело сказала я из-за ширмы.

— Не надо! — говорит один.

— Не вставай, — вторит другой.

И оба входят ко мне.

Самуил Яковлевич был встревожен, Дмитрий Николаевич ликовал.

— Как вы себя чувствуете, мой друг? У нас есть надежда сегодня достать мяса. Я пришел сказать...

— Самуил Яковлевич, дорогой, я так наелась. Ваш сказоч-

ник праздничные брюки обменял вот на такой кусок мяса.— Смейся, я развела руками не меньше, чем на аршин.— Завтра, дорогой Самуил Яковлевич, я приду на репетицию.

Самуил Яковлевич вдруг повеселел.

— Как же я рад, что мы все одинаково думаем! Мне стыдно было сказать,— я пришел просить вас, Анна Васильевна, перенести свой отдых на время после премьеры. Иначе мы не выпустим в срок «Сказку про козла».

— Обязательно, Самуил Яковлевич, к сроку выпустим «Сказку». Ну, а теперь я встану, и будем пить чай.

— Нет-нет, мой дорогой друг, я ухожу — много дела, а к тому же сегодня я очень сыт.

Вот и он сегодня «чем-то» очень сыт... Выходит, что не единым хлебом жив человек.

Конечно, об отпуске после премьеры разговора быть не могло. Мы все с увлечением готовились к полюбившейся нам следующей пьесе. Репетиция ее уже назначена на другой день после первого представления «Сказки про козла». Будем готовить «Петрушку» Маршака.

В один, как говорится, из «счастливых дней» заведующий Детским Городком Л. Р. Свирский привел знакомиться с Самуилом Яковлевичем известного кукольника Ивана Афиногеновича Зайцева, который был проездом в Краснодаре. Этот фанатик народного кукольного театра с радостью открывал тайны своего любимого действия. Маршак, автор будущей пьесы для детей, и Орлов, будущий Петрушка, даже заперлись с Зайцевым, чтобы им никто не мешал познавать все тонкости этого искусства.

Дело закипело. На вечерних встречах Маршак писал, переделывал куски «Петрушки». Тут же они на пробу исполнились актером, и тут же находились решения этой постановки.

Я чувствую сейчас, что рассказать о Петрушке почти невозможно, надо было видеть его в Детском театре, во время репетиций и игры, видеть торжество на лицах взрослых и детей, чтобы понять нашу радость, нашу творческую удачу.

Не знаю, как и отчего все так случилось, но дети на этом спектакле-игре были очень догадливыми и податливыми к нашему «втягиванию» их в общую игру, и в зале царила полная дисциплина.

Издаലെка доносятся крики: «Петрушка, Петрушка!»

Самуил Яковлевич, сидящий среди детей, встает и приглашает детей пойти посмотреть, что там такое. Навстречу в зал входят шарманщик, человек с ширмой и несколько ребят. И среди них рыжий мальчишка с улицы — это была моя роль. Мне надо было играть в дальнейшем как бы «вожака» зрителей. К моему удовольствию, дети, конечно, узнают знакомую им актрису и вступают с ней в дружбу. Шарманщик обращается к Самуилу Яковлевичу и просит разрешить ему показать Петрушку на сцене нашего театра. Самуил Яковлевич поручает рыжему мальчишке проводить шарманщика на сцену. Я это делаю, захватив с собой несколько ребят, и при этом шепчу им: давайте попросим рабочего — пусть он позволит нам устанавливать с ним декорации. Ребята оживляются и уже чувствуют себя как бы включенными в игру — ждут, чтобы «дяденька» разрешил. Разрешение, конечно, дается сейчас же, и мы — несколько человек (по моему приглашению) — устанавливаем, верней, помогаем рабочему по его указанию устанавливать декорации. Все идет так, как хотелось: легко, естественно.

Окончив работу, мы сбегает со сцены и садимся среди зрителей. Самуил Яковлевич, Елизавета Ивановна Васильева — соавтор С. Я., педагоги — все тайные участники игры.

Выходит на просцениум шарманщик и предлагает послушать песню. Хрипит-сипит простуженная под дождями и ветрами русская шарманка. Что-то в ней заедает — повторяется один и тот же звук. А потом, пересилив хрипоту, она начинает играть грустную песню. За сценой дирижирует оркестром автор — композитор В. А. Золотарев. Музыка похожа до мелочей на старую шарманку.

Раздвигается занавес. В публике движение. На ширме появляется Петрушка — Орлов. Внешний вид его, повадки, голос — все кукольное, но с теплотой человеческой души. На приветствие детям: «Здравствуйте, здравствуйте!» — ребята отвечают радостно: «Здравствуй!» — и аплодируют. Мы готовы к тому, что Петрушка потянет детей к себе поближе — к ширме. Самуил Яковлевич — главный «ответственный» за этот момент — чувствует, что минута настала, что вот-вот дети поднимутся и побегут к ширме и этим сорвут ход действия. И тогда он встает и делает, привлекая к себе внимание, озорной жест — дескать, пойдём поближе, но тихо и молча. В других рядах повторяют это педагоги. Самуил Яковлевич

идет на цыпочках, за ним тихо — ребята, предупрежденные С. Я., чтобы они слушали, что говорит Петрушка. Дети затаив дыхание двигаются, не спуская глаз с Петрушки, слушают... И вот все уже перед ширмой — как на площади — стоят в куче. Петрушка в восторге от близкого соседства с публикой. Он, что ни фраза, — в публику глаз, ища поддержки у ребят. На каждую фразу — хохот. Петрушка вовлекает ребят в общую игру. Сначала отзываются очень скромно и тихо педагоги, поощряя этим и детей к действию. Слышны ребячьи реплики. Петрушка ликует, отвечает мимикой. Вызывает их на активный разговор. И в зависимости от их реплик меняется и Петрушкина интонация и весь его внешний облик. Кто-то из ребят поддерживает его вранье — Петрушка еще больше разгорелся, азартнее пересказывая свои небылицы. Несмолкаемый хохот стоит в зале. Когда Петрушке уже нет возможности играть, он начинает вместе со всеми заразительно смеяться. Потом мгновенно, протягивая вперед руку, останавливается. В зале воцаряется тишина. Он принимается с новой силой варьировать свои выдумки. Вот тогда происходит самое захватывающее и для детей и для нас, взрослых. В разговор с Петрушкой вступает Самуил Яковлевич. Трудно сказать, что тут происходит. Дети замирали, не спуская глаз со своих любимцев — автора и актера. И, как теперешние «болельщики» на футболе, ждали, кто кого «переиграет». Все зрители и актеры сливаются воедино. Хохот стоит могучий, фантазия детей разгорается. Все — всамделишное! Всем понятное!

Самуил Яковлевич уличает Петрушку во вранье, Петрушка отвечает мимикой — яркой и такой понятной, что у всех создается впечатление, будто мы слышим голоса обоих.

Это чудесное исполнение ролей автора и актера было виртуозно.

Петрушка, пораженный доводами автора, вдруг как бы в раздумье на минуту останавливается и, делая трогательно наивное лицо, говорит, глядя на Самуила Яковлевича: «Простите, соврал!..»

На одном из спектаклей произошло очень смешное и неожиданное. Самуил Яковлевич явно подавил своими доводами Петрушку, и Орлову ничего не оставалось, кроме признания, что он — актер — побежден автором. Самуил Яковлевич, уверенный в победе, бросает последнюю фразу: «Вот что, Петрушка, нечем тебе больше оправдаться. Почему же ты врешь?» И вдруг Петрушкин голос зазвенел, и он резко выпа-

лил: «Потому что так написано!..» Я ахнула. Такой убеждающий ответ не входил в нашу игру. Петрушка-актер, заигравшийся, как ребенок, весело захохотал и зааплодировал, считая автора окончательно побежденным. Ответ Петрушки на самом деле заканчивал спор.

Самуил Яковлевич на минуту остановился. Было заметно, что даже он поражен неожиданностью. И вдруг засмеялся: «Петрушка, дружок, ведь писал-то пьесу я...» Петрушка удивленно открывает глаза... Автор смотрит, покачивая головой, подтверждая: «Да, конечно, это я выдумал — и шарманщика, и человека с ширмой, и всех действующих лиц. А они все по моему велению уговаривали тебя не врать. Да ты и ухом не повел, сел верхом на ширму и только и знаешь, что говоришь небылицы! Спроси режиссера, Елизавету Ивановну, они тебе то же самое скажут». Петрушка медленно снимает свой колпак с кисточкой, мнет его и растерянно смотрит на нас с Елизаветой Ивановной умоляющим взглядом... И как же трогателен этот Петрушка-весельчак, и как понятно становится детям, что говорил он небылицы не со зла, а чтобы порадовать их веселой выдумкой автора — Маршака. Петрушка вздыхает, вытирает кисточкой набежавшую слезу и сконфуженно говорит: «Извините... Я немножечко переиграл...»

Он так огорчился, что ребята даже утешали его — под закрывающийся занавес, как лучшего друга: «Не унывай, Петрушка, ты нам не врал, ты хотел нас повеселить!» Так кричали, буйно аплодируя, мальчишки. А девочки, тоже аплодируя, кричали наставительно: «Петрушечка, пожалуйста, не ври больше!»

После этого спектакля-игры Орлов потерял до конца своего пребывания в Краснодаре фамилию — Орлов. Но зато дети подарили ему новое любимое имя — «Петрушечка».

Наш Краснодарский детский театр был нашей первой любовью. И был он, как полагается сказочному театру, полон тайн. Не было в то время к Детскому театру исхоженных троп. Не было о Детском театре и книг. Не было и примера работы в нем.

Я лично до этого видела спектакли для детей в театре для взрослых, поставленные на детских утренниках изумительным режиссером-педагогом Н. И. Синельниковым в 1915—1917 годах. Они были так же требовательно, тщательно поставлены, как и спектакли для взрослых, разница была лишь в темах.

Но то были отдельные спектакли для детей, а в памятном 1921 году родился впервые новый Детский театр, первый театр нового времени.

«Петрушкой» было опробовано новое действо — сближение с детьми в общей игре. Тут-то, надеялись мы, и должна была произойти проверка интереса нашего зрителя к театру. А на то, что интерес очень велик, надежда у нас была твердой, потому что спектакли были основаны на материале наших сказок. А сказки писались «дома» — в Детском Городке — С. Маршаком и Е. Васильевой.

К общей радости, на первой же пробе «Петрушки» мы убедились в своей правоте. В дальнейших спектаклях «Петрушки», игравшихся много раз, менялись нюансы поведения зрителей. Но неизменной оставалась праздничная форма представления, настоящее детское увлечение — радостная фантазия ребенка.

В 1922 году нас с Дмитрием Николаевичем вызвали на работу в Москву. С болью готовились мы к отъезду. С нежной любовью прощались с детьми, с родной семьей Детского Городка. С тоской думали о разлуке с другом наших общих дел и мечтаний С. Я. Маршаком.

Вот настал и час расставания. В Детском Городке шел прощальный спектакль «Финист — Ясный Сокол» — Маршака и Васильевой. Надо ли говорить, что в спектакле, где героиня Марья плачет, я буквально лила ручьем настоящие слезы. Сказка окончена.

Как всегда после спектакля, дети весело вбегали на сцену, чтобы поделиться впечатлением о спектакле с нами — актерами. А сегодня мы прощались. Целовали друг друга, плакали... Дети совали в руки нам с Д. Н. записки, полные любви и пожелания здоровья, называли его Петрушечкой, просили опять приехать в Краснодар. Одна девочка подарила Дмитрию Николаевичу маленькую из целлулоида игрушку — козлика. Какой-то мальчик протянул Д. Н. в кулачке своего любимого чугунного солдата.

Тепло, взволнованно, «с подарком» прощалось и Управление Городка. На четвертушке листа значилось:

«РСФСР

Кубчероботнароб

Детский дом труда и отдыха

Детский Городок

28 апреля 1922 года.

Управление Городка просит Вас принять от него, вместо цветов, нижеследующее:

1 п. муки (ржаной)
10 ф. масла (постного)
и наличными 20 млн. рублей».

Ребята уходили домой в слезах. Остались взрослые. Помните, мы с Д. Н. не стыдились своих искренних слез и говорили себе: «Не забудем никогда!»

До сих пор я думаю о Детском Городке, о его людях, как о верных товарищах. Самуил Яковлевич в этот прощальный вечер прочел написанные им на память о Детском Городке шуточную оду и частушки. Эти маршаковские произведения бережливо сохранились в нашем доме, пролежав много лет. Вот они:

ОДА Д. Н. ОРЛОВУ

Ты — бескорыстный жрец
Искусства пролетарского!
Ты — гордость и венец
Театра Луначарского!
Властитель ты сердец
Народа Краснодарского
И лектор, наконец,
Ты клуба санитарского!

ЧАСТУШКИ О «ДЕТСКОМ ГОРОДКЕ»

Городок наш, Городок,
Каменное зданье.
Здесь дают в короткий срок
Детям воспитанье.

Заправляют Городком
Лебедь, рак да шука,—
Леман¹, Свирский с Маршаком,—
Вот какая штука!

¹ Борис Алексеевич Леман, профессор-египтолог, один из создателей Детского Городка, ведавший в нем учебно-просветительной работой.

Леман, старый саркофаг,
В эфиопском стиле,
У него обычный шаг —
В час четыре мили.

Пишет новость нам Маршак
Вместе с Черубиной¹.
В старину играли так
Лишь на пианино.

Нет резонов никаких
Им писать совместно,
Кто неграмотный из них —
Это неизвестно.

Ипокрены сладкий ток
Нам милей, чем проза.
Любит Свирский Городок
Больше совнархоза.

Год не знали мы забот.
Свирскому спасибо:
Он фунт хлеба нам дает
Да три пуда штыба.

.

Есть Богданова у нас
Для ролей, где плачут.
Ей проплакать целый час
Ничего не значит.

Кто смешит детей без слов,
Кто наш главный «душка»?
Разумеется, Орлов —
Весельчак Петрушка.

Режиссеры пополам
Делят постановки,
Но один из них — мадам,
А другой — в спринцовке².

Отчего за сценой рев
В продолженье часа?
То поет Золотарев³
Вместо контрабаса.

¹ Поэтесса Елизавета Ивановна Васильева (урожд. Дмитриева), в молодости выступавшая под псевдонимом «Черубина де Габриак».

² Алексей Алексеевич Дмитриев, командир Красной Армии, носивший буденовку, член РКП(б), режиссер Детского Городка (вскоре ушел в армию и погиб в боях с белогвардейцами).

184 ³ Василий Андреевич Золотарев, композитор, ученик Балакирева.

Декорации у нас —
Что твоя картина.
Гарбуз¹ плачет каждый раз —
«Нет ультрамарина».

Ни копейки Городку
Не дает Притула².
До тех пор, пока к виску
Не приставишь дула.

.....

Кто в совете Городка
На счету особом?
Кто почетный шеф полка? —
Завотнарбобом³.

Городок, наш Городок,
Ты хоть Краснодарский,
Но тебя, наш Городок,
Знает Луначарский.

Прошли годы... У каждого из нас была особая, новая жизнь, другие дела захлестнули и Самуила Яковлевича и нас с Дмитрием Николаевичем. И хотя с конца тридцатых годов все мы жили в Москве, мы подолгу не виделись и не так много переписывались.

Что-то новое, не краснодарское появилось в наших общенных. Что-то новое расцветило нашу «прошлую» дружбу. Не было уже ощущения абсолютно общей жизни, спаянной одной общей работой, но остались между нами глубоко дружественные родные отношения. Так, наверное, бывает у однополчан: на войне острота событий, чувств, а в тылу — особая «памятная» теплота. Может быть, это время и есть самое ценное подтверждение нержавеющей дружбы?

Приведу кусочек из записей Дмитрия Николаевича от 15 мая 1949 года.

«Вечером мы у С. Я. Маршака. Мы знаем друг друга уже 29 лет. В обществе Самуила Яковлевича всегда интересно!

¹ Яков Григорьевич Гарбуз, художник Детского театра, ученик Бакета.

² Михаил Фомич Притула, заведующий финансовым отделом Кубанского областного отдела народного образования и бухгалтер Детского Городка.

³ Михаил Александрович Алексинский, заведующий Областным отделом народного образования, бывший начальник Политотдела в Красной Армии.

Самуил Яковлевич читал Пушкина и свои сонеты. Чудесны! Подарил нам книжку переводов Шекспира. Мы видимся редко, иногда раз в год. Мы хорошо проводим время: общую любовь к нашему театру храним поныне. Мы состарились, а воспоминания молодости придают тихую грусть. Встречаясь, мы ощущаем нежность друг к другу».

Еще вспоминается: звонит по телефону Самуил Яковлевич и сразу же, с присущей ему сейчас еще большей, чем раньше, торопливостью — из-за большой и разносторонней работы — обращается к Дмитрию Николаевичу, подошедшему к телефону, совсем с неожиданным вопросом: «Ты читал «Страну Муравию» Твардовского?» — «Нет», — говорит Дмитрий Николаевич. «Приезжай ко мне». — «Когда?» — «Сейчас, — говорит С. Я., — почитаем. Это для тебя, это твоя тема. Поверь мне, мой друг, ты чудесно будешь читать. Читай обязательно. Жду».

Телефон замолкает, говорить дальше С. Я. некогда, но через час он снова вернется к разговору и будет читать Д. Орлову куски полюбившейся ему «Страны Муравии».

— А что дальше? Дальше «Василий Теркин»...

Что может быть дружественнее?

Когда Д. Н. тяжело заболел, ежедневно, в один и тот же час — перед моим уходом в больницу — звонил Самуил Яковлевич и находил для меня самые нужные, убедительные слова, чтобы я могла взять себя в руки, а это было необходимо для Д. Н., который по глазам читал свой приговор.

19 декабря 1955 года Д. Н. умер. С. Я. написал мне из больницы:

«Хорошо, что Вы уехали из города, что вокруг Вас снег, деревья и тишина, которая соответствует сосредоточенности Вашей души. Пусть печаль Ваша будет «светла», как говорит Пушкин. Ведь она Вам дана надолго, на всю жизнь.

Бывают люди, в которых так много света, что после смерти в жизни остается светящаяся тень их существования. Таков был Митя, таков был его талант — очень русский, широкий, обаятельный и в своем юморе и в своем лиризме. Будем же помнить его и любить, как любили многие годы...

С. Маршак.

21 января 1956 г.»

За три недели до смерти самого Самуила Яковлевича я получила от него письмо. Оно было как бы продолжением наших краснодарских разговоров, мыслей, дружеских советов. Оно взволновало меня заботой, выраженной с предельной простотой.

Горько прощание с другом. Тяжело осознание слова «невозвратно». С Самуилом Яковлевичем ушел большой кусок и моей жизни — поры молодости и человеческого становления.

Но все же, когда поздней ночью едешь или идешь по замершей в тишине улице Чкалова, мимо дома № 14, до боли чувствуешь, что его нет, что в кабинете его уже не горит свет, что он не трудится в том самом кожаном кресле, у того самого письменного стола, у которого я привыкла его видеть, что не приближает к почти ослепшим глазам читаемую рукопись...

И — скажем мы словами его любимого поэта-философа А. А. Фета —

...Жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданием
И в ночь идет, и плачет уходя...

КАК СОЗДАВАЛСЯ «РОБИНЗОН»



сенью 1923 года в редакции литературного журнала «Петроград», издававшегося «Петроградской правдой», возник разговор, что хорошо бы организовать в Петрограде и детский журнал. Для этого имелась типографская база и главное — бумага.

В разговоре, насколько я помню, участвовали редактор «Петроградской правды» Иван Михайлович Майский, старый партиец Николай Павлович Баскаков, писатель Николай Никитин и еще несколько человек, в том числе мой муж, писатель Сергей Семенов (сама я была актрисой, но часто заходила в редакцию к мужу и присутствовала при разговоре). Придумали «детское» название журналу. Оно не должно было быть вычурным, как у дореволюционных журналов для детей богатых родителей — вроде какой-нибудь там «Жар-птицы» или «Синей птицы». Решили дать ему имя самой простой птички — «Воробей». Стали обсуждать, кого бы пригласить для руководства детским журналом. И кто-то сразу сказал:

— Надо поговорить с Маршаком!

— А кто такой Маршак?

— Ну, он в ТЮЗе литературной частью заведует, отличные стихи пишет для детей.

И тут же, должно быть, учитывая живость моего характера и мои актерские способности, дали мне ответственное поручение:

— Найдите-ка вы, Наташа, Маршака. Скажите ему, что мы хотим привлечь его как организатора и редактора детского журнала. А вы будете секретарем редакции.

Я, по правде, почти ничего тогда не знала о Маршаке. 188 Слышала про его пьесы и какие-то стихи для детей (наверно,

«Детки в клетке» и «Дом, который построил Джек»), а в ТЮЗе его не видела. И еще знала, что он живой, веселый и энергичный человек. Позвонила ему по телефону. Он отвечал сдержанно и деловито. Что-то в таком роде:

— Да, да. Поговорить можно. Зайдите за мной завтра. У меня занятия с группой в педагогическом институте (ныне Институт имени Герцена). В девять часов вечера я освобожусь, и мы потолкуем. Подождите меня, пожалуйста, в вестибюле.

Было это, должно быть, в сентябре. На улицах — темень. Шел сильный дождь, и я захватила с собой зонтик. Петроградский педагогический институт дошкольного образования занимал целый квартал между Мойкой и улицей Герцена. Вошла с парадного входа на набережную Мойки. В вестибюле тускло горит одна лампочка, полумрак, пусто, осведомиться не у кого. Села и стала ждать. Слышу — кто-то спускается по лестнице. Спросила про Маршака.

— Да, занятия у них кончились. Но они там еще о чем-то разговаривают. Наверно, Маршак скоро освободится.

(Как я позже узнала, это был кружок людей, интересовавшихся детской литературой; «хозяйкой» кружка была исследовательница фольклора, преподавательница детской литературы Ольга Иеронимовна Капица, а литературным руководителем — Самуил Яковлевич; об этом кружке рассказывается в воспоминаниях Е. Приваловой и Е. Вережской.)

Наконец Самуил Яковлевич спускается с лестницы. Подходит, присматриваясь в полутьме, и обращается ко мне очень вежливо:

— Вы меня ждете? Здравствуйте. Я Маршак. Слушаю вас.

Здоровуюсь, называю себя и спрашиваю:

— Что же, мы тут поговорим?

— Нет, по дороге.

— Да ведь дождь идет.

— У вас же есть зонтик?

Мы вышли на набережную, он взял меня крепко под руку, я расправила зонт, и мы зашагали по лужам, прижавшись друг к другу, как будто сразу подружившись.

— Самуил Яковлевич, в издательстве «Петроградской правды» есть возможность издавать детский журнал — есть бумага, типография. Мне поручили предложить вам статью его литературным редактором. А политическое руководство будет осуществлять Злата Ионовна Лилина (заведующая горно), вы ее знаете?

— Разве я мог бы работать в партийной печати? Я же беспартийный. А вдруг я в бога верю?

Но с шутивого тона он быстро перешел к серьезному. У меня было ощущение, что мы друг другу понравились и понимаем друг друга, что его уже увлекла идея создания журнала, что он согласен.

— Хорошо, я подумаю. А вы мне еще позвоните.

Придя домой, я сказала мужу, что разговор был удачным.

— Ты знаешь, Маршак, оказывается, очень славный и милый.

Самуил Яковлевич стал приходить в редакцию, а я начала усердно ему помогать в качестве официального секретаря «Воробья». Работали там все вместе: и те, кто делал утреннюю газету, и те, кто — ежемесячный «взрослый» журнал, и те, кто — журнал для детей. Собирались вечером, часам к восьми, и сидели за полночь. «Журналистам» было очень неудобно: в одной комнатке оба журнала, тесно, суетливо. Самуил Яковлевич сидел втиснутый за крошечный столик. Но сразу придал делу большой размах, определил «направление главного удара». Для первых номеров мы располагали только мало связанными со временем произведениями литераторов-профессионалов. Были стихи Николая Тихонова о птице марабу, Дмитрия Цензора «Котенкины именины», Елизаветы Полонской про пчел, рассказ Михаила Слонимского о Наполеоне на острове Святой Елены, повесть английского писателя Джексона о Бразилии в пересказе Чуковского. Самуил Яковлевич сразу стал поворачивать журнал к настоящей жизни, к современности. Он бросил лозунг: чтобы детская литература стала здоровой и полнокровной, ей нужны бывалые люди (слово «бывалые» и придумано было Маршаком). И, как говорится, на ловца и зверь бежит. Маршак привлек к работе в журнале ослепительно красивого молодого человека, похожего на артиста-итальянца, Виталия Бианки. Тот пришел к нему в кружок с какими-то слабыми стихами, а Самуил Яковлевич, расспросив подробно о его жизни и узнав, что он страстный охотник и к тому же с детства много слышал о зоологии (отец Бианки был ученым-орнитологом), выбрал для него подлинную литературную дорогу — рассказы из жизни животных. И даже форму необыкновенную придумал для коротких рассказов в журнале: постоянный, переходящий из номера в номер отдел «Лесная газета» (из этих публикаций потом составила одна из лучших книг Бианки).

Следом за Бианки в редакции стали появляться и другие
190 бывалые люди, а за «Лесной газетой» — и другие придуман-

ные Маршаком постоянные журнальные отделы («Бродячий фотограф» и «Наш дневник» — иллюстрированная хроника текущих событий, «Лаборатория» — с короткими рассказами о науке и технике, «Погляди на небо» — с описаниями астрономических явлений и т. д.). Пришел штурман дальнего плавания и мастер на все руки Борис Житков, пришли астроном В. Шаронов, инженер-химик М. Ильин, шлиссельбуржец М. Новорусский, Евгений Шварц, тогда еще только актер. В журнале публиковались «из первых рук» очерки о раскопках археологов в Крыму, о работе печатников и кинематографистов, о перелете Москва — Пекин, о санитарии, о соляных копях, о революционных событиях в России и за рубежом. А почувствовав живой пульс и талантливость нового дела, к нему потянулись и «большие» профессиональные писатели для взрослых (с каждым из них Маршак тоже проделывал немалую редакторскую работу) — поэт Николай Тихонов, с легкой руки Маршака напечатавший у нас отличные прозаические повести «Вамбери» и «От моря до моря», и Константин Федин (рассказ «Бочки»), Борис Пастернак и Осип Мандельштам, Алексей Чапыгин и Борис Лавров, Михаил Слонимский и Александр Слонимский, Вениамин Каверин и Виктор Шкловский. В журнале приняли участие прекрасные художники: Б. Кустодиев, А. Бенуа, В. Сварог, Н. Тырса, К. Рудаков, В. Конашевич, В. Лебедев, В. Владимиров, В. Ходасевич, А. Пахомов и др. На «необитаемом острове» литературы для детей возникло преуспевающее хозяйство. И летом 1924 года Маршак вполне обоснованно дал нашему журналу новое имя: «Новый Робинзон», объяснив его в предисловии к первому номеру журнала с этим названием:

«...Ну, а вся наша теперешняя жизнь? Разве она не Робинзонская?.. Русские рабочие и крестьяне сейчас делают то, что до них еще никогда и никто не делал... И наш «Новый Робинзон» — только маленький молоточек среди десятков тысяч огромных рабочих молотов, кующих новую жизнь...»

Пожалуй, самым разносторонним и деятельным (после Маршака) сотрудником нашего журнала стал Борис Житков, работавший во многих отделах одновременно. Это был острый, нервный и не слишком сговорчивый человек. Творческие отношения между ним и Маршаком были такими сложными, что в них и «сунуться» было нельзя. Оба высоко ценили друг друга и все же часто спорили. У Бориса Степановича была тяга к психологизму в литературе. Еще раньше, до того, как он пришел в редакцию, у него уже была готова рукопись сложного психологического романа для взрослых «Виктор

Вавич» (печататься Житков впервые начал у нас). Но он был замечательным рассказчиком и обладал необыкновенной, точной и конкретной памятью, и Самуил Яковлевич заставлял Житкова писать просто — о фактах и событиях, которые тот наблюдал на протяжении своих обширных странствий и о которых необыкновенно хорошо рассказывал в товарищеских беседах. Житков поначалу этому противился, но в конце концов поддавался. И создавал при этом свои лучшие произведения, такие, как «Про слона», «Черная махалка», «Дяденька» (позднее, уже без влияния Маршака, он написал основанного на других принципах «Почемучку», вещь, на мой взгляд, более слабую, чем то, что он печатал тогда).

В редакционную работу Маршак уходил целиком, отдавая ей все силы, весь свой ум, талант, опыт. Припоминаю, например, такой эпизод. Из типографии пришла верстка. Мы сидим с ним над ней целый вечер. Всё обсуждаем и примеряем очень тщательно — что подверстать под прозой, куда поместить стихи, куда — картинку. Сто раз все проверили, перевернули и наконец, уже к полуночи, обо всем, казалось, договорились и разошлись.

Дома меня заждались, усаживают пить чай. Вдруг — телефонный звонок.

— Наташенька, что там у нас помещено на пятой странице?

— Сейчас посмотрю, Самуил Яковлевич.— Раскрываю портфель, вынимаю захваченную для приведения в божеский вид корректуру.— Под такой-то подрисуночной подписью — такая-то подборка стихов. (Домашние кричат на меня: «Чай стынет!»)

— Но это же невозможно, Наташенька! Берите сейчас же извозчика (я заплачу) и приезжайте ко мне.

На часах уже половина первого. Я еду к Таврическому саду на Потемкинскую улицу. И мы с Маршаком все переверстываем заново. Часа в три ночи он провожает меня по пустым улицам, находит извозчика и усаживает в пролетку. Что такое лень, было ему просто неизвестно. Он мог жаловаться на головокружение, хвататься за сердце, охать, но ему никогда ничего не было лень сделать, чтобы все в журнале получилось как можно лучше. Никогда ничего не лень!

Некоторое представление о его отношении к журналу дает сохранившееся письмо Самуила Яковлевича ко мне и моему мужу, написанное им 2 августа 1924 года в Крыму, где он проводил месячный отпуск (я послала ему туда последний,

отъезда). И, как видно из письма, он продолжал заниматься «правкой» номера даже после его выхода.

«Дорогие Наталья Георгиевна и Сергей Александрович, Спасибо за письмо Н. Г. и за «Воробья».

Номер очень хорош. Пожалуй, лучший за все время. Я дал его здесь ребятишкам — с жадностью проглотили все. Отделы придадут журналу остроту и сезонность. Художественная часть не плоха, и даже скудный Новорусский читается с интересом. Содержание достаточно разнообразно. Мы растем.

Недостатки такие. В «Урагане»¹ во второй части первой главы (стр. 17) не сказано, что действие переносится в Париж. Читатель-ребенок будет в затруднении.

В примечании к «Тюремным Робинсонам»² не говорится, что дело происходит в Шлиссельбурге и что автор — один из тюремных Робинзонов.

В «Фотографе» шоколадные яйца попали в «Прокатку», как и «Чудеса» (нужен другой шрифт для заголовков)³.

Выбор сюжетов в «Фотографе» нужен менее случайный и более сезонный.

В «Дневнике» — больше фактов, событий.

Просьба насчет стихов к картинке не очень удачна⁴.

Ну, да ладно. Все это выровняется. Зимой заработаем на славу.

Душенька Наталья Георгиевна, а ведь стихов Мандельштама в конверте не оказалось⁵. Грязнова⁶ пришлите, но дождитесь моего нового адреса. Завтра мы едем на Южный берег Крыма, откуда я Вам напишу.

Что слышно в Госиздате? Было ли объяснение с Ангертом, разговоры насчет сборников?

¹ Продолжение рассказа Б. Житкова (начало было в № 6).

² Содержание предыдущих глав к продолжению очерков революционера М. Новорусского о его 18-летнем заточении в Шлиссельбургской крепости.

³ В отделе «Бродячий фотограф» у нас шли снимки (с подписями) участков прокатки металла, резины и кожи, а дальше — участка изготовления шоколадных яиц и снимок фарфоровой фигурки милиционера.

⁴ В конце номера была помещена картинка, изображающая сахарную голову (с руками, ногами и расстроенным лицом), сахарные щипцы, молоток и кипящий чайник, и просьба к читателям сочинить к картинке стихи.

⁵ После этого письма в журнале были напечатаны стихи О. Мандельштама «Одеальная страна» (декабрь 1924 года) и «Чистильщик», «Полотер» и «Кооператив» (апрель 1925 года).

⁶ Вероятно, рассказ В. Грязнова «Пуговичный Комиптерн» (№ 8 за 1924 год).

⁷ Главный редактор ленинградского отделения Гиза, с которым, кажется, велись переговоры об издании сборников произведений, напечатанных в журнале.

Прислал ли стихи Верховский?¹

До сих пор я мало поправился. По целым дням СПЛЮ. Надеюсь, что Южный берег разбудит и оживит меня.

Я пишу брату² и прошу его поискать у меня рассказ Боженко и загадки Бекетовой³. Но все же потормозите и Бермана⁴.

Поклонитесь от меня Борису Степановичу и Бианки. Целовать их не прошу, боясь гнева Сергея Александровича.

Я очень соскучился по «Воробью» и по всем Вам. Милые, когда получите мой адрес, сейчас же отпишите и пришлите рукописи.

Ваш С. Маршак.

Наталья Георгиевна,

Примите выражение самого искреннего сочувствия по поводу смерти Вашего дяди⁵. Я его хорошо знал и даже ссорился с ним в КУБУ. Он был очень хороший человек.

С. М.».

В этом письме весь Маршак, с его безустальной заботой о деле, его юмором и добротой.

Отчетливо запомнился мне день 21 января 1924 года. Стоял жуткий мороз. Самуил Яковлевич жил тогда в доме отдыха КУБУ в Детском Селе (ныне город Пушкин). Я ему привезла очередную корректуру. Он был очень потрясен известием о смерти Ленина. Встретил меня со слезами на глазах. Был бесконечно заботлив, хлопотал, чтобы я согрелась после морозной дороги, достал для меня чай. И мы сели за верстку, чувствуя, как хорошо, что мы в эту минуту работаем (а я ведь и ехала, чтобы «обогреться» совместным переживанием горя).

В ходе работы Маршак постоянно со всеми советовался. И не только редакторской работы — даже когда писал стихи. Он и со мной советовался. И не потому вовсе, что я обладала каким-то особенным критическим чутьем. Ему нужно было свои мысли на ком-то оттачивать, как на точиле. Он сочинял

¹ Юрий Никандрович Верховский, поэт, переводчик, историк литературы.

² Илья Яковлевич Маршак (псевдоним М. Ильин), который вел отдел «Лаборатория Нового Робинзона».

³ Поэтесса Мария Андреевна Бекетова, тетка А. А. Блока.

⁴ Писатель Л. В. Берман, тогда — начинающий поэт, вел отдел журнала «Дневник», а впоследствии стал секретарем редакции.

⁵ М. Л. Хейсин, ученый-кооператор, работал в системе КУБУ — Комиссии по улучшению быта ученых.

тогда свою «Книжку про книжки». Принесет, бывало, в редакцию новый кусок, прочтет, а потом начинает выпытывать мнение чуть ли не о каждой строчке:

— Послушайте. А вот если я так сделаю? Так лучше?

В нашу «объединенную» редакцию часто заходили московские гости — Есенин и другие. Посидят у нас, а потом мы все вместе куда-нибудь отправляемся. Но не на квартиру, а в какой-нибудь подвальчик (их тогда много расплодил нэп). Самуил Яковлевич вообще был «домашним» человеком. Но все-таки изредка тоже шел с нами. Собравшиеся ужинали, выпивали, шутили, читали стихи. Он удивительно умел веселиться — чисто, без пошлости, с необыкновенной выдумкой и задором.

Осенью 1924 года я уехала с мужем в отпуск, передав свои дела Л. В. Берману, а когда вернулась, пошла работать в театр. Но дружба между мной и Маршаком сохранилась навсегда, хоть встречались мы с ним потом не часто.

Хорошо мне запомнилась встреча в 1948 году на Рижском взморье. Я лечилась в Кемери и приехала в Дом творчества писателей в Дубултах, чтобы повидать отдохавшего там Самуила Яковлевича. Мы провели некоторое время на пляже — я, Маршак и писательница Рита Райт с дочкой и ее бешено веселившимся пуделем, который вбегал в море, выбегал на берег и носился по песку, отряхиваясь от воды. И вдруг перед нами возник суровый милиционер, заявивший, что, согласно постановлению местных властей, собак без привязи на пляже держать не полагается. Блюститель порядка потребовал было уплаты штрафа, но Маршак, прочитав ему отрывок из своего «Пуделя»:

Старушку в контору
Позвал управдом,
А пудель погнался
За рыжим котом.
Свалился он в кадку
С холодной водой,
А выскочил гладкий
И очень худой,—

так его «расшевелил», что тот не смог удержаться от улыбки, сказал что-то уже на этот раз дружественное и мирно удалился. Пока они разговаривали, все вокруг затаив дыхание наблюдали за этим своеобразным поединком: чья возьмет — официальность милиционера или затейливость Маршака.

Но вдруг Маршак сказал:

— Наташенька, мне надо поработать. Вы не будете скучать? Рита Яковлевна, вы свободны?

Райт охотно согласилась, и тогда Маршак дал ей в руки верстку «Сонетов» Шекспира в своих переводах, а сам стал читать сонеты по-английски. Сперва он прочтет сонет в подлиннике, потом она — в переводе. Потом она немного подумает и скажет:

— Ах, вы так это понимаете? Как интересно! Ну-ка, прочтите еще раз по-английски.

Как всегда, вместо того чтобы попросту подписать готовую верстку, ему было не лень все выверять заново. А «точилом» на этот раз была Рита Райт, глубокому знанию английского языка которой он особенно доверял.

Два эти следовавших один за другим эпизода — с милиционером и «Сонетами» — снова напомнили, может быть, главную «формулу» Маршака: искрящийся талант и «никогда ничего не лень».

БЕЗ ТАБЛИЧКИ



свое время С. Маршак возглавлял отделение Детгиза в Ленинграде. Отличная атмосфера строгой взыскательности и доброжелательности, ответственности и вместе с тем радости труда царила всегда там, где советовал, читал вслух, ссорился, требовал, настаивал и уговаривал Самуил Яковлевич Маршак. Весь коллектив редакторов не просто «принимал», «утверждал», «подписывал в набор», «дорабатывал», но и участвовал в самом процессе создания детской книжки — от рождения замысла у автора до обсуждения иногда одной страницы рукописи. Занятый, сам всегда пишущий (далеко не все наши редакторы, и издательские и журнальные, пишут), Маршак не принимал «по вторникам и пятницам». Иногда поздним вечером в квартире далеко не знаменитого автора раздавался телефонный звонок, и Самуил Яковлевич своим характерным голосом говорил:

— Голубчик, приезжайте, а? Сейчас, да, сию минуту... Не мог раньше... А мне же интересно. Везите все, как есть, почитаем. Скорее, дорогой мой, жду...

И безвестный литератор с ощущением государственной необходимости своей работы, с ощущением того, что дело, которое он делает, — нужное, настоящее дело, мчался к Маршаку. Там курились папиросы в огромных количествах, Самуил Яковлевич, уставший, протрудившийся целый день, хватался за сердце, спорил, настаивал, сердился, а через два-три месяца вновь звонил телефон, и автор слышал такие, например, слова:

— Вот вы, голубчик мой, сидите дома и не знаете, что передо мною лежит! Передо мною лежит ваша книжка... Да, 197

да, книжка... самая настоящая... Вот вам и «неужели?», вот вам и «не может быть!». И знаете, я сейчас ее перечитал. Отличная книга. Вы молодец. Впрочем, то, что вы принесли... Да ну, приезжайте, поговорим...

Опять автор мчался к Самуилу Яковлевичу, перелистывал книгу и слушал сердитый голос:

— Никуда не годится. Пустяки, побрякушки. Да оставьте вы в покое вашу книгу, она уже живет отдельно от вас, слушайте меня...

Немыслимо себе представить табличку с указанием дней приема на двери кабинета С. Маршака, однако редакторы, ничем не занятые, кроме своей службы, не стыдятся просиживать свой рабочий день под забралом такой таблички. Но не слишком ли редки они в некоторых наших издательствах и нельзя ли сделать так, чтобы кто-то всегда принимал — хоть с двух до шести, но ежедневно, и чтобы этот «кто-то» никогда не ссыался на свою неосведомленность. Мы не против того, что рукопись читается в издательстве, но нельзя же позволять даже произносить слова о пяти месяцах для прочтения книжки. Нам кажется, что человек, редактирующий художественную литературу, должен ее понимать и непременно любить. Нельзя писать, не любя свой труд. Как же можно руководить работой писателя, будучи просто чиновником? Мы не вправе требовать от всех редакторских работников энергии и страсти С. Маршака, но нам очень хочется иногда в неурочный час услышать по телефону голос редактора, который вдруг скажет:

«Знаете, я сейчас дочитал вашу книгу...»

Е. Верейская

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ

В

се — только в голове... Память цепко сохранила отдельные эпизоды, даже некоторые диалоги, но многое — и очень ценное! — конечно, безнадежно утрачено. Ну, что же делать... Расскажу, как помню, не мудрствуя лукаво, о событии, сыгравшем в моей творческой жизни решающую роль.

...Осень 1923 года. Я недавно вернулась в Петроград из глухого, удаленного и от городов и от железной дороги уголка Смоленщины, где я прожила ради своих двух маленьких сыновей почти шесть лет. В деревне жилось трудно, часто с перенапряжением и физических и душевных сил, но полно и интересно: работа в библиотеке местного Народного дома, созданной из хаоса книг, собранных в бывших помещичьих усадьбах и сваленных в кучу в одной из комнат дома; «любительский», как тогда называли, драматический кружок. Я — и режиссер и актриса, а иногда и бутафор. Коллектив дружный, жизнерадостный, увлеченный. В него вошла сельская интеллигенция всех возрастов и несколько человек из грамотной крестьянской молодежи. Не хватает пьес — пишу их сама, ни на минуту не предполагая, что когда-то стану профессиональным литератором. Спектакли, литературные вечера к знаменательным датам. А у себя дома — занятия с собственными детьми и крестьянская работа на отведенном мне земельном участке. Словом, скучать некогда.

И вот — снова Питер! С жадностью набрасываюсь на все, чего была лишена в течение почти шести лет. Старые друзья (увы! многих нет...), музеи, театры, концерты... Но, сидя в театре, испытываю муки Тантала: почему я тут, в публике? Мое место там, на сцене! Я глубоко отравлена сценой... но

кто же меня туда пустит? Ведь школы-то у меня никакой! Там — в селе — играла интуитивно... Куда же девать избыток сил?! Все, что изучала на юридическом факультете Бестужевских курсов, за эти годы начисто выветрилось из головы. Пишу стихи, но, отрезанная от литературной среды в течение шести лет — и каких лет! — познакомившись с творчеством нового поколения поэтов, понимаю, что безнадежно отстала, что моя Муза живет еще в девятнадцатом столетии!

А время горячее, интересное, сложное до фантастичности. Голова кружится от НОВОГО! Ведь там, в деревне, несмотря на большие события, в быту тоже еще продолжал жить девятнадцатый век...

И вот — случайная встреча на Невском с человеком, имени которого даже не помню. До революции виделись иногда в знакомых домах.

— Где вы пропадали? — приветствует он меня.

— Почти шесть лет жила в деревне.

— И чем же занимаетесь сейчас?

— Тоскую, — твердо отвечаю я.

— После деревни?! В городе?! — изумляется он.

Коротко рассказываю о своем смятении.

— А стихи больше не пишете?

— Пишу. Но это — интимная лирика. Не то, что нужно сейчас.

— А вы не хотели бы вступить в кружок детских писателей, недавно созданный? Попробуйте хоть бы познакомиться. — Я не помню, назвал ли он мне фамилию «Маршак». Но если и назвал, она бы мне ничего не сказала.

— Специально детских писателей? — несколько озадачена я.

Он подробно рассказывает мне, где и как найти этот кружок.

На другой же день иду к секретарю кружка.

Специально детская литература... Есть ли такая?.. В памяти встают из собственного детства «Тропинка»... Клавдия Лукашевич... «Задушевное слово»... В деревенской библиотеке младшим школьникам давала попавшие туда разрозненные книжки Сетона-Томпсона, тоненькие книжечки (и тех было мало) рассказов для детей Льва Толстого... Своим детям импровизировала какие-то сказки... Ну, посмотрим!

Немолодая женщина встречает меня приветливо.

— Расскажите, пожалуйста, об этом кружке! — прошу я.

— Кружок очень интересный,— говорит она.— Руководит Самуил Яковлевич Маршак. Но учтите, что требования к пишущим очень высоки. Критикуют друг друга начистоту и совершенно беспощадно. Настолько, что Самуил Яковлевич иногда на следующее утро звонит мне и спрашивает: «Как чувствует себя потерпевший?» Это вас не испугает?

— Да нет,— смеюсь я,— я же еще и не пишущая!
Ну, посмотрим...

В ближайшую же среду вхожу в большую библиотечную комнату в Институте дошкольного образования (ныне — Институт Герцена). Посреди комнаты большой круглый стол. Вокруг него группами и по двое стоят, беседуя, человек двенадцать. В основном — женщины. Я вхожу робко, как новичок, впервые пришедший в школу. Ни одного знакомого лица!.. Это все люди уже пишущие, а я... Вид у меня, должно быть, совсем растерянный, но меня сразу привечают две милые женщины. Одна пожилая, полная, другая молодая, с хорошей открытой улыбкой. Видно, они уже слышали обо мне. Я сразу понимаю — это две здешние хозяйки.

— Сейчас придет Самуил Яковлевич — и мы начнем,— говорит одна из них.

И вот в комнату как-то стремительно быстро входит человек еще молодой, с живыми, внимательными глазами. Его радостно приветствуют. Это Маршак?! Я почему-то мыслила его стариком...

— Простите, товарищи, я немного опоздал,— говорит он глуховатым голосом, здороваясь со всеми, и сразу замечает новое лицо. Подходит ко мне.

— Здравствуйте. Вы кто?

Называю себя.

— Вы пишете для детей?

— Нет. Правда, написала, живя в деревне, две пьески для школьников. Одна там и осталась, одну привезла.

— В следующую же среду вы ее прочтете нам,— говорит он тоном диктатора.

— Хорошо...

Все усаживаются вокруг стола. (Снова не могу себе простить, что не записывала ничего!) Кто читал в тот день? Насколько помню, В. В. Бианки. Все слушают с интересом, кое-кто что-то пишет. Я вслушиваюсь затаив дыхание. Рассказ для детей. Но в нем что-то совсем новое, так не похожее на «Тропинку», на «Задушевное слово» из моего детства!

Совсем другая интонация, другой язык, как будто все это написано для взрослых людей, но все предельно понятно, очень занимательно... В чем же разница? Не могу уловить...

Украдкой вглядываюсь в лицо Маршака. Оно абсолютно непроницаемо! Ясно только, что слушает он очень внимательно. Когда в тексте звучит юмористическая нотка, его глаза — одни только глаза — улыбаются. Вижу, в нем очень живо чувство юмора, а эту черту я так ценю в людях! Но вот нравится ему или не нравится? Нет, этого по лицу его не поймешь.

Бианки кончил. Все молчат. И сразу Маршак обращается к своей соседке слева:

— Ваше мнение?

Как спокойни и уверенно говорит спрошенная! Это уже настоящая критика. Отзыв ее положительный, но указывает она на какие-то недостатки, на погрешности языка... Ничего этого я не уловила. Слушаю, напрягая все свое внимание.

— Вы? — обращается Маршак к соседке выступавшей.

Никто не пропущен! Все по очереди должны высказаться. Оспаривают предыдущее мнение, находят какие-то другие достижения или промахи. Маршак слушает всех с тем же вниманием, но лицо его так же непроницаемо. Скоро дело дойдет до меня. Неужели Маршак и меня спросит? Боже мой, что же со мной?!.. Давно ли мы в нашем сельском драмкружке горячо обсуждали пьесы, каждую роль?! А сейчас я совсем теряюсь... Как-то все совсем по-другому!.. Чувствую себя наивной провинциалкой, попавшей в столицу.

— Ваше мнение?

— Мне понравилось, — шепчу я.

— Почему понравилось? — очень настойчиво спрашивает Самуил Яковлевич и смотрит на меня строго и требовательно.

— Ну... просто это хорошо!

— А что же именно хорошо, по-вашему?

Молча пожимаю плечами и чувствую, что краснею, как девчонка.

Маршак оставляет меня в покое и идет дальше. Но вот высказались все сидящие за столом, и у каждого нашлось, что сказать в защиту или осуждение автора. Критика действительно «начистоту и совершенно беспощадная».

«Но они все уже не в первый раз... они уже привыкли... научились...» — утешаю я себя, а на душе все же муторно.

Но вот слово берет Самуил Яковлевич.

И тут я забываю и свое смущение и свою беспомощность и вся превращаюсь в слух. Так ярко, так интересно и так для меня совершенно ново все, что я слышу. Темпераментно

и увлеченно разбирает Маршак во всех мельчайших деталях прочитанный рассказ. Он один заметил в рассказе то, чего никто не уловил. Попутно, как бы невзначай, роняет он полные глубокого содержания мысли о литературе вообще и о детской в частности. Он говорит о совершенно новых требованиях к содержанию, к языку, к интонации произведений для детей, о ее ярко выраженной специфике, приводит какие-то убедительные и меткие примеры. Говорит он долго, и я вижу, что не только я — все слушают затаив дыхание, а потом разгорается живая дискуссия.

Глубоко взволнованная иду я домой. «Боже мой,— думаю я,— неужели я провалюсь со своей пьеской и меня не примут в этот изумительный кружок?!»

...Следующая среда. Прежде, чем идти на собрание кружка, перечитываю свое «произведение», и у меня что-то холодеет внутри... Ох, зачем я сказала об этой сентиментальной белиберде в стиле когдатшних святочных рассказов! Не брать пьесу с собой? Сознаться, что испугалась? Нет, отступать не надо!

«Будут ругать! — думаю я, идя на Мойку. — Ох как будут ругать!»

Читаю... По едва уловимому шелесту в комнате, время от времени доносящемуся до моего слуха, понимаю — плохо...

Нет, меня не ругают. Это — не то слово. Просто полный разгром! От моей несчастной пьески не остается камня на камне. Я слушаю молча, я даже не пытаюсь защищать свое детище, — ведь все, что говорится, правда! Слушаю молча, но, как это ни странно, ни минуты не жалею, что принесла эту вещь на кружок.

Но что же скажет сам Маршак? А он даже не критикует. Он говорит:

— Товарищи совершенно правы. Ясно: вы никогда еще и не пробовали писать для детей всерьез. Сделайте еще попытку. Кто читает следующий?

После меня читают еще двое или трое. Снова высказываются все, и мне, как ребенку, радостно, что и я заметила какой-то неудачный оборот речи.

Иду пешком одна к себе на Васильевский остров, а в душе полное недоумение: почему же я после такого разноса не чувствую себя «потерпевшей»? Наоборот, огромный душевный подъем и твердое, очень задорное решение: к следующей же среде я должна — ДОЛЖНА! — написать что-то стоящее! Что?.. Не надо придумывать, срок маленький. Пусть это будет не рассказ, пусть маленький очерк, но это должно быть что-то

своими глазами увиденное, пережитое, непременно занимательное, романтическое... даже пусть экзотическое, но понятное детям. И писать надо, как для взрослых. Так что же взять? Что?!

И когда я перехожу мост Лейтенанта Шмидта, вдруг с изумительной конкретностью всплывает в памяти эпизод из моих заграничных очень ярких впечатлений. Прихожу домой и чуть не с ходу сажусь за стол. Первый набросок ложится на бумагу одним дыханием...

Берхтесгаден в Германии. Подземные соляные копи... Переодеваемся в смешные, насквозь просоленные куртки и штаны, на голове просоленная круглая шапочка. Очень крутой спуск глубоко-глубоко в недра земли силой собственной тяжести, сидя верхом на двух, вплотную пригнанных друг к другу, до блеска отполированных бревнах. Впереди всех садится гид. Правая рука каждого из нас на плече сидящего впереди, в левой — фонарь. Несемся долго в черную бездну, все быстрее, быстрее, дух захватывает... А там — таинственные переходы то вверх, то вниз по лабиринту темных зал. А дальше — огромное подземное озеро. Кругом вдоль берегов еле видны пылающие площадки. Сверху и снизу все темно. Черный, почему-то кажущийся страшно высоким, безмолвный человек, управляя длинным шестом, везет нас в лодке на ту сторону озера. Все молчат... Все, как в сказке...

Запомнилась каждая деталь из рассказа гида о том, как отсюда извлекается соль... Но надо оживить людьми. Пусть спускается под землю не наша семья с разноплеменными туристами, как это было на самом деле. Нет, пусть это экскурсия русских и в ней самые разные люди. И пусть непременно в том числе и трусихи, над которыми можно посмеяться. Это уже домысел.

Очерк готов задолго до следующей среды. Несу его в кружок, а сердце замирает. Но я уже уверена: такого разгрома, как в тот раз, не будет. Интуитивно чувствую — в очерке залог чего-то настоящего...

Читаю. Напряженная тишина, никаких шелестов... Нравится?

В прошлый раз ждала, что будут «ругать», но такого разноса не ожидала. На этот же раз были неожиданной радостью посыпавшиеся от всех кружковцев похвалы. Сердце гулко билось, но... по скорей бы взял слово Маршак. Оно мне нужнее всего.

И вот он заговорил:

— Я вполне согласен с товарищами, — это очень интерес-

но и хорошо написано. — Он подробно разбирает мой очерк и вдруг прибавляет: — Только знаете, Елена Николаевна, когда мы его будем печатать...

— Как? Печатать?! — невольно вырывается у меня.

Я ошеломлена. Это мне и в голову не приходило, я писала для кружка.

Глаза Самуила Яковлевича весело смеются.

— Ну конечно! Это же как раз для детского журнала. Так вот, мой совет это место дать подробнее...

И вот я уже полноправный член кружка. Я, — да и все мы, конечно, — ждем каждой среды, как праздника.

Я уже знакома со всеми кружковцами. Они разнятся и по темпераменту, и по способностям, и по умению критиковать, но всех тесно сплотило горячее желание — искать!

«Для детей надо писать так же, как для взрослых, но только гораздо лучше», — сказал в свое время еще Виссарион Белинский.

Оттого мы и ищем! С каким пристрастием обсуждаем мы поиски товарищей! Часто бывает так, что какой-нибудь неудачный образ, приблизительное определение, некрасивое словосочетание вызывают споры с пеной у рта, и мы все, вместе с автором, ищем, ищем, как решить иную, иногда очень сложную, задачу. И когда решение находится, радуется не один автор, а все мы.

А задачи встречаются очень нелегкие. Надо уметь найти слова, чтобы с полным уважением к маленькому читателю, не сюсюкая и не снижая требовательности к себе, прозрачным языком ясно и просто рассказать о вещах отнюдь не простых. Именно этому учимся мы здесь в скромной рабочей комнате гостеприимных Ольги Иеронимовны и Екатерины Петровны под руководством Самуила Яковлевича Маршака.

Изредка в кружке появляется Борис Степанович Житков. Это всегда несколько сенсационно, его высказывания чаще всего очень неожиданны, оригинальны и порой парадоксальны.

На наших средах начинают появляться новые лица. Они не члены кружка, они садятся не за круглый стол, а в сторонке, они не принимают участия в нашей работе. Они слушают. Это — редакторы. Они ищут материалов для своих издательств.

Несколько сред спустя я читаю в кружке свою первую повесть «Сережка в деревне». Она встречает дружное одобре-

ние, ее обсуждают два вечера. И на следующее же утро мне звонят из двух издательств — «Прибой» и «Academia», предлагая напечатать повесть. Вскоре она выходит в «Прибой» почти без редакторской правки.

Я больше не тоскую. Я всерьез и надолго заболела детской литературой. Да, литература для детей — это отнюдь не литература второго сорта (как до сих пор считают, к сожалению, некоторые «взрослые» писатели), а дело крайне необходимое, очень трудное и очень ответственное.

Когда возникли два детских журнала, руководимых также Самуилом Яковлевичем Маршаком, кружок сам собой распался, ибо все те, кто уже прочно входил в создание детской литературы, перекочевали в эти журналы. Вовлекались туда и новые, в основном молодые, силы, и с той же требовательностью и принципиальностью, как в кружке, редактировал Самуил Яковлевич все поступающие в журналы рукописи.

В 1925 году у меня было уже несколько напечатанных вещей, я была принята в Союз писателей и осталась верной в своем творчестве детской литературе и благодарной «крестному отцу».

Вспоминается один коротенький диалог с Самуилом Яковлевичем. Встречаемся как-то на улице, он зовет меня к себе, говорит новый свой адрес. Записать не на чем.

— Самуил Яковлевич, у меня патологическое отсутствие памяти на цифры. Я не запомню.

— Нет, запомните! — решительно говорит он. — Надо запомнить только улицу. Пестеля запомните?

— Да.

— Ну, а Пестель разве не ассоциируется с цифрой четырнадцать?

— Конечно! Четырнадцатое декабря. А как мне запомнить квартиру одиннадцать?

— Очень просто! — Глаза Самуила Яковлевича лукаво улыбаются. Он поднимает правую руку, прижимает к ладони три пальца, а указательный и средний опускает вниз. — Вы представьте себе, что Пестель идет, вот так переставляя ноги. Вот вам и одиннадцать!

Мы оба смеемся.

Прошли десятилетия, а этот адрес я запомнила на всю жизнь...

У ИСТОКОВ

Я познакомилась с Самуилом Яковлевичем Маршаком так. Шел 1922 год. В темном, неуютном, холодном коридоре Петроградского пединститута дошкольного образования (ныне Института имени А. И. Герцена) ко мне подошел человек лет тридцати пяти, отрекомендовался Маршаком и спросил, где он может видеть институтского преподавателя детской литературы Ольгу Иеронимовну Капица. Первое, что осталось в памяти от этой мимолетной встречи, это энергичная походка и несколько приглушенный, характерный голос.

Я провела его в большую светлую комнату, заставленную рядами книжных шкафов, и представила О. И. Капица. Здесь помещалась тогда Показательная библиотека детской литературы, любимое детище Ольги Иеронимовны. Еще в дореволюционные годы она выступила с предложением организовать библиотеку детских книг, предназначенную для исследователей, писателей, педагогов и студентов. Только после революции эта идея была претворена в жизнь.

С. Я. Маршак, сотрудник петроградского ТЮЗа, пришел за советом, какие пьесы и повести могут быть использованы в детском театре. ТЮЗ в эти годы переживал большой репертуарный голод. Я не знаю, какие советы получил наш новый знакомый. Знаю одно — беседа продолжалась долго и положила начало большому делу.

Вскоре при Показательной библиотеке начал работать кружок или, как его многие тогда называли, студия детских писателей. Этой скромной организации суждена была недолгая, но полная содержания жизнь.

На всем укладе кружка лежал отблеск тех лет, полных романтики и героики.

Мы собирались в большой светлой читальне, выходящей окнами на Казанский собор и воронихинскую решетку. В центре комнаты стоял большой круглый стол. С. Я. Маршак шутя называл его «колыбелью нашей детской литературы». Этот стол, кстати сказать, продолжал стоять до войны, вызывая у нас добрую улыбку и добрые воспоминания. Возможно, старик и сейчас продолжает нести свою службу в огромном институтском хозяйстве. В коридорах было темно, в аудиториях холодно. Зачастую сидели в пальто, согреваясь чаем, кипящим на стоящей тут же «буржуйке». Электрическая лампочка высоко ценилась. После каждого заседания я вывинчивала ее и бережно прятала в стол.

У кружка не было никакой материальной базы. Не было долгое время надежды и на печать. Лишь в октябре 1923 года вышел первый номер «Воробья», а с 1924 года начал систематически выходить «Новый Робинзон». Только тогда центр тяжести писательских интересов начал постепенно перемещаться в редакцию. Это, однако, не мешало кружку интенсивно работать.

Что заставляло людей еженедельно здесь собираться, проводя долгие часы в спорах и обсуждениях? Одних влекла тяга к искусству, поиски новых литературных путей. Другие просто любили детей и много думали об их воспитании. Для всех было ясно: новое время выдвинуло ряд новых неотложных задач.

Кружку повезло. Во главе стояли люди, которые могли дать и действительно много давали его участникам. Конечно, главным руководителем, вдохновителем, притягательным звеном нашей студии был С. Я. Маршак. Но все мы много проиграли бы, не будь в кружке его гостеприимной хозяйки О. И. Капица. Она привлекала к себе не только широкой образованностью и знаниями, но и редким умением чутко подойти к каждому человеку. Это не мешало ей быть, когда надо, требовательной и строгой. Метко сказал о ней как-то наш ректор: «По тому, как Ольга Иеронимовна подает мне руку, я чувствую, как расценивает она мои распоряжения».

Кружковцами были тогда люди разного возраста. Здесь читала свои первые поэтические опыты юная студентка Наташа Дилакторская, в будущем автор хорошо нам известных книг «Упрямая луковица», «Повесть о Гайдне», согретых большой любовью. К старшему поколению относились

С жадностью ловила я каждую подробность, рассказанную Бекетовой о жизни любимого поэта. Рассказы для маленьких М. Л. Толмачевой были хорошо известны до революции. Е. Л. Шварц читал у нас «Рассказ Старой Балалайки» и веселую поэму «Шарики». Мы любили юмор и веселые шутки Шварца.

Б. С. Житков не был частым гостем кружка. Оно и понятно. Зрелый, с большим жизненным опытом за плечами, самобытный и своеобразный, он меньше других нуждался в советах и руководстве. У него был свой собственный поиск и путь. В сущности, он сам очень скоро стал советовать и руководить. Зато каждый приход Б. С. Житкова в кружок был событием. Таким событием оказался и заслушанный из уст автора рассказ «Джарылгач». И вот, когда мы горячо и прерывая друг друга спешили выразить свое восхищение, Житков облил нас холодной водой. По его словам, рассказ был выполнением задания, им самим поставленного. Он пытался уложить острый сюжет в такое-то количество страниц, в такое-то количество строк.

Иначе складывались отношения с В. В. Бианки. Это был наш сверстник, наш товарищ, равный нам человек. Много способствовала нашему сближению радушная и благожелательная Вера Николаевна, не пропускавшая ни одного заседания и знавшая каждую строку в произведениях мужа.

Придя в кружок, Бианки принес несколько своих стихотворений. Они свидетельствовали о хорошем вкусе молодого поэта, о его большой литературной культуре. Но все это пока не выходило за грани эпигонства.

«Попробуйте писать прозой, — сказал С. Я. Маршак, — пишите о том, что вы хорошо знаете и очень любите».

Очень скоро Виталий Валентинович прочел в кружке ряд своих произведений: «Чей нос лучше?», «Кто чем поет?», «Чьи это ноги?», «Первая охота» и одну из самых обаятельных его сказок «Лесные домишки».

Что дал нам С. Я. Маршак как руководитель кружка? Ответы на этот вопрос, конечно, могут быть очень индивидуальны. Уверена в одном — не было из нас никого, для кого кружок остался бы пустым местом и для кого общение с Самуилом Яковлевичем прошло бесследно.

Но творческий мир сложен и противоречив. По мере того, как С. Я. Маршак из старшего товарища превращался в редактора, между ним и некоторыми писателями возникали недоразумения и даже нелады.

Много раз я задумывалась над этим фактом и пыталась найти ему объяснение.

Думаю, что дело было не только в требовательности Маршака-редактора. Сам он был человек ищущий, творческий, всюду вносящий *свое*, индивидуальное начало. Естественно, что многое в нем воспринималось как деспотизм, как оскорбительная нетерпимость. Раз при мне разыгралась следующая сцена. Прочитав большое произведение начинающего поэта, Самуил Яковлевич забраковал все, кроме одной строфы, сказав при этом: «Напишите все так, как вы написали эти четыре строки».

Со мной было проще. Я ведь не писала ни стихов, ни рассказов. Радостно черпала я все то, что давал мне С. Я. Маршак. А давал он многое. Он заставлял о многом подумать, многое пересмотреть, к ряду вопросов подойти по-новому. Он помог мне понять всю глубину, все значение, всю ответственность, всю красоту детской литературы, ставшей в эти годы моей специальностью и профессией. За это Самуилу Яковлевичу мое вечное и глубокое спасибо!

Самуил Яковлевич работал подолгу, вынашивал каждое стихотворение. Иногда, вынув из бокового кармана листок, он читал нам новый вариант уже хорошо известного произведения. Это вводило нас в лабораторию писателя, помогало понять, как осуществляет художник свой замысел, какой труд стоит за каждой строфой. Тогда это все казалось новым и неожиданным.

Что сейчас для нас «Пожар» Маршака? Хорошая, но не лучшая книга поэта, которую читают несколько поколений детей. Мы так привыкли к ней, она так прочно вошла в наш быт, что сейчас даже странно представить себе, что когда-то ее вовсе не было. В то бурное время «Пожар» воспринимался как откровение, как манифест зарождающейся советской литературы для детей. Казалось, свежий ветер ворвался в открытое настежь окно, неся с собой живую жизнь, героизм каждодневного труда, веру в будущее.

Когда Самуил Яковлевич выступал перед студентами, мы всегда просили его начинать с «Пожара». Поэт исполнял нашу просьбу, но явно предпочитал другие произведения. Одно время он особенно охотно читал «Как рубанок сделал рубанок». Однажды я спросила, чем объясняется его пристрастие к этому «производственному рассказу». Восприятие произведения автором и читателем часто бывает различным, объяснил мне Маршак, художник всегда ценит то свое произ-

ведение, в котором он разрешил для себя что-то новое, преодолел какие-то трудности.

О чем бы ни говорил Самуил Яковлевич, все сводилось к одному, главному тезису: детская литература — высокое искусство. Им были брошены надолго запомнившиеся слова: «большая литература для маленьких».

С особенной любовью останавливался поэт на книгах для дошкольников. Ведь именно отсюда начинается восприятие человеком искусства! Он убедительно доказывал нам, что написать четыре строки для четырехлетнего ребенка гораздо труднее, чем большую поэму для подростка. «Если бы я преподавал детскую литературу, — говорил С. Я. Маршак, — я бы взял темой первой лекции самое маленькое стихотворение для самого маленького ребенка».

По-разному сложились судьбы кружковцев. Но в одном я уверена. Каждому из нас будут близки и понятны следующие слова С. Я. Маршака из его письма ко мне¹:

«Часто вспоминаю Ленинград и нашу молодость. В сущности, за четверть века в Москве я успел сделать больше, чем за свои ленинградские годы. Но с нежностью вспоминаю нашу редакцию и друзей тех лет».

Встречи с Самуилом Яковлевичем не ограничивались Показательной библиотекой. Все мы очень любили бывать на Петроградской стороне у Ольги Иеронимовны Капица.

Здесь часто читал нам стихи Маршак. Обычно он спрашивал, кого из поэтов хотим мы сегодня слушать. В сущности, это был просто долг вежливости. Самуил Яковлевич всегда читал то, что ему хотелось, от Державина до Блока. Его огромная память всегда поражала меня. Читал он мастерски, а комментарий, которым он сопровождал свое чтение, стоил любого университетского курса.

Я с детства любила поэзию. Много дали мне лекции на Бестужевских курсах. Но понимание искусства, интерес к мастерству художника, любовь к поэтам, которые до тех пор были мне чужды, — все это привито мне С. Я. Маршаком.

Не надо думать, однако, что все было так серьезно и целенаправленно в нашей среде. Много веселого связано было у нас с рассеянностью С. Я. Маршака. Недаром мы склонны были относить «Человека рассеянного» к жанру автобиографических произведений. Бывая у О. И. Капица, он постоянно что-нибудь забывал: вставочку, записную книжку, калоши.

¹ Письмо С. Я. Маршака от 9 января 1964 года. Передано мною в архив С. Я. Маршака.

Идя к ней, он по несколько раз звонил из автомата, уточняя ее домашний адрес.

С. Я. Маршак — герой труда в большом и точном смысле этого слова. В этом, впрочем, нет ничего удивительного. Талант всегда целеустремлен. Прилежание — его родная сестра. Быть лодырем — привилегия людей способных.

И, наконец, о самом главном, о том, чему подчинено в Маршаке все другое, — об его отношении к искусству. Порой казалось, что не было и нет для него на свете ничего более дорогого. Как понять и определить эту черту? Что это? Влюбленность? Это звучит примитивно. Одержимость? В этом понятии есть что-то сковывающее волю поэта. Я бы выбрала здесь одно только слово, высокое слово — служение. Служению искусству, благородному делу поэта был подчинен весь путь Маршака-человека. Искусству отдал он весь титанический труд своей жизни.

ИЗ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ



Однажды меня, корреспондента большой центральной экономической газеты, позвали к Самуилу Яковлевичу Маршаку. Было это уже давно, в Ленинграде...

В ту пору у меня вышла книжка очерков «На Турксибе». Это — наблюдения и раздумья инженера-экономиста, адресованные тому кругу квалифицированных читателей, для которого я работал и в газете. Турксиб был одной из основных строек первой пятилетки, и естественно, что гигантское по тому времени строительство породило множество острых, дотоле вообще не существовавших в народном хозяйстве проблем. Важно было поставить их в порядок дня, что я и попытался сделать в книжке.

И вдруг звонят по телефону и говорят, что моим «Турксибом» заинтересовался Маршак... Вот еще курьез! Я со смехом представил себя в роли посетителя детского издательства, где создаются и обитают «Рассеянный с улицы Бассейной», «Это он, это он, ленинградский почтальон», где «Дама сдавала в багаж...», где пляшут и водят хороводы «Мухи-Цокотухи»... Все же пошел — из любопытства.

Знакомство состоялось в Доме книги, что на Невском.

Это была пора, которую справедливо можно назвать первым днем творения советской литературы для детей. У колыбели этой новой, революционной, впервые в мире зарождавшейся литературы стоял М. Горький. А создавать новое можно было, лишь развенчивая буржуазную детскую литературу, с ее сусальностью, лицемерием, пай-мальчиками и белоручками-девочками, — «литературу-гувернантку», уводившую детей от подлинной жизни народа.

В тесном общении с Горьким в Ленинграде засучив рукава работал над новинкой Маршак. Самуил Яковлевич жадно и неутомимо выискивал новых людей. К нему, в широко распахнутые двери детского издательства, приходили инженеры, ученые, градостроители, военные, путешественники, разведчики недр, рыбаки, охотники, водолазы... Он ни у кого не спрашивал «литературного стажа»; наоборот, казалось, был особенно удовлетворен, когда заинтересовавший его бывалый человек, смущаясь, признавался, что не сочинил в жизни ни строчки, если не считать записей в какой-нибудь пикетажный или вахтенный журнал.

Самуил Яковлевич не имел того, что в учреждениях почтительно именуется кабинетом. Нельзя сказать, чтобы администрация не попыталась обставить работу Маршака удобствами. Однако из этого ничего не получилось. На оседлую жизнь в кабинете склонить Маршака не смогли, — он оставался стремительным и вездесущим в издательстве кочевником.

Поднявшись на третий, детиздатовский, этаж, я заглянул в дверь около лифта. Здесь оказались журналы «Еж» и «Чиж», оба в одной комнате. Происходило многолюдное собрание, и я в нерешительности попятился. Но мне шепнули, указав на подоконник: «Не маячьте. Садитесь — там еще можно потесниться». И тотчас перестали мною интересоваться.

Нет, это было совсем не собрание в обычном смысле. Посреди комнаты на стуле сидел пожилой человек. Красивый, но уже почти голый череп, небольшие подстриженные усы. Человек был в пальто, которое неуклюже топорщилось у затылка, подпирая пряди волос. Казалось, зашел этот человек в редакцию на минутку, а его немедленно взяли в осаду слушатели. Со скептической усмешкой, как бы подтрунивая сам над собой, человек на стуле рассказывал о приключениях русских моряков в жарких странах.

— Борис Степанович... — пылко перебили рассказчика. — Да как же вы сами-то... Это невероятно!

— Вот-вот, так и на Мадагаскаре решили, не поверили... Но ведь нам-то уже пора понимать, что для русского моряка нет ничего невозможного на свете!

Один из слушателей, как видно художник, поднял над головой для всеобщего обозрения крупно и сочно сделанный эскиз.

— Пока вы, Борис Степанович, рассказывали... — Художник скромно умолк в ожидании оценки своего труда.

Рассказчик откинулся на стуле, прищурился:

— А что же, неплохо, совсем неплохо... Схвачено главное.

Художника тут же взяли за плечи, приземлили на стул:
— Садись, Валентин, доработывай. Поставим в номер...
А за вами, Борис Степанович, подпись к рисунку!

— Зачем же подпись? — ворчливо отозвался рассказчик. — Я рассказ приготавливаю.

Так я невзначай впервые увидел Житкова.

Я спросил про Маршака. «Только что был, — ответили мне. — Заходил с молодым автором».

Пришлось немало потолкаться по этажу, пока наконец удалось разыскать Маршака. Мне показали на плотного, среднего роста человека, который в коридоре, приткнувшись от прохожих к стенке, толковал с посетителем. Посетитель был в унтах и с планшеткой летчика. Судя по лицу Маршака, он весь находился во власти происходившей беседы. Смеялся, дружески притрагивался к могучей груди летчика и порывисто запуская пальцы в свою густую шевелюру, крепко растирая темя, — словно для того, чтобы побуждать мозг к новым и новым идеям.

Я остановился в нескольких шагах. Маршак сразу заметил меня, извинился перед собеседником, подошел.

Я назвал себя. Он крепко, обеими руками, схватил меня за руку и, наклонив голову набок, несколько мгновений ласково и в то же время изучающе глядел мне в глаза.

— Очень рад познакомиться. Спасибо, что пришли... — Не отпуская моей руки, он повернулся к выходящим в коридор нескольким дверям. — Куда бы нам с вами... — Он озабоченно оценил взглядом каждую из дверей, потом подтолкнул меня к одной из них: — Вот сюда. Посидите в комнате, я сейчас освобожусь...

Маршак вошел, энергично распахнув дверь.

— У вас в вашей книжке, — заговорил он еще с порога, — есть интересные наблюдения. В степях Казахстана, пишете вы, так жарко, что люди носят ватные халаты, меховые шапки и теплые сапоги. Это неожиданно. Это опрокидывает наши представления о летней одежде. И сразу начинаешь чувствовать, что в Средней Азии — не то что здесь: там какая-то свирепая, злодейская жарница!.. Это хорошо дано. И сведение — и загадка: а ну-ка, мол, догадайся, почему теплая одежда спасает от зноя пустынь... Вот вам уже готовые элементы увлекательной книжки для детей.

Самуил Яковлевич закурил и стал шагать по комнате. Он продолжал развивать мысль о книжке. Я глядел на струйку дыма, стлавшуюся за спиной Маршака, которая взвихривалась при каждом его повороте.

«Все ясно,— сказал я себе.— Проблематика твоих экономических работ здесь никого не интересует. От тебя хотят пустячков, бирюлек, погремушек... Надо удирать!»

Внезапно Маршак остановился прямо передо мной. Уловил ли он мое настроение? Не знаю. Он смотрел на меня сквозь стекла очков, а в них отражались светлые квадраты окон и движение на улице, и стекла оказались для меня непрозрачными: я не видел за ними глаз.

— Знаете что? — Маршак задорно потрепал себя за волосы.— Расскажите о вашем путешествии! — И он увлек меня к дивану.

— Самуил Яковлевич, это длинная история,— упирался я.— Вам надоест слушать...

Но он уже посадил меня рядом с собой.

— А вы расскажите коротко. Только самое интересное. Представьте себе, что вы и меня хотите склонить к путешествию. Даже пари заключили с приятелями: «Обязательно подобью Маршака!» Смотрите, если заскучаю — ваше пари бито!

И я стал рассказывать... Впоследствии мне доводилось слышать собственные вещи в исполнении артистов. Если артист хорош, талантлив, он неожиданно и ярко открывает в твоём произведении такие богатства, о которых ты и сам не подозревал. Примерно то же самое происходило сейчас и с моим устным рассказом. Тонко направляемый Маршаком, я как бы по-новому совершал свое путешествие по степям Казахстана. «Экономическая проблематика» отодвинулась в сторону, и беглые впечатления от жизни кочевого народа, которые, казалось, едва зацепились в моем сознании, вдруг стали вызревать в законченные картины...

Маршак не уговаривал меня сделать книжку для детей, нет. Он вообще никогда никого не уговаривал. Самуил Яковлевич говорил:

— Вы сможете писать для детей,— и это звучало в его устах так, словно вы достаивались высшего человеческого звания.

Тут уж противиться было даже как-то и неумно...

— Ну, в добрый час,— сказал Самуил Яковлевич.— Садитесь и пишите. Приготовьте стопку бумаги, такой, какую любите. И перо возьмите хорошее. А главное — не мудрствуйте лукаво!

Первые пробные мои страницы Самуил Яковлевич прочитал залпом. Потом скинул очки, дружески положил свою руку на мою и стал разъяснять мне недостатки написанного.

— Вот вы пишете: «Доставляли шпалы». А я читаю и не вижу, какое действие скрывается под этим многозначным и потому безликим глаголом. Ведь доставлять шпалы можно по-разному: и поездом, и в барже, и на телегах, — не так ли?

— В данном случае их навьючили на верблюдов, — объяснил я.

Лицо Маршака расцвело.

— Голубчик, да вы только подумайте, какой это подарок читателю! Караван верблюдов — что еще может быть древнее на свете? И вдруг он на свою тысячелетнюю верблюжью тропу сбрасывает шпалы, чтобы в пустыне пошли поезда! Чувствуете, как это наглядно, выразительно? Вот она, новая жизнь!.. Кстати, у вас и эти слова есть: «Новая жизнь». Но они пустые, лишние. Эту мысль, но только не общими словами, а в ярком образе передает читателю ваш верблюд со шпалами на горбу.

Первая встреча с Маршаком-редактором ободрила меня. Захватив свои страницы, я поспешил делать поправки. Сел к столу и, конечно, уже новыми глазами прочитал ранее написанное. Самуил Яковлевич сказал: «Начинает получаться». Нет, гляжу, не похоже: сам же наставил птичек чуть не у каждой строчки! И, отбросив прежний текст, я написал все заново.

На этот раз Маршак как-то болезненно поморщился. У меня упало сердце...

— Самуил Яковлевич, неужели хуже, чем было?

— Ничего, ничего, — тотчас ободрил он меня. — Не горячитесь. Эта работа требует своего. Садитесь за стол в хорошем настроении, обязательно в хорошем, и у вас получится. Конечно, не сразу.

Своим цепким пером он выловил из моих строк изрядное количество слов, которые тут же назвал «ватными».

— Слово, — сказал он, — должно быть звучным, звонким, как монета. «Шпалы», «рельсы», «щебень», «болты» — это у вас настоящие слова. А «большое расстояние», «своеобразный инструмент» — слова глухие, они, как вата, только застревают в ушах. И не видишь, и не слышишь того, что они должны изобразить. А в книжке для детей безликим словам не место...

Я обзавелся хорошим пером. Посвящал делу долгие вечера. Но от сидения над листом бумаги любимого сорта ничего не получилось. И книжица, сама еще гнездясь в чернильнице, уже испортила мне лето: прикованный в городе к столу, я вынужден был отказаться от интереснейших новых путешествий; она даже отпуск отменила!

«Ага, нарвался? — казнил я себя. — Вот тебе и бирюльки с погремушками!.. Погоди, то ли еще будет: она скоро не только вечера — все твое время пожрет, и тогда прощай экономическая проблематика... Спасайся. Пока не поздно, забудь дорогу на третий, детиздатовский этаж!»

Но, увы, расстаться с детской книжкой я уже не мог. Восстало самолюбие. Ведь и произведение-то всего в школьную тетрадку, — так неужели не справлюсь? Грош мне тогда цена!

Самое ужасное в терзаниях было то, что Самуил Яковлевич не ругал меня за плохие страницы. Хоть бы вспылил! Тут бы я ему — в ответ... Хорошая ссора — и разошлись бы. Но желанного повода для ссоры все не было и не было...

Снова и снова я усаживался за стол... Страницы, испещренные поправками Маршака. А хочется добиться, чтоб без поправок; чтоб выразить мысль просто и емко — но по-своему. О, какой это тяжкий труд — обрести литературное слово! Усидчивостью, прилежанием тут не возьмешь. Начнешь злиться, хватать слова, как разнокалиберные гайки из ящика, примеривать к месту и отбрасывать, — еще того хуже. «Работать спокойно, в добром настроении» — глубокого смысла этого замечания Самуила Яковлевича я тогда понять еще не мог.

Кончилось лето, пошли дожди... Сколько вариантов книжки было написано, а затем выброшено? Не менее десяти... Трудный достался Самуилу Яковлевичу автор, и приходится только удивляться его терпению, настойчивости и педагогическому таланту редактора-воспитателя. Тонко, не затрагивая авторского разбухшего самолюбия, он шаг за шагом — от одного варианта к другому — будил и воспитывал в новичке понимание красоты и эмоциональной силы точно найденного слова, поэзии труда человека, о котором пишешь; обогащал рукопись начинающего искрами своего мастерства...

Книжка была издана для детей младшего школьного возраста. Это — «Черный жеребец» (прозвище, которое получил в степи появившийся там паровоз).

Впоследствии, когда у меня вышло уже несколько книжек, в том числе «Полтора разговора», я однажды спросил Маршака:

— Дело прошлое, Самуил Яковлевич, но интересно, как вы оценили бы «Черного жеребца» по пятибалльной системе? Маршак улыбнулся:

— Ну что ж... Получилось на троечку с минусом. Но это та тройка, без которой вы не могли бы двигаться дальше.

УРОК



ород раскинулся по обе стороны реки. Вокруг леса сосновые. Я там бывала. Город небольшой, освещенный тускло. Но домики тонут в садах, река светлая, извилистая, воздух прозрачный, свежий.

Близость сосен, оврагов лесных и студеных ключей. По состоянию здоровья мне понадобилось куда-то переехать. Я об этом городе вспомнила и решила там пожить.

Это было время первой пятилетки, там появилась новая, сильная электростанция. И когда я приехала, городок, прежде тусклый, встретил меня сиянием ярких фонарей.

Они светили не только в городе, они шли один за другим по шоссе в глубь лесов.

И все же на окраине оказалась одна улица темная, и мне рассказали, что там разбили фонарь мальчишки. Бьют фонари и на шоссе. Да, я видела, на шоссе возле столба блестели на земле осколки... Как выразить свое возмущение! Какие найти слова, чтобы каждый понял: бить фонари — постыдно.

Должна найти, раз я писатель.

Вот это задача.

Я стала присматриваться к ребятам на дворе и на улице. Пошла в школу. И когда мне разрешили присутствовать на уроках, изо дня в день приходила в класс вместе со школьниками.

Сидела на задней парте, чтобы не мешать.

Вскоре ко мне настолько привыкли, что жизнь в классе потекла так, как текла бы без меня.

И вот однажды при мне прошел урок обществоведения, урок пустой и скучный. Учительница не обращала внимания ребят на новые явления окружающей их жизни. Тогда чему

удивляться, что для школьника сияющий во тьме фонарь не радость, а только мишень? Я изобразила этот урок целиком. Кроме того, была готова первая глава. И я поехала к Самуилу Яковлевичу. Хотела узнать, как отнесется Самуил Яковлевич к тому, что я задумала.

Самуил Яковлевич отнесся к моей работе внимательно. Особенно его заинтересовал урок. Прочел несколько раз, ничего не предложил изменить.

Он сказал: «Это будет книжка о пятилетке!» И очень обрадовался.

Книжка о пятилетке? А я ведь над этим не задумывалась. Я думала, это книжка о школе, о фонаре. От этих слов гораздо глубже раскрылась моя задача. И радость, которую проявил Самуил Яковлевич, ко мне пришла тоже.

Работа пошла хорошо. Но вот понадобилась мне учительница, способная в классе раскрыть смысл пятилетки широко и душевно. Чтобы такую учительницу хорошо изобразить, я хотела ее видеть, детали должны быть не выдуманные.

И я пошла ее искать.

Долго я ходила по разным школам, но ее не нашла. И почувствовала себя беспомощной.

В таком угнетенном состоянии я пришла к Самуилу Яковлевичу. Застала у него Тамару Григорьевну Габбе. Откровенно рассказала им, почему столько времени не могу книгу закончить.

Самуил Яковлевич сидел за своим тяжелым и очень широким письменным столом. Склонился над моей рукописью. Лицо у него было усталое.

Вдруг он посмотрел на меня, на Тамару Григорьевну и говорит:

— Сейчас, здесь, не сходя с места, мы, как будто в классе, проведем урок о пятилетке!

Мне стало интересно, что это будет. Способны мы на это или нет?

— Вы проходили пятилетку? — Самуил Яковлевич к нам обратился, как учительница в классе.— Тогда поговорим. Начинайте! Кто что знает.

Тамара Григорьевна нашлась первая. Она начала непринужденно отвечать за ребят. И я за ней. Я стала отвечать за школьника, который разбил фонарь.

А у Самуила Яковлевича усталости как не бывало.

И он нас повел и повел, как учительница, до конца урока.

220 Мне сразу стало легко. Неуловимый образ наконец прояс-

нился. Вот этот урок послужил мне материалом. И я книжку закончила.

Мою рукопись взяли на ленинградское радио. Но передачи не последовало. Наоборот, потребовали от лица педагогов, чтобы мою повесть не печатали, потому что это клевета на советскую школу. Но Самуил Яковлевич своего мнения относительно моей рукописи не изменил. Организовал собрание педагогов и писателей для обсуждения моей работы.

На этом бурном собрании он со свойственной ему горячностью мою повесть защитил. И «Повесть о фонаре» вышла.

Но в дальнейшем моя книга подверглась очень резким нападкам.

Еще один человек ее принял, как Самуил Яковлевич, всей душой — он жил в городе, о котором я написала, старый партизан, мой управхоз.

Когда я приехала, он возмущался, что мне дали право на дополнительную площадь, высказал мне свое недоверие:

— Подумаешь, детский писатель! Пишет про лягушек.

Но как только «Повесть о фонаре» появилась в городе, он ее прочел и сказал:

— Преклоняюсь, вы написали высокополитическую вещь.

Это во мне закрепило уверенность, что моя книга не ошибка.

НАЧАЛО



Писать я начал давно. Первая заметка «Пансион для благородных учителей», опубликованная осенью 1923 года губернской «Рабоче-крестьянской газетой» в Виннице, наполнила юношеское сердце гордостью. Надо сказать, что в те далекие годы писать и печататься было гораздо легче, чем сейчас. И не потому, что пишущих было меньше. Почетное звание «рабочий» сразу открывало зеленые семафоры в литературу. Я особенно почувствовал это в Ленинграде. Работал я тогда на заводе «Большевик», в его опытной мастерской «АВО-5», где мы сообща (теперь об этом можно писать открыто, без боязни разгласить военную тайну) делали первые советские опытные тяжелые танки.

Приедешь прямо с завода, в спецовке, замурзанный, в Ленинградский Дом книги, где помещалось тогда несколько редакций журналов и издательств, и чувствуешь, что ты желанный гость в этом большом, многоэтажном доме.

Напечатанные опусы дали мне право стать полноправным членом ленинградского объединения пролетарских очеркистов «Сквозняки», которым руководил автор книги «Мои китайские дневники», бывалый человек и профессиональный литератор Николай Костарев.

Многие из нас знали, что в ленинградском отделении Детгиза работает под руководством консультанта Самуила Яковлевича Маршака немногочисленная, но очень опытная группа редакторов детского отдела, охотно оказывающая помощь каждому начинающему, кто хотел бы серьезно работать в детской и юношеской литературе. «Но,— тут же

начинающие литераторы, — редакторы эти и их вожак Маршак — люди зубастые, весьма требовательные. Попадешь в их руки — не отвертись. Будут править каждую строку, каждое слово, работать будешь с ними долго. Обломают тебя так, что и позабудешь, кто ты есть на самом деле. В отделении издательства «Молодая гвардия» редактируют куда быстрее. Не успел оглянуться, и книжка подписана к печати».

В «Молодую гвардию» я не пошел уже по той простой причине, что приходится, собственно говоря, было не с чем. Однако слова о том, что где-то в Доме книги работает автор широко популярного «Рассеянного» и «Почты», запомнились надолго.

Вскоре редакция журнала «Литературный современник» приняла к печати один из первых моих рассказов для детей — рассказ «Ровесники». Принять-то приняла, но печатать все не печатали. Я часто наведывался в редакцию, и однажды, во время очередного посещения, заведующая, Генриэтта Яковлевна Векслер, трогательно опекавшая всех начинающих, сказала мне:

— Напечатаем! Напечатаем! А пока бы я советовала вам, Володя, показать рассказ Маршаку. Он ведь работает здесь же, рядом.

— Маршаку? — спросил я с удивлением и тревогой. — Но ведь рассказ принят у вас?

— Одно другому не мешает. Если вам повезет и рассказ понравится Маршаку, то его могут издать отдельной книжкой для детей.

«А если не понравится, — подумал я, — и Маршак выскажет свое мнение членам редколлегии «Литературного современника»? Тогда лопнет печатание рассказа в журнале?..»

Тем не менее на следующий день я зашел после работы в ленинградское отделение Детгиза, в большую комнату, тесно заставленную столами, за которыми сидели редакторы. Первая из них, к кому я обратился, была невысокого роста, удивительно живая, румяная блондинка Тамара Григорьевна Габбе.

— Вот, — сказал я срывающимся громким голосом, кладя на краешек стола рукопись «Ровесников», — я написал рассказ для детей. Как бы передать его товарищу Маршаку?

При звуках моего громкого голоса остальные редакторы подняли головы, склоненные было до этого над рукописями и гранками, и укоризненно посмотрели в мою сторону. Только позже я узнал, что здесь говорить громко не полагалось. Но, по-видимому, своим внешним видом я на этот

раз заслужил себе прощение: я ввалился в Детгиз в замасленном рабочем комбинезоне и в летном кожаном шлеме — единственном головном уборе, который я приобрел на все времена года после демобилизации из Красной Армии.

— Хорошо, оставьте рукопись,— очень тихо сказала, вернее прошептала, Тамара Григорьевна.— Почитаем, а потом покажем Самуилу Яковлевичу. Приходите на следующей неделе.

С большим трудом дождался я понедельника и сразу же после работы, не заходя домой, в заводское общежитие на станции Обухово, ворвался в вагон двадцать четвертого номера трамвая, который повез меня из-за Невской заставы к величественному зданию Казанского собора, против которого стоял Дом книги.

...— А, Беляев,— сказала, сразу признав меня, Габбе.— Вам повезло. Самуил Яковлевич здесь. Он прочел ваш рассказ и спрашивал, когда вы придете. Сейчас он кончает работать с Золотовским. Если не трудно — подождите в коридоре, я позову вас, когда Самуил Яковлевич освободится...

Внезапно открывается дверь самой маленькой комнатки Детгиза, где обычно, как узнал я позже, работал в издательстве Маршак, и оттуда быстрыми шагами, раскрасневшийся после очередной головомойки, выходит, в морской фуражке-мичманке и короткой куртке на меху, широкоплечий увалень с длинными, большими руками. Это — автор рождающейся в Детгизе под наблюдением и прямым руководством Маршака книги «Подводные мастера» — водолаз Константин Золотовский.

Позже, когда мы познакомимся, Золотовский признается:

— Ну и драит меня Самуил Яковлевич! На самой большой глубине, куда довелось мне опускаться, не было так тяжело, как у его редакторского стола!..

Тем временем из маленькой комнаты выходит Тамара Григорьевна Габбе.

— Самуил Яковлевич ждет вас! Заходите! — говорит она, показывая мне путь рукой.

За столом, в маленькой комнате с окнами, выходящими на проспект 25 Октября, как тогда назывался Невский, сидит коренастый, пожилой человек в очках. Он смотрит на меня исподлобья, протягивает руку и приглашает:

— Садитесь, голубчик!

Я протискиваюсь к диванчику. На столе у Маршака — рукопись «Ровесников» с пометками, сделанными карандашом. «Интересно, чего они там начеркали?» — любопытствую

я, но заглянуть в рукопись стесняюсь, сижу, как приговоренный, жалобно посматривая на Маршака.

В комнату заглядывает Габбе.

— Ну, где же остальные? — слегка раздраженно спрашивает Маршак. — Давайте всех. Будем работать!

В маленькую комнату одна за другой входят редакторши: строгая, внушающая страх и трепет Лидия Чуковская, высокая, худощавая, слегка сутоловатая Зоя Задунайская, хрупкая Александра Любарская. Я узнаю, как их всех зовут, несколько позже, но в этот день появление каждой новой сотрудницы Маршака внушает мне все большие опасения. До сих пор не понимаю, как им удалось разместиться в этой комнатке.

— Где вы работаете, голубчик? — спрашивает Маршак.

— На заводе «Большевик». За Невской заставой.

— Как назывался ваш завод раньше?

— Обуховский!

— А, знаю! — оживляется Маршак. — Знаменитая Обуховская оборона. Это завод больших революционных традиций. А что вы там делаете?

Несколько ободренный, говорю:

— Да все, что приходится! Куда пошлют. Надо — электросварщиком, надо — долбежником, а то и слесарить приходится на сборке. У нас цех опытный.

— Опытный? — заинтересовался Маршак. — А вы не могли бы рассказать в живой, популярной форме детскому читателю, как люди работают в опытном цехе, чего они достигают, как совершенствуют технику?

«Ну вот! — подумал я. — Да мне за такой рассказ Иван Иванович голову снимет». Иван Иванович Тиик, старый коммунист и старший оперативный уполномоченный ленинградского ГПУ, постоянно дежуривший в нашем цехе, был известен тем, что лично расстрелял брата царя, Михаила Романова. Так ли это было на самом деле или нет, я не знаю, но подобная слава о нем ходила, и, откровенно говоря, мы основательно побаивались этого молчаливого чекиста, в малиновых петлицах которого алело по два ромба. Но ничего, разумеется, о самом даже существовании Ивана Ивановича и его наставлениях, как мы должны вести себя за пределами нашего сугубо секретного цеха, я Маршаку не объяснил, а, чтобы не обидеть его прямым отказом, сказал уклончиво:

— О нашем цехе я вряд ли что напишу. Есть ряд обстоятельств, которые...

— Понимаю! Военная тайна! — оборвал меня Самуил Яковлевич. — Тогда расскажите подробно о себе, где вы жили, где учились, что интересного в жизни повидали?

Могу откровенно сказать, до этого времени решительно никто такого серьезного интереса к моей особе, как Маршак, не проявлял. Он буквально допрашивал меня с пристрастием: его интересовало решительно все — где я воспитывался, какие события гражданской войны мне запомнились, какая профессия мне нравится больше всего, каких писателей я читал? Во время этого доброжелательного «допроса» я почувствовал многое: и провалы в своем образовании, и то, что я еще мало знаю, и что много времени в жизни потратил зря, попусту.

Самуил Яковлевич интересовался прошлым моего родного города, его историей, географическим расположением, и здесь, не сумев ответить точно на все, что его интересовало, уклоняясь от точных дат, фамилий, исторических деятелей и сражений, я так же ощутил свое полное верхоглядство в изучении родного края и понял, что, если мне придется писать о нем, надо будет основательно поработать в библиотеках, почитать старинные, а в том числе и монастырские, книги, значительная часть которых была опубликована на латыни и польском языке. И вот сейчас, вспоминая знакомство с Маршаком, я отчетливо сознаю, что оно-то и дало мне первый серьезный толчок к самообразованию, к изучению польского языка и истории польского народа, с которым у нас, подолян, так много общего. Но это пришлось значительно позже, а в тот день, когда Самуил Яковлевич так заинтересовался моей личностью, я нет-нет да и поглядывал на свою лежавшую перед ним рукопись «Ровесников» и все время ждал, когда же он наконец заговорит о ней. Но он все продолжал расспросы.

Хорошо запомнилась одна из его напутственных фраз, которую я слышал от Маршака неоднократно:

— Настоящим писателем может стать только тот человек, который прежде всего познает самого себя, свои достоинства и недостатки, свои склонности и привязанности, кто сумеет жестоко контролировать каждый свой поступок. Все это надо сделать еще до того, как сядешь за письменный стол. Большая внутренняя дисциплина нужна писателю! Надо уметь оценить свои собственные силы, «зарядить» себя уверенностью в них, набраться большого упорства. Только если сможешь посмотреть на себя самого издали холодными, беспристрастными

глазами и оценить, на что ты сам способен, можно начинать...

Вполне возможно, я не совсем точно, нарушая присущую Маршаку страстность высказываний и его речевые особенности, передаю сейчас это напутствие. Однако приблизительный смысл его был именно таков. Но все это было позже.

В ту же, первую, встречу с Маршаком меня больше всего интересовало, что скажет он о рассказе и смогут ли его поскорее выпустить отдельной книжкой.

Как бы угадывая мои мысли, Самуил Яковлевич перестал меня спрашивать и, притронувшись к рукописи, сказал:

— Рассказ ваш я прочел. Это интересно, но...

— А его можно выпустить отдельной книжкой? — не удержался я, прерывая Самуила Яковлевича.

Он посмотрел на меня очень строго, и я уловил сдержанную улыбку на лицах редакторов.

... — Но, — продолжал Маршак, — над ним надо еще работать. И серьезно работать.

— Зачем работать, Самуил Яковлевич? — взмолился я. — Ведь он же принят для опубликования в «Литературном современнике»!

— Ну и что же, что принят? — раздельно сказал Маршак. — Мало ли у нас принимают и печатают впопыхах. А я хочу, чтобы вы опубликовали хороший, настоящий рассказ, чтобы он остался надолго. Хотите вы этого?

— Конечно, хочу, — сказал я растерянно, чувствуя, что надежды на отдельную книжку, на быструю славу уходят в неопределенность.

— Тогда давайте работать! — сказал Маршак и, прижав почти к глазам первую страницу «Ровесников», стал читать вслух рассказ своим глуховатым, как бы простуженным голосом.

Читая, он словно «обкатывал» каждое слово, то и дело останавливался, вслушивался в его звучание, советовался с редакторами, стремясь яснее выразить мысль автора, найти более выразительный синоним, сделать фразу ударнее, короче. И, слушая его голос, я с каждой минутой все больше понимал недостатки рассказа, расплывчатость отдельных описаний, засилие длинных и вялость интонации. И, покоренный сразу внимательностью Маршака, его терпеливостью, его эрудицией и острым, необыкновенным умом, думал со стыдом: зачем я отнимаю у него время? Ведь оно так нужно

ему для работы над большими рукописями уже готовых, будущих книг, которыми завален его стол.

А Маршак тем временем продолжал читать вслух и пересчитывал страницу за страницей, исправляя отдельные фразы, беспощадно вычеркивая тормозящие повествование длинноты.

Рассказ «Ровесники» Самуилу Яковлевичу до конца отредактировать не удалось. Меня все время вытесняли другие авторы уже подготовленных к печати книг: Тэки Одулок, Лидия Будогоская со своей «Повестью о фонаре», недавно вернувшийся из зимовки на Земле Франца-Иосифа Сергей Безбородов и другие. И хотя было обидно, что в очереди на прием к Маршаку меня опережают другие товарищи, я понимал, что написанное и уже почти завершённое ими гораздо значительнее, масштабнее содержания моего собственного, навеянного только воспоминаниями о детстве, небольшого рассказа. Когда мы добрались до середины, Маршак вдруг остановился и, подняв на меня глаза, сказал неожиданно:

— Послушайте, голубчик! А знаете что? Рассказ рассказом, он никуда от вас не уйдет. Пишите-ка на этом материале повесть для нашей детворы. Ведь в содержании угадывается интересный город, веселые озорные ребята. Хватит вам держать их взаперти в такой небольшой камерке, как рассказ. Выпустите их на свободу, в большое помещение — повесть, продолжайте смело их дальнейшую жизнь.

Так, после доброго, отеческого напутствия Маршака, утвердился я в желании писать повесть, названную впоследствии, после долгих мук в поисках заглавия, «Старой крепостью». Первые десять глав ее были написаны довольно быстро, и я, необычайно гордый, принес их Самуилу Яковлевичу. На этот раз он принял меня не в маленькой комнатке, а в просторном кабинете директора издательства Льва Борисовича Желдина, которого на это время вызвали в Смольный.

— Садитесь, голубчик, — предложил Маршак, указывая на глубокое, удобное кожаное кресло с пупырышками. — Почитайте сами вслух то место в повести, которое вы считаете самым лучшим!

Совершенно естественно, я, не колеблясь, решил прочесть описание расстрела большевика, предварительно предупредив Самуила Яковлевича, что «так было на самом деле». Но для придания сцене большей выразительности и слитности с главным местом действия я перенес все увиденное нами

во двор старинной турецкой крепости. Старался читать я как можно более выразительно, особенно налегая на описания, которые казались мне откровением в художественной литературе. Эхо ружейного залпа «металось, как раненая птица в загадочных амбразурах седых бастионов», «зловещая туча галок, потревоженная выстрелами, взвилась над обомшелыми, выдавшими всякое, остроглавыми башнями древней твердыни», герои рыдали навзрыд, и «тяжелые капли их соленых слез сверзались по юным щекам в пожухлую траву»...

— Позвольте, голубчик, — перебил меня Маршак, расхаживающий до этого по кабинету, — а кем, собственно говоря, был этот человек, которого расстреливают петлюровцы?..

— Кем был? — опешив, повторил я вопрос Маршака. — Я точно не знаю, но он мог быть... Допустим, слесарем соседнего, Маковского сахарного завода... Или машинистом паровозного депо... А может быть, наборщиком городской типографии?..

Делая такие предположения, я помнил о ведущей роли пролетариата в революции и старался подыскать моему герою наиболее типическую, рабочую профессию из тех, что могли бытовать в нашем заштатном губернском городке.

— Не знаете? — неожиданно выкрикнул Маршак и изо всей силы ударил меня по плечу, да так, что кожаное кресло зашипело и я опустился на его сиденье почти до самого пола. — А если вы сами не знаете, какое же вы имеете право представлять этого человека вашему будущему читателю!.. Поймите, дорогой, — уже несколько смягчившись и продолжая быстро расхаживать по кабинету, продолжал Маршак, — даже если вы вводите в повествование второстепенного героя, даже если он занимает в вашей книге всего несколько страниц, вы должны знать о нем во сто раз больше, чем узнает читатель! Пусть все, что вы о нем знаете, не входит в книгу. Пусть войдет только незначительная часть, остальное останется «за кадром», как говорят кинематографисты. Неважно. Но вы должны прежде всего сами узнать, полюбить или возненавидеть этого человека, твердо поверить в его реальное существование, знать, что такой именно человек, не похожий на других, существовал или существует на земле! Вы обязаны знать все его привычки, его биографию, какие песни он любит, вы должны слышать его голос с особой, неповторимой, только ему одному свойственной интонацией. Если он шутник, балагур, весельчак — почувствуйте это. Если от природы

немногословный, замкнутый, быть может, слегка застенчивый человек, опишите и эту черту его характера. Вы должны видеть, как он одевается, как ест, кто его друзья и близкие, словом, вы должны знать об этом пусть даже придуманном вами человеке решительно все. Тогда вы сможете работать уверенно и не будет у вас той ползучей, легковесной приблизительности, которая загубила уже не один талант. Уходите! Забирайте свою рукопись и уходите. И пока вы не создадите в вашей повести настоящего героя, которого бы смог полюбить детский читатель не только за его смерть, а прежде всего за его жизнь, в издательство не приходите...

Растерянный, огорошенный, не чувствуя под собою ног, спускаясь я по мраморной лестнице Дома книги, явственно чувствуя на плече тяжелое «прикосновение» руки Самуила Яковлевича. Но пусть поверит мне читатель, с дистанции прожитых лет этот разговор мне кажется во сто крат дороже и полезнее любой, даже самой хвалебной, критической статьи.

В Ленинграде в ту пору стояли белые ночи. Мучимый бессонницей, я часами бродил по Невскому от Адмиралтейства до надстроенного дома на проспекте Бакунина, где жил, и, почти не обращая внимания на голубоватые лица встречных, запоздалых прохожих, обдумывал все, что сказал мне Маршак. Сказал и потребовал.

Советы и требования Маршака, все, какие я от него слышал, отличались большой доброжелательностью и тактом. В них всегда содержалась не только критика, но и советы автору, как найти выход из тупика, как, действуя самостоятельно, улучшить и переработать рукопись. Так и в данном случае, я чувствовал, что выход где-то рядом, но надо основательно пошевелить самому мозгами и «вылепить» своего героя так, чтобы в него поверил читатель и прежде всего Самуил Яковлевич. Я вспомнил, как сразу же после окончания мировой войны потянулись через наш город к себе на родину в разные уголки охваченной революционным пожаром России бывшие военнопленные — русские солдаты. Голодных, обовшивевших, их косили сыпной тиф, инфлюэнца, испанка, дизентерия.

«А что, — подумал я, — если мой герой будет таким военнопленным, разуверившимся в войне, пришедшим к революции через перенесенные в окопах страдания? Он может быть рабочим, бывшим шахтером, хоть человеком пришлым, кого болезнь задержит в городе, но умеющим видеть зна-

чительно дальше и глубже, чем местные рабочие, тесно связанные с крестьянством и нравами городского мещанства».

...После долгих раздумий, когда в свете белых ночей я вышагивал километры по тротуарам Невского, и родился в моем сознании образ большевика-подпольщика Тимофея Сергушина в том виде, в каком он живет и сейчас на страницах трилогии «Старая крепость». Я и песни ему придумал особые шахтерские, и попытался описать его целомудренную любовь к девушке-комсомолке Кудревич, которая впоследствии, став следователем Чрезвычайной комиссии, допрашивает одного из убийц Сергушина, доктора-петлюровца Григоренко...

— Так может быть, — сказал Маршак, когда я показал ему совершенно новый вариант главы «В старой крепости». — И очень хорошо, что вы вводите вашего героя в самом начале повести. То, что он раненый, показывает Василию Манджуре «китайские тени», сближает его с ребятами, делает его человеком простым и земным. Сейчас куда более понятно, почему ребята так переживают его смерть.

У Маршака была еще одна прекрасная черта: если он выпускал своего очередного крестника на литературную дорогу, то ревниво следил за его дальнейшими шагами и, если нужно было, самоотверженно защищал его, даже в том случае, если такая защита могла отразиться и на его собственной судьбе.

Ему я по гроб жизни благодарен и за то, что он поддерживал во мне желание писать, и что учил работать над словом (помню, как вдохновенно он декламировал нам, молодым, известное стихотворение Тютчева «Люблю грозу в начале мая», буквально упиваясь звучанием каждой строфы), и что посоветовал мне написать трилогию «Старая крепость».

Зная о том, что Самуил Яковлевич часто болеет, я в последние годы не досаждал ему визитами, а, приезжая в Москву, только звонил ему по телефону.

Однажды, за какой-нибудь год до своей преждевременной смерти, Самуил Яковлевич сказал мне по телефону:

— А знаете, голубчик, написали бы вы воспоминания о Тамаре Григорьевне Габбе, о том славном времени, когда у нас в Ленинграде одна за другой рождались книжки, которые остались надолго в детской литературе.

В этих воспоминаниях я пытался хоть частично выполнить совет Самуила Яковлевича.

РЕДАКТОР ЗАМЫСЛОВ



расная стрела» уходила из Ленинграда ровно в полночь. Я провожал в Москву Виктора Борисовича Шкловского. На перроне был Маршак. До этого я не был знаком с ним.

С вокзала мы возвращались вместе. Шли по Невскому и говорили. О чем? Конечно же об искусстве, о литературе, о Шекспире, о Хлебникове, о том, что «это шествуют творяне, «дэ» сменившие на «тэ»...»

Маршак был намного старше меня, казался мне совершенно «взрослым», и одновременно по разговору, по мальчишеским интонациям его грудного голоса, по тому, как он читал свои и чужие стихи, я чувствовал в нем своего сверстника. Позже, когда мы познакомились с ним лучше, я узнал от него, что он ощущает сам себя четырехлетним.

Мне, пожалуй, нет нужды признаваться вам, что в ту ночь я влюбился в Маршака. Уже на следующий день я был у него в детском отделе Госиздата. Впервые в жизни переступил я порог всамделишной редакции, имея там знакомого, да еще какого — главного консультанта, который накануне сам! пригласил! меня! зайти! показать! свои! рассказы!

Я чувствовал себя далеко обогнавшим своих товарищей за одну эту ночь.

Все в редакции говорили со мной так, словно я, студент третьего курса, писавший дикие, не укладывающиеся ни в какие рамки, короткие, в пять — десять строчек, рассказы, известные лишь немногим слушателям, равен

А они же работали в настоящей литературе, знали запах типографских гранок, следили за всем сложным процессом создания книги!

Издательство, редакция представлялись мне чем-то совершенно отличным от нашего студенческого мирка, отличным и чужим. А тут вдруг оказалось, что одно как бы служит продолжением другого, что существенного, пугающего различия нет. Более того, редакция, возглавляемая Маршаком, очень близка нашим студенческим кружкам и ассоциациям, где мы учились друг у друга.

Российский государственный институт истории искусств был замечательным учреждением, научным, учебным, но там готовили исследователей. Помещался институт в черном, почему-то окрашенном голландской сажой, особняке графа Зубова на Исаакиевской площади. Профессорский состав в ту пору был блистательным. Имена говорят сами за себя: член-корреспондент Академии наук Щерба, Адрианова-Перетц, Юрий Николаевич Тынянов, Борис Михайлович Эйхенбаум.

С первого курса, едва усвоив начатки вузовской науки, прилежный студент, на которого и был расчет, начинал работать над избранной темой, начинал под кураторством того или иного профессора или преподавателя самостоятельное исследование.

Однако были среди нас и не прилежные, не отличники, а такие, кого менее всего интересовало прохождение великолепно преподававшихся в институте предметов. Мы занимались другим, твердо зная, что не родились исследователями, — собственным творчеством. И не изучать историю литературы нам хотелось, но творить ее самим. А научиться этому можно было в институте только в кружках, друг от друга.

И вот маршаковская редакция явилась для меня, одного из самых неприлежных, продолжением той же знаковой студенческой среды. словно бы не существовало большого расстояния между нашим «черным особняком» на Исаакиевской и серым деловым билдингом зингеровской компании швейных машин на Невском, после революции превратившимся в Дом книги, где работал детский отдел Госиздата, или «Академия Маршака».

Я сразу же почувствовал себя там как дома. Впрочем, такое же ощущение возникало там у всех. Нас объединял Маршак, он был центром, вокруг которого все вертелось. Это он мог «заболеть» чужой вещью, точно своей собст-

венной, приучая своих сотрудников относиться к работе так же.

Каждый автор проходил пору влюбленности в главного консультанта. Степень ее зависела от возраста, от характера, но не было человека, не поддавшегося очарованию Маршака.

И происходило это оттого, что он владел искусством раскрытия горизонта. Вдруг оказывалось, что твоя скромная работа вовсе не такая уж скромная и соотносится с творениями великих: и Шекспира, и Толстого, и Пушкина, которых прилежно изучают на институтских лекциях и в семинарах и которых любил читать вслух во время беседы Маршак. Главное свойство Маршака было в том, что он умел наполнять ветром чужие паруса, давать каждому верное направление.

Он не редактировал рукописи в обычном смысле, не исправлял «масла масляного», а входил в самый замысел вещи, показывая, как лучше воплотить его. И каждый чувствовал, что с минуты встречи с Маршаком в его судьбе что-то переменялось, что-то стало другим, ты словно бы перешел в следующий класс своей профессии, и отныне то, о чем ты лишь смутно грезил, чудеснейшим образом вдруг стало явью.

Воздух в детском отделе был иным, чем в других издательствах. А это совсем не мало, редакционный воздух! Так хорошо, если дышится легко, если каждый вдох доставляет удовольствие! Работать в такой живительной атмосфере и проще, и лучше, и вольготнее.

Будто гигантские конденсационные установки непрерывно нагнетали оздоровительный озон в большую комнату, где сидели редакторы, но особенно мощную струю они подавали в ту маленькую комнатку, окнами на Казанский собор, где долгие годы царствовал Маршак.

Я не ошибся в этом слове: Маршак действительно царствовал. Все в редакции было создано им, подчинялось ему, проводилось по его плану. Но план этот никому не навязывался, каждый воспринимал его как свой собственный, оттого что лучшего не хотел для себя и не мыслил себя вне общей работы. Было ощущение, что творится дело огромной, всечеловеческой важности и я заинтересован в том, как работает сейчас, скажем, Евгений Иванович Чарушин, а ему тоже чертовски необходима моя работа. Тут действительно было «чувство локтя», роднившее всех.

«Послезавтра», пафос и программа которой состояли в том, что нас, членов этого содружества, не печатают сегодня, не будут печатать и завтра, но зато послезавтра мы перевернем и завоюем литературу. Виктор Борисович Шкловский, хорошо относившийся к нам, советовал переменить название, он говорил, что производное от «послезавтра» — «послезавтрак» — звучит смешно.

Группа объединяла по преимуществу поэтов. Это было явлением обычным, ибо среди начинающих прозаиков бывает меньше.

Я писал в те дни рассказ о девочке, которая во время гражданской войны, следуя в обозе за своим отцом, бело-гвардейским полковником, продолжает играть гаммы на захваченном из петербургского особняка рояле. Глупее и фантастичнее истории нельзя было придумать: рояль в одной из схваток отбивают бандиты, у них появляется музыка, а рядом с ней возникает совсем не военный быт.

Выслушав меня, Маршак неожиданно очень обрадовался:

— У нас почти нет литературы для девочек и о девочках. Нам нечего противопоставить Лидии Чарской, — сказал он. — Пишите...

Оказалось, что это совсем не просто, я не мог противостоять «обожаемой» Лидии Алексеевне. История с музыкой у бандитов должна была, по моему первоначальному замыслу, быть изложена сугубо психологически, но теперь, после встречи с Маршаком, я начал писать «для детей»: укорачивать фразу, вносить в нее элементы действия и динамики, и все рассыпалось. Настоящего действия за психологическими тонкостями не было.

С этим я и пришел в Госиздат во второй раз.

— А я так и знал, — сказал Маршак, — так всегда бывает, когда пробуешь выдумывать на пустом месте... Расскажите-ка лучше о том, что вы действительно знаете. Каким было ваше детство?

— Я родился и до пятнадцати лет жил в Китае.

— Интересно. Вот об этом вы и напишите. И если будет хорошо, мы напечатаем не послезавтра, а тотчас же.

В третий раз мы встретились с Маршаком, когда я принес ему первый кусочек, всего две странички диалога из повести «Чин-Чин-Чайнамен и Банни Сидней» — повести о том, как русский советский мальчик Денис Ощепков волею случая оказывается в американской школе в Китае.

В комнату к нему с угрозами приходят американские мальчишки; они возмущены: на стене висит портрет его няни (амы), китайянки, рядом с американским флагом. Желая оскорбить Ощепкова, они называют его «Чайнамен», что по-английски значит «китаец».

Насколько помню, было это написано на листочках, вырванных из ученической тетрадки. Сильно волнуясь, я прочитал их вслух. Маршак взял мои листки и, приподняв на лоб очки, как поступают обычно близорукие, прочел про себя, потом сказал мне:

— Вот послушайте, что у вас получается.

И я услышал собственный текст, но преображенный его голосом. Как передать вам мое впечатление? Мне показалось, что это писал не я, больше — что никогда в жизни я уже не смогу так написать. Здесь было все — интонации, жест, завязка сюжетного конфликта.

Маршак опустил на глаза очки и посмотрел на меня.

— А дальше? — спросил он.

— Пока еще ничего нет. Но будут состязания Ощепкова с Банни Сиднеем, вожаком школы. Одно или два состязания.

— Надо, чтобы их было три, как в сказках, — сказал Маршак.

— Бокс, — продолжал я, — бег, «пижамная ночь». Это так у нас в школе называлось. Мы в пижамах рассказывали друг другу страшные истории, перед сном...

— Нет, нет, — перебил Маршак, — сперва бокс, потом «пижамная ночь», состязание без учителей, победа в ученической среде и, наконец, бег, который видят уже все, вся академия. Понимаете, чтобы нарастало.

По первым двум страничкам, вырванным из контекста, он «заболел» моей вещью, стал развивать, придумывать возможные ходы сюжета, самый сюжет. Достаточно было принести нечто живое, годное для выращивания, как он начинал заботиться о ростке со всей возможной тщательностью и умением.

Таков был в те годы Маршак: где бы он ни встретил возможного автора и как бы далеко тот ни стоял от детской литературы, он привлекал его в гостеприимные стены своей редакции. А там уже начиналась работа, и человек оказывался в веселом водовороте, эпицентром которого был главный консультант.

Я написал мальчишескую повесть «Чин-Чин-Чайнамен и Банни Сидней», герои которой боксировали, участ-

вовали в кроссе, по ночам рассказывали друг другу страшные истории. И тут я узнал всю силу маршаковской влюбленности в вещи, над которыми он работал. Какое-то время он жил моим Чин-Чин-Чайнаменом, я потерял для него свое имя, превратившись в Дениса Ощепкова — советского мальчика, оказавшегося в американской Циндауской, подготавливающей к университету, академии.

— Как дела, Чин? — спрашивал меня Маршак. — Много написали?

То были упоительные времена. Мы работали вместе. Я приходил в детский отдел, как на службу, лучше сказать, как к себе домой. Если почему-либо мне не случилось в этот день быть в Доме книги, на следующее утро я бежал опрометью туда, боясь пропустить приход Маршака. Он говорил об английском поэте восемнадцатого века Вильяме Блейке, о Роберте Бернсе, о великопленной «Озерной школе», цитировал Китса и Шелли.

Маршак тогда писал «Мистера Твистера».

Рядом с ним были замечательные поэты — Даниил Иванович Хармс, создававший ритмические чудеса, Александр Иванович Введенский, талантливо, с поразительной легкостью писавший в самых разнообразных поэтических жанрах, совсем еще молодой Юра Владимиров, начавший с подражания знаменитому «Багажу» и уверенно выбиравшийся на собственную дорогу, которую указал ему Маршак.

Скольким людям он помог найти себя! Обычно это совсем не просто, особенно в молодости. Часто бывает, что самому себе нравится вовсе не то, в чем ты силен, а наоборот, именно то, чего делать не умеешь. Тут-то и было чудо маршаковской редакции: он знал, видел, чувствовал глубоко запрятанное и умел извлечь это на свет. Приходить к нему лучше всего было в начале работы, чтобы вместе продумать композицию вещи. Маршак виртуозно развязывал сюжетные узелки, умело завязывая снова только те из них, которые действительно были необходимы. Вот почему я назвал его «редактором замыслов». Для него здесь не существовало трудностей, он работал легко и уверенно. В чужом замысле он чувствовал себя дома, по-хозяйски, наилучшим образом планируя комнаты, расставляя мебель. При всем при этом он не диктовал своего вкуса, не навязывал, веротерпимость его была широка, чтобы не сказать — всеобъ-

емлюща. Да иначе и быть не могло при той цели, которую он поставил себе.

В большой статье «Литература — детям», помещенной в газете «Известия» 23 и 27 мая 1933 года, он, между прочим, писал:

«Художественные книги не фабрикуются пачками. Для того, чтобы они появились, нужно сложное и удачное совпадение темы, автора и материала. А вопросов, требующих книг, великое множество».

Великое множество вопросов и великое множество книг! В самом термине «детская литература» уже есть это множество. В те годы Маршак был одержим желанием создать именно целую литературу, причем не одну лишь художественную. Такие книги, как «Рассказ о великом плане» Ленина, «Про эту книгу» Житкова, «Фабрика точности» Меркульевой, и многие другие — все они памятники этого стремления Маршака.

Как же тут, имея в виду решение такой поистине титанической задачи, уходить в свои собственные дела, как не отдавать людям, в которых он видел «сложное и удачное совпадение темы, автора и материала», свои дни и ночи?

Да, именно ночи, потому что электрический свет у Маршака нередко переходил в утренний.

Каждая удача, каждая хорошая строчка вызвала немедленный отклик Маршака. Мы подолгу бродили по ночному Ленинграду, вглядываясь в его удивительные ансамбли, мы хотели быть достойными и Новой Голландии, и фондовой биржи, и ростральных колонн! В городе, где каждый камень говорил с нами на языке великого искусства, мы хотели творить искусство столь же непреходящее, столь же монументальное.

Редактировать — не значит сидеть за письменным столом и черкать рукопись карандашом, редактировать — это воспитывать автора, расширять его кругозор, рассказывать о том, чего достигло человечество в твоём любимом деле. И делал это Маршак блистательно. Конечно, если возникала необходимость, в руки бралось перо или карандаш и выправлялся текст. Но это всего лишь один из приемов, причем наипростейший. А редактуру Маршака составляли тысячи самых разнообразных приемов, тысячи подробностей, перечислять которые сегодня уже нет возможности, как нет, к сожалению, возможности и составить хотя бы приблизительную их номенклатуру. Происходило это от-

того, что его редаKTура не ремесло, а искусство. Ведь в процессе ее возникало чудо рождения не только книги, но и самого писателя.

Мне передали, что Самуил Яковлевич ждет меня с рукописью в Кремлевской больнице и что мне оставлен пропуск ровно на пять ноль-ноль в комендатуре. Я только что написал один из первых своих «Рассказов по памяти» — рассказ о двух выходявших в тридцатых годах ленинградских детских журналах «Еж» и «Чиж», к созданию и редактированию которых Маршак имел прямое и непосредственное отношение. И вот он хочет видеть меня.

С тех пор, как мы оба переехали в Москву, я лишь изредка перезванивался с Самуилом Яковлевичем по телефону и много времени не видел его. Он сохранился в моей памяти сравнительно нестарый, стремительный, хотя и несколько грузноватый. Я знал, что он сейчас сильно болен, что у него перманентное воспаление легких, но не представлял, насколько он похудел.

В мягком кресле, почти утонув в нем, сидел не привычный Маршак, а какая-то невесомая его частица, словно бы это душа, которая, оставив тело, вышла наружу, материализовалась, зажила отдельной жизнью и сидит сейчас против меня.

И что было уж совсем невероятно, эта так странно и отдаленно напоминающая Маршака душа не курит, совсем не курит! Бесперывно, во все время разговора Самуил Яковлевич сосал леденцы, грыз очищенные грецкие орехи.

В палате, кроме Самуила Яковлевича, была его сестра Елена Яковлевна, автор «Четвертой высоты». В те дни она отдавала больному всю высоту своего сердца и неотступно следила за ним.

Больничная палата мало походила на палату, столько в ней было типично маршаковских вещей — книги, рукописи, папки. Видимо, деловой ритм жизни не прерывался и здесь.

Кто-то сказал про Горького, что он был гениальным графоманом, влюбленным в самый процесс письма. И действительно — Горький любил писать и писал, как дышал. Без этого он не мог существовать: когда он не писал прозу, приходили статьи, когда не было их, он отвечал на

письма и писал сам, выискивая корреспондентов в самых глухих углах, все для того же, чтобы утолить неумемную свою страсть к заполнению каллиграфически выведенными, почти печатными буквами белого листа бумаги...

Таковыми же графоманами были и Бальзак, и Толстой, да, пожалуй, все великие писатели мира; не забудем, что само название этой профессии на многих языках имеет в основе глагол «писать».

Маршак любил работу той же преданной, нежной, всепоглощающей любовью, что и Горький, Бальзак, Толстой. Она доставляла ему наслаждение неизъяснимое, и всегда и всюду его сопровождали рукописи, книги, папки, и постоянно рядом, а точнее — в нем, жила поэзия, то серьезная, то шуточная, причем чаще последняя. Окончания фраз кудрявились завитками рифм, быстрыми и внезапными экспромтами.

В пору моей юности в Ленинграде цвела замечательная красавица — Вета, Веточка, Елизавета Долуханова, в которую все, решительно все, были влюблены.

Маршак подарил ей свою только что вышедшую книгу «Багаж» с такой надписью:

Елизавете Долухановой
Дарю на память свой «Багаж».
Елизавета, не обманывай,
А не обманешь — не продашь!

Или вот, в Москве жил тогда очень средний писатель, но удивительный человек, называвший себя Александр Бывалов — «Зюйд-Вест» и под таким псевдонимом выпускавший приключенческие морские повести, написанные вывороченным наизнанку скверным, почти нерусским языком. Он жил на чердаке с попугаем, свободно летавшим по помещению, и с порожними бутылками из-под настоящего ямайского рома.

Как-то, встретив Самуила Яковлевича после большого перерыва, Бывалов сказал:

— Вы теперь, конечно, не будете с нами знаться. Вы стали теперь великим, а я — человек маленький.

Самуил Яковлевич в ответ подарил ему свою новую книжку с надписью:

От великого до малого
Только шаг.
Я приветствую Бывалова.

С. Маршак.

И таких надписей было множество.

Эпиграфом к моему рассказу о «Чиже» и «Еже» я поставил взятые с четвертой стороны обложки «Ежа» и напечатанные без подписи рекламные стихи:

Как портной без иглы,
Как столяр без пилы,
Как румяный мясник без ножа,
Как трубач без трубы,
Как избач без избы —
Вот таков пионер без «Ежа».

Самуил Яковлевич тотчас же узнал их.

— Мои, — сказал он Елене Яковлевне, едва я начал читать рукопись.

У него были сложные и непонятные отношения с Николаем Макаровичем Олейниковым, редактировавшим оба журнала.

То, что мой рассказ начинается с Олейникова, замечательного, еще, к сожалению, никак не оцененного и даже не изданного поэта, к которому я относился и отношусь иначе, лучше, чем Маршак, было ему неприятно.

Он прервал чтение и сказал:

— Продолжайте, мы потом поговорим...

Слушал он внимательно. Так слушать рукопись, насколько я знаю, умел только Маршак. И вот что удивительно: это касалось одних лишь рукописей, разговор же с Маршаком почти никогда не был диалогом, говорил обычно один Самуил Яковлевич.

Все, что так или иначе касалось своей или чужой работы; ставилось им выше всего на свете, даже выше себя самого.

И ценил в людях Маршак работу прежде всего. Он сам был великий труженик, трудолюбец. Вот почему у него всегда было множество планов, начал, продолжений, хозяйство его было многопольным, многоотраслевым. Пожалуй, нет в истории литературы другого примера, когда один писатель вознамеривался бы создать целую литературу, да еще такую разветвленную, как детская, куда входит и художественная и научно-популярная.

А Маршак задался именно такой целью. Он писал Горькому в Сорренто:

«Очень важно достигнуть в детской книжке четкости, пословичности. Как говорит мой товарищ по работе — художник Лебедев, текст книжки дети должны запомнить.

картинки вырезать — вот почетная смерть хорошей детской книжки»¹.

Создавать такие книги, начать такую традицию было не только его мечтой, это стало конкретным делом его жизни. И он очень сердился, когда ему мешали. В том же письме к Горькому есть удивительные строки:

«Очень мешает нам в работе отношение педагогов (а они почти единственные, к сожалению, критики и рецензенты детской литературы). Почти всегда они оценивают произведение только со стороны темы. (Что автор хотел сказать?) При этом они дают похвальные отзывы часто явно бездарным произведениям и порицают талантливые книжки, не подходящие под их рубрику. Прежде всего они боятся сказочности и антропоморфизма. По их мнению, фантастика (всякая) внушает детям суеверие. Напрасно в спорах мы указывали, что всякий поэтический образ грешит антропоморфизмом — оживлением, очеловечиванием всего окружающего. Один из педагогов на это ответил мне: если поэтическое сравнение употребляется со словом «как» («то-то», «как-то»), тогда можно; если же без слова «как» — то сравнение собьет ребят с толку. Веселые книжки — особенно те, в которых юмор основан на нелепице, — упрекают в легкомыслии и в том, что они вносят путаницу в детские представления».

Я помню эту войну с педагогами. Сохранился в моей памяти человек в синих очках, изгонявший со страниц своего «журнала-учебника» (был в нашей стране и такой!) «Юные ударники» всякий намек на сказку, на гиперболу. Само слово «антропоморфизм» было для него жупелом. И Маршаку приходилось воевать, чтобы вернуть детям отнятую у них заботливыми тетями и дядями из Наркомпроса «принцессу на горошине», царевну Несмеяну и вообще всю красоту и поэзию мира.

Конечно, правда всегда торжествует, но со сколькими трудностями связана эта победа, и, быть может, тогдашнее состояние Самуила Яковлевича, его тогдашний вид в больнице — нелегкая цена этого триумфа!

Небывалую редакцию создал в те годы около себя Маршак. Она была замечательна еще и тем, что и сам Самуил Яковлевич учился в ней. Привлекая к работе таких молодых

¹ Письмо С. Я. Маршака к А. М. Горькому от 9 марта 1927 года, опубликовано в «Литературной газете» 20 августа 1966 г., № 98.

поэтов, как Хармс и Введенский, он в свои уже далеко не молодые годы многое перенимал у них.

И в этом было его величие. Только подлинный мастер умеет не застывать в своем искусстве, но шагать в ногу с быстротекущим временем. Маршак это умел. Посмотрите, с каким озорством написано его стихотворение «Мяч».

Здесь, в этом коротком стихотворении, слияние трех поэтов — самого Маршака, Пушкина («А потом ты покатился и назад не воротился») и Хармса; по нему видно, как пристально изучал Самуил Яковлевич и современную ему, и классическую, и народную, — потому что в основе этого шедевра — считалка, — поэзию.

А все вместе — признак неувядаемой молодости, даже юности, даже детства, оттого, что так передать ощущение ребенка может лишь тот, в ком еще живет детский восторг жизневосприятия. Каждая строчка и все стихотворение в целом такое же веселое, звонкое, желтое, красное, голубое, как мяч.

Неувядаемым и молодым был и сам Маршак.

ДРУГ ПЕСНИ



ет сорок с лишним тому назад ленинградское Детское издательство помещалось в Доме книги, на шестом этаже.

Длинные коридоры, строгие кабинеты — учреждение солидное и почтенное. И вдруг из редакторского кабинета доносится песня, да какая веселая! Нет, нет, это не радио, это кто-то поет по-украински в кабинете Самуила Яковлевича Маршака.

Ви, музики, грайте,
А ви, люди, чуйте.
Старимах по домах,
Молоді, танцюйте!

Начинающий автор, молодой паренек, пришел поговорить о своей рукописи. Сам он с Украины и, как выясняется в разговоре, знает много народных украинских песен. И вот неожиданно беседа автора с редактором, по просьбе редактора, заканчивается пением. Увлечены оба. Самуил Яковлевич сидит за редакторским столом, заваленным рукописями и гранками, и весь подавшись вперед, с большим вниманием и интересом слушает песню. Глаза его блестят за стеклами очков, лицо оживленно, пальцы теребят прядку волос — признак сосредоточенности.

В кабинет входит один из младших редакторов:

— Самуил Яковлевич, мне нужно с вами сверить гранки...

— Подождите. Садитесь и слушайте песню, это вам будет полезно. Какой чудесный ритм! И как лаконично, ничего лишнего. Еще раз, пожалуйста.— И Маршак опять слушает

внимательно, слегка наклонив голову набок, как будто вбирает в себя мелодию. Она останется в его памяти, она еще отзовется когда-нибудь в ритме нового стихотворения...

...Вот Самуил Яковлевич несется по коридору издательства, торопится в свой кабинет, озабоченный и чем-то расстроенный.

— Самуил Яковлевич, можно вас на минуточку? — останавливает его детский писатель Хармс.

— Не могу, не могу, дорогой Даниил Иванович. Очень некогда. А что у вас такое?

— Понимаете, Самуил Яковлевич, я вдруг забыл мелодию поморской песни, которую вы мне напели, — говорит Хармс, — как она начинается?

В таком деле отказать нельзя! И занятый по горло Маршак тут же на ходу тихонько напевает своим низким сипловатым голосом:

Уж ты гой еси, море синее,
Море синее, все студеное,
Все студеное, да все солоное.
Кормишь-пойшь ты нас, море синее,
Одевашь-обувашь, море синее,
Погребашь ты нас, море синее,
Море синее, все студеное,
Все студеное да все солоное...

Суровая своеобразная мелодия этой старинной поморской песни, ее ритм, передающий движения гребцов, постепенно захватывают и Маршака и Хармса. С лица Самуила Яковлевича исчезает озабоченное выражение, разглаживаются складки на лбу — песня прогнала суету...

Миллионы читателей, и маленьких и взрослых, знают книги Маршака, во всем Советском Союзе и во многих странах мира читают и любят его стихи, смотрят его пьесы в театре, слушают музыку, написанную на его слова. Но лишь немногие знают, какая это была музыкальная душа, как он любил народные песни. А сколько он их знал! Где только удавалось, Самуил Яковлевич выучивал полюбившуюся ему народную песню. А нравилась ему далеко не всякая — он отбирал только подлинные, самобытные, выразительные и искренние. Вкус и чутье у него были замечательные! Однажды был такой случай. Два молодых очень музыкальных автора, зная страсть Маршака к народному творчеству, решили его обмануть. Сами сочинили песню — и слова и напев. Получилась довольно удачная подделка под русскую народную песню. Все, кому они пели, считали, что она настоящая

народная, всем она нравилась. Тогда шутники пошли к Маршаку. Правда, один из них сомневался в успехе, а второй даже держал пари на плитку шоколада, что песня Маршаку понравится и что он поверит в ее подлинность.

Самуил Яковлевич выслушал песню внимательно, пожевал губами и спросил:

— Где вы эту песню слышали?

Не моргнув глазом, шутники соврали:

— В деревне Синюха, в Гдовском районе.

— Не знаю,— сказал Самуил Яковлевич и задумчиво покачал головой.— Мне кажется, вряд ли она там родилась. Какая-то она гладенькая, малоталантливая.

И пришлось второму шутнику, проигравшему пари, купить товарищу плитку шоколада. Не захватила подделка Маршака, он остался к ней равнодушен. Но зато как он бывал взволнован, когда песня трогала его за живое! Есть старинная русская песня «Три садочка», ее пели женщины, когда провожали рекрутов в царскую армию:

— Ты скажи, скажи, сыночек,

Кого тебе в свете жалко?

— Жалко жену по закону,

А тещеньку по привету,

Еще матушки родимой

Жальней в белом свете нету...

Мелодия этой песни простая и выразительная, в ней слышится такое материнское горе, такая тихая жалоба, что она захватывает всякого, кто любит и ценит народную песню. И когда Самуил Яковлевич услышал эту песню, она вызвала у него слезы. Эту песню он выучил сразу.

Со мной и с Даниилом Ивановичем Хармсом у Самуила Яковлевича был постоянный своеобразный «товарообмен»: мы учили друг у друга понравившиеся песни. И каждая песня, которую я ему пела или выучила у него, — дорогая для меня память о Самуиле Яковлевиче.

Скоро двинусь и я по гулким,
По широким плечам дорог.

Самуил Яковлевич не знал этих стихов: почти каждое он просил прочесть еще раз, оживился, разволновался, радуясь молодому таланту и одновременно сокрушаясь о его ранней гибели.

И мне показалось, что я снова на семинаре в «Доме детской литературы»: звучат стихи моих товарищей, и Самуил Яковлевич судит их своим строгим и добрым судом.

«ВАМИ ЗАЖЖЕННЫЙ ГОРИТ ОГОНЕК...»

1



В марте 1934 года в одной из гостиных ленинградского Дома писателей собралось много народу. Только что окончился городской конкурс, названный пышно и торжественно — «конкурсом юных дарований», и стали известны имена тех счастли-

цев, первые опыты которых в стихах и прозе оказались наиболее удачными.

Гостиная наполнялась, мы разглядывали своих соседей, не догадываясь, что многие из них станут нашими товарищами на всю жизнь. И конечно, мы еще не знали, что с этого дня и отрочество наше, и юность окажутся необычными, потому что самым главным нашим учителем станет Самуил Яковлевич Маршак.

В старом номере газеты «Ленинские искры» я отыскал стихи детского поэта Константина Игнатьевича Высоковского — «дяди Кости», как его называли многие поколения ленинградских пионеров. «Дядя Костя» был в тот день на нашей встрече с Маршаком и так ее описал:

Настежь дверь. Быстрый шаг —
Появляется Маршак
В круглых роговых очках,
У него портфель в руках,
Толстый, словно бочка, —
Не замкнуть замочка.
Он поэмами набит,
Он рассказами раздут.
Сел Маршак и говорит:
— Все ребята в сборе тут?

Многие из нас впервые видели живого писателя, да еще самого Маршака! Честно говоря, мы глядели на него во все

глаза и не очень внимательно слушали то, что говорилось и читалось. Но одну вещь мы поняли и запомнили: Маршак сказал, что осенью нас соберут снова и, может быть, тогда мы начнем часто встречаться друг с другом.

Всю дорогу домой мы спорили о том, что имел в виду Маршак. Предположения высказывались самые фантастические. Кто-то даже пустил слух, что под Ленинградом собираются устроить специальную «колонию для юных дарований». И только поздней осенью мы узнали, что скоро откроется новый детский клуб под названием «Дом детской литературы», а во главе его будет Маршак.

Лишь много лет спустя я услышал от Самуила Яковлевича историю создания «Дома детской литературы» («ДДЛ» — как его сразу же стали называть). Оказалось, что Маршак давно вынашивал эту идею, рассказал о ней С. М. Кирову и, заручившись его поддержкой, стал добиваться ее осуществления. У него нашлись единомышленники: заведующий гороно Алексинский, секретарь обкома комсомола Вайшля, директор Дома художественного воспитания детей Штейнварт (которого все в Ленинграде называли «товарищ Натан») и многие другие. Нашелся и человек, согласившийся взять на свои плечи огромную работу, необходимую для того, чтобы воплотить новую идею в жизнь.

Молодой ленинградский журналист Абрам Борисович Серебрянников был не только отличным организатором и администратором, но и замечательным педагогом, неподкупно строгим к ошибкам каждого из нас и бесконечно щедрым на выдумки, превращавшие несколько десятков мальчишек и девочек в крепкий и надежный коллектив.

Зачем был создан ДДЛ? Этот вопрос задавали Маршаку и те, от кого зависело устройство не предусмотренного никакими штатами «детского учреждения», и ленинградские литераторы, многие из которых скоро стали нашими гостями, и мы сами — от девятилетних октябрят до шестнадцатилетних комсомольцев. И всем Маршак отвечал одно и то же: в ДДЛ собраны ребята, любящие литературу.

Это — не поэтическая студия, готовящая профессиональных писателей, а детский клуб, который должен дать ребятам как можно более полное представление об окружающем мире. И если у кого-нибудь из них первоначальная детская любовь к литературе перерастет в более серьезное увлечение, он сможет использовать знания, полученные в ДДЛ.

Не знаю, разрабатывалась ли когда-нибудь в ДДЛ долгосрочная программа занятий? Нам, во всяком случае, казалось,

что те люди, которые беседовали с нами в учебных комнатах и маленьких залах особняка на Исаакиевской площади, приходили сюда прежде всего потому, что они были необыкновенно интересными людьми. Каждый из них не только очень хорошо знал какую-то сторону жизни, науки или литературы, но и лучше всех в Ленинграде умел о ней рассказать.

Когда поэт, историк и философ Адриан Иванович Пиотровский рассказывал нам о древнегреческой литературе и, потирая огромный лоб и чуть пришепывая, читал свои переводы Софокла и Аристофана, мы так же самозабвенно устремлялись за рассказчиком в мир Эллады, как накануне вместе с полярником Рудаковым мысленно плыли по маршруту героического дрейфа «Седова».

Комкор Виталий Маркович Примаков был в то время заместителем командующего войсками Ленинградского округа, проводил маневры, много писал и тем не менее несколько месяцев подряд регулярно бывал в ДДЛ. Этот изящный и аккуратный человек в пенсне совсем не походил на того командира червонных казаков, каким он представлялся нам из книг. Но умение обрисовать несколькими штрихами ход военной кампании помогало нам догадаться, каким решительным полководцем был этот прославленный человек.

Александр Слонимский рассказывал о Пушкине так, будто бы провел всю жизнь с ним рядом, знал его друзей, странствовал с ним в одной карете то в Одессу, то в Арзрум, то в Болдино и видел, как слагались строфы «Онегина» и как мчались сани на Черную Речку.

Всех этих гостей приглашал в ДДЛ Маршак. Вероятно, он был не только организатором их бесед, но и режиссером, потому что иначе вряд ли нашим гостям удавалось бы так быстро находить общий язык с разновозрастной и пестрой ребячьей аудиторией. Но об этих предварительных усилиях Маршака я могу только догадываться, потому что во время самих бесед Самуил Яковлевич превращался в такого же ненасытного и жадного слушателя, как и его ученики. Впережку с нами он задавал академику Струве вопросы о Гильгамеше и царе Хаммурапи и настойчиво выспрашивал знаменитого начальника ЭПРОНа Фотия Ивановича Крылова о подъеме со дна моря затонувших судов. И, может быть, этим своим неистощимым любопытством ко всем проявлениям человеческой деятельности Маршак давал нам самый главный пример того, как надо учиться жизни и воспринимать жизнь.

Встречи с «бывальыми людьми» чередовались в ДДЛ с литературными занятиями — их проводил Самуил Яковлевич и его неизменные помощники: Т. Г. Габбе, З. М. Задунайская, А. И. Любарская, С. К. Безбородов. Время от времени заглядывали к нам Е. Л. Шварц, Д. И. Хармс, Н. А. Заболоцкий, Л. И. Пантелеев.

Начинали обычно с обсуждения чьих-нибудь новых стихов или рассказов. Самуил Яковлевич внимательно выслушивал мнение ребят, иногда переспрашивал, заставляя выкладывать все начистоту, без реверансов и дипломатии, и, наконец, высказывался сам.

Долгое время мы не понимали, почему Самуил Яковлевич равнодушен к тем стихам, которые многим из нас нравились больше всего. Почему совершенно взрослые стихи Юрия Польшкова о Дюрере и Рембрандте он оставил почти без внимания? Почему назвал неудачными стихи Володи Копмана «Аутодафе», где были такие красивые строки:

Под медленный набат ты выйдешь из тюрьмы,
Неся с трудом вперед кусок кровавый тела.
И взор твой заблестит опалом в царстве Тьмы,
Когда на эшафот, шатаясь, вступишь смело.

И вместе с тем, почему Самуилу Яковлевичу так нравятся по-деревенски неуклюжие строки Саши Карякина:

Избенка наша маленька,
В ней сыро и темно.
Я не один у маменьки —
Нас семеро былó.

Или четверостишие Ростислава Кетлера:

Белка прыгает, резвится
На большой сосне
И охотника однажды
Видела во сне.

Но мало-помалу мы стали понимать, что Самуил Яковлевич никому не прощает умозрительных стихотворных конструкций, выпренности, абстрактной «романтичности», всего того, что идет от книжной учености, от чужих, схваченных на ходу литературных приемов. И, напротив, он готов простить несовершенство формы, небогатую рифму или дрогнувший размер, если юный автор пытается вложить в стихи продуманные им самим мысли или пережитые им самим чувства.

Порой это снисхождение Маршака к погрешностям стиха казалось нам странным — ведь у него самого стихи всегда так здорово сделаны. Правда, он никогда не пропускал эти свои формы, в каждом случае отмечал их, говоря, что стихи были бы лучше, если бы не то или не это. Но, видимо, он считал, что поэтическое умение — дело наживное, а в юности главное — сохранить и не растерять непосредственность восприятия, собственный взгляд на мир.

Не надо из этого делать вывод, будто Самуил Яковлевич был либеральным критиком. Наоборот, доставалось нам от Маршака весьма основательно. Пустословия, красноречия, халтуры он не прощал никому. Получить его одобрение было совсем не легко. Но зато, когда появлялись вещи, достойные, на его взгляд, похвалы, он считал возможным прямо и открыто говорить об этом.

Вот как, например, писал он в предисловии к сборнику «Стихи детей» (1936) о поэме Ильи Мееровича «Чапаев»:

«Поэму о Чапаеве Илюша написал с тем же увлечением, с каким его сверстники играют в партизан у себя на школьном дворе. Вся поэма написана одним размером — легким и звонким хореем. Но этот хорей отлично служит самым разнообразным поэтическим задачам».

И каждый раз, когда ученики ДДЛ выступали на литературных вечерах, Самуил Яковлевич вызывал худенького и молчаливого Илюшу Мееровича, и тот читал:

С нар, чапайцы, за винтовки,
Саблю на бок и вперед!
И пошел строчить пулевки
Прямо к богу пулемет.

...Занятие шло к концу. Самуил Яковлевич оглядывал нас всех, быстрыми рывками поднимая и опуская голову, и спрашивал:

— Ничего больше нет? Тогда я читаю, хорошо?

Иногда он вынимал из портфеля принесенный с собой томик, но большей частью читал наизусть.

Если бы записать все, что прочел нам Маршак за эти годы, можно было бы составить точное представление о его поэтических пристрастиях. Чаще всего он читал Пушкина — «Пророк», «Цветок засохший, безуханный...» и особенно любимые им «Обвал» и «Эхо», в которых он находил ритмы еще неведомого нам в ту пору Бернса. Охотно вспоминал Гейне, Жуковского, Беранже («Как яблочко румян...»), А. К. Толстого, Киплинга. Много раз он возвращался к одним

и тем же стихам Некрасова, но каждое из них звучало у него по-другому: «Генерала Топтыгина» он читал, помахивая головой и словно подпрыгивая на невидимых ухабах, в «Филантропе» у него появлялась наивно-укоризненная интонация, а когда в стихах «О погоде» доходило до слов старого курьера о странствии с журнальными листами по редакциям:

То носил к Александру Сергеичу,
А теперь уж тринадцатый год
Все ношу к Николаю Алексеичу,—
На Литейной живет,—

Самуил Яковлевич всегда останавливался, словно что-то подступало ему к горлу, и только потом читал дальше.

Были у него и отдельные любимые строфы: из Державина, из «Водопада» Баратынского, из Дениса Давыдова.

Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.
Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им в ответ:
«Dominus vobiscum».

Думаю, что Маршаку нравилась в этих строчках не только их убийственная ирония, но и безукоризненно отточенная форма, вероятно стоившая поэту огромного труда и в то же время кажущаяся читателю просто счастливой находкой.

Мы много раз просили Самуила Яковлевича почитать Маяковского, но он неизменно отказывался и даже сердился, когда повторяли эту просьбу. Теперь мне кажется, что Маршак боялся, как бы наше знакомство с Маяковским не оказалось преждевременным: вдруг мы не пойдем его сложный, насыщенный метафорами стих или наоборот, слишком увлечемся его новаторскими приемами и станем их слепо повторять? И вместе с тем сам Маршак очень любил Маяковского и однажды с гордостью вспомнил, как Маяковский похвалил его стихи. Почти все, что было написано Маршаком для детей, мы помнили очень хорошо. И когда он по нашей просьбе читал свои стихи, мы ревниво следили за текстом: а как будет на этот раз? Ведь Самуил Яковлевич все вновь и вновь возвращался к уже напечатанным стихам, шлифуя их, изменяя и дополняя. Одного только «Мистера Твистера» мы

слышали во многих вариантах, и мне до сих пор жалко, что Маршак выбросил из поэмы полюбившиеся нам строчки:

Швейцар
Предложил им
Ночлег
Пролетарский,
Швейцар
Уложил их
На койке
В швейцарской.

Мы привыкли видеть Маршака часто, и все-таки всегда это был праздник. А летом 1936 года этот праздник растянулся на целый месяц. ДДЛ и раньше устраивал для ребят поездки по Союзу, но на этот раз стало известно, что с нами поедет Маршак.

В Москве Маршак и Алексинский повезли нас на дачу к А. С. Бубнову — тогдашнему наркому просвещения. Вероятно, нарком захотел сам посмотреть результат необычного воспитательного эксперимента, затеянного в Ленинграде. Сперва прием проходил довольно чинно и официально — никто из нас не знал, как себя держать с высоким начальством. И когда, расположившись на огромной веранде, мы начали читать стихи, они прозвучали совсем иначе, нежели в привычных стенах ДДЛ.

Застенчивый «Чапай» — Илюша Меерович — никак не мог откашляться и дважды сбивался, начиная строфу:

На груди кресты да ленты,
И под пуль свинцовый гуд
Прут вперед интеллигенты —
«Их величества» идут.

Даже Вера Скворцова, обычно храбро выпаливавшая свои стихи об умчавшемся детстве (ей в то время было 11 лет), тебя платье, тихо бормотала:

Детство, детство, ты несешься,
И летят, летят года.
Детство, детство, не вернешься
Ты ко мне уж никогда.

И тогда вмешался Маршак. Он узнал от Серебрянникова, у кого из ребят есть новые, еще не читанные стихи, заставил прочесть их и тут же устроил точно такое же обсуждение, как на наших литературных занятиях. Бубнов сразу сообразил, в чем дело, включился в беседу, и наше смущение быстро растаяло.

Но, поспевая к нам на выручку в трудный момент, Самуил Яковлевич так же быстро и энергично реагировал на любую попытку хвастовства и зазнайства. Как-то на пароходе (мы плыли по Оке, Волге, Каме, Белой) один из нас, добываясь от капитана каких-то льгот, бросил словечко: «Мы — одаренные». Боже мой, что было! Едва Маршак узнал об этом, он собрал нас всех на палубе, пригласил капитана, извинился перед ним, а потом, припомнив наименее удачные места из произведений виновника этой истории, весьма убедительно доказал ему, что человека, допускающего в своих стихах такие срывы, считать «одаренным» весьма преждевременно. И если когда-нибудь он сможет стать литератором, то лишь при условии, что будет работать, трудиться изо всех сил, а не рассчитывать на свою «одаренность».

В пути Самуил Яковлевич часто рассказывал нам о юности, о знакомстве с Горьким, о своей студенческой жизни в Англии, и много лет спустя, читая книгу «В начале жизни», я узнавал те самые эпизоды, о которых впервые услышал на палубе волжского парохода...

В статье «Стихи детей», посвященной творчеству воспитанников ДДЛ, С. Я. Маршак писал:

«Не знаю, многие ли из них всецело посвятят себя литературному искусству. Быть может, их пафос, наблюдательность, настоящее поэтическое вдохновение уйдут в другое русло». И такая перспектива Маршака не огорчала, ибо он твердо знал, что научить человека стать писателем нельзя: можно лишь помочь ему вступить на этот путь, а дальнейшее слово скажет сама жизнь.

2

В декабре 1957 года Самуил Яковлевич впервые после войны приехал в Ленинград. Отмечалось его семидесятилетие.

Это был большой и шумный юбилейный вечер, на котором было все, что полагается на юбилейных вечерах. Бойкий пионер уверенно доложил собравшимся, что «школьники Ленинграда любят писателя Маршака, сочинившего такие известные стихи, как-то... такие известные пьесы, как-то...». Дали слово и бывшим ученикам ДДЛ, прочитавшим коллективный труд, в котором, среди прочего, были и такие строки:

Разные были ребята и всякие
В доме старинном напротив Исаакя,
Но у истока всех наших дорог
Вами зажженный горит огонек.

Самуил Яковлевич слушал речи и здравицы, принимал подарки, обнимал поздравителей, но, как нам показалось, был каким-то очень напряженным, словно старался уловить все время ускользнувшую мысль. А может быть, его просто утомила эта пышная церемония, потому что, когда надо было сказать ответное слово и он начал говорить, ему стало нехорошо, он разволновался и прервал речь. А потом, рассердившись на собственную слабость, махнул рукой и стал читать стихи. И, как всегда, это его успокоило.

После торжества несколько ленинградских писателей поехали провожать Маршака в гостиницу. Самуил Яковлевич позвал с собой и нас — бывших учеников ДДЛ. По дороге он немного отдохнул — в машине ему всегда дышалось легче, — и, когда мы добрались в номер, напряженность исчезла и Самуил Яковлевич превратился из «объекта юбилея» в самого себя.

Видно, ему нужна была разрядка, потому что он сразу же предложил спеть. Один из присутствующих поэтов знал «репертуар» Маршака, и они вдвоем стали петь старые и давно забытые песни. Пели о солдате, которому перед смертью жалко «жену — по закону, тещу — по привету», о гуляке, вопрошающем девицу, что она будет пить:

Или же пиво,
Или же вино,
Или же фиалку,
Или ничего?

И снова лукаво-жалобное: «Задумал богу помолиться...»

Самуил Яковлевич с таким удовольствием выговаривал слова, что видно было, как ему нравятся четкие ритмические повторы. И, едва кончив петь, он заговорил о том, как по-разному звучит песенный стих у разных народов. Украинский язык, например, особенно приспособлен для юмора, в нем есть замечательные слова — «манесенький», «маненесенький». Русскому языку присуща та великодержавность, которая необходима для высокой песни и которая, кстати, есть и в английском языке. Очень немногим большим поэтам удается совместить в своем творчестве народный юмор и высокий строй стиха. И, вероятно, успехи Твардовского в какой-то степени связаны с тем, что ему посчастливилось родиться на Смоленщине, на стыке России, Белоруссии и Украины.

Писатели ушли, а Маршак все не отпускал нас:
— Посидите еще. А я вам почитаю.

И стал читать, но тут же спохватился:

— Надо позвонить Шварцу!

Евгений Львович Шварц в это время тяжело болел (он умер месяц спустя) и, конечно, не смог быть на юбилее. Но организаторы вечера побывали у Шварца, записали его приветствие на пленку, и в притихшем зале Дома писателей прозвучал его негромкий голос.

— Ты был моим первым редактором,— говорил Шварц, и Маршак по привычке кивал, словно подтверждая это,— а первый редактор — это как первая любовь. С ним могут быть ссоры, могут быть примирения, но главного они не затрагивают. Главное остается на всю жизнь. И это главное — литература.

Евгений Львович говорил, и мы вспоминали его подвижную полнеющую фигуру, его корректную деловитость и доброжелательную иронию, и сама эта затея с поздравлением, прозвучавшим из репродуктора, стала казаться одним из тех розыгрышей, которые Шварц так любил. И вместе с тем это было самым теплым и дружеским словом за весь вечер.

Маршак с того и начал:

— Знаешь, Женя, твоя речь была лучше всех.— И, словно огорчившись, что Шварц не мог присутствовать на задуманной им постановке, добавил: — Как жаль, что тебя там не было.— А потом спохватился: — Ты слышал, говорят, есть чудодейственное лекарство.

И начал рассказывать об исцелении какого-то общего знакомого...

— Теперь надо Зоценко позвонить. Он был там, я видел. А в антракте почему-то ушел.

Мы тоже видели Зоценко. Его смуглое лицо стало еще темнее, не улыбочивые глаза еще более сузились. Сидел с краю, ни с кем не разговаривал.

Маршак, дозвонившись, спросил его:

— Почему вы не были на сцене?

Видимо, Зоценко объяснил, что он привык сидеть не в президиуме, а в зале.

Потом, выслушав ответ, прикрыл трубку рукой и громким шепотом сказал нам:

— Он говорит, что устал переучиваться.

Маршак часто восхищался Зоценко:

— Это огромный писатель! У него форточка всегда открыта на улицу, а не в коридор, как у NN. Зоценко первый сумел передать речь «безъязыких людей», тех, которых до

него в литературе не было. Ведь вы, наверно, замечали, что крестьянин, рабочий, служащий — все они говорят правильно, то есть ошибки в их речи не правило, а исключение. Ну а парикмахер? Официант? Банщик? У них свой язык. И Зощенко его открыл.

...Телефон продолжал звонить. Кто-то не успевший поздравить Маршака спешил наверстать упущенное. Юбилейный вечер затянулся далеко за полночь...

Наутро Самуил Яковлевич решил поехать по Ленинграду. Почти двадцать лет назад он перебрался в Москву, но все же полжизни прожито в Ленинграде! И мы поехали по памятным для Маршака местам. Побывали на Потемкинской, на улице Пестеля — знакомые дома, знакомые окна. Мелькнула бывшая 3-я гимназия в Соляном переулке. Тут же неподалеку, на Моховой, квартира, где жил юный Маршак у друзей В. В. Стасова. И Самуил Яковлевич вспомнил один из эпизодов, связанных с дорогим для него именем.

Среди многочисленных подопечных Стасова был молодой скульптор Герцовский. Во время одного из приездов Маршака из Ялты в Петербург Стасов познакомил его с Герцовским, и молодые люди стали встречаться. Из разговоров с Герцовским Маршак понял, что тот связан с каким-то революционным кружком, помогает ему в перевозке оружия и поэтому обязан соблюдать конспирацию. Однако, судя по всему, он ее не слишком строго соблюдал.

Как-то вечером Маршак заехал к Герцовскому на Васильевский остров. Окно было освещено, дверь открыли сразу, но в квартире оказалась засада. Два дюжих жандарма повезли Маршака в охранный отдел. И тут же начался допрос.

За столом сидел человек в штатской одежде и разбирал бумаги. Он протянул один из листов Маршаку:

— Это вам адресовано?

Действительно, сверху страницы было обращение к Маршаку, а потом шло письмо, в конце которого были нарисованы виселица и колыбель.

— Кажется, ваш приятель изволил предсказать свою судьбу? Он арестован, и бог знает, что его ждет. Может быть, и петля. Но при чем здесь колыбель?

Маршак пробежал глазами письмо и из туманных словозлияний Герцовского понял, что тот намерен жениться. Зная склонность Герцовского к символике, нетрудно было догадаться, что петля и колыбель воплощали в себе возможные перспективы будущего брака.

Но следователь не поверил этим объяснениям и, хотя 257

никаких улик против Маршака не было, на всякий случай пострадал его серьезными последствиями. И вдруг, изменив тон, порекомендовал не заниматься террором, а следовать учению графа Толстого, не отвечая на зло насилием. Это было так неожиданно, что Маршак с трудом удержался от смеха, несмотря на невеселую ситуацию.

Ночь он провел в одной комнате с безумно скучающим жандармом, который время от времени будил его и уныло тянул: «Послушайте, сыграем в шашки». А под утро явился следователь и весьма почтительно осведомился, знаком ли Маршак с действительным статским советником Стасовым, который его разыскивает.

Маршака сразу же освободили, и он зашагал по пустынным улицам к своему избавителю. Много позднее он узнал, что Герцовского выслали из Петербурга.

Остановились у здания Публичной библиотеки. Маршак вспомнил сослуживцев Стасова — хранителя рукописных сокровищ Ивана Афанасьевича Бычкова, неутомимого собирателя коллекции «Россика» Александра Исаевича Браудо и многих других, приходивших в начале века в круглый зал на втором этаже библиотеки. Часто в этом зале занимался и гимназист Маршак, имевший свое собственное место за одним из высоких шкафов. Может быть, в память об этом он до конца жизни посылал в библиотеку свои книги, немедленно отзывался на все ее просьбы, и Публичная библиотека по праву считала Маршака своим другом.

Проехали Исаакиевскую площадь, здание бывшего ДДЛ, свернули к Неве, и тут Самуил Яковлевич потребовал, чтобы мы остановились у «Медного всадника». Был хмурый декабрьский день, с неба сеял мокрый мелкий снег, сразу же таявший на асфальте, но Маршак, не слушая нас, вылез из машины и пошел к памятнику.

Вернулся он очень довольный:

— Вы помните у Блока:

Он спит, пока закат румян,
И сонно розовеют латы.
И тихим свистом сквозь туман
Глядится змей, копытом сжатый.

Так вот я проверил: у него сказано неправильно, а у меня, оказывается, правильно:

Вот на коне перед Сенатом
Застыл он, обращен к Неве,
В плаще широком и крылатом,
С венком на гордой голове.

Ведь Петр — он же в тоге, в плаще,— значит, и никаких лат у него нет. Ну теперь можно ехать дальше.

И снова за окнами машины замелькала Нева. Адмиралтейство... Дворцовая площадь...

Это был последний приезд Маршака в Ленинград.

3

Попадая в Москву, я бывал у Самуила Яковлевича, слушал новые стихи, разглядывал новые книги, появившиеся на полках в кабинете и в столовой (особенно запомнился томик Бернса, переплетенный в клетчатую шотландку и открывающийся надписью: «С благодарностью от автора и лорда-мэра Глазго»). Но вышло так, что в самые последние годы мне пришлось видеть Самуила Яковлевича не в привычной обстановке его московской квартиры, а совсем в другой.

Лето 1962 года Маршак провел в Тессели. Он жил неподалеку от бывшей дачи Горького, и с балкона его комнаты виден был сад, спускавшийся прямо к морю.

Самуил Яковлевич похудел, стал менее подвижен, но, стоило ему рассмеяться, и лицо молодело, а глаза щурились и прыгали под очками. В то время он работал над лирическими стихами, и рукопись лежала на его рабочем столе — непривычно маленьком по сравнению с московским.

— Послушайте, голубчик, мое любимое:

Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства,
В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь...

И сразу же Самуил Яковлевич заговорил о происхождении слов, вошедших в наш обиход, о тех извилистых путях, какие им пришлось пройти. Языковеды предпочитают заниматься историей необычных словосочетаний, а смысл простых понятий от них часто ускользает.

Взять, например, слова «ты» и «вы». Сперва во всех языках была одна-единственная форма обращения — «ты». Лишь когда сюзерены, желая подчеркнуть свое превосходство над вассалами, стали именовать себя не «я», а «мы», к ним в свою очередь стали обращаться на «вы». И понадобилось еще немало времени для того, чтобы эта грамматическая новинка приобрела более демократический смысл и стала вежливой формой обращения не только к вышестоящим лицам, а и ко всем людям.

Точно так же «мосье» и «сэром» звали сперва только короля (на Руси «господином» именовали соответственно князя или боярина), и лишь потом эти слова утратили свой исключительный смысл и вошли в обыденную речь.

Как важно было бы побольше рассказать людям об их языке и вообще об их прошлом, чтобы они представляли его не только по школьным учебникам!

И Самуил Яковлевич объяснил, какие книги ему хотелось бы увидеть: без академической сухости и вместе с тем без «художничанья», когда повествование приукрашивается ненужными деталями. В исторической литературе важно воссоздать характер людей и быта прошедшей эпохи, а не ее внешние признаки.

Все это отнюдь не исключает вымысла, — наоборот, иногда вымышленный эпизод может дать более яркое представление о времени, чем наудачу выхваченный подлинный случай. Но вымысел должен быть основан на знании фактов, а это, в свою очередь, зависит от общего объема знаний того, кто пишет.

— Как бы это объяснить? — Самуил Яковлевич задумался, но сразу же нашел подходящее сравнение: — Нужен такой рычаг, у которого плечо, образуемое знаниями автора, было бы длинным и крепким, и тогда отдача получится сильной и надежной. Жаль, что историки неохотно берутся за такие книги! Одного, правда, удалось уговорить, — Маршак вспомнил, как по его совету ленинградский профессор С. Я. Лурье написал книгу «Письмо греческого мальчика» и какой удачной она получилась.

Вообще Самуил Яковлевич был убежден, что каждый человек, хорошо знающий свое дело, может написать о нем так, что это будет интересно всем. И сколько таких «умельцев» — самых различных специальностей — Маршак ввел в литературу.

А как он умел угадывать таланты, как помогал им увидеть свет! Тогда, в Тессели, он рассказывал о новой рукописи, присланной ему на рецензию, особо отмечая своеобычность ее языка.

В этот день Самуил Яковлевич несколько раз принимался повторять полюбившиеся ему в рукописи слова, возвращаясь к ним, словно пробуя их на вкус и цвет. И тогда я понял, почему из всей книги лирических стихов самым дорогим для него было стихотворение «Словарь».

Когда в апреле 1964 года я ехал в подмосковный санаторий, где жил в то время Маршак, я думал, что увижу его в постели, — ведь он только что перенес тяжелую болезнь. Но уже в дверях комнаты я услышал полный энергии голос — Маршак сидел за рабочим столом и гневно разговаривал по телефону.

Оказывается, на днях у него побывал актер, собиравшийся читать по телевидению его стихи, и Самуил Яковлевич остался им очень недоволен.

— Я же ему все объяснил, — кричал он в трубку своему невидимому собеседнику, — и думал, что он понял. А вчера я видел передачу, но он читал совсем не так. Выходит, он ничего не понял! И потом, он их просто плохо выучил! Как надо читать? Вот вы приезжайте ко мне, почитасм и поговорим. — И, как всегда, быстро сменив гнев на милость, ласково попрощался: — Будьте здоровы, милый!

В этот раз на столе Самуила Яковлевича лежала рукопись книги лирических эпиграмм. И, словно продолжая только что оконченный разговор и желая показать, как именно должны звучать его стихи, Маршак стал читать новые четверостишия.

Все, кто слышали чтение Маршака, помнят его чуть сиплый, задыхающийся голос. Большинство поэтов читают, растягивая гласные, словно выпевая свои стихи на какой-то известный им одним мотив. У Маршака все было совсем по-другому: каждую строчку четко прошивал ритм, он входил в сознание слушателя с первой же строфы, как бы настраивая его на особый звуковой лад.

Эта звуковая основа, будто волна за волной, вздымала и доносила до слушателя ничем не затуманенный смысл стихотворения, всего стихотворения, а не отдельных слов и фраз, как это получается у большинства профессиональных чтецов. И если в сказках и балладах для детей ритмический рисунок напоминал (по признанию самого Маршака) детские считалки и дразнилки, то в лирических циклах все чаще звучал ямб: то патетический, то задумчивый, то скорбный.

После каждого стихотворения Самуил Яковлевич останавливался, поворачивал голову и ждал. Давал подумать. Если слушатель молчал, чтение продолжалось. Но когда Маршак догадывался, что хочется тут же, сразу, поделиться впечатлением об услышанном, он настойчиво выпрашивал: «А как, по-вашему?», — или: «Может быть, не стоит включать?»

Вопрос задавался не из вежливости: Самуилу Яковлевичу нужно было проверить отдачу своих стихов, и он проверял ее на каждом собеседнике. И если мнение слушателя расходилось с собственным мнением Маршака, он не успокаивался, пока не находил причину этого расхождения, и только тогда отвергал или принимал спорную мысль.

С ним было интересно спорить. Прежде всего потому, что с ним *можно было* спорить. И даже пороховая вспыльчивость Маршака, так часто прорывавшаяся в других случаях, во время спора о его собственных стихах сменялась настороженным и благожелательным вниманием.

...Самуил Яковлевич пригласил меня в Барвиху, чтобы подготовить для ленинградского «Дня поэзии» публикацию стихов моих товарищей по ДДЛ — Александра Катувльского и Юрия Полякова, погибших в начале войны. Мы знали, что на Шуру Катувльского Самуил Яковлевич возлагал особенно большие надежды. Ему нравился этот спокойный, сдержанный юноша, темперамент которого можно было обнаружить только в его крепких, мускулистых стихах о Хибинах, где работал его отец — известный геолог, о музыке, которую он увлекался, о море. Мать Катувльского сберегла его тетрадки, и Маршак слушал, одобрительно кивая головой, стихи, не увидевшие до тех пор свет:

Здесь якорь залогом удачи минутной
В смоленую землю зарыт
Затем, что кончается мир сухопутный
У этих изъеденных плит.
Здесь влажное небо разбито на румбы.
Шторма долетают сюда.
И, крепко держась за чугушные тумбы,
У стенки застыли суда.

Потом я стал читать стихи Юрия Полякова, чудом уцелевшие в блокированном Ленинграде и прошедшие через множество рук, прежде чем попасть ко мне. Сперва Самуил Яковлевич слушал их настороженно: он еще помнил бутафорскую романтику детских стихов Юрия, экзотичность их сюжетов и высокопарность формы. Но в последние годы перед войной с Полякова слетела, словно короста, былая словесная накипь, в стихи ворвалась жизнь, и он, будто предвидя недалекое будущее, писал:

На краю страны, у границы,
Окруженный кольцом дождей,
Все чернеет царь меднолицый
На гранитной глыбе своей.

И на площади тут же рядом,
Прошагав от ранней зари,
Останавливаются отряды —
Возле памятника покурить.
В кулаках горячи окурки,
Наползает горький дымок...
Скоро двинусь и я по гулким,
По широким плечам дорог.

Самуил Яковлевич не знал этих стихов: почти каждое он просил прочесть еще раз, оживился, разволновался, радуясь молодому таланту и одновременно сокрушаясь о его ранней гибели.

И мне показалось, что я снова на семинаре в «Доме детской литературы»: звучат стихи моих товарищей, и Самуил Яковлевич судит их своим строгим и добрым судом.

ОЗАРЕНО ЕГО ДУШОЙ ЖИВОЮ...



Самуил Яковлевич сидит в кресле, чуть склонив голову набок, что он делал всегда, когда слушал стихи. А мы, небольшая группа ленинградской детворы, громко именуемой победителями конкурса юных дарований, десяти-, двенадцати-, тринадцатилетние мальчики и девочки, выходим на середину белой, в зеркалах и с лепным потолком гостиной Ленинградского Дома писателя и читаем свои сочинения. Они, очевидно, чем-то пленяют Маршака, ибо он сияет так, словно слушает своих самых любимых поэтов.

Маленькая девочка с огромным бантом, которую без куклы трудно и представить, Верочка Скворцова, звонко и очень серьезно, не то печалась, не то радуясь, декламирует:

Детство, детство, ты несешься,
И летят, летят года.
Детство, детство, не вернешься
Ты ко мне уж никогда.
И спокойно дремлет кукла
В пыльном ящике в углу,
И валяются скакалки
В коридоре на полу...

Десятилетний «философ» Верочка оглянулась на свое «прошлое». Случайный ли это всплеск детской души или предвестник будущей индивидуальности поэтессы. Кто скажет? Но девочка, несомненно, одаренная (это подтвердила изданная Лениздатом в 1957 году, после смерти в тридцатилетнем возрасте Веры Скворцовой, ее книга «Стихотворения»). И Самуил Яковлевич подзывает Верочку к себе, что-то ласково ей говорит.

Затем выходит Коля Карякин, плотный крепыш в стоптанных валенках и выдавшем виды папкином свитере, который ему чуть ли не до колен. Сосредоточенно глядя в пол, он басит:

Избенка наша маленька.
В ней сыро и темно,
Я не один у маменьки —
Нас семеро было.

Коля делает ударение на последнем слоге, но у Самуила Яковлевича глаза влажнеют: за этой корявой рифмой — подлинность переживания, свежесть, искренность. Коля, как и Верочка, не «сочиняет» стихи, а рассказывает о том, чем жил и живет он, паренек из далекой бедной деревни. И это для Маршака главное в определении Колиной одаренности.

Затем Маршак просит прочесть стихи Сашу Катувльского. Высокий, голубоглазый, не по годам степенный Саша кажется в свои двенадцать лет уже «классическим» поэтом, когда читает поэму о Хибинах, о палеозое и мезозое, скандинавском каменном щите и о подвиге людей, пришедших в этот край. Стихи суровые, как Хибинские горы, полные внутренней энергии. Саша вместе с отцом-геологом побывал в экспедиции в этом северном крае. Его описания конкретны:

Словно рубин — эвдиалит.
Как сахар белый — апатит,
Темно-зеленый эгирин,
Подобный стали пирротин...

Самуил Яковлевич внимательно слушает, одобрительно кивает головой. Ему, несомненно, нравится точность, обстоятельность Шашиных наблюдений. Иногда Маршак что-то тихо говорит маленькой, очень подвижной, все время улыбающейся и, пожалуй, еще более восторженной, чем сейчас он сам, женщине (это редактор и писательница Тамара Григорьевна Габбе, впоследствии автор известной пьесы «Город Мастеров». Тамара Григорьевна помогала Самуилу Яковлевичу и в проведении конкурса, и на занятиях с нами).

О чем только не пишут ребята! Щупленький Илюша Меерович как будто сам скачет на коне рядом с Чапаевым и его лихими конниками:

И пошел строчить путевки
Прямо к богу пулемет...

Четырнадцатилетний Александр Новиков смотрит в заиндевелую даль Поморья. Отсюда отправляется в далекий 265

путь Михайло Ломоносов, которому он посвятил свою поэму. А Толя Бобков любит лес, и в его стихотворении «Книга зимы» живут и заяц, и волк, и сорока, и белка, и хорь...

Доходит очередь до меня. Я чувствую, что меня подхватывает какая-то волна и, уже ничего не видя и ничего не слыша, кроме собственного голоса, «уношусь» вместе со своим «Паровозом»:

Паровоз, паровоз,
Силы в тебе сколько!
Ты везешь тыщи тонн.
Как не лопнешь только!..

(Маршак передал этот «Паровоз» Корнею Ивановичу Чуковскому, и тот опубликовал его со своими комментариями сначала в одной из своих статей, а затем и в книге «От 2 до 5».)

Потом я стою около Маршака. Мои глаза находятся где-то на уровне ручки его толстой палки, с которой Самуил Яковлевич не расставался. Маршак спрашивает, кем бы я хотел стать, когда вырасту. Я уже об этом «серьезно» размышлял. У меня написаны по этому поводу стихи, и я тут же выпаливаю:

Или буду я поэтом,
Или подзаборным шкетом.

Теперь слово «шкет» — мальчишка, сорванец, беспризорник — ушло из нашего лексикона, но в тридцатые годы (а все вышеописанное происходит осенью 1933 года) оно было весьма в ходу. Самуил Яковлевич смеется.

Вскоре в беседе с корреспондентом ленинградского журнала «Резец» Маршак сказал, что трудно предвидеть, будет ли в будущем кто-либо из детей, отмеченных на конкурсе, профессиональными писателями, поэтами. Но задача Дома детской литературы (так был неофициально назван своеобразный детский, позволю себе сказать, литинститут, который организовал и возглавил после конкурса Самуил Яковлевич) — помочь тому, чтобы из этих ребят выросли культурные, всесторонне образованные люди, полезные своей Родине, на какой бы работе они ни оказались.

В большой статье «Замечательное явление», опубликованной в «Правде» 1 мая 1934 года, Самуил Яковлевич, цитируя и комментируя стихи юных поэтов — участников конкурса, писал: «Этот конкурс, как и все детские конкурсы, — дело интересное и опасное. Опасность его в том, что

ребята получают какой-то преждевременный патент на звание поэта. А интересность и значительность — в проявлении тех вкусов и склонностей, которые свойственны школьникам 1934 года.

Достаточно просмотреть десяток их листков и тетрадей, чтобы убедиться в том, что это не воспитанники Петербургского классического лицея, а самые настоящие советские ребята...»

И далее: «Все то, что ребята берут от современной поэзии, и взрослой и детской, они как бы устанавливают на прочном постаменте классического стиля, если понимать этот стиль в самом широком смысле, включая сюда и крупную тему и строгую, чистую форму.

Это радостное и замечательное явление. Значит, правда, что у нас уже создается большая и самая демократическая из всех культур, если даже первые прививки, первые годы всеобщей грамотности дают такие ростки.

Мы, детские писатели, должны помнить, какие ответственные обязанности возлагает на нас наша аудитория».

В организации Дома детской литературы (ДДЛ, как мы его звонко именовали между собой и в своих стихах), во всей постановке и направленности дела выразилась личность Маршака, его взгляд на литературу, его понимание необходимых условий формирования и развития творческой молодежи.

Самуил Яковлевич никому из нас не советовал, когда мы беседовали с ним о нашем будущем, поступить после окончания средней школы на филологический факультет университета. К таким намерениям он относился весьма настороженно, если не сказать — с опаской. Маршака беспокоила возможность нашей ранней литературной профессионализации (увы, он не мог тогда знать, что большинству его питомцев угрожала отнюдь не эта все же несколько отвлекенная опасность. Когда началась Великая Отечественная война, многие из наших товарищей пали на фронтах, погибли в блокадном Ленинграде). Он считал, что необходимое литературное образование писатель может получить и сам, знакомясь со всем богатством мирового художественного творчества. Зато весьма поощрительно Маршак поддерживал тех, кто собирался в медицинский, политехнический, строительный институты, на математический и исторический факультет ЛГУ. Он любил напоминать, что Чехов получил специальность медика и практиковал как врач. Он внушал нам, сколь необходимо писателю обрести некую «жителей-

скую», нелитературную специальность, изучить какую-нибудь отрасль науки или ремесла, стать мастером этого дела, войти в тот мир, который образуется людьми данной профессии. Он хотел видеть нас прежде всего инженерами, педагогами, архитекторами, врачами, моряками, лесничими, короче — людьми не слова (в его узко профессиональном, литературском значении), а дела.

Через месяц-два после конкурса и той встречи с Маршаком, о которой рассказывалось выше, нас приютил огромный шестиэтажный дом Института театра и Музея музыкальных инструментов на Исаакиевской площади. Здание это — мрачное, выкрашенное в какой-то однообразно каменно-серый, почти черный цвет. Его большие зеркальные окна всегда поблескивали «академическим» холодком. Но два раза в неделю по вечерам этот солидный особняк оглашался радостными криками детворы. ДДЛ было отведено несколько комнат на самом верхнем этаже здания. Правда, просто комнатами те прекрасные помещения, где проходили наши занятия, называть несправедливо. Это были в полном смысле слова старинные гостиные, с многостворчатыми застекленными дверями, большими трюмо, дорогой мебелью, стульями, и креслами, обитыми красивой дворцовой тканью. Богатство, подаренное нам, не было чем-то исключительным. В те годы, когда страна еще завершала первую пятилетку, когда многого не хватало, для детей старались сделать все, что можно. И недаром в те же годы одно из самых прекрасных и богатых зданий Ленинграда, бывший царский Аничков дворец, было передано под Дворец пионеров.

Наши занятия в ДДЛ (а мы собирались там два раза в неделю по вечерам) были построены прежде всего с «прицелом» на жизнь: мы должны были знать все, что совершалось тогда в стране, на ее новостройках, в атмосфере повседневного энтузиазма народа, который от мала до велика жил в юношески-восторженном ощущении красоты и значения своей нелегкой, но такой прекрасной работы.

Оглядываясь назад, поражаешься обширностью программы и преподавательским составом, подобранным для ДДЛ Маршаком. Для нас устраивались встречи с самыми интересными, самыми знаменитыми людьми различных профессий и биографий, с теми, кто в те годы чем-нибудь ярко проявил себя, прославил в труде, науке, в творчестве. (Маршак сам жадно тянулся к таким людям, любил беседовать с ними всегда не без тайного умысла: а может быть, это автор будущих книг для детей. Ведь именно так приходи-

ли в детскую литературу многие из тех, кого встреча с Самуилом Яковлевичем подвигла впервые на писательский труд.)

И вот в течение нескольких вечеров к нам приходит помощник капитана ледокола «Сибиряков» (служивший затем штурманом на «Челюскине») М. Марков и рассказывает о плавании этих кораблей в Арктике, о гибели «Челюскина», о героической эпопее челюскинцев, зимовавших на льду, о беспримерных в то время полетах наших полярных летчиков, которые спасли потерпевших. Затем по приглашению Маршака к нам приезжает известный полярный исследователь профессор В. Визе и знакомит с историей покорения Арктики, ее значением для Советской страны. У меня до сих пор каким-то чудом сохранились тетрадки с записями этих интереснейших встреч.

А на следующей неделе мы слушаем воспоминания о гражданской войне одного из прославленных ее героев, командира, заместителя командующего Ленинградским военным округом В. Примакова. Потом приходит прославленный руководитель ЭПРОНа — экспедиции подводных работ особого назначения — Фотий Крылов. (В те годы об эпроновцах говорила вся страна. Они подняли со дна морей множество кораблей, затонувших еще в период первой мировой и гражданской войн.) Сказительница народных былин и прославленный шахматист, врач «скорой помощи» и физик-ядерщик — ближайший сотрудник академика Иоффе...

По воскресеньям три-четыре часа мы проводили в Эрмитаже. Рафаэль, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Рубенс, «маленькие голландцы» открывались нам в эти незабываемые часы. По личной просьбе Самуила Яковлевича для занятий с нами были и здесь привлечены самые опытные, самые квалифицированные искусствоведы.

И, конечно, были у нас занятия и по литературе. О жизни и творчестве Пушкина любовно, подробно, как будто сам все видел, слышал, помнил, рассказывал известный пушкинист Александр Слонимский. О литературе Древнего Египта, о вавилонском эпосе — академик В. Струве.

В ДДЛ приезжал Адриан Пиотровский, выдающийся исследователь и переводчик античных авторов. Человек высокой культуры и разносторонних знаний, он работал в то время главным редактором «Ленфильма». С его именем, творческой энергией, фантазией, вкусом связано создание таких всемирно прославленных шедевров советского кино,

как «Крестьяне», «Депутат Балтики», «Чапаев» и ряд других. Пиотровский читал нам лекции об Эсхиле, Софокле, Феогниде, Гесиоде, Катулле...

Но наиболее любимыми и волнующими, несмотря на все огорчения, которые почти каждому из нас нередко приходилось испытывать, были вечера, когда с нами занимался Самуил Яковлевич и когда мы читали ему свои стихи и вместе с ним разбирали их.

Обсуждения всегда были жаркими, мнения высказывались со всей юношеской горячностью и максимализмом. Вспоминаю, как разгорались, например, споры по поводу стихов талантливого Юры Полякова (он, как и Саша Катульский, погиб в первые месяцы Великой Отечественной войны). На многих из нас поначалу магически действовали строки Юриного стихотворения, заканчивающегося так:

...Когда закат наденет свой гематий
И в колесницу запряжет коня.

Никто из нас не знал, что такое гематий, но перед подобной эрудицией мы почтительно робели.

Но вот Самуил Яковлевич с его абсолютным слухом начинал свой разбор, и только что ослеплявшие нас загадочностью и красотой неведомые (и тем более заманчивые!) «гематии» теряли свою завораживающую силу. И сам Юра задумывался над истинной ценностью подобных подражаний привлечшим его образцам. Его стихи год от года становились все строже, освобождаясь от налета литературщины, и кто знает, возможно, он вырос бы в большого поэта.

Чтобы развивать наш вкус, Маршак читал нам стихи своих любимых авторов — Пушкина, Некрасова, Дениса Давыдова, Баратынского, Жуковского, Бунина, Блока, Маяковского, Хлебникова.

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок
Корчит либерала,—

чуть глуховатым голосом скандировал он «Современную песню» Дениса Давыдова. Он хотел, чтобы мы почувствовали это ошеломляющее столкновение обыденного «обиралы» и интеллектуального «либерала», сатирически взрывное соединение несоединимых, уничтожающих друг друга определений, в неожиданной сшибке которых как раз и раскрывалась истинная сущность «модных бредней дурачка».

Часто повторял нам Самуил Яковлевич стихи Баратынского «Не бойся едких осуждений». Особенно любил он заключительные строки:

Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.

И, конечно, всегда дело заканчивалось тем, что мы просили Маршак почитать его собственные новые оригинальные стихи или переводы. И, как правило, у него находилось нечто, еще неизвестное нам. То это был «Мистер Твистер», то переводы из Бернса, над которыми он тогда начал работать, то стихи совсем неведомого нам Вильяма Блейка, то английские народные баллады.

Если мне не изменяет память, именно в те годы Самуил Яковлевич перевел «Старую дружбу», «Честную бедность», «Дженни», «Финдлей» и ряд других шедевров Бернса, и мы были одними из первых слушателей этих переводов, ныне вошедших в сокровищницу советской переводческой классики.

Не раз по нашему настоянию читал Маршак английскую народную балладу:

Королева Британии тяжело больна,
Дни и ночи ее сочтены.
И позвать исповедников просит она
Из родной, из французской страны...

Простота и поразительная сила этой поэтической простоты не сразу открывались нам, но постепенно мы учились постигать и ценить эти качества истинно высокой поэзии. А иногда Маршак приводил почитать нам стихи своих взрослых учеников-поэтов — Д. Хармса, А. Введенского, С. Михалкова — или с восторгом читал нам только что появившуюся «Страну Муравию» Твардовского.

Летом, как правило, мы под неусыпным попечением директора ДДЛ Абрама Борисовича Серебрянникова, замечательного человека, энтузиаста детской литературы, каких умел находить и объединять вокруг себя Самуил Яковлевич, совершали интереснейшие туристические походы по Кавказу, пароходные поездки по Днепру, Оке, Капе, Белой, встречались со школьниками, выступали в воинских частях. Немало дней в этих путешествиях проводил с нами и Маршак. Где он находил для этого время и силы при своей колоссальной

занятости в издательствах, редколлегиях, при своем буквально почти круглосуточном творческом режиме,— теперь даже трудно понять. В одну из таких поездок мы должны были побывать у Алексея Максимовича Горького, который очень интересовался Домом детской литературы и подробно выспрашивал о нем Самуила Яковлевича. Но за четыре дня до намеченного срока нашей поездки Горького не стало.

Маршак знал все о каждом из нас, о наших родителях, учебе в школе, здоровье. И всегда кому-то доставал нужное лекарство, кого-то устраивал в оздоровительный лагерь, а мне выхлопотал совершенно невероятное в то время разрешение совершить рейс в Англию на теплоходе, где мой отец служил судовым врачом.

Эксперимент, предпринятый в Ленинграде Маршаком в Доме детской литературы, не был доведен до конца. По ряду причин Самуил Яковлевич через три года после организации ДДЛ вынужден был переехать в Москву. И хотя наши занятия еще некоторое время продолжались и многие хорошие и заботливые воспитатели работали с нами,— Маршака рядом уже не было. В те годы в ходу было выражение: незаменимых людей нет. Но Маршак был и остался незаменимым.

А из переживших войну воспитанников ДДЛ вышло немало в самом деле замечательных людей — литераторов, педагогов, философов, естествоиспытателей.

Каждый раз, когда я приезжаю в Ленинград, я непременно прохожу по Исаакиевской площади, мимо большого, мрачного, кажущегося необитаемым дома. Я смотрю на него сквозь ушедшие годы и вижу шумную ватагу радостных юнцов, спорящих до хрипоты о поэзии, о ее будущем и о том, будет или не будет скоро война.

Мрачный дом сверкает для меня всеми огнями. Он полон радостных голосов. И среди них самый дорогой — чуть глуховатый голос Самуила Яковлевича. Он открывает нам дороги в большой, прекрасный человеческий мир, дарит радость познания жизни и искусства.

Поистине, как писал Маршак:

Все то, чего коснется человек,
Озарено его душой живою.



С. В. Михалков, М. Ильин (И. Я. Маршак), С. Я. Маршак, А. Л. Барто, М. И. Калинин, А. Н. Толстой, М. И. Алигер, К. М. Симонов, Е. А. Долматовский после вручения орденов в Кремле. Март, 1939 г.



В кабинете С. Я. Маршака (на руках внук Алеша). 1939 г.



Л. М. Квитко и С. Я. Маршак. 1939 г.



С. Я. Маршак выступает перед танкистами при вручении им танка «Беспощадный», который был построен на средства лауреатов Государственной премии С. Я. Маршака, Н. С. Тихонова, художников Кукрыникова и В. М. Гусева. Весна, 1942 г.



Герой Советского Союза М. Габдуллин, С. Я. Маршак и акын Джамбул.



*У выхода из аэропорта в Глазго. А. А. Елистратова, Эмрис Хьюз,
С. Я. Маршак (слева направо). Январь 1945 г.*



*С. Т. Коненков, С. Я. Маршак, И. Л. Андроников, В. Б. Шкловский,
И. Ильинский (слева направо). 1946 г.*



На выставке художника П. Кончаловского. С. Я. Маршак, П. Кончаловский, С. Мизоэлс. 1947 г.



*С. Я. Маршак выступает на одной из детгизовских конференций.
1947 г.*



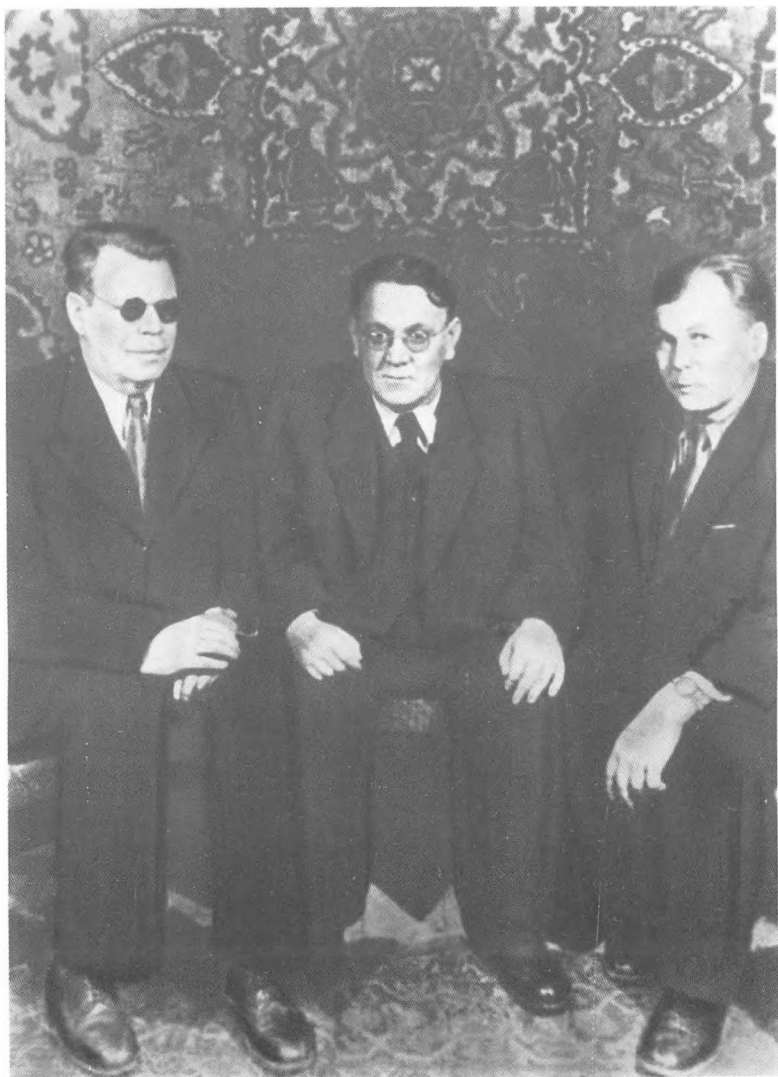
С. Я. Маршак с сыном Иммануэлем в редакции газеты Военно-Воздушных Сил по случаю присуждения И. С. Маршаку Государственной премии 1947 г.).



*С. Я. Маршак в Центральном Доме художественного воспитания детей
(среди участников спектакля «Двенадцать месяцев»).*



С. Я. Маршак с женой С. М. Маршак. Рижское взморье, 1948 г.



М. В. Исаковский, С. Я. Маршак, А. Т. Твардовский. Конец 40-х годов.



С. Я. Маршак. 1949 г.



*М. М. Пришвин и С. Я. Маршак на праздновании Недели детской книги.
Конец 40-х годов.*



Крым. «Артек». 1952 г.

ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА

я

познакомился с Маршаком в середине тридцатых годов. В ту пору я сочинял лирические стихи и тексты для песен, довольно часто исполнявшихся с эстрады и по радио. Как поэт-песенник, я получил однажды приглашение от пионерского отдела Московского комитета комсомола принять участие в конкурсе на пионерскую песню. Я отнекивался, ссылаясь на незнание пионерской жизни. «Мы вам поможем», — пообещала мне энергичная девушка-инструктор. И действительно, через несколько дней с комсомольской путевкой в кармане я выехал в один из пионерских лагерей Подмосковья, где прожил с ребятами около месяца. Вместе с ними ходил в походы, купался, удил рыбу, зажигал пионерские костры.

По возвращении я написал несколько песен и совершенно неожиданно для себя несколько веселых детских стихов, которые снес «на пробу» в редакцию журнала «Пионер». Редактором журнала был Борис Ивантер, талантливый писатель и журналист, один из неутомимых организаторов детской литературы (он погиб на фронте в первые же месяцы войны). Мои стихи Ивантеру понравились и тогда же (в 1935 году) появились на страницах «Пионера». Успех меня окрылил. Теперь я дерзнул сочинить целую поэму для ребят. Это был первый вариант «Дяди Степы».

Прочитав поэму, Ивантер сказал:

— Ну вот, теперь вы начали всерьез писать для детей. Надо бы вас познакомить с Маршаком.

Маршак в ту пору жил в Ленинграде. И вот редакция «Пионера» командировывает меня с рукописью «Дяди Степы»

на «консультацию» к Самуилу Яковлевичу. Это была вторая в моей жизни творческая командировка. Первой я считал недавнюю поездку к пионерам Подмоскovie. Признаться, не без душевного трепета в один прекрасный день я входил на Невском проспекте в здание Ленинградского Дома книги, где в нескольких тесных комнатах помещался Детский отдел, возглавлявшийся Маршаком.

Самуил Яковлевич принял меня сразу же. И «Дядю Степу» прочитал при мне, немедленно. Таков уж был стиль работы в этой редакции, где каждого нового человека встречали так, будто его самого и его рукопись давно уже здесь поджидали. Разговор с Маршаком мне хорошо запомнился. И если впоследствии я не счел своего «Дядю Степу» случайным эпизодом в литературной работе, а продолжал трудиться для юного читателя, то в этом, может быть, прежде всего заслуга дорогого Самуила Яковлевича.

За «Дядю Степу» он похвалил меня, но одновременно и пожурил, объяснив, что мой добрый великан Степа Степанов должен еще подрасти духовно. Юмор детских стихов, говорил он, заблестает еще ярче, если вы не побоитесь дать простор лирическому чувству. Лирика, как и юмор, одинаково необходимы в детских стихах.

В тот же день Самуил Яковлевич отвез меня в детский клуб, душой которого он был. Несколько десятков одаренных ленинградских ребят, любящих литературу и пробующих свои силы в стихах и в прозе, были воспитанниками этого клуба. Маршак представил меня как молодого московского поэта и заставил прочитать «Дядю Степу».

Вообще надо сказать, что с первых шагов своей литературной работы мне посчастливилось встречаться, пользоваться советами и поддержкой таких больших мастеров литературы, как Александр Фадеев и Алексей Толстой, Самуил Маршак и Корней Чуковский. И хотя сейчас уже никого из них нет в живых, мне кажется, я до сих пор еще ощущаю тепло их добрых, дружеских рук.

Конечно, Маршак был строгим и требовательным наставником. И в то же время наставником мудрым. Он был нетерпим к дурным стихам, но он был глубоко убежден, что поэтам, в особенности поэтам молодым, сперва нужно указывать на сильные стороны их творчества, а затем уже на слабые, отмечать то, что безусловно получилось, и обычно

начинал беседу с оценки лучших строк и строф, советуя подтягивать до их уровня все остальные. Так он говорил и о моем «Дяде Степе», в первую очередь сосредоточившись на том, что, с его точки зрения, заслуживало одобрения.

И впоследствии, когда я приходил к нему, уже на московскую квартиру, в его прокуренный кабинет, где Самуил Яковлевич безотрывно трудился за своим письменным столом, поистине с фантастическим упорством, отдаваясь творчеству и нисколько не заботясь о своем здоровье, он с прежним вниманием и доброжелательством слушал и читал мои новые стихи. Помню, он не раз повторял дорогую ему мысль и написал ее в статье к моему 50-летию, что любимыми становятся только такие детские писатели, которые по-настоящему одарены живым воображением, непосредственностью чувств, способностью играть всерьез.

Нужно ли говорить, как я ценил эти встречи, как дороги мне были душевность и доброжелательность замечательных поэтов старшего поколения: Корнея Ивановича Чуковского, который, узнав о том, что я (тогда еще совсем молодой поэт) награжден орденом Ленина, приехал ко мне домой, чтобы поздравить с высокой наградой, Самуила Яковлевича Маршака, который рано утром или поздно ночью звонил мне по телефону, чтобы высказать мнение о новых моих стихах и баснях, попадавшихся ему на глаза.

Кажется, я научился узнавать Маршака не только по глуховатому, задыхающемуся голосу, но и по самому телефонному звонку, как казалось мне, напористому, нетерпеливому...

Высказав мне несколько точных, пронизательных суждений, он обычно добавлял в конце:

— И никогда не забывайте, голубчик, что по книгам детских писателей ребенок учится не только читать, но и говорить, но и мыслить, чувствовать...

«Друг мой, Маршак!» — так говорил о Самуиле Яковлевиче великий Горький. Вместе они создали детскую литературу, воспитавшую не одно поколение героев, разгромивших фашизм, покоривших целину и космос, строящих сегодня самое справедливое в истории человечества общество и отстаивающих мир на земле!

Со смертью Самуила Яковлевича Маршака опустел капитанский мостик большого корабля советской детской литературы... Но корабль будет уверенно продолжать свой путь по солнечному курсу, будет по-прежнему открывать

для наших детей чудесные архипелаги Новых стихов, Новых повестей, Новых сказов...

И это будет лучшей памятью прославленному капитану той литературы, которая отвечает перед человечеством за будущее планеты.

Мы знали бойца — Маршака,
И вдруг его рядом не стало —
Упал знаменосец полка,
Но знамя полка не упало!

Бойцы продолжают поход,
На знамени солнце играет,
Маршак с нами рядом идет:
Поэзия — не умирает!

ПОД ДОРОГОБУЖЕМ И ЕЛЬНЕЙ

Этот рассказ записан со слов комиссара 7-й Московской дивизии народного ополчения Бауманского района полкового комиссара П. М. Лукина и начальника Политотдела той же дивизии батальонного комиссара Н. Г. Охалкина, которые встречались с С. Я. Маршаком в сентябре 1941 года на Дорогобужском рубеже обороны.



Сентябрь 1941 года. Первые, тягчайшие месяцы Великой Отечественной войны. Люди различных профессий, возрастов вступали добровольцами в дивизию народного ополчения. И в нашу 7-ю Бауманскую дивизию пришли рабочие и инженерно-техническая интеллигенция, зеленые юнцы и люди с поседевшими головами, коммунисты и беспартийные, мужчины и женщины, юноши и девушки.

Никто не поднимал вопроса о чинах, званиях и должностях — все хотели занимать единственную должность — защитника Родины.

В 7-й Бауманской дивизии в период ее боевых действий в районе Дорогобужа (в двадцатых числах сентября 1941 года) побывал Самуил Яковлевич Маршак. Приехал он к нам вместе с профессором-историком доктором исторических наук Э. Б. Ганкиной, которая прочла в нашей дивизии несколько интересных лекций на политические темы.

Это было перед суровыми испытаниями. Менее чем через десять дней началось октябрьское наступление Гитлера на Москву с прорывом на Вязьму — Можайск. 2 октября дивизия была отрезана и окружена и вскоре потеряла в ожесточенных боях почти весь свой личный состав.

Приезд посторонних людей в расположение действующей боевой части был тогда категорически запрещен — это была сплошная нелегалщина. Но многие товарищи в Москве рвались к нам. В дивизию Маршак был приглашен комиссаром (только что был введен институт комиссаров), который ненадолго уезжал в Москву. Кстати, за этот визит

комиссару позже здорово попало от начальника Политуправления Красной Армии А. С. Щербакова.

— Ты что это там партизанишь? — сказал он ему однажды. — Таскаешь к себе людей, никого не спрашивая!

Так вот, приехал Маршак к нам из Москвы на машине начальника Политотдела дивизии. С дороги остановились в штабе. Маршака представили командованию. Нашли помещение для ночевки, организовали обед. За обедом завязалась беседа о положении на фронте. Маршаку рассказали обстановку. Доктор экономических наук Файнгар (он был учеником академика Варги) разъяснил Маршаку, что «нынешняя война — это война резервов и горючего» и что ресурсы Германии скоро иссякнут. Мы, оперативники, понимали, что это не так, что Германия рухнет далеко не сразу. Маршак обратился к комиссару:

— А вы, товарищ комиссар, как, думаете, пойдет война?

Комиссар ответил ему, что трудно быть провидцем, но что, по его мнению, предстоит жестокая, упорная борьба.

После обеда Маршак сказал:

— Спасибо, что все рассказали. Хотелось бы побывать в районе боя. Я уже акклиматизировался. Имеете ли вы возможность показать мне участок фронта? Меня, как магнитом, притягивает один пункт — хотелось бы руками пощупать, что делается под Ельней.

Это было не наше направление. Но один наш батальон (3-й батальон 19-го полка, которым командовал старший лейтенант Савченко) участвовал в боях под Ельней. Начальник разведотдела штаба дивизии Дегтярев стал возражать.

— Мы, — говорил он Маршаку, — там с вами подвергнемся большому риску. Нам-то это по штату положено. А если с Маршаком что случится?

Маршак это услышал и опять обратился к комиссару:

— Я вас очень прошу, товарищ Лукин, предоставьте мне такую возможность. Буду во всем подчиняться.

В Дорогобуже была тогда относительно мирная территория. А под Ельней был очень горячий участок — то мы немцев потесним, то они нас. Немцы там закопали в землю танки, превратили их в доты.

Мы гордились приездом Маршака. И комиссар сказал:

— А вдруг побывает там Маршак да напишет стихотворение?

Нужно было тут же решать. И комиссар принял на себя

ответственность. Отвел Маршака на КП, попросил подождать, пока все подготовят. Взяли двух человек из разведчасти и пошли, приказав никому об этом не говорить. Путь был порядочный — надо было выбраться на левый фланг, левее Дорогобужа. Весь наш фронт по линии обороны занимал километра три-четыре. Сразу за КП начиналась зона артиллерийского обстрела, потом — ближнего боя, всех видов огня, в том числе минометного. Двигались мы ночью и попали в обстановку ночного оборонительного боя с обеих сторон. Все время шла обработка переднего края противника. Действовали все виды боевого освещения: трассирующие пули, САБы, вспышки от неприцельного минометного обстрела.

Начали попадаться трупы немцев, подбитая техника, перевернутые повозки. Поблизости возились похоронные команды. В общем, тут Самуил Яковлевич столкнулся с настоящими условиями боя.

Комиссар спросил Маршака:

- Может, хватит, товарищ Маршак?
- А что, — отвечает он, — нам еще далеко?
- Да километра полтора еще будет.
- Давайте, товарищ Лукин, пройдем.

Начал работать немецкий шестиствольный миномет. Пришлось залечь. Немного мы там полежали — минут двадцать. Один товарищ из разведотдела прошел вперед.

У Самуила Яковлевича был с собой яркий фонарик. Он то и дело его зажигал и что-то записывал. Продвинулись еще. Тут уж мы сами не стеснялись пригнуться и он тоже. Разведчик то и дело командовал:

— Ложись!

Самуил Яковлевич сразу ложился, только не по-военному, бочком. Ну, мы от него не требовали, чтобы он это выполнял, как положено, — считали, пусть делает, как ему удобнее.

Мимо нас перебегали санитары с носилками, много вокруг было трупов — наших и немецких.

Маршак все старался приподняться, оглядеться вокруг. Сопровождавший нас товарищ из разведотдела сказал категорически:

— Дальше, товарищ комиссар, ни вам, ни ему двигаться нельзя.

До самого переднего края оставалось чуть больше километра. Начали выходить из зоны огня. Когда вышли, комиссар почувствовал большое облегчение — ведь вся ответственность за Маршака лежала на нем.

При выходе из опасной зоны остановились. У комиссара была с собой баклажечка. Налил наперсточек, предложил Маршаку. А он говорит:

— Ну что ж, давайте.

Когда вернулись на КП, Самуил Яковлевич искренне поблагодарил комиссара.

В следующие дни (Маршак пробыл у нас в дивизии с 21 по 24 сентября) начальник Политотдела возил Самуила Яковлевича по подразделениям. Маршак выступал перед бойцами с чтением стихов.

Противник бомбил населенный пункт, где мы находились. А Маршак читал в это время в сарае бойцам:

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее...

Объездили все полки — начальник Политотдела все время неотступно находился с Маршаком. В каждом подразделении — батальоне, роте, где только представлялась возможность, — Самуил Яковлевич выступал со стихами. Читал он и свои переводы, и детские стихи, и боевую сатиру, в том числе и сочиненную экспромтом, тут же, среди нас. Приходилось ему выступать в полуразрушенных сараях, скотных дворах, на лесных полянах — при разнообразной обстановке и в различных ситуациях. Он быстро находил общий язык в любой аудитории. Его всюду одинаково встречали — с искренним уважением, теплотой и благодарностью: и офицеры штаба дивизии, и бойцы различных подразделений.

Когда наши войска выбили гитлеровцев из Ельни и отогнали их на несколько километров к западу, мы побывали с ним в этом страшно разбитом городе. Там ему передали каску, оставшуюся от убитого фашиста. Он по-юношески был рад такому трофею, который с гордостью повез в Москву как вещественное доказательство того, что ополченцы-бауманцы не оставляют безнаказанными тех, кто осмелился топтать нашу священную землю.

23 сентября в номере десятом нашей дивизионной газеты на первой полосе были напечатаны, ставшие потом знаменитыми, стихи Маршака «Аттестат зверости» («...Юный фриц, любимец мамин, в класс пришел сдавать экзамен...»). После возвращения Маршака в Москву в «Известиях» от 28 сентября 1941 года было напечатано его стихотворение «Детский дом в Ельне» и в «Правде» от

6 октября 1941 года — «Памяти героев» (позже, в собрании сочинений, Маршак дал ему другое название — «Боевое прощание»). Оба эти стихотворения были написаны под впечатлением поездки Маршака на фронт в район Дорогобуж — Ельня.

Перед отъездом Самуила Яковлевича у нас возникла идея сфотографироваться с ним в расположении нашей дивизии. Мы встали перед бытовкой, в которой обедали, и сфотографировались. На снимке вместе с Маршаком оказались профессор Э. Б. Ганкина, комиссар и начальник Политотдела дивизии. Снимок мы сохранили. Сейчас он находится в экспозиции, показывающей историю нашей 7-й Бауманской дивизии народного ополчения.

С КУКРЫНИКСАМИ



ончился парад на Красной площади.

Мы с Маршаком пробиваемся к ГУМу, чтобы как-нибудь попасть домой. Он очень устал, простояв три часа на трибунах. Но пройти не так-то легко. На каждом шагу шеренги военных, закрывающих выход.

— Товарищ майор! Пропустите, пожалуйста, нас, мы хотим пройти к Дому союзов, там машина. Это настоящий Маршак, он очень устал, мы идем домой...

Военный в парадном мундире и белых перчатках берет у меня удостоверение Маршака, раскрывает, делает под козырек, щелкая каблуками.

— Пожалуйста, товарищ Маршак, проходите!

— Спасибо, милый! — тихо бормочет Самуил Яковлевич и протягивает руку майору.

Тот встряхивает ее двумя руками:

— Очень рад познакомиться!

— И я тоже...

Проходим несколько шагов, снова цепь военных. Опять я обращаюсь к начальству, говорю те же слова. Маршак в это время или прислоняется к стене, или, опираясь на палку, наклонив голову вбок и закрыв глаза, тяжело дышит.

Снова улыбка капитана, радость знакомства, рукопожатие. Несколько шаркающих шагов Маршака до следующей преграды.

Вот пройдено не меньше десяти заслонов, и мы выходим на простор Манежной площади. Маршак смотрит вокруг и спрашивает:

- Это Театральная площадь?
- Нет, что вы.
- А почему же тут Большой театр?
- Это же Манеж.
- А как похож, и колонны есть...

Давно уже известно, что Самуил Яковлевич плохо знает Москву, и не только потому, что он долго жил в Ленинграде, а просто ему не приходится по ней ходить. Некогда. Он ездит на машине, иначе невозможно всюду попасть. А сейчас он еще и немножко шутит.

Бывали и смешные случаи. Как-то в темноте он вышел из машины на перекрестке и, не зная куда идти, спросил прохожего:

- Скажите, как пройти на Остоженку?
- Не знаю, я и сам пьян... — ответил тот.

Но зато в машине Маршак чувствует себя почти как дома.

Как-то вечером я позвонил С. Я. и напросился к нему в гости. Он принял меня радушно и сразу начал интересный разговор о поэзии и поэтах.

Маршак говорит, что музыкальность и смысл должны быть едино слиты в стихе. Поэт, передающий в стихах только содержание, но не чувствующий музыки, обедняет свои стихи. Другой создает звучные, но бессодержательные. Он считает, что талантливый поэт Б. Слуцкий недостаточно музыкален, грешит этим и Е. Евтушенко, хотя сюжеты его стихов очень актуальны. А. И. Сельвинский излишне музыкален, но не всегда содержателен.

— Хорошо это умели сочетать Блок и Пастернак. Вообще Блок был для меня образцом благородства и чистоты. Помню, в молодости я шел как-то белой ночью по пустынной набережной Невы под руку со случайно встретившейся женщиной... Мы говорили о пустяках. И вдруг вижу: стоит у решетки черный силуэт. Это был он — Блок. Высокий, бледный, с одухотворенным лицом. Он узнал меня. Мы поклонились друг другу. И мне вдруг стало так стыдно от этого контраста...

Маршак умел почти по-детски раскаиваться в своих ошибках. Долго переживал и ругал себя:

— Для чего мне нужно было говорить это?! Как ужасно!.. И все это заметили!..

Его подчас капризный характер, бурная раздражительность и ставшие привычными жалобы на здоровье — все с лихвой перекрывалось сверхчеловеческой трудоспо-

собностью, безмерной талантливостью, остроумием, образованностью.

В густой сизой дымке курева, ссутулясь и как бы присосши к столу вместе с вращающимся креслом, Маршак, подняв на лоб очки, пишет стихи, бормоча, потом читает присланные рукописи жаждущих отзыва, то и дело хватая трубку телефона:

— Алло! Да, дорогой, слушаю!..

Придешь к нему на пять минут по делу и останешься на два часа. Он отрывается от стола, и тут начинается праздник для пришедшего. Умные, неожиданные мысли остро, по-маршаковски буквально атакуют собеседника. Уйти невозможно, хочется слушать и слушать. Но два часа пролетают, как десять минут.

— Вы знаете, беда в том, что очень часто многие люди «спят», хотя все время и заняты чем-то. Слишком много думают о карьере. Можно все время делать, но ничего не создавать. В творчестве этого не должно быть. Нужно больше общаться друг с другом. Надо уметь передавать чувства другим людям. Они этого ждут. Нельзя мысли заменять рассудком. Жить рассудком — это приравнять человека к счетной машине. Мысли всегда связаны с чувствами...

Потом Самуил Яковлевич говорит о поэзии.

В стихах надо хорошо чувствовать стиль. Вот Пушкин говорил: напишу в стиле Шекспира. И создал «Бориса Годунова». Он великолепно чувствовал стиль! Так же как Гоголь и Некрасов. Если бы Пушкин и Гоголь не написали о Петербурге, мы бы так не знали этого города, как знаем благодаря Пушкину и Гоголю.

Очень важно чувствовать время. Почему Некрасов выше таких поэтов, как Фет, Тютчев, Полонский? Потому, что он был во времени, в эпохе. При Некрасове строились первые железные дороги, фабрики. Совсем новый размах приобрело освободительное движение, — словом, были события, каких еще не было при Пушкине. Художник не может пройти мимо этого. Некрасов это знал и отобразил в своих стихах. И Чехов был поэтому же велик.

А когда некоторые писатели, жившие значительно позже Пушкина, «забирались жить» к нему в «квартиру» и в пушкинской обстановке топили «буржуйку», ничего из этого не получалось.

Разговор прерывает вошедшая в комнату Розалия Ивановна, секретарь Маршака.

Она говорит, несколько коверкая слова:

— Самуиль Яковлевич, тут звонит та гражданка, которой вы опедали помочь насчет сына.

— Да, да! — Маршак берет трубку и подробно объясняет, когда и куда надо прийти.

Потом звонит какой-то автор. С ним Маршак улаивается о встрече.

— Жду вас, голубчик!

Но бывали звонки, выводившие Маршака из терпения. Он горячился, нервничал и, положив трубку, тяжело дыша, говорил:

— Черт знает что!.. Мучают меня...

В один из первых дней войны к нам в квартиру, где мы жили с Крыловым, пришел Маршак и, очень волнуясь, стал говорить о том, как хорошо было бы в эти дни объединить стих и рисунок. И на следующий день мы сидели за раздвинутым столом уже не трое, а четверо. Большие листы бумаги, баночки с гуашью, тушью, кистями, фотографии Гитлера, Геббельса, Геринга. Шуршат карандаши, что-то бормочет Маршак. На полу сохнет только что сделанный плакат «Окно ТАСС», на стене висят отпечатанные плакаты рядом с мирными этюдами К. Коровина, В. Поленова, И. Левитана и хозяина комнаты — П. Крылова. С разных сторон стола сидим мы трое и Маршак. Все трудятся. Один рисует шарж на Гитлера. Двое бьются над черновиками для карикатуры в «Правду». Рисунок и стихи должны быть сегодня сданы в редакцию.

Маршак, низко склонясь, уже исписал порядочное количество листов нашей рисовальной бумаги своим крупным почерком. Он то, нахмурившись и выпятив вперед верхнюю губу, что-то бормочет, то, вдруг буркнув зло, начинает быстро писать, тяжело дыша. Потом, вскинув на лоб очки, смотрит на фотографию убитых детей. Его маленькие медвежки глаза становятся злыми.

— Мерзавцы!..

Очки спадают на нос, и Самуил Яковлевич снова пишет... Пауза. Смотрит в окно, дымит папиросой. Опять пишет. Окурков полна тарелка, закуривают даже некурящие.

Тишина кончается. Маршак читает стихи для «Окна ТАСС». Они злые, остроумные. Кто-то предлагает вставить про Геббельса слово «пропаганец». Маршаку нравится, он использует его в тексте. Другие стихи для «Правды». Короткие, но острые.

Самуил Яковлевич смотрит рисунок. Ему нравится, но боится, не пропала бы тонкость и острота линий при выполнении тушью. Мы взаимно волнуемся — он за рисунок, мы за стихи. В карикатурах Маршаку нравятся обыгрывания бытовых мелочей. Мы замечаем: чем короче стихи, тем сильнее, злее они получаются. Их труднее писать.

Днем фашист сказал крестьянам:
— Шанку с головы долой!

Ночью отдал партизанам
Каску вместе с головой.

Или:

Бьемся мы здорово,
Колем отчаянно,
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.

А вот короткие стихи, печатавшиеся на обертках пищевых концентратов, выпущенных миллионами тиражей.

— Посмотри — у русских каша,
Будем кашу есть!
— Извините, каша наша
Не про вашу честь.

Или такие:

Бойцу махорка дорога.
Кури и выкури врага!

Во время воздушных тревог мы втроем выходили на дежурство во двор, надев неизвестно зачем обязательные противогазы. Маршака дежурные пытались отвести в убежище. Он всегда сопротивлялся и стремился к нам во двор.

— Я хочу с Кукрыниксами быть во дворе!

Когда на пороге убежища появлялись мы, Самуил Яковлевич бурно рвался и громко кричал нам:

— Помогите мне выйти отсюда!

И, вырвавшись, счастливый, бродил по темному двору, рискуя упасть, натываясь на дежурных. До самого «отбоя» слышался стук его палки, знакомый голос спрашивал из темноты:

— Михал Василич! Где вы?..

Покурить он выходил подальше от убежища в какой-нибудь подъезд и там усталый засыпал с сжатым в кулак окурком.

...Однажды, когда Кукры уехали на несколько дней в Казань, чтобы отвезти вещи эвакуированным семьям, мне вечером во время воздушной тревоги пришлось дежурить на крыше. Маршак, узнав, что товарищи уехали, а я должен дежурить, ни за что не хотел пускать меня. Стучал палкой, кричал на милиционера, на управдома, и никакие уговоры на него не действовали. А когда увидел, что я вошел в лифт, решил пойти со мной.

— Раз он едет, я тоже поеду с ним дежурить на крышу!

С большим трудом удалось уговорить Маршака остаться.

Зато в промежутках между тревогами мы разрешали себе недолгие передышки и забивались в какую-нибудь комнату все той же квартиры, устраивали чай, если удавалось достать, распивали бутылку вина. Заводили патефон и слушали чаще всего вальс «Дунайские волны». Потом Маршак запевал какую-нибудь песню. Пел он, закрывая глаза и наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Становился похож на нищих слепцов, певших песни где-нибудь в Тетюшах или в Рыбинске на базаре.

Как вдруг в двенадцать часов но-о-о-очи

Приходит в саване мертвец:

— Отдай, старуха, мои де-е-еньги.

Ведь я зарезанный купец!..

На этой фразе Самуил Яковлевич пытался сделать строгое лицо и злые глаза, но это не выходило. Мы смеялись, и он тоже.

И вот все это уже давно позади, и я сижу в тихом уютном кабинете Самуила Яковлевича. Кругом книги, на стенах между шкафами рисунки и этюды его друзей-художников.

Он говорит:

— Ваши общие работы выигрывают от участия в них лично каждого из вас троих. Конечно, коллектив многое дал каждому из вас, но что-то и отнял. Общая линия работы вашего коллектива правильная, нужная, но с годами надо думать и о расширении своего индивидуального творчества. Это и коллективу поможет. Надо жить не только умом, но и чувствами. Нужно рисковать. Нельзя играть в жизни только в беспроигрышную лотерею...

— Для меня всегда было главным — детские стихи. В них, мне казалось, наиболее чистое содержание. А недавно мне захотелось написать лирические стихи. Пишу

много статей. Выходит моя книжка о мастерстве писателя, книга автобиографических воспоминаний о детстве и юности...

— Вы тоже обязательно пишете записки, воспоминания. Приносите мне почитать, что у вас есть. Я вообще считаю, что художник должен уметь писать. Помню, художник Чарушин издал со своими рисунками прекрасную книжку для детей о животных. Так написать мог только художник, писатель не видит многое из того, что видит глаз художника...

— Надо дерзать всю жизнь, надо увеличивать множественность своего труда. Открывать все время что-то новое. Самое страшное — всю жизнь вертеться вокруг одного и того же. И главное в жизни — это любовь. Без нее ничего не бывает хорошего и ничего не создашь.

Самуил Яковлевич вспоминает стихи самых разных поэтов. С увлечением читает то одно, то другое. Завидная память! А ведь ему уже за семьдесят.

Маршак часто болел. Болеть он начал еще в юности. М. Горький в одном из писем В. Стасову писал, что он познакомился с двумя молодыми людьми, оба они — одаренные. Один из них — пятнадцатилетний начинающий поэт Сам (так в ту пору называли Маршака), которого Горький обещал подлечить у себя на даче в Крыму, а второму хочет помочь устроить поездку за границу.

Зимой, года через три после войны, мы с Маршаком оказались вместе в одном из санаториев Подмосковья. Чувствовал он себя, как всегда, плохо, жаловался врачам, сестрам:

— Я всю ночь не спал... кровь до сих пор не доходит... — почти стонал он, показывая на концы совершенно белых пальцев рук. — Ноги онемели, голова кружится...

Как-то, сидя в коридоре этого санатория в ожидании процедуры, я довольно долго наблюдал лечащегося Маршака. Коридор был длинный, и по обе стороны его много дверей уходили в перспективу. И вот я видел, как через каждые 10—15 минут из какой-нибудь двери появлялся Маршак и, стуча палкой, медленно проходил в другую, потом из этой в соседнюю, из соседней — напротив. За одной из таких дверей его трясло несколько минут в каком-то седле. Побывав за всеми дверями, он с измученным видом подошел ко мне и сказал умирающим голосом:

— Коленька, для того, чтобы лечиться, нужно обладать 288 железным здоровьем...

В том же санатории напротив комнаты Маршака помещалась дежурная медсестра — симпатичная и миловидная. Некоторые отдыхающие чаще, чем нужно, заглядывали к ней. Маршак решил подшутить над ними и на табличке с надписью «МЕДСЕСТРА», висевшей на двери, над буквой «Е» поставил две точки, после чего это слово читалось как «МЕДсестра».

Маршак не любил пустых острот. Остроумие его всегда было тонким. Однажды редактор «Правды», заказывая ему стихи, сказал, что согласен даже на короткое стихотворение. Он считал, что написать его легче и времени потребует меньше. На это Самуил Яковлевич ему ответил:

— Вы думаете, что маленькие часы легче и быстрее сделать, чем большие?

У всех людей, кому посчастливилось быть знакомым с Самуилом Яковлевичем, каждый раз после встречи с ним, я в этом уверен, появлялось желание делать что-то большее, интересное, новое. Он умел вселить чувство молодости, уверенности и даже праздничности, чувство настоящей радости.

Так и слышится его знакомый глуховатый голос, читающий стихотворение «Пожелания друзьям».

Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути
Важнейшее условие.

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет,
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А все хорошее, друзья,
Дается нам не дешево.

ДОМ НА ЧКАЛОВСКОЙ



едавно, в поисках одного материала, листая старые, военных лет, подшивки «Литературной газеты», я наткнулась на собственную, давно забытую заметку, которую с радостью и с интересом перечла. Вот она.

ПРИМЕТЫ ПОБЕДЫ

«В то время как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополчение за ополчением поднимались на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди, от мала до велика, были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасти отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских.

В действительности же это так не было. Нам кажется, это только так потому, что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных, человеческих интересов, которые были у людей». Так начинается Толстой одну из глав IV тома «Войны и мира».

Пройдут десятилетия, и наше время, наша война и отдельные судьбы людей, по-своему существующих в этой войне, также предстанут перед потомками, слившись воедино, четко очерченные яркой краской, безусловно самой главной и дорогой для нас и для нашего времени, но нисколько не единственной. И я порой с грустью думаю о том, что, отдавая

все свои силы на то, чтобы запечатлеть наше время и нашего человека во всем его величии и значении, мы растеряем и позабудем какие-то чудесные частности, радости, удивления, те неожиданные оттенки и цвета, которыми была неизменно окрашена наша жизнь, даже самые суровые, трудные полосы ее. И порой для самой себя, в собственной памяти перебирая какие-то дорогие сердцу эпизоды, встречи, которые, на первый взгляд, казалось бы, и вовсе не имели прямого и непосредственного отношения к тому громадному, что творилось в мире, к тому великому, что происходило на наших фронтах, к тому большому, чем жил и горел каждый из нас, я неизбежно вспоминаю, как зимами сорок первого, сорок второго, сорок третьего годов, военной, затемненной, холодной Москвой я пробиралась к Самуилу Яковлевичу Маршаку.

Эти встречи на фоне тогдашнего нашего существования были для меня чем-то вроде своеобразных оазисов. Своеобразных потому, что трудно сравнить с тем, что обычно принято называть оазисами, почти не отопленную квартиру, в которой жил и бесконечно много, не постижимо много работал Маршак. И все-таки это были оазисы, потому что вся наша трудная, холодная, несытая жизнь, неразрывно связанная с сообщениями с фронтов, с ожиданием «Последнего часа», вдруг отступала куда-то в сторонку, оттесненная сильным потоком чудесных стихов, впервые полнозвучно зазвучавшими по-русски сонетами Шекспира, стихами Китса, Бернса, пленительными английскими народными маршаковскими, неподражаемыми в своем обаянии, детскими стихами. И читает Маршак удивительно — не бесстрастно, не равнодушно, как иногда стараются читать поэты, а увлеченно, горячо, в каждом своем чтении словно опять, в который раз, волнуясь и переживая всю прелесть стихотворения; порой его голос звенит от напряжения и волнения, порой он смеется вместе со слушателем, одновременно и неограниченно управляя и беспредельно подчиняясь ритму и музыке стиха.

Вот в одну из таких наших встреч, — кажется, это было в конце 1942 года, — Маршак прочел мне один из первых черновиков драматической сказки «Двенадцать месяцев».

Он очень волновался и часто прерывал чтение, беспокоясь о том, как бы мне не опоздать на метро, как бы мне добраться до дома, но мне об этом уже и думать не хотелось. Я не могла не дослушать, не могла не останавливаться в каких-то особенно очаровывающих меня местах, не

могла не волноваться судьбами героев, не могла не смеяться там, где этого хотел поэт. Именно этот вечер, когда Маршак читал «Двенадцать месяцев», вспоминается мне, как один из особенно дорогих моему сердцу.

Не помню, поспела ли я на метро или добиралась пешком, но ясно помню то ощущение радости и легкости, которые вдохнула в мою душу сказка Маршака, то неизменное желание снова и снова восстанавливать в памяти и рассказывать другим отдельные, особенно запомнившиеся сцены, особенно пленившие выдумки, реплики, шутки и долго не оставявшее меня возбужденное удивление и восхищение неиссякаемой, непобедимой силой, которая согревала человека отнюдь не юных лет и не богатырского здоровья в его пустой и нетопленной квартире и помогала ему ежедневно с неистребимым вдохновением и мастерством работать в газете, воюя с врагом, увлеченно и самозабвенно открывать нам тайны поэзии другого народа и вдруг легко и свободно, весело и тонко придумать и рассказать умную и благородную сказку.

В дни войны, особенно в самую трудную ее пору, я, как коллекционер, искала и собирала «приметы победы». Это были частные случаи, факты, эпизоды, положения, почти невероятные и почти невысказанные, если учесть обстоятельства и международную обстановку, в которой они свершались. И тем не менее они свершались, и мы бывали свидетелями и почти соучастниками этих чудесных свершений.

«Двенадцать месяцев» были безоговорочно причислены мною к этой коллекции.

Это была чудесная, редкая «примета победы»: в 1942 году в Москве, жившей еще на осадном положении, когда немцы, после зимнего затишья, снова начав наступление, пошли к Сталинграду и дошли до него, художник, кровно связанный с современностью, поэт, с первого дня войны великолепно работающий в трудном жанре политической сатиры, находит в своей душе неиссякаемый и неустанно бьющий источник творческих сил, фантазии и выдумки. Этот источник не заглохал ни ежедневная утомляющая газетная работа, ни тяготы жизни и быта, ни тревоги дней отступления. Поэт влюбляется в чудесный сказочный сюжет и увлеченно и горячо, бесконечно радуясь неожиданным находкам и выдумкам, создает пленительную сказку-пьесу, которая вселяет в душу легкость и веселье, заставляет снова и снова, как в детстве, поверить в то, что добро всегда побеждает, что чудеса обязательно случаются в жизни, что

только захоти, только будь хорошим, чистым, честным, и зацветут для тебя подснежники в январе и будешь ты счастлив. Разве самый этот факт не есть самое убедительное доказательство, самая явная примета того, что победа близка?

Вот почему сейчас, когда оказалось, что сказка о двенадцати месяцах не была заслонена никакими грандиозными событиями, люди обрадовались ей, и полюбили ее, и отыскали для нее местечко в своем сердце, несмотря на то, что переполнено это сердце и горем, и радостями безмерно-го величия и силы. Я не стану оценивать ее поэтические, литературные, сценические достоинства и недостатки, мне только хочется сказать, что я давно и нежно люблю эту светлую и добрую, умную и веселую поэтическую сказку, что она тем более дорога мне, что создана в военное время. Я хочу поздравить Самуила Яковлевича Маршака с высоким признанием, которое знаменует собой то, ради чего стоит жить и работать, вопреки всем житейским трудностям и невзгодам: то, что было нужно и дорого поэту, помогало ему жить, увлекало и радовало его, стало нужным и дорогим его родине, его родному народу.

Эта заметка была напечатана ранней весной сорок четвертого года. Я поздравила ею Маршака с тем, что пьесе «Двенадцать месяцев» была присуждена Государственная премия.

Мне дорого в ней то, что возвращает к драгоценным воспоминаниям, к моим встречам и отношениям с Самуилом Яковлевичем Маршаком, одним из самых ярких людей в моей литературной жизни.

Какое великое человеческое достояние — память. Какая радость вспоминать то, что хочется вспомнить. Словно еще много раз переживать то, что хочется снова пережить. Я счастлива, что в моей жизни было много такого, о чем интересно вспоминать, а уж годы войны — все встречи, все человеческие отношения, — их вспоминать особенно дорого, особенно хочется. И если даже мы с Самуилом Яковлевичем встретились и познакомились до войны, — наверно, было именно так, — для меня это не имеет значения, моя память начинает работать с войны.

Он проводил в эвакуацию жену с младшим сыном в самом начале войны, вернулся в Москву и работал день и ночь. Сто пятьдесят «Окон ТАСС» написаны им, и «Прав-

да» редкий день выходила в тот первый год без сатирических стихов Маршака. Он остался в своей квартире, на улице Чкалова, у Курского вокзала, со своей старой многолетней секретаршей, Розалией Ивановной. Она беззаветно помогала ему в работе и в отсутствие семьи обихаживала его. Розалия Ивановна,— мир праху ее! — она ненадолго пережила Самуила Яковлевича,— всегда подобранная, аккуратная, деловитая и ворчливая старушка, была рижской немкой. Поначалу она пришла в семью как воспитательница младшего сына, но, когда мальчик вырос и пошел в школу, осталась помогать по хозяйству. Выполняла она и некоторые секретарские поручения. Будучи совершенно одинокой, она переехала вслед за Маршаками из Ленинграда в Москву. В начале войны, когда из Москвы были выселены все граждане немецкого происхождения, та же участь ожидала и Розалию Ивановну, но Самуил Яковлевич этого не допустил, хотя добиться исключения, добиться того, чтобы закон военного времени не коснулся одного человека, было, по существу, невозможно.

Однако Маршак потратил массу сил и времени, перевернул горы и добился невозможного. Розалия Ивановна осталась в Москве, в его квартире у Курского вокзала. Но Маршак оставался Маршаком, а не просто добреньким дяденькой, и, когда почти ежевечерне по радио объявлялась воздушная тревога, он стучался в ее комнату с неизменным текстом: «Розалия Ивановна! Ваши прилетели!», Розалия Ивановна обижалась, надувалась, покрывалась красными пятнами и начинала что-то неразборчиво ворчать себе под нос, но ничего ей не помогало — ежевечерне мизансцена неукоснительно повторялась. Они много и очень забавно ссорились, эти двое. Маршак не мог уже обходиться без помощи Розалии Ивановны, но нередко она выводила его из себя. Она была беззаветно предана ему, но во время ссор в долгу не оставалась.

Мы уезжали вместе из октябрьской, почти осажденной Москвы эшелоном. Уезжали несколько театров, музыканты, художники. Целый вагон был отдан писателям, большинство из них ехало к семьям, которые в самом начале войны были эвакуированы в Татарию, в город Чистополь на Каме. Это был жесткий вагон, даже и не купированный, — жестких купированных тогда еще не существовало. В нашем вагоне ехали Пастернак и Ахматова, Виктор Борисович Шкловский, Константин Федин, Лев Квитко и Давид Бергельсон с женой и еще многие, всех и не упомнить. Маршак оказался в

соседнем, в мягком вагоне. Но находился он там только ночью, когда надо было ложиться спать, а днем ему в мягком было скучно — там ехали важные и скучные люди,— и весь день он проводил у нас в жестком. И главным образом у нас в отделении, где ехали самые молодые в вагоне — я и две мои подруги, молодые жены писателей-фронтовиков. Мы покидали Москву бог знает на сколько времени; одна из нас была уже больше месяца вдовой; другая — больше месяца не знала о своем муже ничего, кроме того, что его армия попала в окружение; третья — накануне отъезда проводила мужа на фронт,— с чего бы тут, кажется, веселиться?! И тем не менее у нас было весело — возвращаю вас к строкам Толстого, процитированным выше,— наверно, просто потому, что мы были молодые, и еще потому, наверно, что только весело можно было пережить все, что нам выпало пережить. Самуил Яковлевич словно почувствовал, что тут он нужнее всего, и здорово нам помог в нашем нелегком пути. Он призвал на помощь самое дорогое — поэзию,— мы наперебой читали на память любимые стихи, без конца пили чай с хлебом,— чай был без заварки и без сахара, а хлеб черный и сырой, но это было вкусно,— и с радостью слушали Маршака, который разошелся вовсю, охотно вспоминал, чудесно рассказывал и был, как всегда, душой нашего небольшого, но весьма оживленного кружка. Так мы и доехали до Казани. Там Самуила Яковлевича встретила Софья Михайловна, жена его. Там мы и распрощались. Маршак остался в Казани, где жила его семья, а мы поехали дальше, пароходом по Каме.

Тогда, в пути, мы, собственно, по-настоящему и познакомились и через три месяца встретились в Москве, как хорошие друзья. Встретились и ужасно обрадовались друг другу. Москва в первую военную зиму была малолюдная, и возможностей общения с человеком, который был бесконечно интересен и приятен, было совсем немного. Для меня стали большой радостью частые встречи с Маршаком, что же до него, то, может быть, в другое время у него и без меня хватало бы людей, встреч, дружб, но в ту зиму и ему было, очевидно, пустынно и одиноко, и тут я ему и пришла к двору. Ну что ж, я нимало не обольщаюсь, и если это и только так, и па том спасибо. За многое я сейчас в судьбе своей говорю спасибо тому времени и за дружбу с Маршаком тоже. Ибо, начавшись тогда, она никогда не прерывалась до самых последних дней его и всегда была для меня драгоценна.

Однако я вполне отдаю себе отчет в том, что отношения наши, при всей их теплоте, простоте и протяженности во времени, носили всегда безусловно относительный характер. Они были ограничены прежде всего тем, что Маршак для меня неизменно оставался волшебником, чудесным поэтом, стихи которого я читала еще в своем детстве, не понимая, как творится подобное волшебство. Они были обусловлены, наши отношения, огромной разницей в возрасте, — когда мы познакомились, Маршак уже казался мне глубоким старцем, а был он, вероятно, чуть постарше, чем я сейчас, — моим неизменно почтительным отношением, вероятно исключаяющим всякую возможность критического отношения, в силу чего мое знание и понимание этого человека, разумеется, нельзя считать полным. Я ничуть не претендую на то, чтобы мои представления, мои воспоминания о Маршаке носили абсолютный и исчерпывающий характер. Я и не стремлюсь к этому, вполне допуская, что мое знание этого яркого и непростого человека весьма не полно и однобоко. Но я его знаю так и дорожу этим знанием. Я вовсе не считаю его святым и непогрешимым, — он человек, живой и горячий, со своими человеческими слабостями и недостатками, но не они мне интересны и дороги в памяти о нем. Мне дорог яркий, блестящий, талантливый человек, а талантливый человек — это уже замечательный человек, и этого замечательного человека я помню и люблю. Я знаю, каким он умел быть замечательным другом, как он верил в своих друзей, помогал им, стоял за них. Когда весной 1942 года я улетела в блокадный Ленинград вместе с Николаем Тихоновым и Александром Фадеевым, за этими двумя несколькими последними днями неотступно ходил Маршак, настойчиво вдавливая в их память и сознание имена его друзей, оставшихся в блокаде, о которых надо было разузнать, которых надо было разыскать, которым надо было помочь. В течение более двадцати лет общения с ним я столько раз видела, каким он бывал истинным другом, что если кто скажет, что он бывал столь же горячим врагом, — ну что ж, вот и хорошо! — это лишь подтверждает его талант дружества. Да, он умел ненавидеть, умел презирать, умел не прощать, и все это, на мой взгляд, прекрасные человеческие качества, не менее драгоценные, чем умение дружить, верность друзьям, чем доброта и отзывчивость, которых Маршаку хватало с лихвой.

Однако, будучи добрым человеком, он не допускал себя до снисходительности к бездарности, не прощал пошлости

и ничтожности, самодовольной гладкописи и пустоты. Самым драгоценным человеческим качеством он считал талант. За талант он мог многое простить, ко многому быть снисходительным, но именно таланту он предъявлял самые высокие требования в самом главном, не прощая болтовни и безответственности.

Однажды одна молодая поэтесса прислала ему свою книжку стихов. Поэтесса была талантлива и интересна, слава к ней пришла легко и сразу, и Маршак был уже наслышан о ней. Он обрадовался подарку и сразу впился в сборник.

— Хорошая обложка,— сказал он, повертев книжку в руках.— Хорошее название... Хорошее лицо,— добавил он, раскрыв книжку на портрете прелестной молодой авторши.— Очень умело,— заметил он, листая первые страницы.— Очень музыкально. Смотрите, как много она умеет извлечь из восклицаний, как ей великолепно служат всякие «ах», «ох», «о»...

Листая книжку, он вдруг читал вслух отдельные строфы или строки, самым доброжелательным образом оценивая их. И дошел до стихотворения, посвященного Пушкину и написанного поверхностно и развязно. Он читал стихотворение вслух, мрачнел, сердился, сам себя прерывал замечаниями и к концу окончательно рассвирепел. И в этом состоянии снова перелистал книжку в обратном порядке.

— Какая пустота! — восклицал он.— Да ей решительно нечего сказать людям. Одни ахи да охи...— ворчал он.— Какое незначительное лицо! — совсем уже несправедливо вернулся он к портрету.— Какое манерное название! Какая безвкусная обложка! — безапелляционно заключил он, отбрасывая книжку в сторону. Ей уже ничего не могло помочь.

Я не всегда решалась показывать ему стихи, до последних лет робая его строгого суда. Но иногда он настаивал на этом, а иногда мне самой этого хотелось. Он брал стихи и начинал читать их вслух, и тут уж никогда не могло быть ошибки, я всегда могла с точностью определить его к ним отношение. Если стихи нравились ему, у него менялся голос, становился веселей и звонче. Строки, особенно понравившиеся, он читал по нескольку раз, меняя интонацию, удивляясь, радуясь, иногда почти ликуя. дочитав стихотворение, неизменно возвращался к особенно понравившимся местам и снова повторял их на все лады. Однажды, когда я уже уходила, в прихожей заставил меня снова

прочитать понравившиеся стихи. Если же стихи ему не нравились, даже в том случае, когда он старался слукавить и скрыть это от меня, ничего из этого не выходило. Я неизбежно чувствовала его отношение за равнодушным голосом, который, читая стихи, не умел притворяться. Чтобы не огорчить меня, он мог слукавить, но он не умел фальшивить, когда речь шла о поэзии.

А слукавить он умел и высмеять человека умел, порой, если дело стоило того, даже безжалостно, и человек вовсе переставал существовать для него, если терял чувство юмора и обижался на то, что было по-настоящему остроумно. Но сам он, однако, бывал обидчив до чрезвычайности, и в самых невероятных случаях. Однажды мы гуляли с четырехлетней дочкой и встретили Маршака. Он был на машине и предложил подвезти нас. Я была, разумеется, рада показать его Тане, которая уже отлично знала его стихи.

— Знаешь, Таня, кто это? Это Маршак. Это он сочинил «Рассеянного», и «Мистера Твистера», и «Сказку о глупом мышонке», и «Пожар».

— Нет, — вдруг решительно возразила Таня, — «Пожар» это моя няня сочинила.

— Нет, это я сочинил, — серьезно возразил Маршак.

— Нет, моя няня, — стояла на своем Таня.

Маршак спорил с ней сначала весело, но, когда стало ясно, что ее не переспорить, вдруг огорчился и совершенно определенно обиделся. Было в этой обиде нечто абсолютно отвечающее возрасту и уровню Тани, что-то совершенно детское. Может быть, именно такие детские возможности, заложенные в характере, и помогли Маршаку стать поэтом для детей, ибо это особый дар, особый талант.

Да, он бывал по-детски обидчив, но ироничен он был насквозь всегда, и даже к самому себе. Однажды в Союзе писателей шла какая-то поэтическая дискуссия, на которую я не попала из-за болезни. На следующее утро мне позволил Самуил Яковлевич, справился о здоровье, а затем обстоятельно и, разумеется, как всегда, блестяще, с юмором и наблюдательностью рассказал о вчерашней дискуссии, упомянув мимоходом о том, что и он принял в ней участие. Я заинтересовалась содержанием его выступления, и он охотно и подробно рассказал мне все. Это было блестяще по форме, очень серьезно и значительно по содержанию, очень смело и резко по постановке вопроса, и я не преминула выразить свое впечатление.

что вы об этом сказали! Какой вы молодец! — радовалась я.

В ответ вдруг последовала продолжительная пауза.

— Спасибо, голубчик, — наконец откликнулся Маршак. — Я рад, что вам понравилось. Но, по правде говоря, мне сейчас кажется, что перед вами я выступил гораздо удачнее, чем там. Знаете, когда выступаешь публично, волнуешься, торопишься. Я не уверен, что вчера мне удалось все это сказать... — Так оно и оказалось на деле.

Я любила самую атмосферу его рабочего кабинета, где, словно в столярной мастерской деревом, неопределимо пахло работой, огромной работой, вечной работой, разнообразной работой, работой настоящего мастера.

Его соображения о работе поэта никогда не носили отвлеченно-теоретического характера, всегда были облечены в плоть и кровь, всегда были образами:

— Замечательно, когда замысел приходит, как цыган, ведя своего коня под уздцы, подсказывая звучание, форму, стихотворный размер. Такой размер, такая форма неизбежно куда органичнее, чем та, которую приходится долго искать...

— Стих должен быть мускулистым, напряженным, действующим. Вялый эпитет расслабляет мускулатуру стиха. К черту его в этом случае. Уж лучше глаголы, они все-таки всегда действие...

Он был великолепным мастером, редким мастером, но пленительная легкость его стиха, блеск и точность, в которых было что-то словно бы от игры, которые казались фокусом-покусом, были итогом долгого, неправдоподобно долгого труда, огромного напряжения усилий. Я бы не представила ни о чем и не поверила бы, если бы не видела сама, сколько сил и времени стоила эта видимость игры и легкости, как он бывал безжалостен к самому себе, без конца бракуя, зачеркивая, переписывая, оттачивая, любой ценой добиваясь единственного совершенства. И удивительно трогательно была в этом великолепном мастерстве подчас какая-то почти детская неуверенность в себе, в том, какой из бесчисленных вариантов лучший, на каком наконец остановиться. Вот тут, для того чтобы самому и только самому принять единственное решение, ему необходимы были другие люди. Люди, которым можно было снова и снова читать вслух, проверяя их реакцию, споря с ними, иногда сердясь на них, иногда обижаясь на них. А уж если этим людям удавалось вдруг что-то верно почувствовать, услышать, что-то напомнить или подсказать — цены им не было. Я рада, что была в числе

этих людей; рада, что иногда чем-то пригождалась ему; рада, нимало не обольщаясь своей ролью, отлично понимая, что была всего одной из многих слушателей, советчиков, помощников, подопытных кроликов. Когда он занимался составлением своего первого двухтомника, я, как на службу, ходила к нему каждый день, а если замешкивалась, он звонил и торопил меня, а если почему-либо не могла прийти, он сердился и обижался. Но, вполне понимая, сколь случайна и условна моя роль, я рада, что она мне выпала, ибо подобное общение с Маршаком было для меня ни с чем не сравнимой школой.

Он работал жадно и горячо, не щадя себя, не думая о здоровье, забывая о времени. Мог позвонить ночью и, забыв, что это ночь, и даже не подумав о том, что разбудил человека, читать по телефону новые стихи или новый перевод и долго пытаться вас, какой вариант строки лучше. Не знаю, в какой мере слушал он, что ему в ответ пытался сказать собеседник, потому что в конце концов он слушал всегда самого себя, но живой собеседник всегда был ему необходим. Я рада, что бывала одним из них.

Работа была для него кислородом, душевной и жизненной необходимостью, единственно мыслимой формой существования даже в самые трудные периоды его жизни. Помню долгие месяцы, когда в глубине квартиры болел и тяжело умирал от еще неизлечимого тогда туберкулеза младший сын Яков. В последние месяцы он впал в некую форму депрессии — не хотел лечиться, не хотел есть. Маршак был горячим отцом, он проводил долгие часы — и дни и ночи — у постели сына, выходил из его комнаты, плача от горя и собственного бессилия, входил в кабинет и садился к столу работать.

Всегда бодрая и здоровая, всегда спокойная, сдержанная и собранная Софья Михайловна значила в его жизни бесконечно много. Она всегда была в форме, всегда на ногах, всегда ухаживала то за умирающим сыном, то за часто хворающим, нелегким мужем. И вдруг она неожиданно рухнула и как-то вдруг, сразу умерла. Это было оглушительно. Я помню, как, собираясь к Самуилу Яковлевичу в первый раз после ее смерти, я волновалась, боялась первых минут, боялась, что не найду слов, не справлюсь с собой. Мне не пришлось ни с чем справляться. Осунувшийся и почерневший Маршак встретил меня, как всегда, на ногах, как всегда, обнял и повел в кабинет, а там, как всегда, пахло работой, как всегда, было сильно накурено, как всегда, стол был завален рукописями, корректурами, черновиками,

свежими книжками, своими и чужими, томиками английских стихов... Он читал в тот вечер свою лирику, горькие стихи, естественный тренет сердца, пережившего невозместимую потерю.

Он здорово помог мне однажды, когда я подверглась публичному грубому и бессмысленному наскоку, сказав мне со всей непререкаемостью:

— Считайте, что на вас наехал самосвал. Самосвал может убить, но уж раз этого не случилось, надо отряхнуться и жить дальше, как ни в чем не бывало. Переживать тут решительно нечего.

Так я и поступила.

В нашем мире становилось все просторнее, даже пустынее. Старые друзья уходили куда чаще, чем появлялись новые, — таково уж свойство жизни на ее склоне. Правда, что жизнь и на склоне полна неожиданностей. Так, к примеру, были у нас с Маршаком два общих друга, два человека — оба они были значительно старше меня и значительно моложе его, — с которыми мы не раз признавались друг другу в том, что думаем с горечью и тревогой о неизбежной разлуке с Маршаком, боимся ее, понимая ее неминуемость. Оба они умерли раньше, и мы оплакивали их вместе с Самуилом Яковлевичем.

Маршак работал, как всегда, много, несколько раз выезжал с сыном за границу: в Англию, в Шотландию, где его принимали с почестями и любовью, заслуженной поистине героическим трудом над переводами лучшего, что есть в английской и шотландской поэзии. Но он все чаще болел. Я навещала его больного и дома на Чкаловской — с годами даже уже и не в прокуренном кабинете, а рядом, в спальне, — порой ему бывало так худо, что все той же Розалии Ивановне удавалось укладывать его в постель, — и в больнице на улице Грановского. Туда, в больницу, я привозила ему в лютый мороз, в начале февраля 1956 года, корректуры его стихов и переводов, которые мы публиковали в первом сборнике «Литературная Москва». Самуил Яковлевич с интересом и сочувствием относился к нашей работе, советовал, радовался тому, что получается. Туда, в больницу, я и привезла ему едва вышедший сборник — это было в конце февраля 1956 года.

Он уже целыми зимами не мог справиться с ползучим воспалением легких, и это состояние принимало угрожающий характер. Большого труда стоило уговорить его проводить зиму в Крыму, в Ялте, что, пожалуй, несколько про-

длило его жизнь. Но иногда, порой в самое неподходящее время года, он вдруг возвращался в Москву, находил для этого пустяковые поводы, подчас просто суетного порядка. Впрочем, была ли это суетность? Уж очень она не в его масштабах. Скорее, это была какая-то вечная ненасытность, неудовлетворенность. Чем? Почему? Вот уж ему, казалось, не на что было обижаться, вот уж он, казалось, ничем не был обойден. Вот уж кого-кого, а его непрестанно издавали, выдвигали, награждали, избирали... Он был всеми обласкан. В чем же дело? Разумеется, и в характере этого кипучего, почти кипящего человека, кипение, даже клокотание которого передавалось окружающим, ощущаемое почти физически. Он всегда был чем-то встревожен, всегда словно куда-то торопился, словно чего-то ждал, словно куда-то спешил и очень боялся опоздать. И никакая самая напряженная работа, никакая занятость, никакой серьезный разговор, никакая болезнь или горе не могли удержать его от того, чтобы не ответить на телефонный звонок, не рвануть телефонную трубку, не прокричать свое торопливое «Алло, алло!». Он не мог от этого удержаться, ему просто всегда было интересно: что случилось, кому он понадобился и зачем? И в его «Алло, алло!» всегда звучала надежда на то, что вот сейчас, вот именно сейчас и случится что-то самое интересное, самое главное, самое долгожданное. И когда эта надежда снова, в который раз, обманывала его, у него делался до слез обиженный голос. «Я болен, дорогой, я очень болен...» — кричал он в ответ на обманувший его звонок, который не сулил и на сей раз ничего интересного. Увы, он не лгал, он действительно долгие годы был почти всегда болен, но стоило только за очередным звонком встать какому-то настоящему делу, как он решительно и начисто забывал о своем болезненном состоянии и был готов на любой труд, на любую деятельность. Он бывал нужен многим и разным людям, он был необходим для многих и разных дел и ни от чего, в чем мог быть полезен, никогда не отказывался, не умел, да и не хотел отказываться. Ему нужны были обязанности, нужна была деятельность, и, при всей нагруженности и перегруженности его жизни, истинной деятельности ему и не хватало. Той деятельности, к которой у него был вкус и талант, активной деятельности литератора-организатора, главы крупного издательства, и отнюдь не только детского, имеющего несчетные возможности издавать, придумывать, открывать новые имена, новые направления, новые издания. Достаточно вспомнить начало его литературной

работы, двадцатые и начало тридцатых годов в ленинградском Госиздате, годы, которым мы должны быть навсегда благодарны за создание настоящей большой советской литературы для детей. Ее организовал Маршак — это широко известно. Почему оборвалась деятельность, которой он был так предан, так увлечен? Неужели он потерял к ней интерес, исчерпал себя, свои возможности? Вот уж нет! Это было невозможно. Он всегда тосковал по широкой литературной деятельности, ему всегда ее не хватало, это было почти физически ощутимо. Его всячески и по-разному от нее отвлекали, и он, как ребенок, тянулся к этим отвлечениям, даже радовался им, тоже как ребенок, и это могло показаться суетностью, но носила эта суетность весьма поверхностный, неглубокий, случайный характер. А в глубине души он всегда тосковал по большой увлекательной общественно полезной работе, и в этой тоске и была заложена причина его нервозности, неудовлетворенности, подчас даже раздражения.

Возвращаясь к началу этих воспоминаний, к пьесе «Двенадцать месяцев», вспоминаю еще и такой досадный эпизод. Написанная в годы войны, пьеса, однако, быстро получила мировую известность, и Уолт Дисней пожелал сделать ее кинематографический вариант. Он обратился к автору за разрешением, но шла война, и письмо дошло до Маршака только через девять месяцев. Ничего у них с Диснеем так и не состоялось. Маршак был раздосадован бесконечно. Его легко было понять, — представьте себе, какой мог получиться прелестный фильм. Маршак связался по телефону с тогдашним председателем Комитета по делам кино и условился о встрече, надеясь найти все-таки какой-нибудь выход и исправить положение. Однако, приехав в условленное время, он ответственного товарища не застал. Прождал около двух часов и уехал ни с чем, оставив только записку следующего содержания:

У Вас, товарищ Большаков,
Не так уж много Маршаков.

Можно, конечно, отмахнуться: мол, подумаешь, одним фильмом больше, одним меньше, но не слишком ли мы расточительны, с грустью думаю я сейчас, когда уже нет на свете ни Диснея, ни Маршака.

ТЕПЛЫЙ СВЕТ

В

первые я увидел Маршака в июне 1934-го, в доме, который в ту пору был известен каждому, кого поманила литература, в доме Горького на Малой Никитской, 6.

Накануне, в Горках, я читал Горькому свою поэму. Это была одна из многих поэм, которые дети писали в те годы, — вся из политических событий, перешедших в нее с газетной полосы. В поэме было мало образов и много восклицательных знаков.

Горький был печален и мягок, — всего три недели назад он похоронил сына.

Декламация мальчика его тронула.

— Надо, чтоб его послушал Маршак, — сказал он Бабелю.

С Бабелем мы приехали в одной машине. По дороге он прочел мне целую лекцию о фауне и флоре Подмосковья, в ней было поэзии значительно больше, чем в моих стихах.

Горький смотрел на Бабеля с любовью.

И вот я читаю Маршаку.

Маршак был полный, круглый, пухлощекый, в черном костюме, в черных очках. Он производил впечатление здорового.

Слушал он меня внимательно, с серьезным лицом, чуть наклонив голову. Спустя много лет, когда я вызывал в памяти тот день и думал, сколько несовершенных детских рифм пришлось ему выслушать за свой век, я испытывал грустное умиление.

Дослушав до конца, Маршак сказал:

— Ну что же, очень интересно. Теперь надо запастись терпением и ждать. Очень может быть, вы будете поэтом,

а может быть, другая область покажется более заслуживающей внимания.

Мне еще не было десяти лет, после Горького Маршак был вторым человеком, обратившимся ко мне на «вы», и это показалось мне самым интересным в его словах.

Горький полагал, что мне стоило переехать в Москву, быть к Маршаку поближе.

— Да, это было бы хорошо, — сказал Маршак, — но, в сущности, дело не в переезде. Раньше или позже вы войдете в писательскую среду, но лучше позже, чем раньше.

На прощание он крепко пожал мне руку.

— Пишите стихи, пишите мне и живите полной жизнью. Сочинять — большая радость, но это не должно мешать жить. Никогда не чувствуйте себя обязанным писать, если тянет играть в мяч.

Писал я Маршаку редко, отправил, может быть, два или три письма.

Снова я попал в Москву только летом тридцать девятого. Стояли прекрасные жаркие дни, я жил неподалеку от Крымского моста и ежевечерне наблюдал походы девушек в длинных цветастых платьях и молодых людей в белых брюках в Парк культуры и отдыха.

Из репродукторов гремел Дунаевский. Я был так юн, что Москва казалась мне городом вечного праздника.

Маршака я нашел постаревшим. Годы сказались не столько на его внешности, сколько в почти неуловимых мелочах — в жесте, в манере слушать и говорить, в какой-то размягченности, — казалось, ослабла та энергическая пружинка, которая чувствовалась пять лет назад в каждом его движении.

Он сразу заговорил о Горьком.

— Да, ужасно, ужасно... Три года прошло, а душевного покоя все нет. Ведь я знал его тридцать пять лет... Тридцать пять лет... страшная цифра. И ведь он, в сущности, сделал всю мою жизнь. Он дал ей и направление, и ход, и вообще определил ее в самом важном. Ну, да что говорить... И эта нелепая смерть... Он ведь был человек удивительной физической мощи, из людей, задуманных на сто лет... Он и должен был прожить сто лет.

Зазвонил телефон. Маршак снял трубку.

— Да, — сказал он, — что? Кто? Ничего не понимаю. Это квартира, квартира Маршака.

Он положил трубку на рычажок и продолжал:

— А вы пишете, голубчик? И много? Меньше? Ну что ж, это хорошо. Вы знаете, наша жизнь сделала многое доступней, ближе, проще. Это прекрасно. Наверно, прекрасно, что это распространилось и на поэзию, но в этом есть и опасность... большая опасность.

Вновь зазвонил телефон. Маршак схватил трубку.

— Чего вы хотите? — крикнул он. — Здесь живет Маршак, писатель Маршак!

В трубке что-то залопотало.

— Идите к черту! — рявкнул Маршак и положил трубку.

Я подумал в этот миг, что он похож на Пьера Безухова. Как мальчику сугубо литературному, сравнения с героями книг давались мне легче, чем с живыми людьми.

Маршак посмотрел на меня страдальческими виноватыми глазами.

— Нехорошо... — сказал он. — Вспыльчивость... Скверное качество. Однако куда деваться? Столько времени уходит на всякую бестолковщину, чепуху. Причем совершенно необязательную. Страшно жаль времени. Вам это, к счастью, еще трудно понять.

Я посочувствовал ему. Я сказал, что близкие люди должны бы оградить его от ненужных разговоров. О том, что столь же ненужным для него мог быть и наш разговор, я, естественно, не подумал.

— Да, конечно, — согласился Маршак, — но ведь сразу не поймешь, что нужно, а что — нет... В этом вся загвоздка. И потом, — он улыбнулся, — тут уж ничего не поделаешь, я достаточно известен, чтоб меня теребили, но недостаточно, чтоб меня берегли.

Снова зазвонил телефон. Маршак посмотрел на меня с ужасом.

— Поговорите с ними... — попросил он меня.

Я подошел к аппарату. Женский голос требовал Маршака. Чертыхаясь, он взял трубку.

— Что вам нужно? — спросил он. — Ну что вам нужно? Ах! — закричал он в отчаянии. — Софья Александровна! Голубушка! Это, значит, вас я послал к черту? Простите, простите меня... я уж совсем схожу с ума...

Окончив говорить, он с беспомощной улыбкой развел руками.

— Неприятная история, — сказал он. — Очень самолюбивая дама. Не поверит, что я ее не узнал. Наверняка не поверит. Решит, что я притворился. Нехорошо, нехорошо...

Он еще повздыхал немного и успокоился.

— Так о чем мы говорили? Все стало доступней, это прекрасно, но все же быть поэтом не каждому дано. Голубчик, я помню Блока в его последние годы. Он ходил по улицам, к нему было страшно подойти, видно было, что человека изнутри ломает. Он нес в себе огромный мир, и, когда этот мир накренился, он и сам не мог устоять. Конечно, душевное равновесие — большое дело, но ведь поэты странно устроены, — не сразу поймешь, что для них нужней...

Прощаясь, он был задумчив и ласков.

— Ну, с богом, мой дорогой, с богом. Надеюсь, у вас будет хорошая, красивая жизнь. Будьте счастливы и пишите время от времени.

Я не сразу понял, что он имел в виду — стихи или письма, но расспрашивать не стал.

В дом на Чкалова я попал только через девять лет. Я окончательно перебрался в Москву, стихотворчество было прочно забыто, я стал писать пьесы, и за моими плечами был уже один спектакль, с великим треском провалившийся в родном городе.

За это время Маршак стал стариком. Грузный, нахохлившийся, сидел он в кресле, но и в этом положении его донимала одышка.

— Значит, решили стать драматургом? — Он покачал головой. — Это тяжелая профессия, мне она никогда не давалась.

Я заметил, что я уж, во всяком случае, не могу похвалиться удачей.

— Ну, там видно будет, там видно будет, — сказал Маршак. — Только не делайте одной ошибки, голубчик. Если вам будут говорить, что автор пьесы должен полностью исчезнуть, не принимайте это на веру целиком. Автор никогда не должен исчезать, на то он и автор. В конечном счете все решает наш личный опыт. И в стихотворении и в пьесе.

— А вот говорят, — сказал я бодрым грамофонным голосом, — хороший режиссер тот, кто умирает в своих актерах, хороший драматург тот, кто умирает в своих героях.

— Умирайте, — устало кивнул Маршак, — умирайте, голубчик, но с умом. Так, чтобы вовремя ожить. И чтоб все кругом поняли, что вы живы. И еще можете дать жизнь

новым действующим лицам. Не торопитесь умирать, милый, это от вас не уйдет.

Потом без перехода он предложил:

— Хотите, я почитаю стихи?

Я сказал, что хочу, и он зашептал горячо и прерывисто:

На неизвестном полустанке,
От побережья невдали,
К нам в поезд финские цыганки
Июньским вечером вошли...

Я тогда в первый раз слышал эти стихи и радостно отдавался их ритму.

А было это ночью белой,
Когда земля не знает сна,
В одном окне заря алела,
В другом окне плыла луна...

Потом он читал из Бернса и Шекспира. Переводами сонетов он гордился.

— Это был экзамен на высший пилотаж,— сказал он, прочитав сонет тридцать второй,— впрочем, и другие не хуже.

Когда он прочел Вордсворта, я изумился тому, чего можно добиться самыми простыми словами:

Не опечалит никого,
Что Люси больше нет.
Но Люси нет — и оттого
Так изменился свет.

Я был молод, здоров, достаточно жизнерадостен, но такая острая, такая горькая тоска пронзила меня, что я даже скрыть ее не сумел.

Тогда он прервал чтение, перестал беседовать с Вордсвортом, Бернсом и Шекспиром, с которыми ему было интересней, чем со мной, и, достав с полки книгу своих стихов, сделал на ней надпись: «Дорогому Лене на память о нашей встрече у Горького и о новой встрече в Москве».

— Ну что ж,— сказал он,— вы теперь москвич. Очень рад. Будем видеться время от времени.

Незадолго до его кончины мы встретились в Ялте. Я приехал к нему, когда уже вечерело, в комнате было сумеречно, но света мы не зажигали.

Маршак, — он умел не только увлекаться людьми, но умел и решительно с ними расставаться. Разумеется, много было обиженных, но таков уж был его характер.

Казалось, он защищает Горького от произнесенных обвинений.

— Не надо только тянуть его в праведники. Он страстный и пристрастный, какой уж он праведник?

Почти перед самым приездом в Ялту я прочел письмо Горького к Немировичу-Данченко. Это был очень резкий и в чем-то даже жестокий ответ на весьма деликатное несогласие Немировича с некоторыми образами «Дачников». Я рассказал Маршаку об этом письме.

Маршак выслушал и вздохнул.

— Гордый был, — сказал он и покачал головой. — Что поделаешь? Такой уж взвалил на себя крест. Трудная, очень трудная жизнь.

Помолчав, он без видимой связи сказал:

— А прозу вам не хочется писать? Надо обязательно писать прозу. В прозе личный опыт писателя выразить легче.

Было темно, я с трудом различал глаза Маршака. Совсем старые глаза. Сколько времени прошло со дня первой встречи? Двадцать восемь лет. Целая жизнь. Что за стихи я ему читал там, на Малой Никитской? Не помню. Должно быть, он уже тогда знал, что я не буду писать стихов. Да и пьесы, пожалуй, принесли больше горя, чем радости. В самом деле надо писать прозу.

Я попросил Маршака прочесть стихи, которые узнал совсем недавно и которые сразу же стали моими любимыми.

Он согласно качнул ресницами и еле слышно, преодолевая одышку, заговорил:

Столько лет прошло с малолетства,
Что его вспоминаешь с трудом.
И стоит вдалеке мое детство,
Как с закрытыми ставнями дом.
В этом доме все живы-здоровы —
Те, которых давно уже нет.
И висячая лампа в столовой
Льет по-прежнему теплый свет.
В поздний час все домашние в сборе —
Братья, сестры, отец и мать.
И так жаль, что приходится вскоре,
Распрощавшись, ложиться спать.

Он не дал сгуститься паузе и торопливо сказал:

— Я кончил статью о Твардовском. И очень счастлив, что успел это сделать. Это был мой большой долг.

Он встал, зажег свет и добавил:

— Вот прекрасный пример гармонии личности и дарования. Это очень важно,— ведь все-таки много людей рыватых по убеждениям.

В день его юбилея я послал ему поздравительное письмо. Спустя некоторое время я получил от него несколько ответных строк:

«Дорогой Леонид Генрихович,

Сердечно благодарю Вас за привет и поздравления.

Читая Ваше письмо, я с нежностью вспоминал «мальчика», о котором мы когда-то много говорили с Алексеем Максимовичем.

На днях я уезжаю лечиться в Крым (в санаторий «Нижняя Ореанда»). Не собираетесь ли Вы побывать в Крыму? Буду очень рад увидеться с Вами.

Крепко жму Вашу руку и целую маленького Андрея Зорина.

Ваш С. Маршак».

Прочитав это письмо, я вдруг понял, что надо обязательно поехать в Крым, чтоб его увидеть.

Но, как всегда, было очень много работы, и я не собрался. В день его смерти, когда я узнал, что опоздал еще раз, мне вспомнились его слова, сказанные при первой нашей встрече:

— Сочинять — это большая радость, но это не должно мешать жить.

Принято считать, что в юности все просто, а чем человек старше, тем ему понятней, как все сложно на самом деле.

Должно быть, это действительно так. Но, думается, не всегда и не во всем.

Похоже на то, что в зрелости многое, казавшееся необычайно сложным, делается простым и ясным, почти как в детстве.

Очень просто вдруг оказывается разобраться в том, что такое хорошо и что такое плохо.

и попытки приспособить их ко времени, видоизменить согласно требованиям момента ни к чему путному не приводят и, более того, обходятся весьма дорого.

Обнаруживается также, что подлинное искусство соседствует с истинами вечными и прочными.

Именно таким и было искусство Маршака. Он был из тех, кто простыми словами мог многого добиться.

Сколько раз я ловил себя на том, что повторяю с растерянностью и болью:

Не опечалит никого,
Что Люси больше нет.
Но Люси нет — и оттого
Так изменился свет.

Очень часто вспоминается тот крымский вечер. За окном темно, в комнате почти ничего не видно, Маршак грузно сидит в кресле, еле слышно звучит его глуховатый голос:

...И висячая лампа в столовой
Льет по-прежнему теплый свет.
В поздний час все домашние в сборе —
Братья, сестры, отец и мать,
И так жаль, что приходится вскоре,
Распрощавшись, ложиться спать.

БУДУ ДУМАТЬ ТОЛЬКО ХОРОШО



ои воспоминания о Самуиле Яковлевиче начну с того, что приведу страничку из его воспоминаний, названных им «Встречи в Риме».

«Приятно, находясь за границей, неожиданно отыскать в чужом краю маленький клочок своей родины. Такое ощущение было у меня, когда я побывал в Риме у советского писателя Виктора Павловича Кина. Он был в это время — в 1933 году — римским корреспондентом нашего ТАССа, а я приехал в Рим из Каподи-Сорренто, где гостил у Алексея Максимовича Горького.

В столице Италии у меня почти не было знакомых, и, хотя знал я о Риме довольно много, я растерялся бы в этом необъятном городе, где чуть ли не каждый переулок манит приезжего сокровищами искусства или своей ролью в истории. Я не знал бы, с чего начать осмотр и что можно и стоит увидеть за две-три недели там, где для самого беглого знакомства нужно по крайней мере пол-года. Древний Рим, средневековый, Рим эпохи Возрождения и последующих веков — все это хотелось увидеть, и не поверхностно, не на лету. И тут сама судьба послала мне Виктора Кина... В небольшой квартирке на улице Сфорца Палавичини, где жил он со своей приветливой маленькой женой и восьмилетним сыном, мы сразу же заговорили о московских литературных делах того времени...»

Я очень хорошо помню, как Самуил Яковлевич впервые появился у нас. Мы жили в Италии уже третий год, и москвичи, гостившие на Капри у Алексея Максимовича, потом зачастую оказывались нашими гостями. У нас жили по

Хольцман, крупный специалист по легочным заболеваниям, лечивший Горького, и другие товарищи. Это было интересно, но немножко утомительно: я добросовестно водила гостей — и тех, кто останавливался у нас, и тех, кто жил в полпредстве, — по музеям, церквям и так далее, но иногда мне хотелось пожить «нормально», своей семьей. Поэтому, когда Кин однажды сказал мне, что приехал Маршак и хочет прийти к нам, я не проявила никакого энтузиазма. Но дня через два, рано утром, часов в девять раздался телефонный звонок: «Это квартира Кина? Это его жена? Здравствуйте, говорит Маршак. Можно мне приехать к вам в гости?» Мне понравился голос, интонация, доверчивая простота обращения, и я уже не только из вежливости, но от души сказала: «Конечно, можно, товарищ Маршак».

Минут через сорок он был у нас. Я хорошо помню, что это было воскресенье, потому что дома была и Муся¹. Не знаю, как это случилось, но не было никакой даже мимолетной скованности первого знакомства. Думаю, что это заслуга «товарища Маршака». Признаться, я не знала раньше его имени и отчества и (сейчас это звучит почти неправдоподобно) почти не знала его книг, хотя у меня был маленький сын. Но в это воскресенье все мы испытали очарование его стихов. Не только мы, но и наша домашняя работница Мария, итальянка, заслушалась его. Мария, очень музыкальная, отлично уловила ритм «Почты» и просила рассказать ей, что это такое. Мой сын Левушка «Почту» знал хорошо, знал и некоторые другие стихотворения. Самуил Яковлевич обращался к восьмилетнему мальчику серьезно, дружелюбно и вежливо и не задавал ему никаких праздных вопросов, в частности не говорил с ним о стихах, а больше расспрашивал о Форуме, об Аппиевой дороге и т. д. Он провел у нас весь день. Вечером мы должны были ужинать у нашего полпреда Владимира Петровича Потемкина, дом там был организованный, и опаздывать не полагалось. Оказалось, что Самуил Яковлевич тоже был приглашен на ужин. Все мы опоздали почти на час. Произошло это из-за Самуила Яковлевича, который в последний момент заявил, что ему необходимо побриться, — иначе нельзя ехать. Началась целая канитель, Мария Исаевна Потемкина была чрезвычайно фраппирована таким неслыханным опозданием, но виновник

¹ Матильда Афанасьевна Рихтерман, сотрудница нашей внешнеторговой организации, жившая в нашей семье.

так простодушно рассказал, как было дело, что она сменила гнев на милость.

Этот день был началом многолетней моей дружбы с Самуилом Яковлевичем. Вот еще несколько строк из его воспоминаний: «Виктор Кин и его жена разделили между собой свои обязанности по отношению ко мне так: Леля Кин водила меня по музеям, художественным галереям, а Виктор Кин — по маленьким и нарядным римским тратториям (полуресторан, полукафе), где мы с ним ели «спагетти» и пили вино из оплетенных соломой бутылей. За столиком он подробно знакомил меня с политической жизнью Рима, которую к этому времени изучил до тонкости».

Мне очень жаль, что я не помню в деталях, что говорил Самуил Яковлевич о той или иной картине, помню немного. Помню, что он оставался равнодушным к искусству барокко, что ему очень нравился Караваджо в галерее Боргезе и там же «L'amor Santo e Profano» Тициана (ему вообще нравились венецианцы — не только Тициан, но Веронезе и Тинторетто). Много раз мы заходили в собор Святого Петра. Самуил Яковлевич любил и торжественную площадь сobeliskом и фонтанами, и микеланджеловскую «Пьету», и Ватиканскую пинакотеку. Помню еще, он сказал мне однажды, что не разделяет мнения Гете о картинах братьев Караччи и их школы, — они казались ему приторными.

Иногда вместо меня с Самуилом Яковлевичем ходила куда-нибудь Муся. Первый же их совместный поход в музей ознаменовался тем, что наш дорогой Маршак уронил очки, потом наступил на них и раздавил. Муся пришла в ужас: запасных очков не оказалось. Таких историй было много: вечно что-нибудь забывалось, терялось и так далее. Принимая во внимание римскую жару, сирокко и все дополнительные хлопоты, которые возникали из-за рассеянности Самуила Яковлевича, можно понять, что мы иногда пробовали читать ему нотации. Ничего не помогало, и мы смирились.

Тем более что он был очарователен. Ему было тогда сорок пять лет, у него было хорошее лицо и мягкая улыбка, он представлялся нам открытым, безыскусственным, очень доброжелательным и простым. У него была блестящая память, он читал мне не только сотни стихотворений, но и длинные куски пушкинской прозы. Мне нравился его вкус, его юмор, — помню, как он однажды сочинил длинную

итальянскую фразу (почти что целую тираду) и обратился с нею к двум итальянским полицейским, охранявшим здание полпредства и громко разговаривавшим между собою по ночам, мешая ему спать. Смысл тирады был в том, что очень нехорошо беспокоить людей и можно говорить тише и ходить подальше от окон. Самуил Яковлевич уверял, что его красноречие на полицейских подействовало.

В 1934 году я приехала из Парижа в отпуск в Москву примерно за неделю до открытия Первого съезда советских писателей, и мне дали гостевой билет на съезд. Самуил Яковлевич был уже в Москве, и Илья Яковлевич¹ имел со мной доверительный разговор: он сказал, что Самуил Яковлевич почти ничего не ест, не спит, непрерывно курит, простудился и что вообще на него «необходимо повлиять». Повлиять мне удалось: я напугала Самуила Яковлевича, заявив ему, что при таком образе жизни он обязательно провалит свой доклад о детской литературе, потому что будет не в форме. Он наивно возразил, что доклад уже написан и, значит, ничего не может случиться. «А отвечать на вопросы как вы будете? А заключительное слово? Провалите!» Короче говоря, поздно вечером Самуил Яковлевич, убежденный и несколько растерявшийся, решил, что надо «все переменить». А так как он был человеком эмоциональным, то начал действовать немедленно: потащил меня в ресторан, где играл оркестр и люди танцевали, и заказал... яичницу и молоко. Вероятно, мы выглядели довольно нелепо в этот час и в этой обстановке. Мне было чуточку не по себе, но в Самуиле Яковлевиче всегда было что-то детское, да он, по-моему, и не задумывался о том, каким забавным было это меню. Как бы то ни было, последние дни перед съездом он все-таки ел и вовремя ложился спать. Его брат и я были очень довольны.

Доклад, как известно, прошел хорошо. Я даже не поздравила Самуила Яковлевича. Он был окружен людьми, и я не стала его отвлекать, тем более что на съезде я встретила много старых товарищей.

В это же лето произошла одна смешная история. Самуил Яковлевич опять приехал в Москву вместе с директором ленинградского отделения Детгиза, а я уже собиралась во Францию. Были дни тысячелетнего юбилея Фирдоуси, и газеты очень много писали о нем. В Большом театре был

¹ И. Я. Маршак — писатель М. Ильин, брат С. Я. Маршака.

устроен торжественный вечер памяти Фирдоуси, и я обещала своему приятелю, нашему дипломату Косте Уманскому, пойти туда вместе с ним. В этот же вечер Самуил Яковлевич с детгизовцем (я не помню фамилии) возвращался в Ленинград. Он огорчился, что я его «брошаю» и ухажу в театр, но я уже обещала и ушла. В театре, однако, мне стало жалко, что я так сделала, и после заседания, — предстоял большой концерт, — я сказала Уманскому, что у меня болит голова, а сама поехала в гостиницу. Самуил Яковлевич очень обрадовался. Через полчаса мы вместе отправились на Ленинградский вокзал. Билеты у них были на какой-то обычный поезд, но Самуил Яковлевич решил, что надо попасть на «Стрелу», а это казалось практически невозможным. Он молниеносно изобрел план действий: схватил меня под руку, разыскал какое-то дежурное вокзальное начальство, сказал, что он племянник Фирдоуси, а я внучка поэта, Машенька Фирдоуси, и что нам обязательно надо обменять билеты. Это было чистое озорство, но железнодорожник, слова не возразив, согласился. Имя Фирдоуси было у всех «на слуху», и он, конечно, не сообразил, что довольно сложно быть племянником и внучкой человека, жившего тысячу лет тому назад. Вот таким тоже бывал тогда Самуил Яковлевич — веселый, озорной, как мальчишка.

В следующий раз мы увидались с Самуилом Яковлевичем в сентябре 1935 года в Ленинграде. Я опять приехала в отпуск в Союз и должна была погостить у Муси, которая вернулась из Италии домой — она постоянно жила в Ленинграде. Когда мы позвонили Самуилу Яковлевичу, он очень обрадовался, но сказал, что два дня не сможет видаться со мной, потому что срочно готовит к сдаче какую-то книгу. Он настойчиво просил меня в эти дни даже не приближаться к Сенатской площади и взял с Муси слово, что мы не пойдем в эту часть города: он хотел во что бы то ни стало сам показать мне памятник Петру.

Через два дня Маршак появился у Муси с самого раннего утра. Он был очень утомлен, но весел и возбужден, много рассказывал о своей работе. Это была полоса большого творческого подъема в его редакторской работе. Мы виделись каждый день, несколько раз я была в гостях на улице Пестеля, познакомилась с Софьей Михайловной, очень красивой и обаятельной. У Самуила Яковлевича была машина, меня возили по городу, по окрестностям, показывали прославленные места. Однажды произошла смеш-

ная история: мы вышли из машины и пошли что-то осматривать. Вероятно, из-за моего «парижского» вида несколько мальчишек, еще маленьких, приняли нас за иностранцев и, назвав Самуила Яковлевича «мистером», попросили сигареты. Он дал им папиросы. Один из мальчиков был в красном пионерском галстуке. Самуил Яковлевич дал папиросу и ему, но сказал: «Ты ведь пионер, разве тебе можно курить?» — «А что ж тут такого?» Дальше последовал в очень быстром темпе разговор. «Как тебя зовут?» и так далее, после чего было сказано: «А вот я про тебя напишу». — «Как напишете, что напишете, а вы кто?» — «Я — Маршак». Мальчишка сказал: «Неправда». Я подтвердила, мне не поверили, но кто-то из ребят побежал к шоферу. Когда тот подтвердил, что это в самом деле Маршак, мальчик ужасно испугался и стал упрашивать Самуила Яковлевича не писать о нем. Кончилось тем, что всех ребят пригласили в гости на улицу Пестеля.

Через двадцать лет, на Чкаловской, когда Самуил Яковлевич лежал в постели с температурой, явились три девочки и один мальчик, жившие в том же дворе, и заявили, что им непременно и срочно нужно с ним поговорить. Пришлось их пустить в спальню: очень уж важное дело. Оказалось, что брат одной из девочек, Сережка Сергеев, «обижает маленьких, дразнит и одну из девочек называет пончиком» (жертва была тут же — милая маленькая толстушка). Самуил Яковлевич согласился, что «никуда не годится называть девочку пончиком». Они хотели, чтобы Самуил Яковлевич написал про этого самого Сережку Сергеева стихи: «иначе с ним не сладишь». Решили, что, если он не исправится, Самуилу Яковлевичу дадут знать, и тогда он постарается написать. И тут мы вспомнили давнюю ленинградскую историю с курившим пионером.

Весной 1955 года я, вернувшись в Москву, не знала, где и как мне устроиться на службу после стольких лет, и Самуил Яковлевич предложил мне работать с ним. Сейчас я с некоторыми сокращениями воспроизведу записи, которые делала в то время.

«16 августа 1955 года

...О музыке. С. Я. больше всего любит Баха, а из наших — Глинку. Высоко ценит Мусоргского и Бородина, меньше — Римского-Корсакова, в котором чувствует какой-то псевдо-

русский стиль (оттенки). С. Я. говорит, что «Пушкин и Глинка — святые, остальные, идущие за ними, мученики, так как у них был талант, но не было огромной культуры, и им приходилось превращать прозу в поэзию». Он говорит, что Батюшков и Баратынский были великодушными поэтами, много говорит о Некрасове: «Он был человек необыкновенного темперамента и силы, он *утяжелил* русский язык, его у нас не понимают и считают чем-то вроде Никитина или Кольцова, между тем как его правильнее сравнивать с Достоевским».

О «Герое нашего времени» С. Я. говорит, что это «лучшая русская проза». У Пушкина — «Божественное чувство настоящего времени. У Тютчева — уже прошедшее время или сослагательное наклонение». С. Я. говорит о мощи реализма у Пушкина, Гоголя, Шекспира, которые «разбивают стекло между собою и читателем. Но, как и в вагоне, стекло нельзя разбивать по пустякам». С. Я. говорит о сонетах Шекспира, что «понимать их могут люди постарше: надо уметь чувствовать. В сонетах поразительный диапазон — от шепота до грома. Удивительно, чего можно достичь паузами («люблю, но реже говорю об этом»). У Шекспира — предельный реализм и конкретность».

С. Я. говорит, что «у нас в театральных студиях сидят чудачки, преподают молодежи и ничему ее не учат. У них не фортепьяно, а только форте. Наши чтецы не доносят до публики стихи. Не понимают роли дыхания». Он с восхищением вспоминает Шаляпина: «удивительная свобода при страшной дисциплине».

Сегодня С. Я. подарил мне фотографию 1952 года, большую — он в кабинете, без очков. Сделал экспромтом смешную надпись:

Дорогой Цецилии
(Не помню фамилии,
Вспомнил — Кин)
В день именин.
С уважением и любовью,
С пожеланьем всяких благ,—
Счастья, славы и здоровья —
Благодарный С. Маршак.

18 августа

Вчера я не видела С. Я., а утром он мне прочел новые переводы из английской народной поэзии. Особенно хорошо, как мне кажется, переведено стихотворение о короле Артуре, который украл муку и испек пудинг.

МХАТ ставит «Братьев Карамазовых», и С. Я. боится, как бы они не провалили, как было с «Анной Карениной», которую он называет комикс. Разговор о Достоевском. С. Я. говорит, что он не был объективным психологом, что все его герои — воплощение каких-то глубоко личных вещей, все они — в самом Достоевском.

Три стихотворения Джанни Родари готовы и отшлифованы. Лучшее — «Имена» («Nomi») — С. Я. отдает в «Лит. газету». Вышло поэтичнее и сильнее, чем в подлиннике. Родари хорош, но не достигает такой поэтичности, по крайней мере в этой вещи. Разговор о сатире: «Сатира неотделима от юмора. Она должна быть лирична. Поэтому Марк Твен останется, а Джером — вряд ли». С. Я. до революции не придавал значения своим сатирическим стихам. Он «относился к себе с необыкновенной строгостью». Очень большую ответственность он чувствовал во время войны, когда были не только стихи, а надписи на табачке, на каше, на горохе, которые посылались в окопы.

С. Я. говорит, что повседневная газетная работа (сатира) во время войны помогла ему при переводе сонетов, «так как концовки сонетов всегда эпиграмматичны. Важно чувство лирической формы, а не только внешней формы. К строгости формы я впервые пришел в детской поэзии». «Сказка о глупом мышонке» — сюжет бродил полгода и не ожил, пока раз как-то на улице не пришел С. Я. мотив. Значение музыкальности стиха для С. Я. огромно.

А я вот думаю: не роднит ли это С. Я. с Бернсом?

Случайно подберем
Мотив мы,
А рифмы
Придут к нему потом.

Отдельные мысли С. Я.

«Маруся отравилась» — баллада с законченным сюжетом, продукт большой культуры.

«Козлов — один из старших богатырей», один из создателей языка. При нем умер славянский язык, который был великолепен.

Стихи Пушкина Филарету — борьба лиры и арфы, не только смысловая, но и языковая. У Пушкина было необыкновенное понимание языка.

Литературоведение даже не проникло в поэтическое искусство, не знает, что такое дыхание в поэзии. «В лесу

раздавался топор дровосека» — свежесть, полное дыхание возможно только в первой строке.

На мысли об искусстве наводила С. Я. редакционная работа, когда надо было объяснять автору, что хорошо и что плохо.

С. Я. о Лермонтове: «Вот в чем настоящая музыка: «Не правда ли, ты не любишь Мери, ты не женишься на ней?»

20 августа

С. Я. говорит о подсознательном отборе звуков в словах. У Пушкина в стихотворении «Нет, я не дорожу» много *м* и *л* — «о, как *мучительно* тобою счастлив я» и т. д. Ему кажется, что это от слова «милый». У С. Я. тоже в одном из сонетов со звуком *д* (о душе). В «Двенадцати месяцах» — у волка «*у-у*» сделано вполне сознательно. Нет «поэтических звуков» — все зависит от смысла. *Л.* прекрасно звучит в «любви» и совсем непоэтично в «ватерклозет».

22 августа

С. Я. против голого преклонения перед техникой. Он никогда не переиздавал свое раннее стихотворение «Колеса». Он против фетишизма вещей. Очень важны лиричность и то «безумие», которое есть у англичан. Сегодня С. Я. написал стихи о двух слоненках, подаренных нам Неру. С. Я. говорит, что это эксперимент: чистая публицистика, которую надо было сделать поэтичной.

30 августа

Не писала несколько дней. Не видела С. Я. Он был занят с Хьюзом, ездил с ним в Ясную Поляну и т. д. Вчера мы опять работали вместе с С. Я. Он говорил о языке. Мысль — слово — поэзия. «Никого не удивляет стройность грамматически правильного языка, а дальнейшее развитие его — поэзия». Говорил о роли подсознания, о звучании слов.

1 сентября

Молниеносно закончен и сдан в «Огонек» цикл новых детских английских песенок, эпиграмм и эпитафий. С. Я. ночью не спит и работает. За одну сегодняшнюю ночь он перевел шесть вещей для этого цикла: «Сам виноват», «Язык — ее враг», «Эпитафия сплетнице», «Разговор», «Святой Георгий» и «Почему застрахован один из колледжей в Оксфорде?»

С. Я. много говорил о Пушкине и Лермонтове. Он считает, что в богатстве Пушкина в огромной степени отразился великий восемнадцатый век. С Лермонтова, по существу, уже начинается поэзия разночинцев и т. д. У нас о Лермонтове пишут беззубо. Между тем в его вещах огромная взрывчатая сила.

2 сентября

Буквально в промежутке между двумя глотками черного кофе С. Я. перевел стихотворение (1843 г.), видимо отразившее острую религиозную борьбу в Англии или в Шотландии:

Новая церковь,
Свободная церковь,
Церковь без колокольников,
Старая церковь,
Холодная церковь,
Церковь без богомольцев.

(Слышится чеканный звон в ц.)

11 сентября

...Вчера говорили о Блоке. С. Я. его очень любит, особенно: «Петроградское небо мутилось дождем...», «В ресторане», «Вновь оснеженные колонны», «Равенна», «Ночная фиалка», «Незнакомка».

Любимые русские поэты С. Я.: Денис Давыдов, Баратынский, отчасти Батюшков, Козлов, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет, Блок.

26 сентября

Не писала вечность. В «День поэта» 11 сентября в книжной лавке, где должен был выступать С. Я., было столпотворение. Книг С. Я. было очень мало, двухтомника не было совсем. С. Я. был болен и не пришел. Читали вслух его стихи, среди них «Словарь» и «Когда изведав трудности ученья...». Какой-то старик 92 лет специально пришел в лавку, чтобы увидеть С. Я. Читатели выступили с требованием издать сочинения С. Я. миллионным тиражом.

Вчера утром С. Я. вылетел в Ялту, где встретится с Хьюзом. Было много трогательных эпизодов: на самолете ИЛ были места 7 и 8. (Вместе с С. Я. летел фотокорреспондент журнала «Советский Союз».) Когда кассирша узнала, что летит С. Я., она отобрала бронь у какого-то генерала и отдала 1 и 2 места. На Впуковском аэродроме нас про-

пустили в самолет, командир корабля договаривался, какой режим полета лучше для С. Я., установил высоту 2,5 тысячи. Стюардесса переживала, посылщики улыбались и т. д. Вот всенародная любовь и признание.

Накануне отъезда, 24-го, я весь день была у С. Я. и здесь ночевала, чтобы утром поехать на аэродром. До часу сорока минут мы сидели в кабинете и говорили. Он подарил мне новое издание «Сонетов» и хотел сделать шутливую надпись, что-то вроде: «Промчался век, и не один, с тех пор, как жил великий Кин. Но будет жить его фамилия, пока на свете есть Цецилия». Он мне сказал, но я запротестовала против шутливой надписи на сонетах. Тогда он просто написал: «Моему другу — Лёле Кин». В половине седьмого утра он ворвался в кабинет, где я спала: «Душенька, вы уже не спите? Идите скорее ко мне». Я взяла у домработницы Веры огромный халат, накинула его — и к С. Я. «Что случилось?» Оказывается, ночью его взяло сомнение: правильно ли он перевел имя Люат в «Двух собаках» Бернса. А вдруг ближе к подлиннику будет «Люоф» и т. д. и т. д. Словом, я должна проконсультироваться с кучей народа. Такое уважение к мастерству, к слову — великолепно».

Больше я ничего не записывала и жалею об этом. Но работала вместе с Самуилом Яковлевичем еще долго. Работы было немало. К нему шли рукописи со всех сторон, как в какое-либо большое издательство: прозы, пьесы и, конечно, больше всего стихов, необъятное количество стихов. И просто письма, так сказать, бескорыстные. Ни один человек, я думаю, физически не смог бы справиться с этой лавиной писем и бандеролей. Самуил Яковлевич не хотел ограничиваться отписками. Поэтому часто он отвечал сам, а часто отвечала я — от своего имени, на свой страх и риск. Со многими людьми у меня устанавливалась длительная, многомесячная корреспонденция.

Мне хочется рассказать еще одну историю. Однажды, когда Самуил Яковлевич был на юге, среди груды писем я прочла хорошее и умное письмо группы ленинградских геологов. Они приложили несколько стихотворений своего товарища Юры Альбова, находившегося в то время в экспедиции. Они сообщили, что Альбов пытался куда-то послать свои стихи, получил невразумительные, поверхностные и отрицательные рецензии и плюнул на все это дело: пишет для себя, для геологов, среди которых его вещи очень популярны, но не для печати. Я внимательно прочла. Стихи были отличные, талант-

ливые, своеобразные, попадались и незрелые, но одаренность человека была несомненной. Я написала геологам (Альбов в то время и не знал об этом) самое теплое письмо, высказала свое мнение о стихах, обещала непременно показать их Самуилу Яковлевичу, когда он придет. Короче говоря, Альбов приехал в Москву, я привела его на Чкаловскую, Самуил Яковлевич проявил к нему много внимания, хвалил его стихи, помог напечатать несколько стихотворений, если не ошибаюсь, в «Юности». Я знаю, что Самуил Яковлевич искренне радовался, если мог что-нибудь сделать для талантливой молодежи.

Последние годы мы виделись редко. У меня случился инфаркт. На Чкаловской после болезни я была всего раза два-три. Мы часто говорили по телефону, а виделись, когда Самуил Яковлевич приезжал в дом на Аэропортовской к своей сестре Лии Яковлевне (в том же доме живу и я). Он был уже стар и очень болен, но интеллект оставался могучим, а поэтический дар — поистине неиссякаемым. Он сохранил прежний живой интерес к Италии, охотно слушал мои рассказы о тамошних делах, расспрашивал подробности.

Последнее время он был глубоко удручен из-за болезни глаз. Он привык болеть и как-то справлялся с этим, но невозможность читать очень огорчала его. Он говорил мне, что видит только слабый свет, словно светит керосиновая лампа с прикрученным фитилем: чуть-чуть. Но он забывал обо всем, когда читал мне новые лирические эпиграммы. Особое значение сам он придавал стихотворению «Дыхание свободно в каждой гласной...». Мне кажется, в какой-то степени оно принадлежало к самым «программным» (в смысле мастерства) его вещам. Он знал, что я очень люблю Блейка, я часто и настойчиво спрашивала, почему же все-таки нет отдельной книжки, и он все отвечал, что будет книжка. Она вышла — в самом деле отличная — уже без него.

Он всегда очень прислушивался к тому, что говорили о его стихах. Мне очень нравилась поэма Эдварда Лира «В страну Джамблей», и Самуил Яковлевич написал мне милое и смешное стихотворение, начинающееся словами: «Есть в Москве замечательный аэропорт», в размере поэмы. Оно было датировано 11 июня 1962 г., а 30 декабря этого же года он прислал мне книжечку Эдварда Лира и на ней написал еще одно стихотворение:

*Дорогой Лёле Кин
к Новому году*

В решете они в море ушли, в решете...
Но найдется такой рецензент,
Что напишет язвительно: «Темы не те,
И не виден текущий момент».
Я отвечу: — Вы правы во всем, гражданин.
Разумеется, темы не те.
Ну а все-таки видела Лёлочка Кин,
Как неслись они вдаль в решете...

Мне трудно писать о том, как я видела Самуила Яковлевича в последний раз. Это было опять у Лии Яковлевны. Он всегда был очень нежен, но на этот раз — особенно, не знаю почему. Спрашивал, как сердце и не слишком ли много работаю, и вдруг сказал, чтобы я никогда не думала о нем плохо. Это был отголосок каких-то наших споров и несогласий, — без этого редко проходит дружба, длившаяся столько лет. Мне стало очень больно, и я сказала: «Никогда, Самуил Яковлевич, дорогой, — буду думать о Вас только хорошо». Я не знала, что больше никогда с ним не увижусь; это было за несколько дней до последней его болезни.

НАДПИСИ НА КНИГАХ

Эту книгу дал я Рите,
Что была на Чкалов-стрите
И вернулась на почевку
На родную Усачевку.

1



С. Я. Маршаке писали и будут писать очень много. Часто говорилось, что в нем одном было несколько Маршаков: Маршак — детский поэт, Маршак-драматург, Маршак — переводчик и лирик, теоретик, редактор, педагог. О каждом можно написать целый том воспоминаний, большую диссертацию, — интереснейшая тема.

Но здесь мне хочется рассказать о Маршаке домашнем, об отдельных разговорах и встречах, закрепленных в надписях на подаренных мне книгах. За шутливыми строчками стихов стоят долгие дни дружбы, совместной работы и вечная моя благодарность за помощь, за поддержку в трудные дни, когда Самуил Яковлевич упорно и настойчиво заставлял меня браться за работу, казавшуюся мне непосильной. Он и на томике своих стихов написал: *«Рите — будущему автору книги о Бернсе»*. В 1966 году эта книга вышла в ЖЗЛ третьим изданием, посвященная — увы! — уже не живому Маршаку, «подарившему Роберта Бернса русскому читателю», а светлой его памяти...

Мы познакомились в Ленинграде в 1924 году. В тот вечер, за ужином, С. Я. подсел ко мне и стал расспрашивать о Маяковском, о Бриках, о тогдашних литературных спорах. Не помню, как я «высказалась», — наверно, очень категорически, но Маршак рассмеялся и сказал:

— Ого, да она левее самого «Лефа»! Это уже опасно!

Прошло года два. Встречались мы редко и как-то «шапочно», поэтому я очень удивилась и обрадовалась, когда мне до-

мой позвонил Маршак и сказал, что прочел мою книжку «Красный Треугольник».

Это была маленькая книжечка для детей об одном из самых больших ленинградских заводов. Меня подбила на это дело Мария Михайловна Шкапская: талантливый поэт, ставший журналистом, она занималась историей заводов, главным образом популярной серией для школьников. Поэтому я и описала завод с точки зрения двух стандартно вопрошающих школьников — мальчика и девочки, — которых водит по цехам всеведущая московская корреспондентка. Дети ахали и восхищались, девочка, соответственно, игрушками и ботинками, мальчик — машинами и шинами, а корреспондентка разъясняла им производственные процессы, попутно восхваляя новый тогда метод бригадной работы. Книжка была мило иллюстрирована фотографиями с подписями (по левовскому принципу) и получила одобрение тех «треугольниковцев», которые терпеливо водили меня по заводу целую неделю подряд.

Вскоре мне позвонил Маршак.

Он начал сразу: «Вот что, голубчик, я только что прочел вашу книжицу...» И, объяснив, что это пока еще «вообще не книжка», но что видеть я умею и писать тоже могу, попросил «завтра же, ровно в десять утра», прийти к нему, так как он хочет сделать из меня «хорошего детского писателя».

Я очень обрадовалась, что можно пойти в гости к Маршаку, совершенно не подумав о цели визита.

С Маршаком в кабинете сидел хмурый парнишка в толстом белом свитере.

— Это — Ленья Пантелеев, один из авторов «Республики Шкид», — сказал Маршак.

Ленья угрюмо покосился на меня — видно, помешала — и ушел, а Маршак рассказал мне о нем, о его друге, Белых, и об их книге, не то уже вышедшей, не то выходящей в Детгизе при участии Маршака. И, рассказывая мне о своей работе с начинающими авторами, Маршак тут же подробно изложил план той книги, которую я — молодой физиолог — должна, вот именно ДОЛЖНА написать для детей.

Все, кому посчастливилось слышать, как Маршак рассказывает какой-нибудь свой замысел, помнят, до чего это интересно. Маршак был мастером устной речи, блестящим импровизатором, с колоссальной, сохранившейся до конца жизни, памятью на стихи и прозу.

Я слушала, поражаясь этому дару, но, когда он остановился, рассказав чуть ли не по главам мою «будущую» книгу,

я робко сказала, что все это, конечно, очень увлекательно, только я вовсе не собираюсь стать детским писателем.

И тут Маршак рассмеялся.

Век не забуду, как он хохотал. Он снял очки, вытирал слезы, переводил дух — и снова заливался смехом. Не совсем понимая, в чем дело, я смеялась вместе с ним — уж очень это было заразительно.

Отдышавшись, он сказал:

— Это как в старом анекдоте: один человек дал объявление: «Ищу спутника для поездки за границу», и ранним утром его разбудил бешеный звонок. Он испуганно открыл двери: оказывается, пришел человек — сказать, что он с ним не поедет...

— Вы еще подумайте! — сказал мне С. Я. на прощанье.

И потом, при редких, но всегда хороших встречах, спрашивал:

— Значит, не поедете?

Каждая новая его книжка была радостью не только для моих детей, но и для меня.

«У нас есть все маршаки», — говорила моя маленькая дочка о детских книжках, а сын моей приятельницы, уговаривая мать пойти с ним в зоосад, на ее слова: «Да ты же всех видел!» — возразил: «А Маршака?»

Много лет С. Я. был с нами — и с детьми и со взрослыми — только в своих книгах. В короткие приезды в Москву я его почти не встречала.

Во время войны, на Севере, со стен на нас смотрели плакаты с подписями Маршака, в газетах мы читали его стихи. В Интерклубе, куда приходили моряки со всех концов света, я пыталась (конечно, прозой!) переводить на английский хлесткие строки Маршака, вроде:

Рада мама, счастлив папа.
Фрица приняли в гестапо,—

и радовалась, когда мои слушатели смеялись, — значит, дошло!

В 1944 году мы вернулись в Москву, без сына... То же горе грозило семье Маршака: безнадежно заболел его младший сын.

В феврале сорок пятого, накануне Победы, внезапно умер Осип Максимович Брик. Мы встретились с С. Я. на квартире у Бриков, обнялись и заплакали...

Только через три с лишним года мы оказались рядом, на Рижском взморье, в писательском Доме творчества и очень обрадовались друг другу. Каждый вечер гуляли по берегу, без конца говорили о всяком, — вернее, рассказывал Маршак, а я слушала. Тогда я познакомилась с Софьей Михайловной, и С. Я. рассказал мне об их поэтической встрече на пароходе, о жизни в Англии, о первых своих переводах из Блейка и Китса. Он тут же сочинил шуточные английские стихи:

Oh, Rita Rait!
I am your knight
Although I have no spear.
Oh, Rita Rait,
Your eyes are bright,
And soft as dewy air¹.

Но этому мирному отдыху скоро пришел конец: вдруг за завтраком Самуилу Яковлевичу подали огромный конверт из Госиздата: гранки перевода шекспировских сонетов. Самуил Яковлевич пришел в полное отчаяние: он ждал эти гранки позже, в кои-то веки решил отдохнуть, а тут свалилась такая махина...

— Давайте я вам помогу править, — предложила я, — вдвоем мы сделаем все быстрее.

И мы засели за работу.

Всякий, кто работал с Маршаком, помнит, какой это был «запойный» человек. Его немислимо было оторвать от стола, заставить вовремя пообедать, отдохнуть, уж не говорю — пойти погулять. Ежедневно мы сидели до позднего вечера, почти без перерывов. Сначала я читала вслух каждый сонет по-английски, потом — перевод. Потом — все варианты, сравнивая строку за строкой, выбирая лучшую по звучанию, по близости к тексту. С. Я. очень любил слушать свои стихи со стороны: впоследствии, уже в Москве, работая над Бернсом, я прочла ему *все* переводы, наверно, раз пять-шесть, причем при каждом варианте хотя бы одного слова, одной строки он требовал, чтобы ему читали *все* стихотворение с начала до конца.

И когда вышли сонеты — крупное событие в литературной

¹ О Рита Райт, я — ваш рыцарь, хотя и без копыя. О Рита Райт, ваши глаза сияют, они нежны, как росистый воздух.

жизни страны! — я получила книгу 22 апреля 1949 года с надписью:

Немало прожито и много пережито,
Пока рождался этот скромный том,
В него войдите, как в знакомый дом,
Вы — первая читательница, Рита!

А на предпоследнем издании сонетов, 26 января 1964 года, после того, как мы снова сверили вместе всю книгу с подлинником и Самуил Яковлевич из-за чьей-то мало обоснованной критики чуть не испортил некоторые строки, уже ставшие почти пословицами, он мне написал: *Дорогой Рите, которая вовремя остановила нож, занесенный мною над моими сонетами. Благодарный С. М.*».

С того лета на взморье до марта 1964 года, когда мы вместе отбирали переводы из Блейка для журнала «Иностранная литература», мы немало поработали с Маршаком. Мое дело было — «придираться», и я это делала весьма добросовестно, хотя должна оговориться, что чаще всего придираться было не к чему, разве только помочь выбрать окончательный вариант. Арбитром в наших редких спорах всегда бывала Тамара Григорьевна Габбе — человек необычайного чутья и понимания, талантливый переводчик и драматург, любимая ученица и близкий друг Самуила Яковлевича.

Ее решение было окончательным: в каждом спорном случае я только говорила: «Давайте спросим Тamarу Григорьевну» — и этим снимала с себя всякую ответственность.

Иногда я упрячилась, особенно в толковании английского текста. С. Я. сердился, называл меня «схоласткой» и «начетчицей», но все же бывали случаи, когда он со мной соглашался. Конечно, я ничего не предлагала, не подсказывала — это было бы просто глупо: прислушиваясь к «придиркам», С. Я. сам находил новое, точное и красивое решение.

Несмотря на блестящее знание английского, — а Маршак знал язык, как редко кто его знает, — мы иногда вылавливали и какую-нибудь смысловую «блеху». Так в одной из сатир Бернса С. Я. принял слово «фарт» — fart — за сокращенное название монеты «фартинг» — farthing — и очень смеялся, когда я ему сказала, что означает это малоприличное выражение.

Мы читали не только переводы. Я часто спрашивала, приходя к Маршаку: «Есть новое?», и С. Я., всегда немного взволнованно, подавал мне листок: «Ну, читайте!»

Об этом чтении вслух есть надпись на детской книжке:

Маршак — известный грамотей,
Он пишет сказки для детей,
А эти сказки Рита
Читает знаменито!

В это время я переводила с болгарского повесть Друмева — первого болгарского прозаика девятнадцатого века. И об этом есть четверостишие:

Перевели вы славно, Рита,
Болгарского митрополита.
Теперь с родного языка
Переводите Маршака!

У меня в это время были очень неприятные, шумные соседи и на мою просьбу — не включать слишком громко — одновременно! — телевизор и проигрыватель — невозможно работать! — соседка свысока бросила: «Работают на службе, а дома только кустари работают. Вы что же, кустарь?»

Я рассказала об этом С. Я., и он тут же написал на своем двухтомнике:

Поэт-кустарь, поэт-надомник
(Работающий на дому)
Подносит скромный сей двухтомник
Вам — консультанту своему.

Иногда я торопилась домой — готовить обед. На очередной книжке — четыре строчки:

У Риты сегодня с харчами слабо.
Я ей подарю «Курочку-рябу»,
Потом подарю немножечко круп,
Из курочки-рябы сварится суп.

«Придиралась» я иногда к самым неожиданным вещам. Скажем — в каких-то стихах попался жук, у которого что-то делали «надкрылья».

Спрашиваю: «А вы уверены, что у этих жуков есть надкрылья?» — и уже достаю энциклопедию: даже если С. Я. твердо знает, что надкрылья есть, он все равно себя проверит.

А если энциклопедия не помогает — начинаются звонки по телефону. Однажды мне показалось неточным какое-то астрономическое выражение — то ли звезды попали не туда, то ли видны были не в то время года. Из энциклопедии ничего не узнали.

«Голубчик, надо позвонить какому-нибудь астроному, только непременно крупному, чтобы ошибок не было», — волнуется Маршак. Я вспоминаю, что когда-то, в студенческие времена, встречала известного теперь астронома Б. А. Во-

ронцова-Вельяминова, и говорю об этом С. Я. Отступления нет — приходится звонить профессору Воронцову-Вельяминову, объяснять ему, кто говорит и по чьему поручению мне надо узнать то-то и то-то. И профессор с удовольствием объясняет все, что надо, я записываю, С. Я. его благодарит, а в стихах звезды становятся на свое место.

При чтении вслух особенно чувствуется, с каким мастерством Маршак умеет передать живую интонацию, живой голос. Как-то, читая ему Ованеса Туманяна, я нарочно прочла слова Кота-скорняка с «восточным» акцентом. Попробуйте сами:

Папаху шить — не шубу шить,
Для друга можно поспешить!

И С. Я. вспомнил свои старые стихи про Петлюру, где неподражаемо передается украинский колорит при помощи ритма и двух-трех украинских слов:

Пан Петлюра сдвинул брови,
Оселедец почесал,
И, подумав, Клемансови
Ультиматум написал...

День за днем Петлюра хмурый
Из Версаля ждет письма,
Да беда, что у Петлюры
Нынче адреса нема.

Некоторые надписи нельзя понять без комментариев. Так, на книге «В начале жизни», подаренной мне в Крыму, написано:

Она умна, она мила
И тем навеки знаменита,
Что Фолкнера перевела
И сократила Демокрита.

...Нижняя Ореанда. Чудесный золотой октябрь. Я приезжаю к С. Я. из Ялты, почти каждый день он, как всегда, в работе. Его сестра и неизменная помощница, Лия Яковлевна Ильина, талантливый автор «Четвертой высоты» и других книг для детей, уже совершенно выбивается из сил: надо срочно отсылать предисловие к книге их покойного брата, М. Ильина, писателя, знакомого всему миру. Издательство торопит, это последняя корректура, но Самуил Яковлевич, перечитав еще раз книгу брата, непременно хочет что-то добавить к своему предисловию. А это может сорвать выход книги в срок.

Леля призывает меня на помощь. Я читаю предисловие вместе с Маршаком и молча прикидываю, что можно сократить. В конце концов с уговорами и угрозами (книга не выйдет!) я намечаю сокращения: у самого Маршака рука не подымается: все в предисловии важно, все нужно... Но я нашла целую страницу подробных выписок из книги, касающихся Демокрита, и —...«сократила Демокрита», причем надпись на книге ясно сказала мне, что С. Я. на меня не сердится.

А как не прокомментировать такие стихи:

Печальнее ее истории,
Чем у Ромео и Джульетты:
От Павловской лаборатории
Она дошла до оперетты.

И все ж я рад ее визиту,
Ее улыбке благосклонной.
Зачем скрывать? Люблю я Риту
И в новой роли примадонны.

(3. XI. 1954 г. на стихах Бернса, III изд.)

Разумеется, ни в какой оперетте я примадонной не служила: просто перевела текст старинной английской комедии для композитора Г. Г. Крейтнера, написала какие-то стишки — вышла очень веселая, хотя и вполне «безыдейная» музыкальная комедия «О, Сюзанна!».

Занятно, что все эти четверостишия и восьмистишия рождались буквально у меня на глазах; впрочем, не только у меня: все, кому Маршак делал надписи, знают, как он их тут же импровизировал. И не только коротенькие посвящения: при мне минут за двадцать он написал целую поэму почти без помарок.

Шла верстка нового издания Бернса, и С. Я. срочно прислал за мной на Мозжинку — академический поселок под Звенигородом, где я жила со своей старинной приятельницей — Ларисой Евгеньевной Габрилович-Масловой. Л. Е. — страстная поклонница гомеопатии, и Маршак как-то написал ей на книге:

«Стихи читать приятно в дозе
Сугубо гомеопатической.
Поэтому пишу Вам в прозе
На этой книге поэтической!»

*Дорогой Л. Е. на добрую память
от С. Маршака».*

щенок — плод преступной страсти нашей чистокровной пуделихи Норы и шпица без полхвоста. Самуил Яковлевич обещал доставить меня обратно не позже шести часов, но работа затянулась, и он никак меня не отпускал.

— Неудобно перед Ларисой, — говорила я, — там щенки, я ей везу треску для кошки, туфли...

— Ничего, я напишу ей письмо, она не рассердится.

Я пошла звонить по телефону, а С. Я. взял чистый лист бумаги.

Когда я вернулась, лист был исписан, С. Я. улыбался про себя и замахал рукой.

— Погодите, погодите, я сейчас.

Вот что я увезла на Мозжинку — крупным красивым почерком С. Я. написал:

Ларисе Евгеньевне Масловой

У боженьки
На Мозжинке
Есть тихий-тихий дом.
Два брата-полупуделя
Скулят тихонько в нем.

На волю очень хочется
Им выбежать тайком,
Но Рита-переводчица
Их держит под замком.

Но Рита в путь-дороженьку
Отправилась в Москву,
Чтоб привезти на Мозжинку
И туфли и треску.

Шенят она оставила.
Им нужен глаз да глаз.
И вот она заставила
Стеречь обоих —

Вас!

Вдова вы академика,
Из-за какой вины
И Ромула и Ремика
Вы сторожить должны?

Питая к вам симпатию,
Я думаю начать
На днях гомеопатию
Подробно изучать.

Хочу принять «нукс-вомика»,
Чтоб долее прожить,
Чтоб Ремика и Ромика
Для Риты сторожить.

И может быть, в обители,
Где воют Ромул, Рем,
Поэта в заместители
возьмут к Ларисе М.

3

Весной 1963 года я была в Шотландии. Уже с 1953 года по настоянию Самуила Яковлевича я занималась биографией Бернса и переводами его великолепной прозы. В 1954 году в «Новом мире» была опубликована подборка писем и дневниковых записей Бернса — «Бернс о себе» — по книге шотландского художника Гендерсона, с большими дополнениями. К двухтомнику переводов Маршака из Бернса, где было множество новых стихов, С. Я. буквально заставил меня написать большую вступительную статью. И наконец, после нескольких публикаций в журналах, к 200-летию со дня рождения Бернса, в 1959 году, вышла моя книга «Роберт Бернс» (издательство «Молодая гвардия», серия «Жизнь замечательных людей»).

На двухтомнике со вступительной статьей С. Я. написал мне:

Спасибо Вам за вашу прозу.
Она, подобно паровозу,
Легко везет тяжелый груз
Стихов шотландских в наш Союз.

А на моей книге, которую мы вместе подарили моей дочери, написано:

Пусть увидит Маргарита,
Как отлично ездит Рита
Не в абрамцевском вагоне,
А в Шотландии, на пони.

Но в Шотландию я попала только через три года.

Пригласил меня Эмрис Хьюз, депутат парламента от Эйршира. Этот округ так и называется Burns Country — родина Бернса.

Эмрис Хьюз — «Амвросий Иванович», как его окрестил Маршак, — и его жена Марта («Марфа Петровна») были связаны с С. Я. многолетней дружбой. Они часто гостили у него в Москве и в Ялте, а в 1955 году в старинном доме Хьюзов, в шотландском поселке Камноке, гостила советская делега-

ция, приехавшая на юбилей Федерации клубов имени Бернса, — С. Я. был почетным президентом этой Федерации.

И когда я приехала в Камнок, меня поместили «в комнате Маршака».

В течение двух недель, что я провела в Шотландии, Маршак был рядом со мной. В Доме-музее Бернса стояли все его переводы, в книги записей его рукой были вписаны строки стихов, добрые пожелания. На фермах, где жил Бернс и где теперь живут правнуки и праправнуки его земляков, при одном упоминании о «мистере Маршаке» люди начинали улыбаться, кивать головой, говорить всякие хорошие слова «о добром русском джентльмене». В дамфриской таверне «Глобус», где сохранилась в неприкосновенности комната, куда приезжал Бернс со своей фермы, хозяйка таверны «Ма Браун», указывая на высокое кресло, сказала, что «в этом кресле любил сидеть «Рабби Бернс», а последним тут сидел «человек, сделавший Бернса русским, — мистер Маршак».

Все, кто встречал С. Я. на бернсовских торжествах, вспоминали его великолепную речь на банкете в Эдинбурге. Во всех газетах огромными буквами напечатали заключительные слова этой речи: цитируя Бернса, попросившего перед смертью, чтобы дамфриские волонтеры — «эти горе-вояки» — не палили над его могилой, Маршак сказал: «И не позволяйте всем горе-воякам палить над миром!»

Как всегда, слишком поздно начинаешь сожалеть, что не записывала все, о чем приходилось говорить с С. Я. А потом находишь в столе торопливо исчерканную страничку и не сразу понимаешь, в чем дело: наверху — «не аккумулятор, а генератор...», потом — выписки из газетной статьи, где какой-то молодой поэт поучает своих сверстников, дальше — в кавычках: «людьми пренебрегать нельзя, надо питаться ими» — и пометка: «записано на собрании тогда-то...» А внизу — приписка: «для С. Я. — о молодых поэтах».

...Осень 1962 года. Самуил Яковлевич готовит статью о современных молодых поэтах — она вышла в «Новом мире» уже без него.

Он читал мне черновик, и я рассказала ему о том, как один молодой поэт, уговаривая своих коллег обязательно ездить и «набираться впечатлений», с наивностью мало сведущего в технике человека все время обыгрывал слово «аккумулятор» и «зарядиться — разрядиться». В общем, по его словам, выходило, что поэт — какой-то аккумулятор впечатлений, причем ездить за ними надо подальше, а если

перестать ездить, то душа потеряет свой заряд (или даже «потенциал»?) и окажется пустой. Тогда надо опять ехать — и опять заряжаться. И тут же я рассказала С. Я., как об этом же говорил на собрании один довольно известный сочинитель песен, убеждая всех, что «людьми надо питаться».

Мы посмеялись, и вдруг С. Я. очень серьезно сказал: «Но поэт ведь не аккумулятор, а генератор! Он РОЖДАЕТ, генерирует тепло, свет, свой мир... Голубчик, вы мне найдите эту статью, выпишите из нее эти слова — пригодятся...»

И сейчас, вспоминая все те милые мелочи, о которых написано здесь, я подумала: сколько еще нужно вспомнить, сколько забыто и упущено.

Но мне кажется, что из многих воспоминаний, собранных в этой книге, создастся очень цельный образ Маршака — человека необычайно щедрой и широкой души, в которой «генерировалось» столько тепла и света, что люди до сих пор чувствуют это тепло, эту ласку...

Три поколения выросли на детских стихах Маршака. Его непревзойденные по изобретательности, точности и красоте переводы, его тихая, мудрая лирика и емкая, лаконичная и четкая проза навсегда вошли в русскую литературу.

А для всех, кто его знал, он останется одним из лучших примеров беспощадной строгости к себе, неутомимого трудолюбия, непоколебимой веры в то хорошее, что заложено в человеке, и неистощимого, веселого, молодого лукавства, которое пробивалось в самые серьезные минуты и осталось в памяти друзей в виде надписей на книгах.

НЕ БУДЬ ВО ВРАЖДЕ СО СВОИМ ЯЗЫКОМ



розный, темный, трагический Блейк вышел без Маршака — в газетах промелькнули одна-две рецензии: при жизни Самуила Яковлевича отзывов было бы больше, и, наверно, был бы устроен специальный вечер, и все бы писали и говорили о том, что *произошло событие* (как тогда, когда появились Бернс и сонеты Шекспира), и премия, возможно, тоже была бы...

Между тем тоненькая, посмертная (из всех маршаковских книг самая, может быть, скромная) книжечка Блейка прозвучала как мощный голос «оттуда», словно Маршак, вопреки самой смерти, решил вновь потрясти читателей могучими строками своих переводов.

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?

В небесах или глубинах
Тлеет огонь очей звериных?
Где таился он века?
Чья нашла его рука?

Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий стук?

Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?..

Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь
И ягненка сотворила
И тебя, ночной огонь?..

И вот опять не можешь не восхищаться, и рука тянется к телефону, чтобы набрать знакомый номер К7-75-70... Дорогой Самуил Яковлевич, спасибо за Блейка, за чудо, за открытие...

Да, этот сборник — открытие не только смутно известного английского поэта, но и открытие подлинного Маршака, его истинной сути, которая состоит отнюдь не в пресловутой «легкости» и «прозрачности» стиха, а в проникновении в глубины «человеческой абстракции» (выражение Блейка), в то, что «растет в мозгу человека»...

Покой и мир хранит взаимный страх.
И себялюбье властвует на свете.
И вот жестокость, скрытая впотьмах,
На перекрестках расставляет сети.

Святого страха якобы полна,
Слезами грудь земли поит она.
И скоро под ее зловещей сенью
Ростки пускает кроткое смиренье.

Его покров зеленый распростер
Над всей землей мистический шатер.
И тайный червь, мертвящий все живое,
Питается таинственной листвою.

Мне посчастливилось узнать эти строки еще при жизни Самуила Яковлевича: почти каждый раз, когда бывал у него, он, как нечто самое сокровенное, извлекал из тайников памяти *своего* Блейка и читал, приглядываясь, как реагирует слушатель.

Почему он, при его возможностях печатать все им написанное, пятьдесят лет работая над Блейком, так и не решился издать эту книжку? Отчего он эту драгоценность припрятывал, не отпускал от себя, какой ждал минуты?

Известно высказывание Маршака, его совет редакторам и переводчикам: переводы надо накапливать, нельзя за год, за два «изготовить» на русском языке всего Байрона, всего Шекспира, всего Гейне; однотомники и собрания сочинений иноязычных поэтов должны «складываться» по мере возникновения переводческих удач. Разумеется, и он Блейка «накапливал», но свести дело к одной только «требовательности к себе» — значит ничего не понять в Маршаке-поэте и в 338 Маршаке-человеке; тут, очевидно, существовала и другая

причина — некое опасение до срока себя обнаружить, «обнародовать», потому что, право же, совсем иной, неожиданный Маршак, ничуть не похожий на автора «Мистера Твистера» и стихотворных подписей к карикатурам Кукрыниксов, предстает перед нами в исполненной пантеистического пафоса «Тэль»:

Угрюмый сторож вечных врат засов железный поднял,
И Тэль, сойдя, узнала тайны неведомой страны,
Узрела ложа мертвецов, подземные глубины,
Где нити всех земных сердец гнездятся, извиваясь.

А какой едкой беспощадностью еретика-богоборца обернулась маршаковская «хлесткость» в переводах из «Вечно-сущего Евангелия»:

Христос, которого я чту,
Враждебен твоему Христу...

Предать друзей, любя врагов,
Нет, не таков завет Христов.

Он проповедовал учтивость,
Смиренность, кротость, но не льстивость.

Он, торжествуя, крест свой нес.
За то и был казнен Христос.

Антихрист — льстивый Иисус —
Мог угодить на всякий вкус.

Не возмущал бы синагог,
Не гнал торговцев за порог

И кроткий, как ручной осел,
Кайяфы милость бы обрел.

Бог не писал в своей скрижали,
Чтобы себя мы унижали.

Себя унизив самого,
Ты унижаешь божество...

Ведь ты и сам — частица вечности,
Молись своей же человечности.

Блейк — итог всего жизненного опыта Маршака, всех его размышлений о мире, человечестве, о самом себе. Блейк — первое его узнавание мира и посмертная исповедь...

Чему меня Маршак учил, что я в его кабинете усваивал? Это было не очень-то легкое время, когда я впервые пришел

к нему, — 1949 год — нелегкое и вместе с тем чрезвычайно легкое для людей, занимающихся переводом. Тогда перевод («переводик»!) напечатать было куда проще, чем оригинальное произведение.

Школа Маршака начиналась с того, что он от этой легкости отучивал.

— У стихотворения должны быть отец и мать: автор и переводчик...

— Переводя, смотрите не только в текст подлинника, но и в окно...

Собеседник жадно подбирал афоризмы, оброненные мастером: в них содержалась важная программа, скорее этическая, чем эстетическая.

«Отец и мать», — следовательно, ты — переводчик — наравне с первоначальным создателем несешь ответственность за судьбу стихотворения, за то, каким оно из-под твоего пера выйдет в жизнь...

«Смотреть не только в подлинник, но и в окно...», — значит, переведя чужие стихи, ты не смеешь оставаться бесстрастным читателем текста подлинника, а обязан «включить» и свои собственные эмоции, свое собственное восприятие жизни и отношение к ней, опираться на свой собственный опыт — иными словами, должен обладать *мировоззрением*, без которого никакой литературный труд, в том числе и переводческий, невозможен.

Наличие *мировоззрения* Маршак считал первостепенным достоинством переводчика и поэтому так высоко ценил, скажем, Курочкина, который в переводах из Беранже оставался пламенным «шестидесятником», или Михайлова, для которого переводы из Гейне были средством пропаганды революционных идей.

Эмоциональная немощь, равнодушие, безыдейность считались в школе Маршака самыми тяжкими пороками. Казавшийся всегда добродушным и ласковым, он в своей мастерской мог клокотать от негодования и ненависти к переводчикам-делягам, невеждам, к тупицам, упершимся в «подлинник».

В равной мере презирая невежество и безжизненную «ученость», Маршак выше всего ставил сочетание непосредственности таланта с культурой, первородной «земной» силы с энциклопедической образованностью.

Людей, переводящих стихи, он делил на две категории — на *поэтов* и *переводчиков*, подразумевая под вторыми тех, кто лишен способности вольно и без натуги существовать в

поэтической стихии. Не раз мне приходилось выслушивать от него беспощадно саркастические замечания об иных, напыщенных и самоуверенных, переводческих «метрах». Зато с какой теплотой и даже восторгом говорил он о переводах «Греческих эпиграмм» Леонида Блуменау, о «Фаусте» Пастернака, об Уитмене Корнея Чуковского, о работах Марии Петровых и Веры Марковой! Вспоминаются его весьма доброжелательные отзывы о переводах Михаила Зенкевича, Арсения Тарковского, Ивана Кашкина, которых он считал настоящими поэтами...

Творчество Маршака — «служба слова» (в том смысле, как есть «служба крови»), *воспитание словом*. В годы, когда великий язык русской классики подвергался то натиску со стороны всевозможных «экспериментаторов» и трюкачей, то канцеляристской порче, Маршак, поддержанный Горьким, отстаивал неприкосновенность и чистоту русского слова, русского стиха. Драгоценное наследие, доставшееся от Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова, он, как верный хранитель, сберегал, прежде всего и лучше всего, в своих замечательных переводах. Вот почему народная баллада «Королева Элинора» и шестьдесят шестой сонет Шекспира, «Джон Ячменное Зерно» Бернса и «Кузнечик и сверчок» Китса, «Люси» Вордсворта и «Томми Аткинс» Киплинга, переведенные Маршаком, были всенародно приняты в золотой фонд русской советской поэзии.

Но Маршаку принадлежит еще одна заслуга. Как никто другой до него, он, средствами русского стиха, умел создавать как бы «портреты» тех языков, с которых переводил: читая его англичан, мы никогда не спутаем их ни с немцами, ни с французами, ни с испанцами.

...В твоих горах уютился дом.
Там девушка жила.
Перед английским очагом
Твой лен она прядла.

Твой день ласкал, твой мрак скрывал
Ее зеленый сад.
И по твоим полям блуждал
Ее прощальный взгляд...

...Из Ленинграда приехал редактор собрания сочинений Гейне: требовалось срочно перевести эпиграф к «Ламентациям». В прежних изданиях печатался перевод В. Ещина — несостоятельность перевода была очевидна, однако и труд-

ности, встающие перед каждым, кто попытался бы заново перевести эти восемь строк, казались непреодолимыми.

Для наглядности приведу подстрочник и ещинский перевод.

Счастье — легкомысленная девица
И неохотно задерживается на одном и том же месте.
Она, потрепав тебя по волосам, откинет их с твоего
лба,
Быстро тебя поцелует и упорхнет.

Госпожа Несчастье — напротив —
Любовно прижмет тебя к своей груди.
Она говорит, что спешить ей некуда,
Садится к тебе на кровать и вяжет.

Перевод В. Ещина:

Удача — резвая плутовка —
Нигде подолгу не сидит.
Тебя погладит по головке
И, быстро чмокнув, прочь спешит.

Несчастье — дама много строже —
Тебя к груди, любя, прижмет,
Усядется к тебе на ложе
И не спеша вязать начнет.

Казалось бы, ничего в этом переводе не упущено, все скрупулезно сохранено, все правильно, но как мертво, как неуклюже, как пудно звучат по-русски горькие и мудрые гейневские стихи! Как ужасающа эта «дама», которая «много строже»! Но что делать? Как уложить перенасыщенные образами и деталями строки в ритмические рамки подлинника?

Многие переводчики пробовали «спасти положение» — ничего не получалось.

Первая же строка («Счастье — легкомысленная девица») приводила в уныние:

О, счастье — шустрая девчонка...
Ты, счастье — девочка-плутовка...
На месте счастью не сидится...

Плохо, фальшиво, неточно! И как быть с — «Frau Unglück»? — «Мадам Несчастье» — плохо, а «Госпожа Несчастье» или «Сударыня Несчастье» — тоже плохо, да к тому же «не влезает» в строку...

Маршаку: мне довелось выступать в роли посредника, упрямить Самуила Яковлевича, занятого другой работой, взяться за перевод.

Надо сказать, что к Гейне Маршак относился с особой ответственностью: его глубоко задел вопрос, заданный одним поэтом, который знал Гейне только по переводам: почему Гейне числится великим мастером стиха? Одной из своих переводческих задач (к сожалению, до конца не решенной) Самуил Яковлевич считал восстановление или — вернее — создание достойной репутации прославленному поэту Германии у нас, в России...

Эпиграф к «Ламентациям» был переведен Маршаком за несколько дней.

Вот этот перевод, удивительный своей почти дословной близостью к подлиннику при совершеннейшей естественности русского звучания:

Уходит счастье без оглядки, —
Не любит ветреница ждать.
Рукой со лба откинет прядки,
Вас поцелует — и бежать!

А тетка Горе из объятий
Вас не отпустит долгий срок.
Присядет ночью у кровати
И вяжет-вяжет свой чулок...

В «Лирических эпиграммах» есть у Маршака двести-шесть — «Переводчику»:

Хорошо, что с чужим языком ты знаком,
Но не будь во вражде со своим языком!

ЕДИНОЕ СЛОВО

Хотел бы в единое слово...

Романс

Изводишь

единого слова ради...

Маяковский



днажды я застал Самуила Яковлевича за такой работой — перед ним лежал свежий номер «Литературной газеты» с его стихами, он правил их, что-то вычеркивал, вписывал. Зачем? Ведь газета уже вышла.

— Все равно. Не нравится мне. Хочу переделать. Я не могу видеть, как это написано.

Печатные строки снова превращались под его пером в черновик. Все начиналось сначала.

А как он страдал, обнаруживая в своих стихах или статьях опечатку. Он ощущал ее физически болезненно, как будто она была не на странице, а на его собственной коже — как ноющая ссадина, незаживающая ранка.

Его текст был живой частью его самого.

У человека есть инстинкты — самосохранения, продолжения рода.

У настоящего поэта — могучий и страшный инстинкт: стремление к совершенству, к такой поэтической окончательности, когда из произведения ни одного слова не выкинешь; инстинкт единственного слова — его нельзя заменить, ради него сдирается многослойная кожура, шелуха синонимов.

В сущности, синоним — это «и. о.» настоящего слова, временный заместитель, который будет снят.

В большой поэзии нет «заменимых».

Достоевский говорит в черновых набросках:

«Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта.

344 Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое.

Тут дело уже художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в том и в другом — в обоих случаях».

Исследовательница Достоевского Л. Розенблюм, приведя это его высказывание, напоминает еще об одном признании: «Поэт во мне перетягивает художника всегда» («Литературное наследство», т. 77. М., изд-во «Наука», 1965, стр. 64, 22).

В каждом писателе свое соотношение этих двух начал. У С. Я. Маршака оно было особенно сложным и мучительным: «художник» не давал спуска «поэту», бился над стройным целым и над каждым словом до последнего.

В некоторых воспоминаниях о Самуиле Яковлевиче проскальзывает: он был настойчив, требователен, даже деспотичен.

Да, деспотичен. Прежде всего к самому себе. Он в полном смысле тиранил себя, не давал ни малейшей скидки на усталость, на болезнь, на то, что поздно или уже и без того много сделано.

Как бы много он ни работал — все ему казалось: мало, так, кое-что.

В письме ко мне из Ялты 11 августа 1963 года он писал:

«Здесь я успел поболеть, но все же кое-что сделал. Написал большую пьесу-сказку, забавную и вместе с тем, как мне кажется, достаточно серьезную, закончил детскую книжку в стихах «Северок» и перевел несколько стихотворений Блейка, которого начал переводить в 1913 году. Надеюсь в этом году сдать наконец в печать томик «Избранного Блейка».

Немного отдохнув (сил у меня еще очень мало), буду продолжать начатую еще в Москве статью о поэтическом мастерстве».

Каждое стихотворение писалось как первое. И как последнее.

Оно долго вынашивалось, но когда начиналась непосредственная работа, Маршак будто шел на штурм — в *этом* стихотворении для него сосредоточивалось все. Он иногда писал два варианта и просил тех, кому доверял, сказать, какой лучше, звонил по телефону, и невозможно было себе представить, чтобы кто-нибудь в этот момент сослался на свою занятость.

Стремительным движением выхватывал Самуил Яковлевич нужный листок из огромных ворохов рукописей, машинописей, гранок, версток, сверок, книг, и казалось, этот листок был еще горячим, как неостывшее литье.

В романе «Кузина Бетта» Бальзак пишет:

«Тот, кто может бегло обрисовать словами свой замысел, уже прослышет человеком незаурядным. Этим даром обладают все художники и писатели. Но создавать! Но произвести на свет! Но выпестовать свое детище, вскормить его, убаюкивать его каждый вечер, ласкать его всякое утро, обхаживать с неиссякаемой материнской любовью, умыть его, когда оно испачкается, переодевать его сто раз в сутки в свежие платьица, которые оно поминутно рвет, не пугаться недугов, присущих этой лихорадочной жизни, и вырастить свое детище одухотворенным произведением искусства, которое говорит всякому взору, когда оно — скульптура, всякому уму, когда оно — слово, всем воспоминаьям, когда оно — живопись, всем сердцам, когда оно — музыка, — вот что такое Воплощение и Труд, совершаемый ради него. Рука всегда должна быть готова к действию, всегда послушна велениям мысли».

Если бы мы не знали, когда жил Бальзак, мы вполне могли бы подумать, что это сказано о Маршаке.

В 1950 году я впервые познакомился с Маршаком и попросил его написать статью о мастерстве для «Литературной газеты». Он не сразу согласился, сначала сказал — «посмотрим», при следующей встрече — «может быть», потом — «пожалуй» и наконец — «хорошо».

Шли дни, недели, в редакции беспрекословно отпускали меня в рабочие часы, едва я говорил, что еду к Маршаку («Ну, ты молодец, большая победа, поставим на первой полосе!»). Но потом к моим отъездам стали относиться с меньшим подъемом («Ты знаешь, пора бы уже получить статью. И вообще — что ты там делаешь?»).

Что я там делал? Трудно сказать. Я сидел перед Самуилом Яковлевичем наискосок, в старом кожаном кресле и слушал или читал ему вслух стихи и страницы будущей статьи. Она была потом озаглавлена «О хороших и плохих рифмах». Самуил Яковлевич говорил о рифмах, о ритме как «дыхании стиха», о слове в поэтическом строю, и я всегда жалел, что никто этого не записывает, в эти минуты я испытывал острую зависть к самому себе — собеседнику и щемящую жалость к моим знакомым, которые этого не слышат. А затем я вспоминал, что в редакции уже посмеиваются над моими поездками, и, робко откашлявшись, спрашивал:

— Самуил Яковлевич, а когда можно было бы рассчитывать получить статью?

Самуил Яковлевич хмурился и отвечал:

— Дорогой мой, будьте бескорыстны.

И так каждый раз.

Наконец статья готова, но и это еще не конец.

Самуил Яковлевич переписал и перечитал ее не знаю сколько раз, я «исполнял» вслух, он слушал тревожно и придирчиво. Познакомились со статьей и решительно одобрили его друзья-советчики, на которых он испытывал свои первые произведения, — так испытывают оружие на полигоне.

Я думал, что теперь уже, слава богу, всё. Но Маршак откладывал самое вручение статьи и опять напоминал о творческом бескорыстии. Однажды я, не выдержав, сказал, что меня просто уволят, если не будет статьи. Он усмехнулся (уволят, речь идет о более важных вещах — о стихах). Но потом вдруг смягчился:

— Ну хорошо, приходите завтра.

На следующий день, когда я пришел, он был не в кабинете, а в спальне, поднялась температура, он лежал, постель в таких случаях быстро становилась похожа на письменный стол — на ней лежали те же рукописи, машинописи, гранки. А на тумбочке среди пузырьков с лекарствами лежала рукопись обещанной, чтобы не сказать — обетованной статьи. Самуил Яковлевич показал на нее и сказал:

— Вот она.

Я не сводил с нее глаз, но конечно, не мог же я просто встать и взять. Самуил Яковлевич начал говорить о рецензии, напечатанной в последнем номере «Литгазеты», спросил мое мнение. Я отвечал что-то невразумительное — мне хотелось скорее получить статью. Маршак не согласился с моей оценкой, нахмурился — наши мнения совершенно не совпали. В этот день я статьи тоже не получил, а только в следующий приход.

Может показаться капризом: статья окончена, зачем ее держать? Почему не отдать по-деловому? Я знаю поэтов, обуреваемых каким-то кукушечьим беспокойным стремлением поскорее пристроить свое детище в редакции — какой, неважно, лишь бы поскорее вручить.

А здесь я видел писателя, который не может расстаться со своей вещью, ему больно выпустить ее из рук, все ему кажется: что-то еще не так, не совсем так, не абсолютно так («Голубчик, давайте еще раз почитаем, хорошо? Вы не очень устали?»).

Наконец статья в редакции, ее ставят на первую полосу. 347

Меня хвалят, но и смеются: с того времени, как я объявил, что Маршак дает нам статью, прошла не одна неделя и не месяц. В день верстки я поехал к Самуилу Яковлевичу подписать газетную полосу с его текстом. До выхода номера оставались считанные часы. В самый верстовый «пик» Самуил Яковлевич начал читать статью по телефону Т. Г. Габбе — у него вызвали сомнение некоторые места. Из редакции, я чувствовал, обрывали телефон, на мою голову сыпались проклятья (всегда виноват не автор, а литсотрудник), я чувствовал себя между двух огней — между газетой, которая хотела выйти, и поэтом. Я был подданным двух держав. Минуты неслись, а Самуил Яковлевич невозмутимо, как будто вне времени, как-то совсем по-своему его ощущая и отсчитывая, читал в трубку глухим нетерпеливым голосом:

И ласточки спят, алё,
И касаточки спят...

1952-й год. Сто лет со дня смерти Н. В. Гоголя. В редакции «Литературной газеты», где я тогда работал, готовится юбилейная полоса. Среди авторов — С. Я. Маршак и И. Л. Андроников. Ираклий Луарсабович дал свою статью в последнюю минуту. Получилось это так. Я приехал к нему выяснить, как дела с его статьей. Он сидит на диване, непривычно-тихий, окутанный пледом:

— Ничего не выйдет, у меня разыгрался самосильнейший радикулит.

«Самосильнейший» — одно из его ходовых слов.

Я понял, дело плохо. Ну, думаю, что я буду его мучить? Собрался уже уходить, а он вдруг говорит:

— Вообще-то, если б я был здоров, я бы написал статью о первой странице «Мертвых душ». Как много в ней сказано и предсказано...

И он стал фантазировать о статье в условном наклонении: что было бы, если б он не был болен. Увлёкся, одной рукой придерживает плед, другой бурно жестикулирует. И так все это интересно, что хоть сейчас посылай в набор.

Я просто поразился: да это же готовая статья! Говорю ему: запишите только то, что вы сейчас рассказали, мне больше ничего не нужно.

Он согласился и на другой день вручил мне статью под названием «Одна страница». И вот на моем столе лежат две готовые статьи о Гоголе — Маршака и Андроникова. Я радуюсь, но вдруг замечаю: оба они приводят одну и ту же

гоголевскую цитату — о русских мужиках-носильщиках, которые нацепляют крючком мешки по девяти пудов себе на спину.

Звоню Самуилу Яковлевичу, деликатно спрашиваю, нельзя ли у него сбросить эти мешки. Маршак возражает: нет, они мне очень дороги. Прошу Андроникова, он просто умоляет:

— Папирушкин (так он меня зовет), у меня на этих мешках все держится, лучше уж статью снимайте!

Не знаю, что делать, у кого из них двоих сбрасывать мешки, мечусь между ними, как буриданов осел, а выпускающий номер торопит: выбирай скорее, сейчас полосу отдадут под пресс.

Ладно, думаю, пусть будет божий суд — кинул жребий: выпало сбросить мешки у Маршака.

Ночью звоню Андроникову:

— Ваши мешки целы!

Он патетически восклицает:

— О, дружба — это ты!

Гоголевская полоса шла трудно, масса цитат, я много раз бегал в бюро проверки, замечания членов редколлегии, то, се, — короче говоря, домой вернулся глубокой ночью. Газета тогда поздно выходила. Утром прихожу в редакцию, мне говорят:

— Тебе Маршак уже несколько раз звонил.

Я сразу понял: мешки.

Звоню ему, здороваюсь, говорю самым невинным тоном.

А он сразу:

— Алё, скажите, куда делись мои мешки? Почему их сняли у меня?

Лепечу нечто невразумительное и неадекватное. Со словами «ну, ладно» он кладет трубку. Кажется, обошлось. Но не тут-то было. Через несколько минут — опять звонок. Голос Самуила Яковлевича:

— Алё, кто говорит? Это вы? Значит так, мешки были у меня и у Андроникова. Вы сняли их у меня. Что же, получается, я их у него украл?

Гоголевская полоса, долгий и трудный день в редакции накануне, многочасовое напряжение... В общем, тут я не выдержал:

— Самуил Яковлевич, мне еще целый день работать, я больше не могу, простите!

И — хлоп, положил трубку. И сразу похолодел. Что я наделал!

Иду к главному редактору Константину Михайловичу Симонову — так-то, мол, и так-то, вот, что я натворил.

Но он к моему удивлению весело восклицает:

— П'авильно (гулкое такое, раскатистое «р»), так и нужно 'азгова'ивать с авто'ами!

Но у меня сердце не на месте. На душе тяжело, как будто я сам взвалил себе мешок в девять пудов.

Звоню Маршаку, винюсь, и он прощает мне злополучные мешки.

Когда вы приходите к кому-нибудь в гости, в первые минуты идут необязательные слова «Ну как?», «Какие новости?», «Что слыхать?» и уже потом (когда прошли соображения о погоде и здоровье) разговор может разгореться по-настоящему.

У Маршака этого не было.

Начало разговора всегда крутое и стремительное. Тут Самуил Яковлевич напоминал новейшую автомашину с необычайной приемистостью — она с места может набрать большую скорость.

Вы только вошли, уселись в кресло, и почти сразу:

— Вы не думали, что значат эти четыре года?.. Четыре поворотных года русской поэзии — тысяча восемьсот тридцать седьмой — тысяча восемьсот сорок первый — от гибели Пушкина до гибели Лермонтова?

Или:

— Знаете, Гоголь — оркестр и Толстой — оркестр, а Чехов — не оркестр, и вершина Чехова — не пьесы, а проза, верно ведь, да?

22 сентября 1950 года я засиделся у Самуила Яковлевича допоздна. Много раз я порывался уйти, но он удерживал, говорил, что у него все равно бессонница. Часа в три ночи я понял — если сейчас же не поднимусь, засну в кресле. Я встал, начал прощаться. Он говорит:

— У меня книжка вышла — переводы шекспировских сонетов, давайте я вам надпишу.

Он раскрывает книжку, начинает сочинять надпись — никак не идет, он очень устал.

Я предлагаю отложить, пока я возьму книжку почитать без надписи. Он соглашается, дает мне книжку, но, когда я подхожу к двери, решительно забирает обратно, садится за стол и надписывает:

Верному
Паперному
Зиновию —
С любовью.

Я был растроган — он едва на ногах стоял от усталости, от бессонницы, а все-таки придумал посвящение. Честь фирмы — она не позволяла ему отпустить гостя «не надписанным».

Каждый раз, возвращаясь домой, я записывал то, что слышал. Вот несколько дневниковых записей.

«3 января 1957 г.

Сегодня он сказал: поэт может пойти на любую смелость, вольность, нарушение. Это как тормоз в поезде. Можно разбить стекло и нажать — но только из-за большой, значительной причины.

3 мая 1957 г.

С. Я. говорил об узком толковании художественного произведения.

— Смысл — это тайный советник, а мы сделали его коллежским регистратором.

Как здесь особенно звучит — «регистратором».

7 мая 1957 г.

С утра читал вслух Маршаку Маршака: статьи для IV тома собрания сочинений.

Из того, что он говорил, запомнилось:

— Есть мир духа и мир тела. Между ними тонкая перемычка — душа, самое сложное и запутанное.

— Любовь. Дух — Джульетта; физиология, роды, семья — Наташа. А мы берем нижнюю часть духа и верхушку физиологии, сводя все к тоненькой прослойке.

2 мая 1960 г.

В апреле у Маршака в Барвихе.

— Поэт — одновременно слепец и поводырь. У некоторых поэтов поводырь напрасно не слушается слепца — он, слепец, видит лучше поводыря.

Его спросили об одном поэте, который все время мельтешил на экране, на эстраде, на трибуне. С. Я. объяснил так:

— Когда в пруду стоячая вода, несколько дней видна одна и та же арбузная корка.

О поэте, который, преподавая в Литинституте, все примеры приводил только из своих стихов:

— Да это же вагоновожатый, который угнал трамвай к себе домой.

17 апреля 1962 г.

Маршак был в форме, в ударе, хотя выглядел плохо.

Об одном резвом критике он сказал:

— Когда дрессируют блох, к ним прикрепляют грузики, чтоб не слишком прыгали, а то невозможно дрессировать. Так вот под ним нет грузика.

И еще о нем же:

— Как цирковая лошадь. На ней нельзя воду возить — все равно начнет танцевать.

24 декабря 1963 г.

Был у Маршака. Давно я его не видел. Вошел и поразился — так он похудел. У него катаракта обоих глаз — взгляд какой-то не совсем видящий. Я подарил ему свою книжку с надписью:

Я каждую свою строку
читаю втайне Маршаку —
мне этот добрый суд всегда
страшнее Страшного суда.

(Как видит читатель, надпись художественного значения не имеет — я привожу ее только затем, чтобы передать настроение, с которым я шел.)

Он сразу же, как я вошел, начал говорить о стихах, об искусстве вообще. Я думаю, если б он перестал об этом говорить, он задохнулся бы.

— Представьте себе, что есть две сестры — одна красивая, другая уродливая. Некрасивая портит красавицу, а красивая помогает уродливой, возвышает ее своим подобием. На все можно смотреть возвышающими или принижающими глазами. Вот говорят, человек произошел от обезьяны. Если я этого хочу — так от обезьяны. А не хочу — так вовсе не от обезьяны!

— О частном в искусстве. Все рождается мыслью. Но сначала мысль является без плоти. Это фонвизинские стародумы. Потом является гоголевская плоть. Ее все больше. Но чистая эмпирика — уже смерть искусства. Часто новое направление рождается с голой мысли. Например, художник Давид».

...Один писатель, знавший толк в винах и любивший выпить, налил водки Маршаку, который совсем не пил. Маршак сказал:

— Ну, знаешь, в твоём присутствии пить водку все равно что при Паганини играть на скрипке.

В некоторых воспоминаниях читаешь: Маршак меня похвалил, оценил, полюбил. Не подвергаю этого сомнению, но только похвала у Самуила Яковлевича почти всегда была двойной: он и похвалит вас и в то же время даст понять, что ждет большего, это еще не совсем то. Он мерил каждого большими мерками, даже мерами и не признавал послаблений.

И помогал человеку ощутить свою силу и достоинство.

Не забуду, как он сказал мне (он стоял, мы уже прощались):

— Милый, вот что я хочу сказать. Человек должен быть суверенным, как держава. Никто не назначит вам цены. Только вы сами. Все зависит от вас... Суверенным, как держава.

Когда я впервые ехал к нему в 1950 году, мне уже передали, что он одобрительно отозвался о моей статье «Уроки мастерства» в «Литгазете». Но когда он сам стал говорить о ней, я понял, что вряд ли это можно назвать похвалой: написано, в общем, неплохо, но нужно точнее, гораздо точнее.

— Когда критики разбирают детали произведения, кажется, что они в varejках, мелкой детали взять не могут. Вы должны осязать пальцами.

Как-то он спросил:

— Мне говорили, вы пишете эпиграммы. Почитайте мне как-нибудь.

Когда я прочел, он смеялся, я был доволен. Но вдруг он заметил:

— Только бойтесь стать салонным сатириком.

О занятиях Маяковским:

— Только не замыкайтесь в «цехе» маяковедов. Я бы, наверно, не стал детским писателем, какой я есть, если бы слишком варился в детской «секции».

Похвала Маршака была не только обнадеживающей, но и обязывающей. И предостерегающей. Хорошо, что вы сделали этот шаг, но главное еще впереди.

Несколько раз он повторял:

— Вот вы пишете научные труды. И юмористические, 353

и сатирические вещи. А ваша задача в том, чтобы это стало одним жанром — научным и веселым.

И как-то осуждающе склонял голову, словно давая понять, что я еще этого не добился.

Я сказал ему, что написал рецензию, в которой пытался совместить оба начала, и хочу ему показать.

Спустя какое-то время я поехал к нему в Барвиху, взял с собой эту рецензию. Он чувствовал себя плохо, и я не стал одолевать его своим творчеством. Так и не смог я перед ним «отчитаться»

Я навещаю Маршака в больнице на улице Грановского — уже незадолго до его смерти. У него отдельная палата. Две большие кровати. Одну занимает он сам, а другая завалена рукописями, гранками, верстками. Вид у палаты не больничный, а скорее кабинетный. Самуил Яковлевич работал тогда над книгой лирических эпиграмм. Он так и не дождался ее выхода — она появилась уже после его смерти.

Маршак хочет мне прочесть всю рукопись. Я — в роли подопытного кролика. Уже давно я играю эту роль. Вначале я очень робел, зажимался и все хвалил. Потом понял, что это бессмысленно, и стал говорить, как есть, не кривя душой. Вот и на этот раз я собираюсь говорить правду и только правду. Мы решили так: перед кроватью Маршака поставили три табуретки. Первая — для текстов, не вызывающих никаких замечаний. Вторая — для тех, что требуют еще дополнительных усилий. Третья — для таких, что, на мой взгляд, должны быть отвергнуты.

И вот Самуил Яковлевич читает стихи своим негромким, глуховатым голосом, а я, как говорится, строгий, но справедливый, кладу прочитанный текст то на первую, то на вторую, а иногда и на третью табуретку. Работа закончена. Подавляющее число лирических эпиграмм — на первой табуретке, гораздо меньше — на второй. А несколько листиков белеет на третьей.

Самуил Яковлевич грустно так, жалобно смотрит на третью табуретку.

— Что вы, Самуил Яковлевич?

Он тихо, просительно, не отрывая глаз с третьей табуретки:

— Там тоже есть хорошие вещи...

20 января 1964 года у Маршака собралось много народу. Пришли Б. Полевой, Е. Винокуров, М. Львов, Б. Галанов, И. Боброва, режиссер М. Таврог, Н. Коржавин, В. Глоцер, переводчица Н. Лукошкова — вдова Арчи Джонстона.

Был сын Маршака Иммануэль Самойлович, сестра Лия Яковлевна.

Самуил Яковлевич, почти не видя, читал новую и последнюю свою пьесу «Умные вещи». Читал, близко-близко поднося к глазам рукопись. Может быть, он и не совсем разбирал текст, но он знал его наизусть, как стихи.

После чтения за столом, когда прошли разные тосты, Самуил Яковлевич поднялся и сказал. Я записал все слово в слово:

— Можно мне сказать, да? Я хочу выпить за... Вот ведь какая штука. На свете всегда идет главная борьба между бытием и небытием. Это самая важная война. Всякая механичность — это уже небытие. Скука — это зевок небытия. Вот Пушкин — это высшее бытие, жизнь. Так после него никогда не жила поэзия. Пушкин — это всегда работающий мотор. А уже Лермонтов — гениальный поэт, но у него уже бывают плавные спуски с выключенным мотором.

Лишь Терек в стремнине Дарьяла,
Шумя, нарушал тишину.
Волна на волну набегала,
Волна нагоняла волну.

Здесь четвертая строчка уже предопределена. А «Спи, младенец мой прекрасный»... Это у Пушкина невозможно, эти слишком «уютно» для него, что ли.

Пушкин — это почерк, дальше идут большие шрифты.

Я хочу пожелать вам... успеха? Но успеха желать невозможно. Я желаю вам главного — бытия!

РИТМ СТИХА И РИСУНКА



аршак любил смотреть рисунки к своим книжкам. Позвонит по телефону: «Приезжайте, голубчик, покажите, что вы сделали». И я немного в растерянности — ведь позавчера я у него был и все показывал. Начинаю объяснять: дескать, мало что нового успел сделать, а он уже заканчивает разговор: «Ну, так вы приедете? Я вас очень прошу к двум часам».

В последние годы он плохо видел и рассматривал рисунки, близко приставив к очкам, как бы прочитывая их по строчкам. «А вот это очень смешно!» И смеялся и показывал мне мой рисунок, чтобы я смеялся с ним тоже.

Замечаний конкретных он почти не делал. Иногда попросит: «Сделайте, голубчик, вот тут что-нибудь. Вам, наверное, очень не хочется, да? Все-таки сделайте». Я не спрашивал, что значит это «что-нибудь», старался сам понять, что беспокоит в рисунке. Иногда исправлял, иногда делал заново, потому что в каждом рисунке всегда что-нибудь беспокоит. На следующий раз он в первую очередь просил показать этот рисунок. Я показывал, рассказывал, что прибавил или убавил. Он говорил: «Да... да... да...»

Когда рисунок ему совсем не нравился, он начинал читать стихи, к которым относилась эта иллюстрация, подчеркивал ритм, интонации, иногда заставлял и меня прочесть вслух стихотворение. Я читаю стихи плохо, запинаясь, мне начинало казаться, что поэтому и рисунок не получается. Иногда он резко брал рукопись и дочитывал сам.

Мне нравилось его отношение к иллюстрациям. Он придавал большое значение ритмической связи рисунка и стихов.

Образцом такой связи он считал, по-видимому, лебедевский «Цирк».

По проволоке дама
Идет, как телеграмма,—

читал Самуил Яковлевич и посылал Розалию Ивановну за книжкой.

«Вот видите, голубчик, как он передает здесь ритм стиха. «По проволоке дама идет, как телеграмма...»

Новым рисунком он в первую очередь радовался. Замечания были потом. С рисунков он незаметно переходил на стихи, читал написанное вчера или пятьдесят лет назад. Делился мыслями о Пушкине, Чехове и Твардовском. Здесь он уже как бы не нуждался в собеседнике. Потому что все, что он говорил, было им продумано, было частью еще не написанной статьи, и, видимо, ему самому было интересно слышать, как звучат еще не записанные мысли на слух. Он лишь время от времени внимательно поглядывал, стараясь по выражению лица узнать, насколько доходят его мысли.

Придя к нему на полчаса, посетитель обычно уходил через два-три часа, и то потому, что Розалия Ивановна сообщала: «Самуил Яковлевич, к вам пришли». Это был новый посетитель.

Несмотря на то что к Самуилу Яковлевичу приходило огромное количество самых разных людей, в каждое новое свидание с ним он как бы продолжал только что прерванный разговор, возвращаясь к теме, о которой он говорил две недели или месяц назад.

Я познакомился с ним в 1948 году. Самуил Яковлевич согласился позировать художникам. Это было в ЦДРИ. Ему понравился мой набросок. Он поставил на нем автограф, и мы познакомились. Снова я его увидел только в 1956 году, когда в первый раз иллюстрировал его книжку. С этих пор мне довольно часто приходилось делать рисунки к его книжкам.

Меня поражало, сколько стихов хранится в его памяти. Часто он начинал читать Хлебникова. Особенно любил «Слово о Эль». Он знал все варианты этого стихотворения и настойчиво просил меня достать старое издание с вариантом, который он больше всего любил. Вспоминая поэтическую судьбу Хлебникова, Самуил Яковлевич как-то сказал мне: «Тут, знаете, вроде ванны, в которую из одного крана льется теплая вода, а из другого холодная. Холодной больше. Так что ванна никак не успевает согреться». (Позднее я прочитал эпиграмму Маршака, где этот образ был применен к литературе вообще

и приобрел несколько иное значение.) Он хотел написать большую статью о Хлебникове, но так и не успел.

В одно из моих посещений Самуил Яковлевич прочитал мне только что написанного «Угомона». Это был самый первый вариант, который он потом много раз переделывал. В одном месте я позволил себе замечание. Он ничего не ответил, сердито посмотрел на меня и, кончив читать, против обыкновения, удерживать не стал. Месяца через три Самуил Яковлевич позвонил ко мне и спросил, не возьмусь ли я иллюстрировать «Угомона». Когда я получил в издательстве рукопись, злополучной строфы там не было.

Работа над «Угомонам» оказалась для меня трудной сверх ожидания. Получилось так, что редакция считала, что появляющегося во сне старичка Угомона вообще рисовать не надо. Самуил Яковлевич да, признаться, по легкомыслию и я хотели, чтобы он был нарисован. И начались бесконечные муки выдумывания Угомона. С. М. Алянский, художественный редактор книги, потерял всякое терпение. Самуил Яковлевич вызвал меня к себе: «Вы знаете, по-моему, Угомона надо одеть в пимы. Розалия Ивановна, принесите пимы, которые мне прислали с Севера». Розалия Ивановна отвечала, что все, что ей известно о пимах, — это то, что они в нафталине, и удалялась, по-видимому, в надежде, что Самуил Яковлевич забудет о них. Чувствуя, что тучи сгущаются, я говорил Самуилу Яковлевичу, что знаю, что такое пимы, видел их и, наверное, смогу нарисовать. Однако через полчаса он снова вызвал Розалию Ивановну, так что в конце концов начались поиски, и Розалия Ивановна вошла в кабинет с большим зашитым мешком. Распоров мешок, как личного врага, Розалия Ивановна вывалила на пол кучу нафталина, предоставив мне самому извлекать из нее «Угомону обувь».

От пим мы впоследствии отказались, а вот малахай так и остался на Угомончике. Тоже по просьбе Самуила Яковлевича.

Когда мне приходилось уезжать в далекие края — в Сибирь, на Восток, — я с удовольствием писал Самуилу Яковлевичу о путешествиях и приключениях, которые его очень интересовали. По возвращении оказывалось, что он помнит эти письма, расспрашивал о подробностях.

В последний год жизни он как-то спросил меня: «А как вы думаете, мог бы я с вами поехать?» Я ответил уклончиво, потому что форточка в кабинете давно уже не открывалась из-за боязни простуды, и клубы табачного дыма стояли там без движения. Самуил Яковлевич начал мечтать о поездке,

о том, как он уговорит врача, стал спрашивать, как нужно экипироваться, какие взять спальные мешки, сапоги, палатки...

Он все больше и больше терял зрение, жаловался на это, с нетерпением ждал операции.

В Ялте на пляже кто-то сказал, что видит пароход. Самуил Яковлевич заволновался: «А я не вижу. Где он? Он далеко?» Пароход действительно был далеко.

Потеря зрения угнетала его, делала раздражительным, но он продолжал интересоваться рисунками, разглядывал их внимательно, затрудненно, просил рассказать то, что не мог уже разглядеть. «Да... да... — говорил он после рассказа, — вижу, вижу».

В 1962 году Самуил Яковлевич писал мне из Ялты: «Очень хочу, чтобы когда-нибудь вы сделали какой-нибудь мой сборник целиком». Это было, разумеется, и моим желанием, и вот мы начали готовить такой сборник в издательстве «Советская Россия».

Работа над книгой заняла у меня целый год. Самуил Яковлевич был нетерпелив, торопил. «Вы знаете, — говорил он мне, — это будет моя первая цветная толстая книжка».

Он по многу раз смотрел рисунки, менял состав сборника и расположение стихов. Поначалу среди других вещей в книгу должен был входить «Человек рассеянный». Обсуждая рисунки к «Рассеянному», я полушутя сказал, что Рассеянного буду рисовать с Владимира Глоцера, литературного секретаря Маршака. Впоследствии «Рассеянного» из сборника исключили. «А как же портрет Володечки?» — пошутил Самуил Яковлевич.

Он показывал рисунки домочадцам и знакомым, узнав, что я возил книжку Фаворскому, мнением которого он очень дорожил, Самуил Яковлевич специально звонил мне, чтобы расспросить, что сказал Владимир Андреевич. А ведь на его столе всегда лежали кипы корректур, и эта книжка была далеко не единственной...

Весной 1964 года сборник был готов, и 16 июня я показывал Самуилу Яковлевичу рисунки в последний раз. «А как сделать, чтобы хорошо напечатали? Дадут они хорошую бумагу? Кому надо позвонить?» — беспокоился он, как всегда воинственный и полный энергии...

КОСТЕР



дивительный человек Маршак! Он прожил отнюдь не безоблачную жизнь, частенько негодовал, раздражался, болел, глубоко переживал тяжкие утраты. А за последние два десятилетия его века, надо сказать, таких утрат было много. Я бы сказал, слишком много для одного человека. Судите сами, сначала смерть скосила горячо любимого юношу — сына, затем свояка — мужа Е. Я. Ильиной, являвшегося крупным знатоком рукописного наследия Маркса, потом жену Софью Михайловну, с которой была прожита долгая жизнь, вскоре после нее в расцвете творческих сил умер брат, известный писатель М. Я. Ильин, и, наконец, еще одна чувствительная утрата — довременная гибель Т. Г. Габбе, очень близкого друга, человека тонкого и высокоодаренного. Всех любил и всех их хоронил старый поэт.

При всем этом удивительно, на мой взгляд, то, что горечь переживаний не перелилась в его строки, не окрасила в сколько-нибудь мрачноватые тона его творчество. Да и самого его на протяжении всех последних двадцати лет жизни я помню неизменно деятельным, бесконечно жизнелюбивым, хотя, разумеется, и не всегда веселым. А веселье очень шло к нему, и он его любил, умел создавать вокруг себя радостную атмосферу. И все, что вышло из-под пера Маршака за последние двадцать лет, наполнено, впрочем, как и прежнее творчество, ярким светом, будто каждая строка пронизана солнечными лучами, будто в каждой фразе бродит хмель лукавого веселья.

И сейчас, когда я перебираю в памяти то, чему был свидетелем в жизни Маршака, в моем сознании вдруг оживает такой эпизод.

Малый редакционный час тишины, когда стол еще не погребен под бумагами, на нем лежит аккуратная стопка свежих газет; сотрудники еще не пришли, поэтому нет обычной суеты и шума, можно спокойно оглядеться, подумать. И вот этот совсем крохотный час тишины вдруг разрывает неожиданный, требовательный, настойчивый звонок телефона. Впечатление такое, что звонит междугородная. С досадой отбрасываю газету и беру трубку.

— Алё, алё,— несется из трубки взволнованный и приглушенный частой одышкой голос. Сквозь прерывистые астматические свисты прорываются радостные нотки. Я хорошо знаю этот голос, досада мгновенно исчезает, я рад этому звонку.

— Алё, милый, это вы? — торопливо и настойчиво вопрошает знакомый глуховатый голос.

— Слушаю вас, Самуил Яковлевич, доброе утро.

— У меня большая радость, милый, решил поделиться с вами.

Много было всяких разговоров с этим удивительным человеком с тех пор, как я подружился с ним в конце войны: были ранние звонки и очень поздние, домой и на работу, всегда срочные и нетерпеливые (в моем представлении Маршак — весь сплошное нетерпение, кипение, стремление, спешка, бьющая через край энергия, но только не покой), звонки деловые и просто по душевному велению, продиктованному чаще всего острым желанием, даже необходимостью прочесть только что написанное, узнать вот сейчас, сию минуту, безотлагательно мнение со стороны.

— Алё, милый, вы слушаете? — продолжает, задыхаясь и подкашливая, Маршак,— у меня сегодня заработал лифт!

Признаться, я ничего не понимал: Маршак живет на третьем этаже, лифт в его доме работает исправно. Правда, Самуил Яковлевич настолько нетерпелив, что совсем не в его характере тратить хотя бы несколько минут на ожидание. Поэтому как-то, стояв у дверей лифта,— кабина застряла где-то на верхнем этаже,— потыкав нервно в кнопку вызова, он в сердцах стукнул палкой об пол и, гневно сверкнув глазами, сердито проговорил:

— Пойдемте!

Помнится, поднялись мы без особого труда. Гнев Маршака как-то сразу улегся, уже на первой же лестничной площадке он, приостановившись, продолжал о чем-то увлеченно говорить,— кабина лифта, щелкая на этажах, проехала вниз, а потом проследовала наверх, за разговором она была прочно забыта, а мы благополучно добрались до заветной двери под но-

мером сто тринадцать. Много раз подходил я к этой двери и почти всегда вспоминал знакомую с детства строку:

В сто тринадцатой квартире
Богатырь живет у нас!

Кто этот богатырь? Может быть, Яша или Элик? Я уверен, что собственные дети виделись поэту богатырями. Впрочем, он в каждом ребенке видел потенциального великана. Для меня же богатырем, что живет в сто тринадцатой квартире, был сам Маршак, человек удивительной энергии, неутомимости и, при всех одолевавших его хворостях, я бы сказал, редкой выносливости и воли, подвижнического упорства, фантастической работоспособности.

Вот и в этот ранний час, когда многие еще не покончили с завтраком, Маршак уже разогрет до высокого градуса работой, весь кипит, клоочет. Но о каком же лифте все-таки идет речь?

— Алё, милый, вы помните, как в «Твистер» поднимается к себе в номер миллионер со своим семейством?

Мимо зеркал
По узорам ковра
Медленным шагом
Идут в номера.

Так вот, до сих пор у меня там не работал лифт! Твистер, как выяснилось, получил номер на третьем этаже «Англетэра». И нельзя допустить, чтобы такой важный человек, — как-никак отставной министр, — лез на третий этаж пешком, да еще со своей чопорной мадам и с капризной дочкой?! — Самуил Яковлевич в этом месте заливиисто хохочет. У него и в самом деле отличное, радостное настроение. — Теперь такому важному гостю подан лифт. Вот слушайте.

И Маршак читает новые строфы:

Первая лестница,
Третий этаж,
Следом за вами
Доставят багаж!

Вот за швейцаром
Проходят
Цепочкой

Твистер
С женой,

Обезьянкой
И дочкой.

В клетку зеркальную
Входят они.
Вспыхнули в клетке
Цветные огни,
И повезла она плавно и быстро
Кверху семью отставного министра.

Маршак особо обращает внимание на строку — «и повезла она плавно и быстро», — точнее даже на два стоящих рядом слова, — «плавно и быстро», — передающих легкий ход кабины и даже щелчок, какой слышится на каждом этаже, когда поднимаешься в лифте. В этих двух словах, казалось бы, семантически не очень близко стоящих друг к другу, счастливо найдена выразительная характеристика движения и его ритмический рисунок.

Удивительно мастерство Маршака, умеющего исчерпывающе использовать смысловой потенциал слова и его звуковую силу. Таких удач у Маршака очень много. Вспомните хотя бы «Сказку о глупом мышонке», в которой у каждого персонажа свой, только ему присущий голос, каждый поет поистине так, как может. Даже безголосая щука так разевает рот, что почти физически ощущаешь ее тщетные усилия извлечь хоть какой-нибудь звук. А в «Цирке» знаменитая «мадам Фрикассе на одном колесе», которая так нравилась Маяковскому именно выразительностью рисунка движения, или там же не менее знаменитая по меткости характеристики действия — «по проволоке дама идет, как телеграмма».

Повторяю, таких удач у Маршака очень много. И удивительно, что он не разучился радоваться каждой новой удачной находке. В этом, может быть, один из секретов постоянного и заразительного желания искать и находить. Помнится, еще Ильф и Петров ценили в человеке великий дар удивляться, считали его верным признаком нравственного и творческого здоровья. Так вот Маршак до конца своих дней не утратил этого замечательного дара удивляться и радоваться всякой творческой удаче. Удивляться и радоваться горячо, бурно, предельно искренне:

Как-то придя по приглашению Маршака к нему на дом, я застал его за версткой очередного сборника. Пока я шел от двери к его столу, возле которого стояло кресло для посетителей, Самуил Яковлевич вписывал новые строки. Подняв голову и вздев на лоб очки, Маршак неожиданно спросил меня:

— Вы знакомы, голубчик, с краснодеревщиками?

Нет, с краснодеревщиками я не знаком, даже не знаю, дожили ли они до наших дней, такой старинной мне кажется эта редкостная теперь профессия.

— Так вот учтите, хороший мастер-краснодеревщик не будет делать вещь из негодного материала. Прежде чем приступить к работе, он простукает дерево, нет ли в нем пустот, не подточил ли его изнутри червь.

Маршак стучит по крышке стола костяшками пальцев, как это, должно быть, делают краснодеревщики.

— Вещь должна служить века. Какой же прок делать ее из плохого материала? Вот так и мы должны простукать каждое слово: пустые, полые выбросить, оставить только самые необходимые.

Готовя очередное издание своих вещей, Маршак, следуя примеру взыскательных мастеров-краснодеревщиков, внимательно простукивает каждое слово. Он не устает делать эту работу, которая многим кажется нудной и малозначащей, и ему нравится быть похожим на добросовестных мастеровых людей, о которых он всегда говорит с неподдельным уважением и теплотой.

Люди труда в его сознании, а может быть, и в его жизни, занимают огромное место. С увлечением он рассказывает о своем отце, талантливом химике-самоучке, которому не везло в жизни; часто вспоминает тех писателей, что пришли в литературу, вооруженные опытом трудовой жизни, и при его непосредственном содействии еще в двадцатые годы мощной когортой влились в строй детских писателей. И стихи Маршака густо населены трудовым народом: пожарники, столяры, плотники, слесари, маляры, лесники, солдаты — все это добрые умельцы, мудрые и душевные люди. С какой еще сдерживаемой и глубокой, из самого сердца льющейся радостью читал Маршак первый вариант «Были-небылицы», в которой так осязаемо колоритно нарисованы два маляра, застигнутые дождем в подъезде вместе с маленькими героями поэмы. Несколько раз читал мне Самуил Яковлевич эту вещь до публикации и меня заставлял читать, вслушиваясь со стороны в каждое слово, видимо, простукивая их в это время, как краснодеревщик. В память об этом у меня хранится экземпляр первого издания «Были-небылицы», подаренный автором с доброй надписью: «Первому читателю этой книги».

Поэзия для Маршака не была ни в коей мере тихим и тем более мирным делом, таким отдохновением от «бурь житейских». Нет, она для него была именно бурей, неистовством и горением. Да он и сам как-то, рассказывая о своей работе,

сравнил свое творчество с костром. Написал он об этом негромко, в присущей ему с виду простой манере, но таящей истинную философскую глубину:

Свои стихи, как зелье,
В котле я не варил
И не впадал в похмелье
От собственных чернил.
Но четко и толково
Раскладывал слова,
Как для костра большого
Пригодные дрова.
И вскоре — мне в подарок,
Хоть я и ожидал, —
Стремителен и ярок
Костер мой запылал.

Да, Маршак был упорным тружеником, мастером филигранной отделки стиха, но вместе с тем одновременно это был воитель, дерзкий, грозный и бесстрашный. Без всего этого, если хорошенько вдуматься, и немыслимо подлинное творчество.

Самуил Яковлевич не раз говаривал о том, что подлинно значительного писателя отличает одна верная примета, — у него должны быть не просто своя тема, свой голос, свои герои, но и свой мир, то есть своя философия, свое проникновенное понимание жизни, своя система взглядов, и не узенькая, камерная, а настолько емкая и глубокая, чтобы в нем не обмелела по крайней мере современность. Маршак не раз подчеркивал, что тот хорошо служит человечеству, кто в первую очередь верен своему народу, того чтут потомки, кто кипел страстями современников. В подтверждение этой мысли он ссымался на примеры Шекспира, Байрона, Пушкина, Гоголя, Толстого и особенно Чехова, предельно злободневного писателя. Все это гении народные, национальные и потому всечеловеческие.

Свои идеи и взгляды Маршак так или иначе выразил в том, что написал, его литературное наследство обширно, и не хочется предварять радость знакомства с ним.

Мне хочется говорить в данном случае на основании личных наблюдений об отношении Маршака к слову, к работе поэта, к его долгу. Именно в этой плоскости и выстраиваются в первую очередь те эпизоды, которые приходят сейчас на память.

Вряд ли нужно убеждать в том, как сильно любил Маршак полнозвучное, точное, работающее и потому весомое слово. Он не раз говорил о том, что слова, употребленные к месту,

в точном их значении подобны налитым свинцом шахматным фигурам. Их не сдунешь, они стоят прочно, весомо. Особенно ценным для него было работающее слово. Больше всего любил глаголы.

— Глаголы — это работники, это пульс, это действие! — восклицал он. И тут же приводил массу фольклорных образцов, детских считалок, в которых все слова впряжены и взнуданы действием, передают движение, работу.

— А Пушкин! — с особенной силой восклицал Маршак, стараясь выразить этим свой бесконечный восторг, свою самую пламенную любовь к гению русской поэзии, и начинал цитировать строки из «Сказки о царе Салтане».

Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он.
Вышиб дно и вышел вон.

— Как сильно работают тут глаголы! — восхищался Маршак. — А концовка? «Вышиб дно и вышел вон». Ведь это детская считалка!

Разговор о Пушкине длился часами. Вряд ли кто другой так знал гениального поэта, как Маршак. Кажется, всего его, включая и прозу, и драмы, и письма, он цитировал по памяти. А какое тонкое понимание, какое глубокое толкование! Я учился в ИФЛИ, у нас были неплохие преподаватели, почти все мы вынесли огромную любовь к литературе и сами потом преподавали ее в вузах, с годами все глубже вглядываясь в бездонные глубины, познавая величие и смысл классики, и все же, должен признаться, беседы Маршака о литературе, нашей и зарубежной, были подлинным откровением. Для себя я считал, что прохожу у Маршака второй университет.

Любовь Маршака к литературе соединялась с редкой эрудицией. Поэзию, русскую и английскую, он знал так, что создавалось впечатление, будто тут для него ничего незнакомого не было. О чем бы ни зашла речь, он ко всему был подготовлен, цитировал все на память и большими кусками. Я не помню случая, когда бы Самуил Яковлевич подходил к книжной полке и брал для цитирования то или иное издание. И все цитировалось без особого напряжения, без мучительных остановок и затруднительных припоминаний. Надо сказать, что это относилось не только к классикам, а и ко многим из современников, за которыми с пристальным вниманием и неподкупным интересом он постоянно следил.

Поэту вроде бы и по штату положено знать поэзию. Правда, такое знание, какое было присуще Маршаку, все же редкость и для профессионалов. Ведь он знал классиков и современников всех наших национальных литератур, почти всех европейских народов, древнюю классическую и средневековую поэзию. Одно перечисление тех, кого Маршак переводил, заняло бы очень много места и обнаружило бы его кровное родство почти со всей мировой поэзией. Для переводов он выбирал самых великих, самых ярких, самых значительных представителей различных литератур. Однажды, говоря о тех поэтах, которых он переводил, Самуил Яковлевич признался, что он рад общению с любым великим или очень талантливым представителем другого народа.

— Посредственных я не переводил, — подчеркнул он.

Труд переводчика, которому Маршак отдал так много сил, был для него тем особенно и привлекателен, что позволял входить в мир любого из величайших, великих или просто очень даровитых и ярких поэтов человечества. Он входил в этот мир великих своих собратьев смело, решительно, готовый во всем потягаться с ним на равных. В разговоре не раз подчеркивал, как трудно переводить больших поэтов, а посредственных хоть и легко, но неинтересно, пустая трата времени и сил.

— Переводчик, — говорил Маршак, — должен уметь отличать ценный минерал от породы. Чистое золото поэзии, а не сверкающие поделки нужны людям.

С великими, как переводчик, Маршак вступал не в сговор, не подлаживался под них угодливо, а отчаянно единоборствовал, не щадя сил, не скупясь на переделки, не уставая от бесконечных поисков наиболее соответствующих эквивалентов, передающих и аромат, и глубину мысли оригинала.

Я начал говорить о беспредельных познаниях Маршака в области мировой поэзии, но было бы неверно из этого заключить, что он недостаточно знал прозу. Он и сам был отличным прозаиком, перу которого принадлежит автобиографическая повесть, несколько превосходных рассказов, очерки, пьесы, писанные не только стихами, и множество критических статей, дающих достаточно наглядное представление о мудрости и разносторонности познаний их автора. Насколько я знаю, особенно любимы были Маршаком из классиков нашей прозы Чехов, Толстой, Гоголь. На них он чаще всего ссылался в разговорах, их цитировал, приводил в пример. Очень высоко Маршак ценил и, конечно, превосходно знал прозу Пушки-

на и Лермонтова. В его статьях и письмах легко можно найти многочисленные подтверждения этому.

Литература для каждого литератора кровное дело. И хотя Маршак жил широкими интересами, его волновала вся жизнь во всех ее проявлениях, — общественная, научная, культурная, бытовая, — мне, работнику газеты, приходилось отвечать на множество его вопросов и выслушивать его суждения по самым различным явлениям действительности, но кипуче ревностно относился он к главному делу своей жизни — к литературе. В самом начале я припомнил случай, когда Маршак вдруг поделился со мной радостной литературной находкой. А теперь мне приходит на память другой случай, когда поэт был невероятно опечален, что там опечален — расстроен, убит!

Требовательный звонок его, как и в первом случае, раздался утром.

— Алё, голубчик, — в голосе было столько муки, столько боли, что я не удержался и, не давая ему продолжать, спросил:

— Что случилось, Самуил Яковлевич?

— Несчастье, голубчик, несчастье.

Я не знал, что и подумать. Одно было ясно: у Маршака горе, большое горе.

— Что же стряслось? — в тревоге вопрошаю я, готовый предположить самое худшее.

— Алё, милый, сегодняшние газеты перед вами? — убитым голосом спрашивает Маршак.

Я сразу впиваюсь в нижний правый угол последней страницы центральной газеты, где обычно помещаются скорбные извещения в траурной рамке. И вдруг неожиданный вопрос:

— Вы видите на первой полосе стихи?

Я переворачиваю газету и вижу на первой полосе в самом центре сверху красиво заверстанное на две колонки стихотворение Маршака.

— Прочтите! — с отчаянием требует Самуил Яковлевич.

— По-моему, хорошие стихи и поданы хорошо, — стараюсь я успокоить Маршака, по опыту зная, какое огромное значение он придает тому, как подаются на газетной полосе его стихи.

— Да разве вы не чувствуете, что стихи переехало траваем! — в отчаянии восклицает Маршак. — Вы видели когда-нибудь, как человеку траваем отрезает ноги? Так вот и у моих стихов сегодня также безжалостно отрезаны ноги!

И, поверьте, это не поза, не театральная наигрыш, это искренняя боль, рвущаяся из самого сердца. Если бы вы слышали в ту минуту голос Маршака, вы бы поверили, как он глубоко несчастлив, как он растерзан тем, что произвольно выбросили заключительную строфу стихотворения, которое, насколько я теперь припоминаю, ничем особенным и не выделялось среди массы других его газетных вещей.

Когда речь заходила о литературе, самом кровном для Маршака деле, он не в состоянии был оставаться равнодушным, неистово отстаивал все, что того требовало, бурно радовался очередной удаче, разумеется, не только своей, а и любого собрата по перу, но вместе с тем и бурно негодовал, когда сталкивался с тем, что казалось ему недобросовестным и что оскорбляло его взыскательный вкус. Конечно, он бывал субъективен в оценках, но в отношении к литературе и литературному делу всегда необыкновенно целен, бескомпромиссен. Разболтанность и разбросанность он зло и резко осуждал.

Как-то зашла речь об одном молодом поэте, сильно разбрасывавшемся, хватавшемся за любые темы.

— Таксист, — язвительно сказал о нем Маршак и повторил еще раз, вкладывая уже больше желчи в это неожиданное определение: — Таксист. У поэта должен быть свой точный маршрут. Литература — дело тяжелое, подвижническое, от писателя твердость нужна, стойкость. А этот, куда пошлют — туда и поехал. Таксист...

В другой раз мы заговорили об известном писателе, совершавшем на своем пути удивительные идейные эволюции, не раз менявшем, особенно в молодости, литературную ориентацию.

— Он был похож на дворнягу без конуры, — сказал уже без злости и горечи, грустно и даже с нескрываемым сожалением Маршак, — забегал в любую подворотню. Мог первого попавшегося цапнуть и к первому встречному приластиться.

В интонации, с какой была произнесена последняя фраза, уже не чувствовалось сожаления, было лишь явное осуждение. Такого Маршак не принимал, не одобрял ни при каких обстоятельствах.

Маршак был строг и добр одновременно. Помню, году, должно быть, в сорок седьмом я получил от Самуила Яковлевича довольно большое стихотворение «Дети нашего двора». Когда это стихотворение было напечатано в «Комсомольской правде», Самуил Яковлевич попросил меня получить гонорар и потратить деньги на приобретение теплых вещей для дочери лифтерши. Девочке пришла пора идти в школу.

— Прошу вас сделать так, чтобы ни девочка, ни ее мать не знали, что вещи куплены на мои деньги. Изобретите какой-нибудь предлог, и пусть думают, что это от редакции, что все купленное положено детям, обездоленным войной.

...Был я как-то у Маршака незадолго до Нового года. На его письменном столе лежала стопка приготовленных к отправке, но еще не запечатанных конвертов. Во время нашей беседы кто-то пришел, Самуил Яковлевич вынужден был отлучиться в столовую, где ждал его посетитель, а мне велел оставаться в кабинете. Я обратил внимание на приготовленные к отправке письма. Дело в том, что в редакционной работе самым обременительным, хотя и очень важным и нужным газете, является разбор, расследование и ответы на письма. Этому газетные работники вынуждены отдавать много сил и времени.

— И вам приходится работать с письмами? — спросил я сочувственно.

— Да, пишут много, — отозвался Маршак.

Он уже направился к двери, а я попросил разрешения посмотреть его ответы. Меня интересовало, кто пишет Маршаку и как он отвечает своим корреспондентам. В ответ на мою просьбу Самуил Яковлевич неопределенно махнул рукой. Я истолковал этот жест как разрешение и взял один из конвертов. Развернув тщательно согнутый пополам листок, исписанный крупным ясным маршаковским почерком, я обнаружил в середине его зеленую бумажку в пятьдесят рублей. Ответ был адресован какому-то мальчику. Маршак очень подробно разбирал стихи юного корреспондента, давал ему советы, интересовался его успехами в учении. Мудрое и ласковое это было письмо. В заключение его Маршак писал, что он посылает мальчику пятьдесят рублей, на которые предлагает купить игрушек к Новому году или истратить их еще на что-нибудь по совету старших. Вслед за этим я взял еще одно письмо, а потом и третье, и четвертое, и в каждом обнаружил деньги.

Когда Самуил Яковлевич вернулся, я заметил ему, что деньги надо бы отправлять переводом, иначе они пропадут.

— У детей не отнимут, — убежденно заверил Маршак.

Маршак был щедрым человеком. Он не был тем хлебосолом, которому доставляют удовольствие шумные пиры и гулянки, застольное разудалое веселье, праздное времяпрепровождение. Даже юбилейный ужин в день шестидесятилетия на квартире в очень узком кругу был тих, скромн и, помнит-

ся, непродолжителен. И дело тут, разумеется, не в скарденности. Просто на веселье у него не оставалось времени.

Любя шутку, заразительный смех, он всем своим характером был противоположен всякой праздности. Насколько я знаю, Маршак весь и всегда был погружен в работу, целиком и без остатка отдавался своему призванию, своему делу. И тут был щедр, не жалея ни времени, ни сил.

Совсем не случайно двумя наиболее любимыми темами его философской лирики, которая, думается, все еще не оценена нашей критикой должным образом, были — слова и время. Программное стихотворение «Словарь» начинается таким четверостишием:

Усердней с каждым днем гляжу
в словарь.
В его столбцах мерцают искры
чувства.
В подвалы слов не раз сойдет
искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.

Всю жизнь Маршак не устал ежедневно опускаться «в подвалы слов», старательно высвечивая фонарем все новые и новые драгоценности. Ему отлично было ведомо и веское «золотое слово» и «золото молчания».

Он так напряженно и уплотненно работал, что, по всей видимости, даже часы сна не всегда были для него полным отдыхом. Несколько раз Самуил Яковлевич рассказывал о том, что во сне ему являлись замыслы, часто приходили стихотворные строки, а как-то сочинилась остроумная эпиграмма. Однажды он показал мне исписанную неровными строчками папиросную коробку.

— Всегда держу под рукой на ночном столике вот такую коробку и карандаш. Во сне порой приходят дельные мысли, рождаются целые строфы. Записываю, не зажигая света.

Как Маршак любил делиться своими обширнейшими познаниями! Мне не раз приходилось у него засиживаться далеко за полночь. Беседы были столь увлекательны, что время текло незаметно. В час ночи в дверях кабинета появлялась Софья Михайловна, жена Самуила Яковлевича, и напоминала о том, что пора бы и прощаться. Маршак обычно нервно реагировал на такие напоминания и просил не мешать нам. Беседа снова возобновлялась, я начинал деликатно посматривать на часы, но хозяин не обращал на это никакого внимания. Мне, привычному в те годы к ночному бодрствованию, такие беседы доставляли одно удовольствие, но я не мог не думать о том,

какой ценой расплачивался потом за недосыпание часто недомогавший и далеко уже не молодой Маршак. Он время от времени жаловался на плохой сон, перебои сердца, иногда я заставлял его в очень усталом, даже в измотанном состоянии, засыпавшим сидя, с потухшей папиросой во рту. Но Маршак удивительно быстро стряхивал с себя сонливость, во время беседы преображался, и через некоторое время невозможно было обнаружить и следов усталости. А главное, что поражало в нем всегда, — удивительная ясность мысли, завидная свежесть памяти, неугасавший интерес к самым разнообразным вещам.

Счастливым выходил я на пустынную ночную площадь Курского вокзала, метро давно уже было закрыто, трамваи ходили редко, иногда пешком приходилось добираться до Таганки, а то и до самого дома, но все равно после каждой беседы с Маршаком я чувствовал себя освеженным массой новых сведений, тонких наблюдений, открывавших то, что было видно лишь его проницательному взгляду, что он, мудрый мастер, обдумал и раскрыл. Думаю, что таким счастливым был далеко не один я. Его слушателями и собеседниками были многие. А потом это счастье привалило если не миллионам, то уж наверняка многим тысячам читателей, — значительная часть того, чем Маршак делился в беседах, становилась основой его тонких и глубоких критических статей, которые он писал неторопливо, сознавая свою огромную ответственность перед читателем, перед литературой. Передавать сколько-нибудь подробно слышанное мной от Маршака — это значило бы в значительной степени пересказывать содержание его критических статей. Он жил этими мыслями и в разное время по разным поводам частями высказывал их.

Маршак рад был каждому талантливому человеку, жаждал с ним встреч, бескорыстно помогал очень и очень многим, — и не только советом, не только тем, что щедро делился опытом, он всегда готов был прочитать и отредактировать рукопись. Его не надо было просить об этом, он сам предлагал такую помощь. К Маршаку шли и шли маститые и молодые за помощью, за советом, за дружеской поддержкой. Через его кабинет прошла значительная часть нашей современной литературы. Велика была жадность этого человека на людей. Вспоминаю, как по срочному делу мне пришлось к Маршаку заехать утром. Он сам назначил, чтобы я явился к нему в восемь утра. Зная, что Маршак засиживается допоздна, я позволил себе опоздать на полчаса и вынужден был расплачиваться за этот промах: во-первых, опозданием я навлек на

себя гнев хозяина, а во-вторых, я оказался уже не первым и, кажется, даже не вторым и не третьим посетителем. Двери сто тринадцатой квартиры с утра до позднего вечера пропускали посетителя за посетителем. Я и до сих пор не могу понять, как в такой вечной суетлоке Маршак столь производительно работал.

Казалось бы, для такой напряженной работы, какую вел Маршак, нужно было уединение, покой, тишина. Но вот уж кто не терпел уединения, покоя и даже, кажется, тишины, той абсолютной тишины, что почитается неперемным условием всякой творческой работы! На даче в Болшеве, насколько я знаю, он бывал очень редко, на отдыхе вокруг него всегда собирался народ и продолжались те же встречи, те же чтения, те же беседы. Далеко не всегда Самуил Яковлевич оберегал себя и от непрерывных телефонных звонков. Очень часто, прежде чем Розалия Ивановна, многолетний секретарь Маршака, успевала снять трубку параллельного аппарата, Самуил Яковлевич, опередив ее, нетерпеливо вопрошал:

— Алё, кто говорит?

Хотя я и рискую повториться, но мне хочется лишний раз отметить, что отличительными чертами характера Маршака были энергия и неутомимость. Как осчастливил его однажды малыш из детского сада, спросивший поэта:

— Дядя, а ваша фамилия от слова марш?

Самуил Яковлевич рассказывал мне об этом эпизоде с нескрываемой радостью.

Маршак любил энергичных людей, людей подвига, тех, кто много ездит, бывает в разных местах, много видит. Он охотно встречался с ними, восторгался ими и, конечно, с удовольствием писал о них.

В последние годы жизни Маршака наши встречи не были регулярными, как прежде. Но и в те редкие минуты, когда мне доводилось с ним видеться, — по телефону мы разговаривали часто, — меня поражало, как неутомимо, несмотря на все более и более преклонный возраст и усилившиеся недомогания, он продолжал трудиться, как ярко пылал костер его вдохновения, как он, верноподданный и одновременно властный повелитель поэтической державы, с поразительным личным мужеством встречал продолжающие обрушиваться на него беды — гибель близких, все более давящую тяжесть болезней, неотвратимо наступающую слепоту, и за всем этим отчетливо видевшуюся неотвратимую кончину. Но и в глаза смерти, думается мне, смотрел он с мудрым бесстрашием. Может быть, самое сильное впечатление из всего того, что я слышал

МАРШАК У ИСПАНСКИХ ДЕТЕЙ



реди множества встреч и разговоров с Самуилом Яковлевичем Маршаком, которыми одарила меня судьба, мне особенно дорого одно воспоминание. Это был Маршак с детьми, Маршак среди детей — зрелище трогательное и необычное.

Мне не часто доводилось видеть Маршака с детьми. Когда я заставала его дома играющим или разговаривающим с маленькими внуками, он казался сам большим ребенком — столько в нем оживало детского, мальчишеского, задорного; он мне очень нравился в эти минуты. Когда же он появлялся на эстраде перед большой детской аудиторией, он как-то тяжелевал, во всей его грузной фигуре была какая-то связанность, стесненность, — казалось, ему неудобно, неуютно было на большой сцене, перед тысячами жадных глаз. Он «проигрывал» рядом с такими «мастерами эстрады», как Корней Чуковский, Барто, Михалков и Кассиль, те умели владеть любой детской аудиторией, и успех их был не только литературным, но и немножко актерским успехом. Маршака дети хорошо принимали, потому что знали и любили его стихи: они рады были отхлопать себе ладоши, приветствуя того, кто написал «Рассеянного с улицы Бассейной», «Багаж» и «Мистера Твистера». Но того наслаждения, упоения, с которым они воспринимали, например, появление Корнея Ивановича Чуковского, таких блестящих глаз, такого радостного смеха Маршак не возбуждал у маленьких слушателей. И вряд ли он сам любил эти выступления — эстрада была ему не по духу.

И читал он перед «публикой» как-то скучнее, чем у себя дома, за рабочим столом, в присутствии нескольких друзей или даже наедине со мной.

Даже когда его записывали на пленку — для радио или телевидения, голос его звучал напряженной, слабее; и когда я теперь слушаю пластинку со стихами Маршака, мне слышно, как он задыхался, нетерпеливо переносил «технику» и внутренне отчуждался от стихотворения, которое читал.

В то время я работала в Центральном детском театре, мы собирались дать спектакль для испанских детей, которых в 1937 году привезли в СССР из охваченной огнем гражданской войны Испании.

Тем, кто родился гораздо позже тех лет, трудно представить себе, как встречали у нас в стране этих обездоленных детей Испании, с какой бережливой нежностью относились к ним и наши ребята и взрослые. Я до сих пор помню, как мы смотрели кинохронику о том, как этих детей отправляли из Испании, как провожали их матери (отцы воевали), и весь зал плакал, не стыдясь и не прича слез.

Маленьких испанцев расселили по разным местам, но один, самый большой интернат их был под Москвой на станции Правда. Вот туда-то, на станцию Правда, я и поехала со своей помощницей, Станиславой Михайловной Колосовой, чтобы договориться с руководителями интерната о спектакле, а больше всего, конечно, нам хотелось посмотреть, как живут у нас испанские дети.

Были уже сумерки, когда мы добрались до интерната. Здесь, за городом, особенно чувствовалась осень: сухие листья шуршали под ногами, сырость, ветер, бесцветное, без звезд небо. Я думала: каково-то ребятам, привыкшим к яркому испанскому солнцу, зною, сухому теплу, живет ли в нашей среднерусской осени?..

Дети ужинали. Нас провели в библиотеку — большую комнату с книжными шкафами вдоль стен, с длинными столами посередине. Это был одновременно и читальный зал и клуб — сюда собирались по вечерам старшие ребята-школьники. Нам рассказали, что дети здесь, в интернате, учатся, как в обычной школе, и многие уже неплохо объясняются по-русски. Пока мы говорили с библиотекаршей и воспитательницей, комната стала наполняться ребятами. Почему-то мальчиков было больше, чем девочек. Невольно я обратила внимание на их внешний вид — так они были не похожи на наших подростков, каких мы видели тогда в наших школах, на улицах, в театре. Эти были подтянуты, даже щеголеватые, прически — волосок к волоску, идеальнейшие прически, волосы точно лаком смазаны — лоснятся и блестят, белые отложные воротнички без единой складочки. И ходили они по

комнате и присаживались к столам так осторожно, словно боялись что-то нарушить в своем костюме, — никаких размашистых движений, таких привычных для наших ребят, ни гомона, ни шума, ни дружеских толчков в спину — сплошное благочиние. Даже девочки казались как-то растрепаннее, живее, словно меньше обращали внимания на свою внешность. Я подумала было, что ребят специально готовили к сегодняшнему вечеру, что они кого-то ждут. Но воспитательница сказала, что просто им так нравится, они привыкли заботиться о своей внешности.

— Но, — добавила она, — сегодня мы и в самом деле ждем гостя.

И действительно, очень скоро дверь распахнулась — и появился Самуил Яковлевич Маршак, как всегда, со «свитой» — кто-то нес его большой портфель, кто-то пальто и шапку. Вытирая запотевшие очки, Самуил Яковлевич ласково здоровался со всеми, удивился, увидев меня со Стасей, прошелся по комнате, разглядывая ребят, поинтересовался, какие книги у них в библиотеке. Вынул из портфеля несколько своих цветных книжек, надписал, подарил. Воспитательница по-испански и по-русски объявила ребятам, что к ним приехал известный советский поэт Маршак, что он прочтет свои стихи. Мальчики вежливо похлопали. Маршак прочел одно стихотворение, потом другое.

— Вы понимаете?

— Но... — лакированные головы закачались отрицательно.

— А кто-нибудь может поговорить со мной по-русски? — спросил Маршак нетерпеливо.

Несколько девочек подошли к нему, заговорили робко. Мальчики невозмутимо разглаживали свои борборы.

Вдруг открылась дверь, быстро вошла женщина в белом халате, подошла к Самуилу Яковлевичу и заговорила умоляюще:

— Пожалуйста... мы вас очень-очень просим... придите к нашим маленьким, они вас так ждут. Они узнали, что кто-то приехал к нам, и хотят непременно вас видеть. Это в другом корпусе — рядом... Пойдемте, пожалуйста, а то их уже укладывают спать...

Оставив свой портфель и свиту, Самуил Яковлевич пошел за женщиной. Я присоединилась к ним.

По асфальтовой мокрой дорожке мы перешли в соседний корпус. Здесь все было иное — широкий тихий коридор, цветы на подоконниках, стены в картинах, притушенный свет, закрытые большие двери и спальни.

— Минуточку подождите, — сказала женщина, приведшая нас, — я им скажу...

Самуил Яковлевич с интересом оглядывался, хотел что-то мне сказать, но в эту минуту распахнулись двери, и к нам бросилась со всех ног, крича, протягивая ручонки, целая стайка малышей. Это были совсем малолетки — трех-четыре-пяти лет, все в теплых пижамках, розовые, черноволосые и черноглазые, кругленькие, как шарики, они подкатились к нам, окружили, хватали нас за руки, что-то лепетали, может быть, даже не по-испански, а на каком-то своем детском языке, ластились к нам, как котята. Одна малышка с большими сияющими глазами, как вишни, схватила руку Маршака и целовала и гладила ее и не отпускала, ничего не говоря, и только жалобно глядела на него и вся тянулась к нему.

...Бедные малыши! Кого они ждали, кого надеялись увидеть, когда им сказали, что у них будут гости?!.. Всю нежность, которой были полны их сердчишки, всю жажду ласки, которая жила в них, они безоглядно отдали нам, незнакомым людям, потому что им нужно было к кому-то приласкаться, прижаться, от кого-то ответно ждать ласки, любви, участия, которых им все же недоставало здесь, — недоставало матерей, отцов, сестер, братьев. Им дали здесь все, что могли, — пристанище, безопасность, заботу, их спасли от бомб и пожаров, им дали теплое мирное настоящее, обещали свободное равноправное трудовое будущее. Советская страна приняла их, усыновила. Но эти малыши были еще совсем несмышлениши, они не знали и не могли понять всего этого — им нужно было перед сном прижать к себе чью-то добрую родную руку...

И тут я увидела Маршака таким, каким никогда не видела его ни до того, ни после: он весь отдался этим детям, он был — сама любовь и нежность, он ласкал их, брал на руки, наклонялся к ним чуть не до земли, ерошил им волосы, что-то говорил им — и они его понимали! Он широко раскрывал объятия и, казалось, мог обнять их всех. Здесь не прозвучали его стихи — то главное, что он делал для детей в своей жизни, но та сила любви, которая рождала его поэзию, которая жила в нем скрытно, теперь обнаружилась и вылилась щедро, безоглядно на этих маленьких испанцев.

С трудом удалось наконец воспитательницам «навести порядок», заставить малышей проститься с ним и увести их в спальни. Самуил Яковлевич несколько минут стоял посреди коридора, прислушиваясь к крикам и плачу малышей, потом повернулся, быстро пошел к выходу — и тут,

вдруг ослабев, остановился, прислонился к стене и заплакал. Я, сама в слезах, подошла к нему, взяла его за руку, и он рыдал у меня на плече, пока не пришла приведшая нас сюда воспитательница. Она не удивилась нашим слезам, сказала:

— Я тоже не могу привыкнуть... а при них плакать нельзя...

— Да-да,— сказал как-то смущенно и даже сердито Самуил Яковлевич,— простите...— И быстро ушел.

Когда я, поговорив еще с воспитательницей и простившись с ней, вернулась в библиотеку, разыскала Стасю, Маршака уже не было.

И потом я не скоро встретила с ним. Подружились мы уже позже, после войны. Но тогда мне казалось — и так я думаю и теперь, — что именно в тот день я поняла его по-настоящему, увидела в нем самое главное — то, что дороже таланта даже, — способность *отозваться* на горе, на чужую беду, на чей-то сердечный зов.

Маршак не был равнодушным ни в литературе, ни в жизни; всегда перегруженный работой и, в сущности, неустроенный в быту, он находил время и силы для других, для тех, кто нуждался в помощи, в совете или просто в человеческом внимании.

С МАРШАКОМ

СКАЗКА



рассказывают, будто бы к ребятам в Англии пришел человек с Севера. Он был в высокой шапке и в меховой шубе. Шапка у него была большая, и сам он был большой. Ребята испугались, они не знали, кто это такой. «Кто из вас знает «Шалтай-Болтай»?» — сильным голосом весело спросил человек в шапке. Ребята засмеялись...

А высокий человек снял шапку, размотал шарф и сел за стол и показался ребятам совсем не грозным и не высоким, а ласковым и добрым. Он прочел эти стихи сначала по-русски, а потом по-английски.

Это был Маршак.

Мне это самому рассказывали однажды, как сказку...

ВОСПОМИНАНИЕ

Я познакомился с Самуилом Яковлевичем Маршаком после войны вскоре же. Это было на Первом Всесоюзном совещании молодых писателей. Помню, что было это в конце дня. Маршак неожиданно пришел к нам на семинар и спросил, кто из нас из Ялты. Я не сразу сообразил, что это я... Я действительно приехал на это совещание из Крыма, но я не был из Ялты... Так только по ошибке написали в моем делегатском билете. Приехал я из Симферополя... Однако Маршак не стал во все это вдаваться и тут же, как земляка, пригласил меня к себе. Я тогда не мог еще в полной мере оценить, что значило для любого из нас получить такое приглашение.

был со мной вместе на этом совещании и, узнав, что я направляюсь к Маршаку, буквально умолил меня взять его с собой. В Москву он приехал с Урала и писал стихи детские.

Приехали мы к Маршаку почему-то очень рано утром, чуть ли не затемно.

В углу двора, до самых крыш забитого и льдом и снегом, как бывают забиты снегом московские дворы в самом конце зимы, мы разыскали нужный подъезд. Его кабинет показался мне темным и даже тесным от шкафов с книгами, которыми он был заставлен. Он выходил в тот же двор и единственным своим окном почти упирался в глухую красную стену. В кабинете было два кресла и стол.

Маршак придвинулся к нам и попросил рассказать о себе. Я тогда только что пришел с войны и писал самые первые свои стихи. Я не знал, с чего начинать... Маршак, заметив это, стал меня спрашивать. Постепенно я разговорился. Посреди разговора неожиданно и как бы сама собой открылась дверь, и в комнату, тоже как бы сам собой, вкатился маленький, заставленный закусками столик.

Комната, в которой мы оказались, была маленькая, а Маршак был большой, грузный... Перед тем как войти нам в арку, мы увидели дощечку, на которой прочли, что именно в этом доме жил Чкалов. И мне невольно вспомнились стихи, когда-то прочитанные мной: «Дети нашего двора, Чкаловского дома...» И действительно, пока мы сидели, через открытую настежь форточку с этого двора все время доносились голоса детей...

Мы читали стихи. Я читал первым. После того как я заканчивал, Маршак брал у меня из рук тетрадку и то же самое читал еще раз. Он говорил много интересного, и мне жаль, что я не все запомнил. Но кое-что все-таки запомнил. Он заметил, например, должно быть, после моего чтения, что стихи поэтов, вышедших из деревни, чаще всего страдают ритмическим однообразием и даже некоторой однотонностью. Но что мир ребенка, выросшего в деревне, иной... Человек в деревне видит мир разом, он у него с самого начала весь перед глазами. Поэтому и связь деревенского жителя с миром первороднее.

Так он говорил.

Еще почему-то мне о Горьком запомнилось.

— Я никогда его ни о чем не просил. Берег это чувство...

И о том, что у Горького была большая и острая слава и что, когда Горький появлялся на Невском, за ним бежало людей больше, чем за каретой царя... О Блоке рассказывал.

Больше всего Самуил Яковлевич говорил нам о том, каким святым должно быть наше отношение к литературе.

Замечательный день был. Мы пробыли у него долго, когда же нам пришла пора уходить, Самуил Яковлевич вызвал машину и отправил нас домой. Мы жили с другом в гостинице около Киевского вокзала.

Самуил Яковлевич был в тот год очень полным. Когда ему потребовалось перейти от одного кресла к другому, он задохнулся. Несмотря на эту внешнюю свою беспомощность, а может быть, и вопреки ей, он произвел на меня впечатление человека необычайно сильного.

На прощание Маршак подарил нам книги. Мне, я помню, тогда досталась маленькая книжечка лирических стихов, вышедшая у него сразу после войны, с зеленой елочкой на обложке...

Первая в жизни книга с автографом у меня была от Маршака...

САМ

Я люблю один снимок в доме Маршака. Этот снимок такой... На нем стоит человек с огромной бородой, разделенной надвое. Борода белая.

Это Стасов, Владимир Васильевич, объединяющий в своем лице художников, писателей, композиторов. Глава «могучей кучки», как его называли. Борода у него расчесана надвое и настолько длинная, что один конец этой бороды в одном углу снимка, другой — в другом. А под ней стоит гордый, светлый и еще не догадывающийся о себе мальчик — Маршак... «Сам», как называл его Стасов.

Маршак внизу, а над ним стоит Стасов.

Вот что я знаю об этом снимке. Стасов был одним из людей, воспитавших Маршака. Маршак спал в доме у Стасова на диване, в его кабинете, иногда даже в его служебном кабинете, в публичной библиотеке в Петербурге.

Оба такие важные, торжественные и, должно быть, давно любящие друг друга...

К ТОЛСТОМУ!

Как возникли эти снимки? Стасов был человек с горячими руками. Ему непременно хотелось показать своего любимца Толстому. Он взял однажды маленького Сама за руку и повел его к самому лучшему фотографу. Ему непременно хотелось, чтобы снимок был хороший.

Этих снимков несколько. Маршак и Стасов рядом. Высокий Стасов положил руку на плечо Саму. Маленький Маршак, сидящий за столом.

Любивший Маршака Стасов повез эти снимки в Ясную Поляну.

— Лев Николаевич,— сказал Стасов Толстому,— посмотрите, какое лицо у этого мальчика! Я верю, Лев Николаевич, что это надежда... Благословите его, Лев Николаевич.

Толстой внимательно посмотрел на фотографию. Лицо ему понравилось, но он сказал:

— Что-то не верю я в этих вундеркиндов!

Так рассказывал нам об этом Самуил Яковлевич.

— Я долго потом обижался на Толстого,— говорил Самуил Яковлевич, смеясь.

ПОДАРОК

Когда родилась моя дочка, она еще не знала этого, а Маршак уже подарил ей книгу. Это была маленькая книжка-игрушка, совсем особенная книжка. Медведь, играющий на гармошке. Гармошкой служила книжка Маршака. Календарь!

Сенокос идет в июле.
Где-то гром ворчит порой.
И готов покинуть улей
Молодой пчелиный рой.

Моя дочка очень любила эту книгу и знала ее наизусть...

Мне трудно представить себе! Маршак, спавший в кабинете у Стасова на его старом диване. Да, у Стасова, который родился при жизни Пушкина и мог бы видеть его! Который мог знать Крылова, знал Некрасова, встречался с Тургеневым, дружил с Толстым!

Я вновь обращаюсь к этой мысли... Когда моя дочка была совсем мала, только-только родилась, Маршак подарил ей книжку. Я тогда только что познакомился с Маршаком.

Я невольно подумал вот о чем. Где Пушкин и где моя Иринка? Вот как все близко. Все это близко, все это рядом. Через одного человека. Через Маршака.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Маршак иногда подолгу сомневался, не знал, на какой остановиться строфе, терялся в вариантах. В этом случае он принимался звонить знакомым своим или друзьям. Он мог спросить у всякого, даже у своего маленького читателя, у школьника какого-нибудь. Так иногда и было. Все, кто с ним встречались, могли услышать однажды от него этот вопрос.

Меня этот вопрос почти всегда заставлял врасплох. Я не знал, что ему сказать, мне чаще всего и тот и другой вариант нравились, каждая строчка была хороша по-своему. И тогда, желая подтолкнуть мое воображение, Маршак спрашивал требовательно:

— Ну а по ощущению?

Ощущение, по ощущению... Для него это было важно, это было его наиболее точное, безошибочное поэтическое мерило.

Однако нам только казалось, что он советуется. На самом деле он всегда делал третий вариант.

РАСПРАВА

Этот случай рассказала мне Тамара Семеновна Абашидзе, известный врач.

Это было в Кисловодске, в ресторане, за столом, за которым встретились компанией. Все были еще молодые. В самый разгар веселья в зал ввалился какой-то пьяный и стал ко всем приставать, явно пытался затеять скандал. Все растерялись и не знали, что делать. Даже всем известный писатель, большой здоровяк, косая сажень в плечах, и тот растерялся. И только Маршак, один он, маленький, чудный Маршак, так она говорила о нем, весь бледный, схватил хулигана за ворот и вынес его вон.

Она видела его один раз, но не может забыть его с тех пор.

ЛЕБЕДЕВ

Дело было в типографии, в цехе типографском, где печаталась одна из первых книг Маршака. Маршак пришел, чтобы посмотреть рисунки.

Рисунки были слабыми. Издатели мучились, редактор хватался за голову — неизвестно, чего он хочет, этот Маршак!

— Что вы хотите, Самуил Яковлевич? — спрашивали у него. — Какого вы художника еще себе хотите?

Маршак и сам не мог сказать, что он хочет, но рисунки ему не нравились. В это время он увидел под ногами у себя затоптанный кем-то рисунок акварелью, который ему очень понравился.

— Вот такого, — сказал Маршак и показал рисунок редактору.

Это и был Лебедев, художник, оформлявший потом многие книги Маршака.

ЧУВАШСКИЙ БОГ

Еще одна история, небольшая, не придуманная мной. Маршак вдвоем с писателем Пантелеевым путешествовал по Волге. Было это еще в тридцатых годах, Маршак в те годы много путешествовал.

Так вот одна бабка, во время этой поездки глядевшая на него во все глаза, больно уж его речь казалась ей необычной, спросила у него, кто он такой. И Маршак тогда ей сказал, что он чувашский бог. На всякий случай она боязливо от него отошла.

На другой день они подошли к пристани в Чебоксарах. И, когда они стали сходить по трапу, Маршак услышал, как один мальчишка, показав на него другому, сказал:

— Вон наш чувашский бог сходит!

СТИХ О ТАКСИ

Живя в последние свои годы подолгу в Ялте, Маршак вынужден был пользоваться услугами ялтинского такси. Но всякий раз приходилось подолгу ждать. Обязательно выходило какое-нибудь недоразумение. То машина вообще не приходила, то не принимали заказ.

В конце концов Маршак написал небольшое стихотворение о «таксомытарном» парке. Его, как на беду, напечатала местная газета.

Ялтинское автопарковое начальство встало на дыбы. Как так! У них работает столько прекрасных водителей, и вообще как можно! Все ходили и возмущались. Редактор газеты, оплошно напечатавший стихи, с неудовольствием стал излагать мне однажды всю эту историю, доказывая, что Маршак их подвел.

Дошло до бюро горкома. Прощтрафившийся Маршак 385

ничего этого не знал, не подозревал, что вокруг его маленького стихотворения расходятся такие волны.

— Да, подвел нас ваш Самуил Яковлевич, подвел! — говорил мне этот человек.

ПАМЯТЬ

Однажды из Дома творчества в Ялте Маршак надолго уехал куда-то. Вернулся он только к вечеру и очень смущенный.

Оказывается, он целый день искал дом Ярцева.

Бродя по Ялте, Маршак поднялся на Дарсан и отыскал окно комнаты; в которой он жил, и, не удержавшись, заглянул в него. Это было на первом этаже. И тут за спиной у себя он услышал: «Гражданин, что вам здесь надо, что вы здесь делаете?» Из дома напротив вышла какая-то женщина и накинулась на него, видя, что человек лезет в окно. Он стал говорить, что жил здесь в семье Горького, учился в ялтинской гимназии, и жил именно в этом доме, в этой комнате.

Они еще поговорили немного и расстались, два старых человека, которым было что вспомнить. Потом он осмотрел дом, табличку, украшающую этот дом снаружи, повешенную высоко, на уровне второго этажа. Уже войдя в ворота, он вернулся.

— Вы не знаете, — сказал он, — здесь по соседству жила одна сумасшедшая старуха...

— Так это я и есть та старуха сумасшедшая, — сказала ему женщина печально. — Только я теперь стала совсем здоровая.

Маршак был очень смущен.

Самое удивительное, что ему уже и тогда казалось, что она старая.

Он рассказывал мне это вечером того же дня. Мы сидели в парке, и он мне это рассказывал.

«БОЖЬИ КОРОВКИ»

Маршак иной раз рассказывал своим гостям какую-нибудь милую чепуху. Про девочку, например, одну. Как эта девочка, услышав сказку о золотой рыбке — о золотой рыбке, о злой старухе и о старике, спросила:

— А почему он не попросил себе новую старуху?

И еще об одном мальчике маленьком рассказывал, кото-

рого долго водили по зоопарку. А когда дома его стали расспрашивать, что он там видел, он отвечал:

— Божью коровку!

ПОПРАВКИ

Маршак редактировал мою книгу. Это была моя первая книга рассказов, о детстве, о тайге, о жизни в лесу. Она так и называлась «Первая книга». Я писал ее долго, и он ее так же долго редактировал. Остановливался на каждой строке, предлагая, где, что, как исправить. Это была долгая и терпеливая работа, не только для меня, но и для него. Он судил чужую работу как свою. Того отношения, с каким писал свои стихи, он требовал и от других. Он иначе не мог. Он все делал одинаково.

Теперь, когда Маршака давно нет в живых и давно уже вышла эта книга, может быть, чему-то научившая меня, я нет-нет да и погляжу в мои черновики. У меня сохранились три варианта. Но помню, что уже тогда остановили меня, показались мне примечательными две его маленькие, совсем незаметные поправочки. В том месте, где я рассказываю о том, как я с мальчишками искал в поленице змею, у меня было написано: «Мне стало неловко, что я напрасно их сюда привел...» Маршаку это не понравилось. Он сделал так: «Мне стало совестно, что я зря...»! Рядом было сказано: «Я отчетливо помню и сейчас тот испуг, который я пережил». Мастер сделал так: «Я до сих пор помню, как я испугался».

Он искал только отборное зерно!

ПОЕЗДКА В КОКТЕБЕЛЬ

Однажды утром, едва я пришел с завтрака, меня позвали к телефону. Звонил Самуил Яковлевич.

— Голубчик, — услышал я. — Поедемте в Коктебель, — сказал он.

Я, признаться, настолько не ожидал этого, что не знал, что ответить. Почему так сразу в Коктебель? Но Маршак не стал ждать от меня ответа, а, почувствовав мою неуверенность, тут же сказал:

— Мы сейчас за вами заедем. Будьте готовы!

«В Коктебель так в Коктебель», — подумал я и стал готовить себя в дорогу. Я залил горячим чаем термос, захватил оставшиеся от завтрака пирожки, одеяло с собой

прихватил. Со всем этим я вышел из подъезда, когда подошла машина Маршака. В то лето Маршак жил в санатории недалеко от Ялты.

Он никак не ждал от меня такой запасливости и, заведя завёрнутые в бумажку пирожки, термос и особенно одеяло, удивился. «Мы сегодня вернемся», — сказал он мне.

Я ни за что не хотел верить, что мы всерьез собираемся в Коктебель. Я думал, что мы только выедем за город и вернемся обратно. Шутка сказать — из Ялты в Коктебель! Можно сказать, на другой конец полуострова.

Рядом с Маршаком, на откидном сиденье сидела его докторша, внимательная Нина Матвеевна, которая эти последние годы была с ним в поездках...

Еще вчера они никуда не собирались.

В этот раз можно сказать, что с машиной нам просто повезло. Хотя это было все то же такси. Машину дали неожиданно большую, очень удобную для поездки. В ней можно было даже при желании не сидеть, а лежать. Да и водитель нам попался симпатичный, страшно деликатный, легко с ним было всю дорогу. Все сложилось как нельзя лучше.

Это было в последний год жизни Маршака, в последнее лето, проведенное им в Ялте. Ему было уже семьдесят пять лет, и он был очень болен.

Выехали из города и стали забираться в гору.

Мы не успели далеко отъехать от Ялты, как нам пришлось уже остановиться. Дело в том, что Маршак довольно скоро заметил растущую возле дороги, в канаве прямо, какую-то на редкость красивую шапку красного татарника и заволновался. Вспомнил о стихах, которые он собирался перевести, где описывался точно такой же чертополох — символ Шотландии. Мы притормозили возле этого репья и поехали дальше.

Мы все время ехали по дороге, пролегающей по побережью, над морем, над скалами. День был жаркий, сияющий. Мы ехали медленно, жалко было проезжать мимо всей этой красоты быстро.

Особенно хороши были места за Алуштой. Въехав в Алушту, мы поехали прямо. Не повернули к Симферополю, как обычно, а поехали прямо. Я ничего не знал об этой новой, выющейся возле моря дороге, проложенной от Алушты до Судака. Было такое впечатление, что по ней никто никогда не ездил. Казалось, она была только недавно проложена.

пляжи и спаленные, покрытые белой травой холмы. Здесь, на переходе от моря к степи, было удивительно тихо. Ни одного дома, никакого нигде признака жилья, ни одна машина не попала нам навстречу... Мы были совершенно одни на всем этом побережье.

Было дико, первозданно.

Было так тихо, что все было слышно. Звенела трава, совсем рядом шелестели волны.

Когда он поворачивался и о чем-нибудь спрашивал, глаза у него были синие-синие.

Мы лишь во второй половине дня, к вечеру близко, приехали в Коктебель.

Мы помылись с дороги, кое-как привели себя в порядок и поскорее поехали к Карадагу, чтобы успеть еще до заката взглянуть на него. Нина Матвеевна осталась заниматься хозяйством, готовить ужин. По степной дороге, мимо опустевшего палаточного городка тихо-тихо подобрались мы к самому основанию скалы. Машину оставили внизу, а сами, вдвоем с водителем, полезли наверх. Маршак остался внизу возле машины один. Он все время махал нам палкой, а мы с трудом карабкались вверх по отвесному склону и все время что-то кричали ему свое, веселое... Мы не долезли и до половины горы, застряли на одном из склонов. Со стороны гор и степи на нас веяло морем. Море было отовсюду, и отовсюду были горы. Мы никогда не видели таких гор, какие увидели в этот раз. Мы даже не знали, что могут быть такие горы. Солнце уже заходило, и краски на них постепенно менялись, горы постепенно сделались фиолетовыми, каждая неровность на них сделалась выпуклой, заметной. Стало очень красиво. По всей долине внизу легла глухая, густая тень. Самуил Яковлевич, стоящий в тени машины, был еле виден. Там, внизу, под горой, было уже совсем темно.

Эта поездка была так интересна, что не хочется ничего упускать...

В Коктебеле мы заночевали, навестили дом поэта Волошина и слушали рассказы об этом удивительном уголке Крыма. В доме, едва он туда вошел, его обступили, и он так и не вышел из столовой, а мы тем временем поднялись на антресоли к книгам и гравюрам, акварелям, в которых так зримо отразилась эта земля, древняя страна Киммерия, как называли ее поэты во все времена.

Однако пора было уезжать. Слуцкий, пришедший из Старого Крыма Петников проводили нас.

На обратном пути мы заехали в Судак. Маршаку хо-

телось еще найти дачу одного художника. Не помню уж, зачем ему понадобился этот художник, эта дача. Для этого нам пришлось заехать на почту, так как никто не знал, где эта дача.

Должен сказать еще, что из Коктебеля мы взяли с собой в машину одного литературоведа, кажется, из Ленинграда и, кажется, даже профессора. Так вот, этот наш спутник, человек не старый, взял инициативу на себя и пошел на почту, чтобы расспросить дорогу, и вскоре вышел оттуда с девушкой. Все опять сели в машину и поехали. Девушка посидела-посидела, спрашивает: «Простите, конечно, а кто из вас будет Маршак?» И смотрит, конечно, на соломенную шляпу профессора. Самуил Яковлевич сидел, как я уже сказал, впереди, оглянулся. «Это я, милая, это я, рад с вами познакомиться».

Меньше всего она думала про него, сидящего впереди, опирающегося на палку, в голубой вязкой рубашке, уже худенького и легкого, и все смотрела на шляпу профессора.

Девушка вывела нас из поселка и слезла. Дальше дороги она не знала. Но тут нам встретился паренек на велосипеде, ехавший впереди нас. Он вызвался помочь. Мы ехали за ним по какой-то еще не просохшей низине, долине, где дорога была еле намечена, и потом преодолели ручей. Машину нашу швыряло, мотало из стороны в сторону. Парень все время оглядывался и все время ехал впереди. Наконец он тоже остановился и сказал, что дальше все так же, прямо. Сидящий рядом со мной профессор не утерпел.

— Мальчик, — спросил он, — а ты знаешь, кому ты дорогу показывал?

Самуил Яковлевич поморщился.

— Нет. А кому? — спросил явно заинтересованный паренек. Парнишка попался понятливый.

— Это Маршак. Самуил Яковлевич! — продекламировал профессор.

Парень уставился в открытое окно кабины на Маршака, а потом, покачив головой, сказал восхищенно:

— Ух ты!

Мы засмеялись.

Парень остался стоять на дороге, а мы поехали дальше, но уже не пытались найти дачу неизвестного нам художника, а повернули к морю, и скоро я впервые увидел отчетливые, хорошо сохранившиеся зубцы генуэзской крепости в Судаке, ее прямо в скалы вписанные стены.

а потом выехали на вечернюю дорогу, вслед за нами — впереди и сзади нас — пылили ребята на велосипедах, мальчишки Крыма, узнавшие, что Маршак в Крыму.

К вечеру мы были в Ялте. Всю обратную дорогу Самуил Яковлевич опять рассказывал о молодости своей, о жизни своей. О том, как он учился в Англии, как начал переводить английских поэтов, как увлекся этим. Он много рассказывал и хорошо. Никогда раньше Маршак не рассказывал так много. Многие из того, о чем он рассказывал, я впервые от него слышал.

Время от времени он поворачивался и спрашивал: «Слышите?» — и продолжал рассказывать. Он сидел впереди с водителем, а я за спиной у него. Поворачиваться ему было трудно.

Я только потом, когда мы приехали в Ялту, спохватился и пожалел, что не взял с собой какой-нибудь толстой тетради, чтобы записать все, что он рассказывал мне за эти необыкновенные два дня нашего путешествия.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

1

Итак, в первый раз я был у него 13 марта 1947 года.

Второй раз я увидел Маршака через несколько лет в Союзе писателей во время какого-то заседания. Я увидел его во время перерыва, случайно, что называется, мельком, в фойе, где было много людей. Но и в этой обстановке, в толкотне, в спешке, он узнал человека, которого он видел только один раз; казалось бы, через столько лет узнал меня, был со мной очень приветлив. Вот почему эта встреча запомнилась мне. При любой спешке не мог огорчить человека невнимательностью.

И, наконец, еще одна встреча издалека — 4 ноября 1957 года. Маршаку семьдесят лет. В Колонном зале его большой юбилейный вечер. Маршак сидел в каком-то пышном, поставленном в ряд со столом президиума и, должно быть, взятом из театрального реквизита кресле.

Я вошел в зал в ту минуту, когда кто-то звонко-радостно прочел:

— Маршак Советского Союза.

В зале было празднично торжественно. Как всегда бывает, когда никакие, самые большие слова не звучат преувеличением.

Актеры приветствовали его всеми составами театров.

Игорь Ильинский, соревнуясь в своем искусстве с искусством Маршака, прочел стихи Маршака. Ах, как он прочел, как он настойчиво долго тянул последнюю ноту. До сих пор стоит в ушах:

И, если сказать не умеешь «хрю-хрю»,—
Визжи не стеснясь: «И-и!»

Я не помню, что говорили остальные ораторы, должно быть, я не попал на самое начало.

В киосках, которые там торговали, давно уже не было ни одной его книжки. Я поздно спохватился.

И все-таки я нашел один экземпляр толстого тома издания золотой библиотеки, том его сказок и стихов, который продавщица не хотела продавать, потому что он весь развалился, был разбитый. Я послал его с запиской в президиум и долго смотрел, как том этот путешествует по рукам и никак не может дойти до Маршака. Каждый, прежде чем отправить его дальше, прочитывал несколько страниц.

Когда все закончилось, я прошел на сцену. Я увидел сидящего за столом Маршака, окруженного родными, очень измученного, уже в шубе. Книга, посланная ему, так до него и не дошла и лежала на столе у двери, заваленная подарками. А я в этот его день ждал подарка от него!

Я хотел потихоньку уйти, но он заметил меня. «Я получил вашу записку, дорогой... Да, да. Давайте же, я напишу! Сколько же теперь ей?» (Он имел в виду мою девочку, мою дочку.)

И сделал какую-то очень хорошую надпись.

Одну из многих, которые ему приходилось делать.

2

(X. 1961. Ялта.) Я приехал сюда, в Дом творчества (ужасное слово, не люблю я его!), еще первого и не сразу узнал, что здесь Маршак. Узнал об этом только на второй или на третий день, так как он совсем не выходит.

Прошла еще неделя.

Выхожу вечером из дому, смотрю, Маршак сидит на крыльце. С ним двое незнакомых.

— Здравствуйте, милый... Забыл, как по отчеству?

Молодые люди были из Артека, звали его выступить у них. Они долго еще разговаривали. Самуил Яковлевич был в каких-то домашних туфлях и, должно быть, страшно

зяб. Врач, приехавшая с ним, подходила, спрашивала: «Не пора ли?» — «Сейчас, еще минутку, ладно?» — просил он ее и оставался. Артековцы уехали, но пришли другие и старика совсем заморозили.

Тут же после ужина мне передали, что Маршак приглашает меня к себе.

Хороший кофе был сварен. Комната у него на втором этаже, угловая. Позвал, как на праздник.

Разговор был разный. Маршак рассказывал о памятной для писателей встрече на квартире у Горького, где неожиданно появился Сталин. У Маршака уже был билет на Ленинград, но Горький его удержал, шепнув: «Кое-кто будет!»

Когда перешли из столовой в кабинет или — наоборот — из кабинета в столовую, стали выступать писатели. «Вам надо выступить», — сказал на ухо Маршаку Горький. Маршак сказал свою речь, он говорил о литературе для детей, о воспитании. Горький ему потом сказал: «Вы говорили лучше всех».

Именно тогда зашла речь о том, что школе надо вернуться к преподаванию истории.

По немногим репликам гость показался ему человеком пронизательным.

Заговорили о сорок первом, я прочел Маршаку стихи «На телеге мертвый политрук...», а потом рассказал про имперскую канцелярию. Про последние ее дни и про последние дни войны. Прочел еще одно старое свое стихотворение — «Часы». Маршак попросил дать ему посмотреть мои часы из рейхстага и близко долго рассматривал их.

Спросил затем меня, сколько мне лет, подумав, сказал:

— Много вы видели для своих сорока!

3

(12. X.) Я встречаюсь с Маршаком после большого перерыва, и мне это непривычно. Пересказывать Маршака трудно. Он говорил, например, вчера, как часто у нас путают жапры. Не знают, не умеют выбирать, а еще чаще не находят тона.

Почти каждый, по его словам, способен что-то сделать, но надо найти себя, чтобы не заниматься делом несвойственным.

— Чтобы лодки посуху не тащить, — сказал Маршак.

В этот раз он много и любовно говорил о Твардовском,

о его отце, человеке талантливом и даровитом, о котором он знает по рассказам сына.

Подошел Шкловский и заговорил о Джамбуле. (Известно, что Шкловский любит перескакивать с одного на другое.)

Смешно рассказывал, как искали Джамбула в казахской степи, после Первого съезда, на котором обнаружился Стальский.

Потом заговорили об Андроникове. Как показывает он обоим, и Шкловского и Маршака. Все те, кого он показывает, обижаются на него. Шкловский сам признается, что он тоже обиделся.

— Да, да, — сказал Маршак, улыбнувшись, виновато кивая головой, — очень похоже!

Вот это самое «да-да», как я заметил, частое у него, делает его всегда таким непривычно кротким.

Маршак отпустил вчера своего доктора в Москву и остался один, на нашем попечении.

4

(14. X.) У Маршака бывает такая поощрительная улыбка и поощрительный взгляд. Мне с ним легко... Каждый день он посылает за мной дежурную Полину.

— Вы хорошо умеете слушать.

Читал мне сегодня многое из своих старых переводов, но больше всего из Шекспира и Гейне.

Потух свет, и мы долго сидели в темноте, ждали, когда он загорится. В конце концов нам разыскали две свечи. Так при свечах и ужинали.

Надавали ему много книг, и Маршак огорчен тем, что не знает, что отвечать авторам.

— Хуже всего, когда не знаешь, за что ухватить. Это как с утопающим!

Несмотря на болезни, на плохое самочувствие, он и здесь много работает, отдыхать он не умеет.

Открывает одну папку, другую. В каждой новые стихи, переводы, все это еще не печаталось.

Вышла отдельным изданием его проза — повесть «В начале жизни». Я ее читаю, когда прихожу от него к себе. Вырос он в Острогжске, под Воронежем. Отец много возил их с места на место... Вчера рассказывал мне о своем учителе, Теплых. «Он дал мне образование и всему научил». Самуила Яковлевича и сейчас занимает этот замечательный человек, как попал он в эту глушь? Маршак считает, что,

по-видимому, какая-то романтическая история привела этого человека в Острогжск. «Любил меня и звал меня «Маршачок»... У меня были большие способности». И теперь еще с тогдашним детским своим огорчением говорит о том, как случилось, что он поссорился со своим учителем...

Необыкновенно восхищенно говорит о языке Твардовского и вообще с гордостью о Твардовском.

— И слава богу, что он в традиции! Потому что большая радиостанция должна конечно же стоять на холме! На холме, а не в долине!

Вспоминает свои плакаты времени войны, жалеет, что не вернулся к этой работе еще раз, после войны, прервал ее. Не чувствовал необходимости продолжать, но тут, возможно, и редакция виновата.

Когда плакат «Бьемся мы здорово» принесли Сталину, тот долго ходил вокруг стола, что-то напевал, доволен был и говорил:

— Маршак — орел! Орел Маршак!

В те годы я больше всего запомнил его плакат:

Ты каждый день, ложась в постель,
Смотри во тьму окна
И помни, что метет метель
И что идет война.

5

(18. X.) Всякий раз, уходя от него, я испытываю нечто вроде вины. Мне все кажется, что на моем месте должен был бы быть кто-то другой, кто бы лучше передал все то, что он рассказывает.

Заговорили о сонетах Шекспира, о том, как переводит Маршак. Маршак сказал:

— Мои переводы — прозрачнее. Я вообще стремлюсь к прозрачности... Сонеты Шекспира я знал, но на память их не помнил, поэтому — переводил первые строки, а дальше уж следовал за образом. Так было интереснее. Надо заново создавать.

— Иногда и просто идешь за рифмой.

Признался, что когда переводил сонеты, то вспоминал, восстанавливал собственные увлечения, встречи.

Так было, например, со строчками: «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть». Вспомнил рассказанный ему кем-то случай с девочкой, которую несправедливо обвинили в воровстве, и тогда она решила и в самом деле украсть. Вот откуда появилась эта строчка.

...Сегодня утром пожаловался:

— Плохо спал. Вчера у меня были какие-то люди...

Он даже и не понял вчера, что это были за люди, а они просидели у него целый вечер...

Одно из любимых его выражений: «И очень народный!»

Прочитав какое-либо стихотворение или перевод свой, говорит:

— Понимаете, какая штука: я это написал давно, но потом я его немного укрепил!

Многое из сделанного им, даже самое значительное, было задумано еще в молодости. Вот так виноградарь разбивает плантаж, чтобы вырастить лозу! У меня создалось впечатление, что все наиболее значительное было им начато уже когда-то в молодости и потом только дорабатывалось. Все было сделано им уже тогда. Это поразительно, но, должно быть, так и есть.

Маршак уехал. Теперь он будет поблизости от Ялты, в санатории, но он еще вернется сюда.

Мы должны были с ним ехать в Артек, но он заболел.

6

(5. XI.) Когда я рано утром сегодня позвонил ему туда, в Ореанду, я застал его уже за столом. С ним сейчас его сестра — Лия Яковлевна, писательница Елена Ильина.

Я добрался до них часам к пяти. Когда я открыл дверь, я увидел, что комната вся набита детьми. Это были пионеры из Артека, давно приглашавшие к себе Маршака. Они висели друг над другом гроздьями, и я не сразу увидел его самого. Я не сразу увидел его самого, пока не услышал его голос...

Трудно было отвечать на такую любовь. Ребята читали ему стихи, пели ему свои артековские песни. Он изо всех сил старался немного подпевать им.

Потом ему пришлось прочесть стихи. Я удивился, что он читал их таким неосвоившимся голосом. Ребята волновались гораздо меньше. Читал неуверенно, сбиваясь, не находил нужного тона.

Зато как просто он с ними разговаривал!

Мне запомнилось, один мальчишка на вопрос, где он будет работать, когда он вырастет, отвечал:

— Только в цирке!

И все этому засмеялись. Но потом выяснилось, что отец этого мальчи́ка известный клоун.

Только когда они уехали, я смог добраться до Маршака и обнять его в день его рождения.

Сели за стол. Кто-то сказал какие-то шутливые слова, и всем стало можно выпить. Пили за девушку-винодела из Массандры, которая привезла свое вино, а сам юбиляр прочел два стихотворения Майкова о вине. «Тихо трезвость теряя...»

Когда пили чай, рассказывал о Саше Черном, с которыми они были почти сверстниками. О мрачном, меланхолическом Саше Черном.

Считает, что для поэзии тоже нужен, как он называет, какой-то «санаторий». Нужен режим, нужна дисциплина формы. Только тогда, по его словам, возможно новаторство.

Показал нам одно очень интересное письмо японской девочки, которая пишет, что прочла его пьесу «Двенадцать месяцев» и сказку — «Горя бояться — счастья не видать».

Наша зима произвела на нее большое впечатление.

«У нас сейчас в Японии уже прошло жаркое лето... Взамен стрекота цикады вечерами слышно пение любимых насекомых... Как хорошо было бы, если бы и у нас пошел снег».

Она пишет, что душа ее «полна свежей приятности из-за впечатлений книги». Пишет, что в тот миг, когда она дочитала книгу до конца, она заметила с разочарованием, что с пальца у нее исчезло волшебное кольцо.

«Дядя Маршак! — пишет она. — Будьте здоровы навек. Я издалека через Японское море желаю Вам здоровья и счастья».

7

(21. XI.) Мне захотелось записать о нескольких днях, проведенных с Маршаком в Нижней Ореанде. Завернул он к нам, когда был в Ялте по каким-то делам. Выглядел не очень хорошо, жаловался, что вконец запарился. Только когда я приехал к нему, я увидел, какого рода работой он занят. Для подготавливаемого Гослитиздатом трехтомного собрания сочинений своего брата, М. Ильина, написал большую вступительную статью. Сейчас ему прислали гранки, и оказалось, что все это надо переделывать... Дело в том, объясняет Маршак, что произведения Ильина набрали по послед-

нему, прижизненному, как это обычно и водится, но в данном случае не лучшему изданию.

Вот уже несколько дней он спасал свое предисловие, переписывал и переделывал все заново, потому что тех отрывков, которые приводил Маршак, теперь у Ильина не было, а на них строились все его положения, все основные формулировки... Верстка была уже вся измазана, но он и сам свалился.

Маршак был в отчаянии. Он хорошо сознавал, что все им давно уже сделано, и в то же время его обычная взыскательность, требовательность не позволяли ему остановиться. Стоило ему прочесть фразу, как все начиналось сначала, начиналась новая правка и новые поиски слова.

Лии Яковлевне пришлось изолировать его, уложить в соседней комнате и настоять, чтобы он не выходил. Надо было просто отобрать у него эту игрушку. Я не оговорился... Отобрать эту работу, как у ребенка отбирают игрушку.

И Самуил Яковлевич подчинился. Он и сам понимал, что заработался!

По сути дела, это была новая статья, другая, отличная от прежней.

Повторяю, все было сделано им до самого конца. Оставалось только вписать, а иногда и вклеить в прежде написанный текст новые страницы, перенести все сделанное им в другой, чистый экземпляр... Сестре часто приходилось переносить запятые брата из одного экземпляра в другой, и она делала это любовно, пренебрегая собственной работой и возможностью отдыха, ради которого она и приехала сюда.

Мне оставалось только учиться у нее ее терпению, ее сноровке, с которой она во всем этом разбиралась, переносила все эти исправления почерком, удивительно похожим на почерк брата. Тот, кто бы увидел эти листы, и впрямь мог бы прийти в отчаяние.

Самуил Яковлевич смеялся, что его так решительно отстранили, но он недолго находился в своей этой комнате. Вскоре он вынес оттуда и прочел нам совершенно готовое, начисто написанное письмо в издательство, в котором он доказывал, что правка Ильиным в книги была внесена в последние годы жизни писателя под давлением вульгарной, несправедливой критики, что эта правка нарушает целостность и художественную основу его книг.

398 Меня удивило, что Самуил Яковлевич, только что такой одержимый, нервный, написал деловое, обстоятельное и

спокойное письмо. Он только что весь дрожал, но нигде ни разу не прорвалось его раздражение. И эта сдержанность была убедительнее всего.

Вот это письмо Маршак и приложил к своей статье.

Сразу же, как только эта объемистая бандероль была запечатана, я отвез ее поскорее в Ялту, чтобы он не передумал. Взял ее с собой и отправил, чтобы он к ней уже не возвращался.

По мере того как работа над предисловием подходила к концу, Маршак все более оживал... Вздохнув свободнее, он в эти же дни стал составлять давно задуманную книгу лирики.

Сначала это были просто стихи, папка со стихами, даже не очень толстая, в разное время написанными, с наспех собранными экземплярами за многие-многие годы, некоторые из них писались еще в юности.

Он давно задумал эту книгу, отдельную, в которой были бы только оригинальные его лирические стихи. Не сразу он, как я увидел, отказался от мысли впервые не давать в эту книгу переводы, как он всегда это делал во всех своих прежних книгах.

Что касается построения книги, то тут ему, как я понял, хотелось кому-то довериться, а может быть, и просто проверить себя. Но только теперь я увидел, какое большое значение придает он монтажу, то есть расположению стихов... Он начал эту работу за чаем, за еще не убраным от обеда столом. Читать заставил меня. Опять же для того, как я думаю, чтобы проверить свои ощущения и чтобы услышать еще раз свои стихи на слух. Услышать на слух, думаю я, для него одно и то же, что поглядеть на сделанное со стороны.

Таким образом, я был при самом начале работы. Я приезжал к нему и на второй день, и на третий, несколько дней подряд. Он нуждался в слушателе. Он читал, примеривал. Долго не мог решить, открывать ли книгу стихами о времени или стихами о стихах, о слове.

Постепенно стихи, как бы сами собой, стали складываться в группы, в разделы. Стихи о детстве, о природе, стихи последних лет.

Книгу захотел назвать «Избранная лирика».

Вернулся с набережной, мне сказали, что Маршак просил меня позвонить ему. Что-нибудь случилось? Бегу к телефону.

— Мне позвонили из «Правды», — говорит он, — просили у меня стихи, я написал, а теперь думаю, не поторопился ли...

Написал два стихотворения, отшлифованных так, как будто они всю жизнь писались. Одно — о книгах, которые мы снимаем с полки, второе — сатирическое... Спрашивает, варианты каких строф лучше.

Те и другие были хороши, не сразу можно было сказать, на чем остановиться.

8

(23. XI.) Еще когда он был в Ялте, он взял у меня мои берлинские рассказы, чтобы прочесть их на досуге. И уже на другой день позвонил. «Я тут прочел ваши рассказы». Теперь, когда я был у него, он опять вернулся к своему впечатлению о прочитанном.

Самуил Яковлевич не любит отпускать гостей рано, и мне приходится засиживаться. Сегодня я даже читал ему свои стихи, большая, в общем-то, нужна отвага, стыд еще сохранился, чтобы, попав к нему, не его слушать, а самому читать свое. Но он был более чем добрый и настоял, сказав: «Вы мне давно не читали». И опять, как в первые дни после войны, я прочел ему чуть ли не половину моей книги. Он ведь удивительно как внимательно умеет слушать каждого, каждого умеет заставить разговариваться.

Всегда со всеми умеет говорить как с равным, оттого с ним и чувствуешь себя легко.

— Больше маневрируйте внутри стиха! — сказал.

Когда я уходил, совсем уже обласканный, он вынес мне оттуда, из другой комнаты, где спал, сонеты Шекспира. На этот раз это был последний экземпляр.

Я обнаружил сегодня, вернувшись к себе: оказывается, я знаю давно сонеты Шекспира наизусть!

9

(I. 1962. Москва.) В эти дни я у Маршака на Чкаловской.

Избранная лирика его еще не сдана. Правда, за это время появились новые четверостишия. Вот уже несколько дней, как он в постели, заболел, простудился. Его заботит, что работа над книгой затянулась. Кажется, что стоит сделать еще одно усилие — и все будет закончено, но, конечно, он то и дело обнаруживает что-нибудь, что надо поправить.



С. Я. Маршак и Д. Шостакович. 1952 (?).



Р. Н. Симонов в роли царя Дормидонта (пьеса С. Я. Маршака «Горя бояться — счастья не видать»), С. Я. Маршак, Е. Р. Симонов, постановщик спектакля. 1954 г.



С. Я. Маршак среди молодых писателей в перерыве между заседаниями Второго Всесоюзного съезда советских писателей. Декабрь 1954 г.



С. Я. Маршак и Э. Хьюз. 1955 г.



С. Я. Маршак играет на шотландской волынке. Слева от него А. А. Елистратова и Б. Н. Полевой. Шотландия. гор. Эйр, январь 1955 г.



*А. А. Сурков, Н. С. Тихонов, К. И. Чуковский на юбилейном вечере
С. Я. Маршака. Колонный зал, 1957 г.*



С. Я. Маршак. 1960 г.



С. Я. Маршак и Вильям Галлагер. Санаторий Барвиха, 1960 г.



С. Я. Маршак в своем рабочем кабинете. 1962 г.



С. Я. Маршак. Ялта, 1962 г.



*С. Я. Маршак беседует с В. С. Розовым в Центральном детском театре.
Ноябрь 1962 г.*



*На выставке книг Маршака в Доме детской книги: С. Я. Маршак
Е. П. Пешкова и Л. А. Кассиль. 1962 г.*



С. Я. Маршак с Джанни Родари в кабинете Маршака. 1963 г.



С. Я. Маршак и Кукрыниксы. Май, 1964 г.



С. Я. Маршак и У. Хадд, артист театра Олд Вик. 1964 г.



С. Я. Маршак. 1964 г.

Остановившись на какой-нибудь строке или фразе, спрашивает: хорошо ли это? И вскоре находит новый вариант. И так — без конца.

Он дал мне сегодня эту рукопись, после Ялты претерпевшую довольно значительные изменения, дал мне ее, чтобы я посмотрел ее еще раз, и я вижу, что книга готова, я даже написал ему об этом, но у него свой счет.

Прихожу и опять читаю ему его книгу с начала до конца, раздел за разделом. Это — нелегко. Сидеть вот так возле него и читать, сейчас, когда он болен, видеть, что чувствует он себя все хуже и хуже.

Чтение наше ненадолго прерывается. Приходит время принять лекарство, сделать укол. Надо выпить чай. А вот пришел младший внук его. Он с кем-то подрался, кого-то защитил и теперь держит ответ. Мальчик стоит за спинкой кровати и с большим достоинством объясняет, как было дело. Я вижу, как грозный Маршак прячет улыбку, довольный внуком.

Звонит телефон. Розалия Ивановна там, у себя в комнате, снимает трубку, но слышит только первые фразы, ибо Маршак торопится взять трубку сам. Он обо всем должен знать, даже вот и сейчас, когда он болен.

Звонят разные люди, чаще всего молодые поэты. Только на несколько дней откладываются встречи и посещения. И вдруг еще один звонок. Уже по лицу Маршака, по улыбке его, я догадываюсь, кто звонит.

— Здравствуй, Александр Трифонович! Ну, как ты?

Я встаю, чтобы уйти, пока он разговаривает, но Самуил Яковлевич делает мне знак: «Сиди!» Отмахивается от вопроса о здоровье и говорит о других делах. А потом:

— И надо сказать еще, Саша... Надо еще сказать так, что язык — это общенародное, государственное достояние.

Твардовский готовит доклад о Пушкине и советуется с Маршаком.

Я возвращаюсь, когда разговор подходит к концу.

Маршак берет со стола только что прочитанное стихотворение и неожиданно меняет название. Лия Яковлевна принесла продиктованные им накануне ответы на письма, перепечатанные ею. Маршак подписывает. Почта большая, но на каждое письмо он отвечает сам.

Сейчас, когда он болен, рука уже не может держать перо так крепко, как держала раньше, и почерк неровный, дрожащий...

(VII. Ялта.) Мы с женой приехали на этот раз третьего. Сразу за нами приехал сюда только что вернувшийся из археологической экспедиции Берестов, который с детских лет знаком с Маршаком. Мы по-прежнему в нашем доме Литфонда, а Маршак в Тессели — в Форосе. Эти несколько первых дней, пока работа не захватила его, он не раз приезжал в Ялту. «Я совсем обленился», — говорил он, ругая себя за этот неизбежный перерыв после возвращения в непривычную для него тишину. Нам всегда хотелось встретить его, но всякий раз он опережал нас. Когда мы спускались вниз, на пятачке возле дома, под кипарисом, уже стояла машина, рядом с шофером в ней сидел Маршак, еле живой, хотя и улыбающийся. Мы вели его к себе наверх, а он, сердясь на свою немощность, на слабость ног, с силой стучал палкой в пол.

— Водички можно? — спрашивал хрипло.

Каждый раз он заставлял нас этим врасплох. У нас никогда ничего не было, даже бутылки простой минеральной воды, а он, после такой дороги, в жару, хотел пить. Минеральной воды было сколько угодно в столовой, но мы, как нарочно, забывали принести ее. В дверь под разными предлогами заглядывали. Все уже знали, что в доме Маршак.

— Ну что ж, придется выйти на улицу, — говорит Маршак. Мы, конечно, понимаем, что его ждут, и маленькая комната наша постепенно заполняется людьми.

В этот раз он читает новые четверостишия, которые начал писать еще в Москве: и про холмик муравьиный, и про золотой ободок. А еще привез начало статьи. Это было, по-видимому, начало всего, начало записок о дорогом ему детище — Ленинградской редакции Детгиза. Это было то, что он давно хотел написать. Мы очень смеялись над главкой: «Вдруг раздалась чьи-то шаги». Прекрасно написано было о том, какое неожиданное впечатление производят на каждого ребенка эти, казалось бы, обычные слова. Сестра сразу отвезла рукопись на машинку, Маршаку не терпелось увидеть ее перепечатанной.

Мы проводили его, когда уже начало темнеть.

Поверить нельзя, но теперь каждый день, утром, снизу, доносился голос, объявляющий, что Маршак приехал к нам, в Ялту... К вечеру он уезжал. «Я вам мешаю работать!» — говорил он. Что мне была моя работа в сравнении с радостью общения с Маршаком!

Я и сейчас не понимаю, как он переносил эту страшную дорогу до Ялты — оттуда, из Тессели, из Фороса этого. Мы только однажды, надо же было нанести ему ответный визит, отправились к нему туда, в этот самый Форос, по круговой, винтообразной дороге. Вернулся я полумертвым. Так меня закружила эта дорога, хуже, чем на карусели.

Жизнестойкость его поражала всех, кто с ним встречался. Где-то, кажется, у Бунина, я прочел не помню к кому относящуюся фразу: «...необыкновенная неутомимость сочеталась с его телесной немощью». Мне показалось тогда, что это прежде всего должно быть отнесено к Маршаку.

— Чем больше отдаешь другим, тем больше остается самому. Надо быть щедрым! — говорил он.

Тринадцатого июля мы собрались к ним, поехали семьями. Дорога в этой части Крыма была перекручена, как веревка. Мы ехали и думали, как это он, такой больной, ездит по этой дороге каждый день. Мы очень долго ехали.

Они жили в плоском квадратном домике, новом, только что выстроенном. Дом, в котором когда-то жил Горький, стоял рядом. У них было здесь две комнаты, с модно разноцветными, ярко пылающими стенами, над которыми Маршак смеялся. Нас ожидал стол со свежей клубникой и какими-то очень вкусными соками. Откуда все это, спрашивали мы. Но они лишь довольно переглядывались между собой. Было и вино, но оно стояло лишь для декорации, потому что мы все были непьющие. Зато с жадностью набросились на клубнику!

Еще в дороге водитель просил нас познакомить его с Маршаком, иначе, мол, дочка ему не простит. Хороший был дядя, и Маршак рад был с ним познакомиться.

Здесь, в Тессели, он был у Горького в 1936 году.

— Тынянов говорил о Горьком: «Ведь он — тигр. Махнет лапой — и нет тебя!»

— У Горького действительно часто менялось выражение лица. Вдруг он становился таким хмурым!

— Его часто донимали... Придет такой бородатый профессор, в черепаховых очках, — я однажды это сам видел, — и начнет твердить Горькому что-нибудь свое. Горький смотрит на него, слушает, барабанит пальцами по краю стола, а потом говорит: «Да, да, в России скота было много всегда. Всегда в России было много скота...»

Рассказывал еще, как Горький однажды написал за одну

маленькую девочку сочинение, и девочке этой поставили двойку. По-видимому, Горький это ему самому рассказывал. Еще раз поразил меня своей памятью, оказалось, что помнит, как звали шофера в тот год у Горького, когда Самуил Яковлевич был здесь.

Мы пробыли мало, но все-таки Самуил Яковлевич нам немного почитал. Его статья очень продвинулась. Видимо, со временем из этого вырастет целая книга, ибо начато очень широко. Прочел еще два стихотворения, крымские, здесь написанные.

Стояло море над балконом,
Над перекладиной перил...

За короткое время он сделал очень много. Мы сказали ему об этом.

— Да ведь у писателя работа какая,— ответил он нам озорно.— Взгромоздит себе на спину семиэтажный дом и тащит. А принесет на место, ему говорят — неси назад! Можно было и не тащить, оказывается...

Лии Яковлевне все хотелось надеть на него пиджак... Самуил Яковлевич одет в серую пижамную куртку... Розалия Ивановна накладывает ему в дорогу много всякой одежды, но он редко что-нибудь надевает из этого. Разве что только иногда, на случай выезда, наденет галстук. Полки в шкафу у него заставлены книгами, все это Самуил Яковлевич возит с собой. Здесь Пушкин десяти томный, Блок, Жуковский, Баратынский, Крылов. Для книг в дорогу существует особый чемодан. Есть тут и его книги, и большой четырехтомник, белый, и много других изданий... Ведь то и дело приходится обращаться к собственным текстам.

Вернулись уже к вечеру. И на каждом повороте опять вспоминали Маршак.

Должно быть, он очень скучал там, в этом своем Форосе, в комнате с цветными стенами. Он приезжал к нам еще раз или два. Чаще всего привозил новые четверостишия... Вот такое, например:

Пусть будет небом верхняя строка,
А во второй клубятся облака,
На нижнюю сквозь третью дождик льется,
И ловит капли детская рука.

Мне это больше всего запомнилось почему-то. Я так
404 и вижу протянутую под струю дождя детскую ладошку.

Это было чуть ли не первое из четверостиший, написанных им, когда он начал этот цикл.

Вале, моей жене, подарил рукопись этих своих четверостиший. Написал: «Валентине Ланиной — писатель, ею раненный». Тут же за столом, где мы сидели, легко и свободно написал мадригал.

Знал, чем тронуть женское сердце!

Рассказы Маршака о Чехове.

Однажды Чехов и Бунин взяли извозчика и поехали к морю. Бунин стал бросать камушки в море.

— Какая прозрачная вода, — сказал он, — каждый камушек виден. А вот душа человеческая совсем другое дело. Попробуйте, например, угадать, о чем я сейчас думаю?

Чехов ответил:

— Вы думаете сейчас о том, кто будет расплачиваться за извозчика.

Он любил все ставить на землю.

Пришел к нему как-то молодой человек. Говорил о пессимизме, о мировой скорби. Спрашивал, как жить ему дальше в этом мире...

— Поменьше пейте водки, — посоветовал Чехов.

О Маяковском.

— Он подошел ко мне и сказал: «Где вы так хорошо научились стихи писать?»

Я удивился больше всего его тону. Я его не узнал сначала. Зубы у него были все золотые, и обрит был наголо. А я его знал по портретам. А потом догадался! Была у него меж бровей складочка такая хорошая.

В это время на меня страшно нападали всякие педологи и рапповцы... Говорили, что моя книга о почте — это мечта интеллигента о загранице. Маяковский сказал, что меня надо защитить от старых дев.

Ему тогда самому доставалось. Я помню один вечер, на котором громили Леф. Маяковский просил слова, но ему не давали. Потом дали. Маяковский отругивался. Ему кричали: «Ваш Виктор Шкловский...» А Маяковский отвечал: «А ваш Гроссман-Роцин...»

Асеев тоже просил слова, но и ему не давали. Тогда Маяковский сказал:

— Дайте человеку сказать. У него — чахотка.

...Самуил Яковлевич рассказывал, как он уехал тогда в придуманную им командировку, поехал в Сибирь (Ирбитский округ). Шел тридцатый год, самый разгар коллективизации. Спал в избе, а ночью, когда просыпался, видел, что хозяева его всю ночь так и не ложились, сидели при коптилке, раздумывали. Как верно, говорит он, сказано об этом у Твардовского в «Стране Муравии», что никогда Россия не думала так много, как в те дни...

На обратном пути, на станции, ему вручили телеграмму, телеграмма эта была из дому, в ней говорилось: «Прочти «Правду» за 19 января».

В поезде, в непривычно чистом и уютном купе, у соседа, человека профессорского вида, попросил газеты. В газете была статья Горького, посланная с Капри, в которой говорилось, что не надо позволять безграмотным Кальмам травить талантливых Маршаков. Статья эта называлась «Человек, уши которого заткнуты ватой».

— Стали звать меня в ленинградский Госиздат. Я поставил свои условия, что буду издавать только настоящее, буду сам создавать свой портфель, не приму старого. Долго не соглашались, но потом мои условия были приняты: С собой я еще пригласил художника Владимира Лебедева...

Я редко возле него видел плохих людей. Их как-то отсеивало. А может, люди вблизи него становились лучше. Но уж если человек ему не нравился, он возводил стену, проводил резкую черту между собой и тем человеком. Он мог обманываться в человеке только тогда, когда судил о нем на расстоянии, но когда он встречался с вами, он видел вас насквозь.

— Рябое по принципам, по убеждениям — подслеповатое, — говорил он иногда.

Любил повторять стишок Давыдова:

Каждый маменькин сынок,
Каждый обирала —
Модных бредней дурачок
Корчит либерала.

Когда Маршаку было плохо, когда плохие люди брали верх над хорошими, над людьми ему близкими, он, как правило, говорил:

— Ничего, милый, это ненадолго. Все равно проворуются!

...Маршак рассказывал мне, прочитав перед этим какую-то книгу об Африке... Когда приходит несчастье, когда племени плохо, ищут виноватого, того, в кого вселился злой дух. Все становятся в круг, и колдун каждому подолгу смотрит в глаза. Если кто-нибудь смутится, колдун показывает на него пальцем. Причем жертва не должна оправдываться.

Если человек становился ему близок, он говорил с ним о Тамаре Григорьевне Габбе, о своем друге, авторе замечательных пьес для детей. Он хотел, чтобы память о ней была жива... Рассказывал, каким на редкость пронизательным человеком она была. Видела то, чего не видели другие. А потом всегда смотрел на нее в волшебный шар. Эти большие сияющие шары он всегда возил с собой, их было два, и он их всегда держал на столе. Однажды он разрешил посмотреть в тот шар и мне, и я увидел, какую она была.

Он написал, перевел, а вернее все-таки будет сказать — написал, все 154 сонета Шекспира, а потом еще один этот свой сонет, когда она умерла, как бы замкнув этим своим стихотворением весь цикл.

«Но если ты у боевого стяга поэзии увидишь существо, которому к лицу не плащ и шпага, а шарф и веер более всего... Такою встречей можешь ты гордиться».

Это называется «Последний сонет».

11

В Коктебель мы ездили 2 и 3 июня 1963 года.

Маршак в этот раз снова жил в Нижней Ореанде. Чувствовал он себя в этот раз много лучше, отдыхал. Когда он накануне говорил мне о поездке в Коктебель, я как-то не принял этого всерьез, слишком уж далеко было, и тем более удивился, когда утром он спросил, готов ли я. Я едва успел переодеть рубаху, а машина уже стояла у подъезда. Это была большая черная машина — «ЗИС».

Где-то за Гурзуфом я его чуть не упустил. Это случилось так. Мы с ним вышли из машины, чтобы немного пройтись по дороге. Нам понравилось местечко над обрывом, у самого моря, и мы тут решили немного постоять. Что-то меня отвлекло, и когда я повернулся к нему, я увидел, что он падает. Я едва успел ухватить его за ремень. Он стоял над обрывом. «Неужели я падал?» — спрашивал меня Самуил

Яковлевич. «Я этого никогда не чувствую», — словно бы оправдываясь, говорил он.

Пытаюсь хоть что-то вспомнить из того, что он мне рассказывал. Он рассказывал, как после революции он оказался в Краснодаре, основал там театр для детей. Рассказывал о старой Ялте, о любимом своем учителе школьном в Острогжске, о котором на всю жизнь сохраняет благодарное воспоминание. О Горьком, как Горький помог ему, как, приехав в Ялту по приглашению Горького, учился он в ялтинской гимназии и жил в семье Горького.

Вспоминал, как он жил здесь, в Ялте, в 1904—1905 годах.

На даче Ярцева, на старом Дарсане, Горького самого не было, жила его семья. Маршак ходил в ялтинскую гимназию. Однажды в доме появился пристав. Рассказывал, как после событий Пятого года ему пришлось бросить гимназию, уехать из Ялты.

Дорога была длинная, и он мне много рассказывал. Как начинал, как ему было трудно, как в труде и борьбе прошла вся жизнь.

В его рассказах было много печального.

Мы проехали лавандовые поля за Судаком и как-то незаметно въехали в Коктебель.

Возвратившись с Карадага, мы провели чудесный вечер за столом, в комнате, которую отвели для Маршака. Мне хотелось от него услышать стихи, которые я давно люблю. Ни с чем не сравнимая эта мелодия, музыка их, выжимала у меня слезы.

«Забыть ли старую любовь и не грустить о ней? Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней?..»

За дружбу старую — до дна! За счастье юных дней! По кружке старого вина — за счастье юных дней...»

И мы выпили «за дружбу прежних дней»!

Утром, когда, поспав немного в машине, я зашел в комнату Маршака, он еще спал — полулежа, подложив под голову руку. Он всегда спал в одном и том же положении, облокотясь, уперев локоть в тумбочку.

В Ялту мы вернулись под вечер. Солнце уже опускалось, повсюду в долинах легли тени. Задремавший было Самуил Яковлевич, при въезде в город, неожиданно поднял голову и, поглядев на одиноко стоявшую гору, произнес:

— Тихая гора!

Самуил Яковлевич за эти дни загорел, поездка взбодрила его, он даже курить стал меньше.

Да, вот еще такой случай...

На одном из склонов Карадага, куда поднялись мы с водителем, мы натолкнулись на какие-то необыкновенные, на очень большие и мохнатые одуванчики и колокольчики, тоже необыкновенные, огромные, как колокола... Одуванчики эти росли на отвердевшем стебле, на кусте, и были, должно быть, с большую детскую голову... Никто из нас прежде никогда не видел таких цветов... Я принес их Маршаку, чтобы он тоже посмотрел на них. Колокольчики эти, должно быть, скоро завяли, а одуванчики, — когда мы приехали в Ялту и Самуил Яковлевич тоже вылез из машины, — я увидел у него в руке эти одуванчики с Карадага. Как он их довез, непонятно! Когда мы вылезли из машины, я их увидел. Проделавшие весь этот длинный путь, мои одуванчики распушившиеся были в руке у Маршака. Как он довез их, не знаю!

В дом он подниматься не стал, отдохнул немножко на скамейке под сафорой и поехал к себе в Ореанду.

12

(26. VI.) Мне надо уезжать, но Самуил Яковлевич просит меня задержаться. Я завтра ему позвоню, потому что мне надо все-таки ехать.

Неделю назад я отвез ему свои рассказы, которые я пишу в последнее время, над которыми давно работаю... То, что мне хотелось назвать так: «Первая книга». Я думал, что он только прочтет рукопись, и никак не думал, что он ее станет тщательнейше редактировать. Он продиктовал дома Лии Яковлевне все замечания свои, что заняло несколько страниц, и теперь, когда я встретил его, он еще раз изложил свои соображения. Больше других ему, говорит, понравились два рассказа — «Живица» и «Птица». Но прежде всего я хочу подчеркнуть одну его мысль, о том, что лиричность, которая сама по себе достоинство, в прозе может обернуться недостатком. Мне кажется, основные его требования к этим рассказам можно свести к следующему: грубее, конкретнее, понятнее. Помнить, что для детей: надо, чтобы все время было интересно. Он заметил еще, что при правке я иногда ухудшаю, делаю глаже, вместо того чтобы делать темпераментнее. Сказал, что, когда садишься править, необходимо, чтобы температура была выше той, что была, когда писал.

Он как-то сразу поднял мне голову.

Я хочу еще раз привести здесь некоторые из его пометок, сделанных на полях этой моей книги, в ее первом варианте. Они мне очень дороги...

— Что это за первобытная книга? — спрашивает Маршак. — Если мальчик никогда не видел книги, то откуда тогда у него представление о ней? — Не надо предвосхищать рассказа. — Лучше сказать картинки, чем рисунки. — Не мальчик, а парнишка, парсенок!.. — Как ехал отец? — На телеге, в санях? — Какая мать? — Сколько лет Васе? — Как он одет? Время года...

— Не надо давать ничего готового читателю и предвосхищать не надо.

— Дети обожают все маленькое, которое бывает большим. Ножик, маленький топорик. Пони! Но настоящее, а не игрушечное...

— Там, где движение ускоряется, фраза должна быть энергичней.

Вместо «случилось» — «произошло». «Вправду», а не «действительно». «Говорит», а не «сообщает». «Совсем» вместо «окончательно». «Зайчонок», а не «зайчишка».

Вместо «странно» он сделал «чудно».

В том месте моего рассказа, где я пишу, как боронил и как сопротивлялся конь: «А борона, как вела себя борона? Все — описать».

Иногда сразу вписывал целую фразу:

«Чем дальше, тем упрямей он становился. Даже моего березового сука перестал бояться... Тут только я понял, почему артачился мой Егорка».

Эти импровизации его были так хороши, что, как они есть, мне так и хотелось механически перенести их в книжку, хотя это не более как подсказка, рассчитанная на самостоятельное творческое восприятие.

Для рассказа «Хмель» предложил другое начало: «Каждая песня, даже обрывок песни, много говорит душе...»

«Темпераментнее! — говорит он в другом месте. — Первый набросок должен быть шероховатым».

О рассказе, который ему понравился больше, написал: «Там, где вы чувствуете свою победу, там хорошо. Обязательно надо чувствовать свою победу».

Я с гордостью думаю: вот какой у меня редактор!

410 Легко ли мне с такой меркой требовательности! Он ко мне подходит так же, как к себе.

(VIII. Москва.) Пришло письмо Маршака из Ялты, пишет:

«Рад, что Вы заканчиваете свою книгу рассказов и что рассказы стали интереснее. Вы честны и талантливы,— поэтому мне так легко было обсуждать с Вами Вашу прозу. Надеюсь, после сдачи книги у Вас будет возможность отдохнуть...»

Я, конечно, очень обрадовался этим словам его, его похвале. Он говорит о моей «Первой книге», которую он читал, когда мы оба были в Ялте.

О себе Самуил Яковлевич пишет:

«Пьесу я закончил. Как будто неплохо, но пока еще рано судить — чернила не успели высохнуть. Буду рад почитать Вам ее. Перевел еще три стихотворения Блейка. Но устал свыше меры. Поработав два-три часа за письменным столом, я впадаю в полное изнеможение. Силы уже не те, что были...»

В это лето он работал над своей пьесой «Умные вещи». Спрашивает о Твардовском, где он, как здоровье его...

(X. Ялта.) В этот раз мы оказались с Берестовым в Ялте в полночь, потому что летели самолетом. Маршак много раз звонил домой, наказывал, чтобы мы воспользовались его машиной, спрашивал, когда мы прилетим. Мы долго собирались, но, когда приехали во Внуково, оказалось, что самолет наш запаздывает и нам еще предстоит ждать... Веселый Берестов, голодный, как и я, читал мне стихи о вкусной и здоровой еде, тут же составив свою хрестоматию от Державина до Багрицкого, кажется. Одним словом, когда мы приехали в Ялту, все давно уже спали.

Мы тоже поскорее легли, а утром оказалось, что Маршак ждал нас, не ложился, и мы должны были зайти к нему еще вчера.

С ним в этот раз Розалия Ивановна, его верный секретарь и домоправительница. Они оба на втором этаже, он в своей прежней восемнадцатой комнате, а она в девятнадцатой.

Незадолго до того Маршак послал из Ялты свои воспоминания о Марии Павловне Чеховой, написанные здесь. Руко-

пись не успела дойти до Москвы, а он уже звонил, спрашивал.

Мы привезли ему верстку «Воспитания словом» и попеременно читаем ему ее. Книга выходит новым изданием, и Самуил Яковлевич еще работает над ней...

Он здесь уже второй месяц. Когда мы приехали, болезнь шла на спад, но его все еще кололи. Он был уже весь исколот.

Видит он совсем плохо, мы ему читаем, и он, как всегда, много правит. И хотя он говорит, что надо непременно чувствовать свою победу, что должно быть ощущение победы, он подолгу принимает окончательные решения. Может быть, потому и любит проверять на слух. Ему надо убедиться в своих ощущениях...

Его ждали начатые переводы, новые стихи, а тут еще верстка подошла. Первое время он никуда нас от себя не отпускал. Книга была большая, около шестисот страниц, набрали ее, как назло, очень слепо, и мы были рады хоть немного помочь ему.

15

(25.X.) Из его рассказов:

— Мне уже шестьдесят лет было. Редактировала меня одна. У меня такое слово встретилось — подборы. Каблуки! Она мне стала доказывать, что это голенища. Я спросил, откуда у нее сапожное образование? Через некоторое время она опять к чему-то придралась, то ли к шапке, то ли к кепке! Тогда я сказал, что, может быть, она будет судить не выше сапога.

Пробежала на меня жаловаться.

ончилось тем, что меня вызвали к начальству и сказали, что не позволят мне издеваться над нашими советскими редакторами.

16

(30.X.) — Твардовский мне говорит, что все лучшее, что я написал, я написал после пятидесяти... Я действительно до пятидесяти лет был организатором чужих книг, все силы отдавал журналу, издательству.

Рассказывает историю появления некоторых книг.

Старший брат рассказывал ему, что в тюрьме, где он
412 сидел в 1905 году, был у них очень интересный, занятный

человек по фамилии Житков, рисовавший карикатуры на надзирателей, прекрасный рассказчик...

— Фамилия редкая. Я запомнил... И вот этот самый Житков появился и принес мне рассказы. Он ожидал в коридоре, комната была маленькая. Когда я прочел, я познакомил с ним всю редакцию и сказал ему, что он большой писатель. Он говорил потом, что на него свалилось счастье.

Он принес мне тогда два рассказа. Один понравился мне больше. Рассказ этот «Над водой»... Видите ли, есть два Житкова. Один с уклоном психологическим. Этот второй Житков написал потом роман «Виктор Вавич».

Когда вышел первый номер нашего журнала (еще до появления Житкова), я подумал так: почему все это печатается сейчас, а не сорок лет назад. Мало было современности.

Появились цифры пятилетнего плана. Когда я познакомился с ними, мне пришло в голову показать этот план в картинках. Я поехал посоветоваться к брату. Он жил всей семьей в одной комнате в Детском Селе, был болен. Он инженер, химик, но туберкулез легких уже не давал ему возможности работать на заводе. Он написал для журнала, но я думал, что из этого можно создать целую книгу. Помню, что, когда я прочел начало, я сказал ему, еще до ее окончания, что книга будет известна во всем мире. Сказал и сам испугался, вдруг я перехватил.

Книга вышла. Не ругали, но написали, что все-таки это книга технического интеллигента. Горький высоко оценил книгу. Ильина издали почти во всех странах. Стали переиздавать и прежние книги Ильина. Правда, уже тогда стали раздаваться голоса, что в книге не упоминается Сталин. Но как-то это сошло.

Ильин перерабатывал гигантский материал. Каждая страница давалась ему огромной подготовительной работой и большим трудом. Знания его были поразительны. Помню, однажды я сказал ему, что, может быть, ему надо проверить какие-то данные по гидростатике, что он все-таки не специалист. Но он успокоил меня, сказав, что, по крайней мере, в объеме вуза он этот материал знает!

Так появилась книга Ильина «Рассказ о великом плане», а через несколько лет и другая, не менее известная его книга «Как человек стал великаном».

Пришел один автор, Вячеслав Лебедев, принес рассказ о том, как научиться рисовать, но написано об этом было странно — стихами. Я удивился, а потом оказалось, что

он из Козлова и в молодости был знаком с Мичуриным. Я заставил его об этом написать. Его книга называлась «Обновитель садов».

Еще один случай. Очень интересный человек, ученый. Сначала воевал с нами, выступал против художественно-популярной книги о науке, считая это профанацией. Я не соглашался. Заговорили почему-то об одновременности открытий, и он рассказал мне о коллективной научной находке, о гелии. Было это так интересно, что я предложил ему все это написать... Он после говорил, что бежал бегом от меня, чтобы начать работу. Так родилась известная книга Бронштейна «Солнечное вещество». Ее теперь снова издали с предисловием Ландау.

Спустя некоторое время нас расформировали. Должно быть, мы были не ко времени, не по той форме.

О Твардовском он говорит так:

— Он еще много сделает, если не будет портиться. А портиться человек может от многого. Уже одно то, что разные люди вокруг, много людей проходит через одного человека, уже это страшно. Ему еще будет трудно. И врагов с годами будет все больше, по мере того как все больше будет расти официальное признание...

17

(4. XI.) Здесь, в Ялте, мы отметили сегодня его 76-летие. На третьем этаже были накрыты столы. Он пригласил почти всех, самых разных людей. Все, что были в Доме творчества, собрались за его столом. Когда тосты все были сказаны и поздравительные стихи прочитаны, Маршак сам захотел сказать речь. Он говорил о том, как начиналась литература для детей. Я все это слышал от него и раньше, но меня удивило, каким твердым голосом он сказал это. Железо. «Нас поддержал Горький... Это была борьба, мы боролись. Эта борьба кончилась победой».

Он так и говорил, как победитель.

Потом его попросили почитать. Он прочел сонет Шекспира, тот, что кончается — «А если я не прав и лжет мой стих, то нет любви — и нет стихов моих!». Это сонет 116. Прочел по нашей с Берестовым просьбе «Как призрачно мое существование...» и несколько эпиграмм.

И еще одно маленькое стихотворение, написанное для журнала, который придумал вопросы Деда Мороза. Я помню

Вчера звонил мне Дед Мороз:
— Что пишешь, дед Маршак? —
Я, Дед Мороз, на твой вопрос
Могу ответить так...

Меня удивило, что так вот прямо впервые и назвал себя дедом.

Два года назад в Ореанде (два года прошло!) я был на таком же дне его рождения. Но там была семейная обстановка, узкий круг близких людей... Как мне показалось, Маршак и не думал произносить никакой речи. Так вышло. Он, конечно, не вставал, говорил сидя, мы слушали его внимательно, речь его была неожиданна.

18

(5. XI.) Зашел сегодня, когда у него сидел какой-то молодой поэт, человек странный. Маршака он не слушал и говорил, говорил, говорил. Я хотел уйти, но Маршак, словно бы боясь остаться один на один со словоохотливым молодым человеком, задержал меня. «На минутку».

Когда тот ушел, мы расхохотались.

Было поздно. Розалия Ивановна, должно быть, давно уже спала, следить за Маршаком было некому, и он, в который раз нарушая свой режим, сказал, что спать не хочется, решительно встал из-за стола, доверху заваленного бумагами, и выбрался из комнаты. Мы поднялись наверх, этажом выше, и, найдя комнату Берестова, постучали к нему. Берестов уже лег, но не хотел признаваться в этом.

Всю ночь мы провели вместе, всю ночь читали стихи, и больше всего — он. Одним словом, загуляли ребята! С большой силой, азартно, как никогда не умел читать свои, он прочел нам Хлебникова. Особенно темпераментно, незабываемо его «Сад»... Рассказывал, что в юности он пережил своеобразное увлечение экспериментальной поэзией того времени, «заболел», как сейчас сказали бы, модными формалистическими увлечениями.

Непосредственно на его поэтической манере это не отразилось. Слишком прочна была привязанность к пушкинскому началу. Но это увлечение помогло рождению его как поэта. На столкновении разных манер проявился он сам как поэт.

Считал, что это помогло ему найти себя.

Именно в этот раз, когда Маршак читал мне Хлебни-

кова, может быть, догадываясь, что я глух к этому поэту, я почувствовал всю красоту этой поэзии, всю жизнь непонятных для меня стихов. Происходило мгновенное чудо превращения. Неясное прежде мгновенно становилось в его чтении прекрасным.

Так, прочитав однажды какое-то стихотворение Хлебникова, он сказал, что Хлебников устроил «блокаду».

Слово уже так истрепалось, так износилось и испошилось, что для того, чтобы вернуть слову вес, надо было затормозить стих. То же самое, по словам Маршака, делал молодой Маяковский.

Заявил, что он не очень любит некоторых поэтов: Багрицкого, например, или Гумилева.

По словам Маршака, таких поэтов можно воспринимать лишь в сумме, во всей массе своей...

— Я называю таких поэтов паюсной икрой, — сказал он, радуясь неожиданности этого образа. — Они могут восприниматься только в целом, — повторил он.

— Посмотрите, Пушкин! Одна-единственная строчка, иногда всего одно слово, а какая картина!

И, восторгаясь, прочел:

— «Чертог сиял!»

Он говорил об этом очень убежденно.

Самуил Яковлевич был рад, что сбежал, и, как ребенок, наслаждался свободой. Прочел еще нам Фета, Анненского, Блока...

Мы легли спать только в шесть часов утра. Это было как пир.

19

Сидим, работаем, вдруг входит женщина. Принесла Маршаку цветы от своего сына-первоклассника. Он написал книгу и долго заинтересованно говорил с ней...

Мы возвратились к чтению. Вдруг он спохватился:

— А я ее так и не поблагодарил! Она мне принесла цветы, а я ее так и не поблагодарил...

— Какой я, право! — сокрушался он. — За что вы только меня уважаете!

Перебивая чтение, вспоминает что-нибудь из детства:

— Всякая картинка — была редка. Мы сейчас очень избаловались, а тогда, я помню, заплатил извозчику кар-

тинкой, и он страшно был доволен... Помню, я еще совсем маленький был и рассказывал брату: «Ты знаешь, я ему говорю, я видел книгу — вот такую!» — показываю ему. «Знаю, знаю,— сказал он.— Есть такая книга. Журнал называется...»

Дошли до места, где говорится о двоечниках и единице, как отметке... Вспоминает:

— Мне однажды учитель хотел поставить двойку. Чего-то я не знал или не подготовился... Я испугался, схватил его за рукав и закричал: «Что вы делаете!»

Мне казалось, что нельзя портить журнал...

Он, кажется, ничего не поставил. Удивился.

Очень сердится, когда его не сразу понимают... Сегодня, когда уехал Валя Берестов, он спросил меня:

— А Валя, значит, уехал туда, где дядька живет?

Я не сразу понял и посмотрел на него недоуменно.

— Ну, дядька!

Я догадался:

— Да, да, в Киев.

А он опять:

— И куда язык доведет...

Я опять не понял, и он опять рассердился, что я такой недогадливый.

— Я думаю, что Лермонтов и есть отец Толстого в прозе. (Заговорили о «Тамани» Лермонтова.)

20

Нынешней весной, когда я заболел, Маршак привез мне бутылку коллекционного вина, очень странную по виду бутылку, которую ему подарили в Массандре. Ему преподнесли две, одну он привез мне.

Ко мне потом долго ходили, вели длинные разговоры, просиживали вечер. А потом вставали и говорили:

— Слушай, там у тебя есть...

Я уж потом сам догадывался и наливал, когда приходили.

...Чтение верстки было закончено, и Самуил Яковлевич стал настаивать на отъезде в Москву. Неожиданно почему-то заторопился домой, хотя родные его старались удерживать, зная, что при всех условиях в Крыму ему лучше. Пришлось сыну приехать за ним.

В этот раз Самуил Яковлевич прожил в Крыму все лето и почти всю осень, сначала в Нижней Ореанде, а потом в Ялте...

Я зашел к нему за день до отъезда, в предпоследний день. Было очень тепло, солнечно, и мы вышли на балкон. Читал ему свой рассказ — «На Капри». Мне надо было ему это прочесть, потому что он сам был на Капри. Его заинтересовало описание Голубого грота, то, как лодка, словно пробка, пролезает в его узенькое горлышко... Еще он посоветовал мне описать, сказать, какого цвета была крыша того дома, который я видел из-за стены, на который нам все показывали, как на дом, в котором жил Горький. Одного слова будет достаточно: какой цвет... Он все спрашивал, какой дом — одноэтажный, двухэтажный. Рассказал еще о хозяине, о том, как один наш писатель, побывав на Капри у Горького, обругал в своих рассказах его хозяина, назвав его жадным, и как Горький рассердился и отчитал этого человека за выдумки. Горький поехал с Маршаком в Неаполь, и Маршаку запомнилось, какой величественный Горький был, когда они зашли в музей. Все посетители на него оглядывались.

Маршак вернулся к прочитанному.

— Там, где надо быть простым, там надо менять манеру.

Его не смущает, сказал он, мое отчасти, как он понимает, намеренное косноязычие, но он не хотел бы, чтобы я навсегда был в плену своей манеры. Он сказал:

— Нет никаких законов, как писать. Один пишет хорошо, потому что пишет просто, другой потому, что сложно. Законов нет, но должна быть мера в тех нормах и пределах, которые самим для себя установлены.

Мы продолжали наш разговор на другой день еще, сидя перед домом, когда уже ждали машину. Его сын вместе с директором дома выбирали место в парке, где бы можно было поставить небольшой домик. Идея эта пришла в последнее время и все более была ему по душе. Мы сидели в плетеных креслах перед домом. Вещи уж были вынесены.

Маршак снова говорил, что для писателя важно бывает
418 отказаться от своей манеры. Эти мысли почему-то все более

занимали его. Вовремя отказаться от своей манеры, так резко, как это вовремя умел сделать Горький.

— А как Гоголь менялся! «Вечера на хуторе» и вдруг — «Петербургские повести»... Какая перемена!

— А Горький! Первые рассказы — романтические песни, а потом пришел к такому реализму и к такой простоте. Легко расстался даже со своим, привычным всем обликом. Когда я увидел его в Ялте, я не узнал его. На нем был обычный пиджак, тройка, как называли тогда, и волосы были коротко острижены, ежиком. Куда девалась его прославленная хламида, его длинные волосы. Эту хламиду потом всю жизнь донашивали другие, Скиталец донашивал!

О чем еще говорил? Говорил, что речь спокойная, строгая, живет дольше, чем все раскрашенное, расплывчатое и неопределенное. Декаданс — всегда разложение формы. И о том, что как новому направлению в литературе, так и зарождению стиля всегда предшествует появление новых идей, философии.

Но я отвлёкся далеко. Почти весь этот день на балконе он читал свое. Розалия Ивановна принесла ему заветную, большую, коричневую папку с тесемками, на которой написано было только «Вильям Блейк».

Я до сих пор думал, что, кроме Шекспира, кроме английских и шотландских народных баллад, Китса и Водсворта, Киплинга, Эдварда Лира, Мильна, кроме Петефи и Гейне, Родари и Байрона, основное, что он перевел, это Бернс — Бернс, которого у нас так любят. Но теперь, узнав об этой папке, я думаю, что это не так. Главное у него — это Блейк. Блейк, который стал трудом всей жизни. Всего лишь несколько стихотворений включено было прежде в сборники. И нам предстоит еще открытие Блейка.

Блейк прожил большую и трудную жизнь. Блейк женат был на простой девушке. Рисунки ее и гравюры не отличали потом от гравюр Блейка.

Маршак прочел почти все. Мы даже обед пропустили. Это еще лучше, чем Бернс Маршака. Если только возможно что-нибудь лучше Бернса.

Маршак начал переводить Блейка еще в юности. Меня особенно поразили двустихия, которые, видимо, именно в силу их краткости труднее всего было перевести.

Лукавый спрашивать горазд,
А сам ответа вам не даст.

Бог приходит ярким светом
В души к людям, тьмой одетым.

Еще более меня поразили мысли Блейка, записанные им в прозе афоризмы. По одной строке!

Говорит, как необходима для этой книги хорошая вступительная статья. «Иначе многое будет непонятно».

— Сам я не могу, у меня мало сил. А статья должна быть серьезная.

Он уехал, провожаемый всем домом.

Когда прощались, подошла одна старая женщина, сказала:

— Мы счастливы были, Самуил Яковлевич, быть под одной крышей с вами. Спасибо вам.

21

(9. XI.) Он уехал, а я все думаю о нем. Он стал очень слаб — прошел по коридору и сразу простудился. Бывает, что он идет и вдруг его неожиданно поведет в сторону. Но вместе с тем эта его удивительная память! У меня иной раз вылетают из памяти фамилии, имена, а он мне подсказывает! Случается — и он забудет стихи, свои или чужие, но тут же их легко восстанавливает...

22

(7. VII. 1964. Голицыно.) Я это пишу, прикрывая от домашних написанное: Маршак умер...

Я узнал об этом из вышедшей сегодня газеты. Я увидел ее случайно, в руках у школьницы, дочки хозяина, проходя по двору. Он умер еще четвертого.

Я был у него в последний раз 11 июня. Накануне я позвонил ему, и он, как всегда, взял трубку сам. Я приехал часам к шести. Открыла мне Розалия Ивановна. У него в это время сидел критик из «Литературки», но беседа заканчивалась, и Маршак просил меня подождать. «Всего одну минуту».

В апреле он вернулся из Барвихи и сразу собирался уехать в Ялту, но задержали всякие дела, и пьеса, и книга стихов...

Мне очень трудно об этом писать.

Всегда за него боялись, особенно зимой и осенью. Летом в Крыму он чувствовал себя много лучше. Уже сам по себе переезд всегда благотворно действовал на него. В Ялте он прибодрился, набирал силы. Правда, осенью в прошлом году он и в Крыму заболел. Однако он скоро справился с болезнью и довел до конца работу, многое исправил в книге «Воспитание словом». А потом, уехав из Ялты, всю зиму работал, заканчивал пьесу, заново переписал большинство переводов Блейка, писал лирические эпиграммы.

Выглядел он очень плохо. Когда я пришел, мне это тотчас бросилось в глаза. Рот был крепко сжат. Он похудел, выглядел утомленным.

Ему сразу захотелось читать. Он попросил Розалию Ивановну, более чем всегда на нее сердясь, и она принесла новое издание сонетов Шекспира, только что вышедшее, и Маршак, раскрывая томик на пока одному ему известных страницах, стал читать сонеты. Оказалось, что там, где имелось сомнение, кому посвящен сонет, мужчине или женщине, Маршак внес правку, постарался избежать определенности.

Надписав книгу, он попросил принести еще свое избранное, также вышедшее к этому времени.

Лоб у него блестел, скулы обтянулись. У него только одна воля осталась...

Совсем он меня задарил в этот раз.

— Как поживает мальчик на дельфине? А как рейхстаг? — спросил он.

Он очень хотел, чтобы я закончил эту книгу.

Перед ним лежала рукопись.

— Хотите, я вам немножко почитаю? — спросил Самуил Яковлевич, меняя позу, удобнее усаживаясь в кресле. — Есть новые четверостишия...

Он весь был в работе. Как в полете.

Я понял, что уйти поскорее, чтобы его не утомить, мне не удастся.

— Будете сами или я? — и в этот раз, как всегда, спросил Маршак.

Я взял у него рукопись, помня, что он плохо видит, и стал читать лирические эпиграммы.

Мне нравилось само это название, хотя оно и было неожиданным.

— Будет ли понятно? — спрашивал Маршак себя. — Или, может быть, надо предварить, дать эпиграф, разъяснить,

что такое эпиграмма в старом значении слова. Или назвать: «Двустипшия, четверостишия, миниатюры»?

Незаметно мы прочитали всю книгу, все эти семьдесят стихотворений. Прежние, давно знакомые четверостишия, найдя свое место в книге, зазвучали по-новому. Когда дошли до стихотворения «Бессмертие» (название он потом спял), Маршак сказал с улыбкой, что написал так о смерти, жался других.

Миг этот будет всегда предстоящим —
Даже за час, за мгновение до смерти.

Чтобы всем было легче. Чтобы думали, что это — так. Потом он долго и безуспешно пытался исправить одну неудавшуюся ему строчку в стихотворении «Без музыки не может жить Парнас...». В других стихотворениях уточнялись знаки.

Мы еще говорили о художнике, который мог бы оформить книгу.

Мне показалось, что он не скоро сдаст эту рукопись. Так было уже с избранной лирикой. Всегда хотел что-то переставить, что-то переменить. Он и теперь просил Лию Яковлевну, которая была опять при нем, перепечатать то одну, то другую страницу.

Мне пришло в голову посоветоваться с ним о названии моей будущей книги, я тогда только что над ней начинал работу. «Жизнь поэта» — так мне ее хотелось назвать. Самуилу Яковлевичу это понравилось очень.

Еще читали пьесу, ему надо было проверить, как звучат на слух включенные в нее песни. С этой пьесой было так. Приехав в Крым, в ту же Нижнюю Ореанду, все упрекал себя: «Я стал таким лентяем, таким лентяем...» Но только первые дни. Когда я пришел через несколько дней, на столе уже лежали свежееписанные листы бумаги. Он говорил, что написал эту пьесу еще до войны, но отложил и теперь решил к ней вернуться.

Пьеса называлась «Умные вещи». Верстка ее тоже лежала на столе.

Я так ни разу и не успел разглядеть ни его кабинета, ни картин, ни книг. (Я только знал, что на стене в столовой висел подлинный Левитан.) Потому что всего интереснее был он сам. Нельзя было хоть что-то упустить из того, что он говорил.

Но в этот раз я спросил у Маршака о фотографии, что была поставлена под стекло, на полку с книгами... Симонов,

Фадеев, Вургун — возле какой-то мазанки, со скошенной стеной и соломенной черной крышею. Вокруг нее шла узкая заасфальтированная полоса. «Это дом Бернса?» — спросил я. «Да, да, — подтвердил Самуил Яковлевич. — Это мне подарили», — сказал он. Я еще спросил: «А ведь, наверно, Самуил Яковлевич, солома на крыше — та, что была при Бернсе?» Он обрадованно ответил: «Да! Наверно!»

Когда читали лирические эпиграммы, я сказал ему, что два или три года назад он бы этой книги не написал. Он со мной согласился, но перевел на своё:

— Я писал, когда лежал в больнице. Все держал в памяти, ничего не записывал, потому что ничего не видел. Писал про себя.

Он все надеялся, что к осени ему сделают операцию и возвратят зрение.

Когда я уходил, он еще раз напомнил, чтобы я позвонил ему еще до его отъезда в Ялту. Чемоданы уже были сложены. Он был рад, что через несколько дней он наконец едет. И непременно просил посмотреть правку в сонетах. Я ушел, не зная, что я его больше уже не увижу.

23

Несмотря на всю пышность проводов, осталось ощущение, что ушел человек недооцененный. Все сокровища мира он сделал сокровищами для нас.

Твардовский сказал:

— Спи спокойно, дорогой Самуил Яковлевич. Отдыхай! Тебе так мало приходилось... — И заплакал.

В толпе людей, обступивших гроб, была Екатерина Павловна Пешкова. Я бы не знал этого, если бы кто-то не назвал ее по имени. Я увидел ее глаза. Стояла тоненькая, хрупкая и подняла влажные глаза. Мы считали его старым. А ведь она знала его еще подростком, гимназистом, когда он жил у нее в Ялте, учился. И вот уже она его хоронила.

У изголовья стоял его сын, стояла сестра, Лёля. И внуки его. В зале не сводили с них глаз. Как глядели они на деда, когда говорились речи! Вот какой у нас дед! Этих ребят заметили все. И сидящие в зале, и проходившие возле гроба говорили о них.

Когда прощались, я поцеловал его. Он был весь ледяной. И я только тут понял, что он умер, что он не слышит.

Он сделал свое имя очень большим! Воздействие его на людей было огромным. Недаром многие считали, что

не выходявший подолгу из своей комнаты Маршак больше других влиял на нашу литературу.

Он внес столько красоты в мир!

Свои силы он расходовал щедро. Я ему как-то однажды привел фразу — из Мицкевича — «Меряй силу по мечте».

Ему это очень понравилось.

Директор книжного магазина в Ялте рассказывал. Проводили они День поэзии. В городе стояла жара, магазинчик маленький, тесный, давка стояла невообразимая. Его заставили читать стихи, давать автографы, любители поэзии навалились на него со всех сторон. А он, не поднимая головы, подписывал книги, беседовал. Вид у него был неважный, чувствовал он себя плохо.

Вернулся и сразу — «Поедемте в цирк!». Все удивились. И действительно — в Ялте в эти дни выступал цирк. Откуда узнал! В цирке уж совсем нечем было дышать, но он и тут высидел, смеялся, а потом, вернувшись, еще до полуночи читал стихи.

Это был богатырь с очень слабым здоровьем.

24

У меня есть рассказ о том, как я ждал отца с первой книгой. Он уехал в город и должен был привезти мне книгу. Я еще ни одной книги не держал в руках.

Никогда в доме не было у нас ни одной книги.

Отец вернулся поздно. Он привез мне даже не одну книгу, а две. Одна — про одного мальчика и про Тифлис, где этот мальчик жил. Другая... в этой книге мальчик убежал за деревню, ложился в траву и, болтая ногами, читал... Наверно, это были хорошие книжки, но совсем не те, которых я ожидал. Я ждал энциклопедии — книги про все сразу. Я сам придумал эту книгу. Она должна была рассказывать о многом. И про жаркие страны, и про Северный полюс, про то, как живут другие народы. Про машины, про науку...

Не знал я только того, что такая книга уже пишется.

Ее писали — и он, Маршак, и Житков, и Пантелеев, все, кого он объединил вокруг себя.

Они и вправду вскоре появились, эти книги. На школьных вечерах я, захлебываясь от восторга, от радости, читал «Рассеянного с улицы Бассейной» и его «Даму, что сдавала багаж...» и другие стихи его. Среди них были такие, о которых я тогда и не знал, что это он написал. Потом я прочел его лирику, его сказки.

В эти годы, когда я видел его так часто, вокруг него всегда лежали папки со стихами, новыми переводами... Папок было всегда так много, что они не помещались на столе.

Мы все выросли на его книгах.

После каждой встречи с ним я заново брался его читать. Потому что, называя его Самуилом Яковлевичем, я не хотел забывать, что это Маршак... Упивался сонетами Шекспира, восторгался Бернсом, заново перечитывал его стихи для детей.

Когда, в той же Ялте, вокруг Маршака собиралось много людей и он, на «пяточке» перед домом, начинал что-нибудь рассказывать, я, сидя в сторонке, потихоньку доставал свою записную книжку, и кто-нибудь, заметив это, принимался глядеть на меня и тем привлекал ко мне внимание остальных. И тогда Маршак, желая меня выручить, говорил с улыбкой, что я тот единственный человек, которому это разрешается, что я ничего плохого про него не напишу...

Так возникли некоторые из этих записей.

Все сваливалось на него. Смерть сына, потеря близких, болезни. Все сваливалось на него одно за другим. Но он упорно работал, делал свое дело, тащил на себе тяжкий воз свой и чувствовал на себе тяжелую ношу наставника.

Ночами, мучимый бессонницей, когда он уже перестал видеть, он стал писать свои замечательные миниатюры, маленькие, короткие стихотворения, писал, полагаясь на память, запоминая их наизусть.

Он жил и умер с пером в руках.

Вместе с другими я стоял у изголовья. Слезы катились у меня из глаз.

У Маршака был сын. Его звали Иммануэль. Инженер, физик... Он был очень похож на отца. Я их и по голосу различить не мог.

Существует такая лампа, она одна способна осветить большое пространство. Это — лампа Иммануэля. Это очень сильный свет. Одной такой лампы хватает, чтобы осветить улицу или площадь. В последнее время свет этой лампы стали применять, когда требуется осветить угольные или рудные разработки на большую глубину... Это очень сильный свет.

Вот и Самуил Яковлевич так. Он всегда распространял вокруг себя свет. Я всегда думаю о нем как о человеке, дающем свет.

* * *

Прислали снимки Маршака. Смотрю на его улыбающееся лицо. Какая радость! Как если бы получил привет от него.

Снимки эти — не последние, но одни из самых последних. Кажется, его еще снимали весной в этом году в Барвихе.

Особенно удачен один снимок. На нем Самуил Яковлевич — как лев. Внутренне сильный, во всей мощи своего духа. Такой, каким его знали мы...

Снимки эти сделаны 5 или 6 ноября 1963 года перед его отъездом из Ялты.

КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ ПОД ПОДУШКОЙ

3

има 1962 года. Маршак тяжело болен. И вдруг он приглашает нас к себе в больницу.

Входим в палату. Маршак измученный, исхудалый, но голос его уже бодр:

— Здравствуйте, здравствуйте! Вы в этом белом халате похожи на хирурга. А вы — на терапевта. Вам хорошо. Нигде так не попирается человеческое достоинство, как в больнице. Вот такое существо в белом халате, — Самуил Яковлевич указывает на медсестру, — может в любую минуту войти к вам без стука, задрать на вас рубашку и всадить шприц в неподобающее место. Ужасно!

— Ну, Самуил Яковлевич, — шутит медсестра. — Вы уже не больной. Вы уже, можно сказать, отдыхающий.

— Да, да, — вторит Маршак. — Отдыхаю от здоровья! От чего только не отдыхают люди! Отдыхают от ума. Отдыхают от таланта. Отдыхают от чести, от совести. Бывает же так? Странные формы отдыха...

Читаю Маршаку новые стихи. Пауза.

— Самое трудное для литератора, — начинает Маршак, — это сказать другому литератору, что вы на самом деле думаете о его сочинениях. Еще труднее, сидя в президиуме, не аплодировать тому, что вам не нравится. Сказать правду... Блок это умел. Он был мужественный человек...

Все ясно. А я-то считал эти стихи лучшими из того, что написал. Как я им радовался!

— Вот, вот, — подхватывает Самуил Яковлевич. — Ваш 427

восторг — верный показатель, что стихи не удались. Я много лет мечтал перевести «Мери» Блейка. И однажды ночью перевод получился. Я очень обрадовался. Позвонил Жирмунскому. Он любит Блейка. Он простит, что его разбудили среди ночи. Он поймет, что значит перевести «Мери» так, как перевел я. Читаю. На том конце провода глубокое молчание. Я говорю: «Алло! Может, прервалась связь?» Увы, связь была в порядке. Жирмунский собирался с силами. И вы знаете, что он мне сказал? «Это ужасно, Самуил Яковлевич!» Я бросил трубку. Через месяц я понял, что Жирмунский был совершенно прав. Нет, нет, голубчик, не доверяйте такому восторгу!

— А Пушкин? Помните, Самуил Яковлевич, как он ликовал, когда писал «Бориса Годунова»? Даже плясал от радости.

— Ну и что он в тот день написал? «Мальчики кровавые в глазах». Это не самое лучшее. Нет, нет, не доверяйте такому восторгу.

Берете книгу и тетрадь,
Садитесь вы за стол.
А вы могли бы рассказать,
Откуда стол пришел?

Стол, вернее столик, появлялся из кухни. Он был на колесиках. Его вкатывала в кабинет Розалия Ивановна, домоправительница Маршака. На столе стоял обед.

Но не так-то просто было этому столу проникнуть в кабинет к Маршаку.

Самуил Яковлевич однажды сказал мне:

— Чтобы не ошибиться в людях, знайте, что у каждого человека два возраста. Один — тот, в котором он находится. А другой — детский возраст, соответствующий его характеру. Вот вам, например, двенадцать лет. А сколько вы дадите мне?

— Года четыре, Самуил Яковлевич.

— Примерно так...

И этот четырехлетний Маршак, как и положено четырехлетним, больше всего на свете не любил двух вещей: а) ложиться спать и б) вовремя обедать.

Последнее особенно возмущало Розалию Ивановну. Она входила в кабинет, неумолимая, как судьба, и решительно произносила:

— Самуил Яковлевич, идите обедать!

— Императив! — восклицал Самуил Яковлевич. — По-

велительное наклонение. Интересно, сколько раз в день она его употребляет. Нужно подсчитать.

Розалия Ивановна стояла и ждала, пока Маршак не произносил чего-нибудь вроде:

— Администрация может удалиться. Мы читаем стихи.

Через некоторое время Розалия Ивановна снова появилась в дверях.

— Розалия Ивановна, вы как солнце, — говорил Маршак.

Розалия Ивановна улыбалась. А Маршак продолжал:

— Плохо, если солнца слишком много. Мы хотим посидеть в тени и почитать стихи.

Появившись в третий раз, Розалия Ивановна смотрела уже не на Маршака, а на меня.

— Ваш гость проголодался, — утверждала она с коварным блеском в глазах. — Вы его совершенно уморили.

Удар был рассчитан точно. И Самуилу Яковлевичу ничего не оставалось, как сдаться на милость победителя. Вот тогда-то и появлялся стол на колесиках.

Иногда Маршак отдыхал во время серьезного, напряженного разговора. Он рассказывал легкие смешные истории. И смеялся, не успев докончить шутки.

— Когда началась первая мировая война, я был в Киеве. По городу ходили какие-то военные. На погонах у них была римская цифра одиннадцать. Обыватели радовались: «Ишь ты! Война только началась, а уже пленные австрияки разгуливают. На погонах-то что написано? Хранц-Юсиф!»

— Был у нас один издатель. Очень любил умные разговоры. Как-то мы говорили о Вольтере. Издатель вставил свою реплику: «У Дидерота, между прочим, тоже были неплохие романчики!» Ему говорят, что Дидро — философ, неудобно говорить «романчики». А тот отвечает: «Не скажите, не скажите. Он иногда понятно пишет». А угощал он так: «Вот селедочка, — освежитесь».

— Как-то к нам, в ленинградский Детгиз, пришло указание — изгонять из книг для детей бранные слова. Особенно истово взялась за дело одна молодая редакторша. Но это милое создание, к сожалению, не знало, какие слова бранные, а какие нет. Вызывает она к себе одного писателя и говорит: «Помилуйте, что вы написали! «Старый хрыч»! И это в детской книжке! Какой ужас! Нужно поискать более приличное выражение. Например, «старый хрен».

— В больнице я лежал вместе с одним милым интел-

лигентным человеком. Я любил с ним разговаривать. Он все схватывал на лету. Как-то зашла речь о Пушкине. Я говорю: «Пушкин, как и Шекспир, это белый цвет, в нем все цвета спектра. По сравнению с Пушкиным даже Лермонтов немного цветной». Собеседнику моя мысль понравилась. Он с истинным жаром воскликнул: «Это верно, Самуил Яковлевич! Это верно!» Но однажды я ему пожаловался: «Что-то мухи сегодня разлетались!» И мой собеседник с таким же пылом поддержал меня: «Это верно, Самуил Яковлевич! Ах, как это верно!»

Вот несколько категорий, которыми Маршак постоянно пользовался, когда говорил о поэзии, о мастерстве, о талантливых и умелых людях, чем бы они ни занимались: 1) истовость, 2) толковость, 3) звонкость.

Истовость. У Твардовского это слово встречается в стихах:

Ту скорбную истовость схода
С годами я помню живей.
Великая сила народа
И вера мне видится в ней.

Это из стихотворения «Памяти Ленина». Маршак цитировал эти строки, поясняя, что такое истовость.

Истовость он как бы противопоставлял, с одной стороны, расчетливости, цинизму или, скажем, пустозвонству, а с другой — нерассуждающему фанатизму и бесчувственной догме. Истовость в понимании Маршака — это полное растворение в работе, в единении с людьми, в человеческой и плодотворной идее.

Толковость. Маршак употреблял это слово в применении к самым неожиданным вещам — от стихотворного объяснения в любви до детской считалки. Пушкин, Некрасов, Блок, Шекспир, Блейк, Бернс отличались, кроме всего прочего, еще и толковостью. Толковость в самых пылких чувствах, в самых сложных философских построениях, в словесной игре. Толковость, противостоящая «бестолковому», неорганизованному, несобранному напору чувств, идей, мыслей, образов, слов, ритмов. Толковость мастера, который делает добротную, нужную, красивую вещь.

Звонкость. Качество довольно редкое. Особенно в литературе. Звонкость присуща детям в их играх и песенках. Звонкость — это Пушкин. Звонкость — это сила, мощь

в соединении с изяществом, легкостью, непринужденностью, веселостью, простодушием. «Смех лучше, чем улыбка», — говорил Маршак.

Звонкость противостоит всякой натянутости, скованности, чрезмерной нудной серьезности.

— Детская считалка, — часто повторял Самуил Яковлевич, — совместима с Шекспиром и несовместима с Потапенко. Тот для нее слишком серьезен.

Помню, как во время чтения пьесы кто-то позвонил Маршаку. И взволнованный, разгоряченный чтением Маршак, быстро уговорившись о встрече, крикнул в телефонную трубку:

— Голубчик, верьте в вашу звонкость!

Звонкость — враг безвременья, а безвременье — враг звонкости. Маршак считал, что после смерти Пушкина его друзья и спутники Языков, Вяземский и даже Гоголь начали терять былую звонкость. И что Чехов вернул звонкость русской прозе конца девятнадцатого века.

В последние месяцы своей жизни Самуил Яковлевич познакомился со скульптором-антропологом М. М. Герасимовым. Я присутствовал при их разговоре. Они встретились как старые друзья, которые долго не виделись и торопились наговориться. Я запомнил из этого разговора одно остроумное, но при этом совершенно серьезное замечание Маршака. Герасимов рассказывал, как помогает ему жена своими советами, когда он, увлекшись деталями, начинает упускать из виду целое.

— Да, да, — сказал Самуил Яковлевич, — женщинам, настоящим женщинам, присуще удивительное чувство целого. Может, это потому, что они рождают целых людей, а не какую-нибудь часть!

Однажды ему приснился сон. Сон во сне. Будто он проснулся молодым. Проснулся, вскочил с кровати, твердо встал на ноги, распрямился и почувствовал давно забытую силу в мышцах. Был осенний рассвет. Комнату наполняла свежесть. Окно было открыто. И в это открытое окно протянулась до половины комнаты, под самую люстру, громадная ветка клена с большими красными листьями. «Это сон, — подумал Маршак во сне. — И все-таки в нем есть правда. Нужно что-то сделать, чтобы домашние пове-

рили, когда, проснувшись, я расскажу им, что со мной случилось». Тогда он сорвал несколько самых красивых листьев, положил их под подушку и уснул со спокойной душой. Он проснулся старым, больным, но вспомнил сон и не удержался, полез под подушку за листьями.

Листьев не было. Но, значит, еще не все потеряно, если человеку снятся такие сны.

Меня пригласили работать в редакцию, в отдел поэзии. Я пришел посоветоваться с Маршаком.

— Идите, — сказал он. — А вместо совета я прочту вам Пушкина:

Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда!

Впрочем, — добавляет Самуил Яковлевич, — вас могут выручить стихи. Поэт — единственное в мире существо, которое способно восстанавливать невинность.

Осень 1963 года. Мы с Василием Субботиным летим в Ялту. Там, в Доме творчества, живет Маршак. Он уже звонил домой и к Субботину, узнал, каким рейсом мы прилетаем, потребовал, чтобы из города до Внукова нас доставила его машина. Мы понимаем, что он жаждет новостей из дому, из редакций, что ему нужны самые свежие книги и журналы.

Самолет опаздывает. И Субботин справедливо, как потом выяснилось, опасается, что Маршак уже несколько раз звонил в симферопольский аэропорт, что он обеспокоен, что мы нужны ему немедленно, в тот же вечер, что он не хочет откладывать встречу до утра.

В Ялте оказываемся в третьем часу ночи. У Маршака горит свет. Заспанная дежурная, узнав, кто мы, облегченно вздыхает и сообщает, что Маршак просил зайти к нему, как бы поздно мы ни приехали. Но, щадя Самуила Яковлевича, мы все-таки ложимся спать. Утром нас будит Розалия Ивановна. Она смотрит на нас с торжеством, но и с укоризной, — сколько беспокойства было связано с нами. Берем книги, письма, гранки, идем к Маршаку.

Входим, здороваемся... Но Маршак не дает нам сказать ни слова. Поразительная новость. Шекспироведением занялись историки. В Англии опубликовано новое исследование о сонетах. Суть дела вот в чем...

Словом, драгоценные московские новости нам пришлось излагать мелкими порциями в краткие промежутки между совершенно захватившими Маршака последними новостями из жизни Вильяма Шекспира.

Плохие стихи для взрослых часто забавляли его. Он от души смеялся над всякими несуразицами, над величественной или глубокомысленной, а на самом деле нелепой позой их авторов.

Ничего подобного я не замечал в тех случаях, когда в руки Маршаку попадали плохие стихи из детских книг и журналов.

— Вот негодяй! — возмущался Самуил Яковлевич.

А если плохие стихи принадлежали какой-нибудь даме, то его оставляла обычная вежливость.

— Вот мерзавка! — произносил Маршак.

Молодой Маршак шел пешком по Ирландии. Он остановился полюбоваться развалинами языческого святилища. Созерцание таинственных древних камней настолько захватило Маршака, что он и не заметил, как за ним наблюдает ирландка. Наконец женщина решила оторвать странника от зачарованных камней.

— Простите, сэр. Вы католик?

— Нет.

— Протестант?

— Нет.

Перечислив все известные ей религии и получив отрицательные ответы, женщина заключила:

— Теперь я понимаю, вы пришли сюда, потому что вы язычник.

Как-то Маршак сошел с попутной повозки и остался один среди освещенных солнцем зеленых лугов Ирландии. Пел жаворонок. И Маршак подумал: «Какое полное, какое безоблачное счастье я испытываю! Нужно запомнить этот миг на всю жизнь».

Так он и сделал.

А вот Маршак и еще несколько молодых людей разгуливают по Питеру, сшибают сосульки, насвистывают, напевают. Сегодня у них праздник. Он называется Умозгование весны.

И еще одна прогулка. Рядом с Маршаком молодой, ху- 433

дошавый, бледный человек с печальным, измученным лицом. Он всего лишь на семь лет старше Самуила Яковлевича, но уже знаменит. Это Саша Черный. Впрочем, за те часы, пока они без цели бродят по городу и читают стихи, оживление Маршака передалось и ему. Саша Черный ведет Маршака к себе в меблированные комнаты. Пьют вино и снова читают, читают... Вскоре выясняется, что приятнее всего читать стихи, сидя под столом. Но приходит женщина, строгая, старообразная, ученая, настоящий синий чулок, и выдворяет их оттуда.

— Нечто вроде жены, — мрачно представляет ее Саша Черный.

Первые послевоенные годы. К Маршаку пришла в гости Ольга Скороходова, слепоглухонемая, автор книги «Как я воспринимаю и представляю окружающий мир». Пришла с переводчицей. Переводчица передает ей слова Маршака, постукивая пальцами по ее ладони. Скороходова, которая никогда в жизни не слышала собственного голоса, говорит четко, живо, с превосходной дикцией. Лицо у нее умное, одухотворенное. Маршак смотрит на нее, как на чудо, с огромным уважением и симпатией.

О профессоре Соколянском, который включил в мир это, казалось бы, обреченное существо, Маршак говорит, как о волшебнике.

Скороходова читает свои стихи. Маршаку они нравятся. Нравится, что в стихах есть музыка.

— Кстати, какое у вас представление о музыке? — озабоченно спрашивает Маршак.

— Я ее люблю, — отвечает слепоглухонемая. — Я слушаю ее, положив руку на крышку рояля.

— У вас есть любимые композиторы, любимые мелодии? — интересуется Маршак.

— Конечно, есть, — отвечает Скороходова.

— Это очень хорошо! — радуется Маршак.

Он спрашивает Скороходову, как она представляет себе краски, как она узнала, что началась война, как она ощущала войну, физически, непосредственно ощущала, что в мире идет война.

Прощание. Скороходова ощупывает руку Самуила Яковлевича.

— Вы, наверное, хороший человек, — размышляет она вслух. — У вас добрая рука.

— Что я мог бы сделать для вас? — спрашивает Маршак.

— У меня есть все, — отвечает Скороходова. — Позвольте мне только посмотреть на вас.

И я вижу, как пальцы Скороходовой быстро и бережно скользят по лицу Самуила Яковлевича.

— Сделайте что-нибудь необыкновенное. Изучите, например, высшую математику или древнегреческий язык.

— Зачем, Самуил Яковлевич?

— Для самоуважения. Самоуважение — основа уважения. Если вы сами не уважаете себя, то и вас не будут уважать. Любить будут, а уважать — нет. Но для самоуважения нужны какие-то основания. Сделайте что-нибудь нелегкое и бескорыстное.

— Декадентство — безволие. Разврат — недостаток темперамента... А знаете, почему на Западе так распространен свободный стих? Потому что там пишут стихи прямо на машинке!

Свое семидесятипятилетие Самуил Яковлевич встретил в постели. Он тяжело болел.

Письма, письма, письма... Самуил Яковлевич перебирает их. Большинство писем — от незнакомых людей.

— В мире не так-то уж много волевого начала. — И указывая на письма: — Вот что значит воля, пусть небольшая, — люди тянутся к ней, чего-то ждут.

— У нас с вами общий недостаток: мы не только талантливы, но и способны. Если нам закажут статью, мы отвлечемся от главного, от внутреннего, и напишем ее. Или переведем стихи, которые могли бы не переводить. И получится довольно прилично.

... Есть люди способные, но не талантливые. А есть талантливые, но неспособные. Например, Хлебников. Он был чем-то похож на Блейка. И занимала его только поэзия, только духовная жизнь. Однажды его приютили в одной санатории. В комнате для дежурных медсестер (ею все равно пользовались редко). Хлебников сидел и писал. Входили люди — он их не видел. В конце концов фельдшер стал назначать там свидания медсестре. Хлебников

писал. А когда слышался особенно громкий смех или звук поцелуя, он, не оборачиваясь, досадливо отмахивался. И снова писал. А потом забывал или терял черновики...

Самуил Яковлевич знал многие стихи Хлебникова наизусть. Особенно часто он читал «Слово о Эль»:

Когда зимой снега хранили
Пути ночные зверолова,
Мы говорили — это лыжи.
Когда волна лелеет чёлн
И носит ношу человека,
Мы говорили — это лодка.
Когда ложится тяжесть вод
На ласты парохода,
Мы говорили — это лопасть.
Когда броня на груди воина
Ловила копья на лету,
Мы говорили — это латы.
Когда растение листом
Остановило тяжесть ветра,
Мы говорили — это лист,
Небес удару поперечный.
Когда умножены листья,
Мы говорили — это лес,
А время листьев роста — лето.

Я не помню точной формулировки, но Маршак видел в поэзии Хлебникова, в ее чистоте и бескорыстии плодотворную освежающую реакцию и на скованный «академический» стих, и вообще на всякую манерность, претенциозность, когда игра словами и образами при ближайшем рассмотрении оказывалась игрою честолюбий.

Составляется книга «Избранная лирика». Самуил Яковлевич изымает из рукописи добрый десяток стихотворений, откладывает их в сторону и решительно произносит:

— Нужно быть щедрым!

— Лирика — это борьба бытия с небытием... В жизни слишком много суеты. И в этой сложности, в этой суете каменеют простые вещи, простые чувства. Поэтам нужно растопить камни... Можно оторваться от жизни и думать, что это-то и есть настоящая жизнь, кипучая деятельность.

436 Но это небытие, если вы не научились в любой суете, при

любом темпе жить духовной жизнью, помнить детство, понимать простые слова и видеть главное.

Когда ни придешь к Маршаку, он покажет вещи в самых разных жанрах, написанные за то время, пока мы не виделись: тут и переводы, и лирические стихи, и детские, и статьи...

— Англичане говорят: «Нужно держать много утюгов на огне», — утверждает Маршак. — Тогда какой-нибудь из них непременно окажется горячим и вы можете не прерывать работы.

А потом выяснялось, что иные «утюги» были поставлены на огонь десятки лет назад.

Эх, распошел, распошел, распошел
Парень молодой,
В красной рубашоночке,
Хорошенький такой.

Это поет Маршак. По его словам, примерно так звучит мелодия английской народной баллады «Графиня-цыганка». Когда Самуил Яковлевич переводил баллады, он всегда опасался, не будут ли они выглядеть книжными. А ведь это произведения, которые пел народ. Значит, и в переводе они должны сохранить народный, песенный характер.

Самуил Яковлевич пел негромко, но точно и с большим увлечением. Он пел, так сказать, без выражения, не нажимая на отдельные музыкальные фразы, а стараясь передать мелодию во всей ее цельности и, разумеется, донести каждое слово.

Я слышал, как он пел «Гора Афон, гора святая», «Славное море, священный Байкал», «Господу богу помолимся, страшную быль возвестим» (из «Кому на Руси жить хорошо»), «Есть на Волге утес», английские, шотландские и ирландские народные песни.

— Ну, что нового в Мухоматке?

Это значит, что он очень болен. Может быть, эта игра — самозащита, чтобы не потерять сознания при высокой температуре. А скорее всего, он и в бреду продолжает творить.

Мухоматка — некая воображаемая страна. Здесь выйдут не замуж, а замух. Государственный гимн — француз-

ская песенка «Птит муш» («Мушка»). Вероисповедание мухомеданское (не путать с магометанским). Любимые растения — черемуха и мушмула. «Муха-цокотуха» — это их «Илиада». Академия наук занята превращением мухоморов в такие же красивые, но совсем не ядовитые грибы — мухамуры. Самое ласковое слово «замухрышка». Армия вооружена мушкетам и мушкетонами.

Лия Яковлевна, сестра Маршака (писательница Елена Ильина), встревожена этой игрой. Не смерить ли температуру? Маршак смотрит на сестру с нежностью и озорством — он пошутил.

Лето 1963 года. Ялта. Ровно в пять вечера Маршак выходит из Дома творчества и ждет такси. В это время он ездит на пляж, в сторону Массандры. Там он садится в шезлонг, поближе к морю, рядом с мокрыми камешками, курит, попивает лимонад и смотрит вдаль. Удар волны у ног, шипение пены, грохот уносимого волной камня и снова удар волны.

Выхожу из воды и устраиваюсь рядом с Самуилом Яковлевичем.

— Странная вещь, — говорит Маршак. — Старость, казалось бы, должна забывать. А она вспоминает. Вспоминает такое, о чем совсем недавно и не подозревал. Я когда-то жил в Финляндии. И сейчас я вспоминаю финский язык. С каждым днем вспоминается все больше. Спросите у меня любое слово, спросите, как по-фински море, небо, дерево, звезда, волна, страны света, спросите любой простой глагол, и я, наверное, вам отвечу.

Заходит разговор о «Калевале», из которой Маршак перевел три руны.

— У плохого писателя, — говорит Самуил Яковлевич, — человек — это бог. У писателя лучше он еще и человек. У хорошего он еще и акцизный. У совсем хорошего он еще и животное. У гения и у народа он еще и физическое тело, занимающее свое место в пространстве. Как этот камень. Или эта скала. Или дерево. Или как волна...

Высился утес над морем,
Пестрый камень золотистый.
Подплыла к утесу Айно,
На скалу она взобралась
И уселась на вершине.
Но качнулся пестрый камень,

Быстро в воду погрузился
И ушел на дно морское.
Вместе с ним исчезла Айно,
Айно — вместе со скалою.

Вы чувствуете, милый, как опустел мир оттого, что в нем больше нет Айно?

— А вы знаете, что пижама и чемодан — слова одного корня? «Пи-джома» — по-персидски «домашняя одежда», а «джомадан» — вместилище такой одежды. Значит, пижама и чемодан — родственники. Теперь понятно, почему они любят путешествовать вместе.

— Баба-яга — это, быть может, татарское «бабай-ага» (старый дед). Так на Руси во времена Батыея пугали детей: «Спи, а то бабай-ага возьмет».

В ресторане.

— Самуил Яковлевич, как удачно вы к нам пожаловали. У нас сегодня особенный день, день русской кухни!

— Да? Для вас экзотика? Мы что? В Париже, что ли?

Вот единственный разговор (вернее, конспект разговора) с Маршаком, который я записал тогда же. Привожу эту запись.

«Ялта. 13 июля 1962 года. Рано утром уехал к Маршаку в Тессели. Всю дорогу рабочие-строители развлекались, дразнили педантичную кондукторшу. Та не разрешала открывать окна с левой стороны и даже остановила автобус, чтобы опереться на авторитет встречного инспектора. А для строителей все это было игрой: коротали утомительную дорогу.

У Маршака: «Никак не могу привыкнуть к старости... Писатель — рыба, вытащенная из воды... Не могу привыкнуть, что море — лишь картина, которая видна с моего балкона».

Сомнения в каждой новой вещи.

Чтение Пушкина, Случевского, Пастернака (начало главы «Морской мятеж» из поэмы «1905 год» и «Сосны»).

О Случевском: «Посмотрите только, кому он посвящал свои стихи! Какое безвременье! Но Случевский сохранил в себе поэта».

О критиках того времени, которые не поняли Случевского и, сидя в кабинетах, учили Чехова, как любить народ: «По убеждению рябые, из принципа подслеповатые».

О Шекспире: «Чудеса бывают. Например, Шекспир. Ведь это чудо, что его родители встретились, что он не погиб от детской болезни и т. д. Чудо, что он не устарел, не забыт и что его сочинения выделены из множества подобных».

Философский разговор: «Ученые меряют вещи мерою, которая ниже человека: физической, физиологической и т. п. Меряют высшее низшим. При этом всегда есть опасность свести высшее к низшему. Я враг идеалистической философии. Но я думаю, что когда-нибудь придут к иной мере. Мерить будут самым высоким — духовностью, поэзией, поэтическим воображением. Мерить низшее присутствием в нем высшего. И многое откроют на этом пути».

Взгляд исследователя (следователя) и любящий взгляд: «Посмотрите на это сливовое дерево. В нем есть клей. Среди прочих свойств. А человеку понадобилось лишь одно свойство — клейкость. Он отчуждает его и получает клей, не имеющий ничего общего со сливой. Разврат — тот же клей: одно свойство любви, отчужденное от всего остального, от духовности, человечности, поэзии. Взрывные свойства... Взрыв — в сущности, тот же клей, извлеченный из глубины вещества... И много такого клея произвели, не думая о последствиях, не видя целого...»

Любящий взгляд на природу — видеть целое, заботиться о целом.

Мир не очень уютен. Бешеный темп. Скорость. Но обратного пути нет. Нужно освоиться в мире, куда привела нас современная наука, и освоить его для духовной, внутренней жизни. Для полноты жизни. Для поэзии.

Научный путь познания мира — путь от статического равновесия к динамическому, он сообщает человеку и всему окружающему все больше движения. Равновесие достигается в этом движении. Принцип велосипеда: устойчив, пока движется. У предка человека было больше устойчивости, — ходил на четвереньках. Пришлось пожертвовать половиной.

Один в автобусе. Пустая ночная дорога. Тихо. Слышно, как журчат придорожные роднички и фонтанчики. Шофер Виктор Потемкин, уроженец Фороса, выросший на маяке. Провел в Крыму только раннее детство, а сейчас

вернулся и все вспомнил. Даже места, где лучше всего ловятся крабы. А ночью достанешь со дна замшелый камень, потрешь его, и камень начинает светиться.

В сборнике «Кибернетика на службу коммунизму» есть мысли, близкие Маршаку: «Высшее — ключ к пониманию низшего». Непременно сказать Самуилу Яковлевичу.

Желтый, в дешевом издании,
Будто я вижу роман...
Даже прочел бы название,
Если б не этот туман.

Отчетливо слышу, как звучит голос Маршака, читающий эти строки Иннокентия Анненского. Маршак сидит за столом, справа от него стопа книг, дальше книжный шкаф на фоне красной стены. Но смотрит он куда-то вдаль, щурится, напрягает взгляд, на лице Маршака усилие, он хочет разглядеть что-то и не может. «Если б не этот туман...» И все-таки он разглядел, вспомнил и сейчас расскажет. Но его рассказа я уже не слышу, память моя его не сохранила. «Если б не этот туман...»

А эту встречу я не забуду. Потому что она оказалась последней. Через три недели Самуила Яковлевича не стало.

Июнь 1964 года. Маршак пригласил к себе Олега Чухонцева, мою жену и меня. Он хочет показать нам уже совершенно готовую книгу «Лирические эпиграммы».

Все как обычно. Самуил Яковлевич усаживает меня в кожаное кресло (мне предстоит читать), мою жену и Олега на диван. Сам он поворачивается к нам на своем стуле с очень удобной низенькой полукруглой спинкой. Левая рука его при этом нет-нет да и окажется на письменном столе. Письменный стол... Без него почти невозможно представить себе Маршака.

Самуил Яковлевич, как всегда, аккуратен, гладко выбрит, в своей свободной серой куртке он выглядит нарядным. Все как обычно.

Правда, говорить с ним нужно громче, — он стал хуже слышать. Пишет он тем же четким, разборчивым, но уже не округлым почерком, — буквы стали тонкими и угловатыми. Работая, он чуть ли не водит носом по бумаге. И не всегда может прочитать написанное. У него — катаракта. Операция будет сделана, когда оба глаза почти полностью ослепнут. Самуил Яковлевич не хочет слепоты и в то же

время сердится, что она не наступает и операция из-за этого задерживается. Он давно обдумал, как он будет работать во время слепоты и сразу же после операции, пока с его глаз не снимут повязку.

Он собирается диктовать мысли об искусстве, о поэзии, но без той последовательности, которая присуща его статьям. Мысли будут разбросаны свободно, непринужденно, без видимого порядка. Он готовится уже не столько к операции, сколько к этой новой для него работе, и забегает вперед: некоторые из заготовок успели превратиться в отточенные строфы лирических эпиграмм.

Все было: и отчаяние, и ненависть к старости, и дурные предчувствия, но сейчас он — в будущем. Он не без удовольствия прощается с новой, задуманной и выполненной в самое последнее время работой.

Я читаю рукопись. Самуил Яковлевич курит и удовлетворенно кивает. Кажется, ему нравится мое чтение. Но что это? Олег смотрит на меня удивленными, а моя жена испуганными глазами. Ах, да, я увлекся и стал читать голосом Самуила Яковлевича. С большим трудом меняю манеру чтения.

Но вот Маршак останавливает меня. Обсуждается место в книге, где стоит такое четверостишие:

И час настал. И смерть пришла, как дело,
Пришла не в романтических мечтах,
А как-то просто сердцем завладела,
В нем заглушив страдание и страх.

— После этого должно идти что-нибудь жизнеутверждающее, — деловито замечает Маршак. — А вот это не лучше ли вынести в самое начало книги? Ну-ка, применим:

Немало книжек выпущено мной,
Но все они умчались, точно птицы.
И я остался автором одной
Последней, недописанной страницы.

Отлично. Это и будет началом.

Традиционный кофе на маленьком столике. Разговор о детях, которым сейчас лет пять — десять.

— Я очень верю в это поколение, — говорит Маршак. — За свою жизнь я видел много детей. Таких еще не было.

Эти слова произнесены настолько веско, почти торже-

ственно, что Маршак хочет тут же «заземлить» их какой-нибудь шуткой. И он говорит о современных бабушках:

— Бабушки в наши дни делятся на хищных и домашних. Домашние сидят дома с внуками, а хищные — в редакциях.

На прощанье он по своему обычаю целуется с гостями и, несмотря на наши протесты, бредет в переднюю проводить нас. Со мной он уже сговорился встретиться в Крыму после операции, когда он снова будет писать и видеть написанное.

У самой вешалки, после того, как мы простились еще раз, Маршак сказал озабоченно:

— Мне не хватает научного образования. Например, биологического. Это мне сейчас так нужно...

ЗВЕНО



аршак смеялся, получив письмо от одного маленького мальчика: «Милый дедушка! Сколько же тебе лет? Есть уже сто? Ведь еще моя бабушка, когда была маленькая, читала твои стихи, и мои мама и папа тоже...»

Для этого мальчика детство его бабушки столь же туманное и отдаленное прошлое, что и детство человечества. Но и люди гораздо старше его испытывали в общении с Маршаком то же.

Мне пришлось познакомиться с Самуилом Яковлевичем только в последние его годы, но думаю, что ощущение беспредельности маршаковской жизни было и у тех, кто знал его раньше. Дело было не в возрасте; слава богу, приходилось знать и людей постарше.

Дело было в другом. И эти воспоминания — попытка сформулировать то, что мне казалось и кажется в Маршаке главным.

Брюсов, записывая свои детские и юношеские воспоминания, рассказывая о том, как жадно слушал он стариков, которым пришлось быть современниками Пушкина, говорил, что он при этом «испытывал... чувство жуткости — сознание, что через них я близок к далекому прошлому». Эти старики, писал он, «как бы составляли звено в цепи, которая от меня доходила до Тютчева, до Пушкина, до Екатерины».

Общение с Маршаком давало то же ощущение — и впрямь порою резкое до жуткости.

Маршак успел застать Стасова — и проводил с ним долгие вечера, жил даже в его доме. Помнил он и последних

Не так уж трудно встретить человека, который слушал бы Шаляпина. Но Маршак слушал *молодого* Шаляпина — и не на концерте (Маршак сказал по-старому — «в концерте»), а в стасовском доме, на самом рубеже веков, больше шестидесяти лет тому назад.

И Горького он помнил молодым.

И дружил с Сашей Черным.

Уже будучи взрослым человеком, он был у Блока.

— Я читал ему свои стихи, и он очень внимательно слушал, а потом сказал: «У вас есть свое солнце». Хотя, правду сказать, стихи были подражательные, и подражал я, конечно, ему.

И Маршак прочел несколько строк, которые так больше и не перепечатывались — если вообще были когда-то напечатаны.

— Да, — сказал я, надеясь проявить эрудицию, — в самом деле, похоже на «Соловьиный сад».

— Ну, что вы, голубчик! Это было еще до «Соловьиного сада»...

Нет, дело было не только в возрасте. Век Маршака казался неправдоподобно бесконечным потому, что в нас очень живо обаяние той культуры, под влиянием которой начинал он свой путь. И, главное, потому, что Маршак был *живым* звеном этой великой цепи.

Владислав Ходасевич писал:

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало.
Но все ж я прочное звено,
Мне это счастье дано...

Маршаку тоже было свойственно это унижение паче гордости; он тоже знал и ценил это счастье — быть «прочным звеном» великой русской традиции, не формальной, не книжной, а иной, главной: традиции непрерываемой духовности.

Когда он умер, многие были поражены внезапностью этой смерти, хотя здоровье Маршака все последние годы было отчаянно плохим. Да не только последние — Горький предложил мальчику Маршаку жить в его ялтинском доме, потому что у того были слабые легкие, а Евгений Шварц, вспоминая о Маршаке 1924 года, писал, что у него от работы мертвели руки.

Впрочем, это, кажется, некрологический штамп: гово-

ритель о внезапности смерти; но в применении к Маршаку он звучит особенно искренне, переставая быть штампом.

Есть люди, переживающие свой век, живущие как бы по инерции. Само их долголетие кажется жестоким. Таким жестоким было долголетие Вяземского, который в шестидесятых годах прошлого века воспринимался как полукомический брюзга, в котором просто невозможно было признать блестящего остроумца двадцатых годов, одного из умнейших людей своего времени, ближайшего друга Пушкина. Так бывает во всякие времена. С Маршаком так не случилось.

Его смерть была в полном смысле безвременной. Она была бы безвременной, проживи он еще сколько угодно лет.

Мы удивляемся строчкам Маяковского: «Я свое земное не дожил, на земле свое не долюбил», как пророчеству: «Откуда он мог знать?» Но они, вероятно, были бы пророческими, случись такое чудо и доживи Маяковский до старости. Такова была наполненность его существования.

Маршак помнил о близкой смерти, говорил о ней и страшился ее. Страшился, как чего-то противоестественного, и защищался от нее стихами.

Лирика его была вовсе не «радостной», как однажды написали о ней. Да и не могла быть: слишком открытыми глазами смотрел Маршак на мир, слишком остро ощущал его трагичность. Его лирика была не «радостной» (это слово невольно подразумевает однотонность поэтической настроенности), а светлой. Именно потому, что взгляд Маршака был бесстрашным.

Стихи об ушедших друзьях, заканчивающиеся словами: «Вселенную вы сердцем отразили и в музыку преобразили шум», начинались горестным признанием: «Как призрачно мое существованье». И конечные строки не отрицали первой, они преодолевали ее.

Так было не только в стихах.

В самые последние годы жизни ко всем болезням Маршака прибавилась еще одна — чуть ли не самая страшная для него: надвигающаяся слепота. Ему все труднее и труднее — почти невозможно — было писать; он сердито острил, что скоро переключится на импровизацию, как Джамбул. Даже делая дарственную надпись на книге, он не мог попасть в одну и ту же точку, и сердце сжималось от этой его беспомощности. Но даже в эти минуты Маршак не был жалок.

Бесстрашие придавало спокойствия его мудрости; оптимизм опирался на ясность знания.

Он сказал однажды:

— Вы помните брюсовский перевод «Болезни» Роденбаха?

И прибавил, что вообще не любит переводов Брюсова: в них артистизм часто самоцелен, высокая техника пытается заменить проникновение в суть, но перевод «Болезни» очень хорош, в нем сохранена наивность подлинника.

Я признался, что в юности именно эти качества перевода как раз и не понравились мне. Он показался мне недостаточно отточенным, бедным по рифмовке, прозаическим по интонации — рядом с прочими переводами Брюсова, поражавшими чудесами версификации. Может быть, поэтому он в ту пору мне и запомнился.

Маршак прочитал на память:

Болезнь нам тихое дает уединенье,
И я ее сравню с усталым челноком,
Который спит в воде ветра, без движенья,
Привязан к берегу веревкою с кольцом.

Все лето он скользил по возмущенной влаге...

— Не правда ли, хорошо, голубчик?

Под песни шумные лазурный свод дробя.
Потешные огни да праздничные флаги,
Вот все, что каждый день он видел вокруг себя.

Настал октябрь; теперь челнок с молчаньем дружен,
Теперь вокруг него синее небоклон.
Свободен стал челнок: он никому не нужен!
И, всей земле чужой, он небом окружен!

Маршак не скрывал, что стихи эти близки ему не только достоинствами перевода. Не случайно он полюбил их в самые последние годы, когда старость и болезнь насильственно вырвали его из мира, ограничив четырьмя стенами квартиры. Но умиротворенность и даже невольное удовлетворение одиночеством, явно проступающее в грустном стихотворении Роденбаха, не были свойственны Маршаку. Для него это было мучительно:

Цветная осень — вечер года —
Мне улыбается светло,
Но между мною и природой
Возникло тонкое стекло.

Весь этот мир — как на ладони,
Но мне обратно не идти.
Еще я с вами, но в вагоне,
Еще я дома, но в пути.

«Тонкое стекло», возникшее между поэтом и природой, не закрывшее зрения, но отнявшее запахи и шум мира, дважды реально. Это и поэтическая реальность, это и настоящее стекло — оконное, ставшее главным средством общения с природой для больного Маршака. Но боль этого осознания лишь увеличила для него ценность того, что «еще я с вами».

Жадность Маршака к работе, о которой говорят все, кто знал его, тоже была в первую очередь порождением все того же упрямого желания оставить себя с нами, перейти в нас как можно большей своей частью, сохранившись, осуществиться.

Общепризнанность того, что он уже успел сделать, не была ему безразлична, но не утешала.

Однажды он вспомнил рассказ Твена «Путешествие капитана Стормфилда на небеса». Там, на небесах, судят людей не по свершенному, а по тому, что они могли свершить. Там хромой сапожник считается самым великим полководцем всех времен, более великим, чем Александр Македонский или Наполеон. Просто ему не представился случай проявить свои способности.

— В искусстве — по-другому, — сказал Маршак. — У него жестокие законы. Ему нет дела до того, почему ты не смог осуществиться.

Он не признавал скидки и на свои бедственные обстоятельства — более чем уважительные.

Казалось, Маршак жив одним духом: в последние годы тело его изнашивалось до крайности, он похудел почти до невесомости и уже совсем не напоминал того полного человека, которого большинство людей знает по относительно ранним его портретам. Его мучила тяжелейшая бессонница, он почти ничего не ел, и, кажется, только работа поддерживала его существование. Может быть, он прожил бы гораздо дольше, если бы надвигающаяся слепота не лишила его (вернее, почти не лишила) возможности работать.

Незадолго до того, как у него обострилась болезнь глаз, Маршак говорил, вернувшись из Ялты:

— Мне совершенно не удалось отдохнуть в Ялте. Пришлось править множество корректур, переписываться с

издательствами... только одна неделя выдалась у меня свободная.

Я сочувственно покивал: еще бы, хорошо, что хоть неделя... нельзя же без отдыха...

— И за эту неделю я написал несколько лирических стихотворений и перевел несколько поэм Эдварда Лира. Хотите послушать?

И Маршак, отыскав на столе, заваленном бумагами, нужную папку и близко-близко, у самых глаз держа рукописные листочки, стал читать теперь уже хорошо всем известные переводы детских стихов Лира — «Чижи-Рики-воробей», «Комар Долгоног и Муха» и озорную небылицу «В страну Джвамблей»:

Колесом завертелось в воде решето...

— Если только вам жизнь дорога,

Возвратитесь, вернитесь назад, а не то

Суждено вам пропасть ни за что, ни про что!..—

Отвечали пловцы: — Ни фиги!

Потом, в печатном варианте, редактор уговорил Маршака заменить «Ни фиги!» на более благопристойное — «Чепуха». А тогда и сам Маршак особенно радовался этой озорной находке и увлеченно вторил смеху слушателей.

В последние годы у Маршака возникла особая тяга к людям. У него никогда не было нехватки в посетителях, но все-таки он буквально зазывал к себе многих и беседовал по нескольку часов. Беседа утомляла его, лицо серело, глуховатый голос надолго прерывался мучительным кашлем. Маршак переходил в спальню, ложился на постель, укрывался пледом, но не желал прекращать разговора — и слышать не хотел, чтобы отпустить посетителя.

Было тут и желание возместить себе все, что отняла болезнь, но главным было то, что Маршак никогда не переставал ощущать себя «прочным звеном». Он хотел быть именно звеном, а не концом цепи, он спешил как можно больше рассказать о своей жизни, о своих взглядах, сознавая, что надо спешить.

Я думаю, что того же происхождения и поражавшая всех добросовестность Маршака в переписке.

Когда я писал книжку о сказках на театре (в том числе и о сказках Маршака), он прислал мне из Ореанды большое и очень интересное письмо, в котором делился своими соображениями по этому поводу. Письмо сопровождалось

сожалениями, что оно «несколько бессвязно и хаотично» (чего, разумеется, и в помине не было) и что из-за слабости его пришлось диктовать сестре — Е. Я. Ильиной.

Замечательно, однако, что, выразив все эти сожаления, Маршак все же не удержался и тщательнейше отредактировал письмо собственной — действительно ослабевшей — рукой. Тщательнейше — обычно так редактируют только то, что предназначается к печати. Все письмо испещрено пометками и исправлениями Маршака. Чтобы ни один оттенок мысли не пропал для корреспондента.

Маршак дорожил всеми средствами общения с людьми.

Он понимал, что даже его книги не могут нам заменить живого, непосредственного общения с ним.

Это удивительно точно выразил Евгений Шварц, писавший в своем дневнике о беседах 1924 года, о молодом Маршаке (впрочем, и тогда Маршак был не так уж молод): «Если верить Ромену Роллану, индусские религиозные философы прошлого века утверждали, что учат не книги учителя и не живое его слово, а духовность. Это свойство было Маршаку присуще. Недаром вокруг него собрались в конце концов люди верующие, исповедующие искусство, а разговоры, которые велись у него в те времена, воистину одухотворяли».

Так было и в иные, более поздние времена. Жизнь Маршака была наполненной — людьми, работой, новыми и новыми впечатлениями — даже в самые последние месяцы и дни его жизни. Его восприятие было таким же интенсивным, жадным и свежим, как восприятие ребенка. Он сам сознавал это и часто говорил, что мы должны учиться у детей цельности и объемности восприятия, изначальному умению воспринимать жизнь во всей полноте.

— Дети это умеют, — говорил он. — Например, в Дон Кихоте они видят не столько его трагичность, сколько то, что он смешной. И ведь он вправду смешной. Таким он был и для Сервантеса. А без комичности он превратился бы в плоскую фигуру. В этом смысле у детской литературы особые возможности. Я пошел в нее как раз потому, что в ней особенно видно, что Дон Кихот — смешной, а король — голый.

Речь Маршака всегда была необыкновенно точной и образной. Например, о литературной критике он сказал однажды:

— Она необходима, как необходим фонарь: без нее

Об одном молодом поэте, чья словесная эквилибристика огорчала и смешила его, он говорил сокрушенно:

— Эта лошадь — из цирка. Пахать уже не сможет.

Это не было просто острословием. Почти все такие формулировки или остроты были словно вешками в разговорах Маршака; они показывали направление его размышлений, обозначая особенно любимые мысли. Не зря он часто повторял их — не по забывчивости, а все время совершенствуя и уточняя.

Вот хотя бы последняя его острота о молодом поэте. Не случайна здесь невольная переключка с раздраженными словами Толстого (их любил и не раз цитировал Маршак): «Писать стихи — это все равно что пахать и за сохой танцевать. Это прямо неуважение к слову». Толстой сказал это, переживая разочарование в поэзии и вообще в искусстве; Маршак такого разочарования никогда не переживал, но как знаменательно, что и он обратился здесь к критерию, естественному для каждого настоящего писателя. Ибо что может — по приложению сил, по отдаче, по насущности — сравниться с трудом пахаря, выращивающего хлеб?

Тот же образ возник в одном разговоре Маршака о поэзии и поэтическом мастерстве (разговор был всего за несколько недель до смерти, и я, по счастью, записал его дословно и даже «авторизовал»):

«Нужно бояться обманчивой легкости, когда плуг скользит по поверхности».

Маршак говорил тогда о, казалось бы, частных вопросах мастерства — о рифме, об аллитерациях, о белом и свободном стихе, но у него они не были частностями:

«Вот что необходимо понять: никакие нововведения в поэзии, никакие ее завоевания в области формы, никакое совершенствование общепоэтической техники не облегчают работу поэта, не уменьшают его душевных затрат, не делают поэтический труд общедоступным.

Писать стихи все так же трудно, как это было во времена Пушкина. И эту трудность дано узнать не всякому, а только настоящему таланту.

Иногда я с некоторой даже досадой думаю: какое несчастье — изобретение легкого письма — пера, чернил, пишущей машинки. Когда слова высекались на камне — вот когда был лаконизм! Вот когда каждое слово действительно стоило дорого.

Поверьте, я почти не шучу. Поэтическое слово должно

стоять поэту столько же, сколько стоило, когда его высекали на камне.

Толстой восторгался историей об Иосифе и его братьях, восторгался ее простотой, лаконизмом. Она и в самом деле прекрасна — и, может быть, как раз своей хроникальностью. Если у автора этой истории есть время для того, чтобы написать, как Иосиф, увидев братьев, которые его не узнали, ушел в другую комнату, поплакал и вернулся, — если у автора есть для этого время, значит, ему очень важно сообщить об этом. И мы ощущаем важность рассказанного.

Я думаю, Толстой учился не только на прозе Пушкина и Лермонтова, но и на такой вот прозе...»

В конце этого разговора Маршак заговорил о чувстве слова — «слова в строю» и слова самого по себе, вне строки:

«Очень часто у нас недостаточно понимают, что такое банальность. Этим словом пугают, как жупелом. Молодые люди ломают головы над тем, как бы сказать пооригинальнее, посвоеобразнее. И, отрывая одну ногу от липкого листа банальности, они увязают в нем другой ногой. Получается банальность навыворот.

Для того чтобы родились своеобразные и оригинальные обороты речи, нужны оригинальные и своеобразные мысли и чувства. Вялость мысли, отсутствие энергии рождают вялость стиля. Одни и те же слова могут звучать шаблонно и, напротив, могут поражать свежестью и новизной.

И в то же время поэт, как настоящий филолог, должен чувствовать возраст слова, должен отличать коренные слова от временных и жаргонных наслоений, общенародные — от кастовых, кружковых. Он должен чувствовать вкус и температуру слова.

146-й сонет Шекспира начинается в подлиннике так: «Моя душа — центр этой греховной земли». В Англии слово «центр» вошло в обиход чуть не со времен римского завоевания, чуть не со времен Цезаря. В нашем же языке оно все же остается не вполне усвоенным, холодноватым, терминологическим. Для того, чтобы перевести эту строчку Шекспира, я должен был оторваться от слова «центр» и найти другое. В конце концов получилось следующее:

Моя душа, ядро земли греховной...

Слова вызывают у нас множество ассоциаций. Вчитываясь в чеховское описание первого снега (в рассказе 452 «Припадок»), видишь, как поэт (я не оговорился — имен-

но поэт) доводит ощущение первого снега до всех наших внешних чувств — зрения, слуха, обоняния, осязания:

«Недавно шел первый снег и все в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах — все было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядели иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег...»

Настоящее художественное слово как раз и должно вызывать эти рефлексy, должно быть видимо, осязаемо и слышимо. В этом смысле слова различаются сами по себе, вне контекста: когда мы говорим «строгать, пилить», мы чувствуем в руках пилу или рубанок. Когда говорим «обрабатывать дерево», — ничего не чувствуем. Но главное — ощущение «слова в строю».

Если вы сравните маленьких писателей с большими, то увидите, насколько большие одновременно и одухотвореннее и физиологичнее. Это даже связано: если бы мы не воспринимали так чувственно первый снег в рассказе Чехова, до нас не дошла бы и одухотворенность этого отрывка.

Когда мы читаем у Пушкина:

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый... —

мы словно присутствуем при кровавой операции, нам передается эта высокая боль.

Эта пушкинская материальность — так же, как и одухотворенность, — обычно пропадает при упадке поэзии. Нельзя чувствовать и знать слово, если не чувствуешь и не знаешь действительности. Иначе происходит то, о чем говорил Гамлет: «Слова, слова, слова...»

Когда люди сыты, вернее, пресыщены словами, происходит инфляция слов, полное их обесценивание. Поэт больше, чем кто-нибудь другой, должен бороться за ценность и ответственность слова, за связность мира и языка, за вечное ощущение ценностей в том и в другом...»

Так — словами о главном — закончил свою беседу Маршак. Он всегда, о чем бы ни говорил, говорил о главном.

На другое у него не было времени. Ведь это очень ответственно — чувствовать себя звеном.

МАРШАК У СЕБЯ ДОМА



мя Маршака, знакомое мне, как и большинству моих сверстников, с самых ранних лет детства, когда мы помним книги больше по названию и героям, чем по имени автора, долго стояло для меня где-то обок с именами Пушкина и Некрасова и само звучало мне в младенчестве моем сказкой.

Можно ли было вообразить, что человек, написавший «Пожар», «Почту» и «Мистера Твистера», живет, как и я, в обычной московской квартире, разговаривает, гуляет по улицам. Ему бы более пристало стоять, задумчиво наклонив голову и закутавшись в плащ, подобно бронзовому монументу на Тверском бульваре, окруженному старинными фонарями и массивными цепями, на которых мы любили качаться.

С годами мои понятия о новых и старых поэтах приобрели более реальные очертания, но так, видно, стойки первые наши впечатления, что поверх всего, что я узнал о Маршаке в зрелые лета, его имя являлось мне в ореоле особой значительности, узаконенной детством. Неожиданное подтверждение магнетической силы действия этого имени я получил позднее.

В 1962 году я работал в «Литературной газете» и замещал редактора отдела, уехавшего в отпуск. Как раз в это время редколлегия решила подтянуть дисциплину сотрудников, и мне было вменено в обязанность строго следить, чтобы никто самовольно не отлучался из редакции. Помню, я немного удивился, когда ко мне зашел один из работников нашего отдела и сказал: «Я уезжаю из редакции. Меня вызвал Маршак». Он не спрашивал меня и не просил разрешения уехать. Он просто сообщил мне об этом так, как говорят о

вызове из вышестоящей организации, когда не подчиниться нельзя, — и я не решился возразить ему. Наутро встречаю его в коридоре: «Ну, что, привез что-нибудь для газеты?» — «Нет, но Самуил Яковлевич читал мне свою пьесу, и мы так хорошо поговорили...»

Прошло дня два, ко мне забегает другой сотрудник, тоже работавший в нашем отделе, — и с теми же словами: «Я уезжаю, и в редакцию сегодня не вернусь, меня Маршак вызывает...» Признаться, я был смущен: одно дело отпустить сотрудника по вызову издательства, Союза писателей или другого ответственного учреждения, но «по вызову Маршака»?.. Мне следовало остановить его, потребовать объяснений, а я почему-то только рукой махнул.

И хорошо сделал, ибо спустя несколько дней Маршак *вызвал* меня...

Надо ли говорить, как был я обрадован, удивлен, потрясен, когда мне посчастливилось познакомиться с Маршаком, — и об этом я еще расскажу, но прежде скажу о книге, которая нас познакомила. В последние годы жизни Маршак составил и издал книгу «Воспитание словом» — свои раздумья об искусстве. В ней он предстает критиком и литературоведом не совсем обычным.

На одной из страниц книги рассказывается об экскурсоводе, выражавшем недовольство теми посетителями музея, которые пытались рассматривать картины без его помощи.

— Не смотрите, не смотрите, — говорил этот экскурсовод. — Я вам сейчас все расскажу.

Маршак-критик не похож на этого экскурсовода. В своей книге он сводит вас лицом к лицу с поэзией, заставляет прежде всего услышать стихи, а потом уже позволяет себе некоторые рассуждения на этот счет. Его девиз: «Смотрите, слушайте, думайте сами». Но вслушаться, взглядеться он непременно нам поможет — своей увлеченностью, своей любовью к стиху.

Вот знакомые с малолетства строки:

Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

«Здесь очень мало слов — все наперечет, — пишет Маршак. — Но какими огромными кажутся нам из-за отсутствия подробностей и небо и море, занимающие в стихах по целой строчке.

И как не случайно то, что небо помещено в верхней строчке, а море — в нижней!

В этом пейзаже, нарисованном несколькими чертами, нет берегов, и море с одинокой бочкой кажется нам безбрежным и пустынным».

Как точно, как абсолютно точно сказано у Маршака о том, что мы и сами всегда чувствовали, знали, слушая пушкинскую сказку, да не умели высказать, — секрет поэтической картины безбрежного моря.

Любовь к слову — вещь особая, надо быть художником по призванию, по натуре, чтобы по-настоящему знать ее. Это странная власть любимых слов, и свободная игра словом, и нечаянное счастье оттого, что нашлось, припомнилось или услышалось какое-то незнакомое, точное и редкое слово. Это как радость музыканта от свежего и сильного звучания инструмента, как радость живописца, смешавшего на палитре краски и нашедшего чистый и новый тон, цвет, оттенок...

«Поэт чувствует буквальное значение слова даже тогда, когда дает его в переносном значении, — писал Маршак. — В слове «волноваться» для него не исчезают волны. Слово «поражать», заменяя слово «изумлять», сохраняет силу разящего удара».

Но бывает, что слова истрепываются, становятся банальными. И художник снова добывает поэтические ценности из житейской прозы. Когда Лермонтов писал «Белеет парус одинокий...», парус не был поэтическим образом — в слове еще чувствовалась грубая материя, серая парусина. Но худо, говорил Маршак, когда начинают «делать из поэзии поэзию», то есть сплетать строки из тех соловьев, крыльев, роз, белых парусов и золотых нив, которые в свое время были добыты настоящими поэтами из суровой прозаической реальности.

Обо всем этом я прочитал в 1960 году в книге Маршака «Воспитание словом» и написал небольшой отзыв в журнале «Новый мир».

И вдруг мне передают: Маршак прочитал рецензию и немедленно хочет видеть меня, просит позвонить по телефону. Я счел это простой любезностью и не решился его беспокоить. Но на другой день телефон зазвенел на моем столе — и, подняв трубку, я услышал задыхающийся напористый голос: «Голубчик, вы, должно быть, ко мне не дозвонились, а нам обязательно нужно встретиться... Я читал вашу рецензию. Писатель всегда должен радоваться, что он прочитан. Но еще более редкая радость узнать, что ты не только прочитан, но понят... (В трубке мучительно закашляли...)»

456 Вы должны ко мне приехать... Когда? Нет, зачем же от-

кладывать... Сегодня же...» Я пробормотал что-то насчет вечера. «Голубчик, надо ли ждать до вечера? Если вы не очень заняты, приезжайте теперь же. Через сколько минут вы у меня будете?»

Голос в трубке то слабо подхрипывал, словно жалуясь и умирая, то, окрепнув, решительно требовал от меня чего-то. И я понял, что не подчиниться ему нельзя.

Так я в первый раз был *вызван* Маршаком.

Найдя подъезд во дворе большого дома на улице Чкалова и поднявшись на третий этаж, я, прежде чем позвонить, постоял с минуту у двери, робея перед встречей и обдумывая слова, приличествующие такому случаю.

Но вот дверь открылась, меня впустили — в глубине узкого коридора, сжатого шкафами и вешалками, стоял невысокий старик в пижаме, домашних туфлях и нетерпеливо покашливал. «Самуиль Яковлевич, пойдите в комнаты, вы простудитесь!» — закричала с порога впусившая меня женщина. С седыми буклями, в очках, она имела вид необыкновенно строгий, а легкий немецкий акцент еще подчеркивал эту ее суровость. Но Маршак, не обращая внимания на предостережения, шел прямо ко мне. Я засуетился, закрывая дверь, повернулся к нему спиной и долго не мог закрыть незнакомую мне задвижку, а потом, сообразив, что надо поздороваться, как-то боком подал ему руку. Маршак очень серьезно пожал мне руку, склонив набок большую, тяжелую голову и глядя прямо в глаза, и вдруг с неожиданной между незнакомыми людьми нежностью обнял меня — и мне показалось, что я уже прежде бывал в этой квартире, знаком с Маршаком тысячу лет, и просто мы давно не видались. Эта откровенность чувств, нетерпеливая искренность поразили меня при первой встрече.

Он помог мне раздеться и, шаркая туфлями, провел в кабинет. Я сел на истертый кожаный диван — пружины поддались и потопили меня в нем, а Самуил Яковлевич расположился напротив в кресле у письменного стола и закурил. Я огляделся в комнате: полукружьем обнимали стол книжные шкафы, тускло светили на полках корешки книг, старинные часы стояли на подоконнике.

Маршак задал мне два-три быстрых вопроса и заговорил сам, припоминая что-то к случаю, обращаясь к историческим примерам, цитируя свои и чужие стихи и прерываясь затем лишь, чтобы дожидаться немедленного подтверждения сказанному: «Правда, милый? Вы тоже это замечали?»

Он говорил неумоимо, временами задыхаясь и подхрипы-

вая, и с удивительной правильностью русского — на старинный интеллигентный лад — говора с особенным «петербургским» произношением четкого «ч» в словах «что», «конечно», «чтобы». Три, четыре, пять часов подряд он рассуждал о пользе научно-популярных книг и о том, как трудно переводить Блейка, об аллитерации в поэзии и о жанре баллады, о Лермонтове и Маяковском, о поэтах «озерной школы» и Козьме Пруткове, о том, как трудно понять смысл выражения «руководить литературой», и о том, что пишут ему ребята из Норильска.

Легко было заметить, что Маршак не избегает тем бытовых, повседневных, но к разговору его не прилипал сор будничности. И не то чтобы он старался поддерживать высокую и умную литературную беседу. Нет, просто он не стеснялся говорить о существенном, потому что мысли о литературе и жизни занимали его не в специально отведенные для этого часы, а постоянно жили в нем, составляли часть его существа и с необходимостью выплескивались в разговоре.

С досадой рассказывал Самуил Яковлевич о том, как он познакомился со знаменитым американцем Стейнбеком, хотел поговорить с ним о литературе, но разговор решительно не удался. «Что-то вы, русские, все о вечности хлопчете, а разве это нужно?» — «А что нужно?» — спросил Маршак. «А надо пиво пить», — со скептическим вызовом сказал Стейнбек, смертельно разочаровав и обидев своего собеседника.

Как я вскоре понял, разговор, в котором оттачиваются и проверяются выношенные мысли, внезапно возникают новые, был для Маршака формой творческого труда. И такой же внутренней потребностью было для него немедленное чтение вслух всего им написанного. Привычка к коллективному обсуждению, проверке не только на глаз, но на слух своей и чужой работы родилась у него, возможно, еще в годы редакторской деятельности в Ленинграде, да так и осталась на всю жизнь.

«Голубчик, давайте почитаем стихи... Я тут кое-что написал за последние дни. Вам не будет скучно?..» — сказал он в первую же нашу встречу и стал ворошить бумаги на столе, разыскивая нужную рукопись. Он раскрывал какие-то папки, вытаскивал наугад листки и от нетерпения никак не мог найти того, что хотел. В досаде на свою беспомощность нажимал кнопку звонка, приделанного к его письменному столу, вызывая своего секретаря и домоправительницу Розалию Ивановну, ту самую строгую женщину, которая встретила меня в коридоре, и, не дождавшись немедленного ответа,

звонил снова, с силой давя на кнопку и еще крича вдогонку, чтобы усилить действие звонка: «Ну где же вы пропали, Розалия Ивановна?» — «Да что вы трезвоните, я давно здесь, Самуиль Яковлевич», — говорила Розалия Ивановна, возникающая на пороге, и мгновенно находила потерянную в хаосе стола рукопись.

Маршак склонялся над столом, подносил листочки к самым глазам и начинал читать новые переводы из Блейка или оригинальные свои стихи. После каждого четверостишия он близоруко взглядывал на меня, как бы проверяя реакцию слушателя, и быстрыми вопросами лишь поощрял к высказыванию: «Правда, мужественно?», «Милый, а это дошло?»

Должен сознаться, меня поначалу обижало это его слово: почему он думал, что его стихи могут «не дойти» до меня? Но, узнав Маршака ближе и привыкнув к нему, я понял, что в его нетерпеливом возгласе не заключалось, по существу, ничего обидного: спрашивая так, он волновался и за себя — удались ли ему на этот раз стихи настолько, чтобы читатель, слушатель вполне понял его.

Я счастлив, что слышал в чтении Маршака многие только что написанные им строфы, в частности те четверостишия и восьмистишия, которые он назвал потом «Лирическими эпиграммами». Но я не мог лукавить и в иных случаях говорил: «Самуил Яковлевич, это мне кажется послабее». Он огорчался, потухал, иногда начинал сердиться. «Да? А это самое важное для меня четверостишие, — говорил он голосом, в котором слышалось страдание. — Вот вам не понравилось, а ведь здесь самая дорогая для меня мысль». В первый раз, когда это случилось, я был страшно смущен своей глухотой, невосприимчивостью и почувствовал, что проваливаюсь, погибаю в его глазах. «Самое важное», «самое дорогое», а я не оценил, не понял! Но когда я услышал то же и о другом, и о третьем стихотворении — я догадался, что все только что написанное им было для него в эту минуту особенно важным, и уже не боялся прямо говорить о том, что мне нравилось меньше или вовсе не нравилось.

Среди последних лирических эпиграмм Маршака есть такая:

Немало книжек выпущено мной,
Но все они умчались, точно птицы.
И я остался автором одной
Последней, недописанной страницы.

К новорожденным своим строчкам Маршак относился с материнской ревностью и нежностью. Прочтя вслух свое

стихотворение, он нередко передавал рукопись мне и требовал, чтобы его прочитал я, и, почти всегда не удовлетворившись моим чтением, сам читал, уже в третий раз, словно проверяя и взвешивая на незримых весах каждое произнесенное слово.

Первая встреча с Маршаком ошеломила меня: столько разговоров о литературе, поэзии, блестящих наблюдений, острых характеристик, несношенных слов. И все это — для одного меня! Мне казалось, что я попал на этот пир мысли — незаслуженно и случайно, по счастливому билету судьбы. Но недолго я чувствовал себя избранником.

Время от времени, пока мы разговаривали, звонил телефон. Маршак жадно хватал трубку — и голос его становился умоляющим: «Голубчик, я очень вас жду... только не сегодня... А завтра утром вы можете?» Как я вскоре узнал, он не любил застольных общих разговоров: три-четыре человека было для него уже много, он предпочитал оставаться с собеседником наедине. Уходя от него, можно было встретить на лестнице или во дворе С. Рассадина, В. Берестова, Е. Винокурова, которые, подобно мне, в назначенные часы приходили поговорить с ним, или, вернее сказать, его послушать.

Так я мог убедиться, что счастье подолгу говорить с Маршаком привалило не мне одному. Но не о том я думал, покидая в первый раз его дом. Уже в передней, прощаясь, он вместо привычного «Приятно было познакомиться» сказал, снова смутив меня своей стремительностью: «Знаете, я вас люблю. Вы еще придете ко мне?»

И я стал бывать у Маршака. Я приходил к нему и просто так — погостить, побеседовать, и по делам, как редактор его статей в «Новом мире», где я вскоре начал работать. Сколько счастливых часов провел я на старом кожаном диване, слушая Маршака, и о чем только тут не было переговорено! Теперь жалею, что так скучно и редко записывал его слова и многого уже не могу восстановить в памяти.

А все-таки я решил: соберу все, что когда-либо записал или вспомнил, и как есть, без очереди и порядка, перенесу на бумагу — быть может, эти отрывочные записи дадут хоть слабое представление еще об одном жанре, в котором Маршак был так щедро талантлив — о разговоре Маршака.

— Как вы думаете, что, если затеять в Детгизе серию — «Биография книги»? Это будет литературоведение, но не вполне обычное. Можно взять «Дон Кихота» или «Героя

нашего времени» и рассказать, как была задумана книга, как она писалась, какое впечатление произвела на современников, какова ее судьба в потомстве — словом, описать всю ее жизнь до наших дней. Только вот кто это сможет сделать? Андроников? Бонди? А еще кто?

У нас вообще мало научно-популярных книг для детей. Редко переиздают и то, что было сделано нашей ленинградской редакцией в тридцатые годы, — Ильина, Бианки, Житкова, «Китайский секрет» Данько, «Солнечное вещество» Бронштейна... А какие могли бы быть книги о животных, растениях, подводном мире, новых открытиях физики... Когда-то я задумал что-то вроде библиотеки знаний для детей, даже составил проект и повез в Сорренто Горькому. В школах тогда были педология, «бригадный метод», и я думал: школы учат плохо, так пусть учат книги.

— У нас забыли, что такое баллада. Называют балладой посредственные стихи, повесть, даже роман страниц в шестьсот... Я понял, что такое баллада, когда начал переводить англичан. Это не аристократический жанр, как можно подумать, читая Жуковского, а разговор, короткий рассказ при встрече на улице или среди друзей в таверне, за кружкой эля.

Английская народная баллада — проста, естественна, как и английский детский фольклор, который я очень люблю. Англичане догадались собирать его и собирают лет триста. А сейчас уже есть роскошные оксфордские издания детских считалок, рассказов и песенок. И, боже мой, чего там не говорят дети! Они чествуют на чем свет стоит своих учителей, школьные порядки, литературных героев, которые навязли у них в зубах, королей, рыцарей, да что там — святыню английской истории короля Артура! Какая там английская чопорность!.. И никому в голову не приходит, чтобы это было душно.

— Я всегда ценю конкретность, материальность в искусстве. Надо знать, как люди едят, пьют, одеваются, работают. В наш век известный уровень физиологической точности просто необходим. Без сугубой натуральности, даже физиологии человеческих переживаний литература может показаться беллетристической. Нужна абсолютная точность ощущений. Но серьезный писатель помнит, что кроме ощущений есть чувства!

....— Вчера в газете прочел стихи, в которых в рифму сказано, что быть стилигой — плохо, а пенсионером — хорошо. И автора этого печатают, называют поэтом... Надо бороться с властью призраков. Собакевич мертвых расхваливал как живых. Если человеку разрешили надеть штаны с лампасами и погоны с крупной звездой, ему начинает казаться, что он и внутри стал генерал: был просто человек, а тут — генерал. То же с плохими писателями — они думают, что если их печатают, значит, и вправду они существа особые, что-то в них есть такое, какое-то писательское «вещество». А там ничего нет, одна призрачность, «козьмапрутковское» глупокомыслие. Как в этих стихах, вы их наверняка не слышали.

И Маршак прочел с видимым удовольствием:

Vis-à-vis с моим окном
Два окна виднеются.
Вижу я, в окне одном
Что-то часто бредутся.

Каждый день все тот же вид —
Бредут, бредут, бредутся,
Прямо мочи нет — тошнит,
Что за дрянь там дееся.

Я предался весь мечтам:
Может быть, имеется
Там цирюльня? Ибо там
Что-то часто бредутся.

И от Фильки моего
Я узнал: имеется
Там цирюльня. Оттого
Там так часто бредутся.

Вы знаете, это подлинный Прутков и нигде еще не опубликованный, — сказал Маршак, с оттенком гордости гостеприимного хозяина, сумевшего продемонстрировать гостю такую редкую вещицу. — Но не находите ли вы, что многие современные стихи сами кажутся скверной пародией на Козьму Пруткова?¹

¹ Как я узнал от сына поэта И. С. Маршака — это неизвестное стихотворение К. Пруткова, в подлинности которого Маршак не сомневался, было передано ему сыном со слов филолога и переводчика Ф. А. Петровского, в прошлом близкого знакомого семьи Жемчужниковых.

... — Не следует обольщаться тем, что вот вы поняли что-то важное и громко высказали это, и все тут же согласятся с вами, начнут жить иначе, поступать как нужно. Так не бывает. Надо раскладывать костер, а огонь упадет с неба.

— Критики делят меня на детского поэта, переводчика, лирика — и не видят, что я один и тот же и в детских стихах, и в переводах, и в своем... Настоящая поэзия требует всего человека, и я не соглашусь с Толстым, когда он говорит, что писать стихи в рифму — это все равно что пахать, а самому идти за плугом и пританцовывать. Но каждый поэт должен в глубине души чувствовать ущерб от того, что не занимается хлебопашеством.

— Ну вы-то в счастливом положении, ваше хлебопашество — детские стихи, — сказал я.

И Маршак, обычно ревниво отстаивавший первенство своей лирики, вздохнул и неожиданно легко согласился со мной.

— В искусстве нужна сосредоточенность. Нельзя писать на ветру. Этого не понимают наши молодые поэты, они работают небрежно, на моду. А в России мода всегда распространялась как-то особенно легко. Может быть, потому, что Россия равнинная страна — и оттого в ней простор для всяких эпидемий...

— Вчера занимался своей статьей (С. Я. работал в то время над «Беседами о мастерстве» для «Нового мира») и придумал несколько недурных определений. Знаете, кто такие формалисты? Это люди, которые еще не овладели формой. А кто самый крупный у нас абстракционист? (И он назвал одного видного деятеля, вовсе не связанного с живописью.) Ведь он ругает абстракционистов на чем свет стоит, а сам живет в мире фетишей и абстракций.

О своем юбилее.

— Это не юбилей, голубчик, а убилей. Надо бы переменить обычай и отмечать юбилей лет в 16—17. Тогда это будет приносить истинную радость юбиляру...

(Но, видит бог, это ему и сейчас не все равно. Он так любит быть окруженным людьми, чувствовать себя в центре внимания, что готов забыть о болезни.)

Критика наша бывает сварлива, придирчива, но если уж облюбует что-нибудь, то не скупится на похвалы. А прочтешь — и видишь: не на чистом масле...

«Не на чистом масле» — такова обычная у Маршака оценка полуправды в литературе, имитации подлинного дарования.

Я упрекнул Самуила Яковлевича, что в новом издании «Мистера Твистера», какое я читал сыну, многое выпущено, переделано — и к худшему, в сравнении с тем, что помню по детству.

— Меня просили переделать. В старом «Твистере» швейцары гостиниц звонили друг другу, уславливаясь, что у них нет номеров для строптивного Твистера. Так «Интурист» заявил, что американские богачи отказываются к нам ехать, ссылаясь на стихи Маршака — «там-де, в Ленинграде и Москве, все красные швейцары в сговоре — невозможно попасть в гостиницу». Пришлось учитывать этот протест, — смеется Маршак.

— Заметьте, как нагружено слово эмоциональным смыслом, ассоциациями, с ним связанными. Юрист Кони когда-то приводил такой пример: одно дело «кровь с молоком», другое — «молоко с кровью». Или еще: какие люди были «декабристы» и какие «октябристы»? Писатель должен хорошо знать ресурсы родного языка, иначе он сам себя обкрадывает... Как можно угадать из нескольких строк Демьяна Бедного? По иностранным рифмам: прокуратура — диктатура...

— Голубчик, мы все перескакиваем с одного на другое, но ведь это все об одном, не правда ли?

— Когда переводишь Шекспира, надо чаще поглядывать в окно, на живую жизнь. У меня есть перевод сонета: «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть...» Это неточная

передача Шекспира, у него иначе. Я долго бился над этими строчками, стараясь понять их смысл. И вдруг случайно узнал историю одной девочки, жившей в детдоме. Ее несправедливо обвинили в воровстве, наказали, оставили без обеда. Тогда она с отчаяния и с голоду пошла и в самом деле украла на кухне немного хлеба — попалась на этом и заявила: «Если все считают, что я воровка, пусть так и будет». Тогда я понял, что хотел сказать Шекспир:

Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть.
Напраслина страшнее обличенья...

Это почти точные слова той девочки.

— Настоящий перевод — не только подчинение, но и соперничество. Когда я переводил Шекспира, я думал, воображал вместе с ним и даже порой независимо от него. Часто я поступал так: переводя первую строчку, закрывал ладонью дальнейшие, чтобы, следуя воображением за Шекспиром, не спугнуть вольный ход своих мыслей, — и только потом сверял и корректировал.

Маршак любил рассказывать про ленинградскую редакцию Госиздата, о людях, которых он нашел и объединил вокруг этого дела, — о Житкове, Хармсе, художнике Лебедеве, Л. Пантелееве, К. Меркульевой, написавшей книгу про Палату мер и весов... Запомнился мне его рассказ о дебюте Виталия Бианки:

— Мне рекомендовали его как молодого человека, только что окончившего университет и подыскивающего работу по душе. Я знал, что он заядлый охотник, в недавнем прошлом сын состоятельных родителей, так что легко было заподозрить в нем бездельника. Но, услышав, что он биолог по образованию, я решил попробовать, несмотря на то, что ровно никакого литературного опыта у молодого Бианки не было. Мне вспомнился рассказ Сетон-Томпсона, в котором говорилось, что волк по утрам обнюхивает следы — это он читает свою газету. Так была задумана «Лесная газета». Вначале я помогал Бианки, он уговаривал меня поставить на первых выпусках «газеты» два имени, чего я, конечно, не сделал. В «Лесной газете» Бианки нашел себя и стал большим детским писателем.

С уважением и приязнью говорил Маршак о своих со- 465

трудниках по редакции — Т. Г. Габбе, А. И. Любарской, Л. К. Чуковской, дружно работавших в тесных комнатках на пятом этаже Ленинградского Дома книги.

— Мы все любили свое дело. Был только один молодой человек в редакции, отличавшийся редким равнодушием. Я спросил его как-то: «Скажите, а на велосипеде вы любите кататься?» Он растерянно ответил: «Нет». — «Жаль, — сказал я ему, — если бы вы хотя бы велосипед любили... а то нельзя же ведь ничего не любить».

— Вы не слышали о Раисе Васильевой? Это была простая работница, выросшая за Нарвской заставой, одна из первых комсомолок и очень талантливая писательница. Мы с ней работали над книжкой о заставских ребятах «Фабрично-заводские». Она приходила ко мне домой после работы, и бывало так, что мы до ночи засиживались над рукописью. Однажды мы кончили работу так поздно, что я должен был сочинить расписку, чтобы избавить ее от семейных неприятностей. Там были такие строчки:

Дана расписка
В том, что Раиска,
Родионова дочь,
Провела со мной ночь.
Но чиста ее совесть,
Она правила повесть.
Ушла в семь с половиной
Совершенно невинной.

К сожалению, из этой книжки были напечатаны тогда только несколько глав, а вся рукопись была утрачена... Дело в том, что Васильеву арестовали по клеветническому доносу. Маршак попробовал за нее заступиться. На вечерах у Горького, где бывали члены правительства, существовало неписаное правило: не обращаться к ним ни с какими просьбами. Маршак решился нарушить запрет и во время ужина, отведя в сторону наркома Ягоду, попросил за Васильеву: «Я не знаю, в чем ее обвиняют, прошу только учесть, что она очень талантлива и очень больна» (у Васильевой был легочный туберкулез). Ягода записал ее имя в книжечку, обещал «разобраться». Но домой Раиса Васильева так и не вернулась, вероятно, погибла без следа.

О Горьком Маршак говорил с неизменным уважением, да и неудивительно: ведь тот дважды сыграл огромную роль в его судьбе. Первый раз, когда после знаменитого обеда на

загородной даче Стасова, на котором присутствовали Глазунов и Шаляпин, а Маршак-гимназист читал свои стихи, Горький принял в нем участие и на свой счет отправил талантливого мальчика учиться и лечиться в Ялту. И второй — когда он всей силой своего авторитета поддержал ленинградскую детскую редакцию.

В конце 20-х годов рапповская критика развернула настоящую кампанию против Маршака и его сотрудников.

— Вы не можете себе представить, что тогда обо мне писали, — рассказывал Самуил Яковлевич. — «Литературная газета» печатала статьи с заголовками через всю полосу: «Против халтуры в детской литературе». Я не выдержал и уехал из Ленинграда в Сибирь, в деревню. Это был год, когда шла «сплошная» коллективизация, я мог многое видеть своими глазами и никогда не пожалел об этом. Возвращаюсь из Сибири поездом, совсем в невеселом настроении. Сосед по купе, инженер, читает «Правду». Я заглянул: статья Горького. А в ней такие строчки: «Нельзя... травить талантливых Маршаков...» Мы снова могли работать. Распалась наша редакция только в 1937 году.

— Журнал надо вести так, чтобы каждый его раздел мог вырасти потом в отдельный журнал... Году в тридцать восьмом или тридцать девятом, когда я познакомился с Твардовским, мы мечтали с ним о своем журнале. Как я теперь понимаю — это должен был быть нынешний «Новый мир»...

— У нас нет настоящей истории русской поэзии. А я хотел бы прочитать такую историю, написанную без ученого щегольства и малозначащих подробностей, но из которой можно было бы понять, как жила наша поэзия со времени Пушкина. Скажем, у Пушкина слова «родина» и «государство» значили еще одно — вспомните «Медного всадника», «Отчего пальба, и клики, и эскадра на реке?..», «В надежде славы и добра». Он в чем-то остается наследником восемнадцатого века, высокой гражданской оды. Другое дело Лермонтов — для него понятия «родина» и «отечество» разошлись далеко. Это «странная» любовь к родине, к родине, но не к государству.

И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Хотя и это идет от Пушкина. Вспомните: «... теперь мила мне балалайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака...» Но традиция вельможного восемнадцатого века погублена Лермонтовым начисто. Личная, разговорная интонация (как в «Завещании» «...сказать по правде, очень никто не озабочен»), психология, частный быт, даже уменьшительно-интимные словечки — «глазки», «ручки», казавшиеся прежде невозможными в поэзии... Некрасов довершит эту демократизацию поэзии, отпадение ее от «державности».

— Вы знаете Свиридова? Это прекрасный наш композитор, он пишет музыку на поэтические тексты — романсы, оперы. И, представьте, не имел никакого успеха во Франции. Новейшим меломанам чужда музыка, связанная со словом. Сейчас вообще боязнь слова, изживание его в живописи, музыке, даже поэзии. Это и есть примета модернизма.

— Настоящая форма рождается не на поверхности, а где-то очень глубоко, вместе с содержанием. Где? — вот вопрос для психологов, для физиологов даже. Начинающих поэтов часто соблазняет звукопись, аллитерация. Но внешняя аллитерация — дело пустое. У Пушкина есть стихи, поражающие прелестью отсутствия аллитераций. Но вот Пушкин любил слово «милый», и многие его лирические стихи — совершенно произвольно, но не случайно, я думаю, построены на чередовании «м» и «л». (Тут я должен сделать примечание: в самом деле, по данным «Словаря языка А. С. Пушкина», слово «милый» употреблено поэтом 698 раз; для сравнения: «дорогой» — 58, «любимый» — 47. — В. Л.) Лучшая аллитерация, которую сам не сознаешь отдельно от всей музыки стиха. В одном сонете Шекспира ключевым у меня оказалось слово «думать», и произвольно сонет был прощит буквой «д». Когда я заметил это, то был очень удивлен и решил посмотреть, а как у Шекспира? Оказалось, у него аллитерация основана на звуке «th», соответственно английскому чтению этого слова.

— Вы что-нибудь пишете сейчас? В литературе, искусстве надо все время двигаться, иначе начнешь проваливаться в ямы. В молодости, во время путешествия за границей я видел американские мосты не из сплошного полотна, а из

перекрещенных стальных полос. Сделано это было для того, чтобы лошади и автомобили не застревали. Проехать по такому мосту и не провалиться в его дыры может лишь тот, кто быстро едет. Так и нам опасно останавливаться.

...Припоминаю, записываю еще звучащие в ушах слова Маршака, его милые шутки, парадоксальные суждения, неожиданные сближения и примеры из поэзии разных веков и стран — и сознаю с досадой, как мало передает все это живую прелесть, и блеск, и остроту, и разнообразие его разговора. А ведь слышу, до натуральности ясно слышу его голос: «Это так нужно мне, голубчик, такое живое общение. Иначе я и писать не могу, лучшие мысли приходят и проверяются в разговоре».

Маршак лежит после болезни в постели в расстегнутой у ворота белой рубашке, приподнимается с подушек, хватая сигарету и, задыхаясь, кашляя, говорит-говорит без отдыха. Просит принести чай, но не пьет, чай стынет в стакане. Сердится, когда ему напоминают, что врачи запретили ему курить и разговаривать подолгу... Ну что толку в этих предупреждениях, если он давно не садился за письменный стол, а свободная импровизация вслух — это его способ работы.

Порою он по-детски капризен, мнителен и нетерпелив, но зато и широк, отзывчив на чужую боль и беду. Я думаю, его требовательность к близким и друзьям, иной раз стеснявшая и тягостная, имела оправдание не в одном лишь темпераменте, но во всем деятельном складе его натуры; он всегда готов был помочь, поддержать, посодействовать, а не только вяло сочувствовать доброму делу. Тронутый чужой бедой или возмущенный несправедливостью, он немедленно, яростно хватался за телефонную трубку, чтобы вмешаться или помочь. Однажды мне пришлось наблюдать, как, лежа больной в постели и набирая номера телефонов, он переполошил весь аппарат ЦК комсомола, добываясь места в общежитии для молодого поэта. И часто слова, произнесенные слабым, но настойчивым голосом: «С вами говорит Маршак...» производили действие более решительное, чем любые формальные ходатайства и движение канцелярских бумаг.

Его готовность помочь была безотказной. Как-то я сказал, без намерения пожаловаться ему, что талантливая рукопись моего покойного товарища, которую я редактировал, застряла

в издательстве. «Кому я могу об этом позвонить?» — медленно откликнулся он.

Я говорил о том, как любил Маршак «пропеть», по выражению Твардовского, своим слушателям только что написанные им стихи или даже статью, — но и стихи других поэтов, в частности молодых, он мог читать и разбирать часами. Ему полюбили стихи Новеллы Матвеевой. Он с симпатией говорил о ней как о девочке из городского предместья, принесшей с собою поэзию пригорода. Н. Матвеева болела, ей трудно было самой приехать к Маршаку, и он, узнав по телефону, что у нее есть новые стихи, немедленно посылал за ними. Я был однажды свидетелем того, с каким волнением, ероша волосы и как-то смешно почесываясь от нетерпения, он ждал возвращения шофера с этими стихами, ждал, будто срочной телеграммы. А получив их, сел в постели, схватил листок дрожащими пальцами и тут же стал читать вслух. Потом заставил читать меня — и горячо обсуждал удачу и промахи каждой строчки.

Я часто навещал его вместе с Александром Трифоновичем Твардовским, чьей дружбой он по-особому дорожил.

В дружбе Твардовский был надежен. И его отношения с Маршаком, как и с Исаковским, Аркадием Кулешовым или Соколовым-Микитовым, составляли нечто трогательно постоянное. Но в отличие от многих людей, которые не любят делиться своими друзьями, Твардовский охотно соединял, связывал, сближал людей ему не посторонних. Узнав, что я пришелся Маршаку ко двору, он не раз уговаривал меня побывать в доме у Земляного вала вдвоем.

Тому несколько было причин: в компании веселее, да к тому же, «если пойду один, он замучит чтением стихов и поужинать забудет дать, а так мы вроде гости...», с обычным своим юмором объяснял Твардовский.

Любопытно, поучительно было наблюдать их рядом, — такими разными они были, с разными привычками, традициями, опытом жизни. Сдержанный, неторопливый, редко открывавшийся на людях Твардовский и весь кипевший нетерпением, жаждавший немедленного самовыявления Маршак. Но они оказывались неизменно близки, едва дело касалось понятий, каких оба держались в литературе.

Твардовский рассказывал, что вскоре после опубликования «Страны Муравии» где-то у вешалки в Доме союзов его окликнул незнакомый человек в шубе и меховой шапке:

«Неужели вы Твардовский?» А когда молодой, смущающийся поэт это подтвердил, Маршак, едва представившись, заключил его в свои объятия. Это была поистине счастливая встреча.

Маршак с его невероятными познаниями и живой памятью в разных областях культуры оказался для молодого поэта целым университетом на дому, соперничавшим по влиятельности с ИФЛИ, где Твардовский заканчивал свое литературное образование. В отношении советов, касавшихся литературы, Твардовский прислушивался к Маршаку более, чем к кому-либо. Маршак в пух и прах разнес те стихи для детей, которые Твардовский писал еще в Смоленске: он имел неосторожность предложить их вниманию старшего мастера как бы по цеховой принадлежности в одну из первых же встреч. Александр Трифонович долго вспоминал беспощадно честный отзыв Маршака и его слова, что писать для детей снисходительно, как бы между делом — это все равно что посещать церковь и не молиться.

Даже в стихах Твардовского слышны отголоски литературных разговоров с Маршаком:

...Как говорил старик Маршак:
«Голубчик, мало тяги».

Разница в возрасте между ними, казавшаяся огромной в молодые годы Твардовского, постепенно стиралась, и на моей памяти они были как бы на равных. Сохраняя уважительную дистанцию, Твардовский звал Маршака на «ты», но «Самуил Яковлевич», а тот его «Саша», при посторонних чаще «Александр Трифонович».

В последние десятилетия Твардовский был неизменным участником всех юбилейных комиссий, заседаний и чествований Маршака. В своих выступлениях на писательских собраниях и съездах он ставил Маршака в образец как мастера и труженика стиха, написал о нем блистательную статью. И по праву дружбы, в которой уже невозможно усомниться, разрешал себе подтрунивать над его чувствами.

Александр Трифонович комически возмущался, когда Маршак вел себя по отношению к нему слишком деспотически, требовал, скажем, неукоснительного посещения своего дома.

«Знаешь, Саша, я ведь в Ялту еду, а там знакомых людей нет... пустыня... поговорить не с кем будет. Приезжай. Вот ведь к Чехову в Ялту весь Художественный театр ездил», — жалобно сетовал Маршак. «Да ведь я не Художественный театр», — отбивался Александр Трифонович.

Ложась в больницу или санаторий, Маршак тут же звонил Твардовскому, вызывая его к себе. «И сказал бы по-человечески, — ворчал незлобиво Александр Трифонович, — мне в больнице скучно, приходи», я бы и поехал. А то: «Приходи, у меня много мыслей, надо поделиться». Да мыслей-то у меня самого до черта, не знаю, как их к делу приложить», — усмехался Твардовский.

Заметно было, что в упрямстве Маршака было что-то, что и раздражало его, и imponировало ему как «характерность» незаурядного человека.

«Уговорите его дать в «Новый мир» статью о молодых поэтах, — говорил мне Твардовский. — Натерпитесь с ним, но лучше-то вам никто не напишет. По поводу каждой запятой будет, правда, по шесть раз на дню звонить — и все же по-своему заставит сделать. Скажет: «А почему каждая глава не с новой страницы? Вам что, для меня бумаги жалко? Для сочинений Б. и Г. экономите? И потом — почему у вас в редакции так некультурно распоряжаются шрифтами? — постепенно «входил в образ» Твардовский. — Что это? ШЕКСПИР набрано крупно, а внизу петитом, даже и не прочесть: «В переводах Маршака». Передайте вашему малограмотному техреду, что испокон века печатается вверх страницы крупно: МАРШАК, а внизу помельче: «Переводы из Шекспира».

Начав в веселую минуту показывать Маршака, Твардовский не мог остановиться — Самуил Яковлевич был любимый герой его добродушных пародий.

— Он решил, что в «Новом мире» мы должны печатать его, как в Детгиздате... А ведь там что ни строчка, то целая страница с картинкой. Печатают, например, под рисунком: «Дуйте, дуйте» (и уже надо листать страницу), «Ветры в поле» (еще страница), «Чтобы мельницы» (опять страница), «Мололи...» (снова страница). А он еще недоволен: «Отчего так тесно? Дайте больше воздуха под рисунком: «Дуй-» (страница), «-те» (страница), «Дуй-» (страница), «-те» (страница)...»

Но, переходя с дружеской шутки на серьезный лад, Твардовский восхищался теми же строчками как образцом содержательной звукописи: вслушайтесь, будто четыре взмаха крыльев ветряной мельницы!

Маршак в свою очередь отвечал Твардовскому нежнейшей привязанностью, но когда, случалось, нарывался на его резкое, раздраженное словцо, по-детски обижался и начинал жаловаться: «Черствеет наш Трифонович... А ведь это опасно

для поэта. Он же по природе такой нежной души человек — это у него от матери. А вчера... он был больше похож на отца». Я пытался заступиться и за отца, и за сына, говорил, что это пустое недоразумение, вызванное задержанностью, усталостью Александра Трифоновича. Маршак меня не слышал. А на другой день Твардовский сетовал: «Замучил меня наш Маршачок: иди да иди к нему, стихи, мол, почитаем. Будто мне есть когда. Целый день вчера шли ко мне на прием по депутатским делам, и как нарочно, все по квартирному вопросу, словно это я здесь квартиры раздаю. Да и шли какие-то все несчастные — калечные, хромые, косоглазые... До стихов ли тут?» Но быстро менял гнев на милость и набирал номер телефона: «Ты меня слышишь, Самуил Яковлевич? Прости, если ненароком вчера тебя обидел... Худой мир лучше доброй ссоры... Ну, конечно, приеду...»

«Да, Саша, да... Я не держу на сердце, — вздыхал в трубку Маршак. — Только уж ты не откладывай, приезжай непременно сегодня».

Твардовский, бывало, вспоминал по разным поводам пушкинские строчки:

...Схватив соседа за полу,
Душу трагедней в углу.

«Маршак любит душить стихами поодиночке, — предупреждал Твардовский. — Он вам звонил? На когда назначил? На завтра? Ну вот! А меня сегодня просил прийти. А мы его перехитрим и явимся вместе».

Я отказывался, опасаясь быть лишним в их беседе с глазу на глаз, но Твардовский настаивал, и, случалось, мы являлись в дом на улице Чкалова вдвоем. Маршак встречал нас разочарованно и только из вежливости не говорил — зачем не порознь? А Твардовский хитро прищуривался и, разминая в руках сигарету, бросал в сторону мгновенный лукавый взгляд. «Мы только что из редакции... Владимир Яковлевич даже перекусить не успел». Маршак кивал сочувственно и как будто не слышал. «Садитесь, отдыхайте, я тут кое-что новое написал...» — говорил он, пока мы рассаживались в старых кожаных креслах или на диване сбоку от его рабочего стола. После первых расспросов о здоровье, о том о сем Маршак доставал свои листочки и располагался читать.

«Нет, нет, Самуил Яковлевич, — опережал его Твардовский. — Я прочел у античного лирика: прежде чем при-

глашать меня слушать твои стихи, умасти нас благовониями и напои фалернским вином».

«Да, да, — соглашался Маршак. — А ты уверен, Александр Трифонович, что... нужно вино?»

«Мне нет, но вот Владимир Яковлевич, — замечал, к моему смущению, Твардовский, — предпочитает придерживаться античного образца. То, что у тебя не найдется благовоний, он как-нибудь тебе простит, а вот что касается «горечи фалерна»...»

Я пытался возразить, но Маршак уже нажимал кнопку звонка, вызывая Розалию Ивановну. И в кабинет вскоре въезжал столик на колесах, на котором были искусно сервированы помидоры, яйца, зелень, колбаса и все прочее, что не могло помешать оживленной дружеской беседе.

Наступал наконец момент, когда Маршак считал возможным приступить к чтению. Заметно волнуясь, он перебирал листочки, подносил их к самым глазам и одно за другим читал свои новые четверостишия и восьмистишия, названные им потом «Лирическими эпиграммами».

Твардовский слушал молча, внимательно. Когда Маршак делал паузу перед следующим стихотворением, неторопливо затягивался сигаретой, говорил: «Так. Еще». Иногда: «Берем», «И это берем», — означало, что редакция напечатает стихи в очередном номере «Нового мира». Иногда делал короткие, быстрые замечания.

Вот Маршак читает:

Без музыки не может жить Парнас.
Но музыка в твоём стихотворенье
Так вылезла наружу, напоказ,
Как сахар в разложившемся варенье.

«Разложившемся» — нехорошо, — замечает Твардовский. — Варенье засахаривается, твердеет, а не разлагается».

«Да, да, Саша, — соглашается Маршак, — пожалуй, ты прав. К тому же словечко скользкое: «разложившиеся элементы», уводит ассоциацию... А что, если так: «Как сахар прошлогоднего варенья»?»

Твардовский кивает, и Маршак берет в руки следующий листок.

Все умирает на земле и в море,
Но человек суровой осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.
Но, сознавая жизни быстротечность,

Он так живет — наперекор всему,—
Как будто жить рассчитывает вечность
И целый мир принадлежит ему.

«Хорошо,— говорит после паузы Твардовский.— Я бы только одно словечко заменил». — «Какое?» — «И *целый* мир принадлежит ему». Лучше: «И *этот* мир принадлежит ему».

Маршак читает следующую «эпиграмму»:

Как вежлив ты в покое и тепле.
Но будешь ли таким во время давки
На поврежденном бурей корабле
Или в хвосте у модной лавки.

Твардовский морщится. «Самуил Яковлевич, помилуй бог, какие сейчас модные лавки? Это что-то из Грибоедова или Крылова». Маршак сопротивляется: «Нет, Саша, нет... Значит, до тебя не дошло...» — «Как знаешь... — кротко вздыхает Твардовский. — А что, если последнюю строчку так: «Или в толпе у керосинной лавки?»

И Маршак безропотно: «Да-да, пожалуй, так лучше... Прочти теперь ты, как получилось», — и он передает листок с выправленным четверостишием Твардовскому...

Похвалы Твардовского после конца чтения немногословны, скромны, но весомы. Похоже, что Самуилу Яковлевичу их не хватило, но все же он доволен.

От Маршака не раз мы возвращались вместе. Я провожал Твардовского Яузским бульваром до Котельников, где он жил, и по дороге Александр Трифонович говорил:

«А все же он — единственный в своем роде! Сколько людей притворяются, что им нужна литература, поэзия. А Маршак литературой живет, ничего другого ему на свете не надо... Много раз я уговаривал его купить дачу, и сам он стонет, что задыхается, особенно летом — за стеклами-то Садовое кольцо... Но дачи нет и не будет. Он жалуется, что не знает, где ее купить, как это делается и тому подобное, а на деле боится загородной жизни и с места не стронется. Предпочтет задыхаться от бензиновой вони, глохнуть от шума в центре Москвы. Но здесь телефон, его тормозят, звонят, приходят, мешают, и, поверьте, это ему сладко. На даче делать нечего будет — труднее кого-то позвать, стихи прочесть, мыслями поделиться... Мне на него его шофер жаловался: заставляет «Капитанскую дочку» читать... Тот чуть не плачет...»

Этот рассказ о шофере Маршака я слышу от Александра 475

Трифоновича уже не в первый раз. Наблюдая его муки, Твардовский из гуманности решился даже поощрить криводушие. «А ты скажи, что прочел...» — присоветовал он. «Как же, скажешь ему, — возразил шофер, — а он спросит: «А понравилось ли?» — «А ты скажи, что понравилось». — «А он скажет: «А что именно понравилось?..» В своей жажде сеять просвещение Маршак никогда не останавливался на подороге.

Твардовский любил подтрунивать над слабостями Маршака, но никогда не делал это обидно: в его комическом отражении Маршак предстал как бы еще симпатичнее, человечнее, живее.

22 ноября 1963 года был редкий на моей памяти случай, когда мы сошлись втроем не у Маршака, а, напротив, у Твардовского, в высотном доме на набережной Яузы. Вместе обедали, потом пили чай за круглым столом в кабинете. Маршак читал новые переводы из Вильяма Блейка, рассказывал, какую пишет статью для «Нового мира». Твардовский делился впечатлениями от записок лечившего Некрасова доктора Белоголового, которые тогда читал. Говорили о том, какое несчастье ложь в литературной жизни, и Твардовский, достав с полки том Слепцова, вычитывал из него что-то смешное, а Маршак цитировал «Театральный разъезд» Гоголя.

В соседней с кабинетом комнате работал телевизор. Вдруг посреди мирного разговора вбежала в комнату младшая дочка Твардовского Оля и выдохнула на пороге: «Покушение на Кеннеди». Ушла и снова вернулась через 10 минут: «Скончался».

Оборвались разговоры — стало тревожно, тяжело, не по себе всем. Пошли к телевизору: на экране возобновилась то ли оперетта, то ли конкурс эстрадной песни. Маршак заговорил, и оказалось, что мы, не сговариваясь, подумали об одном: что-то вдруг сдвинулось в ходе большой истории, и кто знает, может быть, война стала ближе. «А я ведь должен был с ним встретиться», — сказал Твардовский. (Готовилась его поездка в Америку в обмен на визит к нам Роберта Фроста, и известно было, что президент Кеннеди примет его.)

Оля тихо заплакала. Твардовский ходил крупными шагами по комнате, остановился у темного окна, потом молча углубился в вечернюю газету.

«Так бывает, — нарушил общее молчание Маршак. — Жизнь ползет себе потихоньку, будто минутная стрелка, и вдруг — часы пробили». Он опустился на диван, сильнее

сгорбился, уронив голову вниз, опершись подбородком на палку, и стал негромким стариковским голосом утешать Ольгу: «Не плачь, Оленька, ты еще много хорошего увидишь». И было, как всегда, от таких слов немного неловко.

Мы разъехались по домам, а спустя несколько дней кто-то из общих знакомых завел с Маршаком разговор о том, что вот сколько-де пустяков описывается в рифму, а события, к которым не безразличны миллионы людей, плывут мимо. «Вот убийство Кеннеди,— сказал собеседник Маршака,— ведь никто из поэтов не догадался на это отозваться...» — «Я догадался», — возразил Маршак и стал шарить по столу в поисках нужного листка. После я узнал, что в его архиве осталось незаконченное стихотворение, навеянное впечатлениями того вечера.

«Нет, когда его не станет, не раз еще мы его вспомним», — неизменно говорил о Маршаке Твардовский.

Последнее время недуги старости сильно мучили его, к обычной одышке и кашлю прибавилась болезнь глаз, грозившая потерей зрения, но я почти не замечал в нем следов апатии и вялости. Напротив, больной и немощный, он по-прежнему поражал своей жадностью к новым людям, событиям, книгам. Достаточно было ему узнать о новом интересном имени в литературе, как он тут же спрашивал: «А вы с ним знакомы? Что он за человек?» И немного спустя: «А почему бы ему не познакомиться со мной? Милый, приведите его ко мне...» Он ничего не желал упустить. Стоило упомянуть при нем о какой-нибудь неизвестной ему книге, и он тут же начинал упрашивать достать ее. Так я принес ему редкое издание писем Станкевича, «Основные течения американской мысли» Паррингтона и многое другое. Я понимал, что катаракта на обоих глазах делала для него чтение почти невозможным, но просьба его была искренней — ему важно было знать, что он не прошел мимо этих книг и в любой момент может открыть их...

Последний раз мне пришлось навестить Самуила Яковлевича вместе с Твардовским 16 июня 1964 года — я вряд ли бы запомнил эту дату, если бы последующие события так часто не возвращали к этому дню мою память. А так — это был обычный вечер у Маршака с разговорами, шутками, чтением стихов, небольшим импровизированным ужином. Вначале, правда, Маршак показался мне слабее обычного, он больше слушал, чем говорил. Но мало-помалу разошелся и

даже, оставив мензурку с каплями, захотел выпить с нами рюмочку коньяку, которую я сам вложил в его руку — глаза отказывались ему служить. Он был таким же, как обычно, но временами посреди разговора тяжело закашливался, «заходился» — и становилось неловко, вдруг чувствовалось, что мы сидим у тяжелобольного человека, а он не хотел этого знать и не отпускал нас.

Говорили о переводе «Теркина» на английский язык, о предисловии, которое Маршак написал для этого издания, о письме Твардовскому Чарлза Сноу, сообщавшего, что он собирается в Россию, где он хотел повидаться и с Маршаком, о политических и литературных новостях, о детских книжках. Маршак возмущался тем, как портят язык иные авторы детских книг, и говорил, что надо написать об этом статью. То и дело возвращался к предстоявшей ему операции глаз и волновался, что врачи откладывают ее. Все его речи, замыслы, предположения упирались в одно: «Вот снимут мне катаракту, тогда...» Казалось, он жил в ощущении того, что перед ним вот-вот откроется новая эпоха жизни: хотел продолжить «Беседы о мастерстве» и начатую статью о Шекспире, мечтал выпустить книжку «Лирических эпиграмм», собирался осенью поехать на шекспировские торжества в Англию, поговаривал о большой статье, посвященной искусству редактора и памяти Т. Г. Габбе, надеялся посетить в Малом театре премьеру своей сказки...

Случилось так, что две недели спустя я, после короткой поездки в Таллин, возвращался самолетом в Москву. Благодушно откинувшись в кресле, развернул газету «Советская Эстония» и вдруг увидел под передовой краткое извещение Совета Министров — умер Маршак...

Казалось, вчера только я обнял его на прощанье, уходя из его квартиры на улице Чкалова...

Припомнились слова Маршака — в искусстве надо ездить быстро, чтобы не проваливаться в ямы. Его поезд не подошел, медленно тормозя, к перрону, а остановился вдруг, на полном ходу. И рядом с общим горем и сожалением я испытал острое чувство личной потери, словно из моей жизни ушло что-то, чем я в обыденной нашей сутолоке забывал дорожить. Зачем когда-то за пустым делом поторопился от него уйти, а когда-то не дослушал, что он говорил, или сам мог пойти к нему, да не пошел... Поздно!

ЕГО СЕКРЕТ



едко, очень редко, но бывают люди, которые оставляют в памяти и в душе друзей такой след, что о них необыкновенно трудно, почти невозможно писать в прошедшем времени. Живым представляешь такого человека без всякого труда.

Видишь его. В ушах звучит его голос. Можно даже угадать, что человек этот сделает, как поступит в той или иной ситуации. А вот вспоминать о нем трудно. Так и кажется, раздастся телефонный звонок, послышится знакомый, очень знакомый голос и скажет веселой стариковской скороговоркой: «Дорогой, ну что вы там обо мне наговорили? Зачем это, голубчик? Кому это нужно?..»

К таким вот людям принадлежал Самуил Маршак. И, вероятно, поэтому, несмотря на то, что я любил этого необыкновенного человека, пишу о нем воспоминания одним из последних.

Самуил Маршак! Это имя я знал еще в своей, увы, уже очень далекой комсомольской юности. Мы говорили при случае: «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной». Не без законного стеснения признаюсь, что рисковал даже когда-то по памяти декламировать «Мистера Твистера», эту детскую поэму, которая, ей-богу, не потеряла своей свежести и остроты во взрослом обиходе до сегодняшнего дня. Но стихи эти, как и все настоящие стихи, жили как бы сами по себе, в отрыве от автора, и с самим Самуилом Яковлевичем, создавшим их, я познакомился уже во время войны в редакции «Правды», куда он вместе с художниками Кукрыниксами давал свои политические, как тогда говаривали, блицфельетоны, иллюстрируемые этими тремя мастерами, и куда я, как

военный корреспондент, изредка наезжал с фронта. Впрочем, «познакомился» не то слово. Просто почтительно пожал руку коренастого подвижного человека с тростью в руках, человека простодушной внешности, в учительских очках в тонкой металлической оправе, с широким, будто тронутым оспой лицом, на котором где-то, не то в глазах, не то в уголках рта, не то в морщинках, незаметно жили эдакие веселые чертики.

Да и позже, после того, когда мы несколько дней сидели с ним рядом в президиуме Второго съезда советских писателей, настоящего знакомства не произошло. Несколько вежливых фраз — это не знакомство. И хотя я по старой памяти оставался поклонником его музыки, обладавшей великолепным, почти волшебным даром перевоплощения, хотя к тому времени именно он, Маршак, по-настоящему открыл для меня Роберта Бернса, Дж. Байрона, Вильяма Шекспира, Генриха Гейне, мы были лишь вежливыми собеседниками: «Ну, как вы себя чувствуете?» — «Ничего, неплохо, спасибо. А вы?»

По-настоящему Самуил Маршак открылся для меня как поэт и как человек лишь зимой 1955 года в совместной поездке в Шотландию на бернсовский фестиваль. Поездка эта оказалась для меня неожиданной. Много дел было в Москве. Бернса я знал еще плохо, лететь в Шотландию мне было не с руки, тем более что в делегации будет знаменитый переводчик Бернса Самуил Маршак и знаток английской литературы профессор Анна Елистратова.

Встреча на Внуковском аэродроме, помнится, не улучшила настроения. Самуил Яковлевич появился в тяжелой шубе, в бобровой шапке, какие у нас зовут «бойсками», с крючковой тростью в сопровождении стайки суетливых дам разных возрастов, которые на ходу закутывали его в кашне и шарфы и проявляли такие шумные заботы о его здоровье, что на его месте было бы просто бессовестно тут же не занемочь. И он действительно слабым, дребезжащим голосом сообщил, что чувствует себя неважно.

— Голубчик мой, — говорил он, покашливая, — я в авиации профан. Это очень тяжело?.. Вы знаете, голубчик, у меня сомнения — как я все это перенесу? Лететь надо. Врачи запрещают. Но я все-таки вот лечу... Как-никак бернсовский фестиваль. Для этого можно рискнуть... И они так трогательно, так настойчиво приглашали, эти самые организаторы.

Он стоял, тяжело опираясь на вопросительный знак своей трости, грузноватый, хилый, растерянный, и красивая молодая женщина, жена его сына, летевшего вместе с нами,

старательно кутала его шею теплым мохнатым платком. Что греха таить, кошки скребли у меня на душе. А вдруг? Всякое бывает. Пронеси, господи, хотя бы первый отрезок пути до Копенгагена.

Введенный под руки все теми же заботливыми дамами, к которым, вероятно, по корпоративному женскому чувству присоединилась и стюардесса, Самуил Яковлевич был бережно усажен в кресло, еще раз окутан шарфами и кашне, и наказы беречься, вовремя ложиться спать и, не путая, принимать лекарства перебил лишь вой прогреваемых моторов.

По старой военной привычке не терять времени даром я уснул сразу же, как только самолет поднялся в воздух. Но, вопреки обыкновению, проснулся необычайно быстро: кто-то энергично сильной рукой тряс меня за плечо.

— Голубчик, извините, один, только один вопрос... Вы в авиации свой человек, — возле моего кресла стоял Маршак; шуба, шарфы, боярская шапка и палка с крючком — все это валялось на соседнем кресле, а он стоял будто преобразенный, крепкий, коренастый, энергичный, даже моложавый, — ведь, кажется, они положили наш багаж в передний отсек? Ведь так? Ведь правда? Я не ошибаюсь?

Мы летели на самолете ИЛ-12, где багаж действительно клали в переднем отсеке, сразу же за пилотской кабиной.

— Там чемоданчик из крокодиловой кожи. Маленький такой чемоданчик. Голубчик, вы в авиации свой человек. Как нам достать этот чемоданчик, а? Вы его сразу узнаете — небольшой, крокодиловой кожи. Это сейчас очень важно. И вам, вероятно, это ничего не стоит, ведь вы же написали повесть о летчике...

Уразумев наконец, что от меня хотят, скажу прямо, без особого удовольствия, я подтвердил, что чемоданчик крокодиловой кожи, вероятно, достать действительно можно. Но зачем? К чему возиться? Мы же часа через два будем в Копенгагене.

На широком лице Самуила Яковлевича появилось прехитрейшее выражение, отчего это лицо тоже сразу помолодело.

— А в этом чемоданчике крокодиловой кожи у меня коньячок. Чудесный армянский коньячок «Двин». Четыре звездочки. Мне кажется, сейчас самая пора выпить хороший коньячок. Ведь я не ошибаюсь, нет? Ведь на этот счет в авиации нет каких-нибудь предрассудков?

Предрассудков в авиации на этот счет не было. Бутылка была извлечена из чемоданчика крокодиловой кожи, прогулялась по всему салону. Пассажиры пришли в от-

личное настроение, и я больше всех, ибо видения сердечных приступов, нитроглицерина, свинцового гроба — все, что обступало меня на аэродроме, — исчезли, сгинули. Передо мной был совсем другой, незнакомый, веселый, жизнерадостный Маршак, с твердым голосом, с юношеской озорной, и веселые чертики, теперь уже не таясь, прыгали в его близоруких глазах за толстыми стеклами очков.

Вот с этим-то, новым для меня, обаятельным, жизнерадостным Маршаком совсем не похожим на расслабленного, избалованного старика, каким он выглядел в окружении заботливых дам на аэродроме, мы с профессором Елистратовой и сыном Маршака, инженером, — его Самуил Яковлевич называл Маршак-юниор, — и совершили чудесное двухнедельное путешествие по бернсовским местам Шотландии и Англии, которое и сейчас, много лет спустя, вспоминается как одна из самых интересных моих поездок.

Обаяние Маршака, умевшего чувствовать себя отлично в любой незнакомой среде, однако не сливаясь и не теряясь в ней, создавало вокруг нашей маленькой советской группы атмосферу тепла и доброжелательства. Поэта на Британских островах отлично знали; его, как старого друга, приветствовал и знаменитый современный шотландский поэт Хью Мак-Дайармид, которого считают современным Бернсом, и шахтеры из копей Эйра, поклонники своего великого земляка, знающие наизусть все его стихи, и знаменитые шотландские винокуры, столетиями держащие в своих руках секрет приготовления виски «Белая лошадь», и мэр столицы Шотландии Эдинбурга, устроивший прием в честь участников фестиваля в городской ратуше. У всех находились для Маршака слова восхищения. Его просили снова и снова читать свои переводы, и «неистовый Хью», как зовут в Шотландии Мак-Дайармида, во время одной совместной телепередачи заявил, что ни одному еще английскому поэту до сих пор не удалось так хорошо и тонко перевести шотландские стихи Бернса на английский язык, как Маршаку на язык далекой России. Выступление это, переданное по всем Британским островам, вызвало бурный отклик телезрителей. Вопросы. Недоумения. Возмущения. Восторги. Крупнейшие телекомпании просят Самуила Яковлевича читать стихи по-русски. Читает. С присущей ему веселой озорной тоненьким голосом рубит:

При всем при том,
При всем при том,
Хочу вам предсказать я...

Новые отклики, шум, гам. Так понемногу поэт, приехавший из России, становится лидером фестиваля. Его снова и снова заставляют читать русские переводы. Музыка этих переводов так мелодична и выразительна, так удивительно близка звучанию шотландских оригиналов, что это поражает и шотландских, и английских слушателей.

Недаром в финале торжества, после ритуального съедения знаменитого шотландского национального блюда — хаггиса — бараньего желудка, набитого черной кашей, Самуилу Яковлевичу устраивают бурные овации, а при исполнении шотландского народного гимна «Олд лэнг сайн»¹, который, ритмично покачиваясь и ухватив друг друга за руки, поют все присутствующие: и знаменитые поэты, и лорды, и случайно оказавшиеся в зале официанты, во время этого почти священнодейственного обряда пожилой коренастый поэт из России оказывается между женой мэра и знаменитой английской киноактрисой, автографы которой оцениваются солидной цифрой с нолями. Это не было дипломатической вежливостью или вполне понятным в данном случае уважением к возрасту участника фестиваля. Были там люди и постарше, обремененные всяческими титулами и званиями. Нет. Это было, и мы чувствовали это все время, проявлением уважения к удивительному таланту Маршака, его любви к Бернсу, к его поразительному умению, обладая совершенным знанием языка русского, как бы перевоплощаться в этого гордого, беспокойного, иронического, веселого шотландца, который превыше всех титулов, наград и официальных признаний ставил любовь своего народа.

Вот в эти дни я и познал силу поэзии Маршака.

Обратно мы возвращались на французском самолете компании «Эр-Франс». Нелегкая даже для меня, человека в те дни среднего возраста, поездка отлично завершилась. Даже профессор Елистратова, в силу своего высокого ученого звания, естественно оценивавшая наши гастроли с самых критических позиций, как мне кажется, была довольна. Мы подлетали к Москве.

Хью Мак-Дайармид, с которым во время фестиваля я очень подружился, подарил мне на прощание книгу стихотворений знаменитого первого, так называемого «Кильмарнокского» издания произведений Бернса, сделав на ней милую дарственную надпись. Все это происходило в при-

¹ «Старая дружба» — песня на слова Бернса, переведенная С. Маршаком.

существовании шотландских литераторов, в каком-то старом кабачке, размещавшемся в подвале. Все были в прекрасном настроении, и постепенно эта книга украсилась всяческими дружескими пожеланиями в адрес советской литературы и нашей страны.

И вот, когда на световых табличках уже появились надписи: «Привяжите себя к креслу» — и тоненькая, как хлыстик, стюардесса обнесла нас никому не нужными леденчиками, Самуил Яковлевич вдруг снова потряс меня за плечо.

— Эта библиографическая диковинка у вас с собой? Дайте-ка мне ее, голубчик. Они чудесные люди, эти шотландцы, великолепные, я не могу не присоединиться к надписям, которыми они ее испортили.

Уже плыли под крылом самолета огни Подмосковья, когда Самуил Яковлевич вернул мне книгу. В добавление к шотландским автографам он дописал на третьей странице свой перевод знаменитого бернсовского стихотворения «У которых есть что есть» и задорные стихи собственного, мгновенного сочинения. Вот они:

На фестивале мы побывали,
Мы ели хаггис и пили джин,
И без закуски коньяк французский,
И очень много различных вин.

Но в строгой тайне пусть это будет,
Смущать не станем мы земляков.
Пуускай в Союзе нас не осудит
Уже непьющий Ф. В. Гладков¹.

Книга пошла по рукам пассажиров. Под общий смех, вызванный этим веселым, озорным стихотворением, мы приземлились на Внуковском аэродроме. И тут на трапе самолета произошло обратное мгновенное перевоплощение. Едва оказавшись в толпе встречающих его лиц, Самуил Яковлевич преобразился. Стоял, тяжело опираясь обеими руками на свою палку, покорно давал заботливым дамам окутывать себя кашне, шарфами и слабым голосом уверял всех, что это просто счастье... случайность... стечение обстоятельств... что он все перенес, выдержал и вернулся на родину живым.

¹ Шутка эта — ответ на выступление Федора Гладкова на Втором съезде советских писателей, где он критиковал литераторов за неумеренное употребление алкоголя.

Потом, когда я начал редактировать «Юность», одним из учредителей, организаторов и болельщиков которой был С. Я. Маршак, мне приходилось общаться с ним довольно часто. По возрасту и состоянию здоровья он не мог посещать редакционных коллегий, да от него этого никто и не требовал. Но я не ошибусь, если скажу, что в довольно обширной редакции «Юности», иные члены которой годились во внуки Самуилу Яковлевичу, не было человека, который бы более активно участвовал в жизни журнала. Никто не читал верстку с таким вниманием, как он. По прочтении и мне и другим соредакторам приходилось подолгу слушать по телефону его критические замечания, записывать его заметки. Иногда это вызывало недовольство: старик просто брюзжит. Но после совместной поездки по Шотландии я не верил в его стариковское брюзжание, а замечания его, хотя всегда довольно язвительные по форме, неизменно оказывались резонными и тонкими.

Несколько последних штрихов. Вот Самуил Яковлевич у себя дома за обеденным столом читает свое самое последнее произведение — пьесу «Умные вещи». Среди других приглашенных и мы, как он нас называл, юниоры, то есть работники «Юности» — Леопольд Железнов и я. Читает, слушаем. Чай, лимон, сушки, больше ничего. Бодро звучит хриловатый напористый голос. Умные вещи! Вещь, изделие рук человека, воплощение мастерства. Тема! Но не темой, а каким-то особым внутренним, глубоко прочувствованным сказочным миром пленяет всех эта последняя пьеса. И персонажи-то вроде традиционные. И глуповатый царь, и вздорная царица, и тупой придворный, и умные портные. И все-таки все новое. Маршаковское. Согретое маршаковским юмором. Напечатать без подписи, все узнают автора. Берем! Вопреки традиции «Юности» не печатать пьес и киносценариев, берем. Старик доволен. Мы тоже. Яростно пьем чай. Грызём сушки. Даже по такому случаю Самуилу Яковлевичу дома не дают поблажки.

И вот последняя страница, как бы завершающая для меня портрет этого удивительного писателя. Лето. Пьеса «Умные вещи» публикуется в журнале. Мы уже все знаем, автор тяжело болен, лишился зрения, дни его сочтены. Его не разрешают беспокоить посещениями. И, несмотря на это, он требует, именно требует, гневно требует листы верстки. Посылаем, разумеется, так, для вежливости. До рукописи ли человеку, когда врачи ведут борьбу за каждую минуту его жизни?

И вдруг мне на дачу в Болшево звонок. Женский голос:
— С вами хочет говорить Самуил Яковлевич.

Зная его состояние, я, признаюсь, подумал: скверный розыгрыш. Сразу же приходит на ум один наш общий знакомый, который умеет отлично его изображать. Я уже готов соответственно отреагировать на эту, как мне кажется, неуместную шутку, а в трубке уже слышится:

— Бога ради, простите... Я, голубчик, беспокою вас на отдыхе. Ведь да? Ну вот, видите!.. Я насчет верстки. Мне ее прочитали. Извините, но вот беспокою вас, надо внести некоторые поправки. Да-да, очень существенные поправки. Так что, голубчик мой, примите их по телефону.

Все, все знаю. И то, *как* он болен. И то, *сколько* ему осталось жить. Неужели это действительно звонит он? Нет, конечно же розыгрыш. И я говорю как можно суше и бюрократичнее:

— Не понимаю, о каких поправках речь.

И тут я слышу то, что сразу убеждает меня, что это не мистификация, что я говорю с настоящим Маршаком, с поэтом, находящимся при смерти.

— Голубчик мой, вы, наверное, слышали, я ослеп. Ничего не вижу. Но гранки мне прочли. Поверьте, там есть серьезные огрехи. Нет-нет, не ваши, а мои огрехи... Гранки перед вами? Найдите страничку такую-то. Нашли? Реплика царя. Разве царь может так говорить? Возьмите карандашик, я вам продиктую поправку.

Мне становится страшно.

— Самуил Яковлевич, я к вам заеду. Журнал потерпит.

— Нет, нет, нет, это мы с вами можем потерпеть, а журнал терпеть не может. У нас миллионы читателей, им надо вовремя доставлять журнал. Записывайте. — Это звучит уже как приказ.

Записывал и думал: вот это художник! Художник каждой клеткой своего существа, художник до последнего дыхания. Записывал и радовался — нет, есть еще порох в пороховницах, не иссякла казачья сила. Раз так активно живет, трудится, стало быть, дело пошло на поправку. Ведь не может же человек подниматься со смертного одра, чтобы править обыкновенные гранки.

С облегчением положил на рычаг трубку: значит, все не так страшно. Но уже на следующий день слушали мы сообщение о кончине Самуила Яковлевича Маршака.

ВНУТРИ РАДУГИ



В большом доме на улице Чкалова жил Самуил Яковлевич Маршак. Сейчас к фасаду дома прикреплена мемориальная доска с барельефом Маршака. На других досках выбиты силуэты летчика Чкалова, художника Юона, композитора Прокофьева, скрипача Ойстраха. Когда я впервые пришел сюда, вскоре после войны, многих знаменитых соседей Маршака можно было встретить возле дома, у лифта, на лестничной площадке, обменяться с ними вежливыми поклонами. Самого Маршака я запомнил бодрым, деятельным, торопящимся с новыми стихами в «Правду», в Детгиз — с корректурами, в Союз писателей — на заседание комиссии по детской литературе, которую он возглавлял. Потом запомнил подточенным тяжелой болезнью, слабым и немощным. Таким немощным, что он с трудом брел из спальни в кабинет, пошатываясь и держась за стенку или тяжело опираясь на палку. Я помнил его большим и грузным, чем-то похожим (как верно заметил однажды автор «Республики Шкид» литературный крестник Маршака Алексей Иванович Пантелеев) на дедушку Крылова, и помнил сильно исхудавшим, осунувшимся, в неизменном домашнем полотняном костюме, который висел на нем теперь совершенно свободно, словно безразмерная больничная пижама.

Иногда Маршак жаловался:

— Сегодня я совсем плохой, сонный.

Но, усевшись за письменный стол и заговорив о стихах или привычно потянувшись за папкой с рукописями, он неизменно оживлялся.

Увы, порой случалось так, что на просторном этом столе,

заваленном ворохом гранок, книгами с дарственными посвящениями, письмами читателей, нужной папки как раз и не оказывалось. Некоторое время Маршак близоруко шарил на столе.

— Розалия Ивановна!..— Торопливо раз, другой, третий он нажимал кнопку звонка.— Розалия Ивановна!..— Самый долгий и сердитый звонок.— Опять куда-то засунула мою папку.

Появлялась невозмутимая Розалия Ивановна. И заветная папка, слава богу, обнаруживалась под другими папками на диване, за спиной у Самуила Яковлевича. Затягиваясь папиросой, Маршак недовольно ворчал:

— После моей смерти напишите про меня, как про Шекспира, что Маршака не было. Ведь Розалия теряет все мои рукописи.

Он отхлебывал кофе и раздраженно отодвигал чашку:

— Розалия всегда сделает какую-нибудь гадость.

Розалия Ивановна брала чашку и, оскорбленно поджав губы, уносила ее на кухню.

Маршак (вдогонку):

— Куда вы унесли чашку с кофе?

Розалия Ивановна:

— Но там уже ничего не было, и он холодный.

— Нет, было.

— Я вам покажу.

Маршак:

— Всегда ей надо доказать свою правоту...— Мне с досадой: — Единственная должность, которую Розалия может исполнять, — императрицы. Никому не надо подчиняться. Вы не знаете, нет ли свободной должности императрицы?

На стол возвращается злополучная чашка. Действительно, кофе остался на самом доньшке.

— Ну так надо было долить, а не уносить, — говорит Маршак примирительно.

И этот инцидент, кажется, исчерпан. Самуилу Яковлевичу не терпится читать.

Еще одна глубокая затяжка папиросой.

— Я, знаете, паровоз, который еще не перевели на электрическую тягу. Без дыма не могу.

Он открывает новую пачку.

— Ну вот, теперь можно спокойно приступить к чтению.

Из всех писателей, которых я когда-либо знал, Маршак 488 был самый доступный. Такую готовность общаться с людьми

не часто можно встретить. Каждый новый незнакомый человек внушал ему интерес.

Иной гость Маршака мог, пожалуй, и удивиться. Ведь не кто иной, как Самуил Яковлевич, внушал в 1935 году писателю Степану Злобину, пораженному огромной работоспособностью старого, по тогдашним его, Злобина, представлениям, человека:

— Мне сорок восемь лет. Мне дурака валять некогда.

Что ж, наверное, с тех пор Маршак сильно переменялся, если так нерасчетливо расходует время на своих гостей. Но это было необходимой частицей в режиме его дня.

Вспоминаю первую встречу с Маршаком в 1939 году. Я только что окончил институт и работаю в «Правде» литературным сотрудником. Приходят прозаики и поэты. Именитые, не задерживаясь, отправляются прямо в кабинет редактора отдела. Не столь именитые несут рукописи его заместителю. И те и другие минуют мой стол. Пришел Самуил Яковлевич и первым делом подсел ко мне. Дружески стал расспрашивать, кто я такой, откуда взялся.

Потом я не раз имел возможность оценить пристальный интерес Маршака к людям и настоящее колдовское умение почти мгновенно расположить к себе. Придет поэт-дебютант, срывающимся от страха голосом читает стихи. Придет по вызову незнакомый врач, держится со своим пациентом сухо, официально. Но Маршаку порой достаточно было всего несколько минут, чтобы рассеять смущение и натянутость. У молоденькой медсестры Вали, которая впервые пришла к Маршаку и робко раскладывала на краешке стола шприцы для укола, он успел выведать, что скоро ей сдавать экзамен по латыни. Из бездонной кладовой своей памяти Самуил Яковлевич извлекает на свет божий латинские стихи, наизусть читает Горация, потом без запинки повторяет латинские склонения и спряжения:

— Видите, как хорошо получается. А ведь я это лет шестьдесят назад учил.

С застенчивым молодым человеком из журнала «Библиотекарь», явившимся за корректурой статьи, Самуил Яковлевич беседует, как делать такой журнал. И хотя сегодня у Самуила Яковлевича много неотложных дел и сверхсрочная верстка сборника, он, не перебивая, выслушивает затянувшуюся речь гостя, который, забыв застенчивость, обрел дар красноречия.

(Замечу в скобках, что после визита очередного посетителя Маршак не то шуточно, не то серьезно, с обидой, не то с

гордостью говорил: «Ко мне приходят робея, как школьники, а уходят, как равные. Ох, наверное, я мало похож на знаменитого писателя».)

Сам он любил повторять, что без общения с другими душами собственная наша душа мелеет. Для него общение с людьми было творческой необходимостью, настоящей потребностью, такую же, как сочинять книги, думать, читать, переводить.

На склоне лет, когда Маршак стал реже выходить из дома, меньше всего он напоминал отшельника, запертого в четырех стенах. Круг людей, с которыми он повседневно был связан, не только не сузился, а даже расширился. Английский друг Маршака, депутат парламента Эмрис Хьюз, погостив несколько дней в Москве у Самуила Яковлевича, недоуменно разводил руками:

— За день к Маршаку приходит больше народа, чем на заседания английского парламента.

Часто он звонил мне поздним вечером: «Здрасьте, голубчик. Здрасьте, милый. Чем заняты? Что делаете?» Я стыдился признаться, что уже сплю, и в ответ мычал что-то неопределенное. «Ну вот и отлично, — перебивал Маршак, убежденный в том, что застал меня за столом, — ночью хорошо работается... Я, знаете, только что в «Литературной газете» прочитал статью (стихи, рассказ)... — и он называл имя молодого критика (поэта, прозаика). — Кто это? Алло! Вы с ним знакомы? Алло! Серьезный молодой человек, говорите? Я так и подумал... Алло-алло! Передайте ему, пожалуйста, чтобы он постарался со мной повидаться. Пусть только не откладывает надолго. А то у меня, знаете ли, времени мало остается».

Вот так всегда! Если что-то его обрадовало или же сильно раздосадовало, ему надо было, не медля ни минуты, с кем-то поделиться радостью или негодованием. Вычитав однажды в комментариях к пушкинскому «Борису Годунову», что слова «нюхать кобылу» означали «есть конину», он в час ночи набрал номер злополучного составителя пояснений; на вопрос домашних, кто звонит, раздельно произнес: «Мар-шак», — и, подняв человека с постели, гневно внушал, что «нюхать кобылу» означало «подвергаться пыткам». А потом, смягчившись, пригласил перепуганного, смущенного, ошарашенного комментатора назавтра к себе в гости потолковать о Пушкине.

Зато от людей, которые сами настойчиво добивались с ним свидания, — а сколько среди них было цепких графома-

нов, пустопорожних болтунов! — Самуил Яковлевич оборонялся неловко и неумело, с трудом выпроваживая за дверь какого-нибудь очередного Хлестакова, который сперва врал, потом требовал. «Ведь вы знаете, что я не умею защищать свое время», — посетовал он однажды в письме Чуковскому. В другой раз, на исходе трудно проведенного дня, до отказа заполненного телефонными звонками («Пока не требует поэта к священной жертве... телефон»), беседами и встречами с редакторами, издателями, начинающими поэтами, с детьми, которые были самыми почетными гостями в доме Самуила Яковлевича и знали, что хозяин никогда не откажется от встречи с ними, Маршак сказал, устало улыбаясь:

— Знаете, по-моему, у нас образовалось общество по истреблению Маршака и я его председатель.

Тут в кабинет вошла Розалия Ивановна с известием, что Маршака просит к телефону... Докучливого этого болтуна хорошо знали в доме Самуила Яковлевича.

— К черту! К черту! — яростно воскликнул Маршак. Сверкнув глазами, он схватил трубку и вдруг неожиданно для нас и для самого себя пригласил нахала в гости.

По окончании визита он с досадой пожаловался:

— Я сейчас как будто целый час трясся в экипаже по булыжникам. — И, помолчав, добавил: — Скверно, что наш слух не защищен и уши не имеют ресниц.

Впрочем, когда друзья и близкие Маршака пытались защитить его время, он первый энергично противился этому, хотя то и дело попадал впросак.

В Доме творчества в Ялте, где Маршак обычно отдыхал и лечился, к нему пожаловал с толстой папкой переводчик стихов Киплинга. Гость был навеселе. И когда Елена Яковлевна, сестра Маршака, принялась тихонько отчитывать его в углу, находчиво ответил:

— А это я для храбрости выпил. Чтобы прийти к Маршаку с переводами, нужна, знаете ли, храбрость.

Польщенный таким ответом, Маршак уселся с гостем на балконе и долго томился, слушая его косноязычную болтовню.

В другой раз приехала немолодая дама в сильно открытом платье.

Не помню цель ее визита. Скорее всего, просто приехала взглянуть на Маршака. Потом Самуил Яковлевич долго повторял с комическим удивлением:

— Зачем такой бюст? Ведь им можно соблазнить только грудных младенцев.

В конце концов к дверям комнаты Маршака врач при-

крепил записку с извещением, что Самуил Яковлевич нуждается в покое и навещать его разрешается только между шестнадцатью и семнадцатью часами. Сам Маршак плохо соблюдал это предписание. О посетителях и говорить нечего. Записка врача вообще куда-то таинственно исчезла. Доктор повесил новую. Но, очевидно, те, кто считал Маршака «всеобщим достоянием», сняли ее тоже. И такое самоуправство ни Маршака, ни тем более его гостей нисколько не огорчило.

Впрочем, при всей душевной мягкости и деликатности в спорах о достоинствах литературных произведений Маршак неизменно проявлял твердость и непреклонность, называя дурные стихи дурными поступками. Молодому поэту, который прочитал нечто игривое и жеманное, Маршак объявил без всякого снисхождения:

— Когда женщина сзади закрывает мужчине глаза, она должна быть абсолютно уверена, что ему это будет приятно. А вы вот нежитесь в стихах и кокетничаете, но удовольствия никому не доставляете.

Тогда же в Ялте к нему зачастил один поэт-любитель. Дом творчества стоял высоко на горе. И, как нарочно, в очень знойный день поэт вскарабкался к Маршаку с тяжелой поклажей — большим неуклюжим магнитофоном. Он сказал, что стесняется сам читать свои стихи, поэтому записал на магнитофон и что сейчас Самуил Яковлевич сможет их услышать в записи. Маршак слушал около часа. Поэт краснел, бледнел и вытирал платком лысину.

Вечером Маршак каялся:

— Прервать чтение, знаете ли, духу не хватило. Человек тащился с магнитофоном, устал. — Он вздохнул. — И все-таки пришлось сказать автору, что стихи его плохи, невозможно плохи.

О поэте, чьи стихи Маршаку отрекомендовали как темпераментные:

— Ну, знаете ли, у всех этих стихов темперамент лягушки.

С досадой о книге, которую Маршак корил за бледный, бесцветный язык, за неумение автора передать разнообразие красок природы, богатство оттенков живой жизни:

— Было бы небо только голубым, краски можно было бы купить в любой лавке.

Заспорив с одним литературоведом, взявшимся доказать, что в хрестоматийных стихах поэта-классика, всем нам

знакомых с детства, он насчитал по меньшей мере четыре неточных эпитета, Маршак, раздраженно морщась, возразил:

— Недостатки больших писателей важнее и поучительней достоинств писателей маленьких.

При мне он сердито критиковал басни некоего поэта, и когда кто-то за него заступился, пожалев, что Маршаку зря, мол, показали басни, надо бы совсем другое — например, лирику или переводы, — Самуил Яковлевич комически развел руками:

— Тогда позвольте процитировать Диккенса: «Поросенка подали на стол совсем не теми частями».

Но я не знаю случая, когда бы Маршак злорадствовал по поводу чужой неудачи или неуспеха. Прочитав роман очень уважаемого им писателя, сказал огорченно:

— Жаль, не в фокусе.

А полистав критическую статью с пересказом чужих неллицеприятных суждений об этом романе, добавил:

— Все-таки критик не должен уподобляться околотовому, который радуется каждому штрафу.

Он мог брезгливо отбросить книгу, которую неумелый или недобросовестный автор все-таки просунул в печать:

— Говорящий рот! Слова без эмоций, речь без интонаций. Никаких красок и оттенков, никаких грудных звуков. Ничего! Бр-р! Холод. А ведь подумать только, что это будут читать ребенку.

Зато я хорошо помню, как искренне радовался Маршак каждой хорошей книжке, как был доволен, если замечал, что его советы попадают не на бесплодную почву, что собеседнику они пойдут впрок.

«Беседы тихая звезда», о которой с благодарностью писал Расул Гамзатов в стихах, посвященных Маршаку, светила многим в квартире на улице Чкалова, и часто разговор с хозяином затягивался далеко за полночь. Но вряд ли кто-нибудь из гостей Маршака на это сетовал. Из собственного опыта знаю, что в обществе Самуила Яковлевича, как в сказке, время переставало существовать.

По заведенному в доме Маршака правилу, хозяин на прощание сам подавал посетителю пальто. И пока юный поэт-дебютант пытался отнять пальто и, сгорая от стыда, неловко совал правую руку в левый рукав («Борьба человека с пальто», — называл эту сцену в передней Валентин Берестов), Маршак ласково говорил:

— Мы с вами провели настоящий поэтический вечер. Не правда ли? Людям невозможно передать успех. От нас это не

зависит. Но дать им что-то хорошее, то, что дается, а не продается, непременно нужно и можно...

Случалось, конечно, что семена падали и на бесплодную почву. Маршак это чувствовал и после ухода одного такого «неконтактного» посетителя с грустью признался:

— Кажется, сегодня я был похож на человека, который в трамвае расплачивается червонцами.

Я писал книжку о творчестве Маршака, готовил к печати сборник его статей и на правах биографа, составителя и редактора сборника проводил много времени в обществе Самуила Яковлевича, постепенно постигая его характер, вкусы, привычки.

Все написанное он любил выверять на слух — раз, другой, третий, десятый. Сначала читал сам, затем передавал листки гостю с просьбой перечитать еще раз. Но даже в самой отдаленной степени это не было похоже на тщеславие. Это была работа. Вновь и вновь Маршак проверял звучание каждой строки — внимательно, на свой слух и на чужой. Так часовщик, прикладывая ухо к циферблату, слушает ход механизма.

На моих глазах и при моем участии складывалась книга «Воспитание словом». Книга статей, а не стихов. Но и в статьях Маршак придирчиво определял весовые категории каждого слова, повторяя, что статья о поэзии сама должна стать поэтическим произведением.

Какая это была интересная, но, боже мой, какая мучительная работа!

Следуя методу Маршака, мы читали каждую статью вслух, хотя все они неоднократно издавались и переиздавались. В последний раз — не помню уже точно, какой раз был последним, — мы читали верстку второго издания книги «Воспитание словом» в ялтинском Доме творчества.

На безоблачном небе сияет щедрое крымское солнце. Трещат цикады. С шутками, смехом идут к морю купальщики, соорудив себе чалмы из мохнатых полотенец, и, завидев на балконе Маршака, приветливо машут ему.

Самуил Яковлевич говорит:

— Не думайте, что я деспотичен. Я слепну, глухну. Не знаю, смогу ли перечитать все это еще раз. А ведь нужно проверить... Не устарело ли что-нибудь в моих статьях? Живут ли они еще?

верняка на пляже. Еще бы! Жарища. В тени градусов тридцать, не меньше. Дома, кроме нас, пожалуй, осталась только Елена Яковлевна, сестра Маршака, его самоотверженный и преданный друг. Украдкой поглядываю на часы. Читаем уже около двух часов. Самуил Яковлевич слушает, закрыв глаза. Голова склоняется все ниже. Кажется, задремал.

Может быть, на сегодня хватит. Но до окончания статьи добрый десяток страниц. А Самуил Яковлевич не любит остановок на полпути. Принимаюсь читать быстрее, «барабанишь», как говорят в таких случаях.

И вдруг, не открывая глаз, Маршак сердито переспрашивает:

— Как? Как? Не понял: «притопывая» или «притопытая»?

Я вздрагиваю от неожиданности:

— Притопытая, Самуил Яковлевич.

Кивок головой:

— Не бубните, милый, как пономарь. Читайте строго и внимательно. Ведь это очень ответственный текст.

Нет, с ним грешно было хитрить, лукавить даже в малом, так торжественно, так истово он относился к своему святому ремеслу.

Помню, однажды он исправлял какую-то строку, царапнувшую слух в статье о Житкове. Диктовал ее заново. И вдруг долгий приступ кашля буквально потряс его, один из тех ужасных приступов, когда он задышался, стонал и судорожно хватался за грудь. Но даже в такой момент он продолжал обдумывать злополучную фразу. Сквозь приступы кашля Маршак говорил:

— Попробуем как-то арифметичнее... «Та же идея пронизывает...» Вязко... Скучно... Надо дать ритм фразе...

На балкон спешила с таблеткой эфедрина перепуганная Елена Яковлевна. Маршак медленно приходил в себя. Он тяжело дышал, в глазах стояли слезы.

— Сейчас я немножечко умер... Ох, надо бы лечь семидесятилетнему человеку...

И после паузы:

— «Та же идея пронизывает...» Ну-ка, вооружитесь, голубчик, хорошим перышком, и давайте вместе поищем что-нибудь более энергичное...

Когда на будущий год я снова приехал в Ялту, Маршака уже не было в живых. Ранним утром я шел на пляж. Но меня не покидало ощущение, что стоит только поднять голову, и

я непременно увижу его там: на балконе, в соломенном кресле, за круглым легким столиком, на фоне ослепительно белой стены: сегодня день выдался хороший. Маршак «в настроении», — шутит, каламбурит, вспоминает разные смешные истории. Тощий, безвкусный, зато обильно витаминизированный вегетарианский завтрак съедает без обычных капризов. Накануне издательство «Искусство» прислало сборник пьес Маршака «Сказки для чтения и представления». На титульном листе Самуил Яковлевич записывает шуточный мадригал и книжку с этим маленьким экспромтом дарит моей жене Ирине:

Недаром рифмуются
«Ира»
и «Лира».
Но лиры в руках моих нет.
Поэтому Ире,
Прекраснейшей в мире,
Дарит свою прозу поэт.

Десятый час. Пора приниматься за дело. И тут благодушное настроение сразу же улетучивается. Начинается «домашняя каторга». Склонившись над гранками статьи, Маршак сердито отчеркивает карандашом стихотворную цитату:

— Безобразия! Такая стройная, такая великолепная и красивая строфа. А как набрано? Посмотрите...

Тут же на полях он пишет:

«Набирать криво стихи! Возмутительно! Выпрямите эти безобразно пляшущие строки».

Он действительно мог не на шутку взволноваться при виде строчек любимых стихов, набранных кое-как, небрежно, вкривь и вкось, так что строфы выпирали из стихотворения, как беременные.

— Самуил Яковлевич, но ведь это только верстка.

Он хмурится:

— Я сам всегда тщательно и досконально все делаю. Хочется, чтобы порядок был заведен и в книгопечатании.

Он тянется за пером и бумагой. Сейчас напишет негодующее письмо, потребует сменить типографию, прислать новую верстку. С трудом его отговариваю:

— Будьте олимпийцем, Самуил Яковлевич.

— Ну, для этого надо жить на Олимпе.

— А Гёте?

— Прикидывался.

каждую рукопись, возвратившуюся к нему, Маршак принимался переделывать, и порой так энергично, что появлялся совершенно новый вариант. А сроки давным-давно были пропущены. И в издательствах не могли больше ждать. Одно драматическое объяснение происходило при мне. Звонил редактор Гослитиздата, «нажимал», торопил. Самуил Яковлевич отвечал слабым, задыхающимся голосом:

— Речь идет о моем здоровье, Мстислав Борисович. Извелся окончательно. На старости лет погибаю. Две верстки, две статьи. А я привык работать добросовестно. Если бы я знал, что рукопись можно сдать в четверг, я бы лучше спал. От вашего решения зависит, усну ли я сегодня. Защитите, если не мои интересы, то мое душевное спокойствие хотя бы.

После такого монолога сдавался, конечно, редактор. Но отсрочка не приносила облегчения. Наутро после разговора с редактором, показывая мне заново переписанные страницы, Маршак сказал:

— Вчера я лег спать одетый, чтобы встать в шесть утра.

Даже в Крыму не часто выдавались минуты полного душевного покоя. Пожалуй, только ночью на балконе его досуг «был просторен и тих». По вечерам, возвращаясь из театра или кино, я почти наверняка знал, что он сидит на балконе, вон там, где виднеется красная точка папиросы. Сидит один-одинешенек, кашляет, курит, думает, глядя на огни Ялты. Близкие огни он почему-то не жаловал. Фонарь перед домом — дурак служебный. А вот о дальних — зовущих, таинственно мерцающих — всегда отзывался с нежностью:

У ближних фонарей такой бездумный взгляд.
А дальние нам больше говорят
Своим сияньем, пристальным и грустным,
Чем люди словом, письменным и устным.

— Добрый вечер, дорогой Самуил Яковлевич!

Окликаю, заранее зная, что он скажет:

— Добрый вечер, милый. Заходите ко мне, если только у вас не назначено более интересное свидание с какой-нибудь очаровательной блондинкой.

Ему интересно, что нового на эспланаде, — так по старинке он называет ялтинскую набережную. Я рассказываю, что пришел большой океанский лайнер с иностранными туристами, что в городском театре, где в 1900 году труппа

МХАТа играла для Чехова «Чайку», сегодня с успехом выступают «Чайки» — женский вокально-музыкальный ансамбль.

Откуда-то из-за кипарисов на балкон доносится музыка. В соседнем санатории, несмотря на поздний час, в разгаре вечер танцев. Слышен, усиленный микрофоном, голос распорядителя: «А теперь танцуем быстрый фокс... Ну, смелее, смелее! Куда все наши мужчины подевались?»

Самуил Яковлевич лукаво улыбается:

— А что, если сейчас туда отправиться. Только ведь вам с Еленой Яковлевной, пожалуй, придется поддерживать меня с двух сторон под руки. Будет похоже на выход архиерея. А?

Он умел ценить минуты душевного покоя, свободные от каторжного труда над рукописями, верстками, гранками и сверками новых книг, и все же с готовностью пренебрегал краткими минутами отдыха, если к нему в комнату стучал запоздалый собеседник. А если к тому же собеседник попадался интересный, Маршак обычно засиживался с ним допоздна, до тех пор, пока в дверях не выростала монументальная фигура непреклонной санитарки Поли, ночной дежурной по этажу. Спорить с Полей было бесполезно. Власть и закон были на ее стороне. Самуил Яковлевич нехотя прощался с гостем:

— Ну вот, нас уже и разгоняют, как матрос Железняк Учредительное собрание.

Я наивно полагал, что рекорд чтения и перечитывания статей Самуила Яковлевича мы поставили в Крыму, когда готовили к печати сборник «Воспитание словом». Но это было чистым заблуждением. В 1960 году он написал большую статью «Ради жизни на земле», посвященную поэзии Александра Твардовского, своеобразное исследование поэта о поэте. Статья выходила отдельной книжкой, включалась в сборники Маршака, но первоначально появилась в двух номерах журнала «Знамя», где в то время я работал.

К публикации этой статьи Маршак относился трепетно. Поэзию Твардовского он ценил чрезвычайно высоко и в своей статье высказал дорогие для себя мысли о поэтическом творчестве, которые накапливал давно, исподволь. Я уже твердо усвоил, что Маршак не любил расставаться с рукописью, прежде чем в ней не будет взвешена каждая фраза,

будет выверен на слух. А тут еще, как на грех, обнаружилось, что в каком-то издании «Песни Чипполино» вместо слова «луковый» напечатали «луковой». Надо было знать Маршака. Он пришел в ярость. Если бы только это было в его силах, не сомневаюсь, Самуил Яковлевич без сожаления уничтожил бы весь тираж. Не помню, тогда или по другому случаю он даже сочинил экспромт:

Его профессией была литература,
А погубила корректура.

Короче говоря, корректуру особенно дорогой ему статьи о Твардовском он решил держать сам.

— Приезжайте, — сказал он мне по телефону, — прочитаем корректуру еще раз вместе, строго и внимательно. Вам как редактору статьи в «Знамени» это будет полезно.

«Еще раз! — думаю я про себя. — Читали и перечитывали. Два, если не три раза, в рукописи. Потом в машинописном варианте. Еще раз в гранках. Дней десять назад в верстке. Теперь — сверка. Ну нет, строгий и очень пунктуальный Василий Васильевич Катинов, секретарь редакции, просто сживет меня со света. Ведь он категорически запретил показывать сверку Маршаку. «Все равно править поздно. Сроки прошли. Хотите, чтобы нас оштрафовала типография? А в конце квартала издательство оставило без премии?»

Но Маршак есть Маршак, и спорить с ним бесполезно.

На все мои уговоры, просьбы и даже слезные мольбы он отвечал сурово:

— Что вы со мной как с алкоголиком обращаетесь.

Делать нечего. Потихоньку от Катинава везу сверку в санаторий «Барвиха», где сейчас находится Маршак. Посмотреть корректуру. Выверить статью музыкально. И не знаю, что еще...

У Самуила Яковлевича врач, и я довольно долго мыкаюсь в гостиной, пока закончится медицинский осмотр. По углам в кадках пылятся пальмы. За стеклами аквариумов плавают золотые рыбки. Гостиная превращена в зимний сад. В прошлый мой приезд мы уже сидели под этими чахлыми пальмами. Среди тепличных комнатных растений Маршаку не по себе. Но делать нечего. Опять врачи запретили прогулки. И я почему-то подумал, что грустные строчки о приближающейся старости и убывающих силах:

Цветная осень, вечер года, —
Мне улыбается светло,

наверное, были наваяны Маршаку видом этого неживого, искусственного сада в гостиной и живого, кивающего за стеклами окон, куда доктора ему не разрешают выходить.

Наконец меня зовут к Самуилу Яковлевичу. Сегодня он очень плох. Только что продиктовал своему литературному секретарю Володе Глоцеру поздравление с днем рождения собрату по цеху поэзии, с трудом расписался и попросил добавить: «Постель».

Он сидит, со всех сторон обложенный подушками, меня приветствует едва слышным голосом, жестом предлагает придвинуть к нему стул поближе и берет в дрожащие руки второй экземпляр сверки. Пока я читаю вслух, он попутно следит глазами за текстом.

На пятой или шестой минуте из груди подушек доносится голос Маршака:

— «Автор не смягчил, не сгладил той ожесточенной, не на жизнь, а на смерть борьбы, которая...» Слабо, слабо. Слова из сукна, а мысль очень важная. Надо бы ее выделить...

— Курсивом,— подбрасываю я легкомысленно,— давайте выделим курсивом.

— Что? — встрепенувшись, восклицает Маршак, как-то сразу переходя от пианиссимо к форте. Голос его окреп, глаза гневно сверкают.— Дадим курсивом? Закурсивим, да? Никогда не произносите при мне эти слова-червяки,— говорит он брезгливо.— Выделим курсивом. Будем курсивить,— продолжает Маршак, все больше и больше распалаясь.— Ах, эта фраза, кажется, уже закурсивлена... Сразу все — и закурсивлена, и закавычена...

Потом примирительно:

— Сделаем тут по-другому. Ну, например,— прикидывает он,— это... или, может быть, это?.. Плохо, плохо. Не годится ни то, ни другое... Всегда так, когда не можешь найти единственный верный эпитет, находятся сразу три неверных. А вот теперь, кажется... Только не торопитесь согл шаться. Я еще не чувствую фразу всю, целиком...

И неожиданно ворчливо:

— Не обижайтесь, милый, но знаете ли, я давно заметил: у вас есть забота о какой-то части фразы, а дальше вы ленитесь и лепите из ничего... И не читайте цитаты с пулеметной быстротой. Хорошо процитировать — тоже ис-

кусство. Цитаты — это окна, через которые читатель заглядывает в стихи.

Проработав таким образом около трех часов, я чувствую себя усталым, разбитым. А Маршак! По-моему, он даже приободрился и нетерпеливо мною командует. Верстка испещрена поправками буквально на каждой странице. То-то «обрадуются» в редакции!

В пригородном поезде перелистываю полосы. Завизировал ли он хоть свой экземпляр? Прощаясь, я как-то недоглядел. В верхнем левом углу дрожащим, неверным почерком написано: «Больной, измученный Б. Е. Галановым, Маршак».

В поисках какой-то необходимой, но куда-то запропастившейся книги Самуил Яковлевич наткнулся на томик стихов Велимира Хлебникова в Малой серии «Библиотеки поэта». По-видимому, он давно не перечитывал Хлебникова и теперь, с явным удовольствием листая его, вспоминает разные занятные случаи:

— Вы знаете, что Репин хотел написать портрет Хлебникова? Не знаете. Так вот, Хлебников наотрез отказался. «Мой портрет писал Бурлюк, — сказал он гордо. — Только там я похож на треугольник», — Маршак смеется: — Впрочем, Хлебникову это, кажется, даже нравилось. — Тут Самуил Яковлевич добирается до «Слова об Эль» и декламирует это длинное стихотворение наизусть.

Некоторые строфы в чтении Самуила Яковлевича отличаются от напечатанных в Малой серии. Но это не ошибка памяти. В библиотеке Маршака есть Хлебников в редком издании, и «Слово об Эль» он помнит в раннем варианте, который ценит выше других.

Разносторонность поэтических интересов Маршака и феноменальная его память на чужие стихи всегда меня поражали. Казалось, не было такого стихотворения, которого он не знал бы, не вспомнил. Навестившей его дочери Бальмонта Нине Константиновне Бальмонт-Бруни Маршак читал в моем присутствии посвященные ей лет пятьдесят назад стихи из книги Бальмонта «Фейные сказки»:

Солнечной Нинике с светлыми глазками
Этот букетик из тонких былиннок...

Ну, а чем привлекал Маршака Хлебников?

В 1961 году по нездоровью Маршак не смог приехать в Дом писателей на вечер памяти Хлебникова и обратился к его участникам с письмом. В нем между прочим говорилось:

«Вы знаете, конечно, что я люблю в стихах предельную ясность.

Но это ничуть не мешает мне ценить Хлебникова, поэта большой силы, глубоко чувствующего слово, владеющего необыкновенной меткостью и точностью изображения».

Вот и сегодня, отложив в сторону книжку, Маршак долго сидит молча, как бы прислушиваясь к музыке стиха, пока она еще не отзвучала в ушах. Затем, как бы продолжая прерванную беседу, говорит:

— Так вот, видите ли, мой милый, эти стихи я бы назвал мыслями о словах. Да-да! О словах, которые рождаются из поэтического видения мира. В слове заключен опыт целой человеческой жизни. Но разве звуки, складывающиеся в слова, в определенные музыкальные и поэтические образы, сами не окрашены эмоционально? Какое множество чувств и ощущений они выразили! В мягком, ласковом, нежном звуке «Эль» Хлебников обнаружил колоссальное богатство. Внимательно вслушайтесь, вдумайтесь:

Когда мы легки, мы летим,
Когда с людьми мы, люди, легки,—
Любим. Любимые — любимы,
Эль — это легкие Лели,—

и вместе с Хлебниковым вы ощутите мощь силового прибора, скрытого за «Эль». У Маяковского были свои фавориты. Помните строчку: «Есть еще хорошие буквы Р, Ш, Щ». Он искал другие сочетания слов. У него звуки перекликались в другой слуховой тональности, была своя внутренняя закономерность, продиктованная жаждой действия, энергией действия...

И, как всегда, начав разговор о поэзии, Маршак переходит к стихам для детей, к тому возрасту, который еще не умеет читать стихи по смыслу и вообще не научился читать глазами. Пока ребенок — слушатель, поэзия воспитывает его не только смыслом, но и музыкальной инструментальной, завораживает волшебным ритмом повторяющихся слов и звуков. Музыкальные строки стихов, их звуковая окраска прививают ребенку первые эстетические чувства, первые понятия об окружающем мире.

— Когда я писал поэтический календарь «Круглый год», — добавляет Маршак, — то зрительные образы хотел соединить со слуховыми, разным листкам календаря придать разную звуковую окраску. Ну, например, месяц март для меня всегда ассоциировался с гомоном галок и ворон, поэтому

слова подбирались такие, в которых слышалось твердое р-раскатистое «р»:

Рыхлый снег темнеет в марте.
Тают льдинки на окне.
Зайчик бегаёт по парте
И по карте
На стене.

Тут Маршак вспоминает о непрочитанной верстке, о затерявшейся книге, о непроверенной цитате.

— Розалия Ивановна! — восклицает он грозно. — Опять, чертовка старая, куда-то задевала все материалы...

Но вот наконец нужная книга появляется на письменном столе. Итак, за дело!

— Кстати, — говорит Маршак, улыбаясь, — из трех букв, которые Маяковский считал хорошими, две есть в моей фамилии.

Самуил Яковлевич собирает двухтомник избранного. В нем будет большой раздел сатирических стихов и эпиграмм, боевые плакаты военной поры. А эти стихотворные надписи на посылках в действующую армию? Их непременно надо включить. Как важно было солдату, вместе с пачками табака, с пищевыми концентратами, завернутыми в грубую серую оберточную бумагу, получить в придачу и веселые прибаутки. Маршак писал их, не снижая ни требовательности, ни поэтического мастерства.

Вообще у Самуила Яковлевича была собственная теория насчет того, что считать главным в работе поэта и что второстепенным, что преходящим, а что долговечным. Он часто говорил и в одной статье даже написал, что злободневность не снижает качества сатиры и не лишает ее монументальности и долговечности. Через день или через месяц наши злободневные строки несомненно устареют, умрут, а вот через три года или через тридцать лет некоторые из них, может быть, и оживут; чем лучше выполняет сегодня сатира свою задачу, тем она долговечнее.

Маршак снимает с полки сборник греческих сатир и эпиграмм, накануне ему подаренный.

— Вот раскрыл наудачу книгу и наткнулся на двустишие поэта Луккиллия. Подумать только, происшествие, о котором идет речь, случилось две тысячи лет назад. А эпиграмма по-прежнему нас смешит, до сих пор подкупает точным

ощущением места и времени. — И с видом человека, торжествующего победу, Маршак читает:

Раз довелось увидеть Антиоху тюфяк Лисимаха,—
И не видал тюфячка после-то Лисимах.

В конце долгого и утомительного трудового дня, который весь прошел в «упряжке», Маршак предлагает:

— Ну, а теперь давайте бредить, как Льюис Кэрролл...

Это значит, что сейчас мы отправимся вместе с Маршаком в страну чудес, где будут происходить всевозможные веселые небывальщины, будем выдумывать слова, играть в слова.

Того Маршака, который всерьез доказывал Евгению Шварцу, что если только хорошенько пожелать, то можно оторваться от земли и полететь, я уже не застал. Но и при мне Маршак не раз повторял, что пишущий для детей непременно должен уметь ходить по облакам. Постный и скучный ум — плохой помощник детского писателя. Детским книжкам непременно нужна смелость фантазии, выдумка, веселая причуда, игра. Ведь научиться грамоте ребенку не легко, и мы обязаны хорошенько его вознаградить за нелегкий труд. Первая прочитанная в детстве книжка могла показаться большой и толстой, а это была всего-навсего одна страничка. Пусть же ребенок не пожалеет, что одолел ее.

Маршак отодвинул от себя тарелку с давно остывшей едой и продолжал:

— В книгах для взрослых титулом «герой романа» незаслуженно часто награждается ведущий персонаж. Незаслуженно, потому что очень скоро выясняется — никакой это не герой, просто незначительная, пустая личность. В книжках для детей и должности такой нет — «ведущий персонаж». Герой так уж герой, во всем значении слова. И обязательно близкий, понятный тому возрасту, которому книжка адресуется. Для пятиклассников нельзя писать, как для третьеклассников, для третьеклассников — как для октябрят. Иначе наш герой утратит всю свою привлекательность. Книжка проскользнет, провалится между возрастными. Нужно не только сохранять на всю жизнь память детства, как Толстой сохранял память о Зеленой палочке, нужно почаще превращаться в мальчишек и девчонок, для которых мы сочиняем стихи и рассказы, делить с талантливым этим возрастом его радости, любить одни и те же вещи, иметь ребяческий слух, ребяческий вкус, слушать стук копыт игрушечного деревянного коня по мостовой... Да мало ли что еще!

Самуил Яковлевич сделал паузу, спросил серьезно:

— Сколько мне лет, по-вашему? Четыре года? Может быть, пять? А Чуковскому? Что-нибудь около этого. Четыре-пять-шесть лет — такой возраст, когда от природы ждут чудес, хотят совершать чудеса, верят, что чудеса совершатся.

Сам он, по-моему, с неистребимой верой пятилетнего человека ждал чуда и до последнего часа жаждал чудес, надеясь, что кто-то когда-нибудь постучится в дверь и передаст хозяину сам не знаю что, знаю только, что-то сказочно-прекрасное; или позвонит по телефону, чтобы сказать заветное слово.

— Розалия Ивановна, кто это приходил? Кто там звонил по телефону? — спрашивал он нетерпеливо, когда врачи в очередной раз уложили его в постель и «отлучили» от посетителей и телефона.

«Кто стучится в дверь ко мне...»

А стучал слесарь, которого Розалия Ивановна вызвала починить кран в кухне. А звонил докучливый графоман и настойчиво спрашивал, когда можно занести рукопись поэмы.

Кругом сплошные подвохи!

— Однажды, — рассказывал Маршак, — мы гуляли с внуком Сашей в подмосковном дачном поселке Болшево и вдруг заблудились. «Давай спросим дорогу», — предложил я. «Не надо, дедушка, не спрашивай, пойдем прямо. Может быть, там море». Человек с детства готовится к громадным прыжкам, и книжка для детей должна готовить его к этому, вместе с ним мечтать, фантазировать, в Подмосковье отыскать берег моря, хотя ни на каких географических картах оно и не значится... Впрочем, — перебивает Маршак самого себя, — я враг пьяного вдохновения. Если есть в сказках реальность — интересна фантастика. Игра легка, когда основана на реальных наблюдениях.

Он придвинул к себе тарелку. Взял в руки нож.

— Вот — нож. Вот — вилка. Ножу десятки тысяч годков. А вилка — совсем еще юная дама. Ей нет и трехсот. Но лежат они рядом. Плоский обывательский ум не найдет в этом ничего удивительного. Не хватает фантазии. Но воображению писателя открывается широкий простор. Задумав стихотворение «Откуда стол пришел?», я воспользовался примером ножа и вилки. Теперь под нашим столом паркетный пол, а когда-то была земля. На нем грызла орехи белка, под ним спал барсук.

Он был в чешуйчатой коре,
А меж его корней

Барсук храпел в своей норе
До первых вешних дней.

— Совершить путешествие вокруг такого стола мне и самому было интересно. А в глазах ребенка обыкновенная вещь сразу приобретала необычность, становилась сказочно заманчивой, заветной, таинственной, загадочной...

— Когда-то в моде были рассудочные, перечислительные книги. Они уже давным-давно себя исчерпали, скомпрометировали. Почему же в «Илиаде», сложенной задолго до этих книг, мне интересно читать перечень кораблей, на которых ахейцы приплыли к берегам Трои, и узнавать, какими были тогда корабли? «Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладю когда-то поднялся». В чем здесь секрет? В том, что художественное и познавательное сливаются воедино, но это и есть путь к синтезу науки и вымысла в детской книге...

— Я всегда очень остро чувствовал, что наша молодая советская литература для детей должна щедро воздать юному читателю все то, что ему недодали в прошлом посредственные детские писатели.

В современной зарубежной поэзии для детей Маршак открыл советским читателям стихи Джанни Родари и очень был доволен, что «Литературная газета» щедро, на первой странице напечатала большую подборку его переводов из Родари. В стихах молодого итальянца Маршака подкупало многое. И прежде всего то, что поэт сумел придать необычность обычным вещам: любит труд и любит ловких, умелых мастеров, любит вкус, цвет, запах разных ремесел. Нравилось Маршаку то, что Родари набрел на счет, который дал ритм его стиху. Самому Маршаку всегда хотелось показать, какими яркими и увлекательными становятся стихи для маленьких, если, конечно, автор приходит в поэзию со своими убеждениями, своей биографией, не лепечет по-младенчески и каждую свою задачу решает, как поэтическую. И эти качества он тоже нашел в поэзии Родари.

Кажется, я первым привез Родари живой привет от Маршака. Это было в Риме, в квартире Родари, где на всех стенах висели рисунки детей. Маленькая дочка Родари, Паолетта, на вопрос, какой рисунок ей нравится больше других, весело ответила: «Тот, который лучше всех нарисован». В Москве, передавая в подарок Самуилу Яковлевичу новый, недавно вышедший сборник стихов Родари

(это была девятая его книга, но Родари говорил, что пока еще не считает себя писателем) и, разумеется, похваставшись подаренной мне книгой с шутливой надписью автора, что он дарит мне ее за невозможность подарить кусочек Колизея, я подробно рассказал Самуилу Яковлевичу о встрече с Родари, припомнив и лукавый ответ Паолетты.

— А я вот, пожалуй, не мог бы ответить, как ваша новая знакомая девочка, — улыбнулся Маршак. — Конечно, у Родари мне нравится то стихотворение, которое лучше всех написано. Весь вопрос в том: какое именно? Хороших стихов у Родари много, и каждое в своем роде лучше других. — И с видом человека, заранее уверенного, что его ожидает нечто приятное, Маршак раскрыл привезенную книгу. — Знаете, Родари очень дорогое явление!

И все-таки болезнь брала свое. Маршаку все труднее становилось встречаться с людьми, читать, писать. Однажды я приехал к нему после долгого перерыва и поразился происшедшей в нем перемене: осунулся, похудел, черты лица заострились, и лежал он в спальне на широкой кровати, заваленной газетами и журналами, как-то странно, у самого края, прижавшись лбом к столику с телефоном.

Заплаканная Розалия Ивановна шепнула в передней, что Самуил Яковлевич почти не спит. Снотворные перестали помогать. Мне он пожаловался, что отравился антибиотиками. Зудит вся кожа, особенно лоб и голова.

— Но ведь голова должна работать, а не чесаться.

Все чаще и чаще врачи устанавливали в квартире Маршака круглосуточные дежурства медицинских сестер.

По этому поводу он шутил:

— Раньше сестры были у меня на посту, а теперь уже на постое. — И, загибая пальцы правой руки, принимался их классифицировать: — Есть сестры-матери, есть сестры-тещи, а есть двоюродные и троюродные сестры. Знаете, в последнее время у меня дежурила четверюродная сестра. Очень отдаленное родство.

Но даже обреченный болезнью на «лежачий режим», полуослепший, запертый болезнью в четырех стенах, он всегда что-нибудь мастерил. Бездеятельность его угнетала.

— Для меня остановка в работе опасна. Это как для летящего самолета или идущего полным ходом поезда.

В те часы, когда спадала температура, он раскрывал томик английских детских песенок — «перевертышей», «этих

гениальных глупостей», как называл их Самуил Яковлевич, переводил «для разгона» короткие четверостишия и восьми-стишия. «Камни пересохшего потока», — говорил он иногда грустно. Но это было не так. Над короткими стихами или длинными, переводными или оригинальными — он трудился с полной душевной отдачей и этому своему принципу не изменял никогда. Один из Кукрыниксов — Михаил Васильевич Куприянов — запомнил разговор Маршака с сотрудником московской газеты. Тот настойчиво просил Самуила Яковлевича написать в номер стихи.

— Пусть будут совсем маленькие, — убеждал он, искренне веря, что таким образом сильно облегчает Маршаку задачу. — Хотя бы двенадцать строчек, даже восемь, на худой конец.

— Голубчик, — отвечал Маршак страдальческим голо-сом, — написать восемь строчек... Да это все равно как если бы вы попросили меня сделать вам маленькие часики.

После тяжких приступов болезни Маршак обычно встречал меня словами:

— Сегодня на большее не хватило сил. Послушайте, милый, что я утром сделал.

Но часто хитрил, проверяя меня и себя, вперемежку с новыми стихами читал старые:

Воробы по проводам
Скачут и хохочут,
Словно строчки телеграмм
Ножки им щекочут.

А иногда протягивал мне листок, на котором были записаны стихотворные строки. Как изменился четкий, будто врубленный в белый лист бумаги почерк поэта. Кривые, неровные, непослушные буквы разбегались в разные стороны.

— Что скажете, голубчик, не ослабела ли рука?

Нет, не ослабела. Стихи были добрые, веселые, лукавые. Настоящие маршаковские стихи.

Не знаю, попадались ли когда-нибудь Маршаку на глаза поэтические строки Гарсиа Лорки: «Ребенок — главное явление природы... Нет идеала, гармонии и тайны, сравнимых с ним».

Но думал он, безусловно, так же. И когда мастерил для детей, все чудесным образом превращая в волшебство, сказку, увлекательную игру, мог бы, наверно, как художник Анри Матисс, до глубокой старости продолжавший писать молодые, радостные картины, сказать: «Я обороняюсь», или даже еще решительнее: «Я наступаю», потому что в такие часы к Мар-

шаку действительно возвращались бодрость и энергия, появлялась уверенность. Казалось, даже восстанавливались физические силы. «Ведь в сказке,— любил повторять Маршак,— содержатся, как в молоке, все витамины, полезные для здоровья.— И, переводя на язык литературы, добавлял: — Фантазия, выдумка, ненавязчивая мораль, которая одновременно учит и забавляет, веселье, шутка и, конечно же, чувство родной речи». Одним словом, все то, что он сам высоко ценил в поэзии.

Кстати, Самуил Яковлевич был твердо убежден, что сказка стучится в драму, комедию, трагедию, сама просится художнику в руки, встречая читателя и зрителя там, где ее совсем не ожидали встретить. Король Лир и три его дочери — разве не сказочный сюжет? А отъезд Хлестакова из города N? Как сказочный добрый молодец, скачет он на самой лучшей тройке, и по всей дороге заливаются колокольчики. А уж литературе для детей и подавно не обойтись без сказки.

Незадолго до смерти, собрав остатки сил, он поехал на торжественный шекспировский вечер в Большой театр, поехал, страдая от удушья, чтобы прочесть два сонета Шекспира и своим слабым, глуховатым голосом все-таки наполнить партер, ложи, ярусы. С Шекспиром в руках я застал его в тот вечер, когда был у него в последний раз, еще не зная, не догадываясь, что больше никогда его не увижу.

— Вот читаю своими слепыми глазами исторические хроники,— сказал он, отодвигая в сторону академическое оксфордское издание, из которого высовывалось множество закладок. Он писал статью о Шекспире, деятельно готовился к поездке в Англию на торжества по случаю 400-летия со дня рождения великого драматурга. И с присущей ему в таких делах истовостью, не желая поддаваться ни возрасту, ни усталости, думал не о том, много или мало времени отмерила ему болезнь, а о том, какие еще возможности для действия, для творчества открывают каждый час, каждая минута, пока они у нас в руках:

Столетия разрушаются от бремени,
Плоды приносят год, и день, и час,
Пока в руках у нас частица времени,
Пускай оно работает на нас!

Пусть мерит нам стихи стопою четкою,
Работу, пляску, плаванье, полет
И — долгое оно или короткое —
Пусть вместе с нами что-то создаст.

И пока у него еще оставалась в руках самая малая, все уменьшающаяся частица времени, сначала дни, потом часы, даже минуты, Маршак продолжал работать над комедий-сказкой «Умные вещи». Накануне смерти он звонил по телефону редактору журнала «Юность» Борису Полевому, где печаталась пьеса, и диктовал поправки.

Я держал в руках типографские листы «Юности» с этими поправками Маршака, вспоминая, как он работал над статьей о Твардовском для «Знамени» и как потом, когда «Советский писатель» издавал статью отдельной книжкой, звонил, телеграфировал, писал из Коктебеля, где тогда лечился, нетерпеливо требуя прислать ему верстки, гранки, корректуру. Издатели торопились подписать книжку в печать и только руками разводили. Зачем? Что за причуды? Ведь есть многократно вычитанный и выверенный Самуилом Яковлевичем журнальный текст? «А затем,— писал мне Маршак, поручая от его имени зайти в издательство и там энергично поговорить,— что, прочитав свою статью в журнале, всегда находишь недостатки, которые не были видны, когда текст был еще слишком привычным». Пока я ходил в издательство к заведующей отделом критики Елене Николаевне Конюховой, моей однокашнице по ИФЛИ, и от нее узнал, что верстка Маршаку послана, мне домой уже доставили срочную телеграмму из Коктебеля с поправками и дополнениями Маршака. Назавтра okazjiе пришло письмо: «Второпях я внес довольно опрометчивые изменения, а потом, одумавшись, послал Конюховой две телеграммы с просьбой восстановить первоначальный текст». Через некоторое время вдогонку еще письмо («Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?»). И еще: восстановить, но не все, а только часть, и в конце перечня — что восстановить, а что исключить, приписка: «Не спал несколько ночей, поэтому и пишу вам беспорядочно». Но все это происходило несколько лет назад, еще оставались силы, еще не подвело зрение... А теперь, в больнице, ослепший, умирающий Маршак просил читать ему корректуру пьесы, вновь и вновь придирчиво выверяя «весовые категории» слов.

К этим записям добавлю еще несколько, относящихся к разным годам жизни Самуила Яковлевича.

Пожалуй, интереснее всего было наблюдать Маршака в обществе детей. На пляже в Ялте, куда Самуил Яковлевич, по совету врача, ежедневно приезжал в часы заката дышать

морским воздухом, я услышал сказку, которую он рассказывал малышу лет семи, соорудившему из гальки какую-то замысловатую башню. Это была совсем особенная сказка, потому что слушать ее просто так было совершенно невозможно. Как многие стихи Маршака для маленьких, это была сказка-игра, и юному слушателю в ней непременно надо было участвовать самому:

— Жил-был на свете один веселый человек по имени... — Самуил Яковлевич сделал паузу и неожиданно звонко хлопнул в ладоши. — У человека был друг, которого все соседи в шутку называли.. — Тут Маршак зажимал нос платком. — Апчи! У друга был сын. У сына, конечно, тоже было имя. Ты уже, наверное, и сам догадался, как его звали?.. — Малыш восторженно дергал себя за ухо. — Правильно. Именно так его звали «Ушко». Ну, а в каком городе все трое жили? Отвечай быстро... — Малыш закрывал ладонью левый глаз... — Вот и не угадал... Город назывался... — Маршак стучал по камням палкой и вместе с малышом заливался веселым смехом.

Кстати, заговорив о дружбе поэта с детьми, как не вспомнить детских писем к Маршаку. Какие только письма не доставляла в квартиру на улицу Чкалова ежедневная почта. Здесь были просьбы начинающих авторов познакомиться с их произведениями, и рукописи иноязычных поэтов, мечтавших предстать перед русскими читателями в переводах Маршака, и доверчивое обращение за советом и помощью. Много было писем от литераторов — советских и зарубежных — с самыми лестными отзывами о книгах Маршака. Я почти не помню случая, чтобы Самуил Яковлевич когда-нибудь кичился такими письмами. Обычно они довольно быстро исчезали в архивах Розалии Ивановны. Но детскими письмами он бесконечно дорожил и неохотно с ними расставался.

Долго на его столе лежало письмо из Киева: юный читатель звал Маршака приехать к нему в гости, «только со своей раскладушкой», а то дома может не оказаться лишней постели. Потом появилось письмо с иероглифами на тонкой рисовой бумаге. Японская девочка Набуко Като, посмотрев у себя на родине пьесы-сказки Маршака, предлагала Самуилу Яковлевичу сочинить вместе с ней какую-нибудь сказку и обещала приехать в Москву. Юный корреспондент из Красноуральска с обидой просил объяснить ему, почему это так получается: учить он учит, а когда вызовут к доске, всегда знает ровно половину. Это письмо, написанное раз-

машистым детским почерком, на листке, вырванном из тетради, тоже долго лежало у Маршака на самом видном месте, хотя ответ последовал быстро:

«Учи вдвое больше — будешь знать все».

Но особенно взволновало Маршака коллективное письмо, пришедшее под Новый год издалека от десяти-одиннадцатилетних школьников. Письмо начиналось так: «Посмотрите на карту СССР. Найдите реку Обь, в нее впадает Иртыш, в Иртыш — Тобол, в Тобол — Тавда. Тавда образуется из двух рек: Сосьвы и Лозьвы. Так вот, мы живем в 32 километрах от Сосьвы. Район у нас отдаленный, город далеко, железной дороги совсем нет, главное средство передвижения: летом — катера, зимой — автомашины и самолеты...» Это письмо Самуил Яковлевич любил читать гостям и некоторые строчки помнил наизусть. «Подумайте только, — говорил он, — как умно, толково и свободно рассказывают о себе эти ребята, с каким хорошим чувством слова, даже ритма фразы. Просто удивительно!» Письму сибирских школьников он посвятил маленькую статью в «Правде», закончив ее следующими словами: «Читаешь эти строки и думаешь с гордостью и радостью: вот какие растут у нас ребята в отдаленной глуши, которая перестала быть глушью».

Однажды, когда мы читали с Маршаком рукопись статьи «Поэзия науки», которая складывалась очень долго и очень трудно, Самуил Яковлевич сказал:

— В статьях всегда приходится заботиться о служебных постройках — связках, мостках, переходах. Подумайте только, как много времени и сил тратится на то, чтобы все имело не только служебное значение, но и поэтическое. Если механически нанизывают на одну ниточку, получается скучно, лекционно. Нас убивают рассудочные связки, вроде: «Можно привести еще и другие, не менее убедительные примеры...» Да, да, мой милый, и в связках тоже требуется вдохновение. Даже для перехода от абзаца к абзацу непременно нужен прилив крови. Поверьте, если бы я не писал длинных статей, а имел привычку подряд, без всякой последовательности записывать маленькие мысли, которые время от времени приходят в голову, было бы куда лучше.

Маршак действительно не имел привычки записывать свои мысли, но то, что он высказывал в устных беседах, я узнавал потом в его статьях и лирических эпиграммах.

В моем присутствии он спросил одного актера:

— У вас есть звание?

Актер ответил, немножко рисуясь:

— Единственное звание я получил в 1912 году, когда родился, — звание человека.

Но Маршаку такой ответ пришелся по душе.

Он кивнул удовлетворенно:

— Вы хорошо ответили. По-шекспировски.

И как всегда, когда гость ему нравился, заговорил о том, что считал полезным высказать собеседнику.

На этот раз заговорили об актерах, которые, войдя в роль, готовы на сцене забыть самих себя. Хорошо это или плохо?

— По-моему, плохо, — сказал Маршак. — У талантливого человека есть своя индивидуальность, есть своя гордость. Помните, в «Каменном госте» Жуан говорит: «Я не Диего. Я Жуан». В этих словах чувствуется личность. И Отрепьев признается Марине в обмане. Ему нужно, чтобы Марина любила его, а не Дмитрия... Актер, который хочет, чтобы в сыгранной им роли он сам был любим, несомненно хороший актер. Скажу о себе: история Жуана поучительна. Интересно, если в стихах проявляется личность автора. Но пусть и критики сумеют ее распознать. К общим похвалам я равнодушен. Они безлики. Их легко переадресовать кому угодно. Зато меткая похвала меня радует. Мне дорого, когда в стихах замечают, угадывают мое «я».

Через несколько дней он прочитал одну из своих новых лирических эпиграмм:

У Пушкина влюбленный самозванец
Полячке открывает свой обман,
И признается пушкинский испанец,
Что он — не дон Диего, а Жуан.

Один к покойнику свою ревнует панну,
Другой к подложному Диего — донну Анну...
Так и поэту нужно, чтоб не грим,
Не маска лживая, а сам он был любим.

Самуил Яковлевич встречает меня словами:

— Я ждал вас. Будем обедать.

Девятый час вечера. Время ужинать, а не обедать. Все сроки обеда давно пропущены. Но Розалия Ивановна раньше не могла дозваться его к столу. Итак, будем обедать.

Сам Маршак считает время, потраченное на еду, пропащим и всегда нехотя садится за стол.

Впрочем, присутствие собеседника примиряет его с этой печальной необходимостью. За столом завязывается разговор о поэзии, о литературе. Как говорится, обед проходит в деловой обстановке. И время уже не кажется Самуилу Яковлевичу потерянным зря.

Сейчас Маршак работает над пьесой-сказкой «Горя бояться — счастья не видать». Наверное, поэтому он то и дело возвращается к идеям и образам новой пьесы:

— Мне всегда казалось интересным делать пьесы для детских игр. Пьесы-игры. Я рассуждал: если основа всякого театрального зрелища — игра, то в театре для детей игра вдвойне оправданна. Приемы детской игры я включал во все свои пьесы. И в «Горе-злосчастье» тоже. Когда персонажи втихомолку подбрасывают друг другу горе, они, в сущности, поступают, как дети, которые, играя, незаметно из рук в руки передают какую-нибудь вещь. Я буду очень доволен, если по ходу действия юный зритель, не удержавшись, вдруг крикнет из зала солдату или дровосеку: «Эй, берегись! Царь хочет тебе подsunуть Горе-злосчастье». Ведь это будет означать, что в спектакле действительно удалось добиться живости, непосредственности, темперамента и азарта детской игры.

На столе зазвонил телефон. Маршак что-то долго кому-то втолковывал. И закончил веско, с убежденностью:

— И запомните, милый, безрогая литература никому не нужна.

Он повесил трубку и, обращаясь то ли ко мне, то ли к телефону, отчеканил:

— Безрогая детская литература тоже не нужна.

Он помолчал:

— Вот мы с вами заговорили о детской игре и об игре театральной. Но театральная игра, конечно, куда сложнее. Она непременно содержит моральный вывод. Правда, в форме забавной и для ребенка увлекательной. Все должно состоять из находок, делаться не рассудочно, а с непосредственным порывом. Тогда и расстояние между педагогической и поэтической задачей преодолется незаметно. Я по-настоящему интересовался у детской игры принципом перехвата, передачи вещи из рук в руки. Однако у меня по кругу передается не просто вещь. Передается Горе-злосчастье. Причем те, кто рассчитывают причинить горе другим, чтобы самим выгородиться, в конечном счете становятся его жертвами. В этом заключается идея пьесы. Как хотите, а безрогой ее не назовешь.

...По телевидению закончилась детская передача. Показывали новые мультфильмы. Рисованные кошки, медведи, собаки взапуски бегали по улицам, сидели за школьной партой и даже управляли самолетом.

Маршак сказал:

— Пока будут дети, рядом с ними будут зайцы, кошки, лисицы. Будут всякие барбосики — самые первые приятели ребенка. Как их изображать? Ну, конечно, без всякой слащавости и по традиции, заведенной еще стариком Эзопом, — в человеческом образе. Характеры зверей могут быть схожими, а могут быть абсолютно разными. Как в жизни: есть мышонок глупый и есть мышонок умный. Одни барбосики — добрые, другие — злые, третьи — доверчивые, четвертые — подозрительные. Знаете, у моих внуков уже несколько лет живет собака. Другие собаки за это время успели слетать в космос. А эта, представьте, до сих пор даже по двору ходить не научилась. Полезла под машину. Ей колесом лапу отдавило. Если бы я захотел описать нерадивого пса, то наверняка сама собой возникла бы аналогия с характером рассеянного, нерасторопного, ленивого человека. Впрочем, очеловечивание зверей должно иметь пределы. Сказочный заяц умеет говорить, и даже по-французски, но он непременно должен сохранить что-то заячье. Ну хотя бы прыгать. А иначе он перестанет быть зайцем.

Вечером у Маршака выступление в Библиотеке иностранной литературы. Но весь день он чувствует себя скверно. Застаю его в постели полуодетого, с градусником под мышкой. Подскачила температура.

Однако обещание есть обещание!

— Розалия Ивановна, — говорит, он слабым голосом, — принесите мой орденосный пиджак. Ну, вставай, Маршак, невольник чести! Подайте мне руку, голубчик.

Кряхтя и охая, он поднимается с постели. В машине жалутется на нездоровье и несколько раз порывается возвратиться домой. Но уже в вестибюле библиотеки, где его встречают несколько юношей и девушек, подхватывают под руки и торжественно ведут в зал, Самуил Яковлевич заметно приободряется. Знаки внимания ему приятны. А на трибуне он выглядит совсем молодцом.

Выступление Самуила Яковлевича посвящено искусству художественного перевода. Листок с кратким конспектом у меня сохранился.

Маршак говорит о двух системах художественного перевода, каждая из которых имеет свои недостатки. Переводчиков, любящих сглаживать и приукрашивать все своеобразные черты автора, Проспер Мериме назвал в свое время неверными красавцами. Но и тех переводчиков, которые во что бы то ни стало стараются сохранить в переводе чужеземный аромат, Мериме не очень-то жаловал, находя, что в своем буквализме они нередко забывали о читателе. Порой тот просто переставал их понимать. А между тем поэтический перевод требует известной творческой свободы. Эту свободу дает переводчику глубокое проникновение в духовный образ переводимого поэта, понимание того, какие слова он мог написать и какие не мог. Ну и, само собой разумеется, переводчик иноземных поэтов должен быть хорошим проводником электричества, скрытого в их стихах.

— К сожалению, среди переводчиков есть не только проводники и полупроводники. Встречаются и такие, которые совсем не проводят электрический заряд. Этим лучше бы вовсе не переводить. Один молодой литератор спрашивал у меня: почему Гейне такой плохой поэт? Оказывается, всего Гейне он впервые прочитал в переводах Петра Вейнберга. Что ж, Вейнберг был добросовестным человеком, но плохим проводником электричества.

Дом Детской книги Детгиза проводит ежегодные традиционные литературно-критические чтения. На этой по счету девятой сессии мне предстояло сделать обзор книг для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Незадолго до выступления, когда доклад был уже написан, переписан и его оставалось только произнести, меня стали одолевать разные сомнения. Вечером позвонил Маршаку. «Приезжайте, милый,— сказал он,— вместе разберемся, выверим». — «Самуил Яковлевич, сейчас уже десятый час. Может быть, завтра утром...» Сказал, почти наверняка зная ответ. И не ошибся: «Я думаю, вам полезно будет услышать мое мнение. И чем раньше, тем лучше». Сколько уже лет я его знал, мог бы привыкнуть. Нет, все-таки не мог. Всякий раз удивляла его готовность в любое время суток встречаться и беседовать с людьми, поддерживать, помогать...

В двенадцатом часу, перелистав мой обзор, Маршак поделился впечатлениями. О тексте говорил мало, больше о вещах, которые считал нужным внушить, втолковать. Начали

со стихов для самых маленьких. Я вытащил блокнот и на правах докладчика стал записывать. Маршак говорил:

— Прихотить малышей к чтению или слушанию — самое трудное. Тут нужна разговорная интонация, совершенно особая слуховая доходчивость. Быть может, поэтому за тридцать лет я сделал для маленьких не так уж много. Нужно детское, но детское, доведенное до большой поэзии. Ориентироваться на определенный возраст, и, если стихи получились, они останутся для всех возрастов. Это первый признак удачи. У меня была счастливая находка «Сказка о глупом мышонке». Мягкие интонации колыбельной песенки как-то очень естественно, безо всякой рационалистичности сошлись с веселыми характеристиками «нянек», каждая из которых на свой лад баюкает мышонка...

В моем обзоре Маршак одобрительно отметил стихи тогда молодых еще поэтов Валентина Берестова, Сергея Баруздина, Геннадия Мамлина, Юрия Коринца, Бориса Заходера, Якова Акима, рассказы Радия Погодина, повесть Анатолия Алексина «Саша и Шура». О многих произведениях отозвался критически. Например, эта песенка лишена всякой энергии. Нет действенности. А вялые стихи вообще не могут дойти до ребенка. Автор как будто лекцию читает. Скучно, вязко. Сильный поэт умеет, знаете ли, менять ритмы, тон. В стихах вы всегда слышите его голос, угадываете его интонацию. А слабый поэт и по ритму усыпляюще однообразен. Нельзя все решать арифметически.

О другой книжке отозвался коротко: автор все время говорит о чем-то. Однако детям надо говорить не о чем-то, а что-то. До определенного возраста ребенок не понимает формул, а только конкретное. Но конкретное должно быть художественно. Пробежав глазами стихи, которые я цитировал, сказал: тут есть ум и чувство. Поэт ощущает возраст слова, его вес, теплоту. А тут сплошное актерство. Нет даже слабого раствора жизни.

Он вытянул из отложенных на ночь шести сигарет одну (шесть — его ночная норма) и закурил: «Как-то, беседуя со школьными учителями, я сказал: «Вполне возможно, что в ваших классах инкогнито учатся будущие Менделеевы, Сеченовы, Чеховы. Если вы будете скучно вести свои уроки, побойтесь бога! Подумайте только, как плохо потом они вас опишут. Ну, а поэты! Их ответственность разве меньше? Что останется в зрелом возрасте из стихов, прочитанных в детстве? Живые, во всем богатстве веселых и причудливых подробностей, вспомнятся наверняка. А если стихи пустые,

как комната, где нет ничего, кроме унылых, голых стен?»

Он выдержал долгую паузу:

— Поэты, которые плохо пишут, делают гадости.

— Еще пять минут... Я только выкурю папиросу и пойду спать...

Мы в Доме творчества писателей в Ялте. Сегодня вечером Маршак вышел на площадку перед домом подышать воздухом. Тотчас его окружили люди. Один драматург долго терзал Самуила Яковлевича, излагая сюжет своей еще не написанной пьесы. Потом он поинтересовался мнением Маршака.

— По-моему, — ответил Маршак, — лучший сюжет тот, который можно записать на клочке бумаги и положить в жилетный карман. Как сюжет «Ревизора» или «Мертвых душ».

Сейчас обитатели Дома творчества разошлись по своим комнатам. На стенных часах пробило двенадцать. Но Маршак все еще сидит на диване в холле второго этажа. Он поднимался сюда долго и трудно, переводя дух после каждой ступеньки. В руке у него папироса. Но, по-моему, он не собирается ее раскуривать. Забыл или лукавит?

Маршак задумчив и грустен.

— Я уже устал от старости, — говорит он. — Как же я буду жить с ней дальше?

Неожиданно он улыбается.

— Вчера приезжали гости из Мисхора. Там в кабинете врача плакат повесили: «Санаторий не изолятор, а участок воспитательной работы».

Он смеется весело, до слез. Затем снимает очки и, протерев стекла, снова становится серьезным.

— А если, чего доброго, писатели станут так писать?.. Мы торопимся, злоупотребляем общими словами. Но лучше обождать идущие малой скоростью глаголы. Выражения вроде «обрабатывать дерево» не адресованы ни к слуху, ни к зрению. У ребенка они не вызывают никаких ассоциаций. Вот в словах «пилить», «стругать», «рубить» или еще: «лудить», «паять», «кроить» — есть наглядность, есть ощущение энергии, силы. Кажется, ты почувствовал на ладони тяжесть инструмента. — И после паузы: — Надо оберегать язык от заболоченности. От общих слов. Общие слова — беда многих городских людей. А надо обнажать граниты. В свое время думали, что Нева заболочена, потому

что у нее илистое дно. А оказалось, что на дне Невы финские граниты. Вот так и наша речь не должна напоминать заблоченные граниты.

И, как всегда, заговорив о языке, Маршак не может отказать себе в удовольствии порассуждать на любимую тему. Ему нравится сходить «в подвалы слов», докапываться до первоначального их смысла, сочинять увлекательные гипотезы, строить догадки, фантазировать.

— Ну-ка, что вы слышали о происхождении слова «бабаяга»? — И, выдержав эффектную паузу, продолжает: — У Жени Шварца была на этот счет собственная теория.

Тут Маршак принимается рассказывать историю, которую всякий раз, слегка изменяя, любил повторять в кругу друзей. Во времена татарского нашествия жил богатый татарин Бабай-ага. О его свирепом нраве складывались легенды. Когда надо было утихомирить шаловливых детей, матери пугали их, грозя отправить к самому Бабай-аге. Но за пятьсот-то лет ничего не стоило перекрестить Бабая в бабу (так оно понятней), а мужской пол переделать в женский. На долю слов выпадали еще и не такие приключения!

— «Седина — в бороду, бес — в ребро». Наверняка сначала была рифма: «В бороду — серебро, бес — в ребро». Звонко. Весело. А потом где-то в веках рифма затерялась, стихотворный строй рассыпался, и никто уже не помнит об этом...

В таком духе Маршак блистательно импровизирует довольно долго.

— Знаете, как по-немецки капуста? Правильно, «Kohl». Ну, а печенье? Забыли? «Gebäck». Сложите все вместе: «Kohlgebäck» — «капустное печенье», «капустный пирог». Ну, а теперь вслушайтесь... — Самуил Яковлевич медленно произносит, чеканя каждый слог: — Kohlgebäck! Что вам напоминает это слово по звучанию? С кем оно может состоять у нас в родстве? — И торжественно объявляет: — Кулебяка!

Тут Маршак наконец-то закуривает злополучную папиросу.

— Была бы возможность прикупить немножко сил и времени, непременно написал бы книгу о приключениях слов.

Он делает глубокую затяжку.

— Я старик. А все равно остался беспокойным. Мне это мешает. Нет, старость не по мне, не по моему характеру, не по моему темпераменту.

Он нехотя поднимается с дивана.

— Помните, у Пушкина в «Египетских ночах» — «Ветер в овраге»? Ну, а я теперь — «Буря на диване».

На письменном столе Маршака лежит увесистый том стихов для детей, только что вышедший в «Золотой библиотеке» Детгиза. Оформление Самуилу Яковлевичу не по душе. Ярko-красная обложка «в серебре и злате». Пышно и безвкусно! К тому же книжка плоховато сброшюрована и не плотно закрывается. «Как взъерошенный воробей с разинутым клювом», — ворчит Маршак. Но, кажется, новый однотомник самый полный. Под одной обложкой уместились все сказки, песни и загадки для маленьких. И это приятно Маршаку. Он вручает мне книгу с веселым посвящением:

Милый критик, дружбы ради
Вы примите этот том
В пышном, праздничном наряде,
В переплете золотом.

Этим прочным, толстым томом
Вы могли бы в поздний час
Размножить башку знакомым,
Засидевшимся у вас.

Верьте, том тяжеловесный
Их убьет наверняка,
Но убитым будет лестно
Часть от лиры Маршака.

С юбилейного вечера отправляемся к Маршаку домой на улицу Чкалова.

Самуил Яковлевич устал.

— Ох-ох-ох! Семидесятилетний юбилей надо праздновать в двадцать лет, когда есть еще на это силы.

Но он доволен.

— Знаете, кто я такой? «Большой художник слова».

В прихожей толстая пачка поздравительных телеграмм. Их принес сегодня утром с почты симпатичный молодой человек.

— Домашние хотели дать ему «на чай». Обиделся, хлопнул дверью, убежал. А эту поздравительную телеграмму принесли днем, отдельно. Она от молодого человека с почты. Видите подпись: «Разносчик телеграмм».

Самуил Яковлевич вскрывает плотный продолговатый конверт с иностранными марками. Всемирная федерация

клубов Роберта Бернса наградила Маршака медалью Бернса.

И, как всегда, пряча за иронической интонацией торжество, Маршак говорит:

— Теперь буду с медалью, как штангист или как старый заслуженный дворник с большой бляхой.

Время позднее. Однако и на этот раз Маршак долго не отпускает от себя. Он достает томик сонетов Шекспира, показывает исправления, которые сделал для нового издания:

— Боюсь, не порчу ли? Не ослабела ли рука? Сонеты — это высшее в поэзии. «Солнце ума». А в то же время сколько лиричности, какая сердечность. И заметьте: конец сонета всегда интимный. После роскошных палат — мезонин. Как у Пушкина, который от Данте и Петрарки довел историю сонета до своего друга Дельвига... Так вот, мой милый, в переводах Шекспира нужна не точность, а меткость. Мне приходилось делать до двадцати вариантов каждого сонета. Пятьдесят пятый сонет я переводил шесть лет. Хотелось приблизиться к величавой торжественности «Памятника» Горация.

Маршак поглубже усаживается в кресло и своим глуховатым, задыхающимся голосом читает:

Замшелый мрамор царственных могил
Исчезнет раньше этих веских слов,
В которых я твой образ сохранил.
К ним не пристанет пыль и грязь веков.

Пусть опрокинет статуи война,
Мятеж развеет каменщиков труд.
Но врезанные в память письмена
Бегущие столетья не сотрут.

Ни смерть не увлечет тебя на дно,
Ни темного забвения вражда.
Тебе с потомством дальним суждено,
Мир износив, увидеть день суда.

Итак, до пробуждения живи
В стихах, в сердцах, исполненных любви!

Он долго сидит в глубокой задумчивости, подперев кулаком голову...

— Знаете, иногда мне кажется, что свои переводы сонетов я бы мог прочитать Пушкину.

В кабинете Маршака застаю молодого поэта. На столе лежат листки с его стихами. По-видимому, стихи уже по-

бывали в какой-то редакции. На полях многочисленные крючки, галочки, вопросы, восклицания.

Маршак раздражен:

— В этом журнале, кажется, собрались одни контролеры и кондукторы. А вагоновожатого у них нет.

Самому Маршаку стихи нравятся. Но вот ему попался на глаза сонет под названием «Море».

— Ну, знаете, — хмурится он, — если вообразить, что море всего лишь H_2O , легко разрушить искусство... Мне ваш сонет, извините, напомнил блюдечко с водой, в котором художники промывают свои кисточки. Бледные краски, вялый ритм. Сплошные подражания. А в стихах должно быть ощущение новизны, в первый раз сказанного слова. Хорошими стихами я всегда горло полоскал.

Маршак перебрасывает еще несколько листов.

— Свое знаменитое «А все-таки она вертится» Галилей произнес с жаром, убежденностью, энтузиазмом. Надо вернись энтузиазм словам. Поэт не должен бубнить, как дьячок. — И тут лицо Самуила Яковлевича опять проясняется. — А это хорошо! И дальше недурно. Пожалуй, из юноши будет толк.

По-отечески обняв гостя и подавая ему в передней пальто и шапку (разыгрывается уже известная читателям трагикомическая сцена «борьба человека с пальто»), Маршак на прощание говорит:

— Непременно постарайтесь, голубчик, сохранить в литературе собственную физиономию. Иначе, как таксист, будете ездить по всем маршрутам.

Когда моя книжка о творчестве Маршака была написана, издана, даже дважды переиздана и торжественно преподнесена Самуилу Яковлевичу, он подарил мне свою «Веселую азбуку от А до Я» с дружеским напутствием:

Вы мой Плутарх, Борис Галапов.
Но не пишите обо мне,
Что я блистал среди уланов
И пал от пули на войне.

Разумеется, предостережение было шуточным. Труд, подвижнический труд и взыскательное отношение к слову до глубокой старости были источником его горестей, радостей, вдохновения. И писать его надо было за рабочим столом — тут он был в седле, — закопавшимся в ворохе срочных и

сверхсрочных версток, гранок, бесчисленных черновиков. Но даже и тогда, когда Маршак уже был тяжело, неизлечимо болен, все равно он мне казался человеком, находящимся внутри радуги. Таким запомнила его поэтесса Новелла Матвеева. И это действительно было качество, органически присущее личности Маршака, его видению жизни и мироощущению, его стихам. Как через семицветный полукруг, с детства приходят к нам во всей своей первоизданной свежести поэтические образы Маршака:

Вот из радужных ворот
К нам выходит хоровод.
Выбегает из-под арки,
Всей земле несет подарки.
И чего-чего здесь нет!
Первый лист и первый цвет,
Первый гриб и первый гром,
Дождь, блеснувший серебром...

19 апреля 1871 года Дюма-сын писал Жорж Санд: «Кто-то однажды спросил меня: «Как это получилось, что ваш отец за всю жизнь не написал ни одной скучной строчки?» Я ответил: «Потому что ему это было бы скучно».

Мне кажется, такой ответ Маршаку пришелся бы по душе.

ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЖИВЫМ



Была весна. Зелень кругом изумрудная, свежая, но листья на березах еще очень маленькие. Птицы заливались на все лады. Небо словно промытое — безоблачное, синее.

Мы встретились в ту весну с Самуилом Яковлевичем на даче в Мамонтовке. Вышли на пригорок, откуда видна речка Уча, мелкий кустарник. На другом берегу тянулись подмосковные сизые дали.

— Давайте читать стихи о весне, — предложил Самуил Яковлевич.

Он снял старую серую шляпу, поправил воротничок и начал читать Пушкина, Маяковского, Фета, Тютчева, Плещеева, Баратынского. Был он тогда, как говорится, в возрасте, но весь светился радостью, восторгом и казался молодым.

Для Самуила Яковлевича беседы о литературе были и лабораторией, и своего рода «контрольно-пропускным пунктом». Он умел говорить, но умел и слушать. Обладая огромной эрудицией, он терпеливо выслушивал суждения, критические замечания. Это помогало поэту отшлифовать свою мысль.

Самуил Яковлевич бесконечно любил русскую литературу и прекрасно знал ее. Места, связанные с именами великих наших литераторов, были для него священными. В хороший летний день выехали мы однажды из Москвы в Ясную Поляну. С нами был Николай Павлович Пузин — большой знаток всей жизни семьи Толстых.

Вспомнили, как дважды — в 1914 и 1916 годах — Софья Андреевна Толстая обращалась с письмами на «высочайшее

имя», в которых просила сохранить для русского народа Ясную Поляну. На одном из писем рукой его императорского величества было начертано: «Нахожу покупку имения гр. Толстых государством недопустимой». В 1918 году по указанию Ленина Ясной Поляне было оказано необходимое внимание. В следующем, 1919 году С. А. Толстую посетил по поручению Ленина Михаил Иванович Калинин. В семье Толстых это произвело огромное впечатление. А в июне 1921 года Ленин подписал декрет, в котором Ясная Поляна объявлялась народным достоянием.

История с обращением С. А. Толстой к императору, рассказывал Н. П. Пузин, вызвала в то время много толков; общественное мнение было взбудоражено. Уже после смерти С. Я. Маршак его сын, И. С. Маршак, нашел в архивах стихи, посвященные этому событию. Высмеивая невежественное отношение правящих кругов к Л. Толстому, поэт писал:

Нам литература
Без того расходец,
Строгая цензура,
Дорогой народец.

Общеизвестно, что Маршак — один из основоположников советской литературы для детей. В общем коллективе советской интеллигенции он был одним из тех, кто по крупицам, книга за книгой, собирал для детей талантливых и умных друзей. И здесь как нельзя лучше пригодился его опыт, талант, тонкий художественный вкус.

Кто подсчитает, сколько вечеров отдавал Самуил Яковлевич книгам М. Ильина, Б. Житкова, Л. Пантелеева, А. Гайдара и других, впоследствии широко известных писателей?

Вместе с А. М. Горьким Самуил Яковлевич стремился к тому, чтобы для детей создавались книги познавательного характера. Можно утверждать, что без поддержки Маршак, который умел вселять в автора веру в свои силы, не появились бы, например, книги М. Ильина «Рассказ о великом плане» и «Как человек стал великаном».

В среде литераторов и учителей — это было накануне войны — основательно раскритиковали «Родную речь» — хрестоматию для школьников.

— Вы, так сказать, правильно возмущаетесь, — гово- 525

рил А. А. Фадеев, прибавляя свое любимое «так сказать». — Но будет еще лучше, — продолжал он, — если вы делом поможете исправить эту нашу, так сказать, общую беду.

Александр Александрович убедил Маршака, и тот со всем рвением взялся за составление хрестоматии. Он привлек к работе многих знатоков литературы, энтузиастов. Большую помощь оказывали ему учителя московских школ. К сожалению, эту работу ему не удалось довести до конца. Интересно было бы разыскать рукопись.

Мы часто говорим о связях художников с жизнью народа. Бесспорно, необходимы поездки и на заводы, и в колхозы, и встречи с интеллигенцией. Но это лишь одна из форм связи, конечно, чрезвычайно важная. Настоящая связь художника с мыслями, думами народными находит свое выражение в его творчестве, в том, что он создает, как он ставит свой талант на службу советскому отечеству. В конечном счете писатель отчитывается перед народом своими книгами.

Самуил Яковлевич умел отдать свои стихи, свое творчество людям. Он принимал активнейшее участие во многих комсомольских и пионерских начинаниях. Было однажды задумано составить для ребят круг чтения в соответствии с возрастными особенностями учащихся каждого класса. Идея состояла в том, чтобы отобрать некоторое число книг как самый необходимый минимум для внешкольного чтения. Дело встретило поддержку, и работа закипела. Маршак сам предложил некоторые книги. К работе над списком он привлек литераторов, переводчиков, обсуждал различные варианты.

Со временем список был создан и регулярно публиковался в «Пионерской правде». Газета получала в связи с этим тысячи писем.

Много сил отдавал Самуил Яковлевич «Пионерской правде»; на страницах этой газеты публиковалось много его произведений, в том числе «Быль-небылица», «Веселая азбука».

Стол, на столе зеленая лампа и стаканы с остывающим чаем. Клубы синеватого папиросного дыма, белый снег за окном... Маршак читает своим глуховатым голосом стихи.

— Автобус № 26.

Баран успел в автобус влезть,
Верблюд вошел, и волк, и вол.
Гиппопотам, пыхтя, вошел...

Порой поэт поднимает голову, за стеклами его очков — внимательные, улыбающиеся, добрые глаза. Все смеются — стихи веселые, написаны легко.

Потом вышла из печати новая книжка стихов Самуила Яковлевича — «Северок». На обложке книги художник В. Богаткин изобразил город, залитый северным сиянием. Улица в снегу, а над ней, над темными домами — потоки света.

История этой книжки такова.

У Маршака была огромная переписка. И как-то он рассказывал, что в потоке писем пришло к нему письмо детей из Норильска. Ребята сообщали, что живут прекрасно, даже купаются всю зиму в бассейне и смотрят телевизионные передачи «Северок».

Письмо привело Самуила Яковлевича в восторг своей жизнерадостностью.

— Какие чудесные ребята, — с воодушевлением говорил он, — и «Северок» организовали. Молодцы!

Передо мной еще одна книжка. Она называется «Разноцветная книга». Маршаку, как неугомонному искателю кладов в литературе, пришла идея сделать книжку разноцветных картинок, где цвет помогал бы раскрыть содержание.

Рассказывая о своем замысле, а позднее читая написанные стихи, Самуил Яковлевич мечтал о том, чтобы нашелся такой художник, который сделал бы рисунки едиными с текстом.

И вот ребенок видит зеленую страницу — мир лета, синюю — море, желтую — мир песков, снежную — царство зимы. А кончается книжка красной страницей:

День Седьмого ноября —
Красный день календаря.
Посмотри в свое окно:
Все на улице красно!

Шесть страниц текста, шесть страниц рисунков В. Лебедева — и новый мир познания для маленького читателя.

Будучи чрезвычайно взыскательным к себе, Маршак имел право быть взыскательным и к другим. Его возмущали аляповатые скульптуры в детском городке Парка куль-

туры и отдыха имени Горького; он воевал за хорошее оформление и хорошую, ясную печать для книг; его интересовало качество детской одежды.

Маршак не любил славословия. Громким словам он предпочитал скромные, но идущие от сердца. Для него понятия партия, Родина были такими же ясными и закономерными, как наступление дня, восход солнца. Поэтому с самого начала Великой Отечественной войны Маршак стал в ряды защитников Родины. Когда 22 июня началась война, Маршак был в Москве. Его первые стихи на военную тему написаны 22—23 июня и опубликованы 24 июня.

Нередко в поздний зимний час раздавался телефонный звонок. Сразу можно было узнать прерываемый частым кашлем глухой голос Самуила Яковлевича:

— Только что слушал по радио военную сводку. Хотите, прочту стихи?

Утром на другой день стихи уже были в «Правде». Маршак в полном смысле слова приравнял перо к штыку. Он писал стихи по материалам военных сводок, делал подписи к карикатурам. В годы войны выросло содружество Маршака с Кукрыниксами. Все они жили в одном доме напротив Курского вокзала. Работа шла параллельно: продумывался замысел, художники начинали работать над карикатурой, а Маршак тем временем составлял текст.

Во время войны были мы с ним в танковой части, которой командовал генерал Гетьман. Часть была расположена где-то за Малоярославцем. Выехали мы из Москвы задолго до рассвета, а попали к танкистам уже во второй половине дня: дорога была трудная, с множеством объездов из-за частых бомбежек. Где-то пришлось ехать через молодой заболоченный лесок. Машина шла по бревнам, словно по клавишам огромного инструмента. Бревна прыгали, поднимались то одним, то другим концом, пели, бормотали, грохотали.

Танкисты знали Самуила Яковлевича и по-дружески встречали его. Каждый экипаж выстроился около своего танка. Когда Маршак подходил к экипажу, ему отдавали честь. Растроганный Самуил Яковлевич, не чувствуя усталости, читал стихи. Установилась дружеская атмосфера, и один из бойцов — застенчивый молодой человек — сказал:

— Товарищ Маршак, у нас некоторые бойцы тоже стихи пишут.

По настоянию Маршака танкист прочитал стихи:

Танк танкетку полюбил,
В рожицу гулять водил,
От такого романа
Вся роща переломана.

Маршак часто со смехом вспоминал эти строки.

До Москвы добирались всю ночь. Маршак устал до крайности, но спать не мог. Человек больших эмоций, он снова и снова возвращался к тому, что увидел. Не было предела его восхищению смелостью танкистов, не один раз смотревших в глаза смерти и огню.

В Лондоне, в огромном зале Альберт-холл, знакомый англичанин говорил нам однажды, что Роберта Бернса в СССР знают, конечно, лучше, чем в Англии.

Очень давно читал нам Самуил Яковлевич свои переводы стихов Роберта Бернса. И нужно было слышать, сколько озорства и веселья было в его голосе, когда он произносил строки из «Честной бедности»:

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.

Любовные стихи о Дженни, «замочившей все юбочки, идя через рожь», Финдлее — лихом парне, готовом на все ради пылкой любви, Макферсоне — воплощении отваги, непримиримости и бесстрашия, — строки эти читались в течение всего вечера.

Уже этого одного было чрезвычайно много, но это было далеко не все. В следующий раз Маршак уже читал «Вересковый мед», множество баллад. А когда к взрослым присоединялась компания детей, он смотрел на них улыбающимися глазами, спрашивал: «Хотите, вам прочитаю?» — и начинал читать про дом, который построил Джек, про веселого короля, про кораблики и мельницы — без конца.

Это были счастливые часы, когда на ум приходили мысли о том, что высшее наслаждение — общение с людьми, что нужен человеку пир духовный, очищающий интеллект, заставляющий думать, тревожиться о том, что еще не достигнуто.

Маршак был словно полпредом поэзии. Открывая духовные богатства заново, он переводил Шекспира, Блейка,

Гейне, Джанни Родари, поэтов славянских народов, народные песни и баллады. Тем самым он как бы перекидывал мосты из прошлого в сегодня, воплощая в строках поэзии великое чувство гуманизма, патриотизма, пролетарской солидарности в борьбе против мира лжи и насилия.

Физический недуг с каждым годом сужал возможности Маршака, отсекая от него многие человеческие радости. За годы своей жизни Маршак хлебнул горя, пережил немало трагедий. Его покидали близкие, которых он горячо и нежно любил: скончались жена, младший сын, брат. Ему тяжело было оставаться в квартире, где он пережил столько несчастий. Но никто никогда не видел его в состоянии угнетения, отчаяния. В этом больном, израненном житейским горем теле жил сильный дух.

После смерти поэта в его бумагах нашли неопубликованные стихи. Никто не знал, что в бессонные ночи поэт жил воспоминаниями о любимых людях, как бы снова встречался с ними.

Я еду в машине. Бензиновая гарь
Сменяется свежей прохладой.
Гляжу мимоездом на бледный фонарь —
Последний фонарь за оградой.

Стоит он в углу и не ведает сам,
Как мне огонек его дорог, —
Высокий фонарь сторожит по почам
Покрытый цветами пригорок.

В углу за оградой — убогий почлег
Жены моей, сына и брата.
И падает свет фонаря, точно снег,
На плющ и на камень шербатый.

В столицу бессонную путь мой лежит,
Фонарь за домами затерян.
Но знаю: он вечный покой сторожит,
Всю ночь неотлучен и верен.

— Хотите послушать? — лежа в постели на спине и гулко кашляя, спрашивал он и начинал читать страницу за страницей только что законченные стихи. И в такой момент кашель отступал, и голос поэта звучал сильнее.

Стол, подоконник, стулья в комнате — все было обычно завалено рукописями, гранками, письмами, книгами. Только ему одному известным способом находил Маршак среди этого, казалось бы, столпотворения нужную страницу, ру-

копись, письмо, книжку. Нередко на почве таких поисков у него вспыхивали сражения с секретаршей Розалией Ивановной.

Суется и поправляя очки, она в таких случаях бесшумно двигалась по комнате, давая в то же время «отпор» поэту и обвиняя его в том, что у него самого нет порядка, что так работать невозможно. Одновременно Розалия Ивановна успевала подходить к телефону и исчерпывающе объяснять, когда будет отправлена такая-то верстка, когда были посланы стихи, почему Маршак не может выступить по радио.

В последний раз мы виделись с Маршаком в декабре 1963 года на его квартире. Снова он был плох. Но не это его беспокоило: ему хотелось рассказать, что он готовит предисловие для выходящей в Англии книги стихов советских поэтов; что Расул Гамзатов снова порадовал своими прекрасными стихами; что молодые-то у нас талантливы, но только некоторым из них надо больше знать, учиться, а не скакать на одной ножке.

Маршак был в постели. Верхний свет, чтобы не утомлять глаза, выключили, придвинули к кровати столик, устроили маленькое, скорее символическое, угощение: выпили по рюмочке коньяка, Самуил Яковлевич многое вспоминал.

— Теперь, — говорил он, — надо только работать и работать. И самое главное — чтобы не было новой грозы. Надо собирать всю интеллигенцию мира. Когда были Максим Горький, Ромен Роллан, Анри Барбюс, порой кажется, что было легче работать. Но сейчас сил еще больше, коллективный разум литераторов могуч. — Задыхаясь от кашля, содрогаясь всем телом, он строил планы поездок в Узбекистан, Таджикистан, в Англию и даже в Юго-Восточную Азию.

Невероятно длинна и удивительно прекрасна дорога, которую прошел Самуил Яковлевич. И если бы представить себе всех, кого он встречал на этой дороге, все страны, в которых искал драгоценные жемчужины слова, чтобы отдать их людям, если бы представить всех, у кого он учился, всех, кого он учил, если бы собрать всех героев его произведений, всех его читателей, картина получилась бы грандиозная.

Я слушал Самуила Яковлевича в течение всего вечера. Было поздно, когда, спустившись по лестнице, я вышел на Садовое кольцо. Город уже замирал, в окнах гас свет, и

даже около Курского вокзала, где обычно всегда оживленно, движение стихло. В свете фонарей кружил серебристый снег.

Не хотелось думать, что приходит к человеку тот последний миг, когда свет потухает и все погружается во мрак — и нет уже блеска ума, памяти, накопившей ворох знаний, таланта, который приводил в восторг людей.

Не хотелось писать о Маршаке в прошедшем времени, и жизнь этому помогла. Вот лежит на столе только что вышедший из печати очередной том собрания сочинений Маршака.

Друг принес только что вышедший из печати сборник «Воспитание словом». На обложке — портрет Самуила Яковлевича. Он сидит, как всегда, в очках, с пером в руке и правит верстку.

СУЩНОСТЬ СТИХА



огда я вспоминаю Самуила Яковлевича Маршака, меня прежде всего охватывает чувство удивления. Удивляться можно только необыкновенному, а у Маршака все было необыкновенно.

Меня поражала его любовь к слову, его обостренное чувство целесообразности и меры, его нетерпимость ко всему, что звучало фальшиво, надуманно, неестественно.

Мне часто приходилось бывать у Маршака, слушать его новые стихи и переводы, говорить об искусстве перевода и, в отдельных случаях, толковать вместе с ним некоторые трудные для понимания строки сонетов Шекспира. Как точно, с какой глубиной мог он вскрывать ту едва заметную внутреннюю сущность стиха, которая составляет душу поэтического произведения!

Расскажу об одном случае. Однажды я сидел в кабинете у Самуила Яковлевича и слушал его новые переводы сонетов Шекспира, которые только начали появляться в журналах. Я его спросил, почему он до сих пор не перевел 90-й сонет, который, с моей точки зрения, является одним из лучших¹.

Он попросил меня прочесть этот сонет по-английски и затем заставил повторить его два или три раза. После этого мы перешли в столовую, где было еще несколько друзей и родных Самуила Яковлевича, но он вскоре ушел и больше не выходил из кабинета. Разошлись мы рано — часов в 9—10 вечера. Ночью, примерно в 2 часа, меня разбудил телефонный звонок. Радостный голос Маршака:

— Перевел. Перевел ваш любимый сонет. Слушайте.

¹ «Уж если ты разлюбишь — так теперь...» (пер. С. Маршака).

Несмотря на поздний час и на телефонные «искажения», я все же уловил, что в переводе нет того звукового повтора, который столь характерен именно для этого сонета и которым опосредованно передается эмоциональное напряжение всего сонета. Я сказал об этом Самуилу Яковлевичу. Он рассердился: «Вы, филологи, буквоеды! Вам нужна не поэтическая, а формальная точность! Больше не буду вам читать свои переводы!»

Прошло два месяца. Маршак все это время ни разу не звонил мне, а надо сказать, что, когда он переводил сонеты, мы виделись довольно часто. Но когда он наконец позвонил и попросил прийти и послушать исправленный вариант 90-го сонета, я очень обрадовался.

— Русскому языку, — говорил Маршак, — не так уж свойственна аллитеративная фактура стиха. В английском языке наоборот — традиция аллитерированного стиха восходит еще к древнеанглийскому эпосу. Вместо звукового повтора на «о» и «оу» в английском подлиннике я заменил слова «страдание» и «несчастье» на русское ёмкое, большое слово «беда». И теперь этот стих звучит так: «Что нет невзгод, а есть одна беда».

Мне и теперь кажется, что две эпиграмматические строки 90-го сонета Шекспира в переводе Самуила Яковлевича не уступают, а может быть, и сильнее, чем в подлиннике. Помню, он произнес слово «беда» на народный лад: «бядя», — подчеркивая этим то действительно огромное содержание, которое вмещается в этом слове.

У Маршака было удивительно точное образное мышление, и реализовалось оно часто в народно-сказовых формах. Помню, на прогулке в Кемери, где мы вместе отдыхали в 1947 году, он, отбиваясь от комаров, которых в Кемери было предостаточно, в сердцах сказал: «Проклятые комары! Заели! Вот муха дура: летит не знает, где сядет. А комар — что «мессершмитт»: наметит себе цель и летит прямо на нее».

А его экспромты! На томике сонетов, подаренном С. В. Кафтанову, я помню следующую надпись:

Сергей Васильевич Кафтанов,
Старик Шекспир Вам шлет привет.
Ему подобных великанов
У англосаксов нынче нет.
Он на потомков смотрит гневно,
Вы сами убедитесь в том,
Когда с Галиной Сергеевной
Вдвоём прочтете этот том.

К сожалению, эту книжку с надписью у С. В. Кафтанова «увели», и хорошо, что я запомнил эти строки любимого поэта.

Трудно в отрывочных эпизодах рассказать о том огромном наслаждении, которое доставляло непосредственное общение с Маршаком. Каждая встреча с ним вызывала чувство благоговения, чувство, которое всегда испытываешь от близости к вдохновенному таланту. Но наши встречи не ограничивались разговорами о поэзии. Мы много говорили об эстетике, о теоретических проблемах стилистики и литературоведения. Много спорили о том, какими должны быть словари. Его стихотворение «Словарь» я до сих пор не могу читать без волнения. Строка «бог сыну не дал веку» каждый раз напоминает мне, как тяжело Самуил Яковлевич перенес смерть младшего сына. Это стихотворение я поместил эпиграфом к вышедшему в 1972 году Большому англо-русскому словарю.

Книга «Воспитание словом» — его теоретико-лингвистическая работа. «И я решил написать кое-что о слове с ваших позиций, — говорил он мне с лукавой усмешкой, — но, может быть, не так сухо, как пишут лингвисты. Скажите мне ваше мнение».

В 1947 году в Кемери я выступал со вступительным словом перед большой аудиторией, собравшейся слушать стихи и переводы Маршака. Характеризуя разносторонность его творческого диапазона, о котором так много и так хорошо писали и говорили до меня, я подчеркнул глубокое проникновение поэта в сущность поэтической формы и его синтезированное воплощение художественного и научного мировоззрения.

Жаль, что задуманная им книга по теории художественного творчества не успела осуществиться.

УЧИТЬСЯ У МАРШАКА



стей тогда еще у меня не было, однако так называемые «детские стихи» Маршака я уже знал и любил. Любил потому, что это стихи не «детские» и не «взрослые», а просто — настоящие, чудесные стихи, каждой своею строчкой свидетельствующие о зоркости поэта к явлениям внешнего мира, будь то природа, будь то большой город, отразившиеся в его стихах во всем своеобразии своих красок, запахов и звуков; о зоркости поэта к человеку, к его духовному миру, к его душевному строю; наконец, о зоркости поэта к миру животных, столь многоликому, столь занимательному.

Летом 1938 года в Тарусе я развернул свежий номер «Литературной газеты» и прочитал подборку стихов Бернса в переводе Маршака. Неожиданно этот день стал для меня праздником. Это было для меня открытием нового, огромного поэта, потому что до Маршака Бернс был для меня автором лишь двух стихотворений — «Джона Ячменное Зерно» и «Веселых нищих», которые я знал в переводе Багрицкого. Это был праздник на моей переводческой улице. В ту пору творческие усилия наших поэтов были в основном направлены на воссоздание поэзии народов СССР, между тем как зарубежная поэзия временно пребывала в тени.

И вдруг — такой свободный и раскованный голос, такой чистоты звук, такое острое ощущение народности языка, такое острое ощущение разговорных интонаций, такое искусство в построении рефренов, ни к одной строфе не пришитых, не пристегнутых, но естественно из нее вытекающих:

Король лакея своего
Пазначит генералом,

Но он не может никого
Назначить честным малым.

При всем при том,
При всем при том
Награды, лезть
И прочее
Не заменяют
Ум и честь
И все такое прочее!

В то лето в Тарусе жила на даче Т. Л. Щепкина-Куперник. Мы виделись с ней ежедневно. Я не решился заговорить с ней о новых переводах Бернса — незадолго до того Гослитиздат выпустил томик Бернса в ее переводах. Но Татьяна Львовна сама заговорила о переводах Маршака.

— Должна признаться, что Маршак лучше меня перевел Бернса, — сказала она, тем самым доказав лишний раз, что не только гений и злодейство, но и талант и зависть — две вещи несовместимые. Впоследствии я слышал восторженные отзывы Самуила Яковлевича о переводах Щепкиной-Куперник из Ростана и Лопе де Вега.

Раньше меня познакомилась с Самуилом Яковлевичем моя пятилетняя дочь. Я взял ее с собой в Союз писателей. Пока я с кем-то разговаривал, она разгуливала по коридору; тут ее заметил Самуил Яковлевич, подошел к ней, поздоровался и заговорил. Я стоял поодаль и наблюдал за этой любопытной сценой. Я никогда еще не видел, чтобы кто-нибудь так разговаривал с детьми — на правах старого знакомого, на правах давнего и близкого друга, на правах ровни, но без малейшего присюсюкиванья, заигрыванья и подлаживанья под детский язык и тон, очень серьезно, деловито, внимательно. Именно этой непоказной внимательностью, этой ненаигранной серьезностью он и покорял детей мгновенно, с первых же слов. Как я убедился впоследствии, в этом же самом заключалась тайна его обаяния и в общении со взрослыми. Маршак не искал популярности — его действительно влекли к себе люди, ему доставляло удовольствие входить в круг их интересов, он всей душой радовался их успехам, он осторожной, но твердой рукой переводил их с пути неправого на путь истинный.

Знакомство Самуила Яковлевича с моей дочерью, при котором я только присутствовал в качестве зрителя, мне потом, что называется, вышло боком. Спустя несколько дней мы ехали с дочерью в трамвае. Где-то образовался затор, и трамвай долго стоял. От скуки пассажиры завели разговор с моей дочерью. Зашла речь и о ее литературных

пристрастиях. От классиков перешли к современникам. На вопрос, кого из современных поэтов она больше всех любит, она ответила:

— Маршака... Я даже с ним познакомилась, — с гордостью добавила она.

— Где же ты с ним познакомилась?

— В Союзе писателей.

— С кем ты там была?

— С папой.

— А он зачем туда ездил?

— Не помню... Кажется, за папиросами.

Мое знакомство с Самуилом Яковлевицем состоялось много лет спустя. Я знал о его отношении ко мне только по тем добрым словам, которые встречал в его выступлениях и статьях. В первый раз я пришел к Самуилу Яковлевицу по делу — с просьбой повлиять на судьбу моего перевода «Гаргантюа и Пантагрюэля», в то время мирно покоившегося в недрах Гослитиздата.

Самуил Яковлевич не раз мне потом говорил, что он рассматривает каждую встречу с человеком как событие, что разговор с человеком — это для него такое же важное, нелегкое, но увлекательное дело, как и его писательский труд. Он и в разговоре с людьми оставался истинным и большим художником. Его поэтическое искусство хорошо прежде всего тем, что его, по словам Тургенева, не замечаешь, как не замечает человек своего здоровья, покуда оно не расстроено. И так же незаметно для собеседника, так же неназойливо было его искусство вести беседу — она лилась точно сама собой и легко заходила за ночь.

Мой первый приход к Самуилу Яковлевицу оказался для меня редкостно удачным. Я уже не говорю о том, что Самуил Яковлевич принял к сердцу мои мытарства с изданием перевода Рабле так, как если бы эти мытарства выпали не на мою, а на его долю, я уже не говорю о том, что, если б не Самуил Яковлевич, не А. Т. Твардовский, не К. А. Федин и не М. Ф. Рыльский, мой Рабле еще несколько лет не увидел бы света. Главная удача этого моего прихода заключалась в том, что после я уже без всякого дела очень часто бывал у Самуила Яковлевица, что из случайного посетителя я превратился в его друга, как он меня называл и устно, и в дарственных надписях на книгах, и в поздравительных телеграммах.

Позвонишь по телефону — просто чтобы узнать, как он себя чувствует.

— Я был бы рад вас видеть, голубчик. Приезжайте, только сегодня, если можно, — с присущей ему деликатностью добавлял он, — ненадолго, а то я себя плоховато чувствую.

Но вот беда! Приезжаете вы к Самуилу Яковлевичу с твердым намерением посидеть недолго, миллион раз порываетесь уйти — «Самуил Яковлевич! Вам пора отдохнуть!» — не тут-то было: всякий раз рука Самуила Яковлевича ложится вам на колено:

— Побудьте еще немного! Мне с вами интересно.

А уж нам-то было с ним интересно! Как нам было с ним хорошо!

Хорошо потому, что в нем сейчас был виден большой человек, душевно щедрый, отзывчивый (недаром он любил Горького не только как писателя, но и как человека), хлопотун, несмотря на всю свою погруженность в литературу замечающий, что у кого болит, всегда готовый выручить в беде, не отворачивающийся от мелочей жизни, старающийся быть полезным и в мелочах, знающий, как они жалят. Когда я у него засиживался допоздна, он неизменно осведомлялся:

— У вас есть деньги на такси?

Разумеется, это мелочь, но в этой мелочи весь Маршак с его дотошной заботой о людях. На великодушный порыв способны многие. Маршак был упорен в своем доброделании. Он не гнушался черной работой, которая бывает иногда необходима, чтобы довести доброе дело до конца. Он мертвой хваткой вцеплялся в какого-нибудь бюрократа и не отпускал, покуда тот не сдавался.

Захватывающе интересно было с ним оттого, что это был поэт во всем — не только в своих произведениях, но и в своих суждениях о литературе, об искусстве вообще, поэт, внимание которого привлекало все примечательное и в культуре и в жизни. Добряк, он был беспощадно жесток ко всему ненастоящему, ко всему фразистому, ко всему крикливому, ко всему фальшивому, ко всему себялюбивому, ко всему вымученному в искусстве. Он так любил литературу, что все обеднявшее ее, все ронявшее ее достоинство он воспринимал как личное оскорбление.

Как-то зашла речь об одном переводе, в свое время получившем официальное признание, но, в сущности, нечитаемом.

— Имярека за этот перевод утопить надо, — багровея от ярости, вынес приговор Маршак.

Он умел строго разграничивать отношение к человеку и отношение к писателю. Как-то мы заговорили об одном

весьма популярном прозаике. Я знал, что у Самуила Яковлевича очень хорошие с ним отношения, что они по ряду общественных вопросов выступают как единомышленники. Поэтому я робко сказал, что уважаю его как человека, но не люблю как писателя. Самуил Яковлевич неожиданно для меня просиял:

— У вас хороший вкус, голубчик. Как это вы сумели его уберечь?

Маршак-поэт, так же как и Маршак-человек, обладал неистощимым чувством юмора, и он очень ценил это свойство в других, даже если объектом юмора были он и его поэзия.

Летом 1963 года мы вместе отдыхали в Ялте. Однажды речь зашла о пародиях на Самуила Яковлевича. Феноменальная его память подсказывала ему пародию за пародией, кое-что напоминал ему я, и он заливался детским счастливым смехом.

Люди узкие, предпочитающие ходить по одной половице, вероятно, упрекнули бы Маршака во «всеядности». Но это была не всеядность, это была любовь к прекрасным, хотя бы и очень разным явлениям искусства. Так, в предреволюционной русской поэзии он выше всех ставил Бунина и Блока. Так, в послереволюционной русской прозе он отдавал предпочтение Зощенко и Алексею Толстому. Он сближал как будто бы далекие по характеру дарования, далекие и хронологически имена актеров — сближал по одному несомненному признаку: мощи таланта. Вот его подлинные слова:

— Я знаю четырех великих актеров — Шаляпина, Станиславского, Михаила Чехова и Игоря Ильинского.

Поэзия Маршака, и «взрослая» и «детская», и оригинальная и переводная, будет жива, доколе в подлунном мире будет звучать великое русское слово.

Но не только высокое искусство Маршака — поэта, переводчика, критика — служит и будет служить нам примером. Не менее драгоценна эта его действенная любовь к ближнему и к дальнему, ко всем одаренным людям, как взысканным славой, так почему-либо и обойденным ею, его готовность помочь им творчески, его педагогический пыл, в котором не было ничего от сухого и тщеславного менторства, его способность к сорадованию, не замутненному ни завистью, ни искательством. Учиться нам нужно не только у Маршака-поэта, но и у Маршака-человека.

РАЗГОВОРЫ С МАРШАКОМ

1

Ч асу в двенадцатом ночи я возвращался из города в ялтинский Дом писателей и уже внизу услышал сухой, надсадный кашель. Маршак сидел у дверей своего номера на втором этаже, курил. Каждый вечер Розалия Ивановна, его секретарь, неразговорчивая, прямая, как жердь, женщина лет восьмидесяти, выставляет его за дверь, пока номер проветривают перед сном, и он сидит у двери, курит, молчит.

Проходя мимо, я поклонился, и он остановил меня вопросом:

— Вы из Ленинграда?

Я ответил, что из Москвы. Он посмотрел сквозь очки старческими, внимательными глазами. Познакомились. И тут же начался разговор, быстрый, без пауз. Маршак вставал, садился, снова вставал, кашлял, курил, доставая из смятой пачки антиастматические сигареты, присланные ему из Англии, цепко смотрел сквозь очки. На нем мышинного цвета фланелевая измятая куртка, распахнутая на груди. Маршак очень стар, шея в складках, сквозь седые редкие волосы просвечивает бледная кожа. Морщины глубокие, резкие, но еще отечканен нос с горбинкой, очень заметный своей точной лепкой на крупном лице. Рот упрямо поджат. Большая голова на хилом теле сразу же запоминается выразительностью и резкостью черт, в которых видны энергия, властность, ум.

Началось с Зощенко. Хвалил его долго как знатока языка и прекрасного писателя, человека тонкого и умного.

— Все в нем было приятно, — говорит Маршак, — небольшие сухие руки, смуглая кожа, невысокий, подобранный. Как писатель он идет от Гоголя... Гоголь! Великий писатель,

умница, гений. Какие мысли! Чего стоит хотя бы вот эта: Пушкин ушел, не оставив к себе лестниц. Гениальная мысль! Вообще вся проза крупная дальше идет от Лермонтова и от Гоголя. Толстой от лермонтовской школы. Достоевский, Щедрин — от гоголевской. О России Гоголь сказал больше, чем кто бы то ни было другой. Знаете, только сейчас настает время Гоголя. То, что писали о нем символисты, — чепуха. Плоско. Его еще нужно открыть. И тогда окажется, что он опередил свое время на сто, а может быть, и на двести лет. Как художник. Современный сюрреализм, если хотите, идет от Гоголя. Не правда ли?.. Так вот. Гоголь умирал так. Неделию лежал на кровати лицом к людям, потом повернулся лицом к стене. И лежал, пока не умер. Истошил себя. Не хотел жить. И умер. Фантазмагория в духе Гоголя. Конец, можно сказать, художественный. В таланте Зощенко есть общее с гоголевским. А в детскую литературу вовлек его я.

Все это выпаливается нетерпеливо, сквозь сигаретный дым.

Половина второго ночи. Розалия Ивановна время от времени выставляет в дверь сухое недоверчивое лицо, но Маршак отмахивается от нее, и она исчезает.

Я стою, облокотившись о перила, он вскакивает со стула и, устав, снова садится, положив ногу на ногу. Когда он стоит, налегая на палку, видно, как выпирает из-под фланелевой куртки правая лопатка.

— В основе всякого искреннего произведения, — говорит он, — обязательно есть музыкальная тема. Недавно я прочитал стихи о том, как хор поет песни революции. Поэту нравятся эти песни, а стихи написаны в заунывном ритме. Песни эти пели задорно. Видно, у поэта была смысловая тема, но не было музыкальной. У большого поэта всегда есть музыкальная тема. У Шекспира слышен бас Отелло.

Все, что он говорит, поначалу напоминает немного лавку литературных знаний, своего рода антиквариат, где каждая вещь отобрана со знанием и вкусом. Но нет, теплота этого глуховатого голоса заставляет подумать о другом. Какое-то смутное назидание заключено в зрелище этого старца, торопливо и горячо раскрывающего посреди примолкшего, уснувшего дома скопленное за целую жизнь богатство.

2

Работает он ежедневно с одиннадцати часов. Читает, низко склонив голову, уткнув лицо в страницу — у него ослабло зрение, — правит верстки, пишет письма твердым, четким

почерком. В его номере поставили телефон, и из московских редакций и газет звонят с утра.

Розалия Ивановна — седые волосы на пробор, убранные сзади в жидкий пучок, строгие очки и темных тонов, невзирая на Крым и щедрое октябрьское солнце, платье — весь день неторопливо снует по двухкомнатному номеру, печатает на машинке, отвечает на письма. После смерти жены Маршак, по-видимому, целиком на ее попечении. Они очень привязаны друг к другу и постоянно ссорятся. Время от времени Розалия Ивановна собирается уехать из Ялты, и тогда Маршак очень серьезно и немного нервничая сообщает, что Розалия Ивановна решила бросить его и пойти в стюардессы.

Его душит астма. Каждый вечер его ведут принимать ванну, облегчающую страдания. Он, надрывно кашляя, ковыляет, опираясь на палку, за горничной. В эти минуты кажется, что в теле его уже нет никакой жизни и оно только по привычке и в силу случайной нераспорядительности природы еще присутствует на земле.

Обычно разговор начинается с чего-нибудь не слишком существенного и после короткой разминки бурно вторгается в обобщение. Он любит обобщать.

— Россия — это страна возможностей, — говорит он. — Так было еще в девятнадцатом веке. Недаром у Достоевского в одной комнате сходятся князь, купец, семинарист, чиновник и т. д. Ну, Достоевский преувеличивал, на то он и Достоевский. Но суть все же схвачена верно. В России сословные перегородки между социальными группами не были так глухо закрыты, как в других странах. Как в Англии, например. В Петербурге у моих родителей была знакомая еврейская семья. Отец торговал чем-то, дети учились музыке, языкам. У них собиралось общество, дочери танцевали с офицерами. И вот отец разорился, семья переехала в Лондон. Когда в двенадцатом году я поехал со своей молодой женой учиться в Лондон, родители просили, чтобы я разыскал этих бывших петербуржцев. И я их разыскал. Это было наше единственное знакомство в Лондоне. Здесь петербургский купец держал маленькую скорняжную мастерскую, жил очень скудно. И я понял тогда, как трудно в Англии выбиться, перейти в более высокий этаж общества, попросту прилично заработать. Там я знал одного художника, зарабатывающего портняжным ремеслом. В доме, где мы жили, снимали комнаты семь старых

дев. Они не вышли замуж, потому что у них не было денег. Меня спрашивали: вот вы женились, приехали с женой учиться в Лондон — вы, вероятно, очень богатый человек? Да нет же, говорит я, я беден. Мне не верили. Там вообще русскую жизнь и русских не понимали. Каждый русский, приехавший в Лондон, считался аристократом. В какой-то хронике светской жизни в отчете об открытии выставки обо мне написали: князь Маршак.

Он рассказывает, что, приехав в Лондон и не зная английского языка, он нанял репетитора, запоминал в один прием сотни слов. Поступил в колледж на факультет искусств. Жена училась в том же колледже на естественном факультете. По Англии путешествовали с женою пешком. И вот в одном маленьком городке увидели школу, которую организовал и возглавил странный человек — высокий, красивый, похожий на Иоанна Крестителя. Одет он был в домотканую одежду, крашенную в яркие цвета. В школе дети занимались по его системе — все было основано на свободном выборе ребенка. Это показалось сначала обыкновенным чудачеством — мало ли чего не увидишь в Англии. Но через некоторое время он вспомнил о школе уже совсем иначе. И понял, что никогда прежде не видел таких беззаботно-счастливых детских лиц. Вероятно, учитель в домотканой одежде обладал каким-то утраченным секретом, может быть, одним из самых нужных. Ведь дети совсем не так благополучны, как часто нам кажется. И они правы, что не доверяют нам, взрослым, чаще всего мы деспоты, неспособные их понять.

Совсем недавно он пытался узнать, сохранилась ли эта школа, наводил справки — нигде никаких следов, никто ничего не слышал о ней. Исчезла.

— И я, признаться, несколько не удивился. Какой-то рок тяготеет над начинаниями такого рода. Они появляются и исчезают, не оставляя следов, — может быть, самые счастливые догадки человека. Англия вообще страна чудиков, — помолчав, говорит он. — В Германии, в Америке господствуют системы взглядов — в политике, в социологии. Меняются системы — меняется жизнь. В Англии господствуют традиции. Там традиции и обычаи более важны, чем законы. И выросли они естественно, как коралловые рифы. Причудливо, иногда уродливо, но — естественно. Потом — у людей там очень развито чувство собственного достоинства. И это во всех классах. Я видел, как в Гайд-парке фотограф оттолкнул какого-то бедно одетого человека — тот размахнулся и влепил ему пощечину.

Вспомнив о Гайд-парке, Маршак оживляется, веселеет, задорно поглядывает сквозь очки.

Англия — неостывшая любовь. Он любит в ней стародавнее, прочное — культуру, форму, противостоящую хаосу.

3

Утром читал его книгу «В начале жизни». Он подарил ее накануне.

Автобиографическая повесть о детстве в обстановке небогатой трудовой семьи. Написана ясным слогом, очень чисто, спокойно, легкими красками. Говорит он иначе — быстро, порывисто, больше модуляций в голосе и дыхание наполненной. И взгляд сквозь очки — быстрый, умный, насмешливый, наблюдательный. Я определенно предпочитаю общение с ним его повествованию — ясному, тихому, как ручей.

Написанное как будто процежено сквозь фильтр, отбирающий резкость и остроту суждений, оценок, пристрастий, кипение мысли, темперамент — все то, что дает его разговор. Вообще все, что я знал о Маршаке, начиная с «Мистера Твистера», не предвещало того полнозвучия жизни, какое есть в старике. Мысль в его разговоре живет, пульсирует, и забываешь, слушая его, о немощном теле, до того слабом и немощном, что, очнувшись, смотришь на старика со страхом — как бы не дунуло из окна.

Вечером у Маршака был ялтинский поэт, молодой человек, сотрудник местной газеты. Маршак ему покровительствует. При нем он солировал. Под конец парадоксы: в России было время бритых — Пушкин, потом время бородатых — Чернышевский, Щедрин. Время бритых было временем чести, бородатых — временем совести. Все это говорится холодно, без воодушевления, скорее, по обязанности занимать общество. Но вот переходим к современности — и, естественно, возникает Твардовский. И Маршак загорается. Читает стихи Твардовского спокойно и немного торжественно.

— Толстой говорил, что любит, чтобы язык — как колодезная вода: пусть и с соринкой, но чтобы зубы ломило от холода. Это редко удается в поэзии, но вот Твардовскому удалось.

И он читает снова из лирики последних лет.

— Вот язык не интеллигентский, не городской, а подлинно народный. Вероятно, Твардовский еще не понят до конца, так же как не был понят Некрасов. В Некрасове не видят, что он поэт того же времени и того же города, что и Досто-

евский. Он во многом предваряет Достоевского. Он первый дал тип, близкий к Мармеладову, типы дельцов, разночинцев, колорит и краски не императорского, а разночинного Петербурга.

Маршак разогрелся, это лучшие его минуты. На темном, как старинный пергамент, лице пробивается слабое подобие румянца. Разговор незаметно соскальзывает на наши 30-е годы, на Горького.

— Да, да у него, как и у каждого из нас, были слабости, — говорит Маршак, — но я бы хотел, чтобы понимали, что все это меркнет перед тем, что он сделал для людей и для литературы. Это был сложный человек. Русский человек. Вообще он был человек неожиданных поворотов. Любил кого-нибудь и мог неожиданно разлюбить. И тогда этот человек переставал для него существовать. Для меня он сделал много. В юности, когда я заболел туберкулезом, Горький привез меня в Ялту, и я жил у него. Потом, когда я был в Англии, я написал ему: вот живу здесь, увлекся Блейком, перевожу. Он ответил мне очень сухо, что-то вроде — не советую переводить Блейка. И сухо подписался: Пешков. Я очень обиделся и не ответил. И так до пятнадцатого года. Мы встретились в Петрограде после его возвращения из Италии и расцеловались.

В начале тридцатых годов я приехал из Ленинграда в Москву и заболел — оказался дифтерит. Меня стали выселять из гостиницы, и я разыскивал своего приятеля академика Сперанского. Позвонил секретарю Горького (Горький был в Тессели), чтобы узнать служебный телефон Сперанского — тот был близко знаком с Горьким. Потом произошло следующее. Через два часа за мною приехали и отвезли на улицу Чайковского, в какую-то большую квартиру, пришли врачи, и был прекрасный уход, пока не выздоровел. Это сделал Горький. Он звонил из Тессели как раз после моего звонка, узнал, что я болен, кому-то позвонил в Москву и попросил, чтобы позаботились обо мне. Да, такой это был человек. Редкий. И знаете, когда сидишь с ним вдвоем — прост и не величав. Вообще в нем я всегда чувствовал две струи — рассудочную и музыкальную...

Говорим о последних днях жизни Горького, о его конце.

В пятом часу дня за Маршаком иногда приезжает такси и отвозит его к морю подышать морским воздухом. Машина ждет иногда час, а то и больше, пока он сидит на берегу у са-

мой воды. Несмотря на щедрые чаевые, шоферы неохотно выполняют этот заказ. Вероятно, их южный темперамент с трудом переносит вынужденное безделье ожидания, а может быть, оно и невыгодно или просто им не нравится возить старика. Во всяком случае, с ялтинскими таксистами у Маршака конфликт, и, отправляясь на прогулку, он обычно бывает хмур и неразговорчив.

Однажды, поднимаясь из города, я увидел его в машине, спускавшейся мне навстречу. Он сидел рядом с шофером, хмуро глядя перед собой. Поравнявшись со мною, он остановил машину и поздоровался. Он был в шляпе и в своем фланелевом костюме, еще более, чем обычно, хрупкий и маленький рядом со здоровенным малым в ковбойке, сжимавшим баранку волосатыми руками. Было прохладно, с гор дул предвечерний колючий ветерок, и я сказал, что хорошо бы ему надеть пальто, но он отклонил:

— Не люблю пальто.

Он простудился, скорее всего в одной из таких поездок, и слег с высокой температурой.

Болеет он терпеливо, без капризов, не требуя докторов. Все же пришлось позаботиться, чтобы его осмотрел опытный врач. У него воспаление легких.

Захожу к нему. Он сидит в постели, просторная пижама распахнута на груди. Как обычно, серьезен и говорит о себе не жалуясь, а словно сообщая сведения: дед-подкидывш. Подкинули деда.

— Сейчас отчасти подкинули вам.

Это и благодарность без лишних слов за врача.

Поднимаюсь, побыв немного, чтобы не утомлять, но он останавливает:

— Посидите, если не торопитесь.

Ему хочется поговорить, и он, прерывисто и тяжело дыша, говорит о Пушкине — странный для утра и у постели больного разговор. Пушкин первый учил русских писателей уважать свое звание. Это сказано для разбега. Вяло соглашаюсь и, предчувствуя, что это только начало беседы, все же ухожу.

Вечером, когда захожу к нему в номер, как он просил, в шестом часу, я сразу улавливаю, что он нетерпеливо ждет. Он тотчас поднимается и садится в постели. Дышит он тяжело, непрерывно почесывает грудь, голову, руки. Жалуется, что донимает зуд — врачи говорят, что это последствия лечения антибиотиками и что тут ничем помочь нельзя. Сидя в постели, он расчесывает гребешком волосы, и они дымчатым ним-

бом вздымаются над иссеченным морщинами большим лбом. Сумерки постепенно скрывают его лицо. Свесив голову набок, он говорит без перерыва часа два. В комнате душно, я прошу Розалию Ивановну проветрить; она открывает дверь в лоджию — сквозь ветви заокрашивших осенних деревьев видно море, синяя спокойная гладь.

Как-то Твардовский сказал ему:

— Мы познакомились, когда тебе было пятьдесят лет. С тех пор ты написал все свое самое лучшее — лирику, переводы, статьи. Что же ты делал до той поры?

До пятидесяти лет предшествующие двадцать были отданы издательским и журнальным делам, связанным в основном с детской литературой. Маршак рассказывает об этом охотно. Вероятно, ему хотелось бы, чтобы сделанному было воздано. Есть даже известная настойчивость в том, как он излагает ход событий: пустое место, оставшееся после Чарской и детских журнальчиков, и на этом пустыре при его деятельном участии возникает новая ветвь литературы.

В начале двадцатых годов он с семьей жил в Краснодаре. Организовал там детский театр. Потом Ленинград, он редактирует первый детский журнал «Новый Робинзон». Первый номер готовили долго — не было ни опыта, ни традиции. Составили номер из воспоминаний о Шлиссельбурге и из рассказов никому не известных авторов.

— Ах! — восклицает Маршак. — Вы представить себе не можете, сколько было энтузиазма и надежд. — Он вздыхает и задумывается. — Однажды пришел в журнал молодой человек, представился: Житков. Оставил рассказ, и я тут же прочитал его. Когда он явился за ответом, вызвал всю редакцию, его поздравляли, он молча кланялся в полной растерянности, не понимая, что происходит — то ли смеются над ним, то ли поздравляют всерьез. Когда понял — расцвел, разговорился. С того дня поверил в себя. Знаете ли, чтобы стать писателем, нужно поверить в себя. Это было на первых порах что-то вроде селекции. Книги выращивались, как сад. Заглянул как-то к нам Алексей Толстой, охает и вздыхает: денег нет, нельзя ли заработать, ну, что-нибудь перевести наскоро, есть даже идея — он переведет итальянские сказки. Я стал уговаривать писать оригинальное по мотивам сказок. Толстой отмахивался: не буду. Но вскоре принес своего Бурадино.

Маршак знает, несомненно, не только об удачах «селекции». Ведь порою она приводит к тому, что узаконивается ремесленный подход к творчеству и литература становится

прибежищем делателей книг. Понимает ли это старик? Конечно, понимает. Но, видно, нет у него сейчас ни времени, ни охоты отделять зерно от плевел.

Он попросил прочитать вслух верстку его статьи о сказках Тамары Габбе, над которой работал здесь в последнее время. В конце этой статьи он пишет о самой Габбе, приводит несколько строк из ее писем. Пишет немного анемично, как о человеке замечательно чистом, ясном в том понимании этого слова, какое ему присуще.

Слушал, пока я читал, со слезами на глазах, задыхаясь, ворочаясь в постели. Потом, кашляя и дымя сигаретой, говорил, замолкая, чтобы унять дрожь в голосе или проглотить слезу. Чувство — не остывшее, может быть, и более острое, чем прежде. С собою — ее портрет.

— Это была женщина небольшого роста. — говорит он, — очень живая в обществе, умеющая быть светской. Но мало кто знал, как тяжело ей давалось это, — больше всего она любила одиночество. У нее было все — красота, талант, ум, женственность, доброта — не было только двух мускулов — мускула честолюбия и мускула корыстолюбия. Она пришла ко мне в Ленинграде ученицей, а под конец ее жизни я у нее учился — это был изумительно одаренный человек. Сказки ее прекрасны. Но истинное ее призвание — жизнь, люди. Она говорила, что хотела бы руководить школой. Вероятно, ей тоже удалось бы что-нибудь необычайное, вроде той школы в Англии с Иоанном Крестителем и счастливыми детьми. Но и без того лучшее ее произведение — это ее жизнь. Она много пережила: муж ее трагически погиб, потом блокадная зима в Ленинграде. Это не научило ее любить людей. Она выхаживала много лет разбитую параличом мать и больного отчима. Когда умер отчим, она похоронила его, не сказав об этом матери, оберегая ее последние дни.

Незадолго до смерти Фадеев приехал ко мне — это была последняя наша встреча, — говорит Маршак. — Приехал, чтобы поговорить о Твардовском — они поссорились. Фадеев тяжело переживал это. Я хотел помирить его с Твардовским. Была у меня Габбе. Она ушла вскоре после прихода Фадеева — из деликатности, чтобы не мешать нам. И, уходя, сказала в коридоре: «Не говорите с ним ни о себе, ни о Твардовском. Поговорите о нем. Видите, какое у него лицо?» А я ниче-

го и не заметил. Действительно, лицо у Фадеева было страшное. Он посидел несколько минут и ушел.

Маршак замолкает, оборвав на полуслове. Сидит, нахолившись, как зимняя птица, утопая в дыму.

4

...Ему семьдесят шесть лет. Он отмечает свой последний день рождения. Он уже не доживет до следующего ноября.

Не знаю, свойственны ли ему предчувствия, но на этот раз, несмотря на запрет врачей, он хочет во что бы то ни стало отметить этот день.

Вечером в вестибюле третьего этажа собирается пестрое общество — писатели, работники Дома творчества. Маршак появляется в темно-сером хорошем костюме, на нем галстук, вывязанный Розалией Ивановной. Все привыкли к его фланелевой курточке, и вид принаряженного именинника определенно приподнимает настроение собравшихся. Вдруг ясно видишь, что Маршак — человек общества. В этот час он обычно отправляется в сопровождении Сони принимать ванну, надсадно кашляя по пути. Но сейчас он удовлетворенно озирает гостей и длинный стол, уставленный фруктами и вином. Он с трудом поднялся сюда со второго этажа, где живет, и теперь ему предстоит длинный вечер, поздравления, тосты. Но это его несколько не пугает и даже нравится. Он сознает, что принадлежит публике, и сам смотрит на себя как на ее достояние.

И люди, собравшиеся здесь, — именитые прозаики, известные поэты, горничные и литературоведы, официантки и врачи — все это смешанное застолье являет в каком-то смысле панораму его жизни. Все шумело и сплеталось вокруг, и он сам был частицей этого хоровода.

Маршак сидит, немного отстранясь от стола, опираясь на палку, поставленную меж коленей. Блестит очками — внимательно-подобранный, доброжелательно-властный, еще полный жизни старик. Рядом с ним прилетевший из Москвы сын.

Не снимая с палки рук и как бы присев на время среди слегка подвыпивших людей, Маршак рассказывает, как впервые встретился с Блоком. Пришел к нему на Галерную читать стихи. Ему было восемнадцать, Блоку — двадцать пять лет.

тиям возраст, вполне взрослый, очень серьезный, внушающий уважение человек, — говорит Маршак.

Вероятно, и сам Маршак из рано повзрослевших серьезных юношей. И эта цепкость ума, и трудолюбие, и строгость, отмечающая в общении житейскую шелуху, — все это издавна, с ранней молодости. Впрочем, мне трудно представить себе его молодым. Он так точно отлит, что кажется, таким был всегда. Старость, как ни странно, к лицу ему. Она не отталкивает, не пугает холодом, и это шумящее застолье согрето его теплом.

Его просят прочитать стихи, и он читает неожиданно громко, с внезапной энергией:

Моя душа, ядро земли греховной,
Мятежным силам отдаваясь в плен,
Ты изнываешь от нужды духовной
И тратишься на роспись внешних стен.

Недолгий гость, зачем такие средства
Расходуешь на свой наемный дом,
Чтобы слепым червям отдать в наследство
Имущество, добытое с трудом?

Расти, душа, и насыщайся вволю,
Копи свой вклад за счет бегущих дней
И, лучшую приобретая долю,
Живи богаче, внешне победней.
Над смертью властвуй в жизни быстротечной,
И смерть умрет, а ты пребудешь вечно.

За столом стихают. И в тишине слышно, как скрипнул под стариком стул. Он встает, прощается. Говорит каждому «спасибо, голубчик», пожимает руки, целуется. Просит, чтобы я помог ему спуститься вниз. Он немного возбужден, и рука, которой опирается о мою, дрожит.

Мы медленно отсчитываем ступеньку за ступенькой, и он говорит обеспокоенно, что ошибся, трижды сказал сегодня «мое шестидесятилетие». Приглашает зайти к нему и заговаривает о сегодняшнем вечере.

— Я считаю, что есть два круга читающих литературу: круг узкий — ценителей и круг широкий — читателей. Плохо, когда пишат для того или для другого круга. Хорошо, когда и для того и для другого. Аристократом я себя никогда не считал.

Заметно, что он устал, праздничный костюм стесняет его, руки его все еще немного дрожат.

Мы попрощались. Розалия Ивановна увела его в ком-

нату, где расстелена постель, чтобы он утомился наконец и отдохнул. Он вышел через минуту в коридор и снова увел меня к себе. Неожиданно и даже с некоторым пафосом:

— Я полюбил разговаривать с вами.

И тут вдруг двадцатиминутная вспышка, горячий монолог:

— О недостатках человека можно знать по-разному. Мать знает недостатки своего сына. И следователь и прокурор знают недостатки этого же человека. Но это разные знания. Литература о недостатках человека должна говорить и думать, как мать. Литература не может утратить материнского участия и боли за человека... Дерево выделяет клей; ученый изучает клейкость дерева — важное качество. Но все дерево целиком охватить может только искусство, объединяющее точное знание и могучую интуицию. Только на самых высотах наука может обрести обобщающую идею и силу искусства... В прошлое пути нет. Нужно искать только в будущем. Мы живем в странных городах, где уже задушили асфальтом землю, траву, но вернуться на природное лоно не удастся. В будущем можно научиться многому разумному с помощью искусства. Ему дано смягчить нравы и сердца, и оно может стать второй природой для человека. Но чтобы оно стало ею, оно должно существовать в естественных условиях, беря для себя из окружающей среды все, что ему нужно для развития и совершенства. Подумайте, какой это может быть сад, сколько талантов и ума могут отдать ему люди и как много он вернет им, вселяя в них образ человеческий, который мы так часто теряем, сохраняя для нас лучшие порывы души, самые высокие мысли, самые счастливые прозрения человечества.

Входит сын. Маршак смотрит на него цепкими, живыми глазами. Его морщинистое лицо добреет.

...Солнечный ноябрьский день. Маршак сошел вниз и ждет машину. Он сидит в кресле, одетый в дорогу, в шляпе, окруженный людьми. В этой сутолоке он несколько не потерялся, и мы даже успеваем перебраться несколькими словами. Он говорит, что столбовая дорога русской литературы не Кольцов, а Пушкин. Я говорю, что нечто схожее пишет Герцен. Он — вполне непосредственно:

— Да, много совпадений бывает с Герценом. Умный был человек.

Осеннее солнце освещает его лицо, и он умиротворенно щурится и греется напоследок в его лучах.

Через несколько минут мы прощаемся. Он крепко сжимает руку, глядя прямо в глаза. Мы целуемся...

...В Звенигороде июльским утром прошел мимо почтальон, окликнул:

— Возьмите газету.

В «Литературке» на всю полосу в траурной рамке — «Самуил Яковлевич Маршак».

Сжало сердце. Первое, о чем подумал, — что не позвонил ему в последний месяц и зимою не смог поехать к нему, когда он пригласил — порывисто, глуховатым голосом: «Приезжайте сейчас ко мне, голубчик».

Однажды Маршак сказал Твардовскому:

— Надо, чтобы хорошо был разложен костер, а огонь упадет с неба.

Он был одним из тех, кто помогал хорошо разложить костер. Заслуга таких людей поистине неоченима. Они берегут накопленное и готовят почву для новых всходов. Воздавая им должное, мы выражаем признание культуре, традиции, таланту, поэзии и труду.

Это и чувствуется в толпе, стоящей у Дома литераторов в жаркий июльский полдень, в день похорон.

Стою внизу, когда проносят венки, горы цветов. Потом проносят на руках гроб с Маршаком. Желтое спокойное лицо, медальный профиль, жестковатый, крепкий.

Слышу его глуховатый голос:

Люди пишут, а время стирает,
Все стирает, что может стереть.
Но скажи — если слух умирает,
Разве должен и звук умереть?

Он становится глуше и тише,
Он смешаться готов с тишиной.
И не слухом, а сердцем я слышу
Этот смех, этот голос грудной.

«ВЕДЕРКО, ПОЛНОЕ РОСЫ»



осле ухода из жизни Маяковского наиболее тяжелой утратой для нашей поэзии, да и в моей лично творческой жизни, была потеря С. Я. Маршака.

Ушел учитель, мастер. С ним можно было посоветоваться обо всем, он мог тебя ободрить в трудную минуту, воодушевить своей любовью к искусству, верой в его торжество.

Казалось бы, творчество актера далеко от литературного и поэтического творчества. Казалось бы, сомнения, поиски и открытия поэта и переводчика далеки от поисков и открытий актера. Почему же раздумья и мысли поэта, которыми так щедро делился Маршак, стали близкими и нужными мне, актеру?

Маршак всегда очень искренне сетовал на то, что у нас, представителей, так сказать, смежных искусств, не хватает времени и желания для встреч друг с другом, для обмена мыслями и творческими замыслами. «Как мы обкрадываем себя!» — говорил он. И вот теперь, когда его нет, с горечью думаешь, что действительно я обокрал себя, что мало, мало было тех чудесных встреч с ним, которые так духовно обогащали, после которых хотелось работать с новой верой и в себя и в искусство.

Удивительно умел Маршак, проникая в тайную тайных творчества и приоткрывая перед тобой завесу этой тайны, объяснить, как, казалось бы, в неприметных мелочах обнаруживается сила мастерства. Тишина ночи, лермонтовской ночи, слышалась ему в строчках: «Ночь тиха, пустыня внемлет богу, и звезда с звездой говорит». Как благоговейно отно-

сился Маршак к гениальному образу Лермонтова, где слова «звезда с звездой говорит» передают торжественное безмолвие ночи.

Или, например, сознательное повторение у Пушкина «печальные», «печально»:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она...

Самуил Яковлевич отмечал, как безошибочно «работают» у Пушкина не только повторения слов, но и повторения гласных и согласных. Незаметное, казалось бы, изменение ритма в строфе «Медного всадника» даст читателю представление о движении воды:

Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова.

Не раз он делился своим наблюдением, что далекая песня и далекий костер гораздо сильнее впечатляют и будят воображение, чем если бы ты находился у самого костра и среди поющих.

Сколько есть неуловимого в творчестве и как важно овладеть этим неуловимым.

В беседах темы возникали свободно и непринужденно, мысли и наблюдения сыпались как из рога изобилия. Высокие оценки сменялись репликами негодования и презрения. Он умел быть непримирим к пошлости, к приспособленчеству и в то же время чуток и доброжелателен к любому таланту. Но, конечно, больше всего он любил говорить о поэзии, заражая своей любовью к Пушкину и Некрасову, отмечая в стихах неповторимые, гениальные приметы стиля и объясняя их нам, читателям.

После таких встреч я обыкновенно охотней брался за работу, хотелось обогатить, расширить свой репертуар, дополнить такими произведениями, о которых говорил Маршак, сознавая, что прикоснуться к ним уже было творческим счастьем.

Много-много советов он мне дал, призывая к строгому, требовательному отбору репертуара. С какой отцовской нежностью он говорил о таланте Твардовского, как радовался, что я его читаю с эстрады.

Однажды он слушал, как я читал «Старосветских помещиков» Гоголя.

— Вот странно, — сказал он, — в заключительной части повести, — в том месте, когда Афанасию Ивановичу кажется, что Пульхерия Ивановна после смерти позвала его, вы делаете ударение на словах: «*День* был тих, и *солнце* сияло», в то время как надо бы правильно говорить: день был *тих*, и *солнце сияло*.

— Да, Самуил Яковлевич, на одном обсуждении в ВТО мне говорили о том же.

Самуил Яковлевич подумал секунду и сказал:

— Нет, оставьте по-прежнему. Говорите так, как вы говорите. Хотя это и не совсем правильно. Трудно объяснить почему, но в состоянии Афанасия Ивановича *день* и *солнце*, которые как бы заняли первое место, ритмически впечатляют больше, нежели абсолютно верное, по всем правилам произношение.

Я был очень благодарен Маршаку за его слова. Исправление этого места мне было не по душе. Ведь *неправильное* в нем родилось само собой, родилось эмоционально, почти бессознательно, но родилось оно именно с такой интонацией и ударением. Причесывать и менять это место мне было неприятно.

Если не ошибаюсь, Маршак услышал впервые меня как чтеца, когда я читал «Рассеянного с улицы Бассейной» и «Лодыри и кот» на вечерах для детей.

Несмотря на то, что я делал в этих вещах массу актерских прибавок, например в «Рассеянном» храпел на разные лады, протирая на паузах оконное стекло, прибавлял к стихам массу разных звуков: зевки и пр., а в «Лодырях и коте» мяукал на гласных, изображая кота, и «катался на коньках», выдумывая замысловатые, почти балетные па, Маршак мне не сделал ни одного замечания, он принял все украшательства, оправдывал их, говоря мне, что я не разрушаю при этом ритма стихов, и, по-моему, искренне любил мое исполнение. В то же время он страшно смеялся, когда через несколько лет я рассказал ему, что читал «Лодыри и кот» моему трехлетнему сыну, а он прервал мои мяуканья и сказал:

— Папа, читай просто.

Когда я бывал у Маршака, он всегда читал мне свои новые стихи и переводы. Его чтение, иной раз из-за глухого голоса поэта пропадавшее при исполнении с эстрады, дома было великолепно. Ярко выраженная мысль, ритм, озорная пропия, романтическая лиричность, мужество, юмор — все эти элементы сливались в его чтении воедино, придавая непов-

торимое своеобразие и привлекательность авторскому исполнению.

Недаром на прощание я неизменно просил: дайте мне и то, и это; и другое, и третье — все увлекало, все хотелось включить в свой репертуар: сонеты Шекспира и баллады Роберта Бернса, строфы Китса и английские народные песенки, сатиру и лирику и конечно же детские стихи самого Маршака. Но приходил домой и чувствовал, что многое не в моих данных, то, что увлекало в чтении самого Маршака, ускользало от меня, и я не мог найти средств выразить в полной мере красоту и прелесть этих чудесных произведений. Иногда я осознавал это, уже «выйдя на зрителя».

А ведь удивительным было то, что Маршак не обладал ни лирической, ни героической внешностью, и голос его был глухой, зато душа его так пела, так внутренне он был верно наполнен, читая любимые свои произведения, что эмоционально потрясал и покорял слушателя. И слушатель забывал и о глуховатом голосе и о глазах, уловить выражение которых порой мешали поблескивающие толстые стекла очков, так же как не замечал он и попыхивания неизменной сигаретки.

Самуил Яковлевич почти в каждую нашу встречу говорил о своей мечте: создать при каком-либо театре, в котором есть «читающие актеры», литературный театр, где бы читали регулярно новые лучшие произведения — прозы и поэзии, а также и произведения классики и даже драматургические произведения в концертном исполнении («ан фрак»). В таком театре он видел насущную необходимость и непрестанно возвращался к этой теме.

Последние годы Самуил Яковлевич был тяжело болен. Что греха таить, за шесть лет до его смерти уже казалось, что дни его сочтены. Как-то я навестил его в больнице. Он совершенно высох, я внутренне ужаснулся, но в то же время и поразился, увидев человека полного энергии, различных планов. Так же как в своем рабочем кабинете, он читал в своей наполненной книгами и рукописями, обжитой и накуренной палате, столь не похожей на больничную, свои новые стихи, так же воодушевленно говорил о поэзии, об искусстве.

Одно воспаление легких переходило в другое, и снова воспаление — то дома, то в больнице, то в санатории. Шли годы, и каждый раз, когда я навещал его, я не чувствовал больничной или санаторной обстановки, всюду были книги и лежали новые стихи. Когда же я по телефону справлялся о его здоровье, то неизменно слышал:

— Приходите, дорогой. У меня есть новые вещи, которые вам могут пригодиться.

И я приходил и чувствовал, что не больного навещаю, а прихожу слушать все новые и новые его стихи. И он их читал, читал и курил, курил, курил — между воспалениями и при воспалениях. Только так он мог жить: горя полным огнем творческого вдохновения.

Ведерко, полное росы,
Я из лесу принес,
Где ветви в ранние часы
Роняли капли слез.

Ведерко слез лесных собрать
Не пожалел я сил.
Так и стихов моих тетрадь
По строчке я копил.

Эти строки — одни из последних. Они сами говорят за себя.

Пусть память о Маршаке останется такой же светлой и чистой.

ОДИН СЪЕМОЧНЫЙ ДЕНЬ



делать для детей фильм о писателе, знакомом с самого раннего детства, с которым связано собственное детство, потом детство твоих детей, а у многих и детство внуков, и не только детство, но и юность, и зрелость, — собственно, уже получается фильм для всех, — в общем, сделать фильм о Маршаке — эта идея нас мучила несколько лет.

Но как подступиться к ее осуществлению? Мы (автор сценария Н. Лосева и я) не были знакомы с Самуилом Яковлевым, никогда с ним не встречались, но желание снять фильм о Маршаке и с Маршаком было так сильно, что решили идти напролом. Узнали его телефон и просто позвонили. Мы не ожидали, что все будет так просто: нас не передавали секретарю, не записывали на прием, просто Самуил Яковлевич сказал: «Приходите, если это вам удобно, ну, вот хоть сегодня вечером». Мы пришли, волновались, пока нам не открыла дверь Розалия Ивановна, а Самуил Яковлевич стоял уже в прихожей, он помог нам раздеться, привел в кабинет, сел в свое кресло, за письменным столом, а мы рядом на диван. Он закурил, посмотрел на нас внимательным и добрым взглядом и сказал: «Ну... рассказывайте», — и стало сразу спокойно, уютно, так, как будто мы с ним знакомы давно и сидим в этом кабинете не первый раз.

Самуил Яковлевич отнесся к созданию фильма чрезвычайно серьезно, как он относился ко всему, что делал. Он очень боялся рекламы и не хотел, чтобы фильм хоть в какой-то мере носил такой характер.

Пока мы разговаривали, беспрерывно звонил телефон, но Самуила Яковлевича это не раздражало, он отвечал на

вопросы, назначал встречи, читал или сверял тексты. Мы поняли, что со временем у него очень трудно, часто беседовать с ним мы не сможем, и попросили его посоветовать, кто мог бы быть консультантом. Самуил Яковлевич подумал и назвал З. Паперного.

Самуил Яковлевич согласился сниматься, но поставил жесткое условие: картину будет смотреть сам до всяких «сдач», и если сочтет возможным показать зрителям, тогда она может выходить на экраны, а если нет — он будет активно возражать. Что было делать — мы согласились.

Было очень страшно, особенно после того, как мы познакомились с рукописями Самуила Яковлевича и поняли, как тщательно, требовательно он относился к каждому слову, каждой строчке, даже в уже напечатанной книжке. В кино ведь так невозможно. Если эпизод уже снят, если на него затрачена пленка, деньги, время, — переснять сложно, а в документальном кино просто нельзя.

Мы решили сначала снять эпизоды без участия Маршака.

Он звонил по телефону, справлялся, как идут съемки, но вскоре мы узнали, что он тяжело заболел и лег в больницу. Выздоровев, несмотря на протесты врачей, Самуил Яковлевич решил сниматься, предупредив: «Только, голубчики, не долго, один день я выдержу, больше вряд ли, поэтому готовьтесь без меня».

За день до съемок мы привезли осветительную аппаратуру. Фильм цветной, света нужно много, а кабинет у Самуила Яковлевича небольшой, весь заставлен книгами — возник вопрос: как разместить осветительные приборы, да еще две камеры? Наконец все уладилось, но в квартиру едва можно было пройти. Все поставили, приготовили, зажгли свет — жарко, принесли вентиляторы — страшно простудить. Мы беспокоились, так как понимали, что съемка продлится не час и не два, а Самуил Яковлевич слаб после болезни.

Самуила Яковлевича в одиннадцать часов утра привезли из больницы. Увидев, во что превратилась его квартира, он рассмеялся, бодро переступил через кабель на полу, прошел в кабинет, сел в свое привычное кресло, и начался обычный для него день — только со съемкой.

Сначала к нему в гости пришли поэты Виктор Боков, Андрей Вознесенский и Эльмира Котляр. Они читали ему свои стихи. Он удивительно слушал, не спуская глаз с говорящего, как бы подбадривая и помогая читать. Потом

начался очень интересный разговор, нам же понадобилось сменить кассету, и мы попросили повторить мысль. Самуил Яковлевич так увлекся разговором, что рассердился и сказал: «Вы нам мешаете», — очевидно совсем забыв о съемке.

Поэтов сменил Игорь Ильинский. К этому времени вернулись из школы внуки Маршака — Саша и Яша, и Самуил Яковлевич попросил Игоря Владимировича почитать. Ильинский прочитал «Поросят»...

Маршак так молодо и заразительно хохотал, как будто бы он слушал это стихотворение впервые.

Уехал Ильинский, приехали композитор Свиридов, автор музыки на стихи Р. Бернса в переводах Маршака, и певец А. Ведерников. Самуил Яковлевич предложил им прослушать привезенную из Шотландии пластинку народных шотландских песен и маршей, сам тихонько подпевал и был очень доволен, что им тоже нравится. А. Ведерников под аккомпанемент композитора спел песню Бернса «Возвращение солдата». И далекий шотландский Бернс во всю силу зазвучал в Москве на Чкаловской в доме у Маршака.

Ушли гости. Мы почувствовали, что Самуил Яковлевич устал, предложили перенести все на завтра, но он не согласился: «Завтра начнется рабочий день, много дел, уж лучше кончить сегодня». Мы дали возможность ему передохнуть, «остыть», кстати и приборы остыли. Скоро Самуил Яковлевич вернулся в кабинет на свое рабочее место — на нашу съемочную площадку.

Он выбрал для чтения два стихотворения: «Пожелания друзьям» и шекспировский сонет № 74.

Процесс работы над этим сонетом мы постарались показать на экране — по рукописям.

Самуил Яковлевич, прочитав два раза, сказал: «Хватит, я уже устал, больше читать не буду». Нам хотелось иметь еще один план — с другой точки и покрупнее, но он наотрез отказался, сказав, что он не кинозвезда, а «крупно» и «фас» — это совсем неважно, важно, чтобы смысл был. Я не стала настаивать, и так, слава богу, в общем сняли; мы уже стали собирать аппаратуру, но Самуил Яковлевич спросил: «А нельзя ли все послушать?» Мы снова включили топовagen и дали послушать фонограмму. Самуил Яковлевич слушал внимательно, как бы отстранившись, со стороны, потом недовольно махнул рукой и сказал: «Не годится, надо еще раз». Тут уж я испугалась, стала отговаривать, но он был непреклонен.

Снова зажгли свет, и Самуил Яковлевич, стряхнув усталость, как-то весь мобилизовался, как это бывает с большими артистами, снова прочитал два раза подряд, очень взволнованно и звонко, несмотря на свой хрипловатый голос, весь сонет. Съемка кончилась.

Наутро, беспокоясь, я позвонила, чтобы узнать, как он себя чувствует. Самуил Яковлевич уже сидел за столом, работал и спросил у меня: «Ну как получилось?» Я сказала, что еще не видела, то есть пленка проявляется. Он огорчился и был недоволен: как это можно не видеть сразу результата работы?

Через несколько дней мы сообщили ему по телефону, что все в порядке, и он в ответ прочитал мне свои шуточные стихи о нашей съемке. Кончалось стихотворение так:

Злобно жег меня юнитер,
Пот со лба не раз я вытер,
Словно грешники в аду.
Но в итоге всех терзаний
Москвичи и англичане
Будут рады на экране
Увидать кинозвезду.

Картина была готова, когда Самуил Яковлевич отдыхал в Барвихе.

Мы выполнили наш уговор и на первый просмотр повезли картину к нему.

Он смотрел фильм вместе со своей сестрой Лией Яковлевичной, сидел впереди, отдельно от нас. Не рассказать, как мы волновались.

Когда фильм кончился, Самуил Яковлевич встал, пожал нам руки и сказал: «Пожалуй, можно показывать».

И фильм¹ пошел на экраны.

Нам очень жалко, что он так короток — всего на двадцать минут. Но мы счастливы, что и сейчас можно услышать Самуила Яковлевича, посмотреть, как он сосредоточенно работает, весело смеется, как добро и мудро напутствует всех нас.

¹ Киностудия Моснаучфильм.

«С. Маршак».

Автор сценария Н. Лосева.

Режиссер Марианна Таврог.

Оператор Б. Головня.

Мультипликация — Е. Мигунов, Б. Васильев.

Музыка С. Прокофьева, Г. Свиридова, Л. Солина.

Звукооператор А. Камионский.

Директор картины И. Казарновская.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

1



Самуил Яковлевич приехал ко мне совсем уже старым и больной. Плохо видел, плохо слышал, опирался на палочку. Его привез и доставил прямо к нашим дверям шофер.

Я была потрясена тем, что Самуил Яковлевич не счел трудным приехать, будучи таким больным и усталым. Он и прежде всегда очень внимательно ко мне относился, а в этом его визите я усмотрела даже сверхобычное, какую-то даже отчаянную решительность: словно он чувствовал приближение конца и из страха, что его не навещат, решил сам навещать. (Позже мне стало известно, что в тот вечер он посетил многих своих друзей и знакомых.)

Я плохо переношу транспорт, езды избегаю. И все же, когда увидела входящего Самуила Яковлевича, и то, как он на ощупь, медленно-медленно продвигается по узкому клочку нашего коридора, мне стало совестно, что я сама не удосужилась прийти к нему в гости, хотя бы и пешком. Я даже испугалась.

Но он вошел, сел, начал говорить, и тягостное впечатление рассеялось. Его речь была, как всегда, ясна, логична, остроумна. Он был весел, много смеялся. Не могу восстановить разговора полностью, не ручаюсь и за последовательность, но в общем помню почти все.

Сначала он спросил меня о здоровье, о том, что я пишу. Просил прочитать что-нибудь, но читать громче, потому что он плохо слышит. (Я что-то читала.) Потом я спросила его, над чем он работает, и он сказал, что готовит к печати книгу стихов. И, достав из портфеля эту книгу, отпечатан

ную на пишущей машинке, попросил меня читать из нес вслух. Это были его афористичные четверостишия, и он смеялся, слушая собственные стихи.

Говорил Самуил Яковлевич о молодых поэтах. Некоторых порицал за легкомысленное к поэзии отношение. Не слишком глубокий ум — так примерно говорил С. Я., — а следовательно, и мелкие побуждения позволяют этим авторам использовать такую серьезную вещь, как поэзия, для своих личных маленьких нужд и целей.

«А представьте себе, что между Европой и Индией проведен подземный кабель, связывающий эти части света. А теперь представьте, что какому-нибудь казаку понадобился кусок проволоки...» И он опять засмеялся и, как обычно в последнее время, закашлялся от смеха.

От кашля после смеха ему было тяжело дышать. Но в смехе же он черпал новые силы, которые опять-таки возвращал смеху. Самуил Яковлевич откидывается на спинку стула, ищет носовой платок, вытирает глаза, протирает очки, весело глядит на меня, и снова смеется, и опять закашливается. Кажется, что он сидит внутри радуги, до того он весел.

Помнится, я первая заговорила о Марине Цветаевой, и он стал рассказывать, как когда-то она пришла к нему «...в какой-то широкой цыганской юбке... Шла большими шагами... как какая-то странница... Золотоволосая, с зелеными глазами... Совершенно прелестное существо».

Самуил Яковлевич рассказал мне о том, как предлагал Марине Цветаевой свою помощь и поддержку, когда она в них нуждалась. А нуждалась она в них довольно часто. Высказал предположение, что, может быть, судьба М. Цветаевой сложилась бы лучше, если бы она (Цветаева) не стеснялась обращаться за помощью. Но она ничего ему о своих бедах не рассказывала, так что многие ее неудачи долго оставались ему неизвестны.

Когда он поднялся уходить, мне снова стало не по себе: опять слишком явственно проступили его старость и слабость...

Признаюсь: я чувствовала, что вижу его в последний раз.

И все-таки даже от последней встречи осталось вовсе не мрачное воспоминание. Оно, правда, и грустное, но больше все-таки той грустью, которую называют светлой.

Из вереска напиток
 Забыт давным-давно.
 А был он слаще меда,
 Пьянее, чем вино.

В котлах его варили
 И пили всей семьей
 Малышки-медовары
 В пещерах под землей...

Сколько угодно есть переведенных стихов, которые тем не менее можно перевести еще раз, и два, и три. Но вот «Вересковый мед» Стивенсона, переведенный С. Я. Маршак-ом, никак не переведешь вторично.

Пришел король шотландский,
 Безжалостный к врагам,
 Погнал он бедных пиктов
 К скалистым берегам...

Разве этих строчек можно хоть коснуться еще раз? Это перевод надолго, если не навсегда.

Кажется, что эти стихи родились не в искусстве, а в самой природе, у какого-то наивного моря. В краях песенных, балладных — еще задолго до того, как в них были созданы песни, баллады.

«Вересковый мед» — стихи моего детства. Под звуки таких стихов можно уже сразу танцевать, не трудясь перекладывать их на музыку. Это песня, которой нет надобности быть песней в прямом смысле слова: иметь мелодию. Она сама поется, не дожидаясь арф и скрипок со стороны. По крайней мере так мне кажется. И не могу вспомнить (да и не важно!), распевала я «про себя» или просто нараспев декламировала исполненные доблестного благородства слова:

А мне костер не страшен.
 Пускай со мной умрет
 Мой святая тайна —
 Мой вересковый мед!

Я прекрасно понимала, что дело тут, так сказать, не в меде; мед — только предлог для того, чтобы можно было узнать о благородстве и великаньей смелости маленьких пиктов.

Пикты — все, как один, — представлялись мне почему-то 565

в остроконечных колпачках. У шотландского короля — пышные рукава, пышная борода, но в общем он совершенно сливается со своей лошадью. А героический старичок, спасший мальчика от пытки и сохранивший тайну, был точно такого же роста, как этот мальчик...

...Конечно, сюжет придуман не Маршаком, а Стивенсоном, но если бы ту же самую историю мне рассказали, например, в прозе или в средних, а не прекрасных стихах перевода, вряд ли бы я так полюбила ее и запомнила на всю жизнь.

3

Книга стихов Маршака для детей (не помню названия) была первой настоящей детской книгой, которую я прочла в детстве. От нее пошло и равнодушие к другим книгам, желание отыскать среди них лучшие. Не могло же быть, чтобы *такая* книга была одна на свете. Есть же где-нибудь и другие; может быть, не лучше этой, но, может быть, и не хуже?

Берете книгу и тетрадь,
Садитесь вы за стол.
А вы могли бы рассказать,
Откуда стол пришел?

Недаром пахнет он сосной.
Пришел он из глуши лесной...

Весело было констатировать факт: живой, шагающий стол! А заодно — думать о тех зеленых полях и веселых открытых дорогах, по которым он шагает. Прежде всего мне нравится *способ*, каким было рассказано это стихотворение, в остальное же (зачем нужен стол) я старалась не вникать. Может быть, было еще одно или два стихотворения Маршака, к которым я относилась так же безответственно. Но в большинстве случаев не было нужды разлучать форму с содержанием.

Приплыл по океану
Из Африки матрос.
Малютку-обезьяну
Он в ящике привез.

Сидит она, тоскуя...

дилось понимать стихотворение «творчески». На лице маленькой обезьяны была возвышенная печаль, за ее судьбу разрывалось сердце. Сидит она, тоскуя, а матрос, океан, Африка своей живостью и яркой свободой движений только подчеркивают ее неподвижность.

Но больше всего мне нравилось, а теперь нравится даже больше, чем в детстве, стихотворение Маршака «Рассказ о неизвестном герое».

Кто, в самом деле, стремился к безвестности так горячо, имея в то же время все возможности прославиться, как герой этого стихотворения? Разве что к славе принято стремиться с упорством, с каким он от славы бежал.

Слава лишь неизбежное следствие какого-нибудь замечательного поступка, подвига или таланта. А коль скоро слава лишь следствие, то ее просто и не может быть самой по себе. Тем не менее время от времени откуда-то появляются люди, вслух мечтающие о славе — самой по себе, о славе без ничего, просто «о славе!» — и пальцем не желают шевельнуть, пока ее не получат.

Тут бы о славе и кончить, но вдруг мне представилась очередь за славой. Славу дают бесплатно; во всяком случае — никто не знает за что. Выстроились гуськом: «Кто последний? Я за вами!» В руках у них тара всех форм: у кого ведро, у кого кадка, у кого бочонок... Иной принес мешок, так как точно неизвестно, в каком слава выдается виде: в жидком или сухим пайком, лить ее будут или сыпать? Об этом и разговаривают люди в очереди, гадают вслух, строят предположения... И хоть бы в голову кому пришло спросить: за что она?

Конечно, и такие чудачки не могли появиться просто так, на ровном месте. Им предшествуют те, которым хочется славы все-таки за что-то. Но у тех уже другая крайность: готовы разбиться для славы, готовы на любую подлость, если им скажут, что слава будет выдаваться за подлости. И хотя бы для получения славы ими действительно было сделано что-нибудь полезное, это полезно вредно уже тем самым, что сделано для славы. Значит, в нем уже есть что-то сомнительное, некая тень — почерк автора. Этого никуда не денешь. Не каждому и взрослому понятна природа той суровой застенчивости и воинствующей скромности, с которой герой стихотворения Маршака, вынесший чужого ребенка из огня, бежит от славы и вознаграждения, словно от какой опасности, от наказания: «Что на-

творил он и чем виноват?» И не случайно то, что это стихотворение принадлежит перу человека очень скромного, хорошо знавшего разницу между «честью» и «почес-тью».

Может быть, это прозвучит дерзко и не попадет (хоть я и не провожу никаких параллелей), но не решусь сказать, что меня больше волнует, — величественное:

Гнев, о богиня, воспой...—

или совсем простое:

Знак ГТО
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.

Прошло детство. В какой-то мере, казалось бы, настала пора прощания и со стихами Маршака. В какой-то мере, потому что они хороши и для взрослых, а все же...

Но и тут, уже на пороге взрослой жизни, меня встретила радостная неожиданность. У самого выхода из детства опять-таки был Маршак, уже со своими «взрослыми» стихами — переводами из Шекспира, из Бернса...

Сильнее красоты твоей
Моя любовь одна.
Она с тобой, пока моря
Не высохнут до дна.

А может быть, это те же самые «детские» стихи Маршака, только тоже выросшие и повзрослевшие?.. Теперь они и правда выглядят иначе: у них удлинились платья, замедлились жесты... И только нечто, мелькающее в выражении глаз и ртов, порой напоминает, что это — они, хотя и в других одеждах, в другой поре, в новом настроении...

Пусть опрокинет статуи война,
Мятеж развеет каменщиков труд,
Но врезанные в память письма
Бегущие столетия не сотрут.

Ни смерть не увлечет тебя на дно,
Ни темного забвения вражда...

Мне посчастливилось трижды познакомиться с С. Я. Маршаком. В детстве я узнала его прекрасные стихи для детей; много позже — не менее превосходные его переводы, а третьей моей удачей — венцом двух предыдущих — было личное знакомство с ним. Таким образом, с самого детства и до сих пор я нахожусь как бы под знаком поэзии Маршака, не похожим, правда, на влияние, а более сложным. Очень многое в моей жизни — поскольку она касалась творчества — было связано с ним. Теперь — с памятью о нем. Убеждена, что у многих других литераторов — так же.

Это был человек-событие, потому что сочетал в себе множество счастливых черт, счастливых еще и счастьем встретиться в одном человеке.

Я очень рада, что Самуил Яковлевич запомнился мне смеющимся.

МОЙ ДРУГ И ПАЦИЕНТ

1



о телефону мы условились встретиться в клинике. Понятно, с каким нетерпением я ждал встречи с легендарным Маршаком... Едва слышав его шаркающие шаги, я выбежал ему навстречу. Прихрамывая, опираясь на толстую палку, он прошел через всю клинику ко мне в кабинет.

Повод для его приезда был печальный. Заболела Тамара Григорьевна Габбе — драматург тончайшего дарования, большой друг и старый литературный советчик Самуила Яковлевича. Он был в ужасной тревоге... Неясная анемия, которая настойчиво нарастала последние месяцы, делала Тамару Григорьевну почти нетрудоспособной.

— Мы сейчас, сейчас поедем к ней, я познакомлю вас, — повторял он, задыхаясь и покашливая, — и вы увидите, что это за человек — тонкий, душевный и высокоталантливый... И вы оцените ее и полюбите.

Он сильно волновался, его губы (кто не запомнил их пленительную, то задумчивую, то ироническую улыбку?) дрожали.

— Вся надежда на вас, милый, — глухим голосом повторил он. — Тамара Григорьевна должна жить, работать, творить... Ей нужно так много еще сделать.

Мы поехали... Всю дорогу Самуил Яковлевич курил — папиросу за папиросой — и пытливо расспрашивал меня о возможных «параметрах» диагноза. Я, как положено врачам, уклонялся от прямых ответов.

Тамара Григорьевна — маленькая женщина, какая-то вся пежная, деликатная, утонченная и своей наружностью и манерами — напомнила мне очаровательную Щепкину-

Куперник, которую мне тоже пришлось лечить. Она была очень бледна, но о болезни старалась не говорить. Кроме малокровия и «некоторой слабости», ни на что не жаловалась. Уклоняясь от осмотра, Тамара Григорьевна завела с Самуилом Яковлевичем разговор о его книге, верстку которой недавно просмотрела. Я, к сожалению, не записал их разговора, но ее замечания были остры и очень «впопад» — Самуил Яковлевич не раз задумывался над ними:

— А пожалуй, правильно, правильно, так будет верней. Что же — одно слово, а мысль стала совсем точной. Как я не заметил, — сокрушенно качал он головой. — Должно быть, очень устал.

Да, в разговоре не было громких слов, красивых выражений, эмоциональных взлетов, но я почувствовал крепкую творческую дружбу этих людей, почувствовал внутреннюю содержательность Тамары Григорьевны и облагораживающую силу ее красоты — душевной и физической. Я ощутил совсем близко атмосферу «лаборатории» поэзии. Я понял, что для них обоих весомость и качество слов — это жизнь стиха, его право на вечность.

Но вот я приступил к ознакомлению с историей болезни пациентки, и во мне заговорил «голос специалиста». Я почувствовал что-то недоброе. Я обратил внимание на одну важную гематологическую деталь — необоснованный сдвиг формулы. В сочетании с малокровием это могло указывать на рак. Рентгеновское исследование, произведенное через два дня, подтвердило диагноз: рак желудка. Операцию делал чудесный хирург профессор Павел Иосифович Андросов. Раковая опухоль, которую мы увидели на столе, была совсем маленькой — величиной с ноготь. Павел Иосифович артистически удалил две трети желудка, и больная, несмотря на то, что болела еще диабетом, при котором операция проходит плохо, быстро пошла на поправку. Однако через десять месяцев разыгралась драма. При очередном осмотре я определил у Тамары Григорьевны маленькое уплотнение в печени.

Все было кончено, непоправимо. Через несколько месяцев Тамара Григорьевна умерла.

Читателя может несколько озадачить: зачем такие подробности о чужой болезни, когда речь должна идти о С. Я. Маршаке. Мне кажется, что человеческий облик Самуила Яковлевича будет дополнен именно этим эпизодом.

Старый, больной и истощенный, С. Я. Маршак отдавал последние силы близкому человеку. Я не могу забыть его чуткой повседневной заботы о больной, когда он долгие часы сидел возле нее и потом уезжал к себе и снова возвращался в клинику. Он был жертвенно беспощаден к себе и, казалось, не знал утомления.

2

Так началось наше длительное знакомство, перешедшее в дружбу.

Я стал и лечащим врачом С. Я. Маршака. В долгие зимние вечера я просиживал в мягком кресле, «прописанном», казалось, навечно у старинного письменного стола, за которым сидел сам хозяин. На подлокотнике кресла, за лампой я незаметно пристраивал свою маленькую книжку и делал в ней заметки, чтобы не забыть то, что говорил Самуил Яковлевич.

Самуил Яковлевич выходил ко мне из спальни в неизменном сером костюме, неуклюже висевшем на его истощенном теле.

Он очень любил людей. Встречи и беседы с ними были его духовной пищей. Вот почему, когда Розалия Ивановна, отвечая на телефонный звонок, говорила: «Сейчас посмотрю», Самуил Яковлевич снимал параллельную трубку и, узнав голос собеседника, тут же с раздражением произнес своим глуховатым голосом:

— Розалия Ивановна, я вас прошу, пожалуйста, не мешайте. Положите трубку! Голубчик, жду вас в семь вечера. Приезжайте, голубчик. Я пошлю машину.

Какое наслаждение испытывал, по-моему, всякий, усаживаясь в это кресло, чтобы побеседовать с Маршаком, человеком энциклопедических знаний и удивительной реактивности, рефлекс которого на любое слово, на события — малые и большие — были почти молниеподобными.

В этих беседах создавалась атмосфера непринужденности и искренности. Самуил Яковлевич говорил всегда интересно и страстно.

Конечно, любимой его темой была литература. Здесь он воодушевлялся, радуясь ее успехам, но часто становился громовержцем, когда говорил о ее недостатках, о людях, не имеющих права, по всем параметрам (культуре, образованию, а главное, приспособленчеству), на высокое звание писателя.

Иногда он говорил о новоявленных популярных поэтах:

— Нет, это не то. Очень много в их стихах от эстрады...

Читая вслух свои стихи, он как бы выверял и музыку слова, и музыку стиха, и звучание каждой строки и всей партитуры...

На столе лежали гранки его стихов (каждый день толстые белые конверты приносили ему этот материал). И, поглядывая на них, я поражаюсь тому, с каким напряжением он работал над словом.

3

Работа С. Я. Маршака над словом была не просто тяжелой, как об этом часто пишут его друзья и биографы, а мученической, подвижнической, каторжной. Боже, как вообще работал Маршак! Это было поистине самосжигание, как принято говорить, «свеча горела с двух концов». Попыхивая папиросой, худой, истощенный, задыхаясь от приступов кашля, давно потерявший ощущение наслаждения едой (павловский термин!), Самуил Яковлевич подкреплял свои силы глотками крепкого чая и... работал, работал с самого утра и до поздней ночи. Возбужденный мозг его никогда не отдыхал. Сотни дел, тысячи образов кипели в нем, тысячи неожиданных, только Маршаку свойственных ассоциаций... Мне — врачу — часто казалось, что его душевные и физические силы висят на волоске, пульс его был слаб и част, голос затихал от усталости. Вот сейчас все угаснет и навеки... Но Самуил Яковлевич работал. Работал до самозабвения, перебирая рукописи, искал и находил на столе среди ему одному понятного хаоса бумаг, гранок, версток и справочников нужные материалы, жадно хватал их и быстро прочитывал, приближая бумагу к сильно близоруким слепнущим глазам.

Вспоминая свою последнюю встречу с Горьким в Крыму за три месяца до смерти великого писателя, Маршак писал: «В эти последние годы жизни он не хотел терять ни одной минуты. Он брал на свой особый учет каждого попадавшего в поле его зрения живого человека, который мог пригодиться литературе, науке, делу воспитания юношества». Эти слова целиком относятся и к последним годам жизни С. Я. Маршака!

Наблюдая за ним, я часто думал: в нас бытует совсем неправильное представление о героизме. Вообще героизм — явление очень широкое, и потому для каждого человека он индивидуален. Точнее, каждый человек способен на свой героизм, на тот, который отвечает его характеру, его индивидуальности.

Человек сугубо штатский, никогда не носивший военной формы, очень больной, по-чеховски деликатнейший, С. Я. Маршак в те часы, когда он работал, не жалея остатков своего здоровья, принося в жертву свое вконец истощенное тело, обрывки сна, буквально крохи своего аппетита, работавшую на износ силу сокращений сердца, поверхностное и частое дыхание одной трети легких, был героем, таким же, как боец, совершающий свой воинский подвиг...

Как врач, я могу сказать: С. Я. Маршак отдал служению литературе себя всего, отдал без остатка... И эта жертва так же благородна, как подвиг героя-воина, она несет те же опасности, что и любой подвиг...

Для меня не была неожиданной весть о его внезапной смерти. Я, как врач, часто удивлялся, чем живет его уже вконец измученное и истощенное тело. Должно быть, он держался натренированной нервной системой, сознанием величайшего и ответственного долга.

У нас почему-то не принято писать о болезнях, хотя, говоря о болезнях человека, мы нередко подчеркиваем его мужество в борьбе с ними.

Студенты, говоря о болезнях, часто используют слово не «болел», а «страдал». За это они получают замечания от своих преподавателей, их обвиняют в неточности языка. О Самуиле Яковлевиче Маршаке как раз правильнее будет сказать, что он именно страдал тяжелым пневмосклерозом, очевидно осложнившимся медленно текущим раком легкого. Кроме того, он страдал (!) сердечной слабостью на почве атеросклеротического поражения венечных сосудов и ангиогенного кардиосклероза. В кишечнике у него прогрессивно развивалась наследственная доброкачественная опухоль — полип, постоянно угрожавший переходом в рак (об этом знал и часто говорил Самуил Яковлевич). Нервная система его была в состоянии крайнего истощения — истине она не знала ни сна, ни отдыха... В течение нескольких лет он страдал усиливающейся глухотой, а в последнее время стал терять зрение вследствие катаракты и поражения

сетчатки. Это страдание он переживал ужасно, мучительно, старался не сдаваться, читал, давал отдых глазам, раздражался, опять читал... «Что я буду делать без зрения», — часто повторял он. Он героически готовился к операции катаракты.

И вот этот человек отличался удивительным жизненным оптимизмом — оптимизмом, который он сохранял до последнего вздоха.

4

Когда я узнал, что его положили в Кунцевскую больницу, чтобы готовить к операции катаракты, я попросил своего сына-врача, поехавшего туда по вызову, навестить Самуила Яковлевича.

Самуил Яковлевич немного отдохнул в больнице (хотя в палате, где он лежал, все, как обычно, было заполнено ворохами рукописей, гранками, письмами, а Розалия Ивановна что-то писала под его диктовку), он был бодр, очень оживлен и с радостью встретил гостя, обнял его со своим обычным присказом:

— Голубчик, как я рад, садитесь, милый.

Через три дня у него наступил внезапный спад, и он умер.

Несмотря на сложившееся у меня врачебное мнение о его вконец подточенном здоровье, я не мог представить Маршака неживым — Маршака с его неустанной динамичностью в разговоре, с его удивительной мимикой лица, которое выражало то колючую, хмурую сердитость, когда ему не нравились чьи-то строки, то нетерпение, когда назойливый телефонный собеседник упорно мешал ему начать читать вслух стихи, то светлую радость, когда он вспоминал Тамару Григорьевну («В своем тончайшем ощущении стиха, — часто говаривал он, — она была гениальна»), то ироническую маршаковскую улыбку, когда он говорил о человеческих слабостях собратьев по перу или о вторжении грубой безвкусицы в искусство (помню его рассказы о декламаторах, которые «своим криком заглушали Пушкина»).

Но крупным планом стоял передо мной Маршак-человек. Маршак, больше всего любивший людей. В этом свойстве он мог быть сравнен с Горьким, которого любил и о котором всегда говорил тепло, нежно и возвышенно.

...Встретив сына, он расспросил о всех членах семьи. Удивительно чуткий он был человек!

Самуил Яковлевич считал оскорбительным для своего знакомого, если не мог назвать его по имени и отчеству. И, разговаривая с моим сыном, он назвал всех моих чад и домочадцев по имени и отчеству, вспомнил даже внука Сережу и спросил о такой подробности (его увлечении пистолетами), которая могла остаться в памяти только внимательного и наблюдательного человека. «А как Анна Ивановна (мать жены сына, занимавшаяся воспитанием Сережи)?» — вдруг, оживившись, спросил он. Никогда никого не забывал.

Сегодня Самуил Яковлевич много говорил о своей семье. Он очень любил отца — химика-технолога Острогожского завода. Должно быть, Самуил Яковлевич любил в себе повторение отца. То был мятущийся идеалист, российский Дон Кихот, ищущий нового в своем деле, пытавшийся найти себя в жизни и не нашедший...

5

— Учителя — это все, это — путевка в жизнь. У вас, должно быть, тоже были хорошие и добрые учителя?

— Насчет хороших согласен, но насчет доброты — не очень.

— Суровые? Да? А знаете, в этом — тоже скрытая доброта. Вот вы видели — у меня были три молодых поэта. Талантливые, но я был с ними сух и суров. Уж очень выпирают в их стихотворениях плохие качества — ложная оригинальность и мнимая новизна.

— Когда я читаю некоторых поэтов, — сказал я, — мне кажется, что они тужатся. Если это потуги при родах, это хорошо, но если это проявление другого физиологического акта, это ужасно.

— Вот спасибо за врачебное сравнение. Я часто не мог найти то слово, эпитет, который определяет продукцию некоторых наших молодых поэтов. Она антифизиологична. — Он задумался, а потом добавил: — Они, по-моему, ушли смущенные и недовольные моими замечаниями, но я не хотел с ними ссориться... Я просил их еще прийти. Я сказал: «Давайте вместе поищем, как лучше...» Этим я расположил их к себе, кажется.

Да, Самуил Яковлевич не умел быть нечутким. Он отвечал за все... Он был учитель...

— Как жаль, — часто говорил он, — что я плохо слышу. Правда, спасает от этого недуга слуховой аппарат, присланный мне из Лондона. Но мне хочется сказать большее: мне кажется, что все люди нуждаются в особом слуховом аппарате — душевном, они должны уметь слушать и... слышать людей. Но самое главное, голубчик, что я хочу вам сказать, — у человека, писателя, деятеля искусства, науки должно быть наиважнейшее качество — они должны уметь видеть затылком. Это, голубчик, и есть умение и талант, талант и умение во всем...

Наши беседы длились часами. Самуил Яковлевич увлекался, он, видимо, уставал, но у меня утвердилось мнение, что бесконечные его беседы с посетителями — тот же процесс, что у нас, преподавателей, профессоров, когда мы читаем лекции. Мы повторяем их, оттачиваем идеи, а потом рождаются книги. Без таких «тускуланских» бесед не родилась бы прекрасная, неповторимая книга «Воспитание словом».

6

Сегодня Самуил Яковлевич особенно в ударе, — он говорил о поэзии и поэтах. Я ушел ошеломленный.

О Маршаке говорят, как о детском поэте. Нет, он больше — писатель огромной культуры, разносторонний, образованный. Он — крупный лирический поэт, он драматург, он переводчик, он великий детский писатель, изумительный «мастер снов и сказок», он тонкий и едкий политический сатирик, умевший беспощадно разить врагов «внутренних» и внешних.

Знаток иностранных языков, он безгранично любил русский язык, язык Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Ленина. И не только любил, а сросся с ним воедино, чувствовал все его тончайшие изгибы, ощущал его музыку... Как часто говорил он об этой музыке, о музыкальности русской (именно русской!) поэзии... Пушкина он считал недосыгаемой вершиной.

— Подлинная музыкальность лежит не на поверхности, как у салонного Апухтина и когда-то модного Надсона... Их музыкальность подобна засахарившемуся варенью, а подлинная заключается в таинственном совпадении чувства и ритма, в каждом оттенке живой и гибкой интонации. Все это есть у Пушкина и Лермонтова.

Но когда я спросил, правы ли те, кто лермонтовский стих ставят выше пушкинского, он ответил:

— Представьте, и я был когда-то в их числе. Ничего не поделаешь — грехи молодости, голубчик! Был такой случай: шестьдесят лет назад я встретился у Стасова с Лядовым. Он спросил меня: «Вы любите Пушкина?» Я был тогда четырнадцатилетним гимназистом. «Я больше люблю Лермонтова», — ответил я. Лядов наклонился ко мне и сказал ласково и в то же время наставительно: «Милый, любите Пушкина». Теперь я с ним согласен. Лермонтов, пылкий и романтичный, рано овладевает нашим воображением и сердцем. Постичь величавую простоту и гениальность Пушкина не так-то просто. Но в чем непревзойден в нашей литературе Лермонтов, — добавил он, — это в прозе — простой и прозрачной своей прозе...

Самуил Яковлевич часто говорил, что он любит Толстого и Чехова.

— Они писали с достоинством. Все писатели должны придерживаться этого принципа.

Об одном видном литераторе своего поколения он однажды сказал:

— Большой человек, темпераментный писатель, трибун, но не всегда художник — стиль и вкус художника иногда изменяют ему, и тогда начинается адвокат, произносящий красивую речь. А хорошо известно, речи Плевако или Карабчевского никогда не были художественными произведениями.

— Больше всего я не люблю в поэзии безжизненную книжность и дешевый, припрятанный мистицизм (его любимое выражение). В литературе надоели консервы. В консервах ведь, как известно, убиты витамины. Такая литература кормит пищей, от которой развивается авитаминоз — интеллектуальный и душевный.

Восхищался Юлианом Тувимом, его тонким стихом, в котором варшавское изящество (сам Тувим называл себя варшавским поэтом) сочеталось с взрывчатой гражданственностью и глубокой нравственной философией.

— Щедрый, многогранный талант!

Самуил Яковлевич не любил, когда поэтические произведения пересказывали. Он бранил критиков за то, что они «не предоставляют слово автору, а говорят за него». Сам он постоянно цитировал разных поэтов. И что у него была за память! Феноменальная. Когда он декламировал, он весь преображался, лицо его загоралось, голос его, глуховатый, начинал звучать металлом и настоящими юношескими интонациями.

— Послушайте, как хорошо у Тувима, почти эпиграмматически:

Утром, если мы ее надрежем,
Из березы сонной
Брызнет сок зеленый...

Такая короткая «эпиграмма», как поэма, как поэтические афоризмы Грибоедова, может переходить от поколения к поколению, побеждая пространство и время... Простите, голубчик, я, кажется, отвлекся. Вернемся к Тувиму. Кто мог бы в нескольких словах так гневно, беспощадно отхлестать разложившуюся польскую буржуазию, как Тувим это сделал в «Бале в опере». Он умеет находить сильные слова и выражения! А разве это не политические эпиграммы, которые, как меткие стихи Маяковского, пройдут через века?

— Будет с них этого антрекота, шоколада...
Пусть работают...

Или:

— Вина для оркестра,
Фокстротик, маэстро!

Самуил Яковлевич Маршак чем-то в своей наружности напоминал мне Крылова. Та же крупная голова, те же круглые контуры лица, та же мягкая и в то же время немного лукавая, пронизательная улыбка.

И добрая половина поэтического дарования и ума Маршака принадлежали юмору, сатире. На беседу его, как на длинную нить, нанизывались жемчужины острот, издевок. Его сатира была пронзительной, разящей, ядовитой, иногда просто убийственной.

7

Задумал я заказать его портрет. Договорился с художницей Натальей Петровной Навашиной. Она мастерски написала Федина. Самуил Яковлевич сначала согласился позировать. Он приехал три раза к Наталье Петровне и вдруг перестал ездить. Я спросил, почему.

— Она меня таким безобидным, кротким, ходульным старичком сделала, а ведь я не такой. Слышали, как я умею критиковать... Вот эти колючие черты в моем облике она не уловила.

Я пытался объяснить Самуилу Яковлевичу, что портрет только начат, что я уверен в удаче, потому что художница умеет находить главное, но Самуил Яковлевич уклонился от дальнейших сеансов. Так и не удалось получить его портрета в последние годы жизни.

Маршак любил детей. Эта любовь была его стихией, могучим врожденным инстинктом, она была органически связана со всем его существом. Но, разумеется, как писатель, как педагог Самуил Яковлевич не мог подходить к детям и к их воспитанию с дидактических позиций.

Свое кредо он выразил в «Воспитании словом»:

«Наши дети должны вырасти культурнее нас. Мы снаряжаем их в большое плавание. Им не меньше, а во много раз больше, чем детям буржуазного общества, нужны знания, воображение, историческая перспектива. Одна школа без художественной литературы этого не даст».

Когда я слушал его беседы о детях, о детской литературе, я особенно понимал, почему дети любят Маршака. Ведь им не так легко угодить. Они, тянущиеся к литературе, к чтению и через это к своему детскому пониманию людей и жизни, менее всего размышляют — у них чистое и прозрачное, как хрусталь, художественное восприятие и первых сказок, и первых повестей, и первых авторов, образ которых для них складывается как идеал...

Маршак, вне всяких сомнений, был таким идеалом наших дней. Не надо было много знать и читать его, чтобы понять это. Дети всей нашей страны — и не только нашей, но и других стран — любят Маршака.

Даже в Лондоне, где я случайно встретил С. Я. Маршака в сентябре 1959 года, я с экспериментальной точностью убедился в его детской славе. Я прилетел в Лондон с профессором Н. А. Федоровым на Европейский конгресс гематологов.

И вот здесь мы увидели С. Я. Маршака в окружении большой толпы ребят из советской колонии и английских ребят. С ним были его сын Иммануэль и неизменный его поклонник и гид, член палаты общин лейборист Эмрис Хьюз.

Иммануэль жаловался на Самуила Яковлевича:

— Он совсем не думает о своем здоровье, не рассчитывает свои силы. Все время ездит по разным местам, встречается с новыми людьми — что называется, не знает ни сна, ни отдыха...

В ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ

Я встречал не много истинно великих людей. Слово «великий» имеет здесь значение не только для характеристики достижений человека, но и его личных качеств. В любой области культуры великий художник вовсе не обязательно велик и как человек. Но встречаются и такие, в ком достоинства художника сочетаются с истинно человеческими достоинствами. Одним из таких людей был Самуил Маршак.

Я познакомился с Маршаком 17 июня 1964 года, в день, когда у него началась последняя вспышка болезни, которая привела его к смерти. Маршак сидел за рабочим столом, среди книг и других сокровищ культуры, присланных ему из многих стран. Он сидел словно охваченный их объятиями — объятиями мудрости и знаний. И я подумал: мудрость и знания должны сами тянуться к нему, как достойному их хранителю. Ведь вся сложность и значимость мира бесплодны, пока не раскроет их человек, обладающий этими высокими качествами. А Маршак одарял мудростью своих читателей, всех, кто его знал.

Когда передо мной истинное творение искусства, я ощущаю это не только душой, но и всем своим существом. Кожа моя становится болезненно чувствительной, меня бросает в дрожь. Так было со мной, когда я стоял перед картиной Веласкеса в Эрмитаже, перед картиной Рембрандта, которую видел там же. Так бывает иногда, когда слушаю музыку Бетховена в исполнении прекрасного оркестра. Или когда читаю какой-нибудь сонет Шекспира или некоторые рассказы Чехова, Горького. Так было со мной и тогда,

когда я встретился с Маршаком. Легкий трепет пронизал меня еще до того, как Маршак заговорил, и я почувствовал его душу, я уже знал, что судьба свела меня с великим человеком.

В каждом таком человеке, на мой взгляд, есть что-то от ребенка. Они никогда не теряют способности удивляться. Жизнь как бы всегда обещает им нечто прекрасное и высокое, они жадно идут навстречу этим откровениям даже тогда, когда телу их уже угрожает разрушение, смерть.

Взглянув в глаза Маршака, я увидел глаза ребенка, хотя в них светилась и мудрость, которая приходит лишь с опытом долгой жизни. Жизни, которая не озлобила его, не разрушила веру в Человека.

В своей книге «В начале жизни» Маршак говорит о ребенке: «Его жизнь — это цепь открытий». Слова эти, характеризующие детское мироощущение, приложимы ко всей жизни Маршака. Он постоянно находился в процессе открывания нового. И в тот последний свой рабочий день, когда уже дала себя знать болезнь, которая привела его к смерти, он спрашивал меня как человек, жаждущий узнать нечто новое о детстве, — ибо мы беседовали с ним о детстве.

Мы говорили о глазах ребенка, которые видят в каждом цветке и каждой птице нечто удивительное и захватывающее, и о том, как легко утратить это чувство удивления, повидав тысячи цветов, множество птиц. Когда же мы оба признались в том, что из всех качеств детства мы больше всего хотели бы пронести через всю жизнь именно это чувство удивления, Маршак встал и обнял меня. Он хорошо знал, что способность видеть вещи как бы в первый раз является одним из самых ценных свойств, которое писатель должен хранить с «Начала жизни».

Об этой своей чудесной книге он сказал: «Я не намеревался писать историю своего детства: я пытался рассказать, что такое детство вообще».

И ему удалось это сделать. Книга эта — путь открытий не только Маршака, но каждого ребенка. Именно это и есть детство; в этом вся суть детства; здесь писатель дарит нам все очарование окружающего нас мира.

Маршак рассказывал мне о встречах с Горьким, о своем восхищении им. Он говорил о своей работе над переводами сонетов Шекспира, и я вспомнил при этом, как один москов-

ский шофер такси спросил меня: «Как по-вашему, действительно ли сонеты Шекспира так же хороши в оригинале, как в переводе Маршака?»

Рассказывая о своих переводах Бернса, Маршак сказал: «Китайцы переводили Бернса на китайский язык, пользуясь моими переводами. Теперь остается, чтобы какой-нибудь шотландский лингвист перевел китайский вариант вновь на английский, и получаются,— Маршак рассмеялся,— совершенно новые стихи».

Я всегда буду помнить Самуила Маршака таким — живым и энергичным, в блеске ума, который постоянно будет жить с нами в его книгах.

КОНЕЦ СТАРИННОЙ ПЕСНИ



от и спета наша старинная песня».

Слова эти приписываются некоему шотландскому лорду, которому довелось более двухсот лет тому назад скрепить своей печатью договор между английским и шотландским правительствами, покончивший с независимостью Шотландии.

Они пришли мне на память, когда я сидел в зале Дома литераторов в четверг 9 июля 1964 года и смотрел на вереницу людей, медленно продвигавшуюся мимо гроба Самуила Маршака.

Долгая и значительная жизнь Маршака окончилась. Это было «концом старинной песни».

И пока я сидел там, воспоминания о моем старом друге проплывали передо мной вместе с мелодиями Шуберта, звучащими как бы со стороны, но все же под той же крышей. Они возникали и исчезали, и на смену им приходили другие мелодии — Бетховена и Чайковского.

А по временам, когда музыка в зале умолкала, мне казалось, что до меня как будто совсем издалека доносится другая музыка — тягучие, загадочно-печальные звуки шотландской волынки, наигрывавшей плач — один из тех плачей, которые были сочинены в память о павших в битве, проигранной на болотах.

Вместе с моим старым другом мне довелось немало странствовать по Москве, Крыму, Лондону и Шотландии и посетить с ним места, связанные с памятью многих писателей, которые подарили нам свои мысли и затем отошли в бессмертие.

Вместе мы побывали в коттедже в Аллоуэй, где Бернс 585

родился, и в домике в Дамфризе, где он умер. С каким благоговением и любовью рассматривал там Маршак хранящиеся под стеклом строчки — выцветшие слова на клочках бумаги, некоторые — почти неразличимые, но для него — полные жизни и значения, как письма друга, написанные всего несколько недель тому назад.

Для него они были вовсе не ветхими и пыльными рукописными текстами, а насыщенными красками и движением картинами, и он видел свою жизненную задачу в том, чтобы снова сделать их живыми. Строчки эти родились в мозгу Роберта Бернса, были написаны его пером и касались мужчин и женщин, хотя и живущих двести лет тому назад, но как бы лично знакомых Маршаку. Среди них был и Тэм О'Шентер, пьяный крестьянин, скачущий на своей кобыле в ненастную ночь.

...Рукой от бури заслонясь,
Он несся вдаль, взметая грязь.
То шляпу он сжимал в тревоге,
То пел сонеты по дороге,
То зорко вглядывался в тьму,
Где черт мерещился ему...
Вот наконец неясной тенью
Мелькнула церковь в отдаленье.
Оттуда слышался как зов
Далекий хор чертей и сов...¹

Как радовался он, повторяя эти строчки среди каменных памятников около старой церкви Аллоуэй и Эйре!

Были и другие: Джон Ячменное Зерно, Святоша Уилли — сельский лицемер, Веселые Нищие, веселившиеся в таверне, парни и девушки, целовавшиеся в полях среди снопов ячменя, и все прочие, удостоившиеся эпитафий Бернса и нашедшие вечное упокоение под памятниками на Мохлинском кладбище. Бернсу удалось их обессмертить, и они живут в его стихах до сих пор, но вот через двести лет пришел Маршак и, переведя его стихи на русский язык, ввел всех этих людей в мир, который Бернс не мог даже вообразить.

Мне припомнились далее дни, проведенные с Маршаком в Лондоне, когда мы посетили с ним Тауэр и осмотрели темницу, в которой был обезглавлен автор «Утопии» сэр Томас Мор, а также зал в Вестминстере, в котором Кромвель и его друзья вынесли смертный приговор Карлу

Первому, и улицу Уайтхолл, где они привели этот приговор в исполнение.

Но больше всего в Лондоне Маршак интересовали залы Национальной галереи, в которых находятся картины Рембрандта, Беласкеса и Констебля, а также Тэйтгэллэри, в которых он с особенным вниманием рассматривал мистические рисунки своего второго любимца, Вильяма Блейка.

Мне хорошо помнится то жаркое июльское утро, в которое он, шагая по узкой боковой улочке и постукивая по тротуару концом своей толстой палки, настойчиво разыскивал тот самый дом, в котором жил и работал Блейк. Он радовался Лондону и снова переживал в нем дни своей молодости, которые провел здесь, будучи студентом Лондонского университета.

— Я люблю англичан, — как-то сказал мне Маршак.

— За что же? — спросил я, удивившись.

— Знаете, — сказал он, — среди них трое из четырех обязательно окажутся чужаками.

Он любил чужаков. И он сам, пожалуй, был чужаком, так же как и я. Как радовался бы он, если бы ему довелось встретиться с Диккенсом.

Я никогда не забуду того дня, когда мы поехали с Маршаком на машине из Москвы в Ясную Поляну и посетили дом Толстого. Мы медленно бродили по местам, в которых жил и работал великий русский мастер, а потом прошли по лесу к его окруженной деревьями могиле, не имеющей ни креста, ни надгробного памятника и все же оставляющей о себе такую яркую память. И тут же мне припомнился дом Толстого в Москве, с которым Маршак был знаком настолько, что можно было подумать, будто он жил в нем сам.

И я тоже никогда не забуду того последнего дня выставки в Москве картин Дрезденской галереи перед отправкой их в Германию, когда мы, стоя в густой толпе народа, с трудом оторвались от созерцания чуда рафаэлевской Мадонны.

Вечером накануне похорон мне принесли несколько наших фотографий, сделанных в Ялте фотокорреспондентом Халипом, которого Маршак в шутку хотел утопить. На одной из них, снятой в доме Чехова, Маршак сидел за тем самым столом, за которым Чехов любил посидеть один в теплые утренние часы, обдумывая свои великие пьесы, и смотрел в чеховский сад.

Я дивился тогда, во время нашей беседы, чудесной памяти этого старого человека, тому, как все, что он видел и знал, запечатлелось в его мозгу, а также его способности снова оживлять давно прошедшие события.

Эти и многие другие воспоминания проплывали в моем сознании, когда я сидел в зале, созерцая безмолвное тело, возвышавшееся в гробу среди венков и букетов роз, и ощущая сладкий, почти одуряющий запах цветов.

И, провожая глазами людей, проходивших мимо, чтобы проститься с Маршаком, я постарался вообразить, что бы подумал он сам, если бы сидел со мною рядом. И мне пришло в голову, что он сказал бы:

— Все очень торжественно и значительно, и все здесь такие милые люди, так горько переживающие утрату. Но это причиняет слишком много боли. Для чего мы мучаем живых ради мертвых, если уж они мертвы? Мне трудно переносить эту обстановку. С останками следовало бы расставаться совсем по-другому. Давайте выйдем на солнце и свежий воздух и немножко покурим.

Неужели это тело в гробу — Маршак? Разве это в самом деле «конец старинной песни»?

Нет, сила которая водила пером Шекспира, Бернса, Блейка, Толстого, Чехова, которая управляла рукой Маршака, не иссякла. Она жива. Вдохновение не умирает вместе с телом, оно бессмертно. Мелодия продолжает звучать.

Тело в гробу! Это не он! И я вспомнил фразу Рабиндраната Тагора, которую как-то процитировал мне Маршак:

«Когда старые слова замирают на губах, новые мелодии вырываются из сердца. И когда зарастают старые тропы, открываются новые величественные пути».

СОДЕРЖАНИЕ

- А. Твардовский. О поэзии Маршак 3
А. Фадеев. Линия Пушкина (Речь на юбилейном вечере
С. Я. Маршак 14.XI.1947 г.) 39
Расул Гамзатов. Свети мне, добрая звезда 44
Ю. Я. Маршак-Файнберг. Частица времени 46
И. С. Маршак. «Мой мальчик, тебе эту песню дарю» 74
Лев Кассиль. Высокое близкое 109
Корней Чуковский. Маршак 123
Е. Шварц. Из дневника 142
А. Викторова. В петрозаводской детской колонии 148
Ираклий Андроников. Веду рассказ о Маршаке 153
А. Богданова. Детский городок 171
Н. Волотова. Как создавался «Робинзон» 188
Юрий Герман. Без таблички 197
Е. Верейская. Крестный отец 199
Е. Привалова. У истоков 207
В. Григорьев. Из первых дней творения 213
Л. Будогоская. Урок 219
Владимир Беляев. Начало 222
И. Рахтанов. Редактор замыслов 232
Э. Паперная. Друг песни 244
А. Гольдберг. «Вами зажженный горит огонек...» 247
Г. Капралов. Озарено его душой живою... 264
С. Михалков. Листки из блокнота 273
Н. Лукин, Н. Охупкин. Под Дорогобужем и Ельней 277
Ник. Соколов. С Кукрыниксами 282
Мargarита Алигер. Дом на Чкаловской 290
Леонид Зорин. Теплый свет 304
П. Кин. Буду думать только хорошо 312

- Р. Райт-Ковалева. Надписи на книгах 325
Лев Гинзбург. Не будь во вражде со своим языком 337
З. Паперный. Единое слово 344
М. Митурич. Ритм стиха и рисунка 356
Владимир Николаев. Костер 360
Вера Смирнова. Маршак у испанских детей 375
Василий Субботин. С Маршаком 380
В. Берестов. Кленовый лист под подушкой 427
Ст. Рассадин. Звено 444
В. Лакшин. Маршак у себя дома 454
Борис Полевой. Его секрет 479
Борис Галанов. Внутри радуги 487
И. Михайлов. Все принадлежит живым 524
И. Гальперин. Сущность стиха 533
И. Любимов. Учиться у Маршака 536
И. Крамов. Разговор с Маршаком 541
И. Ильинский. «Ведро, полное росы» 554
Марианна Таврог. Один съёмочный день 559
Новелла Матвеева. Последняя встреча 563
И. Кассирский. Мой друг и пациент 570
А. Маршалл. В последний вечер за рабочим столом 582
Эмрис Хьюз. Конец старинной песни 585

С о с т а в и т е л и

БОРИС ЕФИМОВИЧ ГАЛАНОВ
АЛЕКСАНДР ИММАНУЭЛЕВИЧ МАРШАК
ЗИНОВИЙ САМОИЛОВИЧ ПАНЕРНЫЙ

Я ДУМАЛ, ЧУВСТВОВАЛ, Я ЖИЛ

С б о р н и к

Редакторы

Е. А. Мартынова, Л. Б. Воронин

Художественный редактор

Ф. С. Меркуров

Технический редактор

Н. Г. Алеева

Корректоры

И. А. Павлова, Л. А. Розыбакиева

ИБ № 6187

Сдано в набор 20.03.87. Подписано к печати 22.03.88. А 03227. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08+2,52 вкл. Уч.-изд. л. 34,12. Тираж 100 000 экз. (1-й з-д 1—75 000 экз.) Заказ № 250. Цена 2 р. 70 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Я 11 Я думал, чувствовал, я жил. Воспоминания о
С. Я. Маршаке: Сборник. — М.: Советский писатель, 1988. — 592 с.

ISBN 5-265-00417-3

В этой книге собраны воспоминания людей, встречавшихся с Маршаком или работавших вместе с ним в разные периоды его жизни. «Говорят, что любимого поэта не обязательно знать лично. Может быть. Поистине: слово поэта — это его дело. Но знать лично Самуила Яковлевича было огромной радостью», — сказал А. Твардовский. Этой радостью общения с Маршаком — поэтом, редактором, неутомимым организатором детской литературы, интереснейшим собеседником — делятся на страницах книги многие, знавшие лично Самуила Яковлевича Маршака.

4702010200- 112

Я _____ 163-87

083(02) — 88

ББК 84 Р7

